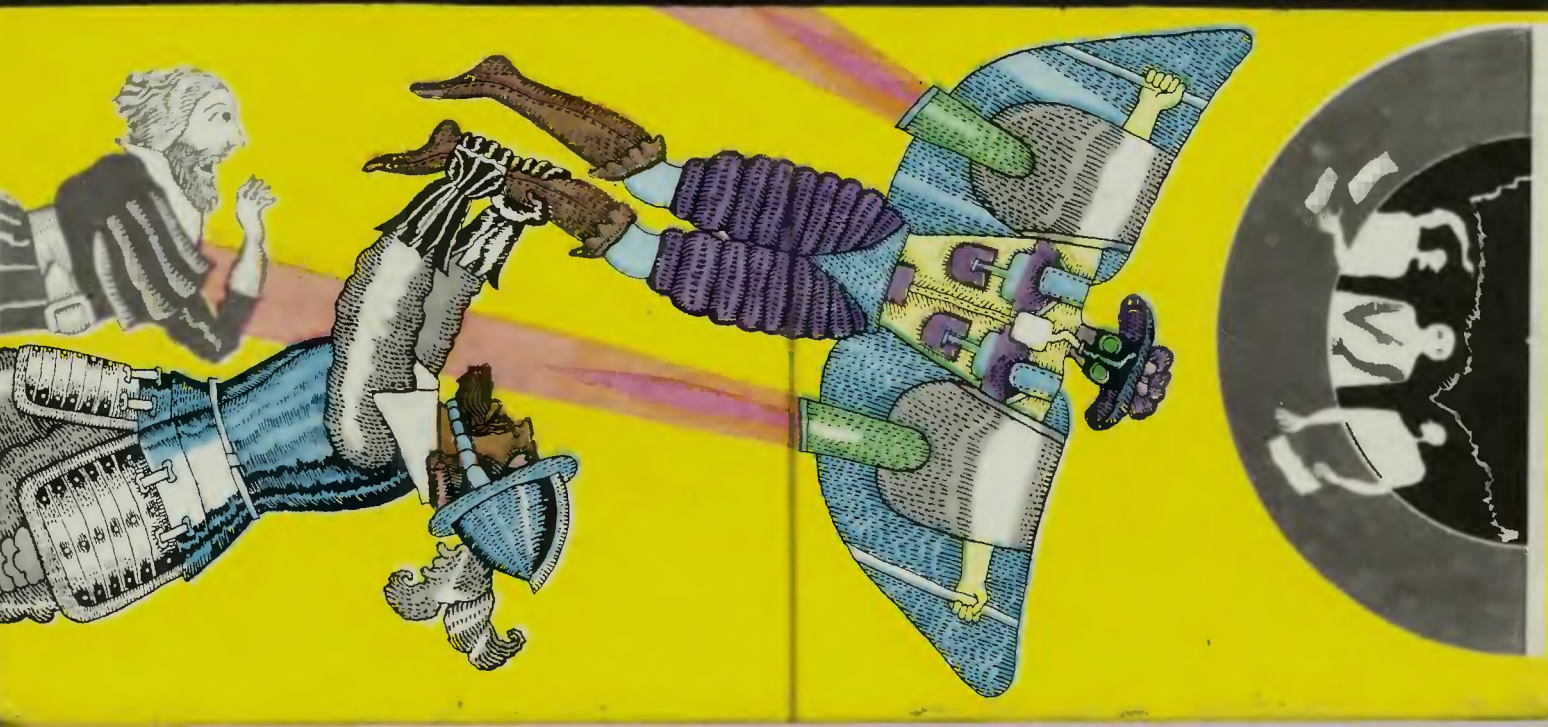
Советская
фантастика 80-х годов

БИБЛИОТЕКА ФАНТАСТИКИ

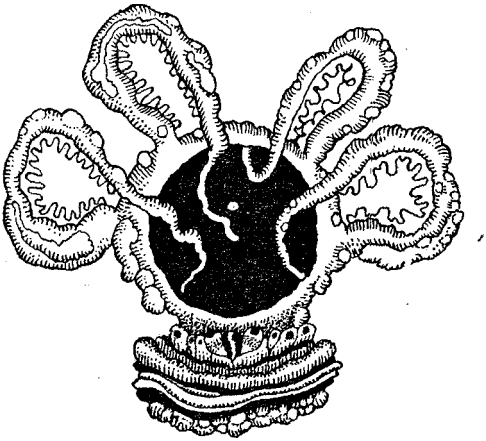
08/2

СОВЕТСКАЯ ФАНТАСТИКА 80-х годов




North
East
West
South

БИБЛИОТЕКА ФИЗИКА 80/2



Редакционная
коллегия

А. П. Казанцев (председатель)
Ю. Т. Грибов
Д. А. Жуков
В. П. Карцев
А. П. Кулешов
А. А. Леонов
Н. П. Машовец
Е. И. Парнов
Л. В. Ханбеков

СОВЕТСКАЯ ФАНТАСТИКА 80-х годов

Книга 2

Москва «Дружба народов» 1994

ББК 84Р7
С56

Составитель
О. Ларионова

Предисловие
В. Михайлова

Иллюстрации
В. Коваля

ISBN 5-285-00163-3

© О.Н. Ларионова, состав, 1994
© В.Д. Михайлов, предисловие, 1994

Правдивая фантастика

На все написанное за послеоктябрьские десятилетия мы смотрим сегодня с другого берега той бездны, что отделяет нас нынешних от нас же вчерашних. Изменилась жизнь, но еще больше — ее восприятие и понимание. Подобные переломы приводят к крайностям во взглядах и оценках. И вот уже приходится слышать и читать, что литературы у нас и вовсе не было, а если и была, то благополучно опочила и не заслуживает ни доброго слова, ни памяти. Ну, а уж коли не было и не заслуживает, то не к чему даже и заикаться о каком-то отборе, каких-то переизданиях. И об этой вот книге, разумеется.

Чушь, по-моему. По такой логике получается, что у нас и истории не было. Вообще ничего. И все мы не от матерей, а, как у Твардовского, от теток родились.

На самом деле все было. И мы знаем, из какого сора, как сказано у поэта, растут стихи. Сора — выше головы. Но и стихи есть. Немало. И проза есть. Фантастическая в том числе.

Другое дело — что у читателя этого тома угол восприятия нашей фантастики всех семи десятилетий, а значит и прошлого и позапрошлого, безусловно изменился. И, наверное, замечать и выделять в представленных здесь произведениях он будет уже не то, что десять или даже пять лет тому назад.

Ведь и в восьмидесятые годы мы вроде бы еще видели в тумане грядущего все те же величественные контуры светлого здания, и если спорили, то лишь о том, какая дорога короче, по какой быстрее подвозить стройматериалы. Получилось же в точности так, как с московским Дворцом Советов: и проект был утвержден, и площадку расчистили, убрав с нее лишний, как мнилось, храм Божий (помню, как еще до войны, в третьем, что ли, классе я клеил из бумаги макет этого сооружения по данной, уж не помню в каком журнале, выкройке),— а на практике строитель-

ство пошло в противоположном направлении, не ввысь, а вниз, и вместо дворца получился бассейн, вещь не столь престижная, но куда более полезная. Но и в восьмидесятых ведь еще казалось многим, что мы не в воде по уши, а где-то на подступах к решительному и крутому взлету. И наша, по российской традиции, политизированная и социализированная литература (выполнявшая у нас функции народного представительства за отсутствием сколько-нибудь серьезного парламента), включая фантастику, и в восьмидесятые годы оставалась вроде бы литературой прежней ориентации. И в фантастике тех лет какие-то умолчания, недоговоренности, намеки — все было в порядке вещей, а горячность в доказывании каких-то истин, ставших сейчас не только очевидными, но просто-таки естественно необходимыми, казалась (да и была, наверное) едва ли не подвигом. Но сегодня, когда на горизонте маячат совсем иные архитектурные конструкции, уже совсем не это будет искать и требовать читатель, но совсем другого уровня зоркости и смелости.

Вот с такими порой противоречивыми мыслями начал я перечитывать сборник, заранее готовый признать и сегодняшнюю неактуальность произведений, робость, и все прочие недостатки и требовать от читателя снисхождения, поскольку времена были не совсем легкие для пера.

Однако чем дальше читал я, стараясь применять всю строгость сегодняшних оценок, тем с большим удивлением понимал, что ни в каком облегченном подходе фантастика лучшая, разумеется, семидесятых и восьмидесятых годов просто-напросто не нуждается.

И если прежде я намеревался, признав сегодняшнюю недостаточность вчерашней фантастики, ограничиться разговором о ней, как о явлении чисто литературном — поглядеть, например, на различия в проблематике, в стилистике, в характерах героев произведений, написанных авторами старшего и младшего поколений, представленных в антологии примерно поровну (по числу, а не по объему вещей), то, дочитав, понял, что фантастика эта и сегодня актуальна, злободневна, местами — остра, одним словом что и сегодня она нужна не менее, чем вчера. И еще: сегодня она помогает нам лучше понять самих себя — вчерашних, чем мы смогли бы это сделать без ее помощи.

Ну вот взять хотя бы повесть ленинградца, а теперь уже петербуржца Александра Щербакова «Сдвиг».

Не стану пересказывать ее содержание: одни из вас ее уже прочли, другим это предстоит. Но не могу не сказать о неожиданном ощущении совершенной ее сегодняшности, хотя повесть написана пятнадцать лет назад.

Нет, конечно, сказывается время написания. Хотя бы в том, что действие «Сдвига» развертывается в некоей англоязычной стране, персонажи носят на редкость нерусские имена, а местности — названия. По канонам тех десятилетий, крупные неприятности, тем

более с жертвами, могли происходить где угодно, только не в нашей благословенной и кругом себя счастливой стране. Да, это — дань времени. Я мысленно подставил наши собственные имена и названия — и повесть ничуть не потеряла в силе и убедительности, скорее даже наоборот.

Помню, когда — несколько лет тому назад — я читал повесть впервые, меня удивило, как «легла» она на тогдашние землетрясения в Армении. Почти как репортаж с места происшествия.

А когда перечитывал ее сейчас, перед глазами было уже другое: катаклизм не природный, а социальный: Белый дом, что не на Потомаке, а на Москве-реке, и люди, пришедшие туда, чтобы спасти все, что можно было спасти.

Позавчерашняя вещь оказалась сегодняшней.

Или как совершенно по-другому зазвучала повесть Сергея Снегова «Право на поиск». Написанная, казалось бы, в чисто фантастических традициях и трактующая о проблемах сугубо научных, она, оказывается, намного шире. Это неудивительно, если вспомнить, что право на риск — одно из тех прав, которых все мы на протяжении десятилетий были, по сути дела, лишены в своей деятельности: централизация и план — тут не риск требовался, а исполнительность; риск же всегда выходит за пределы инструкций. И когда настало время рисковать, слишком многие оказались к этому не готовыми, да и из готовых иные не в состоянии были, потому что и рисковать надо уметь, а не прыгать очертя голову. И Снегова, всегда восхищавшего меня остротой и глубиной именно фантастического мышления, я увидел вдруг в ином ракурсе, как писателя социального (а что он человек социальный, я знаю давным-давно). А проблема соотношения деятельности человека с его моралью и совестью сейчас, когда слова эти вышли из загона, стала одной из самых острых, «горячих» — и потому сегодняшнее прочтение повести Сергея Снегова оказывается более глубоким и объемным, чем раньше.

Совсем иначе читается и повесть ныне, увы, покойного Севера Гансовского «...И медные трубы». Раньше главным ее достоинством мне казалось само направление этой фантастики — не в будущее, а в минувшее, в историю, но историю фантастическую, как у Марка Твена в «Янках из Коннектикута при дворе короля Артура». Главным виделся тот интерес к родной истории, который она неизбежно будила. Однако в дни ее написания интерес этот у большинства еще не сопровождался пониманием того, что мы своей *истории* вовсе и не знаем, не то чтобы какие-то детали от нас ускользали, нет, мы вообще этой истории не знали, нам лишь то было ведомо, что проходило через мощные светофильтры господствовавшей догмы. И, перечитывая повесть Гансовского, я уже как естественную воспринимаю неизбежную мысль о том, что в нашей подлинной истории наверняка таятся и не такие еще события и чудеса...

Подобное же можно сказать о любой из помещенных в антологию вещей. Однако вряд ли нужно злоупотреблять и временем, и местом, тем более что читатель сам это прочтет и поймет. Но перед тем, как закончить, я хочу обратить ваше внимание еще на одно обстоятельство. Во всяком произведении литературы важно ведь не только то, что остается нужным сегодня; не менее важно в нем и то, что сегодня уже не нужно, что не лежит в русле истины, но вызвано к жизни чисто конъюнктурными соображениями, тактикой проникновения через всякого рода цензурные рубежи. И вот меня радует, что в нашей лучшей фантастике семидесятых и восьмидесятых таких вещей практически нет. В их литературном пространстве не носятся люди с красными флагами, на улицах не висят лозунги и не стоят на площадях и перекрестках памятники то ли с простертой, то ли с заложенной за борт шинели рукой. Назвать это протестом, может быть, было бы слишком сильно, но это во всяком случае — неприятие. Осознанное или интуитивное, но — неприятие, нежелание транслировать и пропагандировать ложные истины. При оценке фантастики восьмидесятых, думается, это должно сыграть роль: свой «кавалер Золотой звезды» в нашей фантастике так и не появился.

Сказанное представляется мне особенно важным сегодня. Именно сейчас, когда отвергается многое из того, что мы (во всяком случае формально) признавали и чему поклонялись, важно, чтобы у читателя, и прежде всего молодого,— ведь фантастика любимая литература миллионов подростков — не возникало повода разувериться в фантастике, в ее честности и правдивости.

Может показаться странным такое словосочетание: правдивая фантастика. Не так ли?

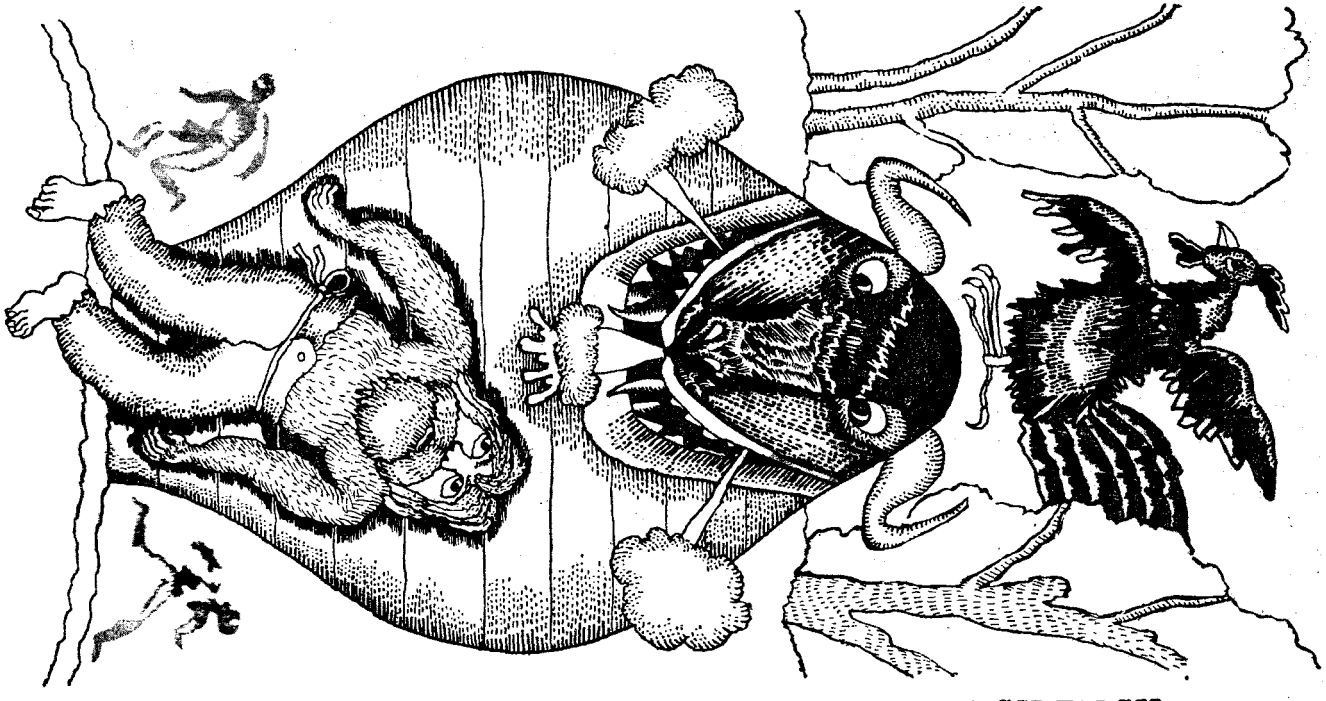
И тем не менее фантастика обязана быть правдивой. Не в фактах (этого от нее никто не ждет), но в исходной позиции, в направлении мышления и деятельности, к которым она вольно или невольно призывает, как космическая фантастика прошлого звала людей в межпланетное пространство.

Лучшая наша фантастика именно такова. И мне представляется, что настоящий сборник тому одно из доказательств.

26 августа 1991 года
Москва

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ

Сергей Другаль



ВАСИЛИСК

Повесть

— Значит так, сказка будет вот о чем.— Нури оглядел слушателей, поправил панамку на чьей-то голове, вытряхнул песок из чьей-то сандалии

«Не очень далеко, но и не совсем близко, не очень давно, но и не сказать, что вчера, жил-был пес Кузя, а по соседству через дырку в заборе тоже жил-был кролик Капусткин. Иногда они обменивались мнениями. И как-то пес Кузя сказал:

– Посмотри, Капусткин. Мне хозяин новый ошейник подарил. Правда ведь красиво, а?

Кролик осмотрел обновку через выпавший сучок.

— Да, ошейник тебе к лицу, ответил он.— И цепь, которой ты привязан, тебе тоже идет. Но больше всего мне нравится, когда ты еще и в наморднике.

Капусткин так говорил потому, что он был зайцем, а притворялся домашним кроликом, чтобы в него не стреляли.

Тут и сказке конец».

Нури закинул руки за голову, шевельнул бицепсами. Самым трудным в деле воспитателя он считал необходимость сочинять сказки и сейчас гордился удачей. Акселерат и вундеркинд Алешка, случайно затесавшийся в группу малышей, одобрительно хмыкнул и сказал:

— Обрати внимание на реакцию слушателей, воспитатель Нури. Никто не усомнился в способности пса и кролика говорить. А почему? Ты не знаешь, а я знаю, потому что я ребенок

© С. Другаль, 1992

и помню: во всех сказках звери говорят. Ведь сначала все были братья — и люди и звери. И понимали друг друга. А потом люди стали плохо себя вести, звери обиделись, ушли в леса, пустыни и тундру. Белый медведь — тот вообще на льдину сбежал. А те, кто остался по доброте, например собаки, или из лени — кошки, или из слабохарактерности — коровы там и прочие жвачные, — те замкнулись, постепенно поглупели и вообще говорить разучились. Но память о временах, когда все были в родстве, когда люди понимали зверей, в звериной душе осталась. И в человеческой тоже...

Слушатели разбежались. Нури и Алешка расставили шахматы и быстро разыграли дебют. Детская площадка, одна из многих, расположенных на окраине жилого массива океанского центра Института реставрации природы (ИРП), звенела голосами: детвора впитывала солнце и наливалась жизненными соками. Пахло скошенной травой и соснами, радостно лаял щенок.

— Чего я понять не могу, так это свойств памяти.— Акселерат и вундеркинд Алешка сделал коварный ход конем и индифферентно отвернулся.

На стол спланировал говорящий институтский Ворон, перебрал в ящике сбитые пешки и осмотрел доску взглядом знатока. Алешка подергал его за хвост, и Ворон предостерегающе раскрыл клюв.

— Знаю, что взрослый начисто забывает о детстве. Но почему? И когда? Вот она,— Алешка поправил бант на косичке пробегавшей мимо девчушки.— Она может силой воображения и даже не напрягаясь одушевить свою куклу. Я тоже раньше мог, а теперь вот не могу. Не знаю, как ты, а я ощущаю это как потерю.

Нури сделал рокировку, привычно оглядел площадку и убедился, что все в порядке, все заняты важнейшим в жизни делом — игрой.

— Одушевляет,— согласился он.— Я тоже думал об этом. Но до какого предела, вот вопрос.

— Полагаю, пределов нет. Ведь нет пределов воображению и фантазии.

И тут из зарослей орешника, что на краю площадки, вышел человек. Не бородатый волхв, работник службы экопрогнозов, и не дровосек-дендролог, и вообще не похожий ни на кого из сотрудников ИРП. И потому его появление было сразу замечено: на площадке стало тихо. Нури смешал фигуры, отодвинул доску и подпер го-

лову кулаком. Гость был в домотканых портках в синюю полоску, чистых онучах и новых лыковых лаптях. Домотканая же рубаха без ворота была подпоясана пеньковой веревкой, а светлые волосы, стриженные под горшок, топорщились. От всего этого Нури пришел в состояние тихого умиления, а малыши забыли про игры, разглядывая гостя.

Человек держал в руке лукошко.

— Вот как, значит! — Он поставил лукошко на стол и слегка поклонился.— Вывелся, выходит... Я бы сказал, возник...

Он откинул тряпицу с лукошка, и оттуда выглянули две головы, светло-коричневые, с черными ноздрятыми носами и стоячими ушками, похожие на детенышей лани, но поменьше.

Ребятишки обступили стол, тянулись на цыпочках, пытаясь разглядеть зверенышей. Гость сделал козу, головы поймали пальцы, зачмокали.

— Сосет,— сладким голосом сказал гость.

— Сосут,— машинально поправил Нури.

— Вот... это самое, не можем мы. Убедились: недостойны. Потому — грехи! Я бы сказал — эгоизьм И опасаемся, как бы чего... А он единственный. Ему безопасность нужна, ему настоящее молоко надоть. Мы не против, берите, а?

Вот так, вплотную, жителя Заколдованного Леса Нури видел впервые. Конечно, он был оттуда: никто из сотрудников ИРП не носил подобной спецодежды и не говорил столь косноязычно.

Гость сощурил васильковые глаза, обтер тряпицей пальцы.

— Так я пойду, значит. А ему б это, как его, детское питание. Я бы сказал, натуральное, а?.. До свиданьица.

— Вы еще придете?

— Придете вы, мастер Нури. Туда.— Гость показал большим пальцем через плечо.

— И не думал, с чего бы?

— Вам на роду написано... прийти.

— Ну, если на роду, тогда конечно...

— Дядя,— перебил кто-то из малышей,— а как вас зовут?

— Иванушкой меня кличут.

— Э...— сказал Нури.

— А чего?

— Да нет пожалуйста... Только вот детенышей из леса выносить не стоило, погибнут они без матери.

— Нет у него матери!

С этими словами Иванушка перевернул лукошко. И все ахнули. Желтенький, в темных пятнах, на столе лежал теленок тянитолкая.

На следующий день вундеркинд и акселерат Алешка воспользовался отсутствием Нури, чтобы внести свою, не предусмотренную программой, лепту в дело экологического воспитания молодого поколения. Ему трепетно внимали пятилетние подопечные.

— Я вам скажу, товарищи, что, увидев тянитолкая, дедушка Сатон сначала было сомлел, но быстро взял себя в руки и собрал весь цвет нашего ИРП. Пришли самые широкие специалисты — этологи, биологи и генетики; очень широкие — ботаники и фаунисты; просто широкие — позвоночники и беспозвоночники; широкие, но поуже — жвачники, хищнисты, грызуноведы и пресмыкатели; узкие — волковеды, коровяки, козловеды, медвежатники, кинологи и котисты; самые узкие — овчарочники, болонеры, беспородники, кис-кисники, бело- и, отдельно, серомышатники и многие другие причастные к реставрации природы. И не зря собрались, ибо сломать всегда легче, чем построить. Пиф-паф — и вот уже нет красного волка. Трах-бах — и конец стеллеровой корове. Еще трах, еще бах, и ты! убил! последнего на Земле камышового кота. Небольшой такой, изящный и без хвоста... Ты скажешь: что мне камышовый кот, я и без него могу. Говори за себя, а не за всю планету. Земля без камышового кота не может! Для Земли камышовый кот такое же неповторимое дитя, как и ты, человек!.. Воссоздать утраченный вид так трудно, что удача становится праздником для всего человечества. А тут — тянитолкай...

Эмоциональная речь, украшенная добротными паузами, проникала в сердца слушателей. Алешка не так уж далеко отошел от истины. В общем, почти так оно и было. На чрезвычайном совещании в кабинете директора ИРП известные специалисты столпились вокруг лукошка, разглядывая сонного детеныша.

— Подумать только! — сказал директор.

— Н-да. — Ведущий специалист по зоогенетике откровенно чесал затылок. — Как правильно заметил доктор Сатон, — подумать только.

К столу протиснулся знаток палеофольклора,

в срочном порядке доставленный на совещание. Усилием воли он заставил себя подтянуть челюсть, в изумлении отвисшую на кружевной воротник.

— Тянитолкай! О нем мало что известно,— знаток поднял указательный палец, и все посмотрели на перстень с агатом.— Мало чего... Змей Горыныч, он же дракон,— это да, это получило отражение, равно как и пернатый змей у инков, именуемый Кетцалько-атль. Или серый, к примеру, волк. Хорошо разработан Конек-Горбунок, хотя источников по нему раз-два и обчелся. Жар-птица... она же у многих народов идет как птица Феникс, мне так кажется. Обратно единорог, он и в геральдику вошел... Саламандра тоже. Сивка-Бурка — вещий каурка, ну, о том многие слышали, он же конь ретивый, хотя эту точку зрения не все разделяют, дескать, конь ретивый крупнее и ест что ни попадя... Или Бедная Эльза, впрочем, это не то. Н-да. Царевна-лягушка, образ, можно сказать, тривиальный, равно как и Лебедь-птица. Вообще, эти метаморфозы, когда зверь превращается в человека, конечно, имеют нутряной аллегорический смысл, но лично мне чужды. Мне ближе всего дракон...

— Давайте советоваться, товарищи!— Сатон прервал затянувшийся экскурс в царство древнего фольклора.— Как быть? Они вон уже проснулись и моргают. Может, у кого есть вопросы? Вопросов нет. А я вот хотел бы спросить, да не у кого: какая из голов передняя? И бегает ли он, а если бежит, то куда? То, что у него хвостик сбоку посередке,— это обнадеживает, не правда ли!

Специалисты переминались с ноги на ногу, шумно дышали и ничего не говорили. Это они правильно делали: чего говорить, если нечего сказать. При сем присутствовала и тоже молчала инструктор дошкольного воспитания, сухая и торжественная бабка Марья Ивановна. Но тут она вмешалась, уверенная, что так и надо.

— Дите — оно и есть дите, его поить-кормить надо. Дайте сюда!

Она забрала лукошко и, никого не спрашивая, унесла. Все облегченно вздохнули.

— И присмотрите, пожалуйста, чтоб не разорвался, когда подрастет,— сказал ей вслед Сатон и сел за свой директорский стол.— Человека и того иногда разрывает... От противоположности устремлений.— И непо-

нятно добавил: — Ты смотри, что творят. Невзирая на перерывы в энергоснабжении.

— ...дракон,— от запятой продолжил знаток палеофольклора,— тот почти везде встречается. Расхожий образ и на Востоке, и на Западе. А что это значит? Значит, истоки в природе искать надо. Сейчас уже все согласны, что были драконы. Были! А может, и есть. В глубинке. А нет — так будут!

— При чем здесь драконы, не о них речь. С драконами все ясно. У нас на повестке тяни...— Сатон раздраженно постучал ладонью по столу,—... толкай. А не драконы. И давайте говорить по сути.

— Я и говорю: пусть из сказки. Но вы ж сами видели — сосет. Значит, реальный. А любое упоминание в фольклоре говорит о том, что корни явления надо искать где? Отвечаю: в природе. Пусть, пусть данное явление по сути сказочно, но ежели оно из природы, то снова может возродиться. В яви, спонтанно, или, проще, самопроизвольно. Есть мнение, что если в достаточно большом регионе возникает натуральная дремучесть, то она неизбежно порождает сказку, а с другой стороны — граница между сказкой и явью расплывается... У вас здесь, слышал, даже питекантропы возникли, чего уж дальше. А почему возникли? Отвечаю — от дремучести, и все тут! — Знаток задумчиво растягивал слова, глазки его затуманились, и чувствовалось, что тема дремучести ему близка.— Кондовость, я вам скажу, страшная сила. Раньше, согласен, на заре НТР, она была силой косной. Но развитие идет как? Отвечаю: по спирали. Выходит, и кондовость обратно стала силой, но уже прогрессивной, на другом уровне. В природу нам надо, вот куда. Глубже. И самим проще быть. Нутром понимать, а не задаваться вопросами. Хотя, конечно, нутром понять не каждому дано...

Сатон распушил бороду:

— Грехи, что ли, мешают? Как говорит Иванушка,— эгоизьм?.. Вы, случаем, не родственник Гигантюка?

Громовой хохот специалистов потряс стены. Испуганный Ворон сделал круг окрест резонирующей люстры.

Знаток обиделся, не понимая причин веселья. Тонкими пальцами он поправил жабо:

— Что кому мешает, то каждый сам о себе знает.

А дело в том, что гимн во славу кондовости, пропетый знатоком, почти дословно повторял высказывания Павла Павловича Гигантюка.

В свое время Гигантюк как-то изловчился попасть на руководящую научную работу: его, отовсюду убирая, постепенно повышали. Пал Палыч развил бурную организационную, а также интеллектуальную деятельность. Организационная свелась к внедрению в подчиненном коллективе почасового планирования, а умственная — к разработке ключевых руководящих фраз: я не готов обсуждать этот вопрос; вы меня не убедили; так что вы предлагаете?; вот так и делайте; нам, товарищи, надо по-большому; так что будем показывать?; здесь мы с вами недодумали; что-то мы давно никого не наказывали. Но прославился Гигантюк фразой:

— Здесь у нас, товарищи, при подведении итогов работы произошла утечка информации.

Естественно, руководимый коллектив был заблокирован; все непрерывно писали и согласовывали планы. На работу времени уже не оставалось. Наверху испугались и перебросили Пал Палыча на кадры. Коллектив ожил, но стало плохо с кадрами. Пришлось послать Пал Палыча в длительную и престижную командировку — не обижать же человека, который уже привык к руководящей деятельности. Но прошло четыре года, и снова возник вопрос, куда деть Гигантюка? Место нашлось на птицефабрике при ИРП... А дальше жизнь его оказалась странным образом связана с Заколдованным Лесом, ибо Гигантюк был инициативен, спервоначалу даже производил неплохое впечатление и очень хотел руководить научной работой...

Обо всем этом Нури узнал еще год назад, когда однажды он, охотник Олле, вент Оум и пес Гром пешком пересекали лесной массив ИРП. Оум, питекантроп в первом поколении из племени вентов, приболел и нуждался в квалифицированной врачебной помощи. Вент — начальные слоги «венца творения» — самое убедительное доказательство плодотворности многолетних усилий ИРП в деле реставрации природы. «Все,— говорили многие Сатону, а тот только посмеивался в бороду,— первобытность достигнута, если уж природа вновь обрела способность порождать перволюдей...» По пути из горной страны, где было пещерное

становище вентов, они огибали зону Заколдованного Леса, лежащую почти в центре массива. Нури тогда был здесь впервые и часто останавливался, разглядывая Заветные дубы, слишком подлинные, чтобы быть настоящими. Вдали, за бревенчатым тыном, виднелись крытые корьем избушки жилого центра Заколдованного Леса. Кто-то в полосатых портках и лаптях не спеша прошел к тыну вслед за Коньком-Горбунком, держа кнутовище на плече. Заскрипели деревянные ворота, открылись и закрылись за вошедшими. Опустился и снова поднялся колодезный журавель за тыном, было слышно, как захлопал крыльями и неурочно прокричал кочет.

— Дальше нельзя. У тех вон кустов проходит граница защитного поля.— Олле присел на пенек, потянулся.

— Добрая кобыла! — сказал Нури. Он прислонился лицом к защитному слою, ощущая его податливую упругость.

— Не кобыла это,— возразил охотник Олле.— Вид у него под кобылу. Сивка-Бурка это.

По ту сторону, совсем рядом, Сивка-Бурка пасся на поляне, заросшей аленькими цветочками. Услышав разговор о себе, он взбрыкнул задними ногами и поднялся на дыбы, показав серебряные подковы и розовое, в веснушках пузо. Потом он заржал и, склонив голову набок, прислушался к затихающим вдали перекатам собственного голоса. На морде его выражалась удовлетворенность достигнутым результатом.

Вент Оум рухнул на траву, зажимая ладонями уши. Гром непроизвольно присел, как для прыжка, и ощетинился. На голову Нури свалилось что-то мягкое и очень горячее и скатилось к ногам. Как сквозь подушку, донесся до него голос Олле:

— И вот так всякий раз. Как увидит посторонних, так и орет неожиданно.

— С ума сойти! — Нури массировал уши.— Кто б поверил, что у такой маленькой скотинки, всего-то с осла, может быть столь богатый голос.

— Это закон: чем меньше скот, тем больше крику.— Олле сдвинул палкой Жар-птицу, сбитую с небес ревом Сивки-Бурки, столкнул в ближайшую лужу. Птица зашипела и обдалась паром.— Оклемается. А вообще, защиту надо ставить двойную, а то из Закол-

дованного Леса недавно тютельки просочились. Теперь вот Жар-птица...

— Скажешь тоже,— Нури с опаской косился на Сивку-Бурку, но тот спокойно хрумкал траву.— Кто это может через защиту пройти?

— Проходят. Мне уже волхвы жаловались, да и сам вижу, часто не разобрать, кто нормальный мутант, кто оттуда.

Жар-птица выбралась из лужи, залезла в кусты и слабо светилась в темной зелени. Вент Оум с любопытством поглядывал туда, видимо, прикидывая, нельзя ли приспособить ее для освещения питекантропьей пещеры, все-таки со светляками много возни, а от костра копоть и дым.

Они встали и пошли дальше вдоль защиты. И, пока шли, Олле знакомил Нури с историей Заколдованного Леса.

Вольный охотник Олле поставлял Институту животных. Узнав, что где-то вне ИРП промышляет зверь, промышлять которому уже, по сути, негде, Олле являлся, догонял его, вязал и сажал в мешок. Потом дирижабль, карантин, прививки и — приволье ИРП. Живи в естестве своем, и одна от людей просьба — чтоб быстрей плодился и размножался. Олле был бесхитростен и могуч. Его пес Гром был свиреп с виду, но добр в душе. Олле дружил с воспитателями и очень помогал им, особенно во время заезда новых смен. Все дети Земли обучались общению с природой в центрах и филиалах ИРП...

Олле рассказывал Нури, что порядком времени назад, когда ИРП лишь разворачивал свою работу, лесной массив только набирал силы, а о вентах еще и слыхом не слыхивали, на птицефабрике ИРП было обнаружено яичко не простое, а золотое. Естественно, стали искать, кто его снес. День ищут, два ищут, неделю. Но пойди найди одну из десяти тысяч кур! Забой сразу прекратили, курятина в городке ИРП исчезла, но этого никто и не заметил, не до еды было. И тут пришел вундеркинд из местных, Алешки тогда еще не было. Вундеркинд вынул пальчик из носа и сказал:

— Удивляюсь я вам. Неужто неясно? Его снесла Курочка-ряба.

Дед плачет,— Олле имел в виду Сатона,— а курочка не кудахчет, ибо, святые дриады, за день до это-

го, несмотря за указание прекратить забой, в полупотрошеном виде попала на прилавок.

Пал Палыч Гигантюк, к тому времени уже директор птицефабрики, объяснил:

— Все куры у меня как одна, я зайду — замолкают. Догадывались: у меня это быстро, чуть что не так, завтра на прилавок, а кому охота? Потому и неслись хоть и по-мелкому, но часто. А эта все квохтала. Чем она там неслась, не знаю, может, и золотом. А только редко неслась. Показатель мне портила...

Сатон уволил Гигантюка за глупость. Формулировка была нетрадиционной, и Гигантюк явился к нему доказывать, что так нельзя, но в целом он готов обсудить этот вопрос по-большому, и если они в коллективе что-то недодумали, то только потому, что давно никого не наказывали, однако за этим дело не станет...

Сатон долго и внимательно разглядывал собственное отражение в зеркальных очках, без которых Пал Палыча ни разу никто не видел.

— Что, есть сомнение, Гигантюк? — спросил он.— Ну да, оно вам неведомо. Вы уникальны, Гигантюк. О вас и рассказать-то нельзя, никто не поверит.

Потом директор добавил, что да, за глупость действительно еще никого не увольняли. Ну, тогда что ж, напишем так: уволить за показуху... С этим Пал Палыч спорить не стал. И вскорости, неугомонный, выдвинул лозунг: Курочку-рябу воссоздать, и будет каждому по яичку, а это хорошо!

Почему, собственно, хорошо и зачем каждому золотое яичко — об этом как-то не задумались, но кое-где Гигантюка поддержали и разрешили. Одни говорят, что ключевые фразы где-то произвели впечатление, другие утверждают, что Сатону был звонок. А скорее всего перегруженный делом директор не стал связываться с Гигантюком, но впредь в превентивном порядке вопросы подбора кадров целиком сосредоточил в своих руках.

Пал Палыч же быстро сколотил группу энтузиастов из тех, кого забраковал Сатон, и увел их в массив.

— Всякая там генетика-кибернетика, подумаешь! Если по-большому, то еще надо разобраться, не лже ли это науки. Я вам скажу, ты мозги мне наукой не мути, ты продукт дай,— говорил Гигантюк.— Золотое яичко — это продукт. Он что, из генетики? Нет уж. Из «жили-были дед да баба», вот он откуда. А что для этого

надо? Нет, что вы предлагаете? А я говорю, проще надо, чтоб всем понятно было. Усложнять не надо. Возьмем, к примеру, домкрат. Он что? А он, товарищи, тяжелый. Значит, что? Значит, облегчить надо, вот задача, прямо хоть конкурс объявляй, а? Я вот, помню, по этому поводу мозговую атаку возглавил раз. Собрал ведущих дубарей и возглавил. Правда, в тот раз атака была отбита, но метод хорош. Конечно, насчет Курочки-рябы — здесь мы с вами недодумали, но если, товарищи, по-большому, то нам было что показать. Она-то ведь при мне неслась! Я сейчас не готов досконально обсуждать этот вопрос, но знаю: в природу нам надо. Кондовость, я вам скажу, это сила. Это нутром надо понять.

В очках Гигантюка отражалось ясное небо, а под очки — почему-то страшно было — никто не заглядывал. Энтузиасты молча сопели. Как-никак, они уже были отравлены ядом генетики-кибернетики и плохо представляли связь между посконным бытием и золотыми яйцами. Но сама идея — опроститься и двинуть назад — им в общем нравилась. Сгоряча они сварганили в глубине массива поселок и, чтоб не было утечки информации, обнесли его тыном.

Когда необходимый жилфонд был создан, Пал Палыч перво-наперво выделил квартиры своему неженатому сыну и незамужней дочери, вырубил ближнюю рощу, на ее месте поставил обелиск с лозунгом: «Достижения — в жизнь!» Потом присмотрел себе пять заместителей из числа бессловесных. Пять — это очень престижно, поскольку сам Сатон имел всего трех. Пропитание энтузиасты добывали в лесу, Пал Палыч и заместители кормились возле них. Вся эта компания благоденствовала под сенью дерев и на лоне природы довольно долго. К приезду ревизоров Пал Палыч — итак, что будем показывать? — организовывал выставку достижений. Впрочем, ревизоров у самого тына перехватывал зам, который в совершенстве умел с ними обращаться. Экспонаты выставки, заключенные в поставленные на попá железные агитсаркофаги, мирно пылились в темных коридорах до следующей ревизии.

Гигантюк берег себя и периодически ложился на профилактику. Он также любил хорошо пúтаться, хотя это плохо влияло на окружающую среду. Сатон некоторое время терпел браконьерство. До тех пор, пока Гигантюком не был съеден на закуску шмазёл-

козлокапустный гибрид — гордость ИРП. Тогда директор рассвирепел и накрыл поселок с прилегающей территорией защитным полем. Монумент с лозунгом оказался по ту сторону завесы и был убран. Жителей перевели на централизованное снабжение едой, а Гигантюка Сатон уволил своей властью без права восстановления в ИРП. Впрочем, Гигантюк сказал, что его еще позовут и тогда посмотрим. В ожидании этого он пребывал в поселке, заняв свободную хату с краю. Часть энтузиастов, оставшись без привычных шашлыков, запросилась обратно в цивилизованные края и была отпущена. Другие, с трудом, но поверив, что Пал Палыча не будет больше, эмансипированно набросились на работу и в короткий срок кое-что сотворили. Про Курочку-рябу как-то забыли, а вот птица Рух получилась. Зверовидная, с огромными окороками, вполне пригодными для копчения. Видимо, без генетики здесь все же не обошлось, хотя разработчики опять-таки напирали на кондовость...

Тут Олле прервал свой рассказ, ибо Заколдованный Лес уже остался позади.

Малыша тянитолкая приходилось кормить сразу с обоих концов и из двух сосок. Из одной было нельзя, каждая голова норовила наесться первой, и они только мешали одна другой. А вот сейчас все было в порядке и было видно, что он толстенький, и было приятно трогать его. Вытянувшись, он от носа до носа имел длину полметра.

— Аршин,— сказал вундеркинд и акселерат Алешка, быстренько меняя опорожненную бутылку.— Тянитолкая нельзя мерить на метры.

Вокруг низкого стола из струганых досок, на котором осуществлялось кормление, толпились экскурсанты. Средняя группа, шесть-семь лет. Кормление зверят входило в программу экологического обучения детей, проходящих обязательный двухмесячный курс воспитания при ИРП Этому делу Совет экологов придавал не меньшее значение, чем самому процессу реставрации природы.

Ребятишки не дыша разглядывали диковинного теленка и безнадежно завидовали Алешке, ответственному за уход. Право вундеркинда на исключительность никто не брал под сомнение, ибо его энциклопедические познания были общеизвестны. Алешку уважали не только люди из городка дошкольников, не только со-

трудники океанского центра ИРП, но и звери и птицы. Конь позволял ему взбираться на себя, пес Гром, тигриный выкормыш, всегда был рад встрече с ним, а марсианский зверь гракула радостно уплощался, когда Алешка гладил его. Зверь этот, приспособленный к суровой жизни в пустынях на марсианских полюсах, быстро прижился в детском городке и лучшим местом обитания считал песочные кучи на игровых полянках...

Сытый тянитолкай сразу заснул. Экскурсанты, нереговариваясь шепотом, вволю глазели на него, пахнущего молоком и пеленками. Детеныш подобрал под себя, согнув в коленках, ножки с еще мягкими копытцами, свернулся бубликом и уткнулся носом в нос. На створке открытого окна сидел вездесущий Ворон, ему сверху было видно все как есть.

— Р-р-редчайший экземпляр-р! — неожиданно для самого себя возопил Ворон. Обе головы тянитолкая сонно зачмокали.

Обеспокоенная карканием, в комнату вошла Марь Ванна, инспектор дошкольного воспитания.

— Триста лет прожил, мог бы и соображать кое-что.— Она уткнула в сторону Ворона костлявый палец.— Дите спит, чего орать? И вообще, посторонние могут быть свободны. Режим прежде всего. Кому из вас понравится, чтобы его спящего разглядывали?

Когда все вышли и остались только Марь Ванна, Алешка и вент Оум, детеныша острожно переложили в плетенку, унесли в вольер, накрыли байковой попонкой и оставили в покое...

Перед сном, когда, поставив защиту от ночных насекомых, воспитатели уходили к себе, в спальнях велись странные разговоры. Рассказывали, что Алешка запросто бывает в Заколдованном Лесу, что черный пес Гром разговаривает не хуже Ворона, но скрывает это, что тот дядя Иванушка, который принес тянитолкая, действовал по наущению Алешки. И он же по ночам закапывает в песок неожиданные деревянные игрушки. А в Заколдованном Лесу работают над воссозданием сказочных форм жизни, причем пользуются старинными рецептами, в которых зашифрованы составы весьма эффективных мутагенов гарантированного действия. Конечно, хорошо бы там побывать, но Сатон никого в этот Лес не пускает, потому что, смешно сказать, боится за неокрепшие детские души... Тянитолкай, говорили еще в спальнях, ненормально толст, его перекармли-

вают. Потом кто-то высказал мнение, что а вдруг это животное вообще не взрослеет? Вот здорово было бы!..

А в это время Нури и Алешка прогуливались перед сном неподалеку от вольера, ожидая часа, когда надо гасить высоко подвешенные над крышами светильники.

— Представляешь, Нури, целый муравейник дюймовочек! Не совсем муравейник, а так, пень, здоровый такой. И домики, домики — как опята. Под двускатными крышами.

— Сам придумал? — Нури со светлой завистью оглядел акселерата.

— Не веришь? А это видел? — Алешка достал из-за пазухи берестяной свиток. Развернул. Старославянской вязью там было написано:

«К жителям зоны. Обращение. Созрели дюймовочки. Кто хочет видеть и помочь пусть приходит босиком и натощак как прокричит первый кочет. Сбор насупротив колодца по ту сторону тына где доска отходит».

— Сам, что ли, писал? Стиль хромает на обе ноги. Чему вас только в школе учат?

— Что уж ты, Нури! Иванушка дал. А в школе действительно... по двенадцать человек в классе. Я у него недавно в гостях был.

— Учителей не хватает, слишком высокие требования... В зону-то как попал? Через силовую завесу?

— Это от вас завеса, от взрослых. А народ там вполне, хотя немного замкнутый. Ну да ты быстро привыкнешь.

— Как это я привыкну, с чего бы я привыкал? Да и не пройти в зону.

— Это правда, взрослому не пройти. По двум причинам. Первая: взрослый все равно ничего не увидит А вторая: если и увидит, так не поверит. Ну и нечего зря...— Алешка помолчал, а потом спросил, глядя в сторону: — Ну так что, пойдешь?

Дюймовочки, подумал Нури, целый муравейник...

— Я ж взрослый.

— Пусть это тебя не волнует, воспитатель Нури. Марь Ванна сказала, что ты никогда не повзрослеешь. О тебе там знают. На тебя там надеются...

Они остановились у вольера, в котором жил тяни-толкай. Прежде чем окончательно улечься, тот пощипывал стриженую травку. Опасения Сатона, что он разо-

рвется, к счастью, не оправдались: тянитолкай передвигался подковкой параллельно сам себе, так что каждая пара ног у него была передней.

К проволочной ограде прижался медведь, не спуская глаз с теленка. Ворон гулял по верху ограды, а со стороны, противоположной медведю, неподвижно стоял золотой конь — белая грива и таращился на тянитолкая. Днем его долго рассматривала лосиха с детенышем, потом она ушла. Охотник Олле рассказывал, что из леса приходили волки, только ночью, чтобы их не видели, и тоже смотрели. Теленок был пузатенький, ленивый и с плохим аппетитом. По-настоящему оживляется он, только когда рядом был пес Гром, и это многих удивляло: травоядный тянитолкай льнул к собаке, а ведь она ни дать ни взять хищник, о чем мы порой забываем...

— Значит, договорились, да? Завтра за тобой зайдет Гром. Как услышишь рык неподалеку, сразу выходи. За малышей не беспокойся, я тебя подменю на время отсутствия.

Грому рычать не пришлось. Сразу после утреннего обхода спален, еще до побудки, Нури связался по видео с директором. На голоэкране дед хорошо смотрелся, только борода его расплывалась у границ сфероида.

— В сказку? — Сатон отделил от бороды волосок, задумчиво накрутил на мизинец. — Иди непременно и немедля. Я, знаешь, пытался — не прошел. Энергию просят, дай. Реактивы дай. Программное обеспечение дай, а как сам захотел, представь, замялись. Излишне, видишь ли, рационален... Это правда, что есть, то есть. Конечно, сейчас Василиск объявился, призадумались, тебя вот сами зовут, — Сатон вздохнул. — Тонкое это дело... воссоздание. Что-то у них там заклинило. Разберешься — помоги.

Из поселка Нури и Гром двинулись налегке, забирая все глубже в лес. В чистом сосняке, почти свободном от подлеска, легко дышалось. И было хорошо бежать по упругой хвое. Через частые ручьи — выдрята прятались в ближайших кустах — Нури переходил, не снимая плетенных из кожи постол и обсыхая в движении. Было много птичьего гомона, но непривычно мало зверья: большинство копытных и почти все хищники обитали в лесостепи, саванне, окружающей лесной массив.

Постепенно лес густел, и на четвертом часу Нури, отвыкший от регулярных занятий, перешел на быстрый шаг. Травы до колен, вьющиеся растения и кустарник мешали бегу. Собаке, конечно, было легче: росту поменьше, а ног вдвое больше. Но и пес, не умея потеть, уже вывалил язык. Вплавь — Нури порадовался, что руки свободны,— пересекли длинное озеро и недолго отдохнули на знакомом пляжике.

Неподалеку в основании полого-скалистого холма выпукло шевелилась покрытая звездами тяжелая синяя занавесь, прикрывавшая вход в пещеру. Отшельник, видимо, ушел по делам, иначе он не преминул бы посидеть рядом, погладить пса и накормить их свежим хлебом с молоком. Из пещеры доносился храп льва Варсонофия, который не любил, чтобы его будили. Нури посидел за столом под навесом, где стояла остывшая русская печь, и ему от этого безлюдья стало как-то грустно. А скорее всего он просто надеялся поесть у Отшельника и был разочарован слегка, не застав того дома. Вообще-то для Нури обходиться без пищи три-четыре дня было привычно, ибо каждый воспитатель, чтобы поддержать физическую и духовную форму, не ел один день в неделю, три дня подряд каждый месяц и подвергал себя очистительному абсолютному двенадцатидневному голоданию раз в год. Все это так, но все же...

За маленькой рощей акаций на обширной поляне паслось смешанное стадо антилоп и зебр — полудомашняя скотина Отшельника, крупнейшего, если не единственного на планете специалиста по психологии сытого хищника.

«Сытый хищник,— вспомнил Нури рассказы Отшельника,— это совсем не то, что голодный. Он не кусается, и в этом его главное отличие. Возьмите меня, я десять лет разделяю эту пещеру со львом, и хоть бы что, и ни разу, а!»

Далее Гром повел путаными тропами через сплошные джунгли, темные внизу и душные. Казалось, нет конца этому буйству непроходимой зелени. Сверху доносились немелодичные вопли, но Нури, снимая с потного лица липкую паутину, уже не интересовался, кто кричит и почему. Под ногами хлюпали раздавленные грибы, одуряюще пахли белые мелкие орхидеи на гниющих поверженных стволах. Еще год назад они с Олле и вентом Оумом проходили здесь свободно. А как же ночью и без собаки? А волхвы? Они-то меся-

цами не выходят из леса... Нури вспомнил, что на последней конференции волхвы и дровосеки говорили, что в массиве реставрация природы закончена полностью; внизу уже делать им нечего, там все идет само собой, и можно ограничиваться только воздушным патрулированием. Сатон, помнится, спорить не стал. Он просто прочитал, причем монотонно и без выражения, список исчезнувших растительных форм. И, вооружившись этим руководством к действию, волхвы и дровосеки быстренько вернулись в свои дебри на рабочие места.

Наконец джунгли кончились и путники вышли к реке. На той стороне раскрылась холмистая равнина в зеркалах небольших озер. Она уходила вдаль, украшенная редкими дубравами, а за ними и над ними у горизонта переливался радужными бликами в закатных лучах заслон силовой защиты Заколдованного Леса.

Гром скоро нашел брод, и, ступая по округлым скользким валунам, Нури думал о необъятности территории ИРП и о том, как же это Иванушка добирался отсюда в одиночку, да еще с лукошком в руках, железный парень. А Алешка? Это просто невероятно, или, может быть, он тайком пользуется махолетом? С него, вундеркинда, станется... Нури разделся и вытряхнул одежду. Потом нашел маленький заливчик и долго смывал с себя запах снадобий от насекомых. Затем он вымыл пса, еще раз искупался сам, лег на теплый песок и заснул на часок.

Свежие и отдохнувшие, Нури и пес бодро шли по зеленой равнине. По мере приближения к Заколдованному Лесу дубравы и рощицы эвкалиптов стали попадаться все чаще. Нури снизил темп движения: куда спешить, ведь Алешка предупреждал, что защитный слой местами становится проходим ближе к ночи, а где о том знает Гром...

Внезапно пес на секунду обернулся, и Нури застыл, теперь это был сгусток злобы и тревоги, он пятился, рыча, пока не коснулся ног Нури. Что-то случилось впереди. Нури ощутил, как уходит покой и предчувствие — нет, не опасности, а неотвратимой смерти — охватывает его. И острое, неодолимое желание бежать отсюда подальше. Он положил руку на жесткий загри-

вок собаки и медленно двинулся вперед, наклоняясь под низко свисающими ветвями. И увидел.

На поляне, метрах в двадцати от туманной к вечеру завесы силовой защиты, прижался крупом к сухому дубу-гиганту белый единорог. Спина его была изогнута, светились рубиновые глаза, а рог, прямой и длинный, был опущен к земле. В позе зверя угадывалось напряжение битвы, земля вокруг была изрыта и раскидана. Нури долго вглядывался, затаив дыхание. Единорог был неподвижен; когда повеял случайный лесной ветер, часто блуждающий меж стволов спящего леса, грива его не шевельнулась. Какое-то подобие догадки мелькнуло у Нури, и он, крадучись, стал приближаться к зверю. Гром вновь издал предостерегающее рычание, но двинулся рядом и чуть впереди. Трава, пожухлая странными полосами и проплешинами, неприятно хрустела под ногами, пес старался не ступать на нее.

Они подошли совсем близко, единорог не шевельнулся. Тогда Нури коснулся его рукой и тут же отдернул ее. Ибо под рукой был камень.

Значит, кто-то изваял эту скульптуру, какой-то гениальный художник подсмотрел в своем воображении облик прекрасного сказочного зверя, воплотившего в себе грацию коня и мощь древнего тура. Но почему тревожен Гром? И не от скульптуры же исходит ощущение угрозы!.. Нури сидел в сторонке по-турецки, обняв пса и подавляя властную потребность оглянуться. Чувство страха было непривычно, оно воспринималось как еще одна загадка среди многих. Почему скульптура установлена в совсем неподходящем месте? Что означают эти полосы усохшей, почти обгорелой травы и спиральная линия ожога на стволе дерева?

Полосы на траве уходили под кусты у самой границы завесы, и Нури подумал, что в Заколдованный Лес должна быть и еще какая-то другая дорога.

Пес встал и заглянул Нури в глаза: может, пойдем? Темнеет...

— Ладно, веди.

И они пошли по извилистым тропам, удаляясь от странной скульптуры, и тревога постепенно вытеснялась привычной уверенностью. Мир стал, как и прежде, понятен, загадки отошли на второй план, и снова приятно было идти по мягкой траве и ощущать рядом

невидимого в густеющей темноте черного пса. Нури прислушивался к шорохам и странным крикам вдали, разглядывая плывущую низко над лесом полную красную луну. Подумал: если Алешка и его друзья тоже вот так ходят по ночному лесу, то сопровождает их, видимо, Гром? И почему он, воспитатель, столь поздно узнает об этом? Игра в тайну? Но почему игра, тайна-то вполне настоящая.

В свете луны завеса потеряла радужность и воспринималась как прозрачный белый туман. Пес вошел в него, а следом и Нури, понимая, что если заговорит сейчас, то пес уже не станет молчать, как обычно... Гром на ходу прижался к ноге Нури.

— Добрый человек и собака поймут друг друга и без слов. Но иногда так хочется поговорить, а не с кем. Говори, Нури, и я тебе отвечу.

Нури не удивился. Ощущение сказки уже овладело его сердцем. Он много раз видел, как охотник Олле разговаривал со своим псом вслух и Гром там, вне сказки, отвечал ему молча. А в Заколдованном Лесу собака, естественно, и должна говорить...

— Ты уже был здесь?

— Много раз.

— Все-таки защита, завеса, а мы идем свободно...

— Если ночью и с тобой, то можно. Дети проходят.

— Но я взрослый.

— Ты веришь в сказку.

— Не понимаю...

— Тогда не знаю. Ведь я только собака, хотя и большая. Скажи, Нури, тебе иногда хочется повыть? Попросту, по-человечески?

— А что?

— Ну, мне интересно. Олле, например, никогда не воет.

— Если я скажу, что не хочется, ты поверишь?

— Нет.— Пес надолго замолчал, поглядывая снизу на человека.— Мне хорошо, когда Олле рядом, но он часто уходит без меня, и тогда я вою. У тебя тоже кто-нибудь уходит? Ну, тот, кого ты любишь?

Нури не ответил на вопрос, а мог бы. Если кому человек и верит без остатка, то, конечно, собаке. И кто видел собаку, что не оправдала доверия?

Там, где они шли, туман светлел, и близкие звезды светили им, и вздрагивали вслед шагам махровые рома-

шки. А в конце прохода откуда-то сверху спланировал Ворон и сел на плечо Нури.

Это наш Ворон,— сказал Гром.— Тот самый.

Нури поднял руку, и Ворон ущипнул его за палец.

— А почему молчит?

— Умный.

Здесь, в Заколдованном Лесу, было гораздо светлее и от луны, и от голубого свечения Жар-птицы, расположившейся неподалеку на яблоне. В клюве у нее был зажат длинный стебель какой-то травы, надо думать, приворотного зелья. А под яблоней был сооружен очень широкий котел с низким помостом вокруг. Возле помоста стояла дубовая бадья и висел долбленый ковш. Под котлом вспыхивали редкие угарные огни, и тогда в котле что-то взбулькивало, и лопались пузыри, выпуская пахучий пар. Большой сруб с мелкими окошками виднелся неподалеку, а на веревке между срубом и яблоней висели пучки травы, пристегнутые бельевыми прищепками. Под тускло светящимся окошком сидел ничего себе Серый Волк, мерцая зеленым исподлобья взглядом. Гром было ощетинился, но, принюхавшись, вильнул хвостом и убежал в полумрак, откуда доносилось громкое хрумкание и что-то похожее на скрежет зубовный.

Потом из темноты оформился Дракон, вытянул длинную шею к котлу, и Нури застыл как завороженный. Не то чтобы Дракон поражал воображение, скорее наоборот. Голова его была такой, какой и должна была быть. Разноцветные чешуйки, каждая с ладонь, покрывали ее, и только ноздри казались бархатными, да отвисала мягкая нижняя губа, обнажая полуметровые плоские белые резцы жвачного животного. В кошачьих зрачках отражались языки костра. Туловище было плохо различимо, но Нури снова охватило ощущение ужаса, первобытного и дремучего. Борясь с дурнотой, он похлопал Дракона по влажной ноздре:

— Ну чего уставился?— Вытер пот со лба, чувствуя, что уже надоело бояться. Боялся неизвестно чего там, на поляне с единорогом, испугался травоядной скотины здесь, где по законам сказки страхи не должны пугать. А тем не менее холодный пот за ушами— вполне настоящий! Дракон покосился на Нури, выдохнул струю горячего воздуха, пахнущего распаренной травой.

— Уууууу?..— Низкий гул заполнил пространство.

— Чешите грудь! — донесся из темноты могучий бас. — Чего «у», спрашивается, сроков не знаешь?

Дракон вздрогнул и попятился в темноту. Нури машинально зачерпнул ковшиком из бадьи, заставил себя выпить. Молоко? — вяло подумал он. Но пахнет медом или нет — липовым цветом... Страх отходил, словно светлый огонь пробежал по жилам. Нури осушил второй ковшик и засмеялся.

Заскрипела дверь, и из сруба вышел Иванушка с большой, похожей на весло поварешкой. По дороге он снял пучок травы, залез на помост и долго помешивал варево. Потом, наморщив лоб, осмотрел пучок, отделил травинку, остальное бросил в котел. С хлюпанием лопнул большой пузырь.

— Три-четыре! — заорал Ворон над ухом Нури.

Жар-птица вздрогнула, распустила крылья с малиново светящимися подмышками и уронила в котел свое зелье. Только теперь Иванушка заметил гостя.

— Мир вам, мастер Нури. Садитесь, прошу.

— А что в котле? — шепотом спросил Нури.— Видимо, живая вода, а?

— Сие тайна великая есть.— Иванушка шуровал мешалкой.— Но вам как гостю скажу: обычный первичный бульон. Состава его действительно никто не знает. А только, как написано в букварях, из него все вышло...

Он принес и опустил в котел одним концом шершавую доску, оперев ее на край.

— Ага,— обрадовался Нури.— Понятно, полезем в котел омолаживаться... Мне уже пора, да?

— Нет.— Иванушка не поддержал шутки.— По доске из котла вылазит что получилось. Ну а ежели оно совсем маленькое, то дуршлагом вылавливаем.

— Живое?

— Чаще все же семена. И вот тут гадать приходится, то ли в землю закапывать, то ли на ветер пустить, то ли в ручей кинуть. Экспериментируем. То ли птице дать склевать? А ежели колючее, то куда цеплять для дальнейшего разнесения, то ли на хвост собачий, то ли на бок телячий?

— Скажите, какие сложности!

— То-то. И какой тут фактор влияет, никто сказать не может. Действуем методом ползучего эмпиризма при полном отсутствии теории. Я бы сказал, методом научного тыка.

— И не знаете, что получится?

Иванушка отставил мешалку, усмехнулся.

— А вы, Нури? Вы всегда предвидите последствия своих действий? Хотя бы в деле воспитания? Не отвечайте — это я просто так спросил. Если метод не формализован, то предвидение результата — дело статистики, а в биологии, как и в воспитании, флуктуации способны исказить любую статистику. В общем-то, это меня мало трогает: не терплю формализаций. Как и вы, да? Иначе с чего бы вы из кабернетики, из царства формальной логики, ушли в столь недетерминированную область деятельности, как воспитание? Не отвечайте, это я просто так спросил... Что больше всего пленяет меня в гносеологии, так это идея о бесконечности познания. Как это утешительно — не все знать. Вот видите, я дуршлачком снимаю пену с навара и — на холстинку ее. Высохнет — будет коричневая пыль. Ан нет, не пыль это! Пыльца. Махнет Дракон крылом — вихрь будет, разлетится пыльца и на окрестные цветы осядет, а что из того выйдет — и сказать никто не может. А мы потом ходим, смотрим и удивляемся, а что чему причиной — того не знаем.

— Идите к черту, Ваня... Вы мне так мозги заморочили, что я и впрямь поверил. Мне говорили, что у вас здесь те же установки, что и в остальных лабораториях ИРП. Только методики, подозреваю, у вас другие. Я бы сказал, не совсем корректные...

Из кустов появился некто грубый и ужасный обличьем, босиком и в переднике из меха чучундры.

— Дядя Митя, и вы тут! — воскликнул Иванушка. — Вот не ждал. А что, опять на болото лазили, да?

— Об чем ты? Буде болтать при людях.

— Поздоровайтесь с гостем, дядя Митя. Это воспитатель дошколят Нури из ИРП.

— А я Неотесанный Митяй. Леший, значит.

— Настоящий? — Нури пожал твердокаменную пятерню, удивляясь ее силе.

Леший не ответил на вопрос, он разгладил бороду, посыпались зеленоватые искры.

— Трещит, проклятая. Потому — все вокруг электризовано. От бороды наводки, работать невозможно. Кругом помехи. — Неотесанный Митяй засопел, полез в карман передника и стал что-то перебирать мосластыми пальцами на черной своей ладони.

— А сбрить? — не подумав, предложил Нури.

Неотесанный Митяй долго смотрел, как лопаются в котле пузыри.

— Пусто тут у вас,— ни на кого не глядя, молвил он.— Отойду вот в сторонку, семечко посажу, а? Интересуюсь задать вопрос: и за каким лешим тебе, Ванюшка, воспитатель понадобился? Это ж надо — сбрить...

— Ну, не всяко лыко в строку, дядя Митяй. Непривычный он к нам. А так ничего. Алешка говорит — чист сердцем.

— Чешите грудь. Старик Ромуальдыч вон тоже чист, а толку?

— Нури — кибернетик. Один из лучших кибернетиков планеты.

Леший пригляделся к Нури и вроде как помягчел. Он полез ковшиком в бадью, пошаркал по дну, ничего не достал и вздохнул:

— И на ночь не хватило, не надоишься... Кибернетик — это хорошо. Это для нас в самый раз. Ежели у тебя, Ванюшка, в котле семена возникли, дай немного, а?

— Дам, конечно, как не дать.

И снова озноб пробежал по спине Нури, и он, не поворачиваясь, почувствовал горячее дыхание Дракона. От кустов донесся вопросительный рев:

— Уууууу?

— Что «у»?— могуче закричал Неотесанный Митяй.— Будет тебе «у» после третьего кочета. И не вибрируй перепонками, тоже мне — пугало!

Дракон удалился. Нури понял это по наступившему в душе покою. Где-то неподалеку слышались громкое сопение и стук, словно скелет падал с сухого дерева, но эти звуки после Драконова присутствия просто ласкали слух.

— Вы б шли, дядя Митяй. А то как бы ваши рогоносцы не повредили друг друга. Слышите, опять дуэль затеяли.

Леший сложил семена в карман передника, тяжело поднялся.

— И то... пойду. Только не рогоносцы это, Ванюшка, сколько можно говорить. Единорог, самый благородный зверь из живших на земле.

— Бадейку-то заберите, второй кочет уже кричал.

— Сам знаю. Эх, не по специальности вы меня, чешите грудь, используете. Ладно, пойду... А вы, Нури, видать, к нам надолго. Еще, выходит, свидимся.

— Что значит надолго?— спросил Нури, когда Леший ушел.— Как это надолго?

— Э, сколько захотите, столько и пробудете. Вот вы тут о некорректности методик говорили. Вы что, и в генетике специалист? Разбираетесь в трансцендентных мутациях?

— Не сподобился,— хмуро буркнул Нури.

— Не сердитесь, просто я хочу сказать, что неизвестно еще, чьи методы лучше. Вы там бьетесь над восстановлением исчезнувших реальных форм, а все равно вынуждены часто удовлетворяться похожестью, внешним сходством. Так ведь? Ибо если утерян генофонд, то воссоздать животное уже невозможно. Природа-то миллионы лет тратила. А мы... За сотню лет уничтожили, а за десяток восстановить хотим...— Иванушка склонился над котлом, заработал весломмешалкой.

— Не узнаю я вас, Ваня,— задумчиво произнес Нури.— У нас там вы вроде совсем другой были и подругому речь вели.

— Образ обязывает, сложившийся в детском сознании стереотип. Иванушка как-никак... Хотя, с другой стороны, известен и Иван-царевич.— Тут речь Иванушки потеряла стройность. Словно спохватившись, он забормотал:— Не нам судить, сами в эгоизьме погрязли, в самомнении... Нам, наприклад, легче, ибо мы не ведаем, что творим. Потому — люди мы простые. От этой, от сохи, выходит.

— И Ромуальдыч от сохи?

Иванушка подождал, пока Нури отсмеется.

— А что? Ромуальдыч, между прочим, обеспечивал. Он и сейчас еще вполне может.

Раным-рано сидел Нури на крылечке избы, в которую его определили жить. Крыльцо, еще влажное от росы, выходило прямо на улицу поселка. Нури уже вымылся по пояс колодезной водой, на завтрак выпил малый ковшик драконьего молока и вот сидел, прислушиваясь к новым ощущениям. Кровь бежала по венам, и он чувствовал ее бег, мышцы просили дела, а мысли возникали четкие и добрые. Еще когда Нури только досматривал предпробудный сон, неслышно прибежала Марфа-умелица, прибралась в горнице, задала курам

корм, что-то мыла и чистила, хлопотала и так же неслышно исчезла, ушла по своим делам.

Редкие прохожие здоровались с Нури, говоря: «Утро доброе, воспитатель Нури!» И Нури отвечал: «Воистину доброе».

Было слышно, как на заднем дворе Свинка — золотая щетинка рылась в приготовленной для удобрения огорода навозной куче — конечно в поисках жемчужного зерна, а что еще можно там найти? На коньке соседней крыши вездесущий Ворон, склонив набок голову, слушал песню скворца. Допев, скворец слетел на грядку, где его ожидали дождевые черви.

— Мастер-р-р! — одобрительно произнес Ворон.

Когда люди прошли, Нури обратил внимание на пегого котенка, что сидел на перильцах.

— А кого мы сейчас гладить будем? — тонким голосом спросил Нури. Котенок спрыгнул ему на колени.

— Меня-а.

— Говорящий? — приятно изумился Нури.

— Не-е-е.

Притворяется, подумал Нури. Чтоб не приставали с вопросами, а сам, конечно, говорящий.

Поселок, отгороженный тыном от остальной территории, насчитывал десятка три рубленых изб, разбросанных там и сям. Единственная улица изгибалась причудливо, то вползая на пригорки, то сбегая в низинки, заросшие травой-муравой и аленькими цветиками. Протекал через поселок прозрачный ручей, но жители почему-то брали воду из колодца с журавлем. Ворота в ограде были широко распахнуты, и Нури видел, как в них вошел человек, длинный и тощий, босиком, в коротких трусах и майке. На плече он нес два толстых чурбака. Усы тонкими стрелками торчали по обе стороны носатого лица, и если бы еще эспаньолку, небольшую такую остренькую бородку, то можно было бы принять его за Дон Кихота.

— Вот и дело мне. — Нури вернул котенка на прежнее место и вышел навстречу. — Позвольте, я вам помогу. — Он принял на свое плечо оба чурбака и пошел рядом. — Здравствуйте, я Нури.

— А чего б не помочь? Старому мастеру надо помогать, а то все заняты, всем не до меня... Здравствуйте, Нури. Меня зовут Гасан-игрушечник, и моя мастерская вот здесь. Спасибо, мы уже пришли... Нет, не сюда, кладите под навес, я сейчас закрашу охрой торцы,

чтобы не растрескалось, и пусть дерево сохнет. Сейчас, конечно, где Василиск прополз — зло порожденное, — там и сухостой, вроде как пожаром тронутый. Мне говорят: бери. А отравленное дерево для игрушки непригодно, как такую ребенку дашь. Может, зайдете в помещение? Я покажу вам игрушки, вы ведь любите игрушки?

Нури любил игрушки, но он ждал Иванушку и потому пожелал мастеру приятной работы, собираясь уйти. Он обещал прийти потом, надолго, чтобы насладиться беседой и созерцанием без спешки.

— Подождите, Нури. Взгляните хоть на это.

Мастер держал на ладони деревянного зверя — и ощущение возвращенного детства, ощущение неповторимости мгновения овладело душой Нури. Зверь светло щурился, причудливо изогнув спину. Его лапы, мохнатые снизу, с пухлыми подушечками, опирались на растопыренные пальцы мастера, тело было мускулисто и волосато, и веяло от него этакой уверенностью и бесстрашием. Конечно, такой зверь должен быть... он есть где-то здесь, в сказке... а мастер подсмотрел и перенес, ибо такое нельзя выдумать. С тихой радостью рассматривал Нури игрушку, представляя реакцию своей ребятни, особенно теперь, когда дети познакомились с тянитолкаем и восприняли его...

— Спасибо, мастер! — Нури прижал руку к сердцу. — Но откуда это у вас берется?

— Разве я знаю? На этот вопрос ни один мастер не ответит. Но я думаю, что в каждой коряге, в любом чурбаке заключен свой неповторимый образ, надо только догадаться какой и высвободить его. Догадался, ощутил — это главное. А остальное — дело техники. Я вот эту загогулину нашел, так сразу почувствовал: в ней кто-то есть. Но кто — еще не знал. Образ возник потом, когда у пас тянитолкай появился... Вы поняли, Нури?

— Нет. Но я чувствую... это близко мне, мастер. И много у вас таких зверей?

— Увы, это единственный экземпляр, как и все мои поделки. Он непригоден для массового тиражирования. Ну сколько детишек подержат в руках этого зверя?

— Это неважно, мастер. Когда речь идет о красоте, бывает достаточно просто знать, что она где-то есть. Скажите, а вы посещаете нас там, ну, в реальности? Иногда у нас появляются чудо-игрушки. Дети гово-

рят: утром пришли и увидели. Или, говорят, в песке откопали...

— Все Иванушка. Он забирает игрушки и уносит к вам. А я нет, я только здесь. Зачем и что мне там?..— Мастер посмотрел через плечо Нури и без выражения добавил: — А вот и Кощей Бессмертный. Зло изначальное.

Нури обернулся. Кощей стоял посередине улицы, и больше на ней никому места не было. Он был упитан, коренаст и монументален, а роста ниже среднего. Та часть, которой он ел, была хорошо развита и производила сильное впечатление. Та часть, которой он думал, была узка. Промежуток между ними заполняли зеркальные очки, в которых отражалось то, на что он смотрел. Сейчас в них отражался мастер и Нури рядом с ним. Кощей подошел вплотную.

— Тут мы в свое время что-то недодумали,— сказал он.— Что-то мы упустили, если тебя, Гасан, в свое время не наказали, не отлучили и не выгнали. Нам надо по-большому, по-крупному надо нам. Чтоб было что показать в комплексе. Эх, я в свое время умел показать! А ты ерундой занимаешься, мелочевкой, отдельными, видишь ли, игрушками. А игрушка — она отвлекает. От выполнения. А?!

Это «а» произносилось на выкрике, как бы в отрыве от остального текста, и придавало словам Кощея мучительно хамский оттенок. Было понятно, что Гасан с его заботами о чурбаках, с его игрушками — это для него, Кощея, раздражающе малая величина.

Усы у Гасана обвисли, он молча смотрел под ноги, где на траве беспомощно валялся диковинный зверь, и мастер не решался подобрать его. Ибо от века так: работник, творящий новое, беззащитен перед наглостью и хамством. Нури покраснел, ему стало стыдно, словно это он сам обидел старого мастера. Он подумал, что, конечно, Кощей — осколок прошлого, не более того, и к тому же его уже уволили. Но Нури знал и видел: здесь, в Заколдованном Лесу, с Кощеем предпочитают не связываться. Ибо он сумел каким-то образом внушить многим, что отставка его — дело временное.

— Вы хотели оскорбить мастера, Гигантюк, вам это удалось,— сказал Нури.— Не словами, они не имеют смысла, ибо в игрушках, как и во всем остальном, вы не специалист. Оскорбили тем, что взялись су-

дить о его деле, тоном своим оскорбили. Я не требую от вас извинений, уйдите. Вы завистник, вы мне противны.

Гигантюк ощерился.

— Чему завидовать, вот этому? — Носком башмака он ковырнул зверя. — Масштаб не тот. Да и разве такие звери бывают, зачем придумывать, чего нет. Помню, мы из нержавейки обелиск соорудили семь на восемь — вот это да! Далеко было видно. Убрали... Говорят, безадресный... Но ничего, Сатона снимут, обелиск восстановим, и меня призовут, и других... А о вас я слышал. Вы — Нури, бывший кибернетик. От науки, значит, ушли. У куда пришли? Вот то-то... — Гигантюк стоял раскачиваясь. — Меня не интересует мнение бывшего. А я есть. И буду!

И он двинулся посередине улицы, заботливо унося себя.

Нури поднял зверя.

— Возьмите, Гасан. Вы великий мастер, верьте мне...

После Гигантюка разговор их как-то погас. Гасан-игрушечник сел за работу и тем утешился. Для мастера работа всегда цель и утешение. А Нури пошел к отведенной ему избе, возле которой его уже ждал Иванушка. Он боком сидел на широкой спине ездового хищника — Серого Волка — и был готов все показать и обо всем рассказать.

Что может старик Ромуальдыч, Нури узнал к концу экскурсии, когда попутно выяснилось, что ему придется-таки остаться в Заколдованном Лесу. Естественно, по доброй воле и неизвестно на какой срок.

Управляющий комплекс разместился в обширном зале со сводчатыми потолками. Помещение комплекса было вырублено в основании известнякового утеса с поросшей соснами макушкой и смотрело фасадом на небольшую нехоженую поляну. Фасад, выложенный из слоистого песчаника и заросший плющом, почти сливался со скалой. Только выходящую наружу толстую, покрытую инеем петлю криогенной электролинии Нури воспринимал как диссонанс в этой совершенной гармонии ландшафта и техники.

Старик Ромуальдыч, задумчивый и грустный, сидел

за подковообразным пультом, обрамленным экранами. Деревянная скамья под ним тоскливо скрипела.

— Тэк-с, посмотрим, что у нас на выходе...— Нури встал внутри подковы, отодвинул в сторону свисающий на толстом кабеле шлем с присосками. Все было знакомо — и шлем электронного стимулятора умственной деятельности, попросту шапка ЭСУДа, и вогнутые экраны «Кассандры». Пальцы его привычно забегали по клавиатуре пульта. На экранах сразу выявились странные фигурки, похожие на волосатую букву *Я*. Они деформировались и расплывались, то теряя очертания, то приобретая голографическую рельефность. Старик Ромуальдыч, передергиваясь, вытянул длинную руку и костлявым пальцем стер фигуры. Из призрачных глубин экранов бездарным порождением убогой фантазии выплывали новые уродцы.

— Мерзоиды! Сплошные мерзоиды!— забормотал старик Ромуальдыч.— И делаю и многое сему подобное, взоры оскверняющее...

— Над задачами воссоздания бо-о-льшие коллективы работают, а вы тут в одиночку...— Нури переключил прогнозную машину на анализ эволюции буквообразных уродцев.— Вот и шапкой вынуждены пользоваться, а ЭСУД ведь не для этого, он для экстренных случаев... Вы хоть понимаете, сколь невероятно сложна программа восстановления?

— Нам понимать ни к чему. И шапка у нас не чтоб думать, а для вложения души. Мы проблему нутром чуем. Энциклопедисты-примитивисты — вот мы кто. А программа что... нам ее готовую дали.

— Как — готовую?

О программах Нури знал все, поскольку в воспитатели поднялся с должности генерального конструктора большой моделирующей машины. С тех пор прошло почти пять лет, но,— и это поражало его самого до глубины души,— знания остались. Однако разве кто-нибудь работал над программой создания сказочных форм? Такие вещи втайне не делаются.

— Кто вам ее дал?

— Директор ИРП, кто ж еще. У вас там по этой программе все и воссоздается. И эта, виверра, и карликовый бегемот...

— Товарищ Ромуальдыч,— цыганский надрыв в голосе Нури был неподделен.— Эти ж программы для реальных форм! А у вас сказочные!

— Э, все едино. Это нутром надо чуять.

— Ага! — Нури увидел, как буква *Я* утолщилась снизу, а в кружочке возник и замигал кошачий глаз.— О нутре мне уже много раз говорили. Это я понял. Но как по программе для реальных форм вы умудряетесь получать формы сказочные — вот чего я понять не могу. Откуда, к примеру, Дракон?

— Сие тайна великая есть.

— Повторяетесь. Про тайну и Иванушка говорил.

— Тем более, тем более,— забормотал старик Ромуальдыч. Глаз его задергался, словно перемигиваясь с буквой *Я*, которая, перепрыгнув на экран центрального дисплея, превратилась в мохнатый колобок, мигнула последний раз и бесформенно расплющилась.— Коли двое говорят, надо прислушаться. Иванушка чист душой.

— Я тоже чист. Но, как сказал Неотесанный Митяй, толку-то... Одной душевной чистоты мало, еще и работать надо уметь.

— А вот когда, к примеру, напряжение падает, что мы имеем? То-то! У вас там крупные комплексы вводятся, а у нас Кощей врывается, скандалист, говорит, темно ему, он, видишь ли, по ночам мемуары пишет, чтоб всех, значит, на чистую воду... Порядок это? Я не про Кощея, черт с ним, я про другое. Ты, допустим, кистеухую свинью в вольере смотришь, хорошо это? Отвечу — хорошо, потому как сознаешь: есть кистеухая свинья и живет на планете той же, что и ты, человек.

— Отлично сказано! — воскликнул Нури.

— Вот. А ежели ты тянитолкая от носов к середке в две руки гладишь? Отвечу — тебе еще лучше, потому что он из сказки. А у нас перерывы в энергоснабжении — это как? А ты на спевке тютелек был?

Нури, прикрыв глаза, вслушивался в бормотание старика Ромуальдыча. Какая-то система во всем этом должна была быть, в подходе к проблеме, в действиях жителей Заколдованного Леса, малопонятных, но, видимо, имеющих свою логику. В конце концов, что ни говори, а продукцию-то они дают. А может им действительно легче, ибо кто знает, каков дракон был в натуре? Вывел нечто чешуйчато-перепончатое — и пожалуйста: дракон. А докажи! Но кто, собственно, сомневаться станет? Поразительно: методы сомнительные, а столь впечатляющи результаты...

Был Нури на спевке тютелек, именуемых также

дюймовочками: Иванушка сводил его в ближние, доступные посещению места и кое-что показал. Дюймовочки, разместившись вокруг низкого пня на кочках и цветах дикого подсолнуха, разучивали что-то знакомое и жужжащее. Домашний шмель перелетал от одной группы дюймовочек к другой, предлагая смешанную с нектаром пыльцу, которую налепил себе на бицепсы задних ног. Все это можно было увидеть, если хорошенько присмотреться, а Нури умел присматриваться. Это можно было услышать, если хорошенько прислушаться, а Нури умел слушать.

— А вот дуб железный, еже есть первопосажен! — сказал Иванушка.

Дуб был огромен, и обозреть его было нельзя, не потеряв шапку с головы. В невозможной вышине темнело дупло, в котором, как утверждал Иванушка, дневала змея Гарафена. Но ту змею никто не видел, а только слышали здесь, как она ползает там. За самый нижний сук дуба, метрах так в пяти от земли, уцепилась передними когтистыми лапами Драконесса, положив голову в развилку. На морде ее было написано лучезарное блаженство, поскольку внизу ждал Неотесанный Митяй. Густое, как мед, молоко тяжело цвиркало в бадью, над которой роились пчелы.

— А говорите, тянитолкаю детское питание нужно Тут молока на ползверинца хватит.

– Молоко, да не то,— вздохнул Иванушка.

Гребенчатый хвост Драконессы тянулся в кусты, а перепончатые прозрачно-черные крылья были мощно растопырены, и сквозь них просматривался багровый диск полуденного солнца.

— Дикая лактация.—Леший утер пот с усов. Драконыш высасывать не успевает, доить приходится чуть не шесть раз в сутки, и все мне, все мне! А едва задержка — пристает к прохожим и, чешите грудь, гудит и крыльями трепещет. А у них частота двенадцать герц, инфразвук. Люди пугаются до онемения... Хочешь попробовать?

Неподвижная Драконесса чем-то даже привлекала, от нее приятно пахло, и была она теплая и уютная. Нури попытался заменить лешего, но не смог выдоить ни капли.

— Здесь сила требуется.— Леший потряс кистями рук, шевельнул пальцами.— Двадцать процентов жирности... Сметана. Пятнадцать процентов фруктозы

Правда, при трехстах сорока градусах — не пугайтесь, по Кельвину, — нормальная для драконов температура — вязкость уменьшается, но все же ох нелегко.

Нури вспомнил так называемое коровье поле неподалеку от городка ИРП и уходящий за горизонт навес, под которым укрывалась от зноя нескончаемая шеренга коров-скороспелок, вспомнил прозрачные трубы молокопроводов, хлюпание присосок и стерильную чистоту автоматических отсосных станций.

— Доильный аппарат нужен, — сказал он.

— Дракон это! — Посуровел Неотесанный Митяй. — А ты к нему с аппаратом, как к буренке. Соображать надо, а не бухать что ни попадя. Хорошо, она сейчас высоко, не слышит и вообще отключилась.

Нури выслушал чужое мнение и согласился с ним. Розовое и вроде бы мягкое на вид вымя Драконессы было на ощупь практически несминаемым, и только сверхъестественная сила рук лешего позволяла ему справляться с дойкой.

Показал Иванушка и единорогов. Они дремали в тени цветущей липовой рощи. Нури рассматривал их не спеша, убеждаясь, что тот неведомый скульптор не погрешил против натуры ни в единой детали. В холке достигающие двух метров, единороги отличались угадываемой мощью рельефно сглаженной мускулатуры и чем-то напоминали сказочных белых коней. Чуть выше глаз, почти параллельно земле, вырастал у каждого длинный белый рог, прямой и тонкий. Гривы их и хвосты рассыпались мелкими кудрями, а опущенные и неестественные для альбиносов черные ресницы бросали пушистые тени на розовые ноздри. Пораженный этой дивной красотой, Нури с трудом перевел дыхание и, чтобы прийти в себя, ни к селу ни к городу заметил, что рог — это не совсем удобно, при пастьбе должен мешать, упираясь в землю. Иванушка успокоил его: нет проблемы, единороги в основном питаются цветками шиповника и медовой сытой, а пьют росу либо млеко от двенадцатого источника, довольно глубокого.

— А сначала было их три! — произнес Иванушка голосом, от которого у Нури пошли мурашки по коже. — Сказка сказок — единорог!

И больше Иванушка ничего путного не сказал, сколько Нури ни добивался. И заторопился по каким-то неотложным делам, будто есть дела важнее, нежели

беседа с гостем. Он косноязычно бормотал что-то о великой тайне, о том, что все подробно расскажет Пан, который есть завлаб. А он, Иванушка, он на выходе, и что достанет — тому и рад, вроде как леший семечку. И кто знает, что получится, хочешь сделать добро, а вдруг Василиск выходит. Иначе б с чего Пан кибернетика оттуда звал, сам подумай...

...Нури сделал над собой усилие и вернулся. Старик Ромуальдыч с горестной надеждой щурился на него и молчал, видимо, иссяк.

И давно у вас сбои? Ну, подобные вот этим, когда система порождает явную нежить?

– Постоянно. Нежить рождается все время, мерзоиды. Но «Кассандра» предупреждает, и мы меняем режим: либо мутагены, либо корректируем рецептуру исходного бульона. Потом смотрим, что получается, и отбираем наиболее подходящее. И опять-таки «Кассандра» дает внешний вид, а нутряные свойства кто предскажет? Я думаю, не сбой это, а заклинило нас от страха, от неуверенности. Потому геном и рекомбинации — это еще не все. Нужен еще один компонент — пси-поле создателя, ибо от него зависят душевные качества, гм, продукции. Ну, у нас обычно кто менее занят, тот и подключался, какая разница. Надел шапку и сиди себе, вспоминай хорошее — детство там или первую любовь. А тут вдруг Василиск... Представляете, как это на коллектив подействовало? Я говорю: товарищи, без паники. Зло, говорю, может быть врожденным, и нечего думать, что это кто-то из нас виновен. А мне говорят правильно, врожденным! А кто породил? Мы! Я говорю: хорошо, пусть мы, но давайте исправим воспитанием. И что? Вроде и еды, и заботы в него, гада, было вложено — на семь драконов хватит, а что вышло? Злодей вышел. И мы теперь не только за себя, мы и за вас за всех боимся.

Нури знал, что характер — это и врожденное, и благоприобретенное в процессе воспитания. У людей. Но, видимо, особой разницы нет — и у зверей. Нури помнил, что Василиск, смертоносное зло древних сказок, рождается из яйца, снесенного семигодовалым черным петухом в теплую навозную кучу. Это почти невозможное сочетание начальных условий говорило, что и предки наши считали зло по природе своей явлением редким, исключительным. Полагали, что природа ограничила возможности появления зла, но не ограни-

чила добро. А тогда, действительно, откуда же здесь Василиск? Тот самый, о котором скупо, но часто упоминают жители Заколдованного Леса. Иванушка издали показал: вон там его логово, видишь, где деревья посохли, в болоте, нет, сейчас он не вылезет, следим, раны зализывает...

В неоглядном и щедро освещенном зале синтезирующего комплекса было малолюдно. Нури осмотрел знакомые баранки ускорителей, между излучающими головками которых в плоских стеклянных трубках циркулировал мутный первичный бульон — выходной резервуар его и представлял собой тот самый котел, у которого трудился Иванушка. Гнездами торчали шарообразные емкости, в которых совершались непонятные реакции, а за тройной, из медной проволоки сплетенной защитной сеткой над небольшим бассейном вспыхивали трескучие извилистые молнии — и тогда морщилась поверхность зеленого студня в бассейне. В самых неожиданных местах торчали армированные ясенем окуляры. Возле некоторых в позах созерцания застыли добры молодцы в шитых бисером кафтанах. Заведующий лабораторией Пан Перу́нович пояснил, что это вот — стажеры, которые пытаются постичь, а это вот — выводы оптических преобразователей, которые дают приблизительные зрительные аналоги происходящих процессов, пока, а может быть, и в принципе, ненаблюдаемых.

— Обратите внимание: реакторы, в которых мы расщепляем спирали ДНК. Конечно, используем весь генетический фонд Земли. Продукт расщепления — основной ингредиент первичного бульона. Отсюда он, смешиваясь с катализаторами, ускоряющими обмен генетической информацией между различными видами живого, поступает в котлы ГП, главное, чем мы располагаем.

Пан Перунович, бритый, совсем не похожий на прочих жителей Заколдованного Леса, снял с головы золотой обруч и повесил его на палец.

Вдоль стен и на потолке, образуя причудливые переплетения, тянулись разноцветные трубы котлов горизонтального переноса. В этих конструкциях была овеществлена давняя идея: все живое находится в генетическом родстве, между любыми живыми существами происходит в той или иной форме перенос наследствен-

ного материала, и это — первый этап и основа эволюции.

— Почти точная копия нашей лаборатории революционной эволюции, — сказал Нури. — Я буду признателен, если вы поясните, как с помощью этой традиционной аппаратуры вам удается получать устойчивые сказочные формы жизни? Только не говорите, что сие тайна великая есть. Про тайну, про нутряное чутье, равным образом о кондовости, о необходимости опроститься я уже много раз слышал. Хотелось бы выяснить наконец, от кого та великая тайна? И почему ее от меня скрывают?

Пан Перунович долго и со смаком смеялся.

— Призывы к кондовости, — заговорил он, — сами по себе безвредны и не более чем отзвук ушедших в прошлое дискуссий между возвращенцами и прогрессистами. Если помните, первые, которых всерьез никто не принимал, звали чуть ли не в пещеры. А вторые — к отказу от напрасной, по их мнению, траты усилий и средств на сбережение естественной природы, поскольку человек неплохо чувствует себя и в окружении искусственном. Да, запакостили природу, ну и что, живем и сыты! Соблазн велик — урвать без отдачи, именно так поступали предыдущие поколения, а каких высот достигли! Опорой на опыт и были сильны прогрессисты... Но человечество уже поумнело. Оно, Нури, стало добрее. А доброта — это и способность к самоограничению. Пришла пора отдавать долги природе, и вы знаете, что центры реставрации множатся не по дням, а по часам на всех материках, и на островах, и на морском дне... Прогрессисты увяли, сейчас от них и следа не осталось, а возвращенцы — они и вам встречались. Да пусть их...

Ну а великая тайна — это то, чего мы никогда не узнаем, поскольку постигнуть все нам не дано. И конечно же, воспитатель Нури, мы ничего от вас не скрываем, да нам, собственно, скрывать нечего и незачем. Методы наши, как вы уже поняли, те же, что и у вас. В основном это горизонтальный перенос наследственного материала, перебор комбинаций и — наша заслуга — метод вертикального развития зародыша от любой фиксированной нами стадии. Мощнейший, скажу я вам, метод, он нам позволил получить единорогов, Жар-птицу, Дракона и других легендарно-сказочных животных. С программой возится старик Ромуаль-

дыч, но он, в сущности, дилетант. Крутит ее и так и этак... Как генетик я знаю, что действительно новое появляется в результате случайного перебора. Но для этого должна выпасть воистину счастливая случайность, флуктуация на сером фоне равновероятности. А у нас получается не так уж редко, и это ставит меня в тупик. Впрочем, сейчас уже не ставит, сейчас мы больше не работаем...

— Тут я вам помочь бессилен, если вы перестали работать. Я немного разбираюсь в программировании и конструировании вычислительных и моделирующих машин, но и только...

— Вы умеете сочинять сказки — редчайшее качество.

— По совести — это мне дается с трудом.

— Вы воспитатель дошколят, для нас это самое важное.

— Ага, потому, что сам верю в сказку?

— Да. И понимаете ее важность в деле экологического воспитания молодого поколения...

Пан Перунович говорил что-то еще, но Нури его уже не слышал. Он замер, как при встрече с Драконом. Суждение Пана Перуновича было глубоким и нетривиальным: любая сказка — и Нури не нашел исключений — имеет если не экологическую направленность, то всегда экологический подтекст. И само собой разумеется, что воспитатель стремится воспитать доброту как основное качество человека. Доброта же не беспредметна и проявляется в стремлении защитить слабого, сильный сам защитит себя. Но что беззащитней цветка или животного? И Нури подивился глубине предвидения мудрецов, которые сочиняли сказки еще в те времена, когда о нарушении экологического равновесия и речи не было. Но уже тогда Иван-царевич и волку помогал, и медведя не обижал, и для зайца морковку не жалел. .

— Я подумаю,— сказал Нури.

— Да, конечно. Я вот тоже все время думаю, почему в условиях информационной скупости природы — ведь знания даются так дорого — геном помнит изначально и хранит в себе потрясающую по объему библиотеку программ, которая отражает весь исторический путь развития организма. Но эти программы не используются... Тогда зачем они?

Я подумаю,— повторил Нури.— Только сдается

мне, что не мнение мое по коренным вопросам генетики интересует вас.

— Вы полагаете?

— Вот именно. Полагаю, что у вас крупные неприятности с Василиском. Мне старик Ромуальдыч намекнул.

— Это так, Нури, это так. Сами на себя беду накликали, но кто мог знать? Мы в своей работе широко используем древние рецепты, иногда с успехом, чаще без. А тут у кого-то в поселке неожиданно закудахтал черный петух семи годов от роду... естественно, мы решили воспользоваться моментом... Технология несложная, мы ее воспроизвели...

Пан Перунович владел и словом и жестом: Нури четко уяснил, как все оно было.

Вот именно, они действовали точно по рецепту. Дождались, пока петух снес яйцо, и закопали его в кучу навоза, находящуюся в стадии брожения и потому теплую внутри. Надо полагать, что последующие мутации возникли как результат действия комплекса факторов: температура, бактериологическая среда вызревания, первоначальная гормональная перестройка в организме петуха.

На двадцать первый день яйцо с треском лопнуло и вылез из него глазастый рогатый змееныш, так в два пальца длиной. Тут же его — в террариум. Солнце там искусственное, песочек, водичка и все, что маленькой змее требуется. Террариум поместили в волновую камеру, никто из создателей на радостях домой не уходит, и все по очереди на себя шапку ЭСУДа надевают, чтобы, значит, на змееныша своим пси-полем воздействовать. Чтоб ему добрые намерения и ласковый характер привить и тем зло посрамить, а добро восславить!

Однако прошло немного времени, и все как-то попривыкли. Ну, Василиск — он и есть Василиск, славно, конечно, что древние рецепты не обманули, и еще лучше, что сказка лишний раз явью обернулась... Но ажиотаж приутих.

Рассмотрели как-то попристальней, а он уже на полметра вытянулся, рожками шевелит, глаза такие зеленые, с фиолетовым отливом, моргают забавно, капюшончик бородавчатый раздувается. Неотесанный Митяй тогда с шапкой на голове сидел и представлял себе приятное: как это он в лунную ночь вдоль зарослей раз-

рыв-травы из Леса ползком и на той стороне желуди и каштаны все сажает, сажает, и будет там дубово-каштановая роща, и кто придет, тому будет радостно в ней... Хорошее представлялось легко — верный признак, что змееныш в контакте с донором и воспринимает от него охотно. Глядь, а змееныш на хвосте приподнялся, раскачивается. Любопытно стало лешему, и протянул он руку. Василиск тут же свернулся кольцами на ладони, и ничего, только холодит ладонь, но это уж от него не зависит. Тут убедились, что все в порядке, все ладненько, приласкали змееныша, покормили, он заснул. А творцы хором подумали: это хорошо!

А был день пятый, и все разошлись. Только Неотесанный Митяй еще долго сидел, аж до сумерек. И думал о единорогах, он о них часто думал. Что хорошо бы их много было, и расселить бы по лесам и степям, чтоб не только здесь, а везде. Чтоб каждый мог в яви увидеть, как бежит единорог и дышит и вздрагивает под ним земля. Увидеть, и тогда уйдут суетные мысли, и люди постигнут чудо и красоту, что всегда рядом... надо только уметь видеть. Неотесанный Митяй часто думал о том, как странно все на свете, как сложен мир — и люди и звери... что простоты не бывает и мы сами придумываем ее от нежелания или отсутствия привычки мыслить... и лес... и звезды, если на них хоть изредка смотреть, а людям все некогда. А вот если солнце всходит, вода в озере теряет ночную гулкость, и последняя звезда мерцает на его поверхности, пока день не погасит ее...

— При мне порядок был! — Леший вздрогнул. Он и не заметил, как, широко шагая, вошел возмущенный Кощей. — Я говорю, при мне порядок был, а тут светильники едва тлеют. А может, я тоже работаю побольшому. А?

Кощей совсем не смотрелся здесь, в детской, где стояли в ряд волновые камеры предвоспитания, остекленные подкрашенными кварцевыми пластинами и потому похожие на громадные теплые кристаллы. Возле камер располагались кресла, над которыми свисали шапки ЭСУДа, перестроенные на усиление излучений пси-поля. Увы, камеры обычно пустовали, демонстрируя числом своим избыток оптимизма у создателей.

Леший мрачно оглядел Кощея: нет, не изменился, бессмертен... ЭСУД среагировал на понижение напряже-

ния в сети и отключился сам. Леший снял шапку, отлепил присоски. Конечно, он, Неотесанный Митяй, коль задержался здесь так поздно, мог бы считаться чем-то вроде дежурного. И мог бы объяснить, что если диспетчер иногда вынужден ограничивать подачу энергии, то это можно понять и оправдать. Но об этом не раз говорилось Кощею, и все без толку. Кощей обладал удивительным свойством: он умел отключаться, когда ему разъясняли то, что он не хотел слышать. Он вроде как бы слушал, но в то же время не слышал. Когда же собеседник, изложив доводы, замолкал, Кощей извлекал из себя ключевую фразу: «Вы меня не убедили». Он никогда не возражал по существу, поскольку для этого требовалось думать. Соглашаться же он не любил, так как полагал, что это роняет его руководящее реноме.

Ключевая фраза действовала ошеломляюще. Как правило, собеседник, обманутый человечьим снаружи обликом Кощея, начинал второй заход — с тем же результатом. Замы выдерживали до пяти попыток и уходили, тряся головами.

— ...На покое Кощей сохранил привычки,— продолжал свой рассказ Пан Перунович.— И леший об этом знал. Он молча выслушал упреки и угрозы, причем Кощей не унялся и после того, как дали свет. А потом Кощей стал хвастаться, как он внедрял почасовое планирование научной работы, и тут Неотесанный Митяй сорвался и сказал... поймите правильно, Нури, леший, конечно, грубоват в чем-то, хотя в целом добр и всех приемлет... нет, я не оправдываю его...

— Так все же что сказал леший?— не выдержал Нури. Пан Перунович вздохнул:

— Леший сказал: заткнись! Так он сказал и ушел. Нури, он думал о красоте, а тут Гигантюк, которому плевать на красоту...

— А я лешего не осуждаю,— сказал Нури.— Доведись мне, я б тоже...

— Я понимаю.— Пан Перунович долго с чувством жал руку Нури.— Я понимаю, это вы так, чтобы меня утешить, а все равно приятно. Вы у нас человек новый, прямо оттуда, и ваше мнение для нас вдвойне дорого. В конце концов, все, что мы здесь делаем,— это ведь для вас. Реальный мир не может без сказки. Он, не побоюсь сильного выражения, без сказки пропадет, и вот тут нам важно знать ваше мнение: то ли мы делаем, получается ли у нас?

— Получается,—заверил Нури.—То, что нужно. Это не только мое мнение. Алешка тоже так думает, он считает, что вы создаете настрой, атмосферу сказки уже самим фактом своего существования. Вашу деятельность высоко оценивает и секция социологов из акселератов ползунковой группы.

— Приятно слышать, расскажу всем. Так на чем мы остановились? Ах да, на Василиске...

Случилось это вскоре после конфликта лешего с Кощеем. Надел раз Пан Перунович шапку, подключился, а контакта нет. Змееныш шипит, глазки сузились, поблескивают неприятно. «Может, я не о том думаю»,—решил Пан Перунович и стал вспоминать приятное: как они выводили Жар-птицу. Цыпленок был покрыт редким розовым пухом, светился в темноте и обжигал ладони, когда его брали в руки. Не знали, чем кормить, и зря старалась подсадная мачеха-курица, склевывая рядом пшеничные зерна: цыпленок стучал каменным клювиком по зернам, но не брал их. Все впали в траур. С таким трудом вывели, а чего стоило создание термостойкого белка—о том только Сатон и может рассказать,—это он координировал деятельность целого куста НИИ, которым была поручена работа над белком! А что вы думаете—сотворить сказку без привлечения науки... И подох бы цыпленок Жар-птицы, когда б не Иванушка. Как раз у него был день рождения, и заявился он в детскую в новом кафтане. Видит, цыпленок уже на боку лежит, еще, правда, горяченький. Так жалко ему стало... Цыпочка ты моя, говорит Иванушка, и берет цыпленка в руку, кладет на ладонь, а тот один глаз приоткрыл и последним усилием—хоп и склюнул с манжета жемчужину! И вторую!!

— Понимаете, Нури,—разволновался, вспоминая, Пан Перунович,—ведь это взрослая Жар-птица и зерно клюет, и сердоликовую гальку в ручьях находит, а пока она цыпленок—только мелкий речной жемчуг потребляет. А откуда мы это могли знать, ни в одном источнике не указано... Сижу перед змееныщем, вспоминаю эти прошлые наши заботы-хлопоты. И тут мне подумалось, вы не поверите, Нури... Мне вдруг подумалось: ну и подох бы цыпленок, и черт с ним, возни меньше было бы, а то у всех волдыри на руках от ожогов, тоже мне, забота... Смотрю, а змееныш ощерился, два верхних зубика вперед выступают, а в щелочке ме-

жду ними капелька такая прозрачная висит. Передернуло меня от отвращения, и злоба в сердце поселилась. Ищу глазами, чем бы змееныша по головке стукнуть, и вижу — у соседней камеры мерный стержень стоит, только не дотянуться мне до него. Сдернул я шапку, только присоски чмокнули, схватил стержень... Держу его и думаю: чего это я так? И страшно мне самого себя стало...

Вы уже поняли, Нури, контакт установился. Только в обратном порядке, не я на него, а Василиск на меня своим пси-полем влиял. Представьте, какова же сила злобы в маленьком змее была, если он на меня из камеры смог подействовать и такие гнусные мысли во мне пробудить.

Пан Перунович помолчал, успокаиваясь.

— Ну а дальше? Что ж, дальше все было, как и должно было быть. Всем коллективом думали, а понять не могли, как это так получилось, что добро змею внушали, а зло выросло. Старик Ромуальдыч за ночь перемонтаж сделал, пять шапок подключил, а утром мы объединили усилия: стали вокруг камеры, шапки надели... только ни о чем хорошем не думается, а всякая ерунда в голову лезет, и вроде как слышу я нелестные обо мне мысли лешего, а что Иванушка обо мне думает, того и не высказать... Ну и я тоже подумал: что там Иванушка — дурачок, он и есть дурачок, что с него спросишь... Леший, он первый понял, снял с себя шапку, оглядел нас исподлобья, вздохнул и ушел. Такие дела... Не одолели мы Василиска, он нас одолел.

Потом, конечно, мы еще пробовали. В одиночку и почему-то тайком друг от друга... Ничего не получилось. Да и к камере приближаться стало трудно, поле злобы вокруг нее, и ничто это поле не экранирует.

И поняли мы, что пустили на землю зло. Не желая того. Но разве это оправдание!

А Василиск, видим, растет, но кто его измерит, он все время свернутый, и камера предвоспитания — воспитали, называется,— ему уже мала. Пришлось строить вольеру, конечно, за территорией поселка. Пока туда камеру с Василиском тащили, все переругались, чуть до драки не дошло. Втащили, отошли подальше, помирились и длинной веревкой, что привязали заранее, открыли крышку... Василиск выполз на зеленую траву, длинный и страшный, как смертный грех. Подполз к сетке, уставился на нас, и мы попятились, охваченные ужа-

сом от нами содеянного. А ведь мы тогда еще не знали, что он растет непрерывно, пока жив. Вольера была открыта сверху, и мы видели, как свалилась туда пролетавшая птица и как Василек проглотил ее, не дав упасть...

Что нам было делать, как поступить? Убить Василиска? Но кто решится! Мы прекратили работу, Нури. Сейчас это не работа, это мы так, суетимся понемногу. Посотворить добро воспитанием, поскольку, как говорит Иванушка, погрязли в грехах и эгоизьме. Через мягкий знак произносит, чтобы обиднее было. И правильно, если мы до того опустились, что друг друга подозревать стали. А разве не погрязли, а Василиск-то откуда?

Мы каждый день смотрели на него издали. Змей наваливался на сетку, она прогибались, и мы понимали, что ему ничего не стоит прорвать ее. Так и случилось... В одно утро вольера оказалась разрушенной и след тянулся через перелески на озеро к болоту. В озере плавала кверху брюхом отравленная рыба, на берегу мы обнаружили останки птицы Рух, разорванной пополам. Олень — золотые рога, у нас их всего два было, валялся бездыханный. Было у нас Древо райское, гордость Леса: на одном боку цветы расцветают, на другом листы опадают, на третьем плоды созревают, на четвертом сучья подсыхают. На нем Жар-птицы всегда гнезда вили. Так это дерево оказалось словно раскаленной железной полосой опоясано и надломлено — потеря невозместимая! А на зеленом островке посередине болота, где обосновался Василиск, деревья усохли. И всю эту беду Василиск натворил между делом, просто так, ведь животные не были даже съедены, а думать, что они могли напасть на змея, просто глупо...

В Заколдованном Лесу к трагедиям не привыкли. Звери в большинстве питались растительной пищей, а хищники промышляли помалу и без явного злодейства. Так, ежели Серый Волк по случаю задирал овечку, то какую похуже и обязательно перед тем безвыходно в лесу заблудившуюся. А чтобы вот так — р-р-раз и готово! — этого не было, этого себе никто не позволял. И отнюдь не из кротости, а просто сказочные формы жизни едва нарождались, и потому еще на стадии предвоспитания творцы внушали всем необходимость сдерживать до поры природные инстинкты.

Злодеяния, учиненные Василиском, привели населе-

ние Заколдованного Леса в состояние длительного шока. Мирная жизнь была в одночасье сломана, идиллическое течение ее нарушено. Тоскливое ощущение вины нависло над поселком, животные жались поближе к той роще, где обитали единороги. Даже Яр-Тур, страху не знающий, вылез из чащобы и пасся в пределах видимости. Звери чувствовали, что если кого опасается Василиск, так это единорогов. И действительно, в свое болото змей полз не по прямой, он далеко обогнул рощу с единорогом. Это было видно по следу: где он полз, там пожухла трава.

— Я видел такой след,— сказал Нури.— Там, за территорией Леса. Возле памятника единорогу.

— Это не памятник, воспитатель Нури...

...В болоте было душно и тихо. Совсем недавно в нем кипела жизнь, орали по ночам лягушки, по краям, где рос камыш и вода была прозрачна, бродили цапли; на островке в кроне сыр-дуба куковала добрая кукушка, что подкидышем росла, хлебнула горя и теперь, всех жалея, любому накуковывала несчетное число лет. Василиск отравил воду, убил цапель, которые не успели улететь, дохнул вверх и спалил кукушку. Болото вскоре стало черным и зловонным. Василиску в нем было уютно.

Он быстро рос, наливаясь силой и злобой, как и положено царю змей Василиску. Змей смутно помнил что-то светлое и теплое,— это было в забытом прошлом, когда не было болота и безлистных деревьев рядом; жило в нем слабое воспоминание о том, как тепло внезапно исчезло и он пробудился в равнодушии и холоде и стал злым — и это сразу стало привычным. Так было, а может, и не было, все едино... Высоко в небе кружился Ворон, он все время там кружился, змей брызнул ядом, не достал... И он пополз через болото туда, где была жизнь, которую можно убить.

— Так было, Нури, Василиск полз к поселку, а Ворон летел над ним и кричал. Мы могли уйти из поселка, в помещении синтезирующего комплекса всем места хватило бы, но нам стало стыдно; и мы остались... Ворон тревожно кричал в вышине, мы его слышали, и Неотесанный Митяй услышал и привел к поселку единорогов. А змей уже выползал из леса, и казалось, ему не будет конца. Потом он свернулся кольцами и вытя-

нулся вверх, и голова его раскачивалась на уровне вершины старого кедра. Он увидел всех нас и увидел единорогов, что стояли на склоне, заслоняя поселок. И смутились наши души, ибо перед нами было нами же порожденное зло — фиолетово-черный Василиск. И было нами порожденное чудо — единороги, в боевых позах, розовые в предзакатных лучах. Картина была неповторима, и этого нельзя забыть... Василиск, видимо, понял, что здесь ему хода нет. Он страшно зашипел и скрылся в зарослях.

Нури слушал и словно видел Василиска, уползающего в сумрак леса от людей и зверей в одиночество, которое никому не может быть желанным. По следу его потом установили, что он долго кружил вокруг поселка,— кусты, в которых он укрывался, засохли,— смотрел, как леший доит Драконессу и как возится Иванушка возле котла. Это было ночью, люди ощущали его тревожное присутствие еще и потому, что все время с места на место переходили единороги, заслоняя собой людей и животных. А когда рассвело, Ворон закричал, что Василиск прополз под завесу и ушел туда:

— В мир-р-р!

Это было самое плохое, что только могло случиться. Кто допустит, чтобы по его вине увеличилось в мире зло порожденное? Кто возьмет такой грех себе на душу? И леший послал вслед змею единорога.

Говорят, это был единственный случай прямого прохода: единорог не проползал вдоль зарослей разрыв-травы, он кинулся напрямик и проломил защиту. Василиск затаился в кроне дуба, видимо, учуял погоню — и Лес дрогнул, и далеко окрест было слышно, как единорог ударил плечом по дубу и сбросил Василиска вниз. Никто этого не видел, только земля была взрыта там, где Василиск бил щипастым хвостом, и была обгоревшей там, куда попадал его страшный яд. Ничто живое не могло устоять перед этим смертоносным ядом, но, когда единорог был еще малышом, леший самолично искупал его в воде, взятой от девяти рек... И он устоял... сколько мог. Нет, сражения никто не видел, но рычание единорога, грохот битвы раздавались за пределами Леса, улетели испуганные птицы, и далеко бежали лесные звери, а в городке ИРП этот грохот воспринимался как отдаленные раскаты грома.

Потом, когда настала тишина, многие видели, как полз в свое болото Василиск, покрытый ранами. Он не прошел.

А единорог остался по ту сторону завесы. Он не упал, он прижался к дереву, цепенея от странной боли и ощущая, как каменеют мышцы и кости. И он, конечно, умер еще до того, как произошло в тканях полное замещение углерода кремнием, ибо именно к такой перестройке клеток приводило глубокое отравление ядом Василиска. Он теперь всегда останется там — памятник добру побеждающему.

Вот это произошло десять дней назад и полностью деморализовало коллектив. Сейчас каждому из создателей мерещится, что это он сам виновник зла, что чуткий змей воспринял плохое и темное, утаиваемое каждым от самого себя в недоступных глубинах подсознания. Василиск же затаился безвылазно, и что с ним делать — никто не знает...

— Вернемся к началу,— сказал Нури.— Конкретно, что вы от меня хотите?

Пан Перунович долго не отвечал. Наконец проговорил:

— Я знаю, вы умеете принимать решения...

— Ничего себе,— невежливо сказал пораженный Нури. Он внимательно оглядел Пана Перуновича. Пред ним был муж благостен и добронравен. Из тех, что, ожегшись на молоке, дуют на воду. Белый как лилия халат, нет, не халат — хитон! Белые же, хоть и редкие, но волнистые волосы под изящным обручем, глаза серые, внимательные и добрые до невозможности. А в них растерянность, от самого себя скрываемая. Что там темное может быть в его душе, сплошная белизна... Нури крякнул и отвел взор: — Скажите, а может, он уже того, отдал концы? В смысле — подох?

Пан Перунович пожевал губами и непривычно кратко ответил:

— Жив.

Ближе к вечеру, когда солнце еще не село, но длинная зубчатая тень от тына уже дотянулась до огородов, Нури сидел на крылечке и ждал. Говорящий котенок по-хозяйски расположился на колене и так упорно молчал, что Нури стал сомневаться, говорящий ли? В отдалении, в открытых воротах, неподвижно стоял Кощей,

опираясь на трость, может быть, любовался закатом. А может,— что Кощею закат,— стоял просто так. Черный его силуэт смотрелся как вертикальное начало собственной горизонтальной тени. От летних кухонь кое-где поднимался синий пахучий дымок — это готовили поздний ужин или вечерний чай любители поесть перед сном: деревня старалась жить так, словно ничего не случилось.

Нури был полон дневных впечатлений и отстраненно думал, что вот заботы жителей Заколдованного Леса уже становятся и его заботами и не вмешиваться он уже не может. Возможно, эта вынужденная пауза в их деятельности — только на пользу; все не было времени оглянуться, подумать. Оказывается, и древние рецепты надо применять с осторожностью... Человек обязан сомневаться и в деле, и в самом себе, здесь это так и есть. Но все хорошо в меру, а чувство меры-то как раз и изменило милейшему Пану Перуновичу, который, как утверждают, в своем деле был богом. Любопытно: раньше каждый был уверен, что коллега-сосед чист душой. Теперь это обстоятельство не то чтобы подчеркивалось, но упоминалось достаточно часто, чтобы обратить на него внимание. Каждый словно старался показать, что в чужой непричастности у него сомнений нет. И действительно, ну какое зло мог внушить Василиску Гасан-игрушечник или Неотесанный Митяй? Вот они, кстати, идут рядком и ладком от дома мастера. Нури пересадил котенка на коврик, поднялся.

— Добрый вечер, мастер. Мир вам, леший.

— И вы здравствуйте...

— Я ждал вас. Я пойду с вами.— Нури не спрашивал разрешения, он просто поставил в известность: пойду.

— Да, конечно, я сразу понял — вы пойдете! — сказал Гасан-игрушечник. Леший промолчал, только поправил холстину, которой была закрыта порядочная по размерам бадья.

При виде лешего Кощей посторонился.

— На болото? — прохрипел он вслед.— Грехи заглаживать? Подождите, Василиск еще вам покажет, уж я-то знаю!

— Чешите грудь! — сказал леший, не оборачиваясь.

До болота путь неблизкий, и всю дорогу леший возмущенно бурчал, вроде как себе под нос, но было слышно: откуда такие берутся, как этот Кощей,

и как это люди ему позволяют, и где тот чиновник, который первым вывел Кощея на руководящую дорогу? Конечно, если в масштабе всего Леса, то Кощеевы пакости вроде невелики с виду — ну, там рощу срубил, мастера обидел, дело доброе болтовней подменил; но ведь пакость — она безразмерна...

— А по-моему,— сказал Гасан,— Кощей не ставит целью специально учинить пакость — это было бы слишком примитивно. Он действует в соответствии со своими убеждениями. Он искренне верит, что монумент с призывом важнее рощи, что показуха важнее дела. Он тем и страшен, что искренен.

Леший уверенно перешагивал короткими толстыми ногами с кочки на кочку, держа на отлете бадью. Болото для лешего не было препятствием. Гасан-игрушечник и Нури шли за ним след в след, стараясь не ступать в зловонную жижу.

— От кого вы узнали, что мы выхаживаем Василиска?

— Никто мне этого не говорил, мастер. Я сам прикинул и понял: кто-то должен, иначе бы змей подох. Ну, а кто здесь может, кроме вас?

— Многие бы хотели, но не каждый решится — страшно...

Василиск лежал, полукольцом опоясывая бестравный островок, треугольная голова его придавила ствол поверженного дерева. Нури в принципе не верил в порожденное зло и, может быть, поэтому не ощутил того поля злобы, о котором так красочно рассказывал Пан Перунович. Конечно, большая змея, о которой к тому же известно, что она ядовитая, вызывает к себе неприязненное отношение, но как может зло быть врожденным и беспричинным?.. Не поднимая головы, змей слабо цвиркнул ядом, промахнулся и прикрыл мутные глаза. Выступающая из болота часть туловища была обклеена большими заплатами пластыря, и они ярко выделялись на темной грязной чешуе. Неотесанный Митяй зашел слева и неуловимо быстрым движением оседлал Василиска. Он ухватил змея за ороговевший край капюшона и резким движением приподнял его голову. Раскрылась огромная пасть, беспорядочно утыканная вывернутыми вперед клиновидными зубами.

— Давайте!

Нури подтащил неподъемную бадью с драконьим молоком, а Гасан-игрушечник, отбросив холстину,

стал лить его ковш за ковшом в черно-розовую пасть, стараясь не коснуться зубов, скользких от яда.

— Все сразу! — натужно выдохнул леший.— Трудно держать...

Нури и Гасан вдвоем подняли и опрокинули в пасть бадью, молоко, как в воронку, втянулось в горло. А потом, взявшись за концы, они длинной жердью прижали нижнюю челюсть змея к земле и, когда леший слез с него, быстро отбежали в стороны.

— Он уже почти здоров,— сказал леший, когда они пробирались по болоту обратно.— Очухался, гад.

Василиск лежал недвижим и не пытался даже плюнуть вслед. Драконье молоко действовало как панацея, нейтрализуя не только болотный, разъедающий раны яд, но и яд собственный. Тот, от которого каменеют.

Нури жил в Заколдованном Лесу уже вторую неделю. Время пролетело незаметно, как в старости, хотя до нее Нури было еще далеко. Он часто бывал в лабораториях, постигая популярные азы биотворчества. Кроме котлов ГП использовали здесь весь набор известных методов воздействия на наследственное вещество. И странно было видеть на экранах «Кассандры» поразительную птицу, которую можно было бы получить способом вертикального развития эмбриона кошки. Конечно, от дальнейшей работы над такой птицей приходилось отказываться, чтобы не порождать чудовищ неожиданных и на Земле никому не нужных. А хотелось, неудержимо хотелось! Это самое трудное в работе творца — подавленное желание, вынужденная необходимость переступить через себя и отказаться от возможного, признав его ненужным. Как знакомо было это кибернетику Нури...

Он сдружился с лешим и часто сопровождал его в лесу и в поле. Неотесанный Митяй больше молчал, бродил, смотрел за порядком, устранял непорядок, часто присаживался на корточки, ковырял железным пальцем землю и закапывал семечко. Сбегав к ручью, он приносил в жмене воду, поливал место посадки, и, как заметил Нури, не было случая, чтобы семя не дало ростка.

Гром с той первой ночи больше не появлялся, види-

мо, ушел домой к хозяину. Нури понимал его и не обижался.

Лещий учил Нури понимать жизнь растений, учил хозяйствовать в лесу, и эта наука никогда не надоедала, и пришло время, когда Нури сам почувствовал: вот здесь надо посадить барбарисовый куст — и не семечком, ростком. И это знание пришло к нему как бы само по себе. Выслушав Нури, леший довольно хмыкнул, брови его полезли на лоб, и показались густо-синие глазки, маленькие и сумасшедше веселые.

Когда лешему попадалась добрая коряга, он относил ее Гасану-игрушечнику, и они с мастером подолгу разглядывали ее и молчали, и им было хорошо от взаимопонимания и оттого, что коряга такая красивая.

Иногда по просьбе Пана Перуновича, который заботился о повышении кругозора своих сотрудников, Нури читал лекции в гулком помещении синтезирующего комплекса. Поскольку никто по-настоящему не работал, а все чего-то ждали, каких-то перемен, то приходило довольно много народа. Принципы построения математических моделей живого, едва только прорисовывающиеся в воображении генетиков-программистов, почему-то мало интересовали слушателей. Но все оживлялись, когда Нури рассказывал о своем личном опыте воспитателя, о приемах воспитания у детей доброты и уважения к живому, к природе, которую так бездумно топтали и растрачивали предки.

— Эх, если бы только предки...— проговорил на одной из лекций Иванушка.— Мы вот тут раз спросили: товарищ Гигантюк, вы о чем думали, когда рощу под монумент сводили? Ответил, что мы не понимаем задачи момента. Заметьте, момента, а не времени. Потом выяснилось, что это он больших ревизоров ждал и хотел показать достижения по-крупному. Что поразительно, он действительно уверен: чем крупнее монумент, тем бóльшими покажутся достижения...

— Вы к чему это?

— А к тому, что по моему, Иванушкиному, разумению, беды природы лишь на одну десятую объясняются потребностями человечества, а на девять десятых — глупостью маленьких людей, попавших на большие посты.

— А спешка? А корысть?

— В общении с природой спешка и корысть суть та же глупость.

Эти рассуждения показались Нури не лишенными интереса, но с другой стороны... Нури не спросил, где был принципиальный Иванушка, когда руководящий Кощей рощу срубал. Распределяя причины по процентам, Иванушка как-то забыл собственное нежелание вмешиваться. Здесь, в Заколдованном Лесу, обитали люди порядочные, тихие, любили совершать добрые поступки и ожидали, что их обязательно должны совершать и все другие. Это так удобно... для себя. Но что все же делать с Василиском, он вон уже созревает для новых злодейств, а решение-то принимать кому? Не Пану же Перуновичу, благостному и эрудированному до невозможности.

Гасан-игрушечник и Неотесанный Митяй — вечная загадка человеческой психики! — выходили Василиска. А могли бы не пойти на болото, страшно ведь, кто бы осудил. И сдох бы Василиск, и всем радость... разве не мог им Пан Перунович помешать? Мог бы. Не стал. Устранился?.. А может, ерунда — эти рассуждения о психологии и скрытых мотивах, просто леший и Гасан-игрушечник не могли по-другому? В конце концов, все доброе человек делает по внутренней потребности, и нет ничего подлее, чем ожидание благодарности за добрые дела... Так думал воспитатель Нури.

Василиск сменил кожу. В отличие от людей змеи регулярно меняют кожу. Прежнее одеяние, зловонное и рваное, в шрамах и пятнах пластырей, отшелушивалось от тела, и настал день, когда Василиск выполз из него в новой шкуре с блестящей чешуей, невредимой и удобной. Болотная грязь не приставала к ней. Ощущение новизны требовало действий и пробудило любопытство. Василиск тронул носом окаменевшее тело кукушки, глянул в небо. В вышине по-прежнему кружил Ворон. Пусть кружит, не мешает... А кукушку не вернешь... Шевельнулось воспоминание о прошедшей муке и исчезло. Страдание быстро забывается.

Царь змей пополз из болота к свету. В углах губ его скапливался яд, но пасть была закрыта, и он не стал брызгать ядом в пролетавшую мимо птаху. Звери разбегались перед ним, и тревожно кричал Ворон. В стороне, задевая когтистыми лапами за верхушки дерев, пролетел Дракон и тяжело приземлился за дальней рощей. Змей двинулся в обход озера, а в это время по привыч-

ному маршруту совершал предобеденную прогулку Павел Павлович Гигантюк. На него и выполз Василиск...

— Итак, товарищи, позвольте подытожить. В природе встречаются два вида зла. Первое — это зло изначальное. Я бы его определил как зло, сидящее внутри нас: зависть, корыстолюбие, лживость, приспособленчество, трусость. Задачей воспитания является борьба с этими видами зла. Вы согласны со мной, воспитатель Нури?

Пан Перунович промокнул вспотевшее чело и светло оглядел присутствующих. Семинар на тему «Что есть зло и как с ним бороться» собрал обширную аудиторию: все хотели бороться со злом, но не знали — как. Ораторы, обращаясь почему-то в основном к Нури, предлагали различные рецепты искоренения, включая непротивление злу насилием, подставление правой щеки, пассивный протест, общественное осуждение, бойкот и так далее вплоть до рылобития. Впрочем, большинство выступивших рылобитие как метод борьбы со злом признали неприемлемым, поскольку оно, будучи злом само по себе, только увеличит сумму зла на земле. Нури слушал дебаты с любопытством: в его практике воспитателя дошкольников ему как-то не приходила в голову необходимость классификации видов зла и борьбы с ним.

— Так вы согласны, Нури? — повторил Пан Перунович.

— Продолжайте, прошу вас.

— Так вот... А второе — это зло порожденное. Нами порожденное. Причиной ему — наша неспособность или нежелание предвидеть результаты своих поступков. Пример — Василиск! И вот вопрос: какое из зол больше?

Пан Перунович сделал паузу, поскольку подошел леший с бадьей. Он нес драконье молоко, разведенное водой, из семи источников взятой.

— Фифти-фифти! — сказал Неотесанный Митяй, обходя стол, за которым сидели под раскидистым платаном участники семинара. Он каждому наливал в протянутую кружку. Потом леший уселся у дальнего конца стола на свободном месте, подпер нестриженую голову могучими кулаками и стал слушать.

— Позвольте, я отвечу на вопрос.

— Пожалуйста,— Пан Перунович пожал плечами.— Сейчас Иванушка скажет то, что он хочет сказать.

— И скажу. Зло изначальное опаснее всего. Кстати, если о зле порожденном,— я принимаю классификацию уважаемого Пана Перуновича,— в сказках почти ничего не говорится, то зло изначальное постоянно присутствует в фольклоре. Я ни на что не намекаю, но воплощено оно в Кощее Бессмертном. Напомню, что смерть его находится на острове, неизвестно где расположенном, в сундуке, что зарыт под дубом на большой глубине, а в том сундуке утка, которая должна снести яйцо. В этом-то яйце иголка, а в кончике ее смерть Кощеева. Заметьте, добрый молодец не сам на остров попадает, ему помогают медведь, серый волк, яблонька — золотые яблоки. А когда он сундук выкопал и открыл, утка вылетела, и в вышине ее ясный сокол закогтил. Но утка успела яйцо в сине море уронить, и если бы не щука, то неизвестно, что и было бы. Щука яйцо подхватила и добру молодцу отдала в белы руки. Дальше понятно: яйцо расколотил, иголку сломал — и Кощей скончался в конвульсиях. А вывод, товарищи? Тут, товарищи, три вывода можно сделать. Первый — со злом в одиночку бороться бесполезно, надо всем миром и с обязательным привлечением сил природы, кои и во флоре, и в фауне заключены. Второй вывод: чем меньше этой самой флоры и фауны на Земле остается, тем у нас меньше шансов победить зло изначальное. Таков, товарищи, скрытый, а для меня очевидный смысл. И третий вывод: потому зло изначальное и воплощено в Кощее Бессмертном, что победить его нам с вами не дано.

— Такие вот дела,— горестно сказал Неотесанный Митяй.— И чешите грудь. И сливайте воду!

— То есть как?— услышав такое, Нури не мог не вмешаться.— Как это не дано?

— А вот так! Не может — и весь тут сказ.

— Э, нет, товарищи, давайте разберемся. Иванушка тут много чего наговорил... первые два вывода у меня не вызывают сомнения, но третий... Мой опыт показывает, что этот ползучий пессимизм неоправдан. Непобедимо в принципе? Я знаю: единственный способ борьбы с ним — воспитание доброты. Это и должно быть третьим выводом из той сказки, суть которой вы,

Ваня, хоть и тезисно, но достаточно полно изложили. Ибо если бы добрый молодец не был добрым, то ни яблонька, ни серый волк, ни, простите, щука помогать ему не стали бы. Такой вот вывод.

— Вот видишь, а ты — не дано, не дано! — Леший встал из-за стола. — Я, однако, пойду погляжу. Ворон кричит.

Прислушались и различили необычную вокруг тишину и крик Ворона вдали.

— Ну вот, — Пан Перунович светло поглядел на Гасана-игрушечника. — Вылечили, значит, на свою голову, трудности себе создали, сейчас их преодолевать будем. Или как?

— Болел — лечили! — Гасан-игрушечник не опустил глаз, усы его остро топорщились.

Ворон приближался, и леший первым уловил в его крике что-то новое.

— Р-р-радуйтесь! — Ворон спикировал вниз и кружил над платаном. — Цар-р-рь помер-р-р!

Василиск был неправдоподобно огромен, его неподвижные глаза были наполовину затянуты пленкой, ороговевший капюшон, обрамляющий шею, поник, с зубов оскаленной пасти стекал яд, образуя прозрачную лужицу, над которой дрожало небольшое синеватое марево. Большая часть его тела скрывалась в орешнике, густо растущем по периметру поляны. На змее, как на огромном бревне, сидел Кощей — ноги его не доставали до земли — и ковырял тростью опавшие листья. В очках его отражались звери, стоящие вокруг. Большие, как Яр-Тур, и маленькие, как Белка-певунья. Притихшие, они смотрели на поверженного Василиска и на спокойного Кощея.

— Он долго мучился? — шепотом спросил Гасан-игрушечник.

А люди и звери все подходили, и замедляли шаги, и останавливались рядом вперемешку. И молчали.

— Скажите, Гигантюк, вы что, снимали очки? — Нури затаил дыхание, ожидая ответа.

Гигантюк медленно и страшно улыбнулся, лучше бы он не улыбался.

— Снял, конечно. Кто запретит?

Нури повернулся к Гасану:

— Он не мучился, мастер. Он скончался мгновенно.

— А вы проницательны, бывший кибернетик Нури! Почему мне никто не говорит спасибо? Или я не избавил вас от необходимости самим принимать решение? Мучительной для вас необходимости.

Гигантюк слез со змея и, не опираясь на трость, уверенно пошел к поселку. Перед ним расступились.

— Что вы имели в виду, Нури? — спросил Пан Перунович. — Я не понял. Почему — мгновенно?

— Кощей понял... У Гигантюка страшная болезнь, именуемая равнодушием. Рак души. Вы как-то забыли упомянуть о равнодушии, когда говорили о зле изначальном... И не спрашивайте меня, почему мы, общаясь с Кощеем, ничего не чувствуем. Чувствуем, но не хотим замечать зла равнодушия, поскольку в малых дозах сами заражены им. Попривыкли, принюхались. И потом, он скрывает от нас свою душу, а с виду кажется человеком. Василиску же он явился таким, каков есть. Мне жаль змея, Пан Перунович. Он заглянул в пустые глаза Кощея и сдох от ужаса!

Все молчали, потрясенные случившимся и словами Нури.

— Но разве Василиск не есть зло, порожденное нами? — прошептал Пан Перунович.

— Э, бросьте. Подумав, вы и сами могли бы догадаться, что в процесс предвоспитания вмешался Гигантюк. Полагаю, это было, когда он поскандалил с Неотесанным Митяем и тот ушел. Взбудораженный и злой, Гигантюк надел шлем ЭСУДа, оставленный лешим. Энергия, вы мне сами говорили, уже была подана. Ну вот, Кощей и сломал психику маленького змея, внушив ему склонность к злодеяниям, на которые сам не решается, ограниченный нормами человеческого общежития.

Нури не хотели отпускать, его уговаривали остаться здесь, в Заколдованном Лесу, навсегда. Неотесанный Митяй говорил, что года через три из него получился бы неплохой леший, поскольку Нури бесстрашен и добр, а всё остальное — дело практики. Пан Перунович был покорен умением Нури сочинять сказки. «С чего вы взяли?» — «А нам Алешка рассказывал, и вообще нам нужен постоянный консультант в ранге воспитателя дошколят, дабы верно оценивать содеянное и давать общее направление. Главное же — требуется человек,

умеющий принимать правильные решения. Умеете, умеете, сразу видно, да и Сатон вас не зря направил к нам... А вы как думаете, Сатон — он такой! Мы здесь замкнулись внутри себя, и связи с реальностью у нас ослабли, а что за сказка без связи, вы встряхнули нас...»

Иванушка иногда доверял Нури поварешку и утверждал, что через пару лет из Нури получился бы грамотный черпальщик. Гасан-игрушечник, не подозревая, что хобби Нури была механофауна, поражался его умению увидеть в произвольно взятой коряге то единственное, что в ней заключено: «Вы умеете держать инструмент, через пять лет я сделаю из вас игрушечника».

Все эти перспективы были заманчивы, и, если бы кибернетик Нури не стал воспитателем, он пошел бы в лешие, подменял бы ночами Иванушку и вырезал игрушки. Но он был на самой важной работе и, сожалея, отказался от предложений.

— Ладно, что тут поделаешь,— вздохнул Пан Перунович.— Но вам придется подождать, коллектив готовит для вас подарок. Мы не можем отпустить вас просто так.

— Подарок?— Нури задумался.— А хороший?

— Такой хороший, что ни в сказке сказать, ни пером описать.

Нури догадывался, что это будет за подарок, ибо к Гасану-игрушечнику прибегали на консультацию и старик Ромуальдыч, и сам Пан Перунович, и многие другие. Они вертели, так и сяк рассматривали того деревянного зверя, которого мастер показал Нури в день знакомства. Ромуальдыч терзал вопросами «Кассандру», Пан Перунович со своими добры-молодцами погрузился в глубины генетики и эстетики — в Заколдованном Лесу эти дисциплины оказались тесно связанными.

Нури не умел сидеть сложа руки и, трепетно ожидая подарка, взялся переделать все наличные шапки ЭСУДа. Он вводил в схему блок защиты, автоматически отключающий поле при попытке передачи в камеры предвоспитания злых намерений,— запоздалая страховка от Кощея. Дело это было многотрудным, поскольку проверить, сработает ли блок, оказалось невозможным. У всех обнаружились только добрые намерения, а к Гигантюку, естественно, никто обращаться не захотел. Так что пришлось Нури полагаться на интуицию и свой богатый опыт наладчика кибернетических устройств.

...И настала ночь, теплая и сиренево-светлая. Нури, Иванушка, Неотесанный Митяй и Гасан-игрушечник сидели вокруг котла на помосте, смотрели на огонь и — ковшик ходил по кругу — пили драконье молоко. Немного грустные в предчувствии расставания, вели негромкую дружескую беседу обо всем — о жизни, о сказках, о том, что вот Драконыш растет общительным, что скоро, видимо, появится маленький единорог — естественным, так сказать, путем — и что, может быть, стоит познакомить золотого коня из ИРП с единорогами, есть в них что-то родственное. А возможно, кони — это мутанты единорогов?

Нури ощутил за спиной чье-то присутствие, протянул руку и погладил пса. Гром подошел неслышно и ждал, когда на него обратят внимание.

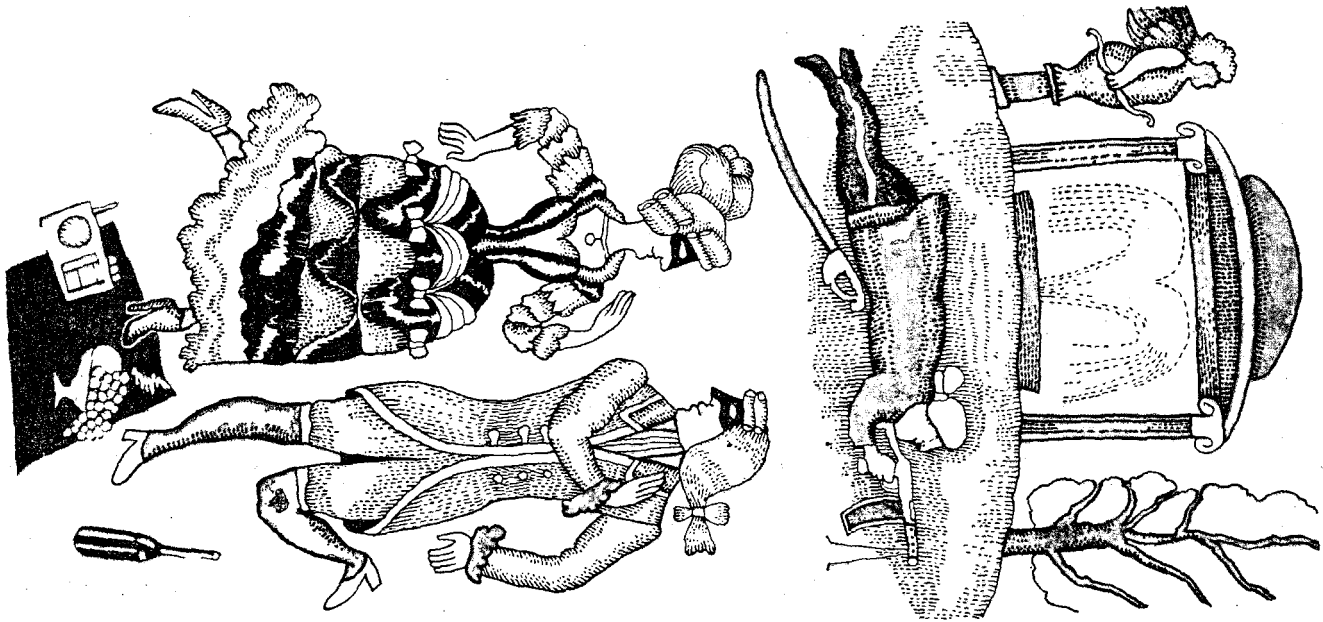
Ну что, видимо, мне пора?

Пора,— сказал пес.— Я пришел за тобой.

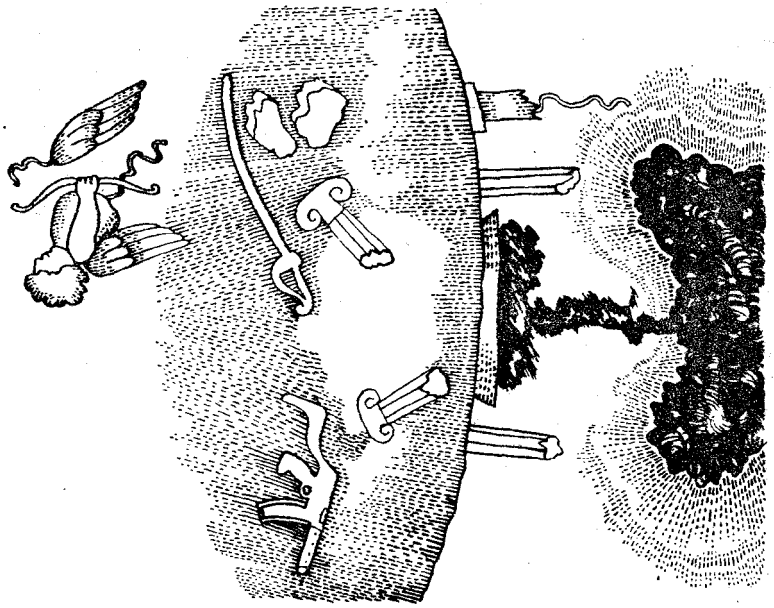
Вы же сами не захотели остаться.— Пан Перунович пришел вовремя, и Нури подумал, что все уже приготовились и вот даже Грома вызвали к ночи, когда можно пройти сквозь защитное поле. В руках Пан Перунович держал лукошко, закрытое попонкой. Все посмотрели на лукошко и поднялись.— Тут для вас подарок. В дополнение к тянитолкаю, чтоб не рос увальнем и не терял алертности.

И сразу леший негромко засвистел, загукал странно, и на яблоню опустилась Жар-птица, и стало светло. А леший взял лукошко, поднес его Нури и убрал попонку. В лукошке на мягкой подстилке лежал и сонно щурился на Нури щенок рычикусая.

Север Гансовский







...И МЕДНЫЕ ТРУБЫ

Повесть

Первый раз смотритель поклонился барину, когда по двору еще водили выпряженную распаренную тройку. Тот в избе из ковша воду пил.

— Ваше сиятельство, сударь, повремени. Шалят очень на гари. Злодейство еще от Емельки не переведется никак. У нас компании сбивают, кому ехать — купцы или по казенной части.

Был проезжий важного росту — до сажени вершков пяти не дотянул. Подорожная от тобольского генерал-губернатора, но следовал без прислуги, сам, чего при таких-то подорожных не бывало. И лик не крупитчатый, округлый, а загорелый, худой. Взглядом не медленно, с сознанием себя, водит, а резко упрет в одну сторону и в другую. Стиль твердый.

Ковш положивши, вытер рот рукою.

— Запрягай!

Вещей две клади. Сундук одному поднять впору — он оставил в кибитке, шкатулку же брал с собой, вынимал оттуда подорожную, чтобы смотрителю переписать.

Как запрягли, еще пробовал урезонить проезжего смотритель — что случись, с него тоже спрос.

— Ваше сиятельство, по крайности хоть пистолеты...

Тот прервал его знаком руки.

— Выводи!

Сам — в карман и рубль кинул. У смотрителя дух захватило. Знатнее езживали — прислуги только на трех повозках. А чтобы серебряным рублем, — не помнилось.

И ямщик с седой бородой (а все — Васька) тоже на мзду вознадеялся. И тут же подумал, как бы с деньгой в трясину не угодить. Разбойничать

© С. Гансовский, 1992

нынче пошли уж очень разные — иной и ямщика не побрезгует зарезать.

Поехали. Барин сидит, скалится на хорошую погоду. По-русски чисто говорит, однако на русского не похож, а больше на иноземца, какие приезжают звезды считать да землю мерить. Ну, улыбайся, улыбайся. Как бы заплакать не пришлось.

К пятой версте миновали гать, где по сторонам хворая сосна с тонкой осиной друг дружку не видят да пушица-трава. Еще через версту зачернелись заплывшие обуглины на старых дубах — тут пожар ливнем гасило. И вот она сама — гарь. Сверху черные стволы, снизу малина, смородина. Самое для душегубства место — тут и выскочить врасплох, тут и скрыться.

Оглянулся Васька на барина — тот вовсе заснул.

А как посмотрел ямщик вперед на дорогу, грудь сперло.

Шагах в десяти сосна бесшумно падает поперек.

Кони сами остановились, дрожат.

— Ваше благородие, просыпайся! Беда!

Соскочил Васька с облучка. Растерялся. В лес бежать, так это прямо злодеям в лапы. Оставаться на месте — чего хорошего дождешься?

Являют себя с правой стороны из кустов двое, с левой — три мужика. Которые первые вышли, один совсем зверина. Грудь бочонком бороду подпирает, ноздри рваные, глаз кровавый. Руки до земли, в кулаке топор.

Поднимайся, барин. Будем с тобой поступать, как государь наш, Петр Федорович, приказывал.

А который рядом — ладный парень, чернявый, молодой. Глянул на него ямщик, понятно стало, что его-то самого убивать не будут. А все равно со страху помрешь, как начнут с приезжим ужасное делать.

Однако тот духу не сронил. Спрыгивает на траву спокойный.

Зверина-мужик поднял топор, закричал жутко:

— И-и-иэх!

Васька глаза шапкой прикрыл.

Хрип... Тело об мягкую дорогу хлопнуло. Кто-то сопит, топчет лаптями.

Выглянул ямщик из-под руки.

Топор стоит воткнутый по самый обух в поваленную сосну. Зверь-мужик на земле животом кверху. Чернявый воздух хватает, держится за грудь.

Барин же на ногах, и на него трое насели. Про двоих Васька понимает — те, о которых слыхал. Братья-близнецы, беглые с Демидовских заводов. Эти с топором и с ножом. И третий, волосом рыжий, заходит полоснуть саблей сзади — ржавая, она от Пугачева сколько годов пролежала в земле.

Однако приезжий под первого из братьев уже нырнул, бросает его за спину. И глядь, на траве все пятеро. В куче. Хотят расползтись, а барин поднимет и обратно. Да еще сунет под дых так, что у человека глаза под лоб.

Ямщик смотрит — не блазнит ли ему все?

Барин же командует, ругается. Всю дорогу молчал, теперь разговорился.

— Веревка есть?.. Вяжем злодеев... Клади в кибитку, в Ирбит отвезем, в управу. Там с них спросят.

Заплакал Васька, как взялся за чернявого. Да что станешь делать? Поклали одного на другого, как поленья. Злодеи зубами скрипят, червяками выгибаются.

Проезжий к лесу кинулся. Сосну взял у комля, оттащил с дороги. А дерево — в пол-обхвата!

— Давай! Трогай, чего спишь?

Только взяли кони, соскакивает.

— Стой! Стой, говорю, куда разогнался?.. Песку по дороге не будет?

— Песку?

— Ну да, песку! Коням-то тяжело.

— Коням? — Ваське и не понять, о чем речь.

— О господи! А кому, тебе, что ли?.. Снимай давай!

Это про разбойников.

Васька слез с облучка. Себе не верит.

Сняли, покидали на траву. Те лежат связанные. Ни живы ни мертвы. Слово сказать боятся.

— Поехали!

Вскочил в кибитку, за полог взялся — поднять от солнца.

Кони опять взяли. Только миновали сосну, снова кричит:

— Стой!.. Стой! А веревка? — Соскочил. — Веревка-то как? Жалко, хоть и резаная.

Ямщик уже начал понимать. Прокашлялся.

— Знамо дело — работа.

— Вот и я говорю. — Пробежался быстро до злодеев обратно, остановился, глядит. Вернулся к Ваське. — Как думаешь, раскаиваются?

У Васьки горло запнуло. Сказать ничего не может. Барин опять к разбойникам. Остановился над рыжим.

— Что сожалеете небось? Бес, видно, попутал?

Другие молчат, а мужик-зверь выдохнул:

— Дьявол ты, не человек!

Проезжий будто не слышал.

— Раскаиваетесь, а?.. Молчание — знак согласия. Выходит, раскаиваются.— К ямщику:— Как думаешь?

Васька только рот разинул, слышит, как сердце стучит, кровь в голову кидается.

— Ладно. Давай тогда, развязывай! Не сиди! Нечего время терять.

Развязали. Солнце на полдень поднялось. День ясный, небо высоко. Снизу от зелени дух идет — живи сто лет. Весна.

Пятеро стали подниматься. Не знают, куда глаза девать.

— Ну, мужики,— говорит барин,— все тогда. Топор вон возьми.

Побрели они, один об другого толкаются. Проезжий шагнул было к кибитке. Остановился.

— Эй, подождите!

Те стали кучей.

Барин шагает к ним. Ткнул пальцем в чернявого.

— Пойдешь ко мне служить?

— Я?— Шары выкатил.

— Ну да. Обиды от меня не будет.

У чернявого губы задрожали, оглядывается на ямщика, на товарищей. Закраснелся. Один из братьев локтем его.

— Ну?

Тогда шапку тот срывает. Об землю.

— Ваше благородие... Да как ты нас... Да мы...

— Согласен.— Барин к мужикам:— Тогда прощайте... А ты садись. Меня разбудишь, когда Ирбит покажется. Отдохну — нынешней ночью мне не спать.

Но барин проснулся сам, когда стали к городу подъезжать.

— Тебя как величают?

— Федькой.

— По отцу?

— Сын Васильев. Да вот мой отец.— На ямщика показывает.

— Ваше благородие, государь!— Ямщик тройку останавливает, соскакивает с облучка.— Заставь до

смерти Богу молиться, не выдай! Крепостные мы плац-майора Шершнева. Меня, старого, на оброк отпустил, молодых же всех — в землю, медь копать. А там воды до пояса — года по три живут, не боле. Вот и согрешил парень — в бега кинулся.

Проезжий в ответ спрашивает:

— Тебя как по отчеству?

— Иваном отца звали.

— Василий Иванович, отведи тройку с дороги. Нам поговорить надо.

На поляне барин сел, шкатулку с собой вынесенную открыл, принялся рассказывать длинную историю. Был он рожден природным бароном в жаркой стране за океаном, куда от Руси плыть месяца два, а после еще один степью скакать. С детства имел любопытство к наукам, от древнего народа, марья называемого, узнал, как соблюдать себя, чтобы сила была и прыткость. Войдя в возраст, поехал от своей горячей родины в край Аляску. Там возле берега прохлаждался на малом корабле, был унесен в студеное море и, много претерпев, попал на сушу возле великой реки Калымы. На той реке стоит селение Армонга Калымская, где он ради своего чудесного спасения крестился в православную веру, в честь восприявшего его казацкого воеводы взявши имя Степан Петрович. (Говоря это, барон осенил себя трижды крестным знамением.) Теперь же едет в Санкт-Петербург просить у государыни русского подданства.

Дивно сделалось отцу с сыном — барон-то им, холопам, про себя. Но, правда, уже не первое он сегодня чудо являл. И по крайности убедились, что не дьявол перед ними.

Потом, шкатулку отперев, проезжий развернул грамоту на барона, прапрапрадеду жалованную князем Андорры, другие важные бумаги от императоров, королей. Вынимал также камни, полезные корни, еще от его родины сбереженные. Под конец же показал в шкатулке перья гусиные, чернильницу, сургуч. И твердой речью:

— Что с нами дорогой случилось, Василий Иванович, забудь! Как выехали, мол, так и доехали: нас никто не видал, нам никого не попалось. Нынче же ночью напишу на Федора бумагу, будто продал мне его плац-майор, а в губернской канцелярии купчая заверена. Той

бумаги, однако, никому не стану показывать, пока за Нижегородскую губернию не заедем.

Васька с Федором только кивали, удивлялись.

— А теперь, Василий Иванович, благослови сына. *Столица не близко, свидитесь ли* когда?

В ту зиму страшный гулял на Невской перспективе холод. С полдня солнце склонялось к шпилю Адмиралтейства, огромное, красное. Нева вся парила со льда светлым морозным дымом, от людей, от лошадей дыханье выскакивало большими белыми фонтанчиками. Из иностранных посольств старались вовсе на улицу не выглядывать. В Зимнем, в княжеских, графских палатах беспрерывной топкой так накалили высокие голландские кафельные печи, что не тронь.

А на главном проспекте столицы все равно всякой славы и всякой судьбы народ. В закрытом возке едет флигель-адъютант, мужик в желтом нагольном тулупе везет битую птицу в господский дом, другой на роспусках сена навалил. Толстая барыня с прислугой взошла в лавку, где заморские изделия,— торопится купить розенвассеру, розовой воды в свинцовой фляге. Капитан кавалергардов с большого похмелия крутит ус, диковато озирается — нет ли взгляда непочтительного, а то он готов и шпагу окрасить.

Кто поплоше одет да не мясом обедал, того сразу прихватывает мороз. Через тридцать — сорок шагов оттирай себе щеку либо становись греться у тех костров, что будочники разжигают возле Полицейского моста, на Большой и Малой Конюшенных.

А красив с этими кострами в морозный вечер каменный державный град Петра! И как разросся, расстроился. Будто еще совсем недавно блаженной памяти императрица Анна Иоанновна рядила сразу за Лютеранской кирхой устроить сад-гартен для гоньбы оленей, кабанов, зайцев. Но какие зайцы?! Сзади кирхи ровные улицы одна за другой, где в пять часов пополудни зажигаются масляные фонари на чугунных столбах изящной фигуры.

Возле кирхи же стоит двухэтажный дом на десять покоев, принадлежащий славному кондитеру из немцев Нецбанду. В эту зиму снял его барон Степан Петрович, нареченный недавно самою государыней Калымским. Немало пришлось ему хлопотать аудиенцию. Но до-

бился, преуспел. Стал в назначенный день и час среди толпы вельмож напудренных в большой приемной зале Зимнего дворца, роскошней которого и в мире нет. Матушка-царица осчастливила долгим разговором. Пожелала узнать, очень ли оробел, когда унесло от Аляски, как это чувствуется, если сильный голод — в животе болит или только скучно. Спрашивала, знатная ли река Калыма, годится ли для судоходства, чем продовольствуются в Армонге царские люди, нельзя ли местных жителей употребить в земледелии или лучше пусть в охоте на дикого зверя продолжают упражняться? Приезжий на все давал толковые ответы. Довольная императрица пожаловала его табакеркой, алмазами украшенной. Был зван на куртаги. Дамы придворные, легкомысленные танцорки, многие заразились любовью к статному иноземцу. Веером открыто примахивали к себе, мушки клеили у губ особым образом, давая знак, что, мол, свободна, кровь горяча, хочу с высоким блондином иметь амур. Но Калымский оказался подвержен другому соблазну — карточному. Причем так изрядно, что крупные столичные картежники стали приглядываться, а нельзя ли его распрячь тысячи эдак на три.

Назревал скандал.

Сначала сели у барона в «фараон», потом решили сразиться в холопскую «горку», где успех зависит только от бодрости игрока, так что храбрый, имея одни лишь номерные, сорвет банк, а робкий и сомнительный потеряет даже с сильными картами.

Кроме хозяина были князь Смаилов, известный санкт-петербургский шалун, кавалер Леблан и Бишевич, человек подлого роду, но великого достатка, откупщик.

И после ужина Калымский, против всех ожиданий, стал забирать чуть ли не всякий кон. Гребет и гребет к себе широкими, словно у холопа, ладонями. Добавит в большую кучу, холодно оглядит партнеров — серые глаза будто чужие на загорелом по-мужицки, каменном твердом лице — и ждет очередной сдачи.

Проигрывал больше всех князь Николай. А не того был закала, чтобы обиду сносить. Богатством, связями избалован, противоречия не терпел, над низшими куражился. Лакеев только в петербургском особ-

няке держал три десятка, сытых, проворных. Таких, что купеческую фигуристую или захудалого шляхтича беленькую дочку выкрадут для князевой услады, по его слову подожгут на окраине мещанский домишко и до времени жителей не выпустят, чтобы барину потешиться. Знающие неохотно садились с ним играть. Идет карта, Смаилов вежлив, а нет — может и побить партнера.

К одиннадцатому часу он отдал Калымскому около тысячи и стал писать записочки. Кавалер и откупщик уже заимели интерес следить, как же в конце концов обойдется своенравный князь с хозяином.

Пробило полночь. Барон держал банк, Смаилов был за рукой. Ставку назначили двадцать рублей. Князю открылась козырная десятка с фалью, а в поднятых он нашел еще туза с королем. Получалось, игра его. Бишевич, которому открыли козырную даму, отказался, кавалер с двумя мелкими заявил себя в боязни. Перебить князеву карту могли лишь три фали подряд у Калымского — случай столь редкий, что на него и считать нельзя. Осторожно, чтобы затянуть барона, Смаилов «пошел в гору» на двадцать. И тут же поправился, назначив сто.

Барон равнодушно придвинул кучку империалов.

Все смотрели на князя. Три кона подряд он торговался с Калымским до конца и проигрывал на проверке. Он побледнел, у него стала дергаться щека. Леблан и Бишевич каждую минуту ждали, что он, придравшись к чему-нибудь, вскочит, порвет карты.

— Иду на двести.— Князь развязал галстук, бросил его на пол.

Отвечено! — Калымский отсчитал деньги, положил на банк.— Вы пишите записки, князь.

Смаилов бешено глянул, но сдержался. Закусив губу, написал на клочке бумаги «восемь сот», показал барону.

— Принято. Поднимаю еще на столько же.

Трещали свечи. Леблан с откупщиком затаили дыхание. Чтобы продолжать борьбу, князю надо было добавлять цену выездной столичной кареты. Он плеснул себе вина в бокал, сжав зубы, уставился на свои карты.

Ну? — нетерпеливо прозвучал голос хозяина.

Смаилов поднял на барона ненавистный взгляд.

Прошу положить карты.— И тотчас спохва-

тился. Глупость! Раз уж решил кончать скандалом, а он именно так и решил,— стоило идти до проверки.

Но Калымский уже открыл на столе свои — четыре мелких.

Откупщик крякнул. Леблан после минутного молчания захлопал в ладоши.

Князь, багрово покрасневший, вскочил.

— Нет, господа! Дело нечисто, так не торгуются.— Он потянулся к денежной куче барона.— Я этой игры не признаю.

Однако Калымский опередил. Мгновенным мягким движением, вставши, положил Смаилову руки на плечи.

— Что вы сказали, князь? Дурно себя чувствуете?

И кавалер с откупщиком ясно увидели, как быстрым, коротким движением кулак барона ткнулся Смаилову пониже груди. Туда, где часы с брелоками на ремешке. У князя замутнели глаза, падая на стул, он стал ловить ртом воздух.

– Федька!— Хозяин обернулся к дверям.— Воды! Князь нездоров.

Мгновенно распахнулись обе половинки дверей. Чернявого слугу будто ветром вдуло в залу.

Калымский плеснул воды в лицо Смаилову, расстегнул ворот рубашки.

— Ничего, оправится.— Он прошелся по зале из угла в угол.— Признаюсь, господа, поклонник я физических упражнений. Чтобы не впасть в дородство (Взгляд в сторону толстого Бишевича.) Как древние нас учили: в здоровом теле здоровый дух. К тому же полезно, чтобы вору ночному не поддаться, честь защитить от обидчика. Побыв во многих странах, обучился искусству без оружия сразиться со злодеем, даже с двумя-тремя. Вот, к примеру, замахиваются на меня...

Бросил на спинку стула отделанный мехом шлафрок, остался в рубашке, в кюлотах. Шагнул к Смаилову.

— Князь, замахнитесь.

— Эй, хо... холопы мои!— Смаилов, приходя в себя, тщился встать.

— Ну, смелее,— подбодрил хозяин.— Поднимите руку!

Рывком поставил Смаилова на ноги, сам задрал правую руку. Партнеры не поняли, каким манером то

произошло, но князевы башмаки с серебряными пряжками мелькнули под потолком. Макушкой Смаилов только-только не ударил в пол, а через момент уже стоял как прежде, но с растрепанными волосами, блуждающим взором

Бант у князя соскочил с косички. Багрово-красный Смаилов силился что-то сказать и не мог Только шлепал губами.

Калымский небрежно толкнул его в кресла, вскинув голову, остро глянул на француза с откупщиком.

— То было против хама, мужика. А если оскорблен дворянином... Федор, шпагу, пистолеты!

Взял поданную слугой шпагу, передернул плечами, разминаясь.

— Кавалер, прошу, сударь. Обнажите ваше оружие и нападайте... Ну!

Леблан неуверенно поднялся.

— Так... Крепка ли ваша рука?

Клинок сверкнул перед глазами француза, лицо барона вдруг оказалось рядом. Какая-то сила вывернула рукоять из пальцев Леблана, шпага его взлетела, а барон уже стоял на прежнем месте. И все это было сразу: лицо Калымского вблизи, возвращение хозяина на середину залы. Только шпага кавалера долго взлетала и опускалась.

Правая рука вся опемела у француза.

— Или пистолеты...

Слуга тем временем поднял со стола туза пик, наколол на торчавший в стене гвоздь.

Калымский отошел к столу — отсюда до цели было шагов десять. Взял один из трех пистолетов, расставив ноги, чуть потоптался, как бы проверяя, прочен ли пол. Медленно поднял руку, прицеливаясь.

— Повязку!

У чернявого уже был приготовлен темно-красный бархатный шарф. Он наложил его барону на лицо, завязал сзади. Затем отнес в сторону шандал, освещавший карту. Теперь и партнерам не было видно.

— Князь Николай! — Шарф закрывал лицо Калымского от бровей до подбородка, и это прозвучало глухо.— Князь, слышите меня?

— Слышу.— Голос Смаилова был дребезжащим, какого Леблан с откупщиком прежде не знали.

— Сочтите мне.

— Счесть?

— Ну да, до трех.

— Раз,— начал Смаилов.— Два... три!

Еще не до конца отзвучало «и», как три выстрела грянули, почти сливаясь. Барон хватал пистолеты со стола, бросал обратно с быстротой фокусника. Повязка тут же была сорвана, Калымский подбежал к стене, снял с гвоздя карту, стал совать гостям. Карта была в трех местах пробита пулями.

— Это, судари мои, память мускулов, стрельба не глядя.— Повернулся к слуге:— Все убрать, нам новую колоду.

Прошелся по зале.

— Что ж, друзья, отдохнули, рассеялись. Можем продолжать?

Гости молчали. Смаилов вдруг, пригнувшись, опустив голову, пошел к дверям. Тремя легкими шагами Калымский нагнал его.

— Куда же вы, князь?

— Д-домой. Устал.— Тихий, неуверенный голос.

— Нет, князь, вы не пойдете.

— Не пойду?— Смаилов посмотрел в лицо хозяину.

— Нет, конечно.— Хозяин подвел князя к столу, посадил.— Господа, обязан сообщить, что, соблюдая свое достоинство и особливо честь играющих со мной партнеров, я неожиданного выхода из игры, каковой тень на всю компанию бросает, прощать не могу. То долг мой по отношению к гостям — недопущение двусмысленностей.— Глаза захолодели, он вел взгляд с одного лица на другое, будто прицеливался.— Случалось мне за такие экивоки отхлестать обидчика публично по щекам (рот скривился в гневе), да потом прострелить пустой лоб. Не скрою, из важных европейских столиц и хороших городов принужден бывал после дуэлей уезжать по наговорам недоброжелателей. Однако всегда возвращался по разъяснении дела. Так что здесь, любезный князь,— похлопал Смаилова по плечу, улыбаясь с нежностью,— здесь будьте вполне надежны. Ничьим внезапным удалением ваше имя замарано быть не может.— Резко повернулся к другим гостям:— Поиграем, други, раз уж собрались.— Отбежал к двери.— Федька! Буди экономa. Поваров с поварятами поднять, пусть пекут, жарят. А нам сюда кофею и вина... Князь, благоугодно ли вам начать? Ваша сдача.

От стола не поднимались больше суток. Ставку по

настоянию барона повышали трижды. Кто засыпал, того хозяин будил, заставлял взять карту. Гости уж думали только, как живыми уйти. Огромный капитал проиграл откупщик, но впятеро — князь. Француз лишь тем отделался, что сопротивления не оказывал, сразу отдавая за каждый кон — сперва наличными, потом записками.

Кончили в седьмом часу утра.

Проводив партнеров, Калымский взял с вешалки шубу, принял бобровую шапку из рук подскочившего Федора. Небрежно запахнувшись, вышел, побрел, усталый, задумчивый, мимо обывательских трехэтажных домов. Мороз чуть отпустил. Иней светлым пухом лежал на ветках подстриженных лип вдоль широкой Невской перспективы, дымкой одел камень зданий, отчеканивая углы, грани.

Вельможный Санкт-Петербург еще крепко спал, но проспект шевелился почти неслышным теневым движением. Исполняя вчерашним вечером наказанное, бежали с поручениями комнатные девки, казачки, черный трубочист шагал (за спиной мешок, где сажа — тоже важный товар), прилежные лошаденки везли ко дворцам припас из пригородных усадеб, фонарщик плелся — в руках масляная бутыль и лесенка. Молочницы-чухонки несли к базару горшки со сметаной, дворники сгребали снег.

Барон повернул влево, оставляя за спиной Адмиралтейство, пошагал приподнятым над мостовой бульваром. Просторные луга у Фонтанки были завалены штабелями бревен — с весны решили гатить низкий, топкий берег, ставить набережную. Город почти кончался здесь — за рекой только конные дворы Преображенского полка, а после уж темный финский лес.

На другой стороне проспекта у открытых ворот к Аничкову дворцу вереницей выстроились сани с сеном, ждали, когда допустят. Калымский перешел туда. В глубине хозяйственного сада тускло светились оранжереи, шел сбор фруктов к царскому завтраку. Оттуда выбежал мальчишка в заплатанном полушубке, тоненько спросил кого-то невидимого:

— Дяденька, а дяденька, Парфен Ваныч не проходили?

Вблизи ворот ответили хрипло, со злобой:

— А ты кто такой про Парфен Ваныча спрашивать? Я вот счас стану...

Мальчишка растерянно переступил с ноги на ногу, вытер рукавом нос, побежал прочь. Сбившиеся в кучу мужики-возчики помалкивали.

Особая ниша в жизни столицы, отдельная система, где настолько велик Парфен Иванович, что даже осведомляться о нем не всякому дозволено. Трудно было верить, что не так уж далеко в будущем вдоль этой же стены к Публичной библиотеке, что на углу, где Садовой улице пролечь, пойдут гордые студентки-филологички, толковые, острые на язык ребята-электронщики, которым проектировать атомные гиганты конца двадцатого столетия. Люди совсем изменятся, а вот Аничков дворец таким же войдет, словно мыс, в море времени. Резко рисовался контраст между благородной простотой, спокойствием дивных, навечно пребудущих строений юного Петербурга и самодурством, суетливостью тех, кто живет и властвует в них сейчас.

Камень умней!

В тот же день к вечеру барон отправился на Большую Морскую к Смаилову. Князь, сказавшись больным (да он и был болен), потщился не принять. Калымский расшвырял прислугу, ворвался, предъявил, ссылаясь на нужду, записки к расчету. Сумма была неимоверная, скоро собрать ее Смаилов не мог, предложил в уплату одно из родовых имений. Вступать во владение пришлось хлопотно. Указом просвещенной государыни карточные долги запрещалось взимать. Составили фиктивную купчую. Сломленный князь всему подчинялся, но дело тянулось до весны.

Эх, и лихо возвеселилось дворянство после того, как в старой столице на болоте возле Кремля стукнула об доски помоста отрубленная голова бесчестного самозванца Емельки! И те из бар, кто (позабыть скорее!) в одном исподнем от Казани скакал до Белокаменной, теперь орлами глядят. Мужика, неблагодарного лапотника, осадили, и жаловаться на господина запрещено лежебоке, начинщику непослушания. Палками его взъерошить, в кандалы! Благородному же сословию за

исконное старание престолу пора и награждену быть. По холмам, над рекой чудом встают дворцы-усадьбы. Ну, понеслась охота по полям-перелескам! Кони ржут, псы кишат в сворах, прислуги не счесть, господа в бархате. А пиры! Фейерверки, пушечная пальба, катание на лодках с роговой музыкой — сорок молодцов, у каждого рог, из коего единственный тон можно извлечь, но столь строга выучка, что вместе составляется симфония со всеми триолями, трелями. Где же еще узришь, услышишь то? А хлебосольство! Дворянин с каретою, с лошадьми, десятком лакеев не минует ни одной губернии государства, по месяцу станет жить в чужих поместьях, но кошелек ему будет излишен. В обеих столицах в доме вельможи на кухне стряпня день и ночь, в любое время суток приходят знакомцы, приводя с собой всякое число неизвестных хозяину лиц, и тотчас на столах горами дичь, балыки, икра. Истинно золотой век настал. И виновница всему — великая царица. Наконец-то сделала русскому человеку любезным его отечество.

Выехал барон в новоприобретенную усадьбу только в мае. Впереди карета с гербами, сзади кибитка для камердинера Федора и эконома Тихона Павловича. Тертого, пожившего этого мужчину из петербургских мещан Калымский от Нецбанда переманил.

В нежной карете двигались не шибко — две упряжки в день верст по тридцати. На шляху то и дело фельдъегерская тройка, щеголь в атласном кафтане рысит с визитом к соседке-помещице, погорельцы бредут с сумой — огнем Бог наказал. Обозы, обозы с кирпичом, тесаным камнем. А более всего возов, рогожей покрытых, где юфть, сало, полотна, пенька,— эти в Кронштадтский порт.

Останавливались у крестьян. Барон, по причуде своей купцом одетый, беседовал как с равными. В дому мужика-однодворца позвали с полатей ужинать колбасами парня молодого, тоже ночевщика. Тот видом чистый ангел. Волос русый до плеч, лицом тонок, бел, глаза ясные. Сказался крепостным актером. Умеет акцию, на клавире, танец, может делать театральную машину. В Санкт-Петербургском Оперном доме пел Солимана в «Трех султаншах», аплодисменты имел, похвалы удостаивался. Два же года назад барин-старик отозвал в имение, велел научить пению, танцу да

итальянскому языку девицу четырнадцати лет, каковую сдать ему неповрежденной в нравах и сердце.

— Сдал ли? — спрашивает его барон.

— Сдал, — отвечает парень. И заплакал.

Этого было решено тоже взять, оброк за него платить барину. Алексей ему имя.

Поздно, как все по лавкам легли, наговорившись, Калымский вышел на крыльцо.

Отрозовела, погасла вечерняя заря, пахло березовым листом. Майские низкие звезды сияли над головой, словно вывешенные в глубокую черноту неба. От тишины и отсутствия наземного света казалось, будто после огородишка за непробивными кустами бузины мир кончался. Будто здесь же, в двух шагах, земная твердь обморочно опрокидывается в эфирную пропасть Вселенной. Но Русь, хоть и невидимая, была. Раскинулась во все стороны. Ему бы не знать, человеку у крыльца! Как в глухой сибирской деревеньке оттерли его, нагим явившегося, он и лес валил, и землю пахал, с коробом легкого товару ходил по селам, сам на лесной дороге купца останавливал, городскую управу ночью взламывал ради бумаги, печатей. Насмотрелся. Вооруженным террором народ загнан в ярмо, ошеломлен, осмирнел после Пугачева. В барской среде еще вовсе нет идеала, брюхо да девки — вот вся помещичья служба отечеству. В роскошном покое, в душной лакейской вырабатываются страшные черты характера. Дико, будто свету конец, выскочки-фавориты грабят государство, взятки повсюду. Диктат материи. Закон природы обязывает атомы соединяться в молекулы, велит организму развиваться, хищнику — охотиться, помещику и вельможе — ублажать себя властью. Крепостное право, издевательство сильных над слабыми, лесть, карьеризм, воровство, засилье бюрократов — все диктат...

Вдруг треснула ветка поблизости, что-то двинулось в кустах.

Калымский повернул голову — корова? Или кто любопытный из соседских мужиков?.. Шагнул туда, и тотчас странная, во что-то гладкое одетая фигура тронулась с места.

Легкий, сразу стихший звук шагов.

Перескочил через кусты.

Человек, как бы облитый чем-то серебряным, стоял на шляху возле старой липы. И одежда и повадка не

мужицкие. При свете звезд стало различимо лицо незнакомца. Узкое с большими глазницами. Нерусское.

Мгновенье, и мужчина в серебряном ступил в тень, под липу. И исчез. Как растворился.

Калымский ринулся к липе. Никого... Шлях и поле за ним пусты.. Был — и не стало.

Кто?.. Неужели слежка? Но почему? Если до царицы дошло насчет Смаилова, послали бы поручика — доставить на допрос.

Постоял, закусив губу. А может, и не было ничего. Галлюцинация. Нервность от перегрузки.

Но идя в избу, знал — вспоминаться будет серебряный.

— Сим объявляется... во владение его сиятельства... Обязаны иметь к нему полное повиновение и беспрекословное послушание.— Из губернского штата чиновник с глубоким поклоном подал бумагу Калымскому.— Вот вам, крестьяне, ваш новый господин. Усердствуйте ему, он вас своей милостью не оставит.

Толпа опустилась на колени. Торжественно было. У самой лестницы на террасу кучкой стояли управляющий из поляков со льстивой улыбкой на губах, приказчики, дворецкий, главный конюший, староста.

Вперед, на коленях же, вдруг посунулся древний старик. На голове редкий пух, члены дрожат — такому терять нечего.

— Батюшка-государь,— зашамкал,— пожалей нас, сирых. Прежний барин да управитель жениться парням не велят, девок сперва зовут на смотрение. (У толстого управляющего перекосило рот.) Милостивец наш, дозволь...

— Дозволяю!

Старик осекся растерянно.

Барон с кресла стал.

— Мужики, теперь ступайте в поле, трудитесь. Дело летнее.

И повернулся. Ушел в дом.

Приехал новый господин — еще не рассвело. Сразу стал смотреть имение, сопровождаемый сорванным с постели управляющим Аудерским. Готовились к тому, что он нагрянет, но раннее появление застало всех врасплох. К полудню Аудерский от страху и усталости еле держался на ногах.

А всего к услугам вашей светлости...
Выхватил листок из кипы списков и описей.
«Камердинеров да казаков — 12
Официантов — 9...»

Начали с дома. Прошли двусветный зал (хрустальные люстры, подсвечники на стенах бронзовые в виде грифов), заглянули в князев кабинет (бюро красного дерева с финифтяными бляхами на замках, прошлогодние «Санкт-Петербургские ведомости»), в спальню (кровать на возвышении с кружевным и атласным пологом, мраморные колонны по углам). Всюду навощенные полы блистают, пыль выметена, мухи все до одной вымаханы, чистота, свежесть.

Барон шагал скоро, задерживался в местах неожиданных, стрелял вопросами:

Чьей кисти портрет?

Эта дверь куда?

В буфетной подергал замок на железном ящике, где заперт сахар (как ни наказывай дворовых, все равно, пся крев, будут лазить). Обвел взглядом полки с дорогой посудой.

«Ямбургского завода бесцветного стекла кубков...
Глазурованного фарфору ножей да вилок...»

Барон глазами по сторонам. Слушал невнимательно. Крестьян отпустивши, пообедал быстро, велел заложить коляску. Пока запрягали, направился во флигель, где людская и дворовых квартиры. Не понравилось. Стены замараны, закопчены, на немытых полах солома, тряпье. Спросил, по скольку семей в одной комнате.

Из этого флигеля выйдя, показал на дверь в подвал-арестантскую. За всякие провинности тут содержалось наказанных человек десять. Одни на короткой цепи к стене прикованы, иные в колодках, с рогатками на шее. Когда подходил новый барин, изнутри гам, но как замок звякнул, умолкли. Сидят в темноте, только глаза белеют.

Управляющий объяснять:

— Этот спор затеял со старостой. Не из дворни, ваше сиятельство, пахотный. Неслух. Волком глядит.

Барон знаком остановил его. Поднял взор в низкий потолок.

— Всех освободить! Рогатки, колодки сжечь.

Просто у барона все решалось. Прибежал, глянул да тут же, недосмотрев, недослушав: так-то и так-то.

От этой легкости Аудерский стал понемногу приходить в чувство. У Смаилова он управительствовал не у первого, встречал уже ту манеру — лишь бы сказать.

Пошли к правому флигелю, в коем окна изнутри заделаны решетками. Князев дворецкий вынул связку ключей.

— Для барского удовольствия.— Управляющий осклабился.— Князь большие любители были.

Первая дверь, скрипя, отворилась. Внутри на грязном полу соломой набитый мешок комом, в углу ушат. Окно заперто, дух тяжелый, кислый. И молодая женщина, статная, в измятом сарафане. Брови двумя дугами нахмурены, губы закушенные, большие глаза на белом лице горят испугом, гневом. Волосы — каштановая река с плеч. Руками прикрыла высокую грудь, защищаясь как бы.

Барон, вдруг покрасневший, опустил взгляд.

Стали открывать другие двери. В коридор выходили женщины, девушки, девочки даже. По одной, по две из комнаты, из иных по три. Бледные, нездоровые лица, все в одинаковых сарафанах, и каждая по-своему хороша. Выйти вышли, на барина нового пялятся, слово сказать боятся. Одна за другую прячутся.

Калымский, искоса на управляющего глянув:

— И ты сюда захаживаешь?

— Как можно, ваше сиятельство? Этого мы не смеем. Наше дело их содержать по барской воле.

Но из первой комнаты высоким голосом:

— Врешь, душегуб! Ходишь!

И сразу прорвало. Плач, крики.

— И приказчики ходют, и конюший!.. Лизавета, скажи барину, скажи!

— Батюшка-барин, помилуй! Воды нет, в грязе живем.

— По месяцу не выпускают! В церкве сколько не были!

Калымский поднял руку.

— Идите все по домам.— Повернулся к управляющему:— Решетки из окон выломать!

Ехали в село, солнце уже садилось за полем.

— Овсы здесь для собак сеем,— управляющий объяснил.— Князевой псовой охоты на всю губернию лучше не было.

— Сколько собак?

— Восемь сот, ваше сиятельство. Овса идет на прокорм с лишком две тысячи четвертей всякий день.

Миновали за полем порядочный дом с башенкой, высокими воротами. Село раскинулось над речкой — поверху, вкруг церкви, избы крепкие, дранкой крыты, у берега же одна солома серая.

Барон соскочил с коляски возле первой хижины. Столичный ловкий кучер тут же и осадил коней. С главной улицы, сверху, староста с десятскими бегом — ожидали с хлебом-солью.

Двор неприбранный. Изба покосилась, стена плахами подперта. Из сарая пегая кляча робко-робко глянула, переступила смущенно — под тонкой, продырявленной оводами кожей мослы горбом.

Вошли. Печь по-черному топлена, смрад. Потолок в копоти. На нескребанном столе пареная репа. Хозяин, хозяйка да ребятишек орава за ужином. Тощие все, мелкие. Ни говору, ни гама, только мухи гудят. Увидели барина в белом, шитом золотом камзоле. Детвора во все стороны с плачем, баба упала лбом в пол, мужик стал, глаза вытаращил. Только руки крупные, лапа расшлепанная, а сам ледащий, низенький, образ усталый, осунувшийся — не поймешь, как эдакий с сохой-то управится.

На дворе топот вразнобой — староста с десятскими подоспел.

— Сколько детей? — барон спрашивает.

Молчит мужичонко. Одеревенел. Староста тогда, дыхание укорачивая, от дверей шаг.

— Кабы не мерли, до двух дюжин, батюшка-барин. Куды они их сеют?

Мужик потупился. И все ему невдомек барину в ножки поклониться. Стоит пень пнем.

— Много бесхлебных?

— Государь наш, с полсела. Которые еще с Тимофея-полузимника за макуху берутся, а по весне и сосновой мезгой не брезгуют. Сей-то час репку Бог послал.

Барон управляющему, выходя:

— Выдашь муки ржаной по мешку, масла конопляного по пять фунтов, солоду на квас по десять.

— Кому?! — Аудерский бегом за барином. — Ваше сиятельство, по этому краю наподряд лежебоки-мошенники...

И тут же понял ошибку. Калымский повернулся — в жизни не видел управляющий такой злобы в глазах.

— Обсуждать?.. С барином спорить?!

Две железные руки схватили повыше локтей, сжали, земля вырвалась из-под ног. Со стороны видели, как управителева восьмипудовая фигура поднялась, пролетела, ударила в забор, повалила его. В то же мгновение барон одним прыжком настиг.

— Где твой дом?.. Тот вон?— Схватил Аудерского за отвороты камзола, дернул кверху — треск, и два клока материи остались в пальцах. Перехватил за плечи, поднял опять, бросил в коляску. (Как только рессора выдержала?) На старосту зыкнул: — Садись!

Лихой кучер, ничего более не дожидаючи, лошадей разом вскачь. Барон на сиденье, камердинер на запятки, староста еле успел возле него прицепиться. Галопом вывернули в узком месте меж рекой и двором — народ с дороги кто куда. Рысью в гору напрямик через овсы.

Кучер остановил. Староста на колени сразу.

— Твое?— На башенку барон показывает Аудерскому.

Управитель стать не может. Барон выхватил его из коляски.

— Твой дом?

— Ва... ва...— На губе розовая пена. То ли с испугу великого обкусил, то ли внутренность повредилась.

Калымский подскочил к воротам, ударил ногой. Треск. Щеколду внутри сорвало, две половины поплыли. У сараев гора раковой скорлупы, ее розовые аглицкие свиньи хрупают. На гумне раскрытом стеной стоят высокие аккуратные одонья еще прошлогоднего хлеба, дров поленница — в три зимы не истопишь. Под навесом крыльца баба пухлая в душегрее на кресле спит. Проснувшись, рот раскрыла крикнуть строго, да так и осталась. Из конюшни выбежал раскормленный малый — рожа мятая, заспанная, в волосах солома.

Барон управляющему:

— Подойди сюда.— Ненавистным голосом:— Ну!

Аудерский, согнутый, приблизился.

— Видишь дом?.. Слово еще поперек, по бревнышку разнесу.— В глазах бешеные молнии.— Яма останется. И ты в той яме сгниешь!

Постоял, через раздутые ноздри дыша. Вернулся к лошадям, на коляску ступил, Аудерского подманивает к себе пальцем. И спокойно теперь, холодно:

— Отчеты все, книги сдавать тебе моему эконому

для проверки. Завтра после молебна соберешь дворовую прислугу, конюхов, стремянных, доезжачих, псарей, щенятников. Объявишь — псарню, конский завод продаем. Из людей отберешь плотников добрых, колесников, кузнецов, шорников да тех, кто в плотники и протчие хотят и годятся. Которые в пахотные мужики попросятся, тех на пашню вернуть. Завтра же приказчика послать в город, пусть ищет охотников лесу продать.

Уехал. Староста с набежавшими мужиками еле впятером донесли Аудерского в дом. Хрипел, что его, мол, шляхтича, так обижать не след, но, опомнясь, те поносные слова против барина оборвал. Положили на постель, вскинулся — наказанные-то у него не отпущены. Послал сына снимать с цепей, колодки сбивать.

С другой недели лакеев, официантов, псарей, девок разных, коих без счету везде толклось, послали косить, оттого для барщинных два дня урезав. Новый господин одеваться по утрам изволил сам, кушал в большой зале один, вельми скоро и скудно на изумление. Четверти часу не просидит за трапезой, на коня и в поле, в лес. Землю ему раскопают, где скажет, он берет персть глины, песку, смотрит. Вскорости на той глине явились из столицы люди ставить кирпичный завод. За ними стекольного дела знатоки с обожженными лицами, с Урала мужик — по литью мастер, двое немцев — позумейтщик и часовщик, из Лондона-города англичанин. Всяк ехал со своим инструментом, со скарбом. Англичанин привез страшной тяжести железа, сгрузить барон указал в *диванной прямо на штучный пол*. Аудерский после своего летания в воздухах, хоть и пополам согнутый, но приехал утром в контору, двое мужиков помогали от коляски. Так, не разгибавшись, начал щелкать на счетах. Из города повезли купленный казенный лес — за аглицким парком над рекой Калымский повелел ставить деревню. На Спас яблочный обложили на три венца полста изб.

Интересовались бароном соседи из мелкопоместных. Останавливалась перед террасой неуклюжая карета, дородный помещик ждал, что подбегут лакеи, откроют дверцу. Не дождавшись, выходил сам, озирался недоуменно. Без уверенности ступал на широкую лестницу. Наверху дворецкий двухаршинного роста. На зеленом, серебром шитом кафтане пуговицы с бароновым гербом, в руке трость с набалдашником слоновой

кости. Не сбоку у дверей стоит, чтобы гостя пропустить с поклоном, а посередке. Глаза оловянные выпучены.

Приехавший набирался куражу, закидывал голову, выпячивал пузо.

— Доложи-ка, любезный, барину, что гвардии отставной поручик...

— Их сиятельства барона в дому нет.

— Ну так я подожду. Распорядись отпрягать.

— Не приказано.

— Как не приказано?.. Распорядись, говорю! И мне, пожалуй, закусить с дороги.

— Не приказано.

В оловянных глазах пустота. Помещик медлил, мялся.

Перестали с визитами. Роптание, конечно, пошло. Но мнения разные.

— Помилуйте! Обедает с экономом за одним столом. До чего же этак дойдет-то? Дворню всю разогнал. Но это ж дурость — так себя унижать. Дворянин есть подпора престолу — вот чем он занят, в то время как все другие сословия трудятся на одну только собственную пользу. За то дворянину и честь, за то прислугой окружен.

— Однако матушкой-государыней сказано: «От нашен не отлучать!» У иного лакеев сотня, а на тягле одни старики. Оттого и разоряемся.

Были о Калымском в столице слышавшие.

— Нравственности, говорят, самой дурной. Дерзок, силен, росту высокого, через бровь шрам, на подбородке другой. Словом, все качества, душевные и телесные, составляющие скорее разбойника, чем барона.

— Заметьте, сударь, между тем, что государыней принят, обласкан. Жалована табакерка с их величества портретом.

У Калымского же стали ладить пильную мельницу. Уральский мастер с подручными свозят болотную руду — нашел-таки ее барон, — плавильную печь кладут; стекольщики амбар получили, тоже там маракуют. Артель определена уголь жечь для всяких надобностей, мастер-позументщик поставил стан проволоку тянуть, второй немец стекла шлифует.

На полях же страда. Пойменного лугу в имении пять тысяч десятин. Поболыше половины сметали в стога, барон велел рыть ямы, хоронить туда сырую еще, не сушеную траву. Зачем — никому не ведомо.

Ржи в тот год поспели ранние, за покосом сразу и жнитво. Яровые догоняют, а тут овсы убирать и сеять пора. У непривычных дворовых на вечерней заре всякая жилка ноет. Тягловые мужики, правда, вздохнули — помилуй Бог, два-то дня прибавлено для своего надела!

А нового господина боялись все.

Главное — укрытия от него никакого. Всем пренебрег: охотой, карточной забавой, иным каким ни то барским гулянием. Оттого может сам персоной во всякий час на всяком месте негаданно быть. Выскочит из лесу с Федором, камердинером, коня осадит. Мужик и мигнуть не успел, барина словно ветром из седла выхватило, перенесло, и вот он уже рядом. Лик тверд, будто из камня тесанный. Нагнулся, в борозду руку запустил: «Мелка пахота! Землю царапаешь только». Взглянет — как гвоздем пробьет. В тот же миг опять на коня, и сгинули оба.

А если б гневен? При его-то страшной силище.

— Ты почему здесь?

Калымский поднял подсвечник. Сам в халате после умывания. Готовый сбросить его, свалиться на кровать.

В темноте тонули дальние углы спальни. На открытой постели сидела Лизавета. Поднялась, как он вошел.

Шагнул ближе. С того дня, когда впервые увидел девушку в комнате флигеля, думал о ней не переставая. Встречал дважды. Первый раз — сгребающей сено на покосе. Не в лицо узнал — платок ниже бровей,— а по гордой повадке. Он собирался поблизости брать грунт на пробу, но, испуганный ее присутствием, ускакал. И еще было — на покосе же, когда проезжал мимо и остановился глянуть, верно ли заделывают силосную яму. Тут вовсе не увидел сначала. Догадался, что рядом, только по странному напряжению сердца, по тому, что со знойной, пыльной, помутнелой суши июньского вечера вдруг сдернулась пленочка, все сделалось ярче, цветнее. Как соскочил, спины вокруг согнулись. Он огляделся, ища, не ошибся ли в своем чувстве. Она в двух шагах от него тоже склонила голову. Опять Калымский смешался, подбежавшему сотскому ничего не сказал. Его даже злило. За последний год выработал холодную, спокойную уверенность в себе. И вдруг этот

трепет, пересохший рот. Федор, уже вовсю хороводившийся с крестьянскими двужильными девками, рассказал о ней. Четырнадцати лет была за красоту отобрана князем у мелкопоместного дворянина. Одинока. В селе среди дворни никого близких.

Теперь стояла рядом. Освещенное живым движущимся огнем лицо розовело, темные ресницы строго опущены.

Калымский слышал в висках удары своего сердца. Мелькнула невероятная мысль — может быть, и прав сумасшедший натурфилософ двадцатого века в Америке, выступивший с теорией, будто женщины и мужчины происходят от разных животных. Ведь нельзя же действительно, чтобы вот эти губы, плечи, грудь — все столь желанное, окончательно совершенное — природа кроила из той же обыденности, что и мужскую грубую плоть.

Охрипший вдруг, повторил:

— Ты начто пришла?

Она, глядя вниз и в сторону, сказала:

– Наше дело господам угождать.

Потупилась — мол, воля твоя, барин, меня не спрашивай, как хочешь поступай.

Струйка горячего воска пролилась Калымскому на пальцы. Он выпрямил подсвечник.

— Мне подневольной любви не надо.

Вспыхнула, повернулась, ушла в темноту. Там легкий скрип.

Помедлив, бросился за ней. Неверный, колеблющийся свет выхватил очертания двери, обитой, как и стены, цветным ситцем. Открыл рывком. Маленькая комнатка вся в иконах (вспомнилось — управляющий говорил, что возле спальни образная). Лестница вниз.

Вернулся в спальню. Задумчиво поставил подсвечник на столик у постели. Вдруг схватился за горло обеими руками.

— Умру!

Вдохнул судорожно. Больше двух лет пришлось поститься в безлюдных эпохах, год сдерживал себя в Сибири и потом в Петербурге — тут уж от совести, от почти религиозной жажды стать наконец безупречным. Отверг авансы развязных придворных красавиц — больно у них все было просто: пройти в соседний покой, вернуться.

И вот нахлынуло.

Открыл высокую раму окна. Томительный, душный запах цветущего шиповника тянул из сада. Образ Лизаветы еще витал здесь, в комнате. Замотал головой — как можно было отпустить?.. А не отпускать?.. Уподобиться окружающей своре гаремщиков?

Однако ночь! Вот эта. Как ее переживешь?

Почти машинально скинул халат, туфли. Взял в шкафу темное полукафтанье. Перегнулся через подоконник.

Всходила луна. Цветник перед домом сиял чуть мертвенным серебром, глубокую черноту держали аллеи.

Мягко спрыгнул в засыревшую теплым вечерним паром траву. Шагом мимо фонтана, бегом к главным воротам. Старичок-сторож дремлет у полосатой будки. Лунный блик облил, загибаясь, штабель кирпича, приготовленного класть ограду.

Пахнуло полынью и сжатой рожью. Шлях, белея, уходил к лесу, мягкая пыль сжималась под ногой.

Дальше, дальше от Лизаветы! От темных бровей, от пахнущего свежестью и сеном тела ее. Бежать до изнеможения, усталостью подавить страсть.

Версты оставались позади за верстами, дыхание наладилось. Свернул в поле, пробился сквозь молодую дубовую рощу, опять на шлях. Давно уж не бегал так. Мерный ритм успокаивал. Какие-то миги начал ощущать себя снова тем Стваном, который один на целую планету шагает ночами по отмелям, плывет в океане, словно водоросль, свободный, простой...

Проселок втек в деревню — ни огонька, ни звука. Промчался по ней, и только вдогонку, когда уже был за околицей, залаяли и стихли собаки. Река, брод. Луна уже стояла высоко, в светлом круге возле нее меркли звезды. Опять деревня. Поднялся на холм, вдали что-то мерцало. Даже остановился — так странен был этот свет среди холодных полей, уснувших деревень. Своя усадьба была уже далеко, направление к ней знал только по звездам. Постоял. Вдруг обрывком донеслась музыка. Пошел через лесок. Высокая оштукатуренная стена преградила путь. Подпрыгнул, взобрался. Сквозь деревья и кустарник — освещенные окна белого здания.

Держась в тени, стал подходить. Торжественные, спокойные звуки менуэта. Открылась площадь широ-

кого двора, вся заставленная каретами. Там и здесь кучками прислуга — лакеи, кучера. Гомон, смех.

Зашагал в обход двора. Могучая липа возле стены здания. Забрался на нее. Теперь растворенное окно в танцевальный зал было рядом, оттуда полыхнуло жаром. Сотни свечей в люстрах, оркестр на хорах. Мужчины в камзолах, в английских фраках с короткими фалдами. Женщины в кринолинах, у каждой веер в руке. Красные разгоряченные лица, парики, напудренные, высоко взбитые волосы. Даму в черных брабантских кружевах вел в первой паре полный брюнет — орденская лента со звездой на бедре. С такой старательной важностью выделывали танцоры па менуэта, что на миг Ствану, скорчившемуся в ветвях, даже смешно стало. Надо же, вполне взрослые и даже пожилые люди медленно то сходятся парами, то расходятся, кланяются друг другу, разводя руки, кавалер кружит даму, шаг вперед, шаг назад, все так серьезно, будто заняты важным, даже государственно нужным делом. Танцуют и будут танцевать весь вечер, даже далеко в ночь, подкрепляя себя у буфетов. А разойдутся в отведенные им покои с чувством исполненного высокого долга.

Спрыгнул.

Перед фасадом здания раскинулся регулярный парк — фонтан и статуи полукругом, посыпанные песком аллеи, вазоны, мраморные бюсты.

Шепот на скамьях. Из беседки звук поцелуя.

Вышел к большому пруду. Каменные ступени спускались к воде. Рядом боскет, там шорох.

— Позвольте вас обнять.

— А вот и не позволю! Мне маменька наказывала пока не допускать такие вольности.

Поспешно шагнул прочь, натолкнулся за деревом на двух обнявшихся.

Дальняя музыка стихла.

От дворца по главной аллее бежала толпа, впереди полный мужчина с орденской лентой. Он остановился в двух шагах от Ствана.

Восклицания, смех, крики: «Тише!.. Тише!»

Стихли. Полный брюнет огляделся, взмахнул белым платочком.

Тотчас где-то поблизости грянула пушка, громко вступил оркестр, спрятанный в кустах. За прудом в небо поднялись сияющие, сыплющие искры колеса фейерверка. По пруду будто сам собой плыл помост, весь

в цветах, несколько обнаженных мужиков и молодых баб на нем в принужденных позах — аллегория.

— Божественно!..

Над самой головой Ствана по натянутому шнуру скользнул огонь, зажигались масляные фонари. Стван вдруг оказался на свету — странная фигура в разорванном кафтане, взъерошенный, мокрый, босой.

Поблизости стоявшая дама в кружевах отшатнулась в ужасе.

Полный брюнет брезгливо отступил.

— Кто таков?.. Эй, слуги!

Двое дюжих, тотчас откуда-то взявшихся, кинулись к нему.

Знакомым путем по аллее и вокруг двора Стван наддал так, что преследователи будто на месте остались стоять. Перелез через стену, и стало смешно — в этом веке ни пешему, ни конному с собаками его не догнать. Может вот так покрывать ночами десятки верст, добираться куда хочется и возвращаться. Знать про всех, разгадывать тайны, наказывать жестокого, мстить за поруганных. И все ведь воля, жесточайшая работа над собой, тренировка, то, что переплыл кембрийский океан, что в мелу — в меловом периоде — за год пробежал около двадцати тысяч километров, добился такого владения телом, что ни вулкан, ни чудища-динозавры уже не пугали.

Усмехнулся, одернув себя. Не нужны ему помещичьи тайны, на важное времени не хватает.

Опять в полной тишине оставались позади немые, будто вымершие селения. Черные завалившиеся избы, там вповалку согнутый сохою, поротый мужик, с гудящими от усталости руками-крючьями, баба с выражением вечного испуга на лице, кривоногие сопливые ребятишки. На сто, на триста таких деревень — дворец, парк со статуями, музыка Монтеверди, резвящееся, танцующее барство. Эх, Русь! Сколько же этому еще быть, сколько еще тянуться заленившейся истории через рабскую безнадежность?

Истаивала ночь. В предрассветных сумерках сдвоился контур берез. На травах холодок стягивал водную пыль тумана в крупные капли. Нога, сбивая их, оставляла на лугу след-дорожку. За спиной верст пятьдесят. Ствана уже шатало.

Август прокатился.

Началась молотьба, скотину выгоняли на поля. В новых избах за английским садом настилали полы, навешивали двери. Целая деревня поднялась за лето — уже накрыты крыши, а на нижних венцах еще не успели потемнеть белые зарубы. Днями тут работало человек до двухсот бывших дворовых. Которые во флигеле двумя-тремя семьями в душной комнате, завидки брали. Слух ходил, будто барин будет в поставленных избах селить купленных в Петербурге людей. Плохо ли так-то — на все готовое?

Управляющий Аудерский разогнулся, но кулаки, привычные у мужиков считать зубы, в ход не пускал. Сидел в конторе, все в имении уже делалось без него. Бабу свою пухлую и толстого же отрока отправил в город. В начале сентября бил челом барину, чтоб отпустить его. Барон отпустил. Аудерский просил двадцать подвод для имущества. Дал двадцать. Смотрели из большого зала, как проезжает мимо усадьбы бывший управляющий. Федор прошептал за спиной барина:

— Может, вернуть пяток передних телег, Степан Петрович? Там главная кража.

— Ладно... Пусть едет.

Каждый вечер собирались эконом, Алексей, Федор и сам Калымский. Еще с августа стали звать старосту. Рядили, когда, куда, что и как, чтобы утром давать наказ сотским, десятским от села и от дворни. На стенах княжеского кабинета цветные листы — почвы, посевы, барином рисованные,— и черная доска. Хозяйство было уже не простое: поля, скотина, металл лили, стекольное производство шло, немцы-мастера да англичанин тоже своего требовали. Ломать голову приходилось, чтобы все сразу валом валило. На той черной доске барон мелом ставил значки — здесь молотьба, там леса перевозка, тут кирпича. Набиралось, что не тотчас сочтешь. Мелом же Калымский выводил стрелы, соединял значки. Алексей для сотских и десятских писал списки, которые те утром по неграмотности своей должны были крепко затверживать. Не все запоминали, гоняли мальчишек верхами спрашивать: «После стекольной-то куда народ?» Поначалу путаницы было много. На вечерних советах староста первое время только отдувался, всего и вытянуть из него: «Воля твоя, батюшка-барин, а мы уж...» Потом стал в те бароновы стрелы

вникать, тыкал корявым пальцем: «А ежели те подводы отсюда...»

Засиживались при свечах долго, а после Калымский со страхом ждал, не скажет ли Федор чего о Лизавете с таким-то, мол, ходит, от такого-то к ней сваты, собирается под венец. Теперь уже знал, отчего не пошла вон из усадьбы. Нет у нее в деревне никого. Сирота. Купил ее Смаилов на ярмарке в Нижнем с матерью, да та померла. Сейчас Лизавета с дворовыми ходит на поле, а прикармливает старик-повар. Хлеба даст, остаток щей от барского стола нальет.

На первую пятницу октября актер Алексей избы в новой деревне пометил номерами — углем писал. Дворовым было сказано в субботу на рассвете собраться перед террасой. И одиночкам, и семьями.

Собрались. Алексей же вынес шапку, велел от всякой семьи тащить бумажку, бобылям да бобылкам потом наособицу. Бабы завыли, мужики, разом умолкнувшие, переминались: то ли в рекрутчину, то ли в город на ярмарку — слух был, будто указано от всемилостивейшей государыни крепостных продавать только целыми семьями. Толкали один другого — иди, вытаскивай. Староста, правда, ободрал: «Тяни, не боись, худого не будет». Вытащили сорок девять бумажек. Отворилась парадная дверь, вышел барин, Федор от конюшни как раз подвел двух оседланных жеребцов. Тихо сделалось.

— Всем из флигеля переселяться в новые избы. Скарб свой забрать весь, чтоб ничего не осталось.

Глянул грозно. На коня, и только копыта отстучали за домом. Федор верхом тут же сорвался вслед.

Не сразу-то все и поняли. После только, опомнившись, загомонил народ.

Калымский с Федором проехали сжатыми овсами, стали у знакомой развалюхи. Хозяин молотил во дворе — посконная мокрая рубаха вся в заплатах. Барина увидал, застыл, как в первый раз.

Барон прошелся по двору. В сарае стог ржаной порядочный — дал Господь урожаю.

— Как тебя звать?

Баба очнулась.

— Иваном его, батюшка-государь, милостивец наш.

— Изба у тебя плоха, Иван.

Тот потупился. Цеп в руках. Коричневатые крючья-пальцы чуть шевельнулись.

— Изба, говорю, плоха... Он что — немой?

Все больше молчит, — Федор со стороны.

Жалую тебя за верную службу новой избой.

— Избу тебе дает барин, — Федор мужику.

Того будто дернуло чуть. Взялся за бороду. Постепенно сморщивалась заветренная кожа у губ. Поднял взгляд, заморгал. Из глубины пробивалось на лик что-то вроде улыбки.

Калымский отвернулся, смигнул набежавшую вдруг на глаз слезу. (Черт, делаюсь сентиментальным!) Шагнул к лошади, тут же у телеги привязанной. Она дернула несуразной головой, пугливо переступила.

Добрая лошадь. — Успокаивая, погладил по шее, на которой застывшую тусклую шерсть в узоры сбило застывшим потом. — Овсеца бы ей дал когда. — Нахмурил брови, скрывая смущение...

В воскресенье святили избы, служили молебен. Тем же днем Алексей, как белый ангел, развел дворовых — кому куда жребий пал. Поначалу и ступить-то робели на светлые струганые полы. На закате девки, негаданно сойдясь у околицы, заиграли песню — давно такого не было.

И в воскресенье пришла она.

Уже ночью Калымский поднялся в спальню, увидел на фоне окна темный силуэт. Жаром прокатило по груди, весь ослабел. Стараясь показать, что спокоен, придавил участившееся дыхание. Считал, надо быть собранным, — только так завоюет ее.

— Лизавета?

Она резко повернулась.

— Барин, дозволь, руки на себя наложу? Знал бы ты, что они со мной делали! Князю не покорствовала, так лакеи тащат. Какой только издевки не было. Всякому отдавали, кто хотел — старому, грязному. — Зарыдала, закрыв лицо рукавом. — Мне одна дорога — в омут.

Вся его стратегия рухнула. Бросился к ней.

— Лиза, что ты? Любимая!..

Судорожно всхлипывая, она вытирала слезы.

— Бога боялась. А то бы давно уж. Прикажи, наложу руки.

Упал на колени, схватил подол сарафана, стал целовать.

— Да что ты, радость моя. Это они только сами себя пачкали.

Луна светила в окна, крикнула перелетная птица, ветер качнул верхушки деревьев. Любовь...

Ранним утром смотрел на нее, уснувшую. Прозрачное лицо было неправдоподобно прекрасным. Он ли это с нею? За что ему так? Ну есть ли теперь чего желать от жизни еще?

Она проснулась от взгляда. Поднялись длинные ресницы, голубые глаза делались то темными, то светлыми.

— Завтра обвенчаемся.

— Нет! — отодвинулась испуганно.

— Почему?

— Лучше жизни решусь.— Покраснев, надернула к подбородку край простыни.— Тебе нельзя такую. Князевы гости нас всех брали из флигеля, нимф заставляли плясать... И деток у меня не будет — бабка сказывала, которая вытравляла.

— Все равно обвенчаемся.

— Нет, Степан Петрович. Во грехе стану жить с тобой.

Осень несла с берез желтый латунный лист. На сжатых полях табуны всадников, собачьи своры, толпы пешей обслуги от доезжачих до музыкантов и плясунов-песельников — помещичьи охоты гуляли по округе. У Калымского двухсаженную стену протянули от сада до реки в мельнице, окружив ее, повели обратно к правому флигелю. С другой стороны стена подошла к левому. Вышло замкнутое кольцо с одним только входом — через парадные двери. Весь сентябрь внутри грохот, гром. В сад переводили кирпичный завод, построили еще одну оранжерею, клали вторую плавильную печь. В доме позументщик проволоки навил целую комнату, англичанину два крепких мужика крутили, сменяясь, машину, он точил палки железные. От стекольщиков невиданной фигуры бутылей, стекла листового, пузырьков навалили два полных покоя. Из Петербурга навезли в телегах серы, медного купоросу, руд и солей разных — иное клали в большие кадки, иное так, на пол. А потом стихло на усадьбе. Вольных мастеров барин, наградивши, отпустил. В огороженном

наглухо доме остались он сам, ближние слуги да девок пяток посмышленее под началом Лизаветы.

В новой деревне бывшие дворовые месячину получили, какой не видывали век. Круп всяких, муки, другого припасу телеги накладывались с верхом. За молоком для детей сказано было приходить на барскую ферму. От такой благодати мешалось в голове. Многие пугались: «Неспроста! Он еще себя окажет».

И оказал.

Староста обошел село и деревню — велено вести детей осьми да девяти годов барину на смотрение. Зазвенел по избам бабий стон, хватались за своих малых: «Не дам, не пущу! Бога забыл, на что ему дети?» Нашелся бывалый человек, успокаивал:

— Не иначе тиатер станут играть.

— Мальчишек-то зачем?

— Мальчишки — первое дело. Для амуров. Щеки свеклой мажут, крылы прицепляют и на проволоку. Повисят — сымут.

— Долго висеть?

— Ништо — оттерпятся.

Детей собрали к усадьбе. Барон смотрел, выбрал девочек и мальчишек четыре десятка. Их сразу увели в дом, тем же вечером вернули по избам.

На закате у колодцев разговоры:

— Лизавета там командует. Теперь барская барыня.

— И чего делали?

— Мыли... Кашей кормили. С коровьим маслом.

— Ну-у?.. И все?

— Алексей-актер хоровод с ними водил.

— Тогда, выходит, тиатер... А барин?

— Что барин — приходил, поглядел. Яблок рыжих приказал принесть со старой инжереи, давал. Мишку — садовника Василия младшего — гладил по голове.

На третье утро Лизавета с Алексеем рассадили накормленных, умытых малых в большом танцевальном зале за особо сколоченные низкие столы. Над липами парка стояло солнце, его блики рассыпались по стеклам, железкам, что барон заранее приготовил на высоком длинном столе у передней стены под хорами.

Вошел Калымский. Мужицкая ребятня, привычная старших слушать, присмирнела.

Барон раскрыл окно, вернулся на середину зала.

— Дети, вот светит солнце, оно несет нам силу Взял круглое стекло.— Можем эту силу поймать.

Наставил стекло на лужицу воды, на столе налитую Там зажегся яркий кружочек. Зашипело, пошло паром

Ребятишки за малыми столиками подались вперед. Некоторые встали.

Барон подошел к окну.

— И ветер имеет силу — вон ветку качает. И в травах и деревьях она есть. И в земле солнечная сила запасена...

Трижды падал и стаивал снег, потом лег прочно. Для господ самое праздничное время — что ни день, бал либо охота. Дергают крестьян в загонщики, столовый запас везти на помещичью кухню, дров да всякого иного. У Калымского же вздохнули вольно. В деревне и на селе отмолотились еще за октябрь, теперь в короткий день чинили хомуты, сани, навостривали топоры. Девки стали собираться в избах попросторнее, прясть, лапти вязать под песню — опять заведение, какого давно не было.

Барином отобранная детвора из усадьбы возвращалась сытой, рассказывала чудеса. И петь в дому заставляют, и кувыркаться, и танцевать, и всякие игры играть. Понаделаны тряпочные шары, на тех шарах литеры — надо шары кидать, ловить и литеры те выкрикивать. (Восьмерых, кто выкрикивать никак не сумел, барин от усадьбы уволил.)

Рассказывали и про дивные стекла — видно сквозь них вовсе мелких букашек, коих в одной капле воды сто сот. Про колеса, от солнца крутящиеся, про то, как из двух чашек светлую воду сливают, и она лазоревой становится. Главное же, как поняли в деревне, был огород в новой оранжерее. Делали большие деревянные корыта на подставах, скопом носили туда навозу, песку, дерну (а в которые мелких камушков). Барон тоже с детьми носил. Сажали овощи заморские и наши. Иные корыта были стеклянные — там видать, как белые тонкие корни пробираются сквозь землю. Огород разделили детям по грядке, каждому поливать, соли разной сыпать, как указано. От проростков отщипывали кусочки, смотрели через круглые стекла, зачем — неизвестно. Всей той заботы — танцев, пения, игры, шаров тряпочных и огорода — выходило на три четверти суток. Под

масленую все были отпущены домой. Оказалось, грамоте способны — даже и девки. От такой страсти в деревне растерялись. Старики качали головой: к добру ли?

По праздничному времени над рекой, как в дальние, еще до Смаилова, годы, устроили гору. До Великого поста там от света до вечера шум, гам, песни... Но бароновы выученики, хоть до санок куда как охочие, только и спрашивали тятьку да мамку, когда же обратно в усадьбу. Больше всего разговору у них, какой у кого на огороде овощ. Называли незнаемые: «картофь», «куруза».

На зимние месяцы, как еще при старом барине заведено, управитель Тихон Павлович отпустил мужиков в извоз. Повозвращались, дело к весне, скотина, лошади отощали. Сенцо, известное дело, пополам с соломкой, а у кого и с крыши дерут. Тут приказ — снег, землю отбрасывать с тех канав, куда траву валили, брать по три воза на корову. Открыли, ахнули. Трава, хоть потемнелая, комканная, но свежа, коровы ее рвут — толстым суком не отогнать. И сразу новое — на барской и на своей мужицкой пашне ставить в снег легкие хворостяные изгороды. На сей раз взялись, не обинуясь, со всем рачением. А потом последняя команда. За зиму управитель со старостой всю господскую землю разбили на участки. Барщинные дни были объявлены упраздненными, крестьянским и бывшей прислуги дворам обрабатывать полученный надел барской пашни за треть урожая. Иной семье больше пятнадцати десятин падало. Лошади тоже барские были даны на *необидный выкуп*. Ну, *кинулись мужики пахать*, боронить, сеять! Многие, от такого простору ума решившись, сутками не входили в избу, неделями. Только молились за долгий Калымскому век — не приведи Господь, помрет, тогда наследники жадные либо в казну. На той отчаянной работе трое получили грызь.

А на усадьбе дети всю весну складывали каменный дом. Сами кирпич выжигали, вязали оконные рамы, как барон да специально взятый старик-плотник показывали, стеклили (стекольному литью тоже учились), навешивали двери. Настелили крышу и в том дому поселились, только по воскресеньям домой отпускаемые. Тогда же барон отправил в деревню девок, стряпух и прачек, поначалу оставленных. Дети в черед стали стирать, варить щи и кашу. Овощи, в оранжерее выра-

щенные, тоже ели, много хваля. Приносили родителям в избы, навязывали отведать.

Лето пришло — сушь. По губернии недород. Урожаем сам-три помещики один перед другим хвалились. В бароновых же владениях даже безмощные, отвыкшие от крестьянских трудов дворовые собрали сам-шесть.

Святили хлеб первого умолота. Калымский кланялся в церкви истово, когда надо, на коленях. Осенью на барском гумне, куда по счету свозили урожай с участков, управитель Тихон Павлович отмеривал обещанную третью долю. Неподъемными мешками мужик рвал и рвал зерно с земли, а его все было много в куче.

От бароновых учеников доходило, что изготовлено в усадьбе колесо, от коего искра бьет, и той искры силу дети по бумажкам учатся считать — сего последнего взять в ум уж вовсе невозможно было. А потом перестали мальчишки с девчонками говорить, чему учит барон, что заставляет делать. Как отрезало. Из тех, кого Калымский отобрал, осталось всего три десятка душ.

Полетели белые мухи, стала река, улегся санный путь. Но в селе никто не спешил отпроситься в извоз. Впервые с незапамятных годов хлеба у всех было, что и половины хватит до нови. Взялись чинить избы, сараи, поправлять заборы. По воскресеньям выходили мужики из церкви, останавливались в кружки. Рожи красные, распаренные, тулуп нараспашку — не сходится на сытом пузе. Постояв, хмыкали, крутили бородами.

Коли так и дале пойдет, что же будет?

Однако ничего особого не было.

На второй год при малом пожаре в усадьбе сгорел (так сказывали) доезжачего сынок. Его спасаючи, Федор-слуга сильно обгорел, однако, бароном леченный, оклемался. На третьем году синей водой отравилась (так сказывали) бывшего повара дочка. Тут жаловаться — Бога гневить. И в деревне то свинья младенца съела (старуха слепая в страду недоглядит), то лошадь копытом, то в болото, а чаще всего горячкою. Повыли конечно, матери, а отцы рассудили: «Бог дал, Бог взял. Барину же Калымскому многие лета». Сам он, как отпевали девку, стоял у гроба. Голова непокрытая —

только теперь заметили, что седая прядь ото лба назад.

И снова спокойно потекла жизнь в имении. Мужики уже были богатенькие, от рекрутчины очередной откупились. Многие ставили новые избы, выделяли сыновей. Кое-кто начал на дне сундука прикладывать рубль к рублю для вольной.

Барон, ни во что в деревне не мешаясь, опять засел со своими малыми. В них — на тринадцатом — четырнадцатом году — уже была большая отличка от деревенских. Ростом сильно обогнали однолеток. Балуясь, могли и взрослого побороть. Кверху прыгали, над землей вертелись и опять на ноги. Девки их были не стеснительные. Краснеть, рукавом закрываться — такого от них не дождешься. По крестьянскому делу ребята из усадьбы отстали, но сноровистые. Если чего не знают, показать — и быстро сумеют хоть копны ладить. Главное же — повадка. Стан прямой, шаг легкий, руки точные, ухватистые, разговор свободный, без запинки, скорый. Взгляд тверд.

Родители перед этими детьми уже робели.

Долгими зимами наползали на Россию снега — от Архангельска до украинских ковыльных степей,— веснами и летом откатывались обратно за студеные моря к обледенелым полнощным островам, где людям во вечные века не жить. Потемкин-князь ходил воевать турка — двести музыкантов у него в обозе, кордебалет, мимическая труппа, сотня пригожих девок-вышивальщиц, ювелиров два десятка. Усатые гренадеры рыли степную целину, строили подземные залы для балов. Но желаемое свершилось. Последний крымский хан, Ширин-Гирей, не надеясь на запуганный Стамбул, уступил свои права Екатерине.

Ее благословенное царствование пошло на третий десяток лет. Всемилостивейше были подтверждены исключительные права дворянства на владение крепостными, с купцов сняли презрительную подать, которая делала их неотличимыми от рабов. Давно еще сказала царица, что желает сделать свой народ столь счастливым и довольным, сколь человеческое счастье и довольствие простираться могут на сей земле. И сделала. Таких подарков история не знала еще — Египту и Древнему Риму не тягаться. Если на европейскую мерку, так

целыми странами с населением наградила Григория, а потом и Алексея Орловых, Потемкина, Зубова. В Зимнем дворце, в особом апартаменте возле спальни, сменяли один другого любимые сыны ее народа. Завадовский был осыпан золотом и бриллиантами, Зоричу жаловала титул графа и обширнейшие земли в Белоруссии, Корсаку, певцу (этот был, правда, иностранец), миллион. Ланскому за пылкость — дворцами, деревнями на целых семь миллионов. Сильный Ермолов, юный, нежный Дмитриев-Мамонов и многие иные тоже были не обижены. Десятками и сотнями тысяч мужиков порадовала верных слуг отечества. Каждый при великой императрице благоденствовал. Для статс-секретаря Безбородко в далекой Италии отыскивали красавиц, за большие деньги везли в Северную Пальмиру, и добрые имения отдавал он тем, которые умели его, стареющего, особо раззадорить. Обласканный матушкой-государыней, завел привычку, в винт играя на своей даче, залпами из пушек возвещать о каждом ренонсе противника. Двоих пушкарей подряд при такой забаве разорвало. Ну и пусть! Бедна, что ли, натурой необъятная Россия? Пол-Европы от нашенских щедрот кормятся — целые сосновые леса, вековые дубовые рощи уплывают за границу, золото, серебро, дешевый хлеб — наши-то крестьянишки, Господь с ними, поголодают, не привыкать. Но зато слава по всему свету. Зато у вчерашнего лакея палаты, — что не всякому королю, герцогу равняться. И дворянские дети по-французски.

Истинно парадиз.

— Федя, а Федя, бросай кирку!.. Слышь меня, довольно.

— Слышу, Степан Петрович. Да все равно когда-нибудь помирать.

— До этого еще поживем... Кончай. Давай руку, поднимайся, хватит. Нам вообще хватит, больше не надо. Забьем ящик и спускаем к реке.

— ...А зачем деревья все наклоненные? Будто их снизу дернуло. Тоже от той руды?

— Руда ни при чем. Урманный лес, почва зыбкая... Теперь направо берем — вон она, наша протока. Пропустим — не выберемся отсюда.

— Дикие места, Степан Петрович, жуть. Тут людей небось не бывало вовек. Только зверь.

— Еще загребай. Скоро разлив. Передохнем, ночью пойдем по компасу.

— Какая ночь? Ночи-то нет. Ну, забрались мы, Степан Петрович. Солнце вовсе не заходит. И звезд нет.

— Господа, господа, чуть не забыл! Новость — барон наш вернулся. Третья неделя как засел у себя. Опять у него грохот, гром. Дым зеленый поднимался — в деревне видели.

— Вы мне про барона не говорите. Сколько живет, ни визита, ни приглашения. Как будто меня нет. Я такого не прощу.

— Сколько же его не было?

— Вот, считайте, с февраля. Приехал на двух телегах, словно мужик. Ящик привез отчаянной тяжести. Загорелые оба, черные.

— Как же губернатор такие наглости терпит? Дворянин — и на телеге! А стена? Может, барон — фальшивые деньги?.. Или шпион турецкий.

— Да на что фальшивые при его богатстве? Это уж вы далеко хватили, Гаврила Федорович. Опытами занят. Подобно Ломоносову, желает очесами разума проникнуть в утробу природы.

— Эх, Сергей Иваныч, у тебя у самого кажен день книжка в руках. А от чтения прилив в голове — всякому известно.

— Все к развращению умов. Детям крестьянским подлым не грамота нужна, а простота и невинность нравов. Опыты! А вот каков он в другой материи, где ревность на богоугодные дела?

— Так-то так, други мои. Но мужик не ленится, по десятине в день скашивает у Калымского. В «Экономическом магазине» про картофель бароном публиковано.

— Вот и я говорю. Девки у него какие в дому — слух был, рослые, красивые на подбор. Неужели не продаст хоть пару? Я б сотни по три не пожалел.

— По три-то?! За выученных — кто ж вам отдаст. Нынче за рекрута четыреста просят.

— Господа! Господа, довольно! Играть-то начнем ли, нет? Не наше дело другие грехи осуждать, нам бы за свои у Бога прощения допроситься... Эй, Петька, карты!

Он проснулся на широкой постели один. Лизавета неделю назад отпросилась в дальнюю деревню к дядьям.

В проеме распахнутого окна светлое небо чертили стрижи, которым скоро улетать. Запах полыни, ромашки снизу из сада — осень.

Нежился, одолела сладкая лень. Вчера, уже в полночь, дежурный спросил, когда будить ребят, и получил ответ: «Никогда!» Последние двадцать дней слились на усадьбе в непрерывный аврал. Все ученики и сам ставили электростанцию. То есть она была уже почти готова — с прошлого августа опытным путем выводили формулы, рассчитывали обмотки генератора, набирали сердечники, мучились с центровкой роторного вала. Но к его приезду все еще лежало в разных местах бунтами провода, лопатками турбины, изоляторами. И хоть мощность всего сотня киловатт, пришлось бросить привычный распорядок. Первые два дня еще пробовал продолжать вечерние чтения, но мальчишки засыпали, даже когда Мольер в лицах. Работы были вроде не крупные, но требующие неотрывного внимания. Проваливалось то там, то здесь — грелась обмотка в моторе, сгорали в лампочках угольные нити. Проверяли и снова брались переделывать. В поисках ошибок девушки оказались выносливее парней, но и они, румяные красавицы, сдали, осунулись к концу назначенного срока. Однако вчера к ночи загудело ровным, вибрирующим звуком, зажегся свет в механичке, уже не людской, а электрической силой сняли на токарном станке ровную стружку...

Солнечные прямоугольники оконной рамы легли на паркет. Часы с бронзовыми амурами прозвонили восемь.

Подумалось, что ребята спят до одного, но в наступившей тишине ухо уловило дальний рокот... Сережа, «главный электрик», встал, гоняет турбинку.

Иногда он пытался ставить себя на место учеников. Что они чувствуют, просыпаясь утром, зная, что могут изобрести еще никому на свете не известный двигатель, что весь день будут отмыкать дверцы к ошеломляющим и тоже никому не ведомым тайнам природы? Дом, сад, огород, поле, всякая вещь и всякое растение полны загадочной силы, которую кроме них открыть

некому. Такого не будет у детей его современности грандиозное городское окружение уже создано умными взрослыми, школьникам остается только учить. Его же воспитанники все сами. И при этом знают ведь, что в соседних барских домах девушки-кружевницы сидят, привязанные к стулу, что порют, проигрывают в карты. Но не озадачиваются собственным положением. Привыкли.

Где-то стукнула дверь. Встают.

Опять начинается. Десятки спрашивающих взглядов. «Степан Петрович, а если окислы железа...», «Степан Петрович, а когда... почему?». Размеряешь дневное время по минутам, но постоянно, как бы из ничего, возникают новые темы. Вот выйдешь сейчас из спальни, и сразу затянет в поток, из которого не выберешься до глубокой ночи. Установлено, что с вопросами к нему обращаться только в два послеобеденных часа, а в остальное время расписание. Но не выдерживают — кому действительно надо, а кто из детской ревности. В результате копится и копится груда неоконченного.

Вот он посеял для физиков возможность «открыть» радиоволны, а все нет и нет.

Да еще разные пятнышки.

Случайно узнал, что Григорий, бывшего лакея сын, по воскресеньям с родителями вовсе перестал разговаривать, в хозяйстве не помогает, высокомерен. Или, например, с девчонками. Подросли, влюбляются. В него, в своего учителя. То и дело ловишь особый взгляд украдкой, вспыхивают, бледнеют, когда обратишься. И вообще много всякого. Вчерашним утром на стене поймали неизвестного — сказался дворовым князя Соколова-Щербатова. За обедом Алексей сказал, что в пруду за оранжереей всплывает дохлая рыба. Удивлялся, невинная душа: с чего бы?

Глянул на часы. Все еще лежа, отбросил льняную простынь.

Итак, что сегодня, кроме расписания?

Послать письма трем-четырем соседям поважнее. (Кому именно, скажет староста, который все обо всех знает.) «...Ради перестройки усадьбы, не имея возможности принять, счастливейшим себя почту...»

Наиболее заносчивых мальчишек прикрепить в деревне к одиноким, больным, беспомощным. Гриша пусть ходит к парализованной старухе прачке. Чтобы

обмывал, выносил, чтобы в грязи, в гною. (И самому дать пример сострадания, смиренности.)

Пойманного княжеского дворового отпустить с запиской, будто пьяным подобрали возле дома.

Сделать, чтобы в левом флигеле вибратор Герца работал в момент, когда в правом народ будет возле колебательного контура.

Для физической лаборатории ночью готовить призмы.

Вечером во время чтений вскользь сказать, что юным девушкам свойственно влюбляться сначала во взрослых мужчин, что позже это проходит.

Уран перенести, где нет грунтовых вод.

— О, Господи, разве все переделаешь? — вырвалось вслух.

Вскочил, чтобы начать собственную гимнастику — обороты в воздухе, всякое поднимание, ломание своего восьмидесятикилограммового тела.

И замер.

Счастлив!

Именно.

Такого, значит, жаждал всю жизнь — быть всем нужным, ни минуты свободной, заниматься чем-то большим, возможность делать этот мир лучше. Этого, оказывается, ему и не хватало, когда шагал по бесконечным отмелям Пангеи, пробивался в мелу сквозь хмызник.

Как странно — счастлив! Всё некогда, некогда, и вдруг узнаешь.

Приближающиеся голоса. (Поспешно накинул халат.) Быстрые шаги.

Двери распахнулись. Толпа.

— Степан Петрович!..

— Степан Петрович, контур искрит!

— Без тока, Степан Петрович! Неужто магнитное поле столь должится?

Так легко уходят травы назад и даже обманчиво вниз, если скачешь на молодом застоявшемся жеребце. Кажется, будто в гору и в гору.

Впрочем, конь-то не слишком застоялся. Федя вменил себе в обязанность проминать баринова жеребца по часику на зорьке. Интересно, что друг-помощник сам придумывает работу, сам установил свой режим.

Бывает, о чем-нибудь распорядишься, а Федя с легким упреком: «Да как же, Степан Петрович, я еще позавчера. Как можно?»

На мягком шляху придержал коня. Опускалось солнце над лесом — уже не больно было смотреть на его нежно краснеющий лик. Тихо. Природа замерла. Не шевельнется листок душицы под ногой. Бабье лето.

В физической лаборатории оставил ребят шумно обсуждающими обнаруженный феномен. (Алексей с ними, чтобы провести чтение.) А сам в деревню. И как-то занесло в сторону, сюда, на пригорок, прорезанный шляхом.

Позади чистые березовые и осиновые зеленоствольные рощи. Впереди поле, за ним лес могучими синими уступами. Кажется, будто ты на самой середине земли.

Неожиданно заперло дыхание. Мелькнул у леса светлый сарафан.

Лиза!

Нет, никак. Она же не пойдет, поедет.

Усмехнулся. Обязательно разве ему самому к старосте? Можно было послать, просто дождаться завтрашнего дня, когда явится. Это предлог. На самом деле измучился — ведь на два-три дня, сказала. Поэтому и приехал сюда, надеясь увидеть облачко пыли на дороге.

Тронул коня стременами.

Ах, Лиза, Лиза! Что-то в ней первоначальное и во внешности и в характере. Она словно вода, цветок — нечего добавлять. Кажется, будто природа трудилась из поколения в поколение, вытачивала овал лица, искала рисунок бровей, линию талии, чтобы создать эталон понятия «женщина». И в Лизе достигла наконец. Любое движение закончено, полно спокойного достоинства. Гармонична в любом деле, ее беспокойной женственностью можно любоваться всегда, глядеть не уставая. И жаждешь ее отчаянно, и в благоговейном трепете стесняешься своего желания, себя ощущая рядом с ней каким-то ненатуральным, сделанным.

Еще раз окинул взглядом длину уходящего шляха.

Ничего. Тишина.

Уже на закате, пропустив деревенское стадо, спешился с верха у старостиной, крытой новеньким тесом избы. Давно не был здесь на улице, порадовало, как обстроились мужики за последний год — развалюх ни одной.

Приезд негаданный. Ефим Григорьевич едва успел выскочить на крыльцо, встретить.

Вошли, и сердце крупно, бегло забилось.

С хозяйскими дочками за длинным столом Лизавета.

Перед женщинами груда грибов, в руках ножи.

На миг растерялся. Поздороваться спокойно, показывая, будто не удивлен, знает о ее возвращении? Или как?

Она встала. Вспыхнувшая, как бы уличенная и рассердившаяся на себя, на него за это чувство. Бровистрелы нахмурены, на белое чистое лицо бросилась краска, глаза отчужденно, строго вниз. Поклонилась.

— Здравствуй, Степан Петрович.

В избе поняли неловкость. Староста засуетился.

— С ночи, барин, девки отпросились по грибы. И вот Лизавета Васильевна с ними.

Час от часу не легче. Вчерашним вечером уже была здесь.

— Ну-ка, бабы, шустрей. Барину боровичков, черных, зажаристых.

В груди заныло безнадежностью. Только не показывать, как его ударило.

— Благодарствую, Ефим Григорьевич. Трата времени велика.

Отойдя со старостой на чистую половину, наскоро объяснил, какие лесины пилить для парового котла, в двух словах насчет соседей. (А что спрашивать, сам не наслышался ли о каждом за четыре года?) На крыльцо и — в седло.

Конь взял высоким, пружинящим галопом. Через поле, мимо брошенной усадьбы Аудерского — тут бы и сделать дом-пансионат для престарелых, да все руки не доходят... Хотя о чем он думает, избегая главного? Давно старался от этой мысли отделываться, но там внутри, на задних дворах сознания, она постоянно.

Не задалось. Только месяц было обоюдной любви. И словно отрезало, когда начал школу для ребят. Недоверчивый взгляд, удивление, сутки за сутками ни слова.

— Что ж ты все молчишь, Лиза?

— Для того, что стану вздор врать, тебе наскучит. Гораздо умен.

Твердо отказалась учиться грамоте. Из гордости — сначала он подумал. Но позже выяснилось, что не так.

Почти незаметную усмешку он стал замечать, когда разговорится в ее присутствии. Будто она прозревает неправду о нем, какую-то незаконность, фанфаронство. Будто женственность как высшая мудрость природы дает ей понять тщету и мелкость его желаний. (Но ведь не мелки же они! Ни в коем случае не о себе он радеет — уйдет в сторону, откроется, в конце концов, объяснит все потом.)

Так или иначе был он ей мил, когда увидела, что новый барин в отличие от Смаилова не сладострастник-распутник, изверг-мучитель, карточный игрок и охотник. А стал выказываться сверхчеловеком, все оборвалось. Уже года полтора он чувствует, что ласки его ей не в радость. В последние же месяцы под разными предлогами и совсем стала в близости отказывать: нездорова, устала, да не тот день и грех.

Конь уже шагом. Забелелась стена.

Навстречу тропинкой фигура.

— Алексей?..

— Я, Степан Петрович. Дозвольте отлучиться. К старосте зван на грибы. Ребята спят.

— Да-да, иди.

Вспомнилось, что завтра праздник, какой-то очередной Спас — не грибной ли?

Актер уже уходил, растворялись во мраке копна светлых волос, светлая рубаха.

Вдруг самого сбросило с коня.

Алексей на грибы к старосте! И там Лизавета. Неужели свидание?

Сжались кулаки, скрипнули зубы. Броситься вдогонку, схватить, сокрушить?

Шагнул вперед. Остановился — с ума сошел, дурак! Даже если бы и в самом деле, какое право...

Не говоря уж о том, что невозможно. Не такие люди. Это как Земле упасть на Луну. Как мокрая сухость. Противоречит законам природы.

Но любовь, чувство — это вполне может быть. Перехватил же он с полгода тому Лизаветой брошенный на Алексея взгляд — так на него самого никогда не смотрела. А тот заикается, когда она рядом, хотя учитель и дикции и акции.

Прежде этому можно было не придавать важности, а теперь оно объясняется.

И если он по-настоящему человек...

Схватился за горло. Как же он проведет эту первую

ночь, уже понимая? Как не стонать, догадываясь, что не он, другой станет целовать глаза — то темные, то голубые?

Давно это все набрякло, и вот пришло.

В отчаянии, кусая губы, заходил взад-вперед.

Значит, опять одиночество.

Упал в колючую стерню, перекатился, царапая руки, лицо. Почему? За что ему такая судьба?

Вскочил.

Бежать!.. А куда?.. От этого не убежишь.

Опустился на сухую комковатую пашню.

А есть, наверное, за что. Кража хотя бы. Столько унес из своего времени, не лично им добытого. Впрочем, разве он вообще добывал что-нибудь там, в начальном периоде своего бытия? Постоянно в полусне. Подтолкнут — шагнет. Выучили его, переходил с другими задуманного проекта на проект пассивным исполнителем, вечным иждивенцем. Однако при всем том в восемнадцатый век явился гордо. Словно зрячий в страну слепых.

Катились минуты, он сидел, вспоминая. Много, много их было — моментов, когда небрежно, свысока третировал тех, кто на двести пятьдесят лет младше. И когда из острога бежал, с разбойниками, со Смаиловым, Аудерским. Как ведь распетушился, какого Зевса-Громовержца играл, характер показывал. Или здесь, в имении. Разве он не высший авторитет — незаслуженно? Свою силу и знания едва не начал ставить себе в заслугу. (Но какие знания, если отнять, что из будущего принес?) Спасибо, что еще не присвоил стихов Пушкина. Пожалуй, эффектно было б — на приеме у матушки-государыни отставить этак ножку, руку вперед и — «Навис покров угрюмой нощи...».

Вот за это — за равнодушие там, в Мегаполисе, за комедиантство тут, в эпоху «Екатерин Великия».

Поднял голову.

Да, мой милый, умнее надо быть, скромней.

Итак, снова без любимой, без семьи. Одно лишь остается — исполнение долга. В этом, правда, тоже величие. Причем странно доступное всем на земле.

Всплыла луна. Будто голубым светящимся пеплом засыпалось широкое поле. Невдалеке брошенный конь встряхивался, звякал уздечкой. На усадьбе, погруженной в сон, тишина.

Вздохнул глубоко.

Но ведь в прежней холодной пустой жизни не было у него мучений отвергнутой любви.

И, может быть, эта режущая боль — тоже счастье.

Лето — зима, лето — зима. Еще прибавила блеску северная столица Санкт-Петербург. Входили в моду у дам короткая талия и тюрбан. Посланник Франции маркиз де ла Шетарди с дипломатическим багажом привез шестнадцать тысяч бутылок шампанского, оно понравилось при дворе. Привыкали также пить кофе, конфетами угощаться. По небедным домам на столах новинка — самовар. Генерал-фельдмаршал Григорий Александрович Потемкин обдумывал вселенского размаха план — Оттоманскую империю уничтожить (турков вовсе из Европы долой), создать Греческую с великим князем Константином на престоле. Потемкин же в качестве «главного командира Новороссии», кто «степи населил, устроил», распорядился художникам ставить на юге декорации городов и деревень — чтоб издали будто настоящие. Матушка-царица, желая Дашкову успокоить, предложила ревнивой к славе подруге юности председательствовать Академией наук и искусств. Ходили гнусные наветы на государыню, будто она — сама чужой, не русской крови — убила ради власти двух законных императоров: мужа и молодого Иоанна Антоновича. Тут уж приходилось Шешковскому, старичку, в подвалах Тайной канцелярии с помощью дыбы и раскаленных клещей усовещивать клеветников.

Бухнуло над империей, словно в колокол, еще два года. Подходил к зениту золотой екатерининский век.

Нехороший день. Нет у него теперь любви к воскресеньям.

Плотно набитая делами неделя проскакивает мгновенно, едва успеваешь вздохнуть. А воскресное время — обуза. Тщишься избыть, а все далеко и далеко до вечера.

Неожиданно оно получилось. Ребята стали девушки и юноши. Влюбляются, ссорятся, дружат. Их тянет к самостоятельности, уже не осаждают учителя со всех сторон. Читки пришлось отменить, плохо слушают, записочки из одного конца зала в другой. Больше у них

интереса стало самим жить, чем про иную жизнь. А в праздники компаниями в лес, парочками в саду по аллеям.

Вот и непонятно, куда себя девать.

Уход Лизы пережился. Боль усохла. Уже не половодьем бурным взад-вперед по всему пространству души, а железочкой в одном месте. Не трогать — не откликнется. Сразу после свадьбы Лизавета отпросилась с Алексеем в деревню, на рядовой надел. Крестьяне — пашут и сеют. Ему как-то легче оттого, что любимая пошла на простую жизнь: огород, скотина, поле. Когда вспоминаются первые счастливые ночи, захватывает страсть, старается перевести мысль на общее. Жалеет, что у молодой семьи тоже нет детей, что не повторятся, навечно потеряны для мира удивительный Лизин магнетизм, гордые, строгие повороты головы.

Но пусто без боли.

На усадьбе новый этап. Производство — лаборатории постепенно превращаются в цеха. Всюду технические сложности, заедает недостаток знаний у него самого. Увы, не все обо всем вложили там раньше в школе! Воспитанники — личности. Кто-то определился в качестве практика, другой — мыслитель, с которого не спросишь прибора, приспособления. К каждому и к каждой особый подход. Иногда охватывают сомнения — не слишком ли много захотел поднять.

А вчерашний случай?

Поздним вечером Федор сообщил, что возле стены видели странного незнакомца. Мужики возвращались от травяной ямы (силосной) мимо усадьбы. На закате в леске напротив стены фигура. Без одежды, как рассказывали, и вроде чем-то блескучим облита. Ближе подошли, она в кусты — и пропала.

Опять серебряный человек. Слежка. Долго его, охраняемого милостивым расположением царицы, не трогали, но, видно, кто-то из помещиков и про стену, и про дым зеленый, и про все его поведение в Петербург донес. На самый верх не дошло, а где-то пониже решили проверить.

Значит, опять дополнительные хлопоты. Оправдываться, объяснять, если уж очень прижмут, а пока что усилить охрану, по стене провести сигнализацию.

Но как-то энергии нет. Упадок. Будто гнетет что-то, и душа ожидает нехорошего.

Особенно по воскресеньям.

С утра слонялся по опустевшему зданию, ни к чему руки не прикладываются. Отпер химический кабинет. На полу валяется кислородный баллон, на столе кучка термитной смеси, горелка. Вчера, как закрывали, ничего такого не было. Выходит, сделали ключ, ночью кто-то работал. Зачем?.. Ага, меленькие рубины. Вот, оказывается, откуда у девчонок сережки с красным камнем.

Вошел в соседнюю комнату анфилады, где на большом тяжелом столе сегодняшняя общая и его личная гордость — двигатель Бурро для будущей повозки качения. Трудов было заложено неописуемо: для обмоток стартера всеми наличными силами неделю вручную изолировали проволоку особо изготовленной смолой, для сердечника учились прокатывать стальные листы толщиной в волос, специальный фарфор пошел на основу.

Тут же рядом на столе метановый резачок. Автоматически взял, включил. Голубоватый бесшумный огонек выткнулся из дула. Резаком этим кто-то тут резал звенья для цепи главной передачи.

Рука вдруг сама потянулась к двигателю. Огонек пошел по рубашке охлаждения, стали сгибаться, слипаясь, ее трубочки. Выше, к распределительной крышке. Она сразу осела, расплавляясь, провода подгорали, распадались.

— Что я делаю?.. Что?!

А рука шла дальше.

Запахло горелой смолой и резиной.

Опомнившись, отбросил резак, недоуменно уставился на двигатель. Канавка-след тянулась от рубашки через стартер к шарам балансира — перечеркнула. А ведь по точности, по тонкости работы двигатель знаменует собой новый уровень для его воспитанников.

Хорошо еще, что не сжег обмотки.

Вздохнул, покачал головой. Что-то с ним происходит, надо успокоиться.

Сунулся было в библиотеку. Возле окна двое отпрянули друг от друга.

— Доброе утро, Степан Петрович!

Глаза нахально врут, что, мол, очень довольны его видеть.

Притворился, будто и не собирался здесь читать, что только за книгой.

Из большого зала негромко клавесин. Войди, радостно поздороваются, а потом неловкое молчание, ожидание.

Уходят, уходят от него мальчишки и девчонки. Теперь удержишь только важным, огромным делом, для которого еще не пришел срок, ибо пока не все подготовлено.

На конюшне жеребец коротко проржал, тыкаясь в руки мягкими ноздрями. Вот кто ему по-настоящему рад.

Через поле наперерез, тропинкой сквозь кустарники! Ольха, лещина, низкий березняк, шелестя, задевают ветками об ноги. Вздымаются поднятые копытом облачка луговой травяной пыльцы, бабочки завязывают над цветами свой трепещущий танец, в голубизне неба щебетание ласточек, синими парчовыми уступами опрокинулся под солнцем дальний лес.

А он ни разумом, ни телом не наслаждается этой красотой, этой прелестью.

Что за странность эта сегодняшняя тоска! Почему неуютно стало в собственной (условно, формально собственной) усадьбе?

Может быть, не только в усадьбе, во времени? Может быть, он и этому веку не пришелся?

Страшная мысль.

Неужто человек так накрепко прикован... нет, внедрен в свою эпоху, что ему в любой другой не выжить?..

Ровным галопом конь вынес на белый шлях.

И тут неожиданная встреча.

Вдали телега. Два верховых по бокам — как бы охрана.

Съехались. На соломе трое связанных. Побитые — в синяках и царапинах. А с вожжами и верхом свои, со Смаиловки. Одного не раз видел на пахоте, на сенокосе. Второй известен даже по имени — Прохор. И еще хилый, подслеповатый мужичок из тех говорливых, кто во всякую бутыль затычкой.

Дружно скинули шапки. Подслеповатый соскочил с передка.

— Куда?

— В уезд, батюшка. В присутствие некрутов везем. Тихон Павлович там, ожидают.

Вот эти, что ли, рекруты? Наши разве?

Оборони, Господь! Купленные. Миром собрали тысячу рублев.

Подслеповатый вперед.

— Вот маемся с имя. Все силы-меры, чтоб не сбежали. Потому как бегать им теперь не придлежит.

Один из связанных попытался сесть. Таращит оторопелые глаза.

— Кто их бил?

— Сами, государь, сами. Пьянь... Передрались, гуляючи.

Связанный что-то промычал. По шее засохшая кровь от надорванного уха.

— Развязать, вернуть в деревню. Ты,— кивнул Прохору,— скачи в уезд. Управителю скажешь, вечером его жду.

Повернул коня, шагом, не торопясь, обратно.

Вот это номер! Слыхал, конечно, о такой практике. Отыскивают бродяг помоложе. Дают денег, чтобы погуляли. В воинское присутствие крупную взятку, и под конвоем в город на четверть века армейской кабалы.

Странно все это. В высоком небе хор жаворонков, воздух — хоть пей его. И в эту светлую пору едут на каторгу трое связанных, побитых, которые за вольное вино, за возможность неделю сытно поесть, покуражиться ото всего человеческого отказались.

Поехал по деревне. Мужики там и здесь кучками. Завидев его, поярковую шляпу проворно в руки, низкий поклон. А попробуй узнать, о чем же только что толковали, принять участие в беседе. Ни за что!

Возле распахнутых ворот большого овина детвора. Изнутри хор женских голосов:

Кому вынется, тому сбудется,
Тому сбудется, не минуется...

Подъехал, соскочил с коня. Ребятишки врассыпную. А ведь, кажется, не жесток.

Просторное помещение полно принаряженной молодежи. Парни в распахнутых тулупах вокруг Федора. К нему мелким шагом в такт песне девушка. Под ладно сшитой шубкой атласом отделанный сарафан, черные кожаные коты на ногах. Коса во всю спину.

Его не все сразу узнали против света. Хор вразнобой умолк.

Федор — бегом:

— Слушаю, Степан Петрович.

— Вы продолжайте. Я так, посмотреть.

— Да на что смотреть, Степан Петрович. Глупостями занимаемся.

Красавица в шубке скорее к другим девкам. И все жмутся подальше от барина к прошлогодним снопам у стены.

Постоял несколько секунд.

— Приедешь на закате. Староста пусть тоже.

Снова раскинулись пустые луга.

Эх, жизнь! В прежнем, первом бытии так мечталось сделаться умнее всех, сильнее, знаменитым. Чтобы умолкали, и внезапная тишина, когда входит. Вот сбылось, а он теперь хочет считаться за своего, равного.

Дурное настроение.

Пообедали вдвоем с «физиком» Сережей. Тоже не компания. Еще год назад не отбиться было от его вопросов. А тут отстраненные глаза, бледен, молчит, весь в себе. Влюбился, бедняга, а девушка сохнет по красавцу Григорию.

Прогулялся в парке. Все не кончается и не кончается воскресенье.

Сел на скамью в заросшей плющом беседке возле пруда — почистить бы его, показать ребятам настоящее спортивное плавание. Да где там, не дойдут руки...

Сзади на аллее голос:

— Неужели тебя не мучает? Откуда учитель знает все?

Сжалось все тело. Мучительно захотел стать маленьким, влезть в щелочку, скрыться.

— Он знает, Гриша. Чувствованием проник в природу дольше всякого.

— Не только чувствует — в том-то и дело! Пусть испытание натуры — еще можно понять. Но он-то сразу готов на техническое решение. Видит процесс с такой тонкостью, что лишь в ходе выскочит. Что зависит от свойств естества, людям еще неизвестных. Мы прежде мнили, будто своим умом постигаем устройство мира. Но то был обман. Он все знал загодя. Потому я и мыслю, что он Бог.

— Не горячись! Ну что ты так зычно, Гриша?

— А ежели Бог, это подло. Богу не место среди людей. Коли у него безграничное знание, на что он с нами, со смертными, соревнует? Когда все наши открытия — подсказка, мы выходим куклы...

Ушли.

Выпрямился на скамье, огляделся.

Обваливается высокая башня его трудов. С грохотом, звоном, рассыпаясь в падении на куски, рушится великий план.

Слишком, значит, легко все давалось — быть сильным, умным, щедрым. И за эту легкость всему чужой. Для крестьян небывало добрый, но все равно барин, враг. А воспитанники — вот этот разговор.

Поднялся со скамьи, вдруг шатнуло. Плечом на выходе из беседки задел косяк, так что доска, заполовину оторвавшись, повисла.

И сразу взрыв. С неожиданной злобой схватил, оторвал, кинул на траву. Вцепился в другую, верхнюю, тоже оторвал и бросил. Стал отдирать плющ от деревянной решетки, вывернул ее всю из рамы, ударил об землю, развалил.

Сердце вдруг судорожно забилось в груди. Замер, прислушиваясь. Потом встряхнул головой.

Почему он вот так с беседкой? Перед этим в доме двигатель разрезал, и здесь как прорвалось что-то, давно копившееся. Неужели возненавидел все созданное за эти годы? Вернее, не сейчас возненавидел, а всегда. Сам внешне гордился, а внутри, в самой глубине жило ощущение, что все лживо.

Но почему лживо? Разве не он, а кто-то другой за него месяц плыл океаном, не зная, не представляя себе, есть ли земля там дальше?

А здесь, в восемнадцатом веке, во зло, что ли, употребил силу и проворство?

Может быть, раздвоение началось, когда стал учить детей, взялся выполнять задуманную программу? Но, положа руку на сердце, не было тогда раздвоения! Наоборот, безоглядно счастлив, и ничего не таилось там в самых глубинных слоях сознания, в самых укромных уголках.

Да и с другой стороны, чем же ему было заняться, раз уж сюда попал — в карты играть, гарем завести, как Смаилов?

Все вопросы, вопросы. И нет ответов.

Рывком поднялся со скамьи, сердце сразу вскачь, и полная обессиленность тела. Руки-ноги ватные — как никогда.

Постоял, утишая стук в груди. Побрел, едва переставляя ноги, ко главной, парадной части парка, к фонтану, заброшенному, давно не действующему. На открытом месте солнце уже пекло, желтизной сияли вазо-

ны, статуи нимф. Обветшалым, как на полотнах Борисова-Мусатова, стоял родовой дворец Смаиловых. Однако только снаружи. Стены крепки, и долго ему еще стоять.

Выходит, восемнадцатый век оказался сильнее того запала, той груды знаний, что он, Стван, принес сюда из Мегаполиса. Получается, что напрасны шесть лет бессонных ночей, выдуманная им система учебы, вечерние читки, седина в волосах.

Куда же теперь деваться? Опять никому не нужен.

Кольнуло сердце — неожиданное ощущение, какого прежде не испытывал. Дернуло ветром — или ему почудилось? Сдвинулась голубая декоративная елочка у мраморной террасы — или сознание мутится?

Помотал головой, строго глядя на елку. Стала на место.

Прошелся вокруг фонтана.

Эх, очутиться бы сейчас на отмелях кембрия! Одному, загорелому. Без ответственности, без проблем. Чистая глубина неба, в теплой воде радужная медуза поднимает свой парус, перламутром блещут россыпи раковин. Шагал бы и шагал, вольный, к уходящему горизонту...

Звук-удар донесся слева. Приглушенный, как бы из-под земли.

— Неужели?!

Замер, прислушиваясь.

Еще хлестануло ударом. И тут же целая серия их.

— Сделали!

Свежестью обдало лицо и шею. Расправил плечи.

Значит, добились белобрысые мальчишки-механики. У него не получалось, сам стал в тупик. А они смогли. Ну, молодцы, золотые руки! Он-то думал, все гуляют по воскресеньям.

Снова серия. Длинная.

Усмехнулся. К черту печаль! Ничего страшного не происходит. Да, кое-кто из ребят сомневается. Но переломный возраст. Первое закономерное разочарование во взрослых, свидетельство собственного возмужания.

Напрасно он так ошеломился в беседке. Просто сам не в форме, да еще праздничный пустой день. Но дело идет, выполняется то, что задумано.

Сразу энергичный, крепкий, гибкий, скорым шагом к левому флигелю, чтобы обогнуть его и с той стороны в подвал, где стрельбище.

И остановился, будто сзади веревкой дернуло.

Но ведь руки-то просятся ломать, жечь.

Необъяснимо! Разум говорит одно, а интуиция наоборот. Зовет уничтожать, что ребята сделали. И требует, чтобы скорее. Не медлить. Как на пожар.

Вдруг снова в сердце. Даже не укол — кинжалом.

Неожиданный ветер дернул кверху, столбом закрутил с аллеи черные прошлогодние листья.

И этот столб идет к нему.

Справа налево понеслись мраморные нимфы, позеленевший купидон в центре фонтана, лестница на террасу. Помчались в быстром вращении. Глянешь на купидона — остановится. Чуть отпустил взглядом — снова понесся. В воздухе вдруг возникло узкое, белой пылью лунного света присыпанное лицо с темными провалами глаз — серебряный человек. Галлюцинация, конечно!

Мир мчался вокруг него все быстрее — уже не остановить. Стван чувствовал, что и его сейчас понесет. Грудь, живот, плечи стали легкими, несуществующими.

Спросил себя — может быть, так умирают?

— Где я?.. Вернее, когда?

— Никогда.

— Вы, наверное, сами думали о том, что напоминаете бегуна, большую часть пути тайно от других состязателей проехавшего на машине. У вас неимоверный гандикап. В вашей власти знания двухсот лет развития человечества. Обладать таким сокровищем — само по себе злоупотребление.

Стван только кивал.

— Вам нет равных. Ваше присутствие унижает каждого. Посмотрите, когда вас нет, Федор герой среди деревенских. Вы пришли, он становится маленьким.

— Я это понимал. Я старался...

— Мы знаем. Собственно, вас никто не обвиняет. Мы просто обсуждаем положение... Вероятно, по-другому и не могло быть. Сама ситуация ненормальна. Наш промах... не были взвешены последствия. Вы хотели в прошлое, суд пошел навстречу. А позже некоторые стали рассматривать это как эксперимент.

— При вас люди умолкают. Вы замечали?

— Ну да,— Стван опять кивнул. При нем и раньше, в той прежней жизни, умолкали. Впрочем, сейчас упреки не трогали его. Оравнодушел к собственной судьбе. И как будто знал в себе присутствие чего-то такого, чего не отнять никаким новым приговором.

— Мы отдаем вам должное. Вы не распускались.

Судьи сидели за длинным столом, и Стван тут же вместе с ними. Напротив председательствующего.

Разговор продолжался. Вне времени. Не идущий в зачет веков. Было очень спокойно, обыденно. Похоже на рядовое совещание где-нибудь в институте, когда не слишком давят насущные проблемы и можно спокойно побеседовать.

А кругом сложнейшая громоздкая аппаратура Защиты от Времени, из-за которой огромный зал казался тесным. За трубчатыми стенами ничего — период до рождения Вселенной.

Судьи были те же, кто тогда участвовал. Стван помнил их. В отличие от него самого их вовсе не состарили минувшие десять лет. Такие же, как были.

Все непрофессионалы. Только на председательском месте Юрист.

Сейчас вступил Инженер — узкое лицо, большие глаза.

— Подождите! Давайте установим, что именно мы будем рассматривать — судьбу вот... осужденного?

— Вы следили? — спросил Стван.

Инженер с некоторой неловкостью улыбнулся, пожав плечами.

— Приглядывал.

— А почему этот костюм — серебряная обтяжка?

— Защита, больше ничего. Я совсем ненадолго к вам опускался, всего лишь на часы, и только два раза. Костюм — чтобы не набраться микробов холеры, оспы, не перенести сюда.— Повернулся к председателю.— Так что предмет обсуждения — Стван или судьба России, даже человечества?

— В известном смысле,— сказал Социолог,— это одно и то же. На прошлом заседании подсудимый жаловался на отсутствие борьбы в нашей современности. Действительно, есть целые слои граждан, которым вовсе не приходится бороться, и с этим явлением надо развернуть борьбу.

— Отвлекаемся.— Председатель остро посмотрел на Ствана.— У вас в подвалах усадьбы испытывается

автоматическое оружие. Предупреждаем, что это очень серьезно.

— Позвольте мне закончить, вмешался Социолог.— Мы сейчас вернемся к тому, о чем вы говорите.— Повернулся к Ствану.— Но дело-то в том, что вы своей школой и мастерскими как раз уничтожаете возможность борьбы и деяния для целых поколений. Фарадей, Баббидж, Менделеев — им уже нечем будем заняться. Придавлено вдохновение гениев, а заодно и тех миллионов, кто добавлял, совершенствовал. Тесла не станет ломать голову над своим трансформатором. Человечество получает все даром...

— А Пушкин?! — перебил Филолог.— Не будет Пушкина, вы представляете себе? Ни Пушкина, ни декабристов, ни Герцена... Кощунственно! Люди оказываются обворованными на самые прекрасные страсти и жертвы. Вы берете себе все, что за два века создано напором мысли, страданиями сердца, подвигом.

— Не себе.

— Хорошо. Для других. Мы знаем. Но через себя. А в результате то же, что было. Только хуже, потому что вы все огрубляете, примитивизируете — как пересказ классического романа в учебнике.

— Более того,— поднял руку Философ,— задуманное вмешательство в историю, в характер и порядок движения материи так велико, что неизвестно, возникнете ли вы лично при новом ходе истории. Нет, наконец, уверенности, что против такого посягательства не восстанет само Время. Только теперь нам становится понятно, насколько тонок его феномен. Вдруг черный взрыв, и нет ничего.

Стван встал.

— Но крепостное право! Кто не жил в екатерининскую эпоху...

— Позвольте, позвольте! — Тонколицый Инженер радостно заулыбался.— Восемнадцатый век не так уж обделен.С юной энергией Россия выходит на мировую арену, фрегаты поднимают паруса, при громе пушек идут полки. Полтава, Кунерсдорф, Чесма, Кагул... А искусство! А русские женщины! Вспомните, как Виже Лебрен описывает русских женщин этой эпохи.

Что-то детское было в этих судьях — теперь, после промежутка в десять лет, Стван почувствовал. Люди, которые не переживали голода, боли, страха смерти, разочарований.

— Я не об этом,— сказал он.— Да, великие достижения в мире за двести пятьдесят лет. Но колонизация Азии, Африки, мировые войны... Неужели все эти муки не перевешивают поэмы «Мертвые души»? Собственно, Гоголь и писал затем, чтобы все изображенное там исчезло. Мне удивительно, что человечество, имея наконец возможность влиять на прошлое, не воспользуется ею. Разве мало давила тяжесть зла, павшая на прежние поколения?

— Это обсуждается,— сказал Историк. (Он был повзрослее других.)— Вопрос сложен. Отвращая, например, две уже случившихся мировых войны, мы можем породить три новых.

— А диктат материи? Жуткий первобытный эгоизм живой клетки, который уже при новом строе противостоял всем усилиям государства, рождая ложь, карьеризм, воровство. Или сама природа, космос, Вселенная. Их непредсказуемый и вовсе не спровоцированный человечеством бунт. Катастрофическая передвижка земной коры, кометы, массами бомбардирующие Землю. Звезда, наконец, опасность Звезды! Ведь это уже террор со стороны материи — взрыв сверхновой вблизи Солнечной системы... Я хотел приблизить контроль.

— Вы его отдалите.— Историк повернулся вместе с креслом к большому экрану за своей спиной.— Нами просчитано несколько вариантов развития после того, как вы объявите отмену крепостного права.— Он защелкал клавишами и кнопками.

На экране мелькали сцены одна за другой. Слишком быстро, чтобы понять.

— Подождите... Это что?

Высветился парк возле здания, где Стван когда-то смотрел, взобравшись на дерево, в окно бальной залы. Поваленная статуя, зарево пожара на дальнем плане. Два лакея обшаривали лежащего в аллее человека в камзоле — Стван узнал владельца усадьбы, полного краснолицего брюнета. Один из лакеев на что-то оглянулся позади себя, поспешно выпрямился, отскочил в сторону.

— Кто?.. Соколов-Щербатов, князь?

— Не помню.— Историк перебирал клавиши.— Да, кажется... Дворянство будет практически истреблено.

Возникло поле сжатой ржи, все усеянное трупами

людей, коней. Высокие гренадерские шапки, драгунские ружья. Был вечер, в небе с криками кружилось воронье.

Историк задержал кадр.

— Первая большая битва. Здесь вы расстреляли драгунский и кирасирский полки. И три батальона гренадер.

— Много таких битв?

— Много. Екатерина догадалась объявить вас Антихристом. Техника, которой вы владели, доказывала народу справедливость этого утверждения.

— И кто побеждает в конце концов?.. Мы вошли в Петербург?

— Империя, во всяком случае, рухнула. Екатерина со двором бежала в Пруссию, но умерла по дороге.

Историк быстро менял картины. Мелькнули объятые пожаром деревни, большое поле, где рожь вперемешку с молодым кустарником, горящий Невский проспект.

— Вот это важная сцена.

Стван шагнул ближе к экрану.

Незнакомая площадь перед храмом, вся забитая народом. Помост, устланный коврами. Красного бархата кресло, в котором мужчина. Колокольный звон и дым пожарищ. (Стван заметил, что толпу на площади удерживают, теснят ближе к помосту вооруженные.)

— Сделайте крупнее.

Теперь помост был виден вблизи. Худой изможденный человек с короной на седых, растрепанных ветром волосах что-то злобно говорил стоящим тут же людям с автоматами — каждая фраза подчеркнута резким движением руки. Взгляд подозрительный, на щеках красные пятна. От носа глубокие морщины к тонким губам.

Историк подрегулировал звук. Резко ударило слитным гулом толпы, топотом, даже как будто запахом гари. Донесся обрывок фразы: «...угольных пригонят, не сплошать...»

Затем на все звуки наплыл всеобнимающий медный вал колокола.

— Узнаете? — спросил Филолог.

— Я?.. — Стван отшатнулся. — Неужели я?

— После сражения с поляками под Тулой вы решаете принять царскую корону.

— С поляками?

— Польша отделилась в девяносто четвертом. И сразу начала интервенцию. Турки тоже хлынули на

Украину. Остановились перед Царством Войска Донского — дальше казаки не пустили.

— Ваших сподвижников,— сказал Юрист,— остается все меньше и меньше. Несколько человек были убиты в разных губерниях, когда развозили манифест. Ну а некоторые будут казнены вами же.

— ?

— Хаос в стране. Два десятка учеников оказались каплей в море, тысячи нужны были, десяток тысяч. В результате повсюду новые вожди, борьба за власть, грабежи, поджоги, а потом голод, эпидемии, иностранные войска, религиозные течения и секты — одни против других. Заросли поля, население за два года сокращается почти наполовину. Перед этим обвалом проблем начинается раскол в среде ваших учеников, кто-то отпадает.

Историк пустил новую серию кадров.

— А дальше? После Тулы?

На экране мелькнуло что-то яркое.

— Что это?

— Один из вариантов. Перед битвой за Киев, чтобы не губить людей, вы решаете устроить демонстрацию — на Русановских болотах взорвать атомную квант-бомбу. Потом приказ отменяется, но Григорий, давно задумавший отделиться от вас, поднимает бомбу и взрывает на большой высоте. Людьми было воспринято в качестве конца света. Массовые самоубийства, десятки тысяч бросали хозяйство, шли в леса.

Он поднял руки.

— Хватит! Мне все понятно.

Историк выключил экран.

— Да вы успокойтесь,— сказал Философ.— Этого же ничего не происходило. Расчет машин, видение, мираж. А на усадьбе у вас все пока тихо... Вот выпейте воды.

— Да... А вот как мне теперь — просто жить? Существовать в прошлом, как трава, как улитка, ни во что не вмешиваясь?

— Решайте. Мы полностью полагаемся на вас.

Какой же то был вечер!

В двусветном зале бронзовые грифоны держали в лапах восковые свечи. На столе фарфоровый сервиз, хрустальные бокалы, ножи и вилки золоченого серебра,

бутылки из княжеского много лет не отпиравшегося погреба, ананасы, апельсины из оранжереи, срезанные цветы в вазах.

Двадцать восемь мальчишек с девчонками и он сам. Как хорошо знал каждого и каждую. Все в разное время болели, ранились, жглись во время опытов, со всеми были переживания. Теперь на лицах сменялись удивление, боль, задумчивость. Но отвращения не было.

— И вот он — я! Обыкновенный человек.

Долгое молчание. Они не переглядывались. Наконец Гриша сказал:

— Нет, Степан Петрович. Обыкновенных мы знаем — их тут много по усадьбам, про них известно. А вы делали нас.

Все глаза потеплели.

Стван вздохнул освобожденно. Далеко еще было, к счастью, до того помоста на площади, до атомного наводящего ужас просверка в небе.

Взял бокал. И они все тоже подняли, чтобы впервые в жизни коснуться губами вина.

Лилась через усилитель мажорная соната Генделя — специально этой зимой приглашали из Петербурга музыкантов, немцев да итальянцев, записывали целыми концертами.

Танцевали полонез, гавот, девушки под песню водили хоровод. Снова садились за столы. Решено было в последний раз вольно говорить о том, что было, что знали, чего добились.

— А помните, Степан Петрович...

— А помнишь, Таня...

Вышли в сад. Рассвет отбросил туманные тени. Опять музыка. (Пусть уж слышат за стеной, кому доведется.) Смотрели друг на друга, равные, красивые, озабоченные высоким — как в те новые века, которые еще грядут.

Всю следующую неделю разбирали станки, устройства, агрегаты. Днем, ночью дымила плавильная печь, туда целиком бросали инструменты, приборы, машинные блоки, схемы. Потом в пруду топили слитки ноздреватого хрупкого сплава. По всему дому битое лабораторное стекло хрустело под ногами. Бумагу и химикалии жгли, кое-что взрывали в парке. Здание внутри постепенно обретало прежний контур. Но облик разоренности: полы в покоях испорчены, мебель поломана,

стены в дырках. Всю работу рассчитали по дням, спланировали сами ребята. Но делалось дело почти молча, с малым, только необходимым разговором. Не острили.

Стван же отключил многолетнее напряжение, отпустил себя. Бродил по парку, по опустевшим залам дома. В одиночестве, без спешного труда, восемнадцатое столетие открывалось ему иным, существующим для себя, не для сравнения с будущим. Ум и талант смотрели с портрета в золоченой раме, нагая мраморная богиня над запущенной куртиной вдруг вызывала на глаза сладкие слезы. Задумывался: время-то страшное, но, пожалуй, еще сквозь многие века будет оно светиться горностаевыми мантиями, шеренгами румянцевских, суворовских полков, пышностью балов, туниками прелестных женщин, которые так рано умирали, чтоб вечно молодыми оставаться на полотнах русских художников, в камне надгробий.

Запускал музыкальную шкатулку с чуть дребезжащей мелодией беззаботного барокко. С кабинетного столика брал покрытый пылью томик стихотворного альманаха, открывал шершавую страницу.

Лишь другу Лиза дух вручает,
Возмогшему ее трогнуть...

Мечтание о другой, не рабской системе отношений. (Но ему-то не вручила свой дух Лизавета.)

Федор и Тихон Павлович спрашивать ни о чем не осмеливались — привычно было, что бариновы решения через срок показывают свою умную, важную суть. Только кивнул управитель, и когда Калымский приказал приготовить вольно-отпускные на всех крепостных.

В ветреный вечер — по бледному небу быстро бегущие разорванные тучи — от усадьбы двинулся кортеж. Баронская карета, за ней дормез и кибитки, где ученики. Остались в Смаиловке Федор, недавно женившийся, и Тихон Павлович с семейством. Договорено было, что через пять лет сдадут имение в казну как вымороченное.

Из-за того, что так негаданно оборвалось начатое здесь, а еще из-за ветра отъезжали холодно, неуютно. Федор с управителем чувствовали: барина уже не увидят. Обнялись, кучер щелкнул длинным бичом.

Один в карете, Стван часами глядел в окошки. Те же черные деревни, изредка на холме за липами — крыша дворца, на поле — пьяная помещичья толпа верхами за

лисицей. Не вышло, не получилось! Слишком тяжек бульдозерный, чугунный накат прошлого — не стронешь лихим наскоком. Застыла, остановилась российская история.

Но в Петербурге это ощущение стало пропадать. Не узнаешь столицы через годы, что не был. Фонтанка, каналы оделись гранитом, обставились вельможными палатами, каменными купеческими дачами. Достроены Гостиный двор, Академия наук, Академия художеств. Убрали насыпной бульвар вдоль Невской перспективы, на булыжник положены ровные тротуары. И людей на них, людей! С краю Каруселыной площади поднялся пышный, на века строенный театр. (Вот здесь и выпорхнет на сцену Истомина — «душой исполненный полет».)

Прошлой бытностью в городе, зимой, за картами, он плохо рассмотрел Петербург, не почувствовал характера. Теперь поразили движение, энергия. Чуть ли не морским народом стали жители. На реках, бесчисленных каналах ялики, шлюпки, баржи, галеры, плоты, яхты. Веревок, канатов навито, парусины наткано, лесу, кирпича навезено — глаза разбегаются. Всюду роют, несут, толкают, тащат, поднимаются стены, возникает то, чему стать колыбелью революции. Да, конечно, в Зимнем дворце — императрица, шестидесятилетняя накрашенная старуха, юный ее любовник, тоже накрашенный, весь в бриллиантах. Но время не стоит, уже явились на свет прадеды народовольцев.

Еще до Петербурга убыло спутников-учеников. Прельстившись красотой Волги, две парочки остались у Белого Яра, в Нижнем Новгороде отпросились трое. На Киев пошел Сережа, на Москву, чтобы в актерки там, три девушки-подружки.

Двое остались в столице, с другими Стван отплыл из Кронштадта на голландском судне. В Антверпене прощание еще с тремя — отправились за океан. Те, кто предпочел Европу, по одному, по двое двинули в разные города: в Париж, где скоро падет Бастилия, в прославленный искусством древний Рим.

И это было все. Конец великой затеи.

Но Стван успокоился в ходе путешествия. Воспитанники счастливо шли навстречу самостоятельной судьбе. И хоть единогласно было решено никогда не вспоминать, что взяли из будущего, Стван знал, что

выучил своих ребят человечности. Даже падением своим, крахом идеи.

С последними прощался в Лондоне. Стало пусто, но притом освобожденно. С рассвета до темноты слонялся по верфям и пристаням Темзы. Отрекшемуся от своих планов, ему стала вдруг захватывающе интересна обыкновенная жизнь, которой прежде старался не замечать. Вот матросы грузят корабль — рис и кофе на Каир, вот женщина с узелком пришла к мужу проститься, некрасивая, скромная. Здесь не только обыденное дело, эти люди создают то будущее, в котором ему родиться. И от женщины этой тоже в него, Ствана, войдут какие-то капельки, она тоже в нем — ее смущенный, косящий взгляд. Уметь бы ему в своей первой жизни так видеть своих современников.

Подумывал, не отправиться ли ему в Египет с этими матросами. Или с переселенцами в американские прерии, где бродят стада бизонов. Но вспоминал, что уже недолго до дня, когда Наполеон вступит с войском в Каир, а от бизоньих полчищ через несколько десятилетий не останется ничего.

Потом сказал себе: ладно, буду любоваться тем, чему не суждено погибнуть. Деньги есть, здоровье — слава Богу. Начну с Австралии, пройду сквозь пустыню к красной горе Ольге, оттуда в Новую Зеландию к гейзерам. Если маори пощадят, после них отправлюсь в Юго-Восточную Азию отыскивать затерянные в джунглях древние дворцы.

И опомнился. Где они — Австралия, Новая Зеландия?! Туда не доберешься, еще нет рейсов. Только Кук, единственный, побывал.

Взял каюту на пятимачтовой шхуне, следующей в Бенгалию с серебром. Штормило в Бискайском заливе. От островов Зеленого Мыса пошли вдоль побережья Гвинеи, после — круто на запад старинным, еще с Васко да Гамы, путем. Разговаривать на судне было не с кем. Капитану с матросами хватало дел, пассажиры — две семейные пары служащих Ост-Индской компании — держались замкнуто.

Но не скучал. День за днем не менялась прекрасная погода. Ствaн со шканцев завороженно смотрел на океан. Почти пьянел от неописуемой синевы, мерные удары волн о деревянный борт слушал как симфонию. Шхуна приближалась к центру Атлантики, чтобы отсюда взять курс на Мыс Доброй Надежды. Сверкали на

солнце летучие рыбы, высоко парил альбатрос. Ночами безмерность вод светилась, за кормой — сияющий след.

Теперь он считал себе около сорока трех лет. Выходило, что жизнь уже как-то сотворилась, все большое, сильное — позади.

После заката, один на палубе, снял камзол, туфли, аккуратно положил. В рубашке, в кюлотах сел на фальшборт, слушая скрип снастей. И мачты и небо казались живыми, с ними можно было говорить. Оттолкнулся руками, переворачиваясь в воздухе, мягко спрыгнул вниз.

Сразу вынырнул. Шхуна проплыла над ним, громадная, загораживающая парусами широкое пространство звездного свода. Уходила быстро, уменьшалась. Неподалеку буревестник сел на волну — чтобы спать. Подкативший вал поднял и словно с горки опустил — чуть замерло сердце от полузабытого ощущения.

Течение и ветер несли. Утром из синей бездны прямо под ногами Ствана медленно поднялось длинное голубоватое тело акулы.

Сквозь ресницы брезжили сиреневые прямоугольники, за спиной что-то твердое. Плеск воды... В раю он, что ли?

Открыл глаза. Сидит на жесткой скамье, прямо перед ним по каменным ступенькам струится вода. В одних местах одевает камень тонкой прозрачной пленкой, в других — собирается в маленькие белые водопады. А дальше невысокие кубические здания. Ранний утренний свет. Из-за него все сиреневое.

Опять куда-то перекинули. В будущее, что ли, в отдаленное?

Если так, то зря. Даже в самый настоящий рай он не хочет. Довольно с него. Ни силы, ни желания опять приспосабливаться, строить судьбу. Смерти он просит. Темноты, которой не видишь, что она темнота, покоя, о котором не знаешь, что он покой.

Повернулся туда-сюда. Место казалось знакомым.

Неясный гул доносился откуда-то снизу, справа.

Черт возьми, да ведь это же Водяной Сад! Возле Клон-Института. Сам тут когда-то работал.

Вот в чем дело — его вернули назад. В Мегаполис.

Поднялся.

Ну конечно же, Водяной Сад. Здесь между разбросанными корпусами что-то вроде арыков в камне. Мелкие, где можно шлепать босиком, и крупные, в которых плыть. Так уж выдумали архитекторы. Ни деревьев, ни единого клочка травы на всей территории. Только камень и вода.

Усмехнулся, присвистнув. Снова в своем времени. Ничего себе — дела. Прокатился по эпохам, периодам, векам и опять туда, откуда начинал. Снова, значит, одиночество, ощущение неполноценности. Как прежде, завидовать тем, кто умнее, талантливее, известен. Или нет?.. Пожалуй, именно зависти не будет. Хоть из этого он вырос. Бог с ними, с теми, кто в первых рядах, кто на Марс, на Венеру, в библиотеки со спецабонементами, в музеи без очереди. Сам и не в таких музеях побывал.

Опустив глаза, посмотрел на свои руки — большие, шершавые, в шрамах. Все оставило след. А больше всего — приборы, машины, что строил для ребят, опыты, что показывал.

Неторопливо стал подниматься из главной чаши сада по журчащим водопадиками ступенями. Было рано. В институте еще не начиналась работа, но вдали, у центрального канала, Стван видел нечеткие фигурки — какие-то уж очень ревностные спешили в свои лаборатории. Вдруг стало жутковато — еще попадешь на когонибудь из прежних коллег. Распросы, разговоры и, хуже того, умолчания. Станут показывать, что все забыли, что, несмотря на случившееся тогда, готовы нормально к нему относиться.

Повернул в глубь территории, мимо стадиона. (Здесь даже теннисный корт сплошь каменный.) Не было понятно, куда, собственно, теперь. Как-то разыскать судей, явиться... Или нет. Будь он нужен, пробудили бы прямо в Башне. Вероятнее всего, он уже отбыл наказание, может просто жить. Получить в Административном адрес на комнату (теперь по возрасту и на квартиру), ходить в домовую столовую, благо, на это не надо денег. Когда, давно еще, Всемирный Совет принял закон о бесплатном питании по месту жительства, Стван не очень взволновался. Тем более что речь шла не о деликатесах, а так, о простом. Но теперь, без работы, оценит. Надо как-то доживать оставшееся.

Дошагал до высокой степы, ограничивающей владения Клон-Института, отворил железную дверцу.

Сразу шагнул в осень. Здесь, в зоне отдыха какого-то бытового комбината, пейзажный стиль. Он его тоже прекрасно помнил, и тут ничего не изменилось. Яркоалые кроны осин среди желтеющих берез. Тропинки, пруд, где на черной, уже отцветшей воде пятнышки поздних лилий.

Точно такой же осенней порой было совершено его преступление. Вернулся из неудачно проведенного отпуска, взвинченный, обозленный на весь мир. И на Итальянской Террасе оскорбил, даже ударил человека. Оказалось, на Земле этого не было уже пятьдесят пять лет. Сел, сам заговорил — хотелось излиться — и сразу стал ненавидеть собеседника, спокойного, старавшегося и его успокоить...

Гул со стороны становился все сильнее, но исчезал, когда Стван опускался в ложбинки.

Прошел дворами мимо детских площадок, вертолетных стоянок и через высокую подворотню на Итальянскую улицу.

Она кишела народом.

Тогда, десятилетие назад, спешили в основном на белковые поля. На всех площадях Мегаполиса сияли слова: «СПАСИБО, ЗВЕРИ!» С завершением пищевых комплексов стало возможным освободить животных от вечной дани человеку. Объявлен был конец охоте и животноводству, свиней планировали преобразовать обратно в кабанов, быка — в буйвола.

А сейчас куда торопятся?

Чрево воздушки извергало толпу. Включены все конвейеры — четыре медленных, два быстрых. По среднему большинство бегом — для спорта или потому что опаздывают.

Резко пахло электричеством, сухим маслом. (Правда, чтобы почувствовать, надо было как следует надышаться в восемнадцатом веке.) Ну понятно — греется смазка в малых и мельчайших подшипниках, которых миллионы по всему устройству улицы.

Перекличка световых сигналов. Стрелы, круги, треугольники, показывающие, куда правильно. Очень тонкий, специально повышенный, чтобы пронзать обволакивающий гул, голос ближнего регулировщика: «Тридцать секунд на левых свободно...» Быстро бегущие строки световой газеты. Пониженный голос дальнего регулировщика. Глухой рокот конвейеров...

Стван по неподвижному тротуару шел к площади. Но в этот час и здесь тесно.

На него, с сединой в волосах, со шрамами на лице, оглядывались. Однако теперь уже не раздражали мгновенные оценки на ходу. Почему-то чувствовал себя крупным физически, почти громоздким, что, наверное, и соответствовало. Каким-то неуязвимым.

Фонтаны, деревья, два розовых фламинго летят над фронтоном библиотеки. И тогда тоже на этой улице подкармливали фламинго. Но в той прежней жизни неудовлетворенного одиночки в Мегаполисе он как-то не замечал мягкого очарования этого района. Магазинчики — у каждого свой стиль, крошечные кафе на три-четыре столика.

Витрина инструментов. Скромный блеск темного металла, микронная точность сочленений — не те неуклюжие, что он с ребятами мастерил. Раньше тоже не обращал внимания на инструменты, а теперь технология стала родной. Так хочется взять в руку настоящий резак, взвесить в ладони холодноватую полированную умную тяжесть.

Со стороны воздушки приближалась женщина.

Шла как праздник.

Круг внимания двигался с нею. Встречные мужчины провожали поворотом головы, женщины скашивали взгляд. А кто обгонял, тоже не мог не глянуть.

— Лизавета!

Не отдавая себе отчета, Стван бросился к ней.

Она чуть задержалась, гордо-снисходительная.

— ?

Сам сразу опомнился. Откуда? Даже и дальней праправнучки не может быть. Лиза-то осталась бездетной. И даже не очень похожа. Только чем-то общим, неуловимым.

— Извините.

— Нет-нет, ничего.

Хотел отойти, но она удержала его нестесняющим рассматривающим взглядом. Уверенная в себе, сознающая, что и стать-то с ней рядом — отличие.

— Простите, ошибся.— Стван совсем смешался, отступая. Конечно, не Лизавета. То есть не похожа. У Лизаветы и тени не было такого кокетства.

Их обходили, оглядываясь.

— Вы Стван,— сказала она. Вы из прошлого.

— Я?.. Да... То есть... ну да.

— Торопитесь?.. Проводите меня.

Пошел в обратном направлении, напряженный С чувством, будто несет большую, очень хрупкую ча шу. (О Господи, откуда она-то знает?)

— Утром по радио сказали, вы, возможно, выступите в дискуссии.

— Я?!

— Ну да. «Одиночество — благодеяния и пытки». Вас упоминали даже в двух программах. Сначала в Мировой — что вы вернулись после десяти лет в прошлом. Потом Город — про дискуссию и что вас приглашают в экспедицию в меловой период.

Окончательно потерялся и стал.

— Меня?.. Упоминали?

Она улыбнулась.

— Пойдемте. — Взяла под руку. — Вас, естественно Не меня же.

У него в голове сумятица. Значит, полноправный гражданин. Так сказать, реабилитирован.

Встроились в поток. Он осмелился глянуть на нее краем глаза. Нет, все-таки Лизавета. Только новая. Не затравленная, как настоящая Лиза, когда он ее первый раз увидел, не замкнувшаяся, как уже к концу у них, а другая. Спокойная и внимательная в своей красоте.

Она остановилась.

— Ну вот...

Рядом пышный, с десятком стекол-названий, подъезд. Неужели все?

Она вдруг сказала:

— Ни разу не была в Доме Дискуссий. Если б вы пригласили...

— Я?.. В Доме Дискуссий?.. А меня-то кто пригласит?

— Придут же именно вас слушать. Вы — участник.

— А-а... Да-да, тогда, конечно. Но разве вам со мной можно? Удобно ли? Преступник...

— Кто преступник?.. Как интересно!

— Разве об этом не говорили?

— Кто говорил?

Он сообразил, что не все обязаны помнить то, давнее. Но скрывать от нее, кто он, бесчестно.

В пышный подъезд люди шли потоком, обтекая их, потом сразу вокруг стало пусто.

— Видите ли, это давно. Когда еще пустили белковые.

— Вчера пустили белковые.

Да нет, вы не помните. Это случилось двадцать восьмого мая, потом был процесс.

— Сегодня двадцать восьмое мая.— Подала ему руку. И наверх, по ступенькам. Обернулась.— Оставьте на контроле приглашение для женщины, которую вы проводили на работу.

Широкие двери затворились. Автоматически повернулся, пошагал, ничего не понимая.

Открылась Итальянская площадь. На все здание Административного Центра спроецированы слова:

СПАСИБО, ЗВЕРИ!

Лихорадочно глянул на часы.

Шесть! Двадцать восьмое мая! А тогда двадцать восьмого он пришел на Итальянскую Террасу в семь. Значит, его вернули в собственное время, но назад, чуть раньше, до поступка.

Вдруг полная тишина. И в ней откуда-то издалека, но чисто запели фанфары — вступление к симфонии. Или ему послышалось?

Словно туман сдернулся с окружающего. Отчетливо, как сегодня еще не было, отчеканились на ярком фоне неба в цвете, в объеме сиреневые башни, никелевый и бронзовый блеск балконных обрамлений, цветы на площади, деревья. Опять ударил гул толпы, но звонкий — будто из мутной воды наружу.

Кружилась голова. Шатнулся, стал.

Тотчас рядом мужчина, а затем другой и женщина. Взяли под руки, отвели к стене.

— Вы нездоровы?

— Нет-нет, спасибо. Все в порядке.— Неожиданная слабость уходила.

— Может быть, все-таки вызвать помощь?

— Давайте я провожу.

— Уверяю вас, все в порядке.

Вдвоем с первым мужчиной они вышли из образовавшегося кружка.

— Вы Стван, да?.. О вас сегодня говорили по Мировому... Это честно, что помощь не нужна? Тогда... желаю удачи.

Стван опять на тротуаре.

Реабилитировали. Но как могло получиться, что он вообще чист? Судьи отодвинули время назад, это по-

нятно. Однако, раз не было преступления, значит, и суд не заседал. Даже самих судей не существует... Вернее, они есть, но не являются судьями и представления не имеют о том, что позже придется наказывать его, посылать в прошлое. А если он теперь не сделает того, что совершил тогда, полной тайной для всех останется то, что произошло в отмененном варианте развития событий... Допустим, что так. Но откуда тогда люди вообще о нем знают? Ведь чтобы вернуться с такой, можно сказать, помпой, он должен сначала стать сосланным преступником... Или знают, но не все? Возможно, при отодвижениях времени, когда для мира ничего не меняется, остаются все же немногие знающие — кто был в Башне?

Утренний поток пассажиров из воздушки уже истончился, местами вовсе пересох. Со смехом бежали две девчушки, обогнали его, смех оборвался.

— Смотри-ка, это Стван!

Улыбнулся. Раньше готов был в лепешку разбиться, чтобы так.

Странно, как его ни за что ни про что сделали известным. Или заплачено — тоскою, страхом, отчаянием там, в прошлом?.. Нет, пожалуй. Не эти печальные эмоции. Решения — вот! Самые ценные мгновения его жизни. Когда, например, далеко ушагал в море, и пирамида — золотым пятнышком на горизонте. То, что в России, сколько сил хватало, трудился. Десять лет, седые волосы, шрамы.

Эх, годы прошли как вихрь света!

Где лучше?.. Где лучше мы сами.

На площади из шести движущихся дорог четыре переключили на главный ствол. Толпы уже в центре Мегаполиса и рассеиваются по сотне его уровней.

А Лиза на работе... То есть не Лиза, а та, которая, прощаясь, протянула ему руку. Он все держал в памяти ощущение ее ладони. Как свое первое имущество здесь.

В Административный потом. Вот сюда — через олеандровый парк, той дорогой, что шел тогда.

Последние куртины. Стван вышел к Итальянской Террасе, где за низенькой, по колено, балюстрадой крутой травяной откос, решетка и обрыв — километровая пропасть.

Тишина. Цветущий жасмин. Скамьи. И та скамья тоже.

Итак, вернулся откуда начал. Чем же были эти ски-

тания, что получено на жарких отмелях Пангеи, на вощеном паркете санкт-петербургских особняков?

Солнце поднялось из тумана, озаряя панораму этой части Земли. Степь с рощами, леса на горизонте. Заметный с высоты след старого города. Не всё сумели убрать, но природа постепенно возвращала себе это место — рисунок зелени намекал на исчезнувшие улицы, площади. У речной излучины паслось стадо диких лошадей, крошечных с высоты. Еще дальше несколько светлых точек у рощи — может быть, олени. Только к северу слева человек не уступил обширный многоугольник, куда живому нельзя. За каменными литыми стенами, за рвом, глубоким, как ущелье, особо изолированный район, где воздух так насыщен электричеством, что молнии сразу сжигают залетевшую незнающую птицу. Там приемные микроволновые устройства сосут энергию от плывущих на огромной высоте солнечных батарей — питание Мегаполиса. На Солнце в вечном взрыве рождается сила, ломкими лучами несется сквозь черную бездну космоса и приходит, усмиренная, сюда, где неподалеку кони встряхивают гривами, цветет тихая лесная фиалка. Удивительно это соседство изощреннейшей технологии с такими непритязательными, незащищенными существами.

Куда мы идем, люди? Как все это началось?

Теплый океан при каменной пустой суше — благость только неба и только воды. А под мягкими волнами живое кишит, рвется наверх, на воздух, на твердь. Выбралось, и в непрерывном поедании, в яростной борьбе растет, усложняется разум. Протянулись сотни миллионов лет, на африканскую равнину выходят австралопитеки. Темные, тугодумные, однако каждый за всех и все за каждого. Потом Земля еще пять-шесть миллионов раз обогнет Солнце, и в конце ледника по лесам, прериям пойдут охотники. Свободные, равные. Но опять страшное контрнаступление материи, первобытного клеточного эгоизма. Минует всего несколько тысячелетий, и в Египте старику фараону готовят ванну из теплой крови ста новорожденных младенцев. Дворцы и лачуги, обжорство и голод, бичи, кандалы, колодки — природа не знает такого. Но снова борьба, рушатся тюрьмы..

А дальше?

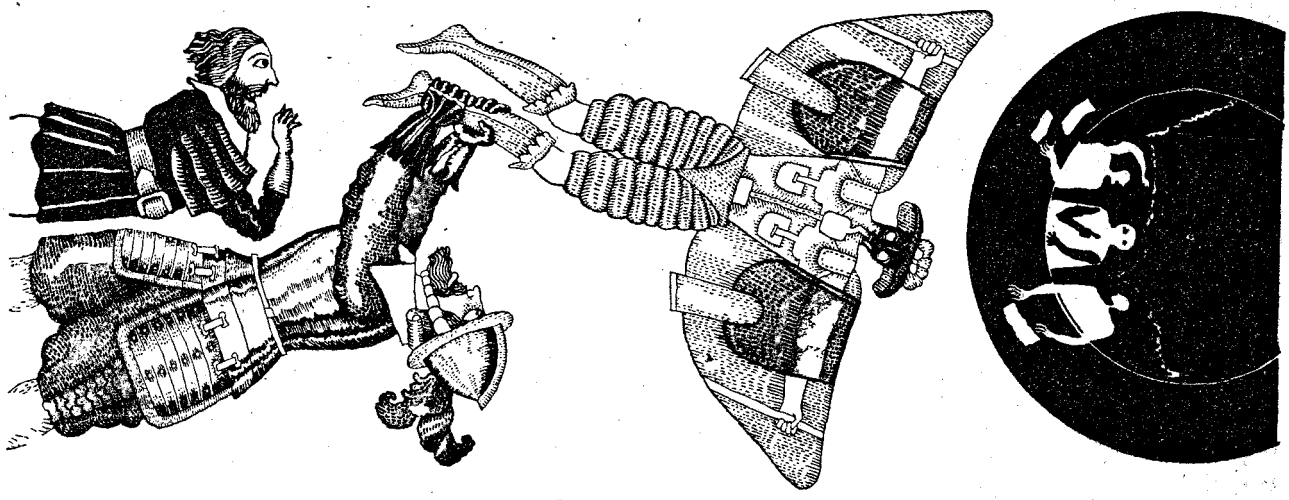
Что будет теперь, когда, словно воздух, всем безвозмездно — пища, одежда, кров?

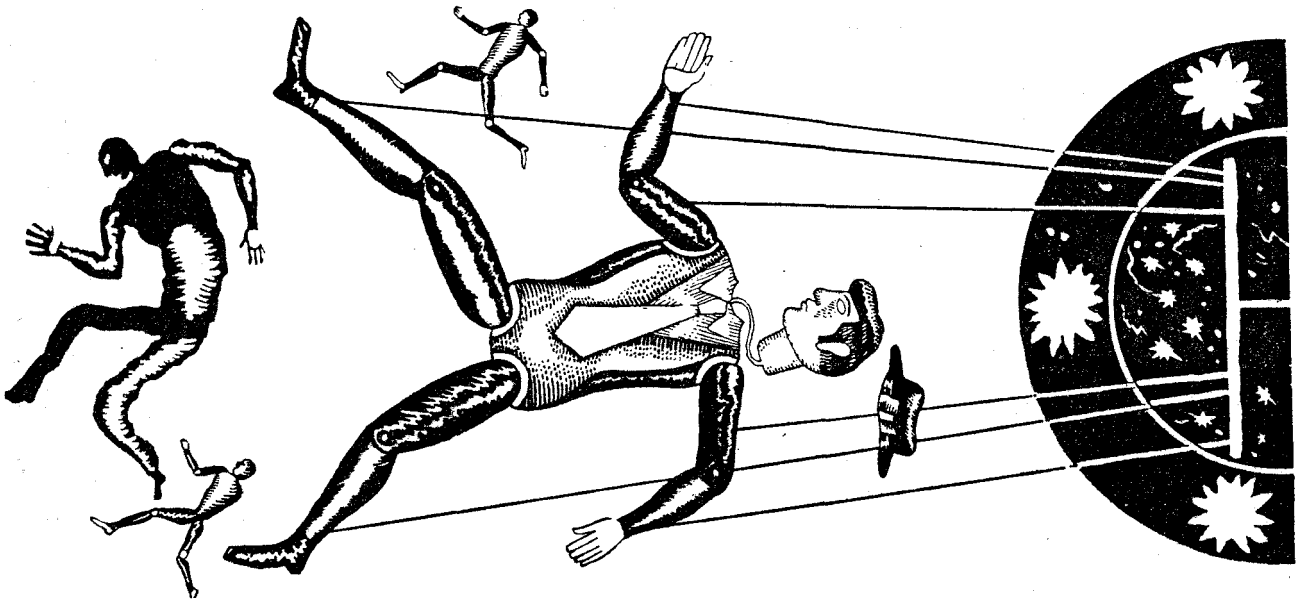
От австралопитека к неандертальцу в холодной Европе, от первых земледельцев к городам-гигантам для большинства людей большинство решений было вынужденным. Но кончается миллионолетний период, впервые образован неистребимый ресурс — вещный, духовный. Приходит время, когда главное свое дело человек станет иметь не с цифрой и машиной, а с братьями своими, людьми.

Мегаполис шумит. Нас так много. Мы идем под перекрестным огнем взглядов. Ежесекундно являются и забываются десятки лиц. Бывает, среди толпы встретится знакомый, о котором прежде вы были не лучшего мнения. Теперь вы поражены — он внезапно повзрослел на годы, сделавшись при этом спокойным, странно красивым. В глазах ум, независтливая заинтересованность в людях. Глядя на него, вы убеждаетесь, что он уже не принадлежит к тем, кому бы выдвинуться, выскочить, схватить.

Кто не ошибается, а вера — дитя сомнений. Не исключено, что он, как и Стван, до горьких пределов дошел в своих заблуждениях, неправильно прожил большой кусок жизни туда, вперед. Но судьи (в не достигнутом еще нами будущем) повернули время назад. Может быть, этим вашим знакомым свершены походы в иные края, он едва избежал сумасшествия и гибели. Но к нам, своим современникам, вернулся более близким к дающемуся в муках, тяжких опытах и трудах званию — Человек.

Георгий Шах





БЕРЕГИСЬ, НАВАРРА!

Повесть

1

— Рассказывайте, Ольсен, не тяните душу,— сказал Малинин.

Ивар Ольсен, потомок викингов и мушкетеров, и не думал, однако, торопиться, заранее наслаждаясь эффектом, который должно было произвести его сообщение. Он размеренно сделал два глотка холодного кофе, потом стал разглядывать узоры на потолке, постукивая пальцем по лежавшему перед ним на столике странному предмету.

— Ну, это смахивает на фантастику,— начал Ольсен.— Полагаю, никогда еще путешествие во Времени не изобиловало столь необычайными приключениями и не завершалось такими феноменальными результатами.

— Положим, всякое бывало, заметил Кирога, за которым прочно утвердилась репутация Фомы неверующего.

— Все вы знаете о цели моего эксперимента.— Ольсен обвел взглядом слушателей, удобно расположившихся в просторном институтском холле. Поэтому я опущу предисловие и перейду к самому сюжету. Итак, 14 мая 1610 года я стоял в толпе горожан, собравшихся на улице де ла Ферронри в Париже в ожидании королевской процессии. Если вы полагаете, Кирога, что пребывать в средневековом городе столь же приятно, как пасти динозавров в чистом воздухе мезозойской эры, куда вы любите прогуливаться, то жестоко ошибаетесь. От сваленных у домов груд мусора, заполненной нечистотами канавы, залежалых овощей в тележках зеленщиков исходили ароматы, сливавшиеся в застойный смрад. Вдобавок окружавшие меня и жители

© Г Шах, 1992

столицы, и бедняки из предместий, пришедшие поглазеть на своего государя, не отличались пристрастием к личной гигиене. В те времена, как известно, даже знать не слишком часто пользовалась ванной.

Вы утрируете,— оскорбился за своих предков Лефер.— Это ведь Париж, а не какая-то захудалая деревушка.

В следующий раз, дорогой друг,— отпарировал Ольсен,— мы отправимся туда вместе, и вы сможете лично удостовериться, что такое большой город в начале XVII века, большой, по тогдашним понятиям, разумеется.

— Не перебивайте его,— шепнул на ухо Леферу Малинин,— не то мы так и не узнаем, что произошло.

— Я уж не говорю о мытарствах, которые мне пришлось претерпеть, пока его величество соизволил предстать перед своими подданными. Для начала меня обворовали, ловко обрезав привязанный к поясу увесистый кошелек с луидорами. Затем нахальная старуха, прорывавшаяся в передние ряды, обозвала меня длинным олухом, поскольку я заслонял ей сцену. Потом какой-то чванливый дворянин чуть не проткнул меня шпагой, решив, что я недостаточно проворно уступил ему дорогу. Наконец, я получил по шее от свирепого верзилы за то, что слишком нагло, по его мнению, разглядывал двух хорошеньких барышень, коих сей тип сопровождал.

И поделом вам,— вставил Кирога,— вы ведь знаете, что всякий флирт путешественникам во Времени категорически заказан.

Я всего лишь позволил себе полюбоваться женской красотой, как эстет.

— Знаем мы вас,— проворчал Кирога, но все на него зашикали, призывая не мешать рассказчику.

— Вот именно,— сказал довольный Ольсен,— не сбивайте меня с толку. Небольшая заставка к моему повествованию была необходима, чтобы вы ощутили обстановку. Перехожу теперь к описанию основных событий. Ровно в двенадцать часов дня послышались звуки труб, возвещавшие о приближении королевского кортежа. Толпа сгрудилась, задние подналегли на стоявших впереди, и бравые швейцарцы, установившие охранительный кордон, стали наводить порядок с помощью своих алебард. Укрощенные зрители отпрянули, и Генрих Наваррский со свитой получил возмож-

ность беспрепятственно проследовать к месту своей гибели.

Вы понимаете, что с того момента, как я оказался среди непосредственных свидетелей происшествия, я пытался угадать будущего убийцу. Располагая лишь самыми приблизительными сведениями о его облике — длинный, рыжий, я лихорадочно вглядывался в лица окружавших меня людей, рассчитывая обнаружить некие внешние проявления фанатической решимости, и пришел к выводу, что по такому признаку едва ли не каждый второй из присутствовавших там мужчин годился на роль Равальяка. К тому же у меня не было никакой уверенности, что покушение совершится именно здесь, а не в десяти — двадцати метрах в ту или иную сторону. Если так, пришлось бы распрощаться с надеждой запечатлеть это событие на пленку и поразить сегодня ваше воображение.

Ольсен опять постучал по странному предмету, и взгляды присутствующих невольно сошлись на таинственном продолговатом ящике из черного дерева. Все молча ожидали продолжения.

— Наконец в изгибе узкой улочки появилась процессия. Впереди во главе с лейтенантом, словно сошедшим с иллюстраций к романам Дюма, следовали конные гвардейцы. За ними не спеша двигалась карета, украшенная гербом Бурбонов — белой лилией. В карете находились три человека. Благодаря вставленным в глаза мощным бинокулярным линзам я уже издалека опознал в одном из них короля. Короткая, аккуратно подстриженная бородка, живые карие глаза, в меру горбатый гасконский нос, осанка гордая, но отнюдь не надменная. Сидя у правого борта возка, он то и дело приподнимался, чтобы помахать рукой парижанам, с энтузиазмом приветствовавшим своего повелителя.

Что касается двух других сидевших в карете людей, то я, естественно, не мог их опознать. Оставалось удовлетвориться тем, что, согласно историческим хроникам, тот, что постарше, был герцогом д'Эпернoном, а другой — маршалом де ла Форсом.

Всякий раз, когда король вставал с места, он оказывался в опасной близости от цепочки вытянувшихся вдоль улицы любопытных. Казалось, достаточно было сделать всего шаг и протянуть руку, чтобы достать но-

жом до груди Генриха. Вы не поверите, но я едва удержался, чтобы не крикнуть ему: «Берегись, Наварра!»

— За что были бы навсегда отстранены от путешествий в прошлое,— назидательно заметил Гринвуд. С тех пор как его избрали в состав группы научных экспертов при Глобальном общественном совете, он не уставал наставлять коллег по части соблюдения всяких правил.

— Как раз страх нарушить инструкцию и помог мне вовремя остановиться. Впрочем, Гринвуд, убежден, что даже такому законнику, как вы, нелегко было бы удержаться от столь понятного в данных обстоятельствах человеческого импульса.

Гринвуд презрительно фыркнул, давая понять, что считает себя выше подобных проявлений слабости духа.

— С каждой секундой напряжение во мне нарастало. У меня было такое ощущение, словно кинжал должен вонзиться в мою собственную грудь. Между тем экипаж медленно продвигался, из толпы раздавались выкрики «Да здравствует король!», Генрих помахивал рукой, гвардейцы мерно покачивались в седлах породистых лошадей, поскрипывали портупеи, позвякивали колокольчики на хомуте коренника, запряженного в карету, изредка и уже издалека доносился звук труб.

— Да вы поэт, голубчик,— сказал Малинин.

— Ничего подобного. Просто точное описание обстоятельств входит в профессиональную обязанность каждого уважающего свое дело историка. Из сказанного вы почувствовали, что во всем происходившем появилась какая-то усыпляющая монотонность. Меня резанула мысль, что как раз такой момент подходит для покушения. И в самом деле, в тот самый миг, когда карета поравнялась с вашим покорным слугой, человек в плаще, похожий на монаха, метнулся к королю и схватил его за руку. «Какая удача!» — пронеслось у меня в голове, и, честное слово, только потом я ощутил раскаяние, тогда же мной целиком владел охотничий инстинкт. Автоматическая камера, скрытая в пуговице моего кафтана, работала давно, теперь же незаметным движением я запустил и другую, вмонтированную в тулью затейливой, украшенной перьями шляпы, покрывавшей мою голову.

— Да говорите же о деле, Ивар! — возмутился Лефер.

— Потерпите,— ответил Ольсен.

Малинин подумал, что он намеренно отягощает рассказ подробностями, чтобы взбудоражить слушателей. Забавное тщеславие в таком интеллигентном человеке. Но странно, что этот прием срабатывает. Казалось бы, все прекрасно знают, что случилось, и тем не менее с захватывающим интересом ждут продолжения. Так бывает, когда повторно смотришь остросюжетный спектакль.

— Дальше,— сказал он,— все пошло, как говорится, не по сценарию. Гвардеец, охранявший короля, уже занес шпагу для удара, однако Генрих остановил его взглядом и спокойно принял из рук монаха какой-то сверток. Да-да, можете не сомневаться, это было всего лишь прошение, которое король небрежно сунул своему фавориту, и кортеж как ни в чем не бывало продолжал шествие.

Я протер глаза и для верности стукнул себя кулаком по лбу. Ничего не изменилось, карета уже отъехала довольно далеко, толпа начала распадаться, оживленно обмениваясь впечатлениями и судачa.

Опомнившись, я кинулся догонять процессию. Ведь в исторические хроники могла вкрасться ошибка, и нельзя исключать, что убийство совершилось двумя кварталами дальше. Настигнув карету на улице Сент-Оноре, я долго шел за ней, пока не почувствовал, что мой растрепанный, может быть, даже безумный вид начал возбуждать подозрение у лакеев, сидевших на запятках. Один из них что-то вполголоса буркнул солдату, тот развернул коня, и я счел за лучшее нырнуть в переулок. Не хватало еще, чтобы путешественник во Времени был схвачен за покушение на убийство государя. Вы представляете меня, Гринвуд, в роли узника Бастилии?

— Вполне,— ответил сухо Гринвуд.— Никого другого из присутствующих, кроме вас, Ивар.

— Благодарю, дружище. К счастью, у нас нет больше тюрем, не то вы бы меня наверняка засадили за какое-нибудь нарушение инструкции.

— У нас есть другие формы наказания,— обнадеживающе заметил Гринвуд.

— С полчаса,— продолжал Ольсен,— я бродил по парижским улочкам, не зная, что предпринять. Не возвращаться же назад ни с чем! Я бы, пожалуй, предпочел все-таки камеру пыток в той же Бастилии, чем презри-

тельную мину, которую скорчил бы Кирога, прослышав о моем фиаско.

Кирога ухмыльнулся.

— Итак, у меня созрело решение явиться к парижскому бальи и признаться в заговоре против священной особы Генриха IV, короля всех французов. Но...

— Не дурите, Ольсен,— вмешался с досадой Малинин,— в конце концов, вы уже должны были натешить свое тщеславие.

— От вас, маэстро психологии, я не ожидал такого скудоумия,— огрызнулся Ольсен.— Повторяю, решив идти с повинной...

— Послушайте, Ивар, если вам охота фиглярничать, то занимайтесь этим в одиночку! — в сердцах заявил Лефер. Он встал с места, и все другие собрались последовать его примеру.

— Постойте! — закричал Ольсен.— Я ведь не шучу!

— Вы что, всерьез хотите нас уверить...— начал Малинин, но Ольсен перебил его.

— Вот именно. У меня не было иного способа раздобыть какие-нибудь сведения о происшествии, вернее его непостижимом отсутствии. Разумеется, я не собирался оставлять свою голову на Гревской площади и был убежден, что мне удастся, перехитрив тамошнюю публику, добраться до своего хронолета, припрятанного в лесочке у монастыря бенедиктинцев. Риск, безусловно, был, и немалый. Но я счел, что неизмеримое превосходство в технических знаниях, не говоря уже о владении самыми современными методами гипноза, дает мне известное преимущество перед людьми того времени.

— Положим, Монтень...— начал было Лефер, но Ольсен не дал ему договорить.

— При чем тут Монтень, речь ведь идет не о светилах разума, а о напичканных предрассудками невежественных солдафонах средневековья. Впрочем, и Монтень, оставаясь, как всякий гений, эталоном мудрости на все времена, выглядел бы дикарем рядом с нашими детишками, которые получают в готовом для потребления виде всю информацию, накопленную человечеством. Короче, риск риском, но в тот момент меня ничто не могло остановить.

Все перевели дух, и даже скептик Кирога взглянул на своего бедового товарища с долей восхищения.

Ольсен улыбнулся.

— Однако мне пришла в голову мысль, что, прежде чем всходить на Голгофу, стоит расспросить какого-нибудь местного жителя. Побродив по городу, я присмотрелся к пожилому, толстенькому, прилично одетому человеку с добродушной улыбчивой физиономией. Он степенно прохаживался у небольшой лавчонки, в окнах которой были выставлены для обозрения банки и склянки всевозможных размеров с этикетками на латыни.

«Позвольте спросить вас кое о чем, милейший»,— обратился я к нему.

«К вашим услугам, сударь,— ответил он с готовностью.— Аптекарь Баланже».

«Весьма польщен. Вопрос у меня довольно деликатный».

«Не стесняйтесь, по роду своих занятий я привык исполнять поручения тонкого свойства. Сама герцогиня де Майен доверяла мне свои секреты!»

«Так скажите, какое сегодня число?»

«Как,— воскликнул он недоверчиво,— это и есть ваш деликатный вопрос?»

«Разумеется нет, я просто хотел узнать, не ожидали ли парижане сегодня некоего важного события?»

«Важное событие? Как же, как же... Вы, должно быть, имеете в виду коронацию ее величества в качестве регентши при малолетнем дофине. Она состоялась вчера, и, скажу я вам, это было зрелище!»

«Простите,— прервал я политические разглагольствования аптекаря,— речь ведь идет о событии не вчерашнего, а сегодняшнего дня».

«Сегодня, 14 мая, состоялся выезд доброго короля Генриха IV. Ранним утром графиня Шартр разрешилась от бремени, в чем ей помогал аптекарь Баланже. Вечером ожидается прибытие в Париж турецкого посла, везущего письмо и подарки султана его величеству. Распространяются также слухи, что из армии, действующей на Маасе, для доклада государю отозван главнокомандующий...»

Все это мой собеседник выпалил одним духом, явно довольный возможностью продемонстрировать свою осведомленность в государственных делах.

«Очень интересно,— заметил я.— Не упустили ли вы, однако, нечто такое, что должно было случиться сегодня, но не случилось?»

Аптекарь наморщил лоб.

«Да,— сказал он,— ведь нынче поутру должны были казнить Равальяка. Может быть, ваша милость имеет в виду это происшествие?»

Я побелел.

«Как Равальяка?!»

«А что, он ваш родственник? Я-то полагал, что сударь — англичанин». Он достал из обширного кармана флакон с нюхательной солью и собирался было сунуть мне его под нос, однако я решительно отказался от этого варварского заменителя валидола.

«О нет,— сказал я, овладев собой,— просто мне показалось, что я слышал его имя».

«Еще бы, вот уже третий день только и разговоров, что этот человек замышлял дурное против короля. Впрочем, казнь отложена дня на два-три, пока парижский палач оправится от простуды. До чего же, однако, подлы эти католики,— поделился своим возмущением Баланже, впервые обнаружив собственные религиозные пристрастия.— Ведь это уже восемнадцатый убийца, подсылаемый ими к государю!»

Тут вдруг мессир Баланже прикусил губу, глаза его округлились от страха. Я хотел было оглянуться, чтобы посмотреть, что привело в ужас словоохотливого аптекаря, но не успел: чьи-то мощные длани обхватили меня сзади и оторвали от земли, одновременно кто-то ловко заткнул мне рот кляпом и резким движением надвинул шляпу на глаза. Я был брошен в какой-то экипаж, лошади тронулись с места рысью, унося не в меру настырного путешественника во Времени навстречу его судьбе.

Даже высокопарная концовка не ослабила впечатления, произведенного этой частью рассказа. Все сидели молча, ожидая продолжения.

— Предлагаю небольшой перерыв,— коварно заявил Ольсен.— Я вас, должно быть, утомил, да и подкрепиться не мешает.

Все дружно запротестовали.

— Ваша воля,— сдался он.— Из подробного письменного отчета можно узнать все детали моего ареста и первого допроса, состоявшегося, кстати, в тот же день. Скажу лишь, что обращались со мной сносно и костей не ломали. С самого начала я отказался отвечать на все вопросы и потребовал личного свидания с королем, налегая на то, что имею для него сведения исключительного значения. Сам я, конечно, не сли-

шком верил, что мои настояния дойдут до царственных ушей, и поэтому начал исподволь обдумывать план побега. Но уже на другой день меня препроводили в Лувр, и я предстал перед Генрихом.

Он принял меня в небольшой комнате, окна которой выходили на набережную Сены. Обстановка была довольно скромной: широкий письменный стол, заваленный бумагами, этажерка с книгами, несколько кресел. Словом, все как в кабинете тогдашнего чиновника, если не считать небольшой картины в золоченой раме, изображающей выезд Дианы.

Отпустив стражу, Генрих довольно долго и бесцеремонно меня разглядывал. Потом, составив, видимо, свое впечатление, поинтересовался, кто я такой и почему добивался свидания с королем.

Я, как вы догадываетесь, начал отвечать согласно заготовленной на такой случай легенде: небогатый фландрский дворянин, д'Ивар, ненавижу поработителей своей родины испанцев, приехал в Париж, чтобы увидеть великого Генриха и служить ему чем могу, готов вступить в его доблестную армию и так далее. Он выслушал, не перебивая, и спросил: «Что за важную тайну, сударь, вы собирались мне открыть?»

«Я хотел предупредить вас, сир, о покушении Равальяка, но не смог пробиться к вам раньше. Слава Богу, вмешалось само провидение».

— Вы понимаете, друзья, теперь, когда убийство все равно не состоялось, мне ничего не стоило завоевать таким образом доверие короля. Надеюсь, Гринвуд, даже вы не примете это за нарушение запрета.

— Посмотрим, посмотрим,— уклончиво ответил эксперт.

«Ну а вы, мьсе д'Ивар, откуда узнали о готовящемся злодеянии?» — допытывался Генрих, и мне пришлось наплести с три короба о встреченных в харчевне подозрительных монахах и случайно подслушанном разговоре. Сочинял я вдохновенно и начал уже верить сам себе, когда вдруг на лице короля появилась откровенная усмешка. Я невольно стушевался, но после секундной паузы, вспомнив наставления Малинина, решил идти напролом.

— Да, я рекомендовал вам этот прием,— подтвердил психолог.

— Вот, вот. «Вы мне не верите, ваше величество?- спросил я.— Тогда испытайте меня огнем».

Ответ был совершенно неожиданным.

«Полноте, сударь, не морочьте мне голову, иначе я просто велю вас повесить. А теперь быстро выкладывайте, из какого вы Времени?»

Я не поверил своим ушам.

«Вы хотите спросить, откуда я родом, сир? Так я уже имел честь сообщить, что во Фландрии...»

«Перестаньте,— резко перебил он.— Я хочу знать, из какого века вы сюда явились».

Малинин, пораженный до крайности, поймал себя на том, что сидит с открытым ртом. Другие реагировали не менее приметно. Лефер схватился за голову, Гринвуд вскочил и нервно зашагал по комнате, а Кирога хладнокровно заявил:

— Этого не может быть.

— Ах, не может быть?! — воскликнул Ольсен.— Тогда смотрите.

Он подбежал к двери и нажал ряд кнопок на расположенной рядом панели. Стена, затянутая узорчатым обивочным материалом, начала белеть и превратилась в большой экран, по которому побежали кадры стереоленты.

2

На экране монарх и его гость вели беседу на старофранцузском языке, а ниже изображения поползли титры перевода.

Генрих *(настойчиво и с раздражением)*. Говорите же, я жду!

Ольсен *(после заметных колебаний)*. Вы правы, сир, я не ваш современник. Нас разделяют во времени восемь веков.

Генрих *(хладнокровно)*. Как раз половина срока, минувшего от Рождества Христова. Ну, зачем же вы к нам пожаловали?

Ольсен *(смущен, в данной ему инструкции явно не предусматривался подобный вопрос)*. Видите ли, ваше величество, людьми моей эпохи движет понятная любознательность. Мы стремимся глубже познать прошлое, находя в нем бесценное поучение для сердца и ума. Полагаю, это не чуждо и вашим современникам.

«Витиевато изъясняется, не может найти нужного тона»,— подумал Малинин.

Генрих *(кивая)*. В молодости я основательно штудировал записки Цезаря о галльской войне. Вероятно, почерпнутая там мудрость помогла мне утереть нос испанскому кузену. Хотя и он, должно быть, читал Цезаря.

Ольсен *(угодливо)*. Не каждому дано постигнуть мысль гения и извлечь из его деяний урок.

Генрих *(задумчиво)*. Я всегда советую своим маршалам читать Цезаря. Не ради прямого подражания — упаси Бог! Военное дело изрядно продвинулось вперед, особенно с тех пор, как появилась артиллерия. Но дух полководца, его воля — здесь всегда есть чему поучиться... *(После секундной паузы, улыбаясь.)* Впрочем, сам я ничему не научился, пока не набил себе шишек.

Ольсен. Иначе вы бы не стали великим королем.

Генрих. Да, разумеется. *(Подавшись вперед и уткнув свой палец в грудь Ольсену.)* Объясните, сударь, почему вы избрали для путешествия в прошлое именно 14 мая 1610 года? Какое поучение вы и ваши ученые коллеги хотели извлечь из того факта, что фанатик, подосланный испанцами, собирался заколоть короля Франции?

Ольсен *(в полном замешательстве)*. История полна неожиданностей, сир. Многие ее детали нам неизвестны, другие нуждаются в проверке. Кроме того, есть эффект присутствия. Одно дело описывать события с чужих слов и совсем другое — быть их свидетелем.

Генрих. Вы называете все причины, кроме главной.

Ольсен. Что государь имеет в виду?

Генрих. Вас прислали, чтобы предупредить меня о покушении Равальяка, не так ли?

Все замерли в ожидании ответа, и каждый напряженно соображал, каким бы он должен быть.

Генрих *(глядя на своего собеседника испытующе, с иронической усмешкой)*. Смелее. Надо ли стыдиться столь богоугодных побуждений? Хотя вы, должно быть, не верите в Бога...

Это прозвучало полуутверждением-полувопросом.

Ольсен *(дипломатично* . Мы не испытываем необходимости объяснять что-либо действием потусторонних сил.

Генрих *(кивая в знак согласия)*. Я тоже. Поэтому мне не составило большого труда сходить к обедне. Кстати, там у вас *(помахал рукой, указывая куда-то в небо)* знают этот эпизод?

Ольсен. Еще бы! Ваша фраза «Париж стоит мессы» стала крылатой.

Генрих. В каком смысле?

Ольсен. Как вам сказать... Ее употребляют, когда речь идет о циничном выборе. Ради большого куша стоит покривить душой или отречься от принципов... Приблизительно так.

Генрих *(недовольным тоном)*. Вот уж ерунда! Как раз в душе я ни от чего не отрекся. Принятие католичества было взвешенным политическим шагом. Монарх обязан держать своих подданных в страхе, может попирать их, как взбредет в голову, но он не имеет права не разделять их предрассудков.

Ольсен *(явно стремясь успокоить короля)*. Вы правы, сир. Здесь был просто тактический расчет. Каждый на вашем месте поступил бы так же.

Генрих. Вернемся, однако, к нашим баранам. Вы не ответили на мой вопрос.

Ольсен *(говорит четко и уверенно)*. Увы, ваше величество, не буду лукавить, передо мной не ставилась задача подать вам спасительный знак. Отнюдь не потому, что людям моей эпохи недостает человеколюбия. Просто мы не имеем права на милосердие. Подумайте сами, что случится, если путешественники во Времени начнут вмешиваться в ход событий, пытаясь исправить историю или придать ей более пристойный вид. Такое вмешательство могло бы привести к катастрофическим результатам.

Генрих *(явно не понимая, но не желая признаться)*. Вот как?

Ольсен. Представим для наглядности, что кому-то пришло в голову предупредить столь почитаемого вами Цезаря о готовящемся против него заговоре...

Генрих *(сухо)*. Не вижу ничего дурного, если б сей великий полководец прожил еще с десяток лет.

Ольсен *(невозмутимо)*. Я выбрал неудачный пример. Ну а если какой-нибудь сердобольный пришелец из будущего решил бы остеречь ваших предшественников, сир, сообщив Карлу IX и Генриху III, что первого собираются отравить, а второго зарезать?

Генрих. Да, я улавливаю, это помешало бы осуществиться воле Божьей.

Ольсен. У нас принято называть то, о чем вы говорите, естественным течением истории. Добавлю, что у меня есть и достаточно веская личная причина воздерживаться от всякого вмешательства в ваши дела. Согласно семейному преданию, одним из моих предков по материнской линии является не кто иной, как ваш министр финансов герцог Сюлли...

Генрих. Вы потомок моего Рони?

Ольсен. Похоже, что да. Так вот, перемены в вашей судьбе могли бы самым неожиданным образом повлиять на судьбу вашего фаворита и его близких. Вообразите, как это отразилось бы на потомках герцога Сюлли в тридцатом или сороковом колене! Вполне вероятно, что я вообще не появился бы на свет.

Генрих. Это было бы весьма прискорбно и для меня, сударь. Поскольку не смогла бы состояться наша интересная беседа.

Ольсен. Благодарю вас, ваше величество...

Ольсен. Благодарю вас, ваше величество...

Ольсен. Благодарю вас, ваше величество...

— Испорченная пластинка,— сказал Лефер, выражая вслух то, что пришло в голову каждому. Действительно, эффект был тот же самый, только странно было видеть его на экране. Повторяя свою фразу, Ольсен всякий раз подавался вперед и вежливо наклонял голову, а король Генрих делал ответный жест рукой, и оба они смахивали на трясущихся китайских истуканчиков. Ольсен уже поднялся с места и направился к панели, когда появились очередные кадры необыкновенной хроники.

Генрих. И все же осталась одна неясность. Вы начали с того, что хотели предупредить меня о злодейском намерении Равальяка. А в противоречие с этим утверждаете...

Ольсен *(перебивает)*. Да, сир, здесь есть противоречие. Дело в том, что я не имел права вмешиваться —

это, как я уже вам докладывал, категорически запрещено.

Генрих. Но вы только что нарушили запрет. *(Ольсен кивает.)* Не смогли противостоять своей человеческой натуре? *(Ольсен кивает.)* А чем это вам грозит, вас повесят или четвертуют?

Ольсен. Хуже, меня отстранят от путешествий во Времени. *(Генрих смотрит на него с явным недоумением.)* Однако откройте и вы мне свой секрет, сир. Как вы узнали, что я прибыл к вам из будущего?

Генрих. Очень просто: Вы здесь не первый.

Ольсен. Вы хотите сказать...

Генрих. Вот именно. Неделю назад ко мне заявился некий господин, предупредивший об очередном заговоре иезуитов. *(В сердцах.)* До сих пор не могу простить себе, что дозволил этим паршивцам вернуться во Францию! Кстати, этот человек не хитрил, как вы, мсье д'Ивар, а без всяких обиняков сообщил, что он из тридцатого столетия.

Среди зрителей произошло сильнейшее движение.

Ольсен. Тридцатого?

Генрих. Да, насколько я разбираюсь в арифметике, он на пять веков моложе вас.

Ольсен. И куда же девался наш с вами потомок?

Генрих. Испарился, как Асмодей.

Ольсен. Он не снабдил вас никакой другой информацией?

Генрих. Не понял.

Ольсен. Я хотел узнать, не рассказывал ли ваш спаситель о своем времени?

Генрих. Нет, он не пожелал задерживаться. А жаль, мне бы хотелось кое о чем его порасспросить.

Ольсен. Вас, видимо, интересует, как устроено наше общество?

Генрих. Отчасти и это. Признаюсь, однако, в первую очередь меня одолевает любопытство, что у вас думают о моем царствовании.

Ольсен *(подумав)*. Видите ли, ответить на этот вопрос непросто. О вас написана обширная литература.

Генрих *(удовлетворенно поглаживая бородку)*. Скажите главное.

Ольсен. Если в двух словах, то вас рассматривают

как решающее звено в утверждении французского абсолютизма.

Генрих *(с вытянувшейся физиономией)*. Какое звено?

Ольсен. Простите, это словечко из жаргона наших историков. Иначе говоря, считается, что при вас завершилось становление централизованного государства в форме абсолютной монархии.

Генрих. Только и всего? А что говорят о моих... э... похождениях?

Ольсен. Историки, склонные морализировать, осуждают вас, а литераторы зовут веселым королем. Есть даже популярная песенка:

Жил-был Анри Четвертый,
Веселый был король.
Вино любил до черта
И пьян бывал порой.
Боец он был отважный
И дрался, как петух,
А в схватке рукопашной
Один он стоил двух.
Еще любил он женщин,
Имел у них успех.
Победами увенчан,
Он был счастливей всех.

Генрих. Недурно. Давайте еще раз. *(Берет с этажерки футляр, достает из него лютню, наигрывает, нащупывая мотив, подает знак Ольсену, и они вдвоем поют песенку о веселом короле, потом смеются довольные друг другом.)*

Ольсен. Как прекрасно звучит эта лютня!

Генрих. Она ваша. *(Встает, подходит к Ольсену, кладет руку ему на плечо.)* А жаль, д'Ивар, что вы из другой эпохи. Мы с вами могли бы подружиться.

Ольсен. Не сомневаюсь, сир.

Король хлопает в ладоши. Дверь кабинета отворяется, входит слуга с подносом, ставит перед собеседниками кубки с вином и удаляется. Они молча чокаются, пьют

Генрих *(со вздохом)*. У меня так мало по-настоящему преданных друзей. Вокруг все больше льстецы и предатели... Ладно, расскажите о своем времени. Кто вами управляет?

Ольсен. Так называемый Глобальный обществен-

ный совет, сир. В его составе пятьсот самых мудрых и уважаемых людей, главным образом из числа ученых.

Генрих. Их назначет король?

Ольсен. О нет, они избираются населением. Королей у нас давно не существует.

Генрих *(в раздумье)*. Вот как! Значит, все-таки республиканцы своего добились! Что же, этот ваш правящий синклит устроен по типу римского сената или афинской агоры?

Ольсен. Ни то, ни другое.

Генрих. Ну, тогда это, очевидно, нечто вроде наших Генеральных штатов. В нем представлены все сословия?

Ольсен. У нас давно уже нет сословий, ваше величество.

Генрих. То есть как, у вас нет дворян, священнослужителей, простолюдинов? Каким же образом отбираются достойные?

Ольсен. По достоинствам уму, таланту, порядочности.

Генрих. Родовитость...

Ольсен *(входя в раж)*. При чем тут родовитость! Разве качества человека определяются его генеалогическим древом? Вы сами, сир, только что изволили признать, что среди ваших придворных тьма ничтожных, подлых людишек. А ведь многие из них наверняка ведут свое происхождение от знатных вельмож, состоявших еще в свите Меровингов и Капетингов.

— Молодчина! не удержался Лефер.

Генрих *(примирительно)*. Ну-ну, не стоит из-за этого пререкаться. У нас здесь свои порядки, у вас свои. В конце концов, никто не должен совать свой нос в чужие дела. Эпохи, подобно государствам, имеют право на неприкосновенность. Кстати, а как обстоят у вас дела с европейской политикой, по-прежнему ли Франция воюет с Испанией, а Испания с Англией?

Ольсен. О нет, сир Теперь в Европе, как и вообще на Земле, нет отдельных государств.

Генрих *(с грустью покачивая головой,* Значит, Франция лишилась независимости, а заодно основанных мною заморских колоний.

Ольсен. Франция ничего не лишилась, она приобрела весь мир, так же как мир приобрел Францию.

Генрих. Но если не стало государств, кто же и с кем у вас воюет?

Ольсен. Никто. С этим навсегда покончено.

Генрих. Стало быть, вечный мир стал явью! А ведь и я вслед за чешским королем Подебрадом носился одно время с таким проектом для Европы.

Ольсен. Эти попытки украшают вашу репутацию. Хотя, признайтесь, вы собирались навязать европейским странам мир при гегемонии Франции и своей лично.

Генрих. А вы хотели, чтобы гарантом европейского мира стал мой свирепый сосед Филипп II или этот недоносок Яков?.. А мог бы я совершить вместе с вами прогулку в будущее? Разумеется, не для того, чтобы остаться у вас навсегда. Упаси Бог!

Ольсен. Увы, сир. Мои современники могут путешествовать в будущее, и даже легче, чем в прошлое. Но такой возможности лишены те, кто жил до изобретения машины времени.

Генрих. Жаль. Я бы с удовольствием поглазел на ваш идеальный мир. Объясните только, чем вы там занимаетесь? Мы вот здесь заняты по преимуществу тем, что любим и воюем. Если вы покончили с войнами...

Ольсен. Значит, нам осталась только любовь. *(Смеются.)* Разве этого мало?

Генрих. Ну, надо же чем-то заполнять паузы.

Ольсен. Если говорить серьезно, то никогда еще жизнь людей не была в такой степени полнокровна и осмысленна. Канули в вечность голод, нищета, мор, пустыни и болота превращены в сады; изобилие пришло в каждое жилище.

Наши городские экипажи движутся моторами, мощность которых достигает сотен и тысяч лошадиных сил. Мы не только ездим, но и летаем, покрывая за считанные минуты расстояния от Парижа до Москвы, и за какие-нибудь полчаса — до Америки. И это еще не все Мы посещаем Луну, Марс, Венеру, другие планеты...

Ольсен замолк. Генрих пристально вглядывался в него, словно пытаясь найти в глазах путешественника во Времени образы той неведомой, непостижимой жизни, какая воцарилась на Земле спустя восемь веков. Потом отвел взгляд.

Генрих. Вам приходилось когда-нибудь скакать на лошадях?

Ольсен. Нет. А почему вы спрашиваете?

Генрих. Вы не представляете, д'Ивар, какое это наслаждение — мчаться во весь опор по лесным тропкам и проселкам, когда ветки хлещут по лицу, а ветер свистит в ушах. В такие мгновения чувствуешь себя не просто воином или охотником, но покорителем пространства.

Ольсен. Вы правы, сир, каждому времени — свое.

Генрих. И каждому — свое время. *(Чокаются, пьют.)* Надеюсь, вы еще пробудете в Париже? Я распоряжусь поселить вас в Фонтенбло.

Ольсен. Прошу прощения, государь, но моя миссия здесь исполнена, и я должен покинуть вас.

Генрих. Ну, на денек-другой задержаться не можете?

Ольсен. Нет, сир. Дело в том, что в моем экипаже кончается зарядка, и, если я не уеду сейчас, я не уеду никогда.

Генрих. Вот как? Где же этот ваш экипаж?

Ольсен. Неподалеку.

Генрих. Вы мне не доверяете? *(Ольсен молчит.)* Что ж, правильно делаете, я и сам на вашем месте поступил бы так же. Ну хорошо, тогда исполните на прощание одну мою просьбу.

Ольсен. Если это в моих возможностях.

Генрих. Это в ваших возможностях. Раскройте мне мою судьбу.

Ольсен. Я не сомневался, что вы зададите мне этот вопрос. И очень огорчен, что не могу на него ответить.

Генрих. Все тот же запрет?

Ольсен. Нет, я просто не знаю.

Генрих. Может быть, вы щадите меня? Тогда не стесняйтесь, я фаталист. Мать Жанна с детства меня наставляла: чему быть, того не миновать.

Ольсен. Но я в самом деле ничего не могу вам сказать.

Генрих. Полноте, мсье.

Ольсен. Судите сами, ваше величество, я знал, что вам угрожает гибель от руки Равальяка. Теперь этот вариант отпал.

Генрих. Допустим. Но рано или поздно мне все

равно предстоит переселиться к праотцам. И вы в своем двадцать пятом веке не можете не знать, как это случилось.

Ольсен. Мои современники, безусловно, об этом знают. Однако вы забываете, что я-то был с вами и, пока не вернусь назад в свое время, поневоле останусь в неведении о вашей дальнейшей судьбе.

Генрих. Заколдованный круг. Это смахивает на ребус. Что было раньше, яйцо или курица? Но сдается мне, что вам известна разгадка. *(Хлопает в ладоши. Входит бравый гвардеец. Король подзывает его ближе и шепчет что-то на ухо.)* Что же, настала пора прощаться, д'Ивар, хотя и надеюсь, что мы с вами еще увидимся. Мой офицер вас проводит.

Ольсен *(официально)*. Благодарю за аудиенцию, государь. Желаю вам удачи.

В последний раз камера показала крупным планом лицо Генриха. В прищуренных черных глазах, в уголках губ притаилась хитрая усмешка.

3

Ольсен со своим спутником идут бесконечными галереями Лувра. Наконец офицер отворяет дверь и жестом приглашает Ольсена войти, но тот застывает на пороге.

«Куда вы меня привели, сударь, король поручил вам вывести меня из Лувра».

«Король оказывает вам милость, мсье д'Ивар. Мне поручено завтра утром доставить вас в Фонтенбло. А сегодня вы можете удобно устроиться в этой гостиной. Из кухни его величества сюда будет доставлен отменный ужин. Чтобы вы не скучали, я готов составить вам компанию».

«Премного обязан государю,— говорит Ольсен,— но не смею злоупотреблять его гостеприимством».

«И не думайте отказываться»,— возражает офицер.

«Значит ли это, что я арестован?»— спрашивает Ольсен.

«Упаси Бог!»— восклицает офицер с жаром и слегка подталкивает своего нового друга, как он его называет, в спину. Тому не остается ничего другого, как войти в комнату. Дверь за ними закрывается.

Экран погас, стена приняла свое прежнее обличье.

– В чем дело,— спросил Лефер,— у вас кончилась пленка?

— Нет, конечно. Но все, что случилось дальше, можно было снять только со стороны. Вам придется довольствоваться моим рассказом.

Когда мы вошли, меня ожидал сюрприз: в стороне от дверей за круглым столом играли в кости два гвардейца. Итак, я взят под надежную охрану, а природное мягкосердие не помешает его христианнейшему величеству применить пытки, чтобы выжать из меня эту тайну

Решив, что мой главный козырь — внезапность, я подставил офицеру подножку и сильно толкнул его в грудь. Он упал и покатился по полу, гневно чертыхаясь. Я кинулся к двери, рассчитывая выскочить наружу и скрыться в наступивших сумерках. О ужас, дверь была заперта снаружи! Ко мне уже подбегали с обнаженными шпагами гвардейцы, и не оставалось ничего иного, как принять бой.

Выхватив свою шпагу из ножен, я стал размахивать ею, как дубинкой. Это на мгновение привело моих противников в замешательство, они никогда, разумеется, не видывали подобной манеры фехтования. Перекинувшись репликами, смысла которых я не уловил, гвардейцы стали теснить меня с двух сторон. Полагаю, у них был приказ беречь мою жизнь, и убивать меня они не собирались, разве что чувствительно царапнуть. К нам уже приближался офицер, держась одной рукой за голову: при падении он стукнулся о каминную решетку.

Сорвав плащ, я швырнул его на голову одного из нападавших и на секунду обезопасил таким образом свой тыл. Затем я сложился пополам и метнулся к другому, сильно ударив его головой в живот. Тот упал. Теперь предстояло сразиться с офицером. Этот малый явно был готов наплевать на приказ монарха и выпустить из меня кишки, чего бы потом это ему ни стоило.

Увернувшись от грозившего мне удара, я приемом каратэ ударил лейтенанта по шее, от чего он уже не смог оправиться. Последний мой противник, выбравшись наконец из плаща, с ужасом наблюдал эту сцену и до того перепугался, что кинулся к двери и стал барабанить в нее, призывая на помощь.

— Вы рассказываете с таким сладострастием, Оль-

сен, будто получали удовольствие, расправляясь с этими несчастными,— сказал Малинин.

— Это в нем заговорила кровь его воинственных предков,— встал на защиту друга Лефер.

— Заверяю вас, что действовал строго в пределах необходимой самообороны,— сказал Ольсен, кинув опасливый взгляд на Гринвуда.— В тот самый момент, когда за мной осталось поле боя, дверь распахнулась, и в комнату ворвалась куча народа. Если это была не вся французская армия, то по крайней мере добрая ее половина. Вежливо пропустив отряд, я выскочил из-за дверей, выбежал наружу и запер своих преследователей. До сих пор ума не приложу, как мне удалось провести их таким примитивным образом.

— Д'Артаньян на вас еще не родился! — сострил Лефер.

— Конечно, им не стоило большого труда выломать дверь, и по тому, с каким остервенением они взялись за это дело, я не сомневался, что имею в запасе не более двух-трех минут. Кинувшись бежать вдоль галереи, едва освещаемой тусклым светом масляных фонарей, я достиг круглой башенки, откуда витая мраморная лестница выводила к наружной двери. Мне почему-то казалось, что в этом месте не должно быть сильного караула. Но, глянув вниз, я понял, что ошибся: весь двор был заполнен швейцарцами.

Что делать? Секунды промедления едва не стоили мне головы. Услышав нарастающий позади шум, я оглянулся и в неясном свете факелов увидел искаженные яростью лица приближающихся гвардейцев.

У меня оставалось несколько мгновений, чтобы выхватить шашку с веселящим газом и швырнуть ее им под ноги. Действие этого оружия мгновенно. Под сводами древнего замка разразился громовой хохот, достойный Гаргантюа и Пантагрюэля. Славные воины короля Генриха закатывались в истерике и один за другим в изнеможении опускались на каменный пол.

Я еще раз посмотрел вниз. Там царила полная кутерьма. По двору в разных направлениях бегали солдаты, не знавшие, что им делать: то ли хватать заговорщиков внутри Лувра, то ли оборонять его от внезапного нападения извне.

Вдруг все голоса перекрыл истошный вопль: «Вот он, дьявол, хватайте его!» Рослый швейцарец, сидевший на лошади, приподнялся в седле, чтобы наглядней

показать своим товарищам, где противник. Залюбовавшись этим закованным в латы живописным воякой, я не сразу сообразил, что он указывает на меня. А ведь и в самом деле вид у меня был устрашающий. Стоя в клубах веселящего газа, частицы которого, пропитанные лунным светом, создавали подобие переливающегося белого шлейфа, и, главное, с диковинной маской на лице, я должен был показаться чудовищем из другого мира. И надо отдать должное мужеству швейцарца· он не колеблясь пришпорил коня, намереваясь въехать по лестнице на галерею, чтобы атаковать дьявола.

Для спасения у меня оставалась одна стихия — воздух. Я молниеносно скинул с себя кафтан, достал из висевшей у пояса сумки аэропакет и начал приводить его в рабочее состояние. Вы знаете, что в обычных условиях для этого нужно две минуты. За время тренировок я научился собирать его за полторы. На сей раз я был готов через сорок секунд реальная опасность включает такие ресурсы организма, о каких мы знать не знаем. И все же проклятый швейцарец едва не успел помешать мне. Сопровождаемый разъяренной орущей толпой, он буквально взлетел на своем коне на галерею и успел ухватить меня за ноги, когда я уже, взобравшись на балюстраду, готов был воспарить над Лувром.

Конечно, я попытался освободиться, дернувшись всем телом, но он вцепился в меня мертвой хваткой, да и человек этот был недюжинной силы. Самое скверное состояло в том, что я не мог пустить в ход руки, поскольку к ним уже были пристегнуты крылья. А что, если взлететь с этим живым грузом, на высоте он сам поневоле отвалился? Но мощность аэропакета рассчитана максимум на сто килограммов, а во мне одном восемьдесят.

К счастью, инстинкт следует впереди рассудка. Я распахнул руки-крылья еще до того, как поддался панике, и это меня спасло.

Вы поднялись вдвоем? — удивился Лефер.

Нет, конечно, но я упустил из виду психологический эффект. Вы не представляете, друзья, какой невообразимый ужас появился на лице моего преследователя, когда он увидел над собой распахнутые серебристые, словно у архангела, крылья. Он весь обмяк, руки его бессильно опустились и повисли как петли, а голова склонилась к луке седла. «То ли обморок, то ли благоговейная молитва», — подумал я, взмывая в небо

Затем все рухнули на колени, воздымая руки и громкими криками благодаря Господа за явленное им знамение. Впрочем, это было уже мимолетное впечатление, потому что аппарат быстро набрал заданную высоту. Лувр уменьшился до размеров игрушечного домика, а фигурки людей — до едва различимых букашек. Потом на темном фоне небосклона мелькнула раздвоенная, словно катамаран, берущий старт к звездам, громада Нотр-Дама. Сориентировавшись по собору, я скорректировал курс и через несколько минут с идеальной точностью приземлился в кустах терновника у монастырской стены, где меня ждал хронолет.

Ольсен с облегчением вздохнул, как человек, отчитавшийся за командировку.

— А теперь, друзья,— сказал он,— я удовлетворю ваше любопытство и потешу слух.

Ольсен раскрыл лежавший на столе таинственный ящик и извлек из него старинный инструмент.

— Лютня, подаренная его величеством Генрихом IV, королем Франции, путешественнику во Времени Ивару Ольсену, профессору истории Вселенского Университета.— Он ударил по струнам и запел. Все подхватили:

Когда же смерть-старуха
За ним пришла с клюкой,
Ее ударил в ухо
Он рыцарской рукой.
Но смерть, полна коварства,
Его подстерегла
И нанесла удар свой
Ему из-за угла...

— Эффектная концовка,— сказал Гринвуд.— Вы большой мастер рассказывать. Притом какое совпадение! Можно подумать, поэт догадывался, что люди из будущего своевременно предупредят веселого Анри, чтобы он дал Равальяку в ухо. Все-таки имеем мы право узнать, когда и каким образом старуха подстерегла его величество?

— Не понимаю вашего сарказма,— сказал Ольсен, бледнея.

Не обижайтесь, Ивар,— мягко вставил Кирога, но в самом деле неясно, чем все это кончилось.

Вы же слышали мой ответ Генриху. Я действи-

тельно не знаю, потому что прибыл из XVII века и не успел заглянуть в энциклопедию.

— Вы это всерьез? — спросил Лефер.

Малинин дернул его за рукав.

— Конечно, всерьез,— ответил он за Ольсена.— Ивар прав, это мы должны сообщить ему, чем все дело кончилось. Можете не тратить время на энциклопедию, Ивар. Король Генрих IV был убит Равальяком 14 мая 1610 года.

Ольсен кивнул и стал вдруг усиленно растирать пальцами лоб. Малинин, встревоженный, подошел к нему.

— Что с вами? — Он достал миниатюрный карманный анализатор и приложил его к ладони Ольсена.— Видите, пульс вялый, давление немного ниже вашей нормы. Вам надо прилечь.

— Пожалуй,— согласился Ольсен.

— Ступайте, голубчик. После таких подвигов и самому Геркулесу понадобился бы отдых.

— Скорее меня утомил рассказ. Когда все переживаешь заново...

Он не договорил и, сделав прощальный жест, ушел.

— Что-нибудь серьезное, доктор? — спросил Лефер.

— Не думаю. Обычное нервное истощение. Было бы мудрено, если б обошлось без этого. Помните, Кирога, как вы себя чувствовали, вернувшись из такого же путешествия?

— Еще бы. Теперь, когда этот задира ушел, признаюсь, что ему досталось куда больше.— Кирога улыбнулся.— Лично я предпочитаю иметь дело с игуанодонами.

Гринвуд шелкнул пальцами, требуя внимания.

— Завтра утром от нас ждут отчета,— сказал он официально.— Будем прерываться или обменяемся впечатлениями по свежим следам?

— Я бы не прочь пообедать,— заявил Лефер.

— Потерпите, ничего с вами не случится,— возразил Гринвуд.

— Велите хоть принести бутербродов и пива.

Они молча ждали, пока расторопные роботы подкатили к каждому поднос на колесиках, уставленный едой.

— Если говорить о технике...— начал Гринвуд.

— А тут и говорить нечего,— перебил его Лефер.— Все сработало безупречно.

— Нам следует подумать, достаточно ли у хрононавта средств защиты. По рассказу Ольсена можно судить, что из некоторых опасных ситуаций он выбрался чудом.

— Он не мог не выбраться.

— Чего спорить, Лефер! — рассердился Кирога.— Кому помешает, если, скажем, ваш аэропакет можно будет разобрать на полминуты быстрее? Ведь экстремальные условия возникают у кого угодно, хотя бы у тех же космонавтов. Вообразите, что работаете на них.

— Давайте не пререкаться,— призвал Малинин.

— Мне кажется, надо иметь в виду следующее,— назидательно заметил Гринвуд.— Мы обязаны одинаково позаботиться как о сохранении жизни путешественников во Времени, так и о неприкосновенности исторической среды. Это аксиома. И обе задачи имеют одно решение. Чем лучше обеспечена безопасность хрононавта, тем меньше у него необходимости пускать в дело всевозможные защитные средства, если и не разрушающие среду, то оставляющие на ней чувствительные отметины. Последствия подобной беспечности могут сказаться не сразу, но, накапливаясь мало-помалу, они способны в конце концов вызвать обвал, своего рода историоспазм, по типу экоспазма, угрожавшего человечеству в конце XX века. Кроме того, мы должны очистить историю от домыслов, а не добавлять к ним новые сказочки. Мы с вами обязаны принять все сообщение Ольсена за рабочую гипотезу и критически оценить каждый бит его информации...

— Так бы сразу и сказали,— вставил Малинин.

— Критически оценить каждый бит его информации,— повторил Гринвуд, не позволяя отобрать у себя трибуну.— При таком подходе мы сталкиваемся со множеством очевидных несуразностей и просто темных мест. Их не перечесть. Почему Ольсен вспомнил о камере только тогда, когда появилась королевская процессия, разве средневековый Париж сам по себе не заслуживает запечатления на пленке? Еще более странно другое: почему он показал нам только свою беседу с королем? Кстати, во время короткой паузы, пока вы занимались чаепитием, я спросил Ивара, куда подевалась кинохроника кортежа на улице де ла Ферронри.

Он ответил невразумительно: пленка-де оказалась некачественной. Где это слыхано!

— Да,— подхватил Кирога,— для меня тоже многое осталось неясным. Ну, скажите на милость, откуда взялась старинная лютня? Какая-то мистика!

— Непостижимо! — присоединился к нему Лефер.

Малинин тоже было собрался поддакнуть, но, заметив хитрую улыбку на губах Гринвуда, решил подождать. И не ошибся.

— Эх,— сказал Гринвуд, если б все загадки так просто отгадывались! Эта прекрасная лютня XV века взята из Луврского музея при поручительстве Глобального совета и под личную ответственность известного профессора Гринвуда.

— Так это ваша проделка?! — воскликнул Лефер.

— Что значит проделка? — обиделся Гринвуд.— Разве неясно, что такая неповторимая деталь может сыграть решающую роль в воссоздании реальной исторической атмосферы!

— Так-то так, но ведь ее придется возвращать.

— Ну и что? — спросил Гринвуд, с недоумением глядя на Малинина.

— Это может серьезно травмировать Ольсена.

— Чепуха, он не кисейная барышня, посмеется вместе с нами и забудет.

— К слову,— сказал Кирога,— когда вы думаете раскрыть ему глаза?

— Не раньше, чем через месяц,— ответил Малинин.— Надо дать время, чтобы впечатления ослабли, потускнели, тогда с ними легче расставаться. Помните, Кирога, когда мы рассказали вам самому?

— Через неделю.

— Вот именно. И поторопились. Вы никак не хотели поверить. Легко понять: чуть ли не гладили руками своих возлюбленных рептилий, и вдруг их отбирают. Обретенное сокровище на глазах превращается в иллюзию, в дым — есть от чего расстроиться.

— Ну хорошо,— вернул их к делу Гринвуд,— с лютней все ясно, но как вы объясните самую вопиющую несуразность в рассказе Ольсена.

— Хрононавта из XXX века?

Гринвуд кивнул.

— Теоретически,— начал Лефер,— это вполне допустимое предположение...

— Ах, оставьте, вы прекрасно знаете, что сейчас

речь не об этом. Обратите внимание, что довольно правдоподобное в других отношениях поведение Ольсена становится запутанным и противоречивым, как только дело касается покушения. Сначала он признается Генриху, что хотел предостеречь его, потом заявляет ему, что всякое вмешательство в исторический процесс путешественникам во Времени строго запрещено. Каков в этом смысл? Если уж он солгал раз, чтобы войти в доверие к своему, скажем так, объекту, то зачем было через несколько минут откровенничать? За всем этим определенно что-то кроется.

— Может быть, вы преувеличиваете? — сказал Кирога.— В конце концов подобные эксперименты не обходятся без темных мест, как вы изволили выразиться. Вспомните, сколько их было в моем рассказе.

— Нет, Гринвуд прав, в этих странностях есть своя логика, и мне кажется, я ее угадываю.

— Выкладывайте же! — потребовал нетерпеливый Лефер.

— Видите ли, друзья, как врач, я лучше вас знаю Ольсена, его человеческие качества. Этот человек органически не способен ни на предательство, ни на равнодушие. Примите во внимание и другую его черту: молниеносную, я бы сказал, уникальную реакцию, причем не только физическую. Раз уж об этом зашла речь, не соглашусь с вами, Лефер, убежден, что Ольсен в чрезвычайной обстановке действительно способен привести в действие ваш аэропакет за 40 секунд... Да, так примите во внимание не только физическую, но также интеллектуальную реакцию.

— Не понимаю,— начал Гринвуд,— какое это имеет отношение...

— Самое прямое,— прервал его Малинин.— Помните, Ольсен сказал, что едва удержался, чтобы не крикнуть: «Берегись, Наварра!»

— Конечно.

— Что вы ему на это сказали?

— Что за это ему пришлось бы навсегда распроститься с путешествиями во Времени.

— А что сказал затем Ольсен?

— Что страх перед инструкцией помог ему вовремя остановиться,— подсказал Лефер.

— Так вот, он слукавил.

— То есть?

Ольсен действительно крикнул: «Берегись, На-

варра!» Отсюда и все странности в его дальнейшем повествовании. Он все время пытается как-то примирить две исключающие друг друга версии. Одна из них продиктована инстинктивным стремлением скрыть факт нарушения инструкции. А другая — логикой его беседы с Генрихом, которую Ольсен воспринимает как вполне реальную. В этом все дело. Усматривая нелепости в его рассказе, мы просто забываем, что он строится на другой исходной предпосылке.

Гринвуд хлопнул себя по лбу.

— Ай да Ивар, ай да обманщик! — сказал Лефер.— Теперь я понял, почему вы дернули меня за рукав.

Кирога недоверчиво покачал головой.

— А этот наш потомок?

— Он его выдумал,— объяснил Лефер.

— Но ведь о человеке из XXX столетия сообщил сам Генрих,— не унимался Кирога.

Трое остальных выразительно на него посмотрели.

– Ах да,— прозрел Кирога.

- Ваша гипотеза,— обратился Гринвуд к Малинину,— объясняет и загадку с исчезнувшей пленкой. Ольсен ее припрятал, если уже не уничтожил.

— Не уверен. Возможно, она и в самом деле оказалась испорченной.

- Не покрывайте его,— заявил Гринвуд желчно.

Малинин с досадой махнул рукой. Гринвуд положил руку ему на плечо:

Не огорчайтесь, док. Кто знает, может быть, даже такой законник, как я, не удержался бы крикнуть: «Берегись, Наварра!»

5

Из донесения Глобальному совету:

«В соответствии с поручением экспертная группа провела анализ данных хронологического эксперимента „Генрих IV“ и докладывает о его результатах.

1. Цель

Перед участниками эксперимента ставилась цель ответить на два вопроса.

Первый: возможно ли получение полезной исторической информации посредством гено-гипнотического путешествия во Времени?

Второй: какова вероятность стерильного (то есть исключающего возникновение новых причинно-след-

ственных связей) контакта с предками? С ответом на этот вопрос связывалось принятие окончательного решения по проекту „Хронолет".

Кроме того, имелось в виду довести до оптимальных стандартов техническую экипировку путешественника во Времени и отработать использование защитных устройств, приборов записи и хранения информации.

2. Хрононавт

После длительных и тщательных испытаний выбор был остановлен на Иваре Ольсене.

Краткие биографические сведения: родился в 2416 г. По материнской линии является прямым потомком фаворита Генриха IV, Рони, известного под именем герцога Сюлли. По отцовской линии — норвежского происхождения. В 2438 г. окончил исторический факультет Сорбонны и параллельно универсальные технические курсы. Трудовую деятельность начал учителем средней школы в Гренландии. В 2442—2446 гг.— младший научный сотрудник Московского института средних веков. В 2446—2450 гг.— участник комплексной этноархеологической экспедиции на Марсе. В 2450—2453 гг.— профессор Вселенского Университета. В 2453 г. зачислен в отряд хрононавтов.

И. Ольсен — автор монографий „Генрих IV и его эпоха", „Французский абсолютизм", ряда других научных работ.

В браке состоял дважды. В настоящее время холост. Бездетен.

Всесторонне развит. Коэффициенты физических и интеллектуальных способностей приближаются к абсолютным.

Здоров, энергичен, спортивен. Технические навыки 1-го разряда. Управляет всеми транспортными средствами, прошел элементарный курс космонавигации, знаком с телепатическими системами.

Обладает отличными профессиональными знаниями и широким культурным кругозором. Увлечения: живопись, поэзия, футбол.

Добр и отзывчив. Упорен в достижении цели, гибок до ловкости. Честолюбие, граничащее с тщеславием. Обходителен, общителен, обаятелен. Щедр до расточительности Склонен к юмору. Иногда бывает упрям и задирист Обидчив и отходчив.

3. Предшественник

Эксперименту „Генрих IV" предшествовал эксперимент „Мезозойская эра", осуществленный тремя годами ранее с участием известного зоолога Акиро Кироги.

Опыт, приобретенный первопроходцем Хроноса, существенно облегчил подготовку путешествия Ольсена. Вместе с тем в некоторых отношениях ему также пришлось выполнять миссию пионера. Принципиальное различие двух экспериментов заключается в том, что первый был просто гипнотическим, а второй — гено-гипнотическим. В случае с Кирогой расчет строился на искусственной стимуляции воображения, в фундамент которого положена сумма накопленных человечеством специальных знаний. Иначе говоря, здесь была сделана попытка привести в действие мощные резервы мозга, имеющиеся у каждого человека как представителя вида.

В случае же с Ольсеном надежды возлагались на возбуждение родовой памяти, связанной с происхождением хрононавта.

Кирога был погружен в гипнотическое состояние и „доставлен" приблизительно на „участок" 68-го миллиона лет до нашей эры. Он привез оттуда любопытные наблюдения, зарисовки флоры и фауны, в том числе некоторых рептилий из семейства динозавров, находившихся в ту пору на стадии вымирания.

Следует подчеркнуть, что техническое обеспечение путешествия Кироги значительно уступало эксперименту с участием Ольсена. Самым важным новшеством явилась кинокамера, способная записывать на цветную пленку со слуховым сопровождением образы, возникающие в сознании хрононавта.

4. Подготовка

На подготовительной стадии предстояло решить сложную задачу интенсивного погружения хрононавта в историческую среду. При этом необходимо было добиться такого положения, чтобы Ольсен почувствовал себя современником Генриха, не теряя духовной связи со своей эпохой.

Было решено отказаться от полной многомесячной изоляции, какой в свое время подвергался Кирога. Ольсена держали в курсе основных событий общественной и культурной жизни. В остальном, однако, его время целиком было занято изучением исторического материала — главным образом документального и частично художественного Особое внимание уделялось нако-

плению сведений обо всем, что мог и должен был знать французский дворянин той эпохи — от своего генеалогического древа до вечерней молитвы. При этом ставилась задача в меру возможностей повторить модель личности предка Ольсена — герцога Сюлли.

За важное условие успеха эксперимента принималась имитация реальности путешествия во Времени Ольсену, как до него Кироге, дали понять, что хронолет проходит испытания и до их окончания решено сохранять секретность, чтобы не травмировать широкую общественность. Он был ознакомлен с ложной инструкцией, достаточно причудливой, чтобы при сравнительно высоком уровне его технической компетентности не вызвать подозрений, обучен пользованию приборами на специально созданном для этой цели щитке управления.

Кроме того, Ольсен прошел полный курс тренировок со средствами защиты и другими элементами снаряжения хрононавта (за редкими исключениями — заимствованы из экипировки космонавтов). Особое значение имели занятия с кинокамерой единственным аппаратом из всего снаряжения, который должен был быть использован в путешествии. Ольсен практиковался с ней, как с камерой обычного типа Между тем она рассчитана на улавливание биотоков мозга, находящегося в гипнотическом состоянии, и их преобразование в зрительные образы. Для вящей убедительности в пуговицу кафтана хрононавта была вмонтирована другая камера, которая дублировала работу первой.

5. Путешествие

Решающим этапом эксперимента явилось приведение Ольсена в гипнотическое состояние и направленное воздействие на его мозг с целью активизации воображения и наследственной памяти. Это было достигнуто при помощи аппарата „Морфохрон-2". По сравнению с первой моделью, использованной при „запуске" в прошлое Кироги, вторая существенно усовершенствована. В нее, в частности, введен дополнительный блок, позволяющий стимулировать в комплексе все факторы, участвующие в хранении памяти.

После того как хрононавт впал в состояние гипноза, в его сознание были введены кадры старта хронолета, записанные ранее во время тренировок. Вслед за этим передавалась программа, составленная из видовых

сцен Парижа XVII века в районе намеченного „приземления". Эти образы, воспринимавшиеся Ольсеном как реальность, призваны были помочь ему на первых стадиях эксперимента, так сказать, навести его на след. В дальнейшем всякое внешнее воздействие было прекращено, путешествие продолжалось под влиянием стимулированного воображения и разбуженной „памяти предков".

С физиологической стороны эксперимент проходил нормально, никаких нарушений функций организма не наблюдалось. Единственное исключение составляет своеобразное „заклинивание" на фразе „Благодарю вас, ваше величество"; его можно объяснить тем, что в этот момент подсознание Ольсена было парализовано сильным чувством страха перед непредвиденными последствиями его действий в ходе путешествия.

Ольсен вполне здоров, но нервные перегрузки привели к переутомлению, и он нуждается в отдыхе.

6. Результаты и выводы

Описание путешествия прилагается. Оно состоит из двух частей: а) беседы с Генрихом IV, записанной на кинопленку; б) краткого рассказа хрононавта о событиях, предшествовавших беседе и последовавших за ней. Согласно его заявлению эти эпизоды не удалось запечатлеть на пленку из-за ее плохого качества. Вопрос нуждается в дополнительном изучении.

Оценивая итоги эксперимента, можно считать его удавшимся лишь частично. Ольсен, пользуясь привычным языком, привез дополнительную информацию к психологическому портрету одного из видных исторических персонажей. Дело специалистов — определить меру ее полезности.

Вместе с тем, просматривая кинозапись беседы Ольсена с Генрихом IV, нетрудно заметить, что хрононавт не стремился извлечь из ситуации максимум сведений, которые позволили бы обновить наши представления об исследуемой эпохе. В манере его действий преобладает авантюрный элемент. Весьма вероятно, здесь сказались просчеты в подготовке хрононавта, недостаточная мера его погружения в среду. Но нельзя исключать и того, что мы столкнулись с невидимым порогом объективизации: личность не способна раздвоиться настолько, чтобы вторая, искусственная ее ипостась уравнялась с первой, естественной. Так ли это — могут показать лишь повторные опыты. Следующие этапы

поиска должны быть, очевидно, связаны с групповым анализом прошлого, при котором один из путешественников во Времени полностью погружался бы в среду, беря на себя роль исторического персонажа, а другой вел с ним диалог от имени будущего.

Таким образом, итоги эксперимента позволяют считать гено-гипнотизм перспективным направлением исследования прошлого.

Анализ доставленного Ольсеном текста выявляет серьезную передержку. Мы имеем в виду заявление Генриха, будто некий посланец XXX столетия предупредил его о покушении Равальяка. Само собой разумеется, что это — плод фантазии хрононавта. И не может быть никаких сомнений, что выдумка понадобилась ему, чтобы отвести подозрения от самого себя. Иначе говоря, переживая в сознании эпизод убийства, он пытался ему помешать.

Представляется, что этот факт должен быть со всей серьезностью принят во внимание при решении вопроса о реализации проекта „Хронолет". (Мы говорим о психологической стороне дела, не затрагивая других аспектов — технической осуществимости, издержек и т. д.) Он свидетельствует, что современный человек по самой своей натуре, образу мышления и нравственному укладу не в состоянии удержаться от вмешательства в исторический процесс, невзирая на опасность вызвать лавинообразные изменения, угрожающие его собственной жизни и благополучию.

Конечно, можно возразить, что нельзя судить по одному человеку обо всем человечестве. Это справедливо. Вероятно, можно найти людей, и немало, которые не дрогнут в экстремальных обстоятельствах, сумеют воздержаться от вмешательства, когда на их глазах будут сжигать Орлеанскую деву, Джордано Бруно или Сервета, отсекать голову Пугачеву или Робеспьеру Но мы сомневаемся, что люди этого сорта достойны представлять будущее в прошлом.

Таким образом, если даже создание Машины времени для исследования прошлого осуществимо, это направление следует навсегда закрыть, как закрыты ныне любые опыты, угрожающие физическому, психическому и моральному здоровью личности.

Гринвуд, Лефер, Кирога, Малинин»
20 июня 2456 года

* * *

Малинин и Ольсен лениво перекидывались словами, сидя в шезлонгах на пляже. Отдыхающих в этот час почти не было. Солнце грело милосердно, море едва шевелилось.

— Немного пришли в себя, Ивар?— спросил Малинин.

Угу.

— Честно говоря, вы перенесли это спокойней, чем я ожидал.

— Подсознательно я до конца сомневался в реальности путешествия. Подумайте сами, если б вы действительно прокатились в гости, скажем, к Петру Первому, разве такая прогулка не показалась бы потом сном?

— Похоже, так.

— А вообще я считаю, что нельзя строить эксперимент на самообмане.

Это было ясно уже после опыта с Кирогой. Я говорил тогда Гринвуду. Но вы же его знаете, упрям как осел.

— Честно говоря, до сих пор не могу ему простить затею с лютней.

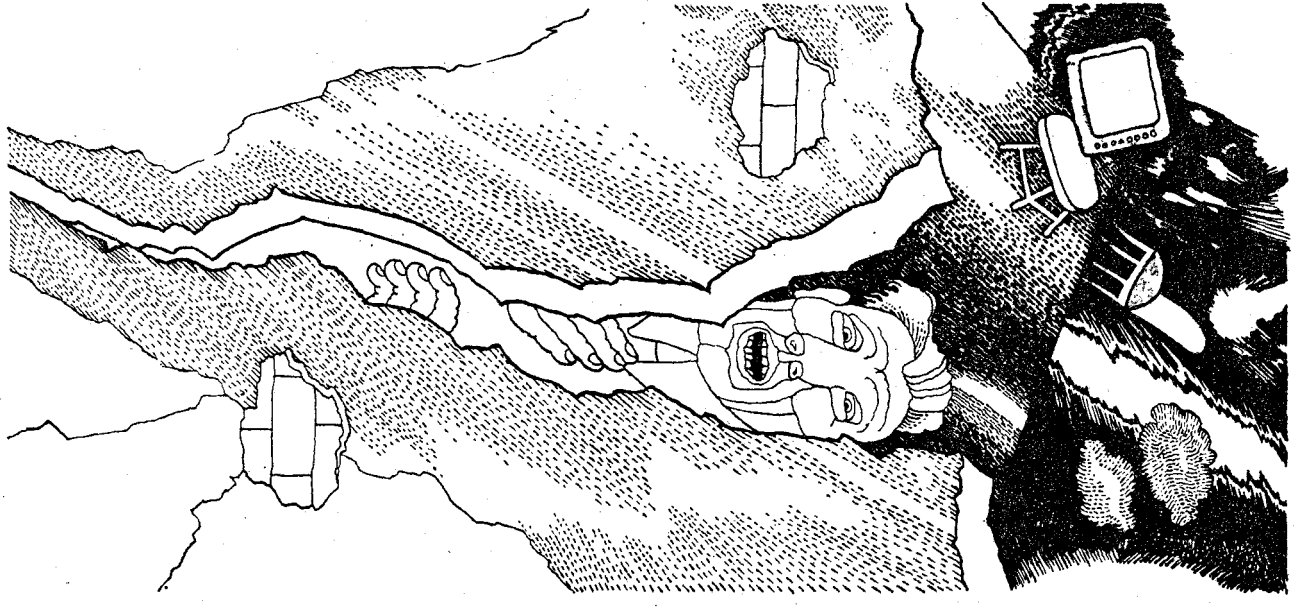
Они помолчали.

— Кстати, о лютне,— сказал Малинин.— Во всей этой истории для меня остался неясным один вопрос: где вы научились играть на ней? Насколько я знаю, и слухом-то вы никогда не отличались.

Ольсен задумался, перебирая руками теплый песок.

— Где я научился играть на лютне?— переспросил он — Если бы я знал...

Александр Щербаков





СДВИГ

Повесть

I

Спрингл торп, еще не совсем проснувшись, уже знал, отчего просыпается. Оттого, что сотрясся дом. Сотрясся как-то особенно противно, не целиком, а отдельно пол, чуть позже и вразнобой — стены, потом — потолок, а в промежутке и он сам, Спрингл торп. Сотрясение уже кончилось, только что-то судорожно постукивало в шкафу. Эльзин сервиз. Эльзу схоронили вчера. Он один, совсем, совсем один. В доме никого. Пусто и безжизненно. Холодно. И в нем самом тоже пусто, безжизненно и холодно. Он на три четверти мертв. Он никому не говорил — просто некому было сказать,— но когда вчера утром он открыл шкаф, чтобы найти чистую рубашку... Чистые рубашки всегда давала ему Эльза. Жесткие пласты, еще горячие от утюга... Он открыл шкаф, увидел немые стопки белья, потрогал и ощутил сырой холод. Эльза умерла. И он тоже мертв. На три четверти мертв...

Вновь накатился гром, вновь сотрясся пол.

Спрингл торп лежал не шевелясь, с закрытыми глазами и видел, как по дороге мимо дома прокатывается, сотрясая все вокруг, стотонный рудовоз — обросший грязью горбатый ящер, лишенный чувств и разумения. Сейчас запнутся на миг его трехметровые колеса, и он с натугой полезет на подъем.

Как же так? как же все это вышло?

Всю жизнь, изо дня в день не щадить себя, не знать отдыха и срока, работать, работать. Ради чего? Чтобы по щепочке, по песчинке собрать дом, средоточие бытия. Добиться, воздвигнуть,

© А. Щербаков, 1992

посадить вокруг дома полтора десятка яблонь, три груши, пять слив, надеяться, что когда-нибудь окунешься в невероятное чудо цветения. И вместо этого бессильно смотреть, как все это вянет, корчится, рассыпается в прах и безответно гибнет. Гибнет в маслянистом чаду тысячесильных дизелей, внезапно заполонивших тихий Даблфорд. Руда! Руда! Руда! Миллионы лет она мирно спала, и вот доковырялись до нее, все вокруг разворошили, взломали, испоганили и — во имя чего, во имя чего? — запятнали кровью. Кровью! Бедный Джонни, бедный мальчик. Эта спеленатая в гробу кукла — неужели это был ты? Плоть от плоти, душа от души? Эльза просила: «Уедем отсюда, уедем!» И сама понимала: это невозможно! Четыре года до пенсии! Где и кому он нужен, что будут значить их жалкие сбережения в чужом краю, среди чужих людей? Они остались, двое стариков, сажали цветы на холмике, согласились получать чеки, где в графе «Основание для выплаты» было написано: «Статья 43. Премии и компенсации». Компенсации за то, что гигантское колесо перемешало человека и мотоцикл. Премии за то, что против этого никто не возразил, не взвыл зверем, не преградил дорогу грузным грязным чудовищам, волокущим, волокущим, волокущим руду, руду, руду!

Изо дня в день видеть их, слышать их, трястись от их поступи, думать: может быть, этот, именно этот и есть убийца Джонни, клокочущий кипящим маслом, брызжущий сизой липучей глиной,— вот чего не выдержала Эльза, вот чего она не вынесла. И ушла.

Теперь он один, совсем, совсем один. С этой никому не нужной пенсией, не нужными чеками «Премии и компенсации», остатками дома и сада, со старческим приварком по никому не нужному стройнадзору на сооружении никому не нужного университета. Университет в этом краю стариков, в краю семей, догорающих под рев рудовозов! Они там, в округе, сошли с ума! Прожектёры! Бредовый прожект, бредовые деньги, и он сам во всем им под стать — старик, мечущийся в тяжелом сне от перемежающейся убийственной тряски, тряски...

Тряски.

Тряски.

Никто не едет по дороге, стынет ноябрьская ночная тьма, а дом мелко-мелко трясется. Безостановочно. Что такое?

Спринглторп коснулся рукой стены и почувствовал дрожь. Нащупал в темноте шнурок выключателя и дернул. Выключатель щелкнул, но свет не зажегся. Спринглторп сел на постели, опустил ноги на пол. Пол дрожал так же, как и стены. За стеной что-то протяжно зашуршало и осело. Дом! Рушится! Землетрясе...

От века здесь не было землетрясений. Спринглторп подумал об этом минут через десять, когда его, стоящего у крылечка, сквозь наспех накинутое на плечи пальто стал пронизывать тысячью ревматических игл сырой ночной воздух. Вокруг было тихо. Земля под ногами дрожала по-прежнему, но дом и не думал рушиться. Спринглторп недоверчиво посмотрел на дверь. А может, вернуться? Сколько можно здесь стоять и дрожать на холоде! Он шагнул было к крыльцу и ясно увидел: вот он переступает порог, а на него коршуном падает потолочная балка!.. Нет. Туда идти нельзя. А куда можно? Позвонить в полицию? Телефон в гостиной. Вывести из гаража машину и отсидеться в ней? Но гараж под домом. И если дом рухнет...

Ну и пусть рухнет! Джонни нет, Эльзы нет. Он на три четверти мертв. И пускай падет ему на голову это опустевшее гнездо! К черту! Все к черту!

После долгой возни в темноте Спринглторпу удалось нашарить ключи от гаража в ящичке стенного шкафа в прихожей. Обогнув угол дома, он привычно протянул руку к выключателю стенного фонаря. Но ведь света нет. А в гараже электрический замок. И теперь снаружи его не открыть. Надо идти в дом и пробираться в гараж во мраке через внутреннюю лестничку. Тогда можно и одеться по-человечески. Минутой дольше — какая разница. Который час? И до каких пор все это будет продолжаться?

Пол под ногами и все, к чему прикасался Спринглторп, продолжали ритмично содрогаться. Обмирая от страха, натыкаясь во тьме на углы, которых никогда не было, Спринглторп шарил по дому. Наконец он пробрался в гараж, нашарил в багажнике машины фонарь, зажег — и стало легче. Телефон не работал. Водопровод тоже. Было два часа ночи.

Выведя машину из гаража к самым воротам, Спринглторп включил мотор и печку, закутался в плед и замер на сиденье. Ехать? Куда? Ему показалось, что дрожь прекратилась. Но она не прекратилась. Просто не чувствовалась в машине.

Собравшись с духом, он еще раз пробрался в дом, отпер сейф, завернул все ценные бумаги в газету, захватил два пледа, переносной телевизор и отнес все это в машину. Спрятал пакет под переднее сиденье и включил телевизор. Аппарат шипел, экран белесо светился, но ни одна программа не работала.

Что же это значит? Электричества нет. Телефон не работает. Поврежден водопровод. Все эти аварии могли случиться где-то неподалеку. Но не работает телевидение. Значит, и там нет электричества. Где «там»? Повсюду, что ли? Но если повсюду, то на карьере должна быть тревога. Он вылез из машины и долго вглядывался во тьму. Там, где карьер, было темно и тихо. Никакой тревоги. Но у него же в машине есть радио. Вот болван!

Он включил приемник. На коротких волнах тараторили иностранные станции, играла музыка. Где-то в непонятной неопределенной дали ничего не произошло. Где? Он редко включал радио и никогда не интересовался тем, как поймать нужную станцию. Худо дело.

Земля содрогалась по-прежнему. Время подходило к трем

Он запер дом, захлопнул ворота гаража. Еще постоял. Затем решительно сел в машину, включил передачу, выехал на дорогу и свернул налево. До фермы Кэйрдов было три километра.

Он не проехал и полпути, как вдруг фары за поворотом осветили фигуру ребенка. Мальчик! Голый мальчик! Боже мой! Взвизгнули тормоза, Спрингторп выскочил и бросился к ребенку.

— Ты кто? Откуда?

Мальчик молчал. Он был в одной майке. Плечо и рука были чем-то измазаны.

— Ты кто? Ты Кэйрд?

— Там!.. Мама!.. Папа!.. Все!..— внезапно закричал мальчик, запрокинул голову и хрипло, протяжно всхлипнул.

Спрингторп подхватил его на руки, усадил рядом с собой, стал кутать в плед, опомнился, зажег в машине свет и увидел на своих руках кровь. Святое небо! На голове мальчишки от виска до затылка кровоточила глубокая ссадина. И то, что Спрингторп принял за грязь...

— Дом упал!.. Они там!.. Стонут!..— крикнул мальчик и забился под пледом.

— Да, да! Успокойся! Мы сейчас едем! Успокойся. Да где же аптечка-то? Где же аптечка? Ты Кэйрд? Куда ехать? Ты Кэйрд?

— Туда!

Мальчик слепо ткнул окровавленной ручонкой прямо перед собой. Спрингглторп поспешно дал газ, машина резко дернула вперед.

* * *

— Полковник Уипхэндл к вашим услугам. Кто вы такой, и что вам нужно?

— Меня зовут Спрингглторп. Ной Спенсер Спрингглторп. Я живу километрах в десяти отсюда. Бывший местный служащий. Инспектор по гражданскому и дорожному строительству. Нужна ваша помощь. Километрах в пятнадцати отсюда рухнул дом, под обломками остались люди. Я привез раненого ребенка. Нужен автокран с длинной стрелой. Бригада — три человека. Мотор-генератор и пара юпитеров. И прикажите принять раненого.

— Раненого я приму.— Полковник потер подбородок.

— Господин полковник, сто первый на связи, сэр! — крикнул кто-то из урчащих недр транспортера.

— Одну минуту, мистер Спрингглторп. Ждите меня здесь.— И полковник легко вознесся по невидимым железным скобам на борт машины.

Спрингглторп остался стоять у подножки. Без четверти пять. Земля под ногами все так же безостановочно подрагивала. Командный пункт полковника Уипхэндла — три бронированных шестиосных динозавра с колесами в рост человека — затаился во мраке на площадке, отгороженной от плаца строем толстенных древесных стволов. Освещенный плац сиял, и поэтому тьма на командном пункте была особенно густой. Посреди плаца быстро росли штабели ящиков. Солдаты с ящиками на плечах один за другим появлялись в светлом пространстве, подбегали к штабелям. Каждый ящик принимала пара и передавала наверх очередной паре, которая аккуратно укладывала ряд за рядом. Близость людей, осмысленность и методичность их работы — это было как раз то, в чем нуждался Спрингглторп после всех событий этой ночи.

Конечно, он вел себя так, как повело бы множество

людей, впервые угодивших в серьезную передрягу. Мягко говоря, не лучшим образом. Но ведь у Кэйрдов в доме полно народу, а он был один. И они получили от него какие-никакие, а все же сведения; а ему довелось соображать в одиночку.

Да, Кэйрды мирно спали. Богатырский у этого семейства сон. После того как он наконец понял, что мальчик совсем не отсюда, минут десять пришлось ломиться в двери, пока распахнулось окно над крыльцом и женский голос спросил:

— Кто там? Что случилось?

— Вставайте! Я Спринглторп, ваш сосед! Будите всех! Выходите прочь! Дом может рухнуть! Вы что, не чуете, как трясет?

Как бы не так! Добротный, старинной постройки дом Кэйрдов устоял бы и не в такой переделке.

Жена хозяина Марджори промыла мальчику рану и сделала укол. Он лежал на диване, плоский и безвольный, изредка вскидываясь и всхлипывая. Младший Кэйрд, лобастый десятилетний крепыш, поглядел на него, шмыгнул носом и, отвернувшись, сказал:

— Я его знаю. Они живут у Блаунтов. В отпуск приехали.

Чтобы попасть к Блаунтам, надо было, километра полтора не доезжая до Кэйрдов, свернуть направо. Впрочем, он не знал ни Блаунтов, ни дороги к их дому. Он и Кэйрдов знал только потому, что проезжал мимо их дома по пути в город. Почему он решил, что мальчик отсюда, одному Богу было известно.

Средний сын Кэйрда Джим пошел выводить «черепашку»,— по-видимому трактор,— а глава семьи и старший сын, оба Мартины, внимательно выслушали сбивчивый рассказ Спринглторпа. Тем временем обе дочери Кэйрдов уже перетаскивали скарб в зимний сарай. Здесь все было свое: вода, электричество, газ. Все работало. Крепкое гнездо. Не работал лишь телефон.

— Эк оно,— сказал Мартин-отец, приложив руку к подрагивающей стене.— Вот что, Спринглторп. Давайте-ка мы трое: вы, я и Март,— быстренько подъедем к Блаунтам. Пока там «черепашка» доплетется! Может, и сами справимся. Мать, а мать, кофе готов?

— Готов.

— Дай нам с собой. И аптечку. Я за инструментом. Март, давай в коровник. Там в кладовушке слева—

фонарь и аккумулятор. Мы возьмем фургончик. Похоже, нынче молоко везти не придется.

— ЦНТ молчит,— объявил тем временем младший Кэйрд, в заботу которого было вверено радио,— и ВВСС тоже. Они в это время музыку передают, а сейчас молчат.

— Сиди, не отходи. Заговорят,— распорядился Мартин-отец.

— Может, все-таки расспросить этого, от Блаунтов?— нерешительно предложил Спрингторп.

— Оставьте его в покое. У него шок. Он придет в себя часа через два, не раньше,— сказала Марджори Кэйрд.— Я побуду с ним, девочки за всем приглядят. Езжайте.

Дом Блаунтов предстал перед ними во тьме безобразной грудой обломков, из которой, вопия к небу, свечками торчали каминные трубы. Спрингторпу стало очень страшно.

Старый Кэйрд просунул лом под изломанный край обрушившейся панели стены и навалился всем телом.

— Помогайте!— прохрипел он.

В три лома они шевелили панель, но приподнять ее и сдвинуть в сторону им было отсюда не под силу. Надо было взбираться на обломки и браться ломом оттуда. Надо было, надо было, а вот сделать-то как! Ведь это все равно что топтаться по живым людям. Глупо! Его вес ничего не прибавит к давящей на них тяжести. И все-таки... Видимо, у Кэйрдов было то же чувство, и Мартин-сын долго возился, цепляя трос за верхний край панели, но на обломки так и не влез. Трос закрепили на лебедке фургончика, потянули, панель приподнялась, но фургон забуксовал по траве. В конце концов они отвалили панель, но под ней оказалась другая. Она лежала наклонно, не поддавалась, и пустота под ней гулко отвечала на удары. Издалека донесся треск мотора. Это Джим Кэйрд вел «черепашку».

— Слушайте, Спрингторп,— сказал Мартин-отец.— Нам здесь одним не управиться. И «черепашка» не поможет: стрела у нее коротка. А оттаскивать нельзя, надо поднимать и отводить на весу. Для этого нужна длинная стрела тонн на пять. Мне бы сразу сообразить. Знаете что? Поезжайте в военный городок, просите большой автокран. Должны же они нам помочь! Отвезите туда заодно мальца в лаза-

рет, а Мардж скажите: пусть поездит по соседям, поглядит как и что. Таких домов тут поблизости десятка два.

Вот так Спринглторп оказался в военном городке второго батальона мотомеханизированного гусарского полка. Батальон был поднят по тревоге через несколько минут после второго толчка. То есть примерно в то самое время, когда Спринглторп, кутаясь в одеяло, растерянно дрог у своего крыльца.

— Мистер Спринглторп! — звонко окликнули его из светлой урчащей утробы бронетранспортера.

— Я!

— Пройдите к полковнику.

Спринглторп вскарабкался по лесенке, пригнувшись, прошел по коридорчику и остановился, ослепленный ярким светом, у порога штабной кабины.

— Входите. — Полковник поднялся за столом, держа в руке телефонную трубку. — Мистер Спринглторп, правильно ли я вас понял? Вы работали здесь инспектором по строительству?

— Да.

— И были вдобавок инспектором по дорогам здесь же?

— Да.

— То есть вы хорошо знаете местные постройки и дороги?

— Я не работаю уже два года. Я пенсионер. Но за это время здесь мало что изменилось.

— Вы служили в армии?

— Числился резервистом и проходил курс обучения для старших сержантов. Но это было так давно...

— Ясно. Мистер Спринглторп, я объявляю вас мобилизованным. От имени командования присваиваю вам права и обязанности капитана и назначаю вас своим заместителем, начальником отдела по оказанию помощи гражданскому населению в связи со стихийным бедствием.

— Но...

— Никаких «но», капитан. Сержант Дэвисон!

— Есть, сэр! — отозвался из-за спины Спринглторпа женский голос. Сильная рука легла ему на плечо и отодвинула в сторону. Он оглянулся. Рядом стояла рослая женщина в военной форме.

— Сержант Дэвисон, я назначаю вас заместителем начальника отдела по оказанию помощи гражданскому

населению. Вот ваш начальник — капитан Спрингл-торп.

— Есть, сэр!

— Капитан, через пятнадцать минут жду вас с докладом и проектом приказа. Можете идти.

Пока Спрингл-торп сообразил, что это сказано ему, сержант Дэвисон успела выпалить свое «есть, сэр», повернуться кругом и щелкнуть каблуками.

— Есть, сэр! — сказал Спрингл-торп, неприятно удивился своему фальцету и пребольно ушиб о высокий стальной порог ноющую от ревматизма лодыжку. Боль ошеломила его, и он как-то отрешенно услышал за спиной голос полковника Уипхэндла:

— Где майор Оуден? Почему он до сих пор не прибыл? Получите десять суток за посылку машины без радиосвязи...

«Это не мне», — сообразил он, а сержант Дэвисон уже отворила дверцу в другом конце коридорчика и, не оборачиваясь, сказала:

— Сюда, капитан.

Он последовал за ней, втиснулся в кабинку и надежно застрял между спинкой вертящегося кресла и ребристым стальным ящиком на стене. Кресло было привинчено к полу перед откидным столом, на котором стояли пишущая машинка, телефонный коммутатор и несколько устрашающего вида предметов.

— Я-а... — тягуче сказал он, не представляя, чем закончит.

— Одну минуту, капитан. Вы пока думайте, думайте.

Кресло осело под могучим телом сержанта Дэвисон и окончательно припечатало Спрингл-торпа к ребристому ящику. Ни шевельнуться, ни слова сказать. Думать тоже было невозможно.

— Хэлло, Джер, — объявила тем временем сержант Дэвисон, нажав какую-то клавишу, — снимай с колодок ноль-ноль-четвертую и гони ко мне.

— Есть, сэр! — прогнусил в спину Спрингл-торпу ребристый ящик. — Вас понял, сэр. Номер приказа, сэр?

— Кончай паясничать. Это мой приказ, понял?

— Слушаюсь, сэр. Помми, кошечка...

— Заткнись.

— Есть, сэр.

Заверещала пишущая машинка.

— Капитан, я печатаю приказ о нашем назначении,

о развертывании госпиталя, пункта питания и пункта приема беженцев. Потерпите пять минут, нам пригонят машину, тогда все будет как положено. Что еще?

— Надо послать автокран к Блаунтам,— сказал Спрингглторп.

— Куда??

— Хэлло, Помми, боезапас тебе грузить?— снова прогнусил ящик в спину Спрингглторпу.

— Нет.

— Вас понял, сэр.

— И вообще надо выяснить, что происходит. Здесь трясется, у нас трясется, а где не трясется? Вы можете мне сказать?

— Стихийное бедствие,— ответила сержант Дэвисон, не переставая печатать.— Не думайте об этом, капитан. Выяснять будут другие. Наше дело — помощь. Помощь, капитан. Думайте. У нас осталось восемь минут.

— Дайте мне карандаш и лист бумаги! И хоть какую-то возможность писать!— осененный наитием, взмолился Спрингглторп.

— Говорите, говорите. Писать буду я.

Он не получил ни карандаша, ни бумаги, но само упоминание об этих предметах подействовало благотворно, и в голове что-то зашевелилось.

— Пишите. Первое. Ночью, видимо вскоре после полуночи, один за другим произошли два сильных подземных толчка, после чего установилось не прекращающееся пока дрожание почвы. Пределы опасной зоны неизвестны. Прекратилась подача электроэнергии, воды и, по-видимому, газа. Телефонная связь нарушена. Телевидение и центральные радиостанции ЦНТ и ВВСС не работают.

Пишущая машинка на миг запнулась.

— Пишите, пишите. Все это говорит о том, что размеры бедствия значительны. Сила толчков такова, что часть гражданских сооружений, как-то: жилые дома, мосты и предприятия,— могла подвергнуться разрушению, частичному или даже полному.

Слова приходили сами собой, какими-то длинными стандартными связками. Так писали о землетрясениях в газетах. Спрингглторп слишком много лет читал газеты. «Зарываюсь,— подумал он.— Надо конкретно. Конкретно».

— Имеются раненые. В первую очередь могли по-

страдать дома новой постройки. В районе Даблфорд таких домов более двадцати. В районе Брокан — до пятидесяти. Район Уинтербридж весь состоит из таких домов.

Уинтербридж это не наша зона, стрекоча на машинке, прервала Дэвисон.

— Пишите, сержант. Все наше,— сказал Спрингл-торп.

Черт, не возражала бы она, не сбивала наладившийся ход мысли.

— Предлагается немедленно осмотреть район с вертолетов...

— Это в такой-то темнотище!

— Хорошо. Рассылкой автопатрулей по маршрутам.

Которые определю по мере отправки.

Да. И... и...

Всё. Мысли сорвались.

Установить на перекрестках дорог по моему указанию посты регулирования движения и радиосвязи Дальше что? — торопила сержант Дэвисон.

Тускло замерцало еще одно наитие.

— Мобилизовать дееспособную часть населения для разборки развалин и спасения пострадавших. Руководителем аварийных бригад назначить мистера Мартина Кэйрда, Липтон-роуд, двенадцать.

— С присвоением ему прав и обязанностей лейтенанта. Выделить в распоряжение отдела пять радиостанций, три автокрана и воинскую команду в составе третьей, четвертой роты. Все. Пока все. Пора к полковнику.

— Помми, пошла к тебе карета,— объявил им вслед ящик.

— Почему он вас так называет? — спросил Спрингл-торп, перешагивая через какие-то коробки, появившиеся в коридоре.

Меня зовут Памела, кратко ответила сержант Дэвисон. Разрешите, сэр? остановилась она на пороге кабины.

Да-а! Вот это работа! Спрингл-торп изумленно считал приказы, которые Памела Дэвисон выложила на подпись полковнику.

Первый: о создании отдела и о назначении...

Второй: о выделении отделу штабного транспортера 004, радиостанций, автокранов, генераторных при-

цепов, вертолета, грузовиков, солдатской команды («Вы с ума сошли»,— проворчал полковник, подумал, вычеркнул четвертую роту, еще подумал, вписал: «первого взвода третьей»).

Третий: о развертывании госпиталя, пункта питания и пункта приема («Там должен распоряжаться кто-то из гражданских,— *сказал полковник.*— *У вас есть кандидатура?*»— «Так точно, сэр,— ответил Спрингл-торп.— Мадам Кэйрд, Липтон-роуд, двенадцать».— «Женщина. Это хорошо», кивнул полковник).

Четвертый: о рассылке автопатрулей и организации связи.

Пятый: о разрешении мобилизовывать людей и оборудование и назначать руководителей созданных бригад («Мобилизовывать в ополчение»,— дополнил полковник).

Шестой: о...

Седьмой: о...

Восьмой: о...

Восемь!

— Добро!— сказал полковник Уипхэндл.— Можете идти, сержант. Капитан, останьтесь.

— Есть, сэр!— кажется, они сказали это хором.

— Насчет вас я, по-моему, не обманулся,— сказал полковник, когда сержант Памела закрыла за собой дверь.— Для запасника на первый раз очень и очень неплохо. Заваруха продолжается. А у нас еще город и порт. Вот карта. Дайте краткую характеристику. Учтите: мы все здесь люди новые, свежий набор. Мой состав кроме десятка пивных в городе ничего не знает. Я сам полтора месяца как сюда переведен.

— Там тоже трясет?

Полковник пожал плечами.

— Связи нет. Здесь, у нас, трясет, там, у вас, тоже. Вероятнее всего, и город ходит ходуном. Говорите.

Мысль о городе до этой минуты просто не приходила Спрингл торпу в голову.

— Опаснее всего, пожалуй, Верхний район. Вот здесь, между рекой и холмами. В основном— новостройки, много бараков. Здесь и здесь— оползнеопасные зоны, строительство воспрещено. Так что район разбит на три изолированных участка. Железнодорожный мост крепкий, а новый мост— железобетон. Я его не люблю. Плохо строили.

— Кстати, о железной дороге. Скажите Памеле: на-

до отправить патруль вдоль полотна. Там может быть черт знает что.

— Есть, сэр! — Что-что, а канон молодецкого ответа Спрингльторп освоил в совершенстве.

— Где электростанция?

— На Старомельничной. Вот здесь. Фабрика рыбной муки, холодильник, электростанция, лесобиржа, склады «Аримпорт».

— Склады. Мародерство. Возможно мародерство, Спрингльторп. Да.— Полковник нажал клавишу на селекторе.— Двайер!

— Есть, сэр, капитан Двайер слушает!

— Двайер, второй взвод вашей роты, полный боезапас, два броневика. Общая разведка города и охрана складов. Доведет капитан Спрингльторп. У него особый приказ, так что дайте вашим людям командира. Выезд в течение десяти минут.

— Вас понял, сэр!

— А вы, Спрингльторп, проедете от складов к мосту и попытаетесь осмотреть район. Доложите мне. Сколько народу в округе?

— Сто пятьдесят тысяч. В городе тридцать пять.

— Сто пятьдесят.— Полковник задумался.— Чего мы еще не предусмотрели, Спрингльторп?

— У беженцев на руках наверняка будут ценности...

— Разумно. Этим займется ваша мадам Кэйрд. Я дам броневик и охрану. Пусть организует прием на хранение. Отправляйтесь.

— Есть, сэр!

У выхода из транспортера его окликнули:

— Капитан Спрингльторп? Сержант Дэвисон велела проводить вас. Сюда, налево. Вон ваша машина.

Предрассветный ноябрьский холод пронизал Спрингльторпа до костей. Что это? Дождь? Только его не хватало.

Спрингльторп шел во тьме, как избранник фей: куда ставил ногу, там оказывалась земля. У самой подножки транспортера он ступил-таки в глубокую лужу. Ледяная вода хлынула в туфлю, но тут его подхватили и подбросили так стремительно, что он не успел даже нащупать опорных скоб на борту машины.

Штабная кабина — его, Спрингльторпа, штабная кабина — оказалась точь-в-точь такой же, как и кабина полковника. Яркий свет, большой стол с четырьмя телефонами, на стене карта, на полу путаница проводов. Сбо-

ку второй стол поменьше. За ним над пишущей машинкой — Памела Дэвисон. У нее на столе термос, вскрытая банка бисквитов и большой сверток.

— Поешьте, капитан. Есть распоряжения?

— Полковник приказал отправить патруль вдоль железной дороги. Я промочил ноги. Сейчас еду в город. Нельзя ли...

— Это для вас. Оденьтесь.

В свертке оказался теплый комбинезон и пара огромных кубических ботинок. На груди и спине комбинезона были прилеплены буквы из светящейся липкой ленты: «КАПИТАН СПРИНГЛТОРП».

— Обувь универсальная. Разрешите, я вам помогу. Вот здесь застежки, это поддув по ноге, на щиколотках включение обогрева. Наметьте маршруты автопатрулей и места пунктов связи.

Комбинезон был тяжел, как рыцарские доспехи, ботинки неподъемны, хотя... Ноги они охватывали плотно и тепло. Неловко ступая, Спрингглторп подошел к столу, налил из термоса в чашку дымящуюся жидкость и повернулся к карте.

— Вот сюда на север. Так на восток. Сюда на юго-запад, здесь поворот. И обратно на Липтон-роуд. Еще на карьер.

Ставя карандашом на карте жирные точки, он отхлебнул из чашки и остолбенел. Его словно прожгло насквозь.

— Ничего, ничего,— ободряюще сказала Памела.— Кэйрды едут сюда на нашей машине. Блаунтов пока не откопали, но там есть кто-то живой. Отзывается. Патруль обнаружил еще два разрушенных дома. Если так пойдет дальше, нам придется туго.

— П-послушайте, Памела,— прошептал он.— Что за пойло?

— Химия,— ответила та.— Бодрее будете. Держите связь со мной. Мой позывной — «Дюрер», ваш — «Рафаэль».

По коридору загромыхали быстрые тяжелые шаги.

— Капитан Спрингглторп? Лейтенант Хорн. По приказу капитана Двайера. К выезду готов.

В голове у Спрингглторпа зазвенело и воцарилась полная пустота. И в ней, словно огромный мыльный пузырь, поплыла одна-единственная мысль: «Я... Должен... Их... К складам... В город... К мосту...»

— П-прощай, Памела! Держись! Мы их всех! — с

безмерным удивлением услышал Спрингторп громовой героический бас. Свой собственный бас. Бас полководца.— Лейтенант! Впер-ред!

Грохочут ботинки! Это прекрасно! Вперед! Их. К складам. И на мост.

Внезапно его дико затошнило. Спасение было только в одном: вперед! Молниеносно! Сметая препоны!..

Он ощутил, как под ногами дрожит земля, и восхитился! Вот! Она дрожит от нашей поступи! Рванул дверцу командирского джипа и обрушился на кресло рядом с водителем. Кресло тоже должно быть раздавлено! И сметено!

— «Рубенс», «Рибера», я «Рембрандт»! Как слышите?— возмутительно робко лепетал кто-то сзади.— Следовать за мной: дистанция сорок, скорость тридцать, связь постоянно. Повторите. «Ван Гог», я «Рембрандт», к выезду готов, прошу «добро».

Ему нахлобучили на голову шлем с наушниками в подбородок что-то вдавилось. Спрингторп непроизвольно глотнул, и в ушах у него зазвучала музыка сфер.

— «Рафаэль», я «Дюрер». Как слышите?— пропищал кто-то.

— Я «Рафаэль»! Вперед! — И Спрингторп великолепным жестом двинул на врага неисчислимое, несокрушимое воинство.

— «Ван Гог», я «Рембрандт», я «Рембрандт»! Прошел сто двадцать седьмой. Справа бензоколонка. Людей нет. Повреждений не видно.

— «Дюрер» — «Рафаэлю», «Дюрер» — «Рафаэлю»! Введено осадное положение. Прибыли Кэйрды. Развернуты операционная и перевязочная. Доставлена партия раненых, семь человек.

Осадное? Прекрасно! При чем тут раненые! К складам! И на мост! Мы им покажем!

— «Ван Гог», я «Рембрандт», я «Рембрандт»! Миновал Виллоутри. На улицах много людей. Достиг сто двадцать девятого. Видимость ноль. Вешаю люстры.

В небе перед Спрингторпом одна за другой распускались монументальные сияющие хризантемы. Они постепенно увядали, тускнели, но тут же вспыхивали новые. Ниже, над полотном дороги, полоскалась мятущаяся перламутровая завеса мелкого дождя.

Ногам стало жарко, просто горячо. Спрингторп

пригнулся, нашаривая в темноте выключатели на щиколотках. И ткнулся головой во что-то твердое.

— «Ван Гог», я «Рембрандт»! На шоссе вода! На половине сто тридцать первого. «Рубенс», «Рибера», стоп!

Какая вода? Откуда здесь вода? Спрингторп тупо посмотрел на сияющий в свете фар придорожный рекламный щит «ОТПУСК ТОЛЬКО В КАТАЛОНИИ». Сколько тысяч раз он проезжал мимо этого щита! Еще четыре километра — и город! Почему стоим? Вперед!

— «Ван Гог» — «Рембрандту»! Продолжайте движение со всеми мерами предосторожности. Связь постоянно.

Водопровод прорвало. Вот где его прорвало. Ди... Диверсия! Изловить! Военно-полевой суд!

— «Дюрер» «Рафаэлю»! Поставлено пять больших палаток для беженцев. Принято шестьдесят человек, из них двенадцать ранены. Двое скончались. Позывной Мартина Кэйрда — «Дега». Позывной Марджори Кэйрд — «Делакруа».

— Я «Рафаэль». У нас вода. Идем вперед!

Теперь ниже перламутровой завесы в свете хризантем поблескивала черная гладь.

— Капитан, джип дальше идти не может. Будем продвигаться на броневиках. Осторожно! Броневик подойдет с вашей стороны. «Рубенс», кювет прощупывайте! Свалитесь, дьяволы! «Ван Гог», «Ван Гог», вижу сто тридцать первый!

Сзади нарастали рокот и свет. Спрингторп распахнул дверцу и увидел у самой подножки воду. Плещущую воду. Пить! Вот чего ему хочется. Пить! Он зачерпнул горсть и поднес к губам. Господи, какая гадость! Какая горько-соленая гадость! Соленая!

— Лейтенант! Она соленая! Как морская! Она... Морская! Это море. Мы в темноте заехали в море!

В сотне метров впереди сверкал надписью километровый столб «131». Нет, они не сбились с дороги. Но отсюда до моря... километров двенадцать!

Огромное рубчатое колесо броневика с плеском надвинулось справа, остановилось. Еще подалось вперед.

— «Ван Гог»! «Ван Гог»! Это море! Море! Видимость ноль. На сто тридцать первом море!

— Это не море,— сказал Спрингторп.— Это океан.

И в последний раз повторил про себя, как молитву: «К складам! И потом к мосту».

Броневики прошли вперед еще метров двести, остановились. Вода стала заливать двигатели. Дорога под ней слишком быстро шла под уклон. Уклона здесь никогда не было. Здесь всегда была равнина, плоская, как бильярдный стол. А как же город?

Впереди трепетала непроницаемая беззвучная перламутровая завеса.

— «Ван Гог» — «Рембрандту»! Срочный возврат! Оставьте наблюдательный пост на джипе перед урезом воды. Связь по мере движения уреза. «Ван Гог» — «Рафаэлю»! Срочный возврат! Начните эвакуацию Виллоу-три. Высылаю самоходные понтоны. Броневики используйте по своему усмотрению до прибытия понтонов.

— Вас понял! — механически ответил Спрингторп, уже понимая и еще не понимая. Не принимая того, что вероятнее всего произошло.

2

Дробный стук отдавался в плечах и затылке. Сиденье под Спрингторпом подпрыгивало. Вертолет словно висел на трепещущей ниточке, а внизу шевелилась, переваливалась дымящаяся серая гладь океана. По ней неслись ящики, бочки, бревна, пакеты досок. Вот стремительно пробежал рыболовный траулер, потом второй. Нет, это был тот же самый, просто они вернулись к нему. На палубе стояли люди и призывно махали руками.

— Скажите им, пусть идут на восток,— зазвучал у него в ушах голос полковника Уипхэндла.

Капитан Двайер, сидевший рядом со Спрингторпом, наклонился, защелкал тумблерами и произнес, четко выговаривая слова:

— Траулер четыре тысячи пятьсот тридцать три! Идите курсом двадцать пять до линии электропередачи и вдоль нее до шлюза. Там вас встретят.

Траулер запрокинулся влево, и на его место приплыло торчащее из воды закопченное жерло трубы, рядом второе, третье.

— Электростанция, полковник! — крикнул Спрингторп.

— Не кричите, капитан. Вас прекрасно слышно,— ответил Уинхэндл.— Какой высоты трубы?

— Пятьдесят два метра.

— Торчат метров на десять,— оценил Уинхэндл. Значит, здесь глубина сорок.

Внизу, плотно прижавшись бортами друг к другу, наискосок пробежали две баржи, а следом проплыл огромный серебристый круглый бак с длинным радужным хвостом. Еще один. Нефтехранилище. Всплыло. Действительно, оно должно было всплыть.

Водная гладь под ними еще раз перевалилась, приблизилась, стремительно понеслась в сторону. Местами она кипела, пузырилась, местами на ней пластались какие-то пестрые лохмотья, но большей частью она была так спокойна, так безмятежна, словно не эта зелено-серая лоснящаяся жижа бесшумным молниеносным наскоком часов восемь тому назад удушила тридцатипятитысячный город. Предусмотрительно опоенный зельями Памелы Дэвисон, Спрингторп не чувствовал ни ужаса, ни страха — только холодную сосредоточенность, желание увидеть. Что угодно.

В поле зрения вдвинулась блестящая стеклянная стена, торчащая из воды, резко сломалась в плоскую замусоренную кровлю. «Джеймс Коммерс Билдинг» — единственное двадцатиэтажное здание города. Кровля приблизилась, повернулась, стремительно всплыла и ударила вертолет снизу. Машину качнуло, грохот умолк, и Спрингторп осознал, как ноет у него голова, какое в ней бесконечное пустое пространство и как бродят, бестолково сталкиваясь, неясные болезненные отзвуки.

Уинхэндл приподнялся, оглянулся, и, ощутив молчаливый приказ, Спрингторп встал и пошел к дверце, которую, согнувшись, придерживал рослый сержант. Лицо овеял пахнущий морем воздух. Как хорошо! Он, пошатываясь, спустился по лестничке и стал на твердый бетон, широко расставив ноги. Его качало. Нет, это сотрясалось здание, его била все та же дрожь. Боже мой!

Вокруг было море. Не тот крохотный кусочек, который он видел в оконце вертолета, а щедро распахнутая гладь. Под громоздящимися облаками на ней вдалеке сияли пятна солнечного света.

Он побрел было к краю кровли, но, остановленный повелительным окриком, оглянулся, увидел полковни-

ка, стоящего с поднятой рукой, рядом с ним группу офицеров, а в стороне, у облупившейся зеленой двери, ведущей внутрь дома, сидящего на корточках солдата. Спринглторп покорно поплелся к группе, стал сбоку, полковник опустил руку, солдат отпрыгнул в сторону, под дверью сверкнуло, хлопнуло, створка резко откинулась, нижний край ее задрался, и она так и застыла, вывихнутая кверху. Полковник вошел первым. Спринглторп — четвертым или пятым. Внутри было полутемно и тихо. Шаги гулко отдавались в коридоре, застеленном ворсистым пластиком, двери со стеклянными табличками были заперты и недвижимы. Кто-то нашел внутреннюю лестницу — узкий бетонный лаз,— и все они друг за другом спустились вниз на несколько этажей, освещая путь ручными фонариками. Когда в светлом круге заблестела чуть подрагивающая черная вода, все остановились. Резкий шорох шагов утих. Уипхэндл, твердо ступая, спустился на последнюю ступеньку над водой, снял фуражку, вытянулся и сказал:

— Упокой, Господи их души.

Его голос гулко прозвучал в бетонной шахте.

— Упокой, Господи, их души,— беззвучно пошевелил губами Спринглторп и потянул с головы шлем. Но шлем был крепко застегнут рукой Памелы а как расстегнуть его, Спринглторп забыл. Воцарилась мертвая тишина. Нет, не тишина. Шахта гудела, от подрагивающих стен шел гул. Бить, бить по ним кулаками и громко кричать: «Да сколько же это может продолжаться!» Бессмысленно. Но только скорей отсюда скорей из этой ловушки, где сейчас на них со всех сторон... Но все стояли, и он тоже стоял, только сердце внезапно стало разрастаться, пухнуть, подступило к горлу. Он вытянул руки по швам, и сердце послушалось, чуть осело, но барабанило внутри мятежно и мощно.

Впереди стоящий посторонился, пропуская наверх полковника. Уипхэндл поднимался, глядя под ноги. Спринглторп тоже посторонился, повернулся, стал ждать, когда же они все пойдут наверх! Как медленно идут там, впереди! Обогнать их! Бегом! Наверх! Зачем они так низко спустились в эту мрачную западню, в это подземелье? Да, подземелье! Ад!

Выйдя в коридор верхнего этажа, окунувшись в его замершую роскошь, он продолжал идти за всеми, и оказалось, что они гуськом входят в открытую

дверь поодаль на противоположной стороне коридора. Значит, ее взломали.

Большой светлый кабинет, стены обиты квадратами белой и голубой искусственной кожи, на стыках крупные светло-золотые звезды. Поперек кабинета — длинный стол, накрытый темно-синей скатертью. На столе — две армейские рации, захватанные грязными руками, облупившиеся по краям. Его покоробило от их вида, он попятился в коридор, отошел от двери и стал искать глазами табличку. На соседней стеклянной двери поблескивали золотые буквы. Спрингглторп долго читал их: «Ге-не-раль-ный ад-ми-нист-ра-тор О-ба-ди-я П. Джеймс-млад-ший».

Да, да, конечно. Здесь, на верхнем этаже, восседал сам Обадия П. Джеймс, создатель и хозяин этого никому не нужного колосса, в котором пустовали целые этажи. Джеймс считал это надежным капиталовложением, все ждал бума. Где он сейчас? Там, внизу? Под водой? Как и весь город! Боже мой, да что же это, что же это?!

— Капитана Спрингглторпа к полковнику!

Спрингглторп кивнул сержанту и прошел в кабинет. Офицеры кучкой стояли в стороне, полковник сидел у стола и протягивал ему телефонную трубку. Его к телефону? Кто? Спрингглторп взял трубку и сказал:

— Капитан Спрингглторп слушает.

В трубке раздался чистый и ясный голос:

— Мистер Спрингглторп, с вами говорит министр по делам информации и туризма Питер Джеффрис. Здравствуйте.

— Здравствуйте,— пробормотал Спрингглторп.

— Мистер Спрингглторп, мы обсудили с полковником создавшееся положение. Мы пришли к выводу, что округ прежде всего нуждается в восстановлении высшей гражданской администрации. Дело безотлагательное. Полковник дал вам отличные рекомендации. Что вы скажете, если мы назначим вас главой временного административного комитета округа? — Спрингглторп открыл и закрыл рот. Голос продолжал: — Я подчеркиваю: временного. Разумеется, если вы сможете составить комитет из популярных представителей местного самоуправления, это будет прекрасно. Но если это вызовет затяжку, подберите людей по своему усмотрению. Прежде всего я прошу вас довести до сведения населения заявление правительства. Что-нибудь так: «В ночь с двадцать третьего на двадцать четвертое ноября

на наш остров обрушилось стихийное бедствие. Его природа выясняется компетентными органами. Определяются размеры ущерба, и принимаются меры по оказанию помощи». Надо успокоить людей, Спрингторп. «Правительство скорбит вместе с вами о потерях» — эту мысль следует донести в сильных выражениях. «Оно призывает вас объединиться вокруг органов власти, оказывать им всемерную поддержку, соблюдать порядок и организовать взаимопомощь». Подредактируйте, согласуйте со мной и обнародуйте. Это первое. Второе. Обеспечьте связь по округу и вне его, где только сможете. Мы должны знать все. Прошу вас ежечасно поддерживать связь со мною. Для вашего сведения, но не для распространения: столицы больше нет. Весь восточный берег — это кромешный ад. На севере и юге относительно стабильно, ваш запад очень пострадал, но это не так чудовищно, как у нас. По-видимому, из всего состава правительства в живых остался я один. Только потому, что из-за недомогания выехал за город. Пока об этом ни слова, прошу вас. Нельзя допустить паники. Третье. Организуйте караваны к нам на восток. Нужны люди, медикаменты, продовольствие. Мы обратимся за помощью, но она придет не сразу. Я даю вам право на реквизицию, но помните: наша традиция — доброе согласие. Вы хорошо меня слышите?

— Да, господин министр.

— Рад, что мы с вами договорились. Не допускайте паники — это главное. Да, и у меня к вам личная просьба. Я прошу вас принять меры к розыску Эуфимии Паркер. Она живет в Брокане, Конноли, восемнадцать. Это мать моей жены. Помогите ей добраться до нас. Передайте ей, что мы все целы. Пожилая женщина не очень крепкого здоровья. Конечно, не в индивидуальном порядке, а в рамках воссоединения семей перед лицом общей опасности. Этим тоже необходимо заняться. Вы записали? Эуфимия Паркер, Конноли, восемнадцать, Брокан. Мы все — в Файфкроу, она знает.

— Да, господин министр.

— Благодарю, Спрингторп. Надеюсь на вас. Жду разговора с вами через час-полтора. А теперь, извините, пожалуйста, передайте трубку Уипхэндлу.

— Я... Конечно, мы приложим все силы...

— Сэр! Срочное донесение!

Радист второй станции протянул полковнику бланк

с зеленым уголком. Поднося трубку к уху, Уипхэндл кивнул и передал бланк Спринглторпу. Спринглторп прочел: «Рубенс» — «Ван Гогу». Море отступает. Море быстро отступает. Преследую урез воды. Достиг 132 посуху, двигаюсь дальше. Прошу инструкций...»

* * *

Океан отступил так же безмолвно, как и нахлынул. К пяти вечера он не только отдал все, что поглотил ночью, но откатился еще дальше на запад. И продолжал отступать, обнажая вековое дно — россыпи изъязвленных глыб, обросших бурыми косами водорослей. Быстро темнело. Была в этом отступлении зловещая парализующая непроницаемость, и Спринглторп распорядился отвести патрули ополченцев, достигшие былого берега, на линию ночного продвижения воды. Он понимал: эта линия ничего не гарантировала, но в ней была хоть какая-то определенность. Определенность — то, чего за последние сутки они были начисто лишены. Пережитый ужас стократ усиливал страх перед надвигающейся темнотой, подавлял, лишал воли к действию. Всех. И большинство покорялось, опускало руки. Металось, искало, на кого понадеяться, кому пожаловаться, на кого возложить тяжесть своего отчаяния. Он, Спринглторп, знающий и умеющий не больше, чем другие,— а зачастую и меньше,— волей обстоятельств стал тем, кому можно жаловаться, и люди шли, шли, шли к нему, к нему. Они не разбирали развалины, не шили палатки, не кормили, не лечили, не поддерживали друг друга. Они, каждый сам по себе, создали огромную безобразную очередь жалобщиков. Очередь домовито устроилась возле плаца. И кто-то составлял список, кто-то писал на ладонях номера, кто-то убедил всех, что их примут, выслушают и отдадут приказ — кому, кому можно отдать такой приказ? — накормить, починить, возместить. Ярость, беспомощная ярость вскипала в нем всякий раз, как он видел эту толпу, слежавшуюся в удава, обложившего его палатку. Разогнать! Разогнать их всех! Пусть делают дело!

— Ни в коем случае,— возразила Памела Дэвисон.— Они не смогут. Лучше пусть будут собраны в одном месте.

— Чтобы они так и сидели? Вы что, считаете, что я могу сейчас заниматься их приемом?

— Это должен делать ваш заместитель.
— То есть вы? Вы в своем..
— И не я.
— Кто же?
Найдем. Надо найти.

И нашла. Цены нет этой женщине. Нашла какого-то самоотверженного попа, отца Фергуса, и определила ему в штат четырех Бог весть как попавших сюда монахинь. Они внимательно выслушивали каждого, записывали каждое слово на формулярах складских требований — где-то отыскалась их целая кипа — и каждого выслушанного записывали в следующую очередь, на решение по его делу. Лишь бы он не ушел, не сеял растерянности и безволия.

— Ведь это страшнее всего,— сказала сержант Дэвисон. И была совершенно права.

Землю била все та же непрекращающаяся мелкая дрожь. И как-то к ней все привыкли, притерпелись. Настолько, что кто-то распорядился отвести беженцам для ночлега четырехэтажную казарму в военном городке, и Спрингторпу пришлось вмешаться и самому собирать швейные бригады для шитья палаток.

Как мало было тех, кто сам находил себе дело и попросту брался за него. Но они были. Учитель физики из Брокана нашел электромонтера и подручных. Они установили на вертолете прожектор. Теперь можно было ночью следить за океаном с воздуха. Зубной врач собрал десяток старух, прицепил автобус к трактору и, разъезжая по окрестным лугам и фермам, доил брошенных коров. «У меня шестнадцать тонн молока!— кричал он в трубку радиотелефона, добравшись до поста связи.— Их надо доставить в лагерь. Кто должен это делать?» — «Вы,— ответил Спрингторп.— Мобилизуйте людей, реквизируйте грузовики и горючее. Я даю вам право!» — «Черт знает что!» — ответил врач, но часа через два Спрингторп увидел посреди лагеря рудовоз, с которого скатывали в толпу столитровые молочные бидоны.

Конечно, Уипхэндл настаивал на ночном патрулировании чудом возвращенного города, словно его солдаты не устали смертельно за весь этот сумасшедший день. Спрингторп собрался было спорить, но вдруг понял, что спорить не надо. Есть сотни вещей куда более важных: ночлег, топливо, вода, хлеб. Утром в лаге-

ре было около трех тысяч человек, к вечеру — пятнадцать. Завтра будет тридцать или сорок. Все налаженные системы словно растворились. Как не было их! Он выхватывал из толп нужных людей, сначала стыдил, убеждал, потом настолько устал, что начал крикливо приказывать, сам удивляясь, что никто не прекословит.

Выполнялись или нет его приказы — этого он большей частью не знал и не мог узнать. Да и сама мысль о проверке попросту не пробивалась сквозь кучу кричаще неотложных дел. Он давно и безнадежно запутался бы, если бы не сержант Дэвисон. Памела умудрялась записывать все его распоряжения, она составляла немыслимые графики и таблицы. В них находилось место всем и всему. В клеточках и квадратиках, как в сетях, застревали люди, знающие люди. Она по собственному разумению отважно пичкала их армейскими медикаментами, кого вдохновляя на подвиги, кого безоговорочно подчиняя, кого делая гением обороны. Спрингл-торп заикнулся было, что таблетки надо раздавать всем.

— По крайней мере одному из десяти. Это норма,— ответила Памела.— Но у меня осталось четыре коробки. Весь наш НЗ.

Она поставила перед ним банку с омлетом и кружку кофе.

— Ешьте.

Спрингл-торп покосился на кофе.

— Вы опять туда чего-нибудь намешали?

— Нет. Вам уже не надо. Вы втянулись.

Он только что вернулся из Брокана. Там была типография, она была в полном порядке, не было лишь электроэнергии, но, предвидя это, Спрингл-торп привез туда дизель-генератор и бочку солярки. Ему быстро удалось разыскать профсоюзного старосту типографии. Он был готов мобилизовать рабочих, вести на работу под конвоем, но все это не понадобилось. Когда печатная машина пришла в движение, Спрингл-торп понял почему. Зданьице тряслось так, что куда там стихийному бедствию!

Две тысячи экземпляров воззвания к населению Спрингл-торп взял с собой и отправился к мэру. Местный мэр, тощий, высокий, с кустистыми бровями, повел разговор так, словно это Спрингл-торп устроил землетрясение и теперь должен ответить перед ним,

мэром, за свое преступное деяние. Мэр требовал восстановить электросеть и водопровод, требовал доставки бесплатного продовольствия, а Спрингторп слушал, кивал и злился на себя за это. Неизвестно, чем бы все это кончилось, но мэр перегнул палку. Он начал что-то плести о том, что делом о смерти двух раненых граждан броканской общины в госпитале военного городка должен заняться суд. Пусть суд выяснит, была ли им оказана квалифицированная помощь, в чем он, мэр, сомневается. И тут Спрингторпа взорвало. Продовольствия в Брокане хоть завались! Аптека есть! Есть гараж и живопырка по изготовлению церковных электрогирлянд,— стало быть, есть инструмент. И полно людей! И это не его, Спрингторпа, а его, мэра, дело — организовать питание, медицину и ремонт. За счет своих ресурсов. И если он, мэр, к завтрашнему утру всего этого не сделает, то он, Спрингторп, арестует его и предаст суду! А если он, мэр, не в силах с этим справиться, то пусть убирается вон! Он, Спрингторп, найдет другого мэра.

— Вы превышаете... Вы узурпируете... Я не позволю... Меня избрал народ! — прохрипел мэр. Лицо его исказилось от праведного гнева. Какой законченный, какой непрошибаемый идиот!

— Да или нет? — орал Спрингторп.— Да или нет? И он, Спрингторп, тоже идиот!

— Я буду жаловаться!.. Я обращусь лично...

— К кому? — простонал Спрингторп, изнемогая.— К кому? Да или нет, я вас спрашиваю!

Скандал засосал его в свою омерзительную трясину. Выхода не было...

Выручил профсоюзный староста типографии, который привел его к мэру и при всем этом невольно присутствовал.

— Не надо, шеф,— сказал он.— Не надо. Верно говорите: разбежались по углам, хнычем, неизвестно чего ждем. Соберем комитет, ребята сделают, что можно. А что нельзя, уж поможете.

— Как вас зовут? — спросил Спрингторп. Есть имена, которые золотом бы выводить. На скрижалях. Хорош начальник округа! До сих пор не удосужился узнать, как зовут человека, делавшего для него дело.

Выяснилось, что в Брокане есть профсоюзный комитет, к председателю которого, Ангусу Куотерлайфу, типографский староста Дедад Борроумли сейчас без

долгих разговоров и отправится. При упоминании о комитете «избранник народа» как-то поубавил прыти, договорились о связи через патруль в сквере, и Спрингглторп отправился разыскивать министерскую тещу. Мадам Паркер оказалась цветущей дородной матроной, полностью сознающей свои особые права. Сопровождающего для нее Спрингглторп привез с собой. Его выбрала Памела Дэвисон. «Он из Файфкроу, так что доставит ее туда мигом»,— сказала она. Сцену отправки видели многие, и Спрингглторпу до сих пор было стыдно за возню с этой лавочницей посреди полуразрушенного поселка. Наверняка, если бы вместо него поехала Памела, всего этого безобразия не было бы. Что же теперь? Звонить Джеффрису и предложить вместо себя в начальники Памелу Дэвисон?..

Он ел омлет и пил кофе. Всю жизнь он терпеть не мог омлетов, и Эльза никогда их не готовила. Какие глупости. Вполне съедобно. Вот так проживешь с человеком тридцать пять лет, сына вырастишь, а потом окажется, что кое-что важное вовсе не так уж важно, как представлялось. Эльза... Но ведь Эльза же умерла. Когда? Вчера? Позавчера?

Он стал считать дни, но тут в кабину угловатой глыбой вдвинулся старик Мартин Кэйрд, грохоча пластиковыми латами пожарника-спасателя.

— Послушайте, Спрингглторп, ребята дело говорят. Нужен кабель. Километров пять. И у нас будет электричество.

— Март! Каким образом?

Кэйрд загремел налокотниками, опираясь о стол.

— В городе, в рыбном порту стояли траулеры. Ночью три из них остались целы, и утром по высокой воде их отвели в верхний ковш шлюза, где сделалось устье реки. Там они и сейчас на плаву. Три траулера — это две тысячи киловатт. Тут есть один парень с верфи, гостил у родни в Даблфорде, он знает. Кинуть с них кабель до ближайшей подстанции — это километров пять, а может, и меньше. Пока прямо по земле. И будет ток.

Спрингглторп припомнил новехонькие барабаны с кабелем в городе на стройплощадке университета. Суточный потоп не мог им повредить.

Так я отправлю ребят. Дайте бумагу, чтобы патруль пропустил. Пошлю Марта, он управится. Мигом.

Сейчас? В город? Нет, с этим лучше подождать до

утра. Март-младший пусть сейчас отдыхает, а под утро заменит отца.

И тут Спрингл торпа осенило:

— Но ведь там были еще баржи. Несколько барж. Где они?

— Да там же, в ковше.

— На баржи нужно перевести операционную и тяжелораненых. Там не трясет. Слышите, Мартин?

Пишущая машинка Памелы дала длинную одобрительную очередь. Три самоходных понтона для перевозки раненых, грузовики, вертолет для переноса операционной и врачей. Понтоны, вертолеты, грузовики — сколько всего этого было за нынешний день? Это же все люди. Не железные же они! Они смертельно устали. И смены не будет.

А вдруг вот сейчас, сию минуту тряска прекратится? Не может же она длиться вечно! Спрингл торп нажал ногами на пол, чтобы она прекратилась. Но она не прекратилась. Он вздохнул. Зазвонил телефон.

— Вас, капитан.

Почему Памела называет его капитаном? Его же демобилизовали. Часов в девять утра. Забыл, забыл ей сказать об этом.

— Спрингл торп, как у вас?

— Кое-что удалось сделать, господин министр.

Памела молча положила перед ним исписанный листок. Он благодарно кивнул. Хлебопекарня. Наблюдение за океаном. Палатки. Воззвание. Караван. Караван ушел на восток на трех рудовозах. Когда они ползали мимо его дома, казалось, что их тысячи. А их всего-то полтора десятка. Мало. Хорошие машины.

— Прекрасно, Спрингл торп. Кое-кого надо будет наградить. Подготовьте мне, пожалуйста, список. Кстати, примите благодарность от всей нашей семьи. Моя жена и я — мы глубоко вам признательны. Ее мать рассказывает о вас чудеса. И еще одно. Что у вас там вышло с броканским мэром?

Господи, сумело-таки нажаловаться это полено! Нашло кому!

— Спрингл торп, вы глава округа. Не сочтите за упрек, но в таких случаях следует быть осмотрительнее и сотрудничать более гибко. Я надеюсь, вы сделаете выводы. И мой вам совет: не следует так расширенно толковать роль профсоюзов. У них свои задачи, у самоуправления — свои. И вот еще что — это самое глав-

ное. Завтра к двум часам дня здесь у меня соберутся депутаты, с которыми удалось установить связь, и гражданское руководство округов. Ваше присутствие обязательно. Есть мнение, что следует объявить о создании партии национального возрождения. Подумайте над этим. В два часа. Всего вам доброго.

— Как можно сотрудничать с этим броканским кретином? Как?

— Очень просто,— сказала Памела.— Назначьте его на какой-нибудь важный пост.

— Сейчас на важных постах лямку надо тянуть,— проворчал Мартин Кэйрд.

— Можно придумать. Назначьте его председателем комиссии по временно бесхозным имуществам. Я имею в виду город.

Памела Дэвисон всегда права — Спринглторп успел к этому привыкнуть. Кэйрд молча развел руками.

— Договорились? Свяжитесь с ним сами. Так нужно.

— Памела, помилуйте! Зачем нам этот мадридский этикет? Я не собираюсь на старости лет делать политическую карьеру.

— Вы хотите, чтобы ее делал он? Алло! Капитан, вас.

Нет, почему Памела Дэвисон всего лишь сержант?

— Спринглторп, зайдите-ка срочно ко мне.

— Хорошо, полковник. Иду.

Перед столом Уипхэндла спиной к Спринглторпу стоял черноволосый низкорослый человек в кожаной куртке и быстро говорил, мешая английские и французские слова. Он подружился с виконтом Кельтхайром в Африке. Корпус процветания. Виконт много раз прилетал к нему в Сен-Мало на собственном самолете. Встречались они и у виконта, но не так часто, как хотелось бы. Если у вас на руках хозяйство и молодая жена, которая предпочитает не забираться в небеса, то... Они были у Шарля. По телевидению поступили отрывочные сведения. Шарль — коротковолновик. Просидели до полудня, удалось кое-что поймать. Шарль связался с Франс-пресс и телевидением. Он дежурит и ждет сообщений. Вот его сертификат. Какая жена любит, когда муж летает! Но тут и Силь-Силь сказала: «Миш, надо лететь». Он шел по маякам. Брест, Лизард, Кармартен. Здешние маяки молчат. В принципе довольно и тех. Но береговых ориентиров он не узнал и понял,

что вышел из коридора. Поверь электронике — пропадешь. Он пытался прямо связаться с Кельтхайрмидоус, но... Как это сказать: «сан сюксе»? Тогда он решил идти по ориентирам на западном берегу. У него есть карта. «Вот здесь», — виконт пометил своей рукой... Но берег был неузнаваем. Неслыханно неузнаваем. Он слышал, что принимал Шарль, но одно дело — слышать, а другое дело — видеть. Собственными глазами! Тогда он повернул в глубь острова, чтобы сесть при первой же возможности. Увидел много палаток, военных, свободное прямое шоссе. И сел. Конечно, он хотел бы прежде всего связаться с виконтом. Но такое бедствие, такое бедствие! Может быть, он может помочь? «Сансонне» не «Туполев», не «Боинг», но может взять двух-трех раненых. У него есть лицензия на ночное вождение. В спешке он не смог, но... Есть три ящика мясных консервов, ящик хлеба, ящик вина. И он взял в аптеке двадцать пакетов первой помощи и три хирургических набора. Больше там не было. С Красным Крестом он уладит сам, так что пусть у него примут. Но если только не затруднит, он хотел бы связаться с виконтом. Вот карточка.

— Как вас зовут? — спросил Спрингторп.

— Гийом. Мишель Гийом. Вот мой паспорт. Виза до конца года. К счастью... И здесь все время так? Трясется?

— Да. С ночи.

— Вы бы видели эту табуретку, Спрингторп! Как он на ней летает? Четыреста миль над океаном! Эти летчики-любители все полоумные.

— Не знаю, полковник. Летчик, самолет, связь с Францией. Мне не приходило в голову этого желать. Это замечательно.

— Он нарушил правила полета для гражданских самолетов. Пролетел над запретным районом. Я должен его арестовать.

— Это действительно запретный район?

— Какое это имеет значение?

— Но ведь он ненамеренно. Может, позвонить Джеффрису?

— Джеффрис обязан исполнять законы так же, как и все мы.

— Но ведь законы не действуют. Введено осадное положение.

Тем хуже для этого Гийома.

— Полковник, вы в самом деле хотите его упечь?

— Имею на сей счет установленный порядок.

— Но это же... похоже на нелепость! — Спрингторп в последний момент сглотнул неположенное слово «идиотизм».

— А чем вы поручитесь, что он не мародер или не соглядатай банды мародеров, только и ждущих его условного сигнала?

— Полковник, мы слишком часто говорим о мародерах, а ведь ни одного случая...

— Потому-то и ни одного, что мы слишком часто говорим.

— А если я возьму его на поруки?

— Не вздумайте. Пусть это делает виконт Кельтхайр. Придется его искать. Только этого нам не доставало...

Пол выскочил из-под ног Спрингторпа. Свет померк, но было видно, как полковник всем телом метнулся влево и распластался на дверце несгораемого шкафа. Что-то хрястнуло Спрингторпа по шее сзади, он ткнулся спиной и локтями в стену, но соскользнул на пол и уже было привстал на корточки, как его пнуло. Он упал ничком, ударился головой. Что-то гремело, падало, разбивалось. Кто-то кричал. Он тоже закричал. Его подбросило, и он падал томительно долго. Упал, и стало совсем темно. В этом стальном ящике сверху на него ничего не обрушится, он останется невредим, это главное. Как темно!..

3

— Послушайте, не курите здесь! Дышать нечем!

— Тише. Тише!

Фонарь бился о шест палатки и безостановочно дребезжал. Огромные тени метались по стенам и своду, когда кто-нибудь вставал или переходил с места на место, и от этих внезапных бестелесных бросков сжимало горло. В ушибленный затылок монотонно вгрызалась боль, повязка стесняла движения, но они и без того были тяжелы и неуклюжи. Все тело как налилось свинцом. Долго он так не выдержит. Шестьдесят два года возьмут свое, и он рухнет как подкошенный на вздрагивающую землю.

При мысли об этом его закачало, и он сжал руками

край стола, чтобы не упасть с узкого железного стульчика.

— Вот здесь трещина выходит на сушу. Ширина ее — метров тридцать. Она идет дугой на юго-восток, вот здесь пересекает реку. Река обрушивается в нее водопадом. Дальше трещина сужается, сворачивает на юг, потом снова на восток, задевает озеро. Судя по всему, озеро стекает в нее. Мы летели вот здесь. Вода отступила метров на двести от берега. Дальше трещина идет очень прямо на юго-восток и теряется в лесу

— А дороги? («Глупый вопрос. Кто это?»)

Пилот пожал плечами.

— Что? Разорваны? («Конечно же, разорваны!»)

— Кроме этой, восточной. Мы вдоль нее возвращались. Видимых повреждений на ней нет. В пределах зоны наблюдения.

— Скажите летчикам, пусть отдыхают в вертолете,— подсказала Памела, и Спрингторп, через силу подняв голову, громко произнес:

— Благодарю вас. Мы теперь более отчетливо представляем себе положение. Можете идти и отдыхать в вертолете.

Пилот медленно пошел к выходу. Его громадная тень чиркнула по стене палатки. Спрингторп пошатнулся.

— Я должен добавить,— сказал он, одолев слабость.— С узла связи нам пока не звонят. Это значит, что связи нет. Ни с кем. Ни на севере, ни на востоке. В том числе и с правительством. С правительственными органами.

— Надо послать вертолет в Файфкроу!

— Мы обсуждали этот вопрос. Из четырех наших вертолетов цел один, остальные повреждены. Мы с трудом сможем восстановить еще один. Запас горючего крайне ограничен. Поэтому мы решили отложить вылет. До тех пор, пока окончательно не выяснится, что иным способом связи не установить.

— А французский самолет?

— Это особый вопрос. Самолет имеет легкие повреждения, его сейчас ремонтируют. Надеемся, к утру он будет в порядке. Мы предполагаем использовать его для отправки во Францию обращения за помощью к международным организациям и отдельным странам. Через наше посольство во Франции.

— Это было согласовано с правительством?

— Нет,— сказал Спрингторп и только тут ясно вспомнил слова Джеффриса: «Мы обратимся за помощью».— То есть я хочу сказать, правительство собиралось это сделать, но, по-видимому, не успело. Мы посовещались — мисс Дэвисон, мистер Кэйрд, отец Фергус и я — и пришли к выводу, что медлить нельзя. И мы решили предложить комитету взять на себя ответственность за этот шаг перед всей нацией и ее будущим правительством. Будущим, поскольку очевидно, что сейчас у нас его нет. Ради этого мы вас и собрали. Мы хотели обсудить обращение позже, когда обстановка станет яснее. Но раз уж зашла речь... Может быть, проголосуем? Есть ли возражения? Нет. Тогда давайте зачитаем проект. Мисс Дэвисон, прошу.

— «К Объединенным нациям, ко всем международным организациям, правительствам и народам всех стран. Наш остров постигла катастрофа. Уже более суток длится непрекращающееся землетрясение, разрушающее страну и все, что создано в ней руками людей. Число жертв огромно, страна лишена столицы и правительства, ресурсы тают с каждым часом. Мы обращаемся к вам с призывом оказать нам любую возможную помощь воздушным путем. Нужно эвакуировать раненых, детей и стариков из опасных зон. Нужны источники энергии, машины и оборудование для восстановительных работ. Нужно жилье легкого типа, продовольствие и медикаменты, медицинский персонал и оборудование для полевых госпиталей, нужны вертолеты и летчики. Мы пока не представляем себе, как и когда мы сможем возместить расходы, но готовы использовать для этого все средства, которые окажутся в нашем распоряжении. Поспешите установить с нами связь и помочь нам. Именем народа гражданский комитет округа Рэли». Все.

Мертвая тишина. Только ходит ходуном земля и дребезжит фонарь. «Кого назначить вместо раненого Уипхэндла?» — в сотый раз тоскливо подумал Спрингторп, а вслух спросил:

— Какие будут предложения?

— Есть предложения. Надо вычеркнуть слова, что мы лишены правительства,— ответил голос из тьмы, где беспокойно покачивались бледные пятна лиц.

— Но ведь мы же его лишены.

— Нет. Вы и мы — это и есть правительство. Уж

раз мы за это беремся...— начал голос и потерялся в нестройном гомоне.

— Это не так. Никто не давал нам таких полномочий. Мы не можем... Тише! Тише, пожалуйста!

— Хорошо, пусть это и не так. Я не юрист, хотя, по-моему, вся эта казуистика гроша ломаного сейчас не стоит. Но нельзя писать, что у нас нет правительства. Нельзя. Поймите! — настаивал голос.

— Кто вы такой? Вы слышите? Назовите себя! — раздался фальцет из глубины палатки.

— Я председатель броканского профсоюзного комитета Ангус Куотерлайф. Я кандидат в члены правления Центрального совета профсоюзов и член руководящего комитета рабочей партии. И готов подписать воззвание от имени этих организаций. И не как член гражданского комитета округа, а вместе со всеми здесь присутствующими — как член временного правительственного совета. Так и надо подписать: временный правительственный совет республики.

— Что за самозванство! — взвизгнул фальцет, и в ответ тьма разразилась путаной разноголосицей.

— Не самозванство, а он прав!

— Но совет прежде должен как-то конституироваться.

— Пока он будет конституироваться, мы все тут передохнем!

— Без истерики! И так тошно!

— Опишите в воззвании хотя бы то, что произошло у нас!

— Мы думали об этом. Но решили, что это надо сделать позже,— попытался ответить Спринглторп кому-то, кого расслышал и понял, но голоса продолжали спор.

— И правильно!

— Нет, неверно! Кто даст средства, когда нет фактов?

— Постойте, постойте. Есть предложение. Давайте утвердим пока так. Самолет полетит только утром. Если до утра что-нибудь дополнительно выяснится...

— Вот-вот! Господа центристы во всей своей красе!

— Прекратите! Вам что здесь, дискуссионный клуб? Я считаю, обращение написано правильно и надо его утвердить. И оповестить об этом немедленно. Всех. К подписи «временный правительственный совет» может присоединиться любой. Кто к ней сейчас не присое-

— Нет,— сказал Спринглторп и только тут ясно вспомнил слова Джеффриса: «Мы обратимся за помощью».— То есть я хочу сказать, правительство собиралось это сделать, но, по-видимому, не успело. Мы посовещались — мисс Дэвисон, мистер Кэйрд, отец Фергус и я — и пришли к выводу, что медлить нельзя. И мы решили предложить комитету взять на себя ответственность за этот шаг перед всей нацией и ее будущим правительством. Будущим, поскольку очевидно, что сейчас у нас его нет. Ради этого мы вас и собрали. Мы хотели обсудить обращение позже, когда обстановка станет яснее. Но раз уж зашла речь... Может быть, проголосуем? Есть ли возражения? Нет. Тогда давайте зачитаем проект. Мисс Дэвисон, прошу.

— «К Объединенным нациям, ко всем международным организациям, правительствам и народам всех стран. Наш остров постигла катастрофа. Уже более суток длится непрекращающееся землетрясение, разрушающее страну и все, что создано в ней руками людей. Число жертв огромно, страна лишена столицы и правительства, ресурсы тают с каждым часом. Мы обращаемся к вам с призывом оказать нам любую возможную помощь воздушным путем. Нужно эвакуировать раненых, детей и стариков из опасных зон. Нужны источники энергии, машины и оборудование для восстановительных работ. Нужно жилье легкого типа, продовольствие и медикаменты, медицинский персонал и оборудование для полевых госпиталей, нужны вертолеты и летчики. Мы пока не представляем себе, как и когда мы сможем возместить расходы, но готовы использовать для этого все средства, которые окажутся в нашем распоряжении. Поспешите установить с нами связь и помочь нам. Именем народа гражданский комитет округа Рэли». Все.

Мертвая тишина. Только ходит ходуном земля и дребезжит фонарь. «Кого назначить вместо раненого Уипхэндла?» — в сотый раз тоскливо подумал Спринглторп, а вслух спросил:

— Какие будут предложения?

— Есть предложения. Надо вычеркнуть слова, что мы лишены правительства,— ответил голос из тьмы, где беспокойно покачивались бледные пятна лиц.

— Но ведь мы же его лишены.

— Нет. Вы и мы — это и есть правительство. Уж

раз мы за это беремся...— начал голос и потерялся в нестройном гомоне.

— Это не так. Никто не давал нам таких полномочий. Мы не можем... Тише! Тише, пожалуйста!

— Хорошо, пусть это и не так. Я не юрист, хотя, по-моему, вся эта казуистика гроша ломаного сейчас не стоит. Но нельзя писать, что у нас нет правительства. Нельзя. Поймите! — настаивал голос.

— Кто вы такой? Вы слышите? Назовите себя! — раздался фальцет из глубины палатки.

— Я председатель броканского профсоюзного комитета Ангус Куотерлайф. Я кандидат в члены правления Центрального совета профсоюзов и член руководящего комитета рабочей партии. И готов подписать воззвание от имени этих организаций. И не как член гражданского комитета округа, а вместе со всеми здесь присутствующими — как член временного правительственного совета. Так и надо подписать: временный правительственный совет республики.

— Что за самозванство! — взвизгнул фальцет, и в ответ тьма разразилась путаной разноголосицей.

— Не самозванство, а он прав!

— Но совет прежде должен как-то конституироваться.

— Пока он будет конституироваться, мы все тут передохнем!

— Без истерики! И так тошно!

— Опишите в воззвании хотя бы то, что произошло у нас!

— Мы думали об этом. Но решили, что это надо сделать позже,— попытался ответить Спрингторп кому-то, кого расслышал и понял, но голоса продолжали спор.

— И правильно!

— Нет, неверно! Кто даст средства, когда нет фактов?

— Постойте, постойте. Есть предложение. Давайте утвердим пока так. Самолет полетит только утром. Если до утра что-нибудь дополнительно выяснится...

— Вот-вот! Господа центристы во всей своей красе!

— Прекратите! Вам что здесь, дискуссионный клуб? Я считаю, обращение написано правильно и надо его утвердить. И оповестить об этом немедленно. Всех. К подписи «временный правительственный совет» может присоединиться любой. Кто к ней сейчас не присое-

динится? Капитан, голосуйте! Есть описание, нет описания — какая разница! По сути дела возражений нет? Нет.

Это был голос Куотерлайфа. «Куотерлайф»,— запомнил Спринглторп.

— Не курите здесь! Сколько можно просить! — отозвался кто-то.

«Больше никто ничего не скажет»,— понял Спринглторп и громко объявил:

— Тише! Спокойней. Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы утвердить текст обращения, прошу поднять руку.

— Без слов, что у нас нет правительства и с подписью: «Временный правительственный совет республики»! — настаивал Куотерлайф.

— Да. Без этих слов и с этой подписью. По-моему, это разумно. Как ваше мнение, мисс Дэвисон, мистер Кэйрд, отец Фергус?

— По-моему, Куотерлайф прав,— сказала Памела.

— И этот балаган я должен считать правительством? Нет уж, увольте! — крикнул кто-то; последовала короткая возня, и в тишине отчетливо раздалось: «Вот дурак!»

— Кто против? Нет. Текст утвержден,— нерешительно сказал Спринглторп.— Мисс Дэвисон, исправьте текст и подпись. Теперь мистер Кэйрд ознакомит нас с положением в округе. Прошу.

Мартин-отец грузно поднялся и оперся рукой о шест. Дребезжание утихло.

— Что в округе? Худо в округе. Домов, пригодных для жилья, много, но кто в них пойдет, пока все это не кончится? Сто тысяч народу без крова. И какой народ? Все старики да детишки. Сами знаете, кто тут живет. У нас тысяч десять рабочих рук. Декабрь на носу, а жить можно только в палатках. Мы тут придумали утеплять их фуражными брикетами. Сена в округе полно. Наш экспорт. Оно же и резерв топлива. Надо объявить полную реквизицию брикетов и сена россыпью...

У входа в палатку раздался шум. Спринглторп с трудом, всем телом, обернулся и увидел парня с приемником в руках.

— Слушайте, слушайте! — кричал тот, подняв приемник над головой.

— «...всему населению острова и его властям. По данным, полученным от геодезических спутников, ваш

остров как географический массив пришел в движение. Он смещается на юго-запад со скоростью пятьдесят — семьдесят метров в час и, по-видимому, дополнительно поворачивается по часовой стрелке. Точные измерения затруднены неустойчивостью конфигурации берегов. По полученным снимкам, наибольшие изменения произошли на восточном побережье. По просьбе вашего представителя в ООН назначено внеочередное заседание Совета Безопасности. Заседание, однако, отложено в связи со срочной эвакуацией городов восточного побережья Соединенных Штатов после цунами, вызвавшего значительные жертвы и разрушения по берегам Северной Атлантики. Внимание, внимание! Мы ведем для вас непрерывную передачу на частотах ваших центральных радиостанций. Мы примем от вас любые сообщения на частотах пять тысяч сто восемьдесят, шесть тысяч двести десять и шесть тысяч восемьсот сорок килогерц при любом уровне мощности. Мы будем повторять эту передачу каждый час до получения ответных сообщений. Сейчас будет передана инструкция по сборке коротковолнового передатчика. Затем мы расскажем об устройстве сейсмоустойчивых убежищ для гражданского населения и к вам обратятся архиепископ кентерберийский и кардинал Патрик О'Клеллан. В течение ближайших суток начнет работать программа телевидения. Вы примете ее на ваш телевизор, если из подручных средств сделаете специальную приемную антенну. Мы сообщим, как ее сделать. Внимание, внимание! Ваш представитель в ООН Лойгайр О'Брайд призывает всех граждан страны довести до сведения правительства, что он ждет инструкций. Во Франции начата эвакуация Нормандии, Бретани и Аквитании. В Голландии толчки причинили серьезный ущерб водоотливным сооружениям. В Лондоне объявлено о больших разрушениях на западном побережье. Рассматривается вопрос о частичном введении осадного положения и оказании помощи пострадавшим районам. Внимание! Мы повторяем наше сообщение! По данным, полученным с геодезических спутников, ваш остров...»

— Боже мой, боже мой, да что же это! Мы же все погибнем здесь! — раздался чей-то пронзительный крик. — Люди! Люди! Помогите! Да сделайте же что-нибудь, люди!

Голос захлебнулся рыданием, но вся палатка взорвалась всеобщим воплем, тени взметнулись,

и Спринглторп, не в силах совладать с собой, рухнул на стульчик и вместе с ним наземь. Памела Дэвисон вскочила, выхватила пистолет и, держа его в поднятой руке, стала мерно стрелять вверх, пронзительно крича:

— Молчать! Молчать! Мужики вы или бабы! Перестреляю! Подонки! Ложись! Ложись, я сказала! Встать!.. Ложись!.. Встать!

«Она права! — сообразил Спринглторп.— Иначе не совладать. Паника...»

* * *

«Сансонне», полупрозрачный перепончатый самолетик, стоял на шоссе, облитый розовым светом зари. Утро наступало с неспешной постепенностью, словно ничего не произошло, словно не разверзается под ногами земля, внезапно ставшая устрашающей коварной хлябью. И словно не мечутся по ней люди, пораженные распадом жизни, захлестнутые безумием безысходности.

Как странно! Пока они были одни лицом к лицу с катастрофой, все как-то держались. Но вот раздался голос человечества, обещание помощи и поддержки, и все потеряли рассудок. Дэвисон знала лишь одно средство от этого безумия: труд, неимоверно тяжкий, непроизводительный, но осмысленный. В три часа ночи поднять лагерь, наливающийся динамитом истерии, разослать сотни людей на реквизицию сена — больше ничего не пришло им в головы. И они сделали это. И напряжение ослабело, рассосалось. Нет, оно не исчезло, оно просто перешло на них самих. Спринглторп чувствовал, что весь дрожит, что чуть что — и он начнет кричать, кидаться на людей. И он изо всех сил старался найти и для себя какой-то труд. Не думать о других и за других, а просто схватить лопату и копать, копать, пока не обнажится в земле пульсирующее напряжением ядро — средоточие всего этого ужаса. Копать...

Было холодно, сыро и безветренно. Вокруг самолета хлопотали люди, чуть поодаль сбилась кучка солдат с карабинами. Капитан Двайер, которого он, Спринглторп, назначил командовать батальоном вместо тяжело раненного полковника Уинхэндла, видимо, прошел ту же школу по предотвращению гражданских беспорядков, что и сам полковник. Словно это не армия, а полиция. Да, кстати, полиция! Куда она подевалась?

Было-то ее раз, два и обчелся. Кому она тут была нужна? Ее надо возобновить и привести в действие. Пусть займется... Хотя бы учетом источников воды и соблюдением порядка возле них. Вода — это... Спать! Как хочется спать! Вот Гийом улетит, и он пойдет спать. А кто останется за него? Памела? Нет, отец Фергус. Да, он.

Мотор «Сансонне» взревывал, стрелял, затихал и снова взревывал. Наконец кто-то побежал оттуда, и Спрингглторп увидел, что это Гийом и что Гийом бежит к нему.

— Все в порядке, шеф. Я могу лететь.

Спрингглторп протянул ему руку.

— Я... я понимаю, я должен вернуться, шеф. Но... не знаю.

Он хороший парень, этот француз, но шел бы он ко всем чертям. Он что, хочет, чтобы ему пали на грудь, благодарили и великодушно дозволили считать себя свободным? От упряжи, которую сам на себя напялил? Пусть сам разбирается. Пижон!

Подошла санитарная машина. «Сансонне» возьмет трех раненых. Один из них — полковник Уипхэндл. У него поврежден позвоночник от удара о рукоять несгораемого шкафа. Они полетят без сопровождающего. Гийом, подлетая к дому, вызовет санитарную машину, а в воздухе им все равно никто и ничем не поможет.

Полковник был бледен как полотно и лежал прямо и недвижно, примотанный к неструганой доске полосами из какой-то легкомысленной ткани в оранжевые цветочки.

— Слушайте, Спрингглторп. Запомните адрес. Тринити-Майнор, Патрик-кресчент, три. Это мой дом. Двадцать километров к северу от Линкенни. Надеюсь, он цел. Я не знаю. Там жена, девочки. Скажите ей. Портфель моего отца. Она знает. Там бумаги. В синей папке. Я слышал сообщение. Видимо, они были правы. Вы сами поймете. И еще. Двайер — надежный офицер. Позаботьтесь о его семье. Она где-то на северо-востоке. Будьте осмотрительнее. Не исключайте альтернатив. Вы склонны. Я желаю вам. Бумаги — там ничего экстренного, но эту возможность не следует исключать. Простите. Очень больно. Так глупо, глупо.

— Да, — сказал Спрингглторп. — Я все понял. Мы

постараемся. Доброго вам пути, полковник. Потерпите.

Уипхэндл прерывисто вздохнул и закрыл глаза. Лоб у него был весь в поту. Спрингторп кивнул санитарам, они подняли носилки с доской и стали заталкивать их в самолет через боковой люк.

Гийом на прощанье высунулся из кабины, поднял руку в черной перчатке, зачем-то стукнул два раза кулаком по борту и захлопнул фонарь. «Сансонне» взревел, побежал по шоссе, взмыл и ослепительно сверкнул в лучах восходящего солнца. Его путь сегодня будет длиннее, чем вчера. Километров на двенадцать. Со спутников передали, что сползание острова продолжается.

Спрингторп побрел к своему джипу. Спать, только спать. Найти укромный уголок, забиться, как в нору, ощутить блаженное тепло, охватывающее ноги, и заснуть. Проснуться — и чтобы всего этого не было, чтобы по-прежнему, натужно рокоча плыли мимо дома рудовозы, чтобы из кухни пахло гренками, которые жарит Эльза, чтобы светило розовое солнце, а этот распад оказался сном. Длинным, тяжелым, связным. Когда же он начался? Когда погиб Джонни?..

— Мистер капитан, вам.

Мальчик лет десяти подал сложенную мятую бумажку. Он щеголял в офицерской фуражке, съехавшей ему на глаза, поверх курточки на шнурке висел игрушечный автомат. В этом аду он был посыльным. Он принес сообщение с радиостанции. Удалось связаться еще с тремя округами на севере и востоке. Он был самым настоящим гонцом с важным поручением, но этого ему было мало. Он играл. Бездомный, может быть, потерявший родных, бегущий по неверной земле острова, низвергающегося в океанские пучины, он еще нуждался в чем-то, что могла дать ему только игра, только его собственная фантазия. Вот так, наверное, играл и Джонни. Тогда было столько работы! Спрингторп уезжал и возвращался затемно и редко видел, как играет его сын. Да, у Джонни не было отца. Как он был ограблен, бедный мальчик! Во имя чего?

В нем всколыхнулась нежность.

— Благодарю за службу. На вас по пути нападали? — сказал он и обрадовался, увидев, что угадал игру.

— Да! — выпалил мальчик. — Целая тыща! Они стреляли отравленными стрелами. Я их всех — паф! паф! паф!

Два округа безоговорочно присоединялись к решению пяти, с которыми удалось установить радиотелеграфную связь часам к четырем утра. К решению создать временный правительственный совет, принимающий всю полноту власти. Третий округ сообщал, что на его территории забило несколько горячих соляных гейзеров, просил о помощи, обещал обсудить предложение. Файфкроу молчал. Что же там случилось? Где Джеффрис?..

— Награждаю вас Большим крестом разведчика,— торжественно сказал Спрингторп. И спохватился. Ему теперь нельзя так шутить. Он действительно тот самый генерал-адмирал-фельдмаршал, который награждает, наказывает, велит: «Сделать так!» И никто ему не возразит, и все станут делать так.

— За веру, отчизну и короля! — отрапортовал посыльный.— Прикажете доставить ответ?

— Да,— сказал Спрингторп.— Будьте осторожны по пути и не опаздайте к завтраку.

— Слушаюсь, сэр!

— А где твоя мама?

— Там.— Мальчик махнул рукой.— Они там шьют.

Спрингторп вырвал листок из записной книжки, коряво написал: «Отец Фергус, надо сообщить, что к нам присоединились еще два округа. Я должен поспать. Не могу больше. Вы пока за меня. Дэвисон будет знать, где я. С.».

— Ты знаешь отца Фергуса?

— Не,— ответил мальчик.— Я найду. Давайте.

Он схватил записку и побежал прочь. Земля под ногами резко дернулась, мальчик споткнулся, но не упал и продолжал бежать, размахивая белым листком...

— Памела, мне нужно отдохнуть,— сказал Спрингторп, вернувшись в бронетранспортер.— Я уже ничего не соображаю.

— Я разбужу вас в полдень, капитан.

Она вывела его в коридорчик, отворила боковую дверцу. Узкое помещение, одна над другой две застеленные койки.

Спрингторп удивился, вошел, дверца лязгнула за спиной. Он сел, чтобы снять тяжеленные ботинки, понял, что у него не хватит на это сил, ткнулся головой в подушку и, чувствуя себя ужасно виноватым, потянул ноги в ботинках на койку.

Нет, так нельзя. Нельзя позволять себе распускаться. Никому нельзя распускаться.

Он снова сел и непослушными пальцами начал расстегивать застежки.

4

— Вы меня простите, Спрингторп, мой врач в соседней комнате, и вам в случае чего придется его позвать. Зрелище не из приятных, но что поделаешь?

Сенатору Джонатану Баунтону, главе гражданского комитета округа Линкенни, было уже за семьдесят, и его донимал диабет. Большой, полный, седовласый, бледное лицо, вялые нечеткие движения, изнурительное догорание со шприцом инсулина. Единственный сенатор прежнего времени из числа девятнадцати начальников округов — новоиспеченных членов временного правительственного совета.

Спрингторп кивнул и блаженно погрузился в надувное кресло. Не с чего было блаженствовать. Да. Не с чего. И все-таки как хорошо было просто сидеть в кресле и не чувствовать себя давимым червем. Все, что они могли делать и делали в Рэли, было слепой возней червяка под топочущими подошвами бегущих гигантов. Он понял это, и дела начали валиться из рук. Закричи он об этом, стало бы легче. Но он должен был скрывать. Ото всех. И это стало невыносимо. В прощальных словах Уипхэндла был какой-то странный намек. Портфель, бумаги. И совещание в Файфкроу. Оно не состоялось, но должно быть собрано. Там, в Линкенни, сенатор Баунтон. Все же сенатор. Надо ехать к нему. С этим согласились все. И только он сам знал, что это бегство. И еще Памела — у нее он был как на ладони. Бегство — это унизительно, это стыдно, но он больше не мог. Иначе он сошел бы с ума.

Выбираясь на бронетранспортере за пределы округа по восточной дороге, единственной, которую еще не оборвали когти взбесившейся стихии, он горел от этого стыда. Но в первом же городке соседнего округа Тлеммок ему было дано взглянуть на вещи с другой стороны.

Городок был пуст. У входа в полуобвалившийся продовольственный магазин высилась груда картонных коробок с овощными консервами. Когда они приблизились, раздались выстрелы, по броне защелкало.

«Прекратите огонь!» — оглушительно взревел радиомегафон транспортера. В ответ раздалась брань.

Баррикада наполовину перекрыла путь. Тратить время на объезд, переговоры? «А ну его! — сказал лейтенант Хорн, командовавший экипажем. — Давай вперед помаленьку».

Транспортер боком разворошил сооружение и пошел вперед. Банки хрустели и звонко лопались, обдавая машину струями томатного соуса. Сквозь смотровую щель Спрингглторп на миг увидел на пороге магазина мужчину с двумя охотничьими ружьями, женщину с кочергой и старуху. К подолу старухиного платья жалось двое малышей. «Дурачок!» — рявкнул мегафон на прощанье.

Не было и признаков того, чтобы кто-то разбирал развалины, пытался собрать людей, поддерживать порядок. Они проехали мимо беспорядочных, явно самочинных лагерей. Люди жили в палатках, автомобилях, трейлерах.

В придорожном ресторанчике владелец устроил госпиталь. Он носил раненым воду из колодца, его жена кормила их консервами, но надолго ли хватит? Есть три врача: стоматолог, гинеколог и педиатр. Был и хирург, но прошлой ночью исчез. Нет, от властей никого у них не было. Какие медикаменты, что вы! Раненых человек шестьдесят. Кто-то добрался сам, некоторых привозят и оставляют. Кое за кем ухаживают родные. Столько работы! Есть очень тяжелые случаи, четверо скончались...

Только на подходе к самому Тлеммоку они встретили наконец военный патруль. Их проводили к начальнику округа, багроволицему майору, видимо, из тех, что приказывают выщипывать травку, проросшую в неположенном месте. В гражданских делах он ничего не понимал. Опереться на профсоюзы? На приходские советы? Лицо майора отобразило крайнее напряжение мысли. Госпиталь? Да-да, кажется, ему говорили. Надо будет спланировать выезд. Так, чтобы исключить возможность дезертирства.

Вот что они сделали в Рэли — дали людям порядок вещей. Веру в свои силы, способность самим устраивать пусть примитивный, но все-таки уклад общей жизни. Во имя им самим не ясной, но кем-то «наверху» осмысленной общей цели. Здесь, в Линкенни, было относительно спокойно, но наметанный глаз Спрингглторпа

всюду находил упущения, которые легко можно исправить: тысячные очереди к цистернам с водой, отсутствие постоянных постов связи, кое-где те же баррикады у магазинов — поветрие это, что ли? Баунтон незамедлительно принял его, но за советы не благодарил, только кивал и время от времени глотал пилюли.

В Рэли земля тряслась непрерывно. Здесь она судорожно подергивалась раз в десять-пятнадцать минут. Везет же людям! На целых четверть часа можно забыть о том, что происходит.

— У нас серьезная проблема, Спринглторп. Здесь ведь каторжная тюрьма. Пять тысяч всякой нечисти. В основном рецидивисты. Кое-кого я, так сказать заочно знаю: я член верховной апелляционной коллегии. Мы им объявили: малейшее неповиновение — расстрел на месте. Но во время толчков все сходят с ума возможно всякое. Оцепили тюрьму войсками, говорим что готовим перевод в специальный лагерь. Но лагеря у нас нет. Я ничего не могу пока придумать.— И сенатор, вздохнув, проглотил очередную таблетку.

— И они что? До сих пор в здании?

— Да. Сооружение крепкое. Все еще держится.

— Может быть, вывести группу более или менее безвредных? Пусть сами себе строят лагерь.

— Честно говоря, лагерь изолировать нам будет намного труднее. Все это крайне сложно, так что будьте к нам снисходительнее. Да, кстати. У нас тут в политехникуме довольно сильная группа преподавателей естественных наук. Вы знаете, что они говорят? Оказывается, есть такой закон. Кажется, Перэ. Толчки происходят в момент прохождения Луны через меридиан. Простая штука, когда тебе об этом говорят другие, не правда ли? Они составили расписание ожидаемых сильных сотрясений. У вас есть своя связь с Рэли? Вот копия, передайте.

Это уже было кое-что! Даже более, чем кое-что. И в Тринити-Майнор Спринглторп отправился приободренный.

Дом Уипхэндла в трех местах треснул на всю высоту, кусок стены на втором этаже обрушился, сквозь пролом был виден ковер на стене и люстра. Жену полковника и двух его дочерей Спринглторпу помогли найти в лагере за городком. Они жили в своем летнем трейлере. Да, ей уже все известно. Муж — в Виши, месяца через три встанет на ноги. Со спутника передали.

Переехать в Рэли? Нет, в этом нет нужды. Здесь у них много родни. Единственное, чего они хотели бы,— это поблагодарить всех, кто позаботился об отце Медб и Грайне. Спринглторп кивнул.

— Ваш муж, мадам,— человек весьма высоких достоинств. Мы все и я сам многим ему обязаны. Может быть, вы все же переберетесь к нам? Это была бы честь для нашего округа.

— Не будем больше говорить об этом, мистер Спринглторп. А это его солдаты с вами?

— Да, мадам.

— Они прекрасно выглядят. Так редко сейчас видишь спокойных людей.

В городок они отправились на бронетранспортере. Спринглторп предложил послать за портфелем солдата.

— В этом нет никакой надобности. Я сделаю это сама. До толчка еще три часа, так что никакой опасности я не подвергаюсь.

Что-то в повадках мадам Уинхэндл и в ее манере говорить напомнило Спринглторпу Памелу Дэвисон. Эльза была совсем не такая. Как бы она повела себя, окажись на месте сержанта Дэвисон? Он поймал себя на том, что уже неоднократно пытался это себе представить. И не получалось. Эльза предвидящая, Эльза рассчитывающая, Эльза, владеющая людьми и машинами, которые в первый раз видит,— нет, это невозможно, невероятно. Будь Эльза сейчас жива, кем бы она стала? Сиделкой в госпитале? Швеей? Поварихой? Или в оцепенении ждала бы, когда же он, вывалянный в тысяче дел и столкновений, ввалится и рухнет на пороге? Само появление этих мыслей было изменой, изменой человеку, который беззаветно отдал их союзу свою жизнь. Единственное, чем он должен был отплатить,— это сохранением памяти об этом человеке, вознесением его образа надо всеми прочими, живыми и мертвыми. Но он не мог, не получалось. И душу терзало чувство вины перед Эльзой, уничтожаемой забвением. Забвением стремительным, беспощадным, всепроникающим, как кавалерийская атака. Как буря!

Нет, Эльза умерла не тогда, в постели. Она умирала сейчас в нем. Лишенная речи, она тянула к нему руки, а он позволял этой буре гнать ее прочь, не защищал, не сражался. Она глядела на него с немой удивленной укоризной — а вокруг были тысячи! Тысячи людей, живых,

ничего об этом не знающих и зависящих от него. Он должен был принадлежать им. Исключительно и самоотверженно. Что значила для людей вся «та» его жизнь? Жизнь, никому не нужная, ничего не означавшая. Которой не должно было быть...

Синяя папка оказалась полупрозрачной пластиковой обложкой, в которой лежало несколько листков бумаги. Первой по счету была вырезка из какого-то журнала — карикатура: роденовский «Мыслитель» отпиливал сук, на котором сидит; на земле под суком стоял человечек, обвитый геликоном; щеки человечка были раздуты, глаза лезли на лоб от натуги, а из жерла инструмента извергалась нотная запись марша «Преславное дело».

Следующие несколько листков были, по-видимому, рукописным черновиком письма, начинавшегося со слов «Ваше высокопревосходительство». Затем следовал лист атласной бумаги с грифом «Управление по делам президента республики». Доктору Фиаху Дж. Дафти сообщалось, что его докладная записка была передана на рассмотрение в Высший лицей наук и ремесел, откуда получен ответ за подписью профессора М. Д. Литтлбрэйна, копию какового имеют честь препроводить. И наконец, шли машинописные странички, подписанные профессором Литтлбрэйном.

«Заявитель считает опасной технологическую схему атомной электростанции Арк-Родрэм мощностью четыре миллиона киловатт, проект которой подготовлен группой ведущих специалистов... Он считает опасной схему закачки отработанных вод через восемь скважин на глубину до шести километров — прием, успешно примененный на всемирно известной... Ссылаясь на теорию Флетчера-Сэксби, согласно которой массив острова располагается на наклонной плоскости, обращенной в сторону абиссальных глубин западноевропейской котловины Атлантического океана и образованной наклонно-восходящей палеоморфной оливиновой плитой, заявитель считает, что отработанные воды могут привести к усиленной серпентинизации поверхностного слоя плиты, и вследствие этого к нарушению спайности, и вследствие этого к нарушению геостатического равновесия массива острова...

Теория Флетчера-Сэксби, в свое время пользовавшаяся популярностью, является лишь живописной гипотезой, основанной на недостаточном числе экспери-

ментальных данных... Неоднократное всестороннее исследование свойств отработанных вод не подтверждает... Механизм нарушения спайности, предлагаемый заявителем, как показано в небезызвестном труде... следует считать сомнительным...

Остается лишь сожалеть, что заявитель, по-видимому, недостаточно информирован о... поскольку он не является специалистом в данной области... Математическая модель варианта, убедительно подтвержденная на прототипе, несомненно подтверждает применимость проекта в условиях района Арк-Родрэм...

Отдавая должное гуманным чувствам заявителя и отнесясь к его аргументации со всем вниманием, которого он заслуживает, будучи автором известных работ... комиссия рассмотрела высказанные положения и на основании вышеизложенного пришла к единодушному выводу, что выдвигаемые возражения недостаточно обоснованы и спорны...»

— Мадам Уипхэндл, можно задать несколько вопросов?

— Пожалуйста.

— Чьи это бумаги? Кто такой Фиах Дафти?

— Это друг покойного отца моего мужа, насколько я знаю. У нас в альбоме есть несколько фотографий, где они сняты вместе.

— Как эти бумаги оказались у вас?

— Понятия не имею. Я случайно наткнулась на них, муж попросил меня спрятать их в этот портфель.

— Когда скончался отец вашего мужа?

— Более десяти лет тому назад.

Спринглторп посмотрел на атласный лист. На официальных письмах проставляются даты. Дата была. Сорокалетней давности. Сорок четыре года тому назад никому не ведомый ныне, давно ушедший из этого мира Ф. Дж. Дафти тщетно стучал кулаком по надутому спесью пузырю технического прогресса. Почему-то он представился Спринглторпу изможденным, обросшим седой щетиной, с нервно горящими глазами, в поношенном плаще, с измятой шляпой в руке, слишком тонкой для непомерно широкого рукава.

— Прочтите это.— Спринглторп протянул мадам Уипхэндл машинописные листки.

— Боже правый!— тихо сказала она, поднимая взгляд от последней страницы.— Что же нас ожидает?

— Не знаю. Если считать, что произошло именно

то, чего он опасался... Но кто поручится, что это так? Нужны специалисты.

— Где вы их найдете? Как они будут работать? Пока они разберутся, мы все утонем! Нам же надо бежать! Бежать отсюда!

— Да. Полная эвакуация.

— Четырех миллионов человек?

— Нам помогут. Нам должны помочь.

— Кто? Кто нам даст приют? Какой ужас! Наша земля! Наш народ!

— Мадам,— медленно сказал Спрингглторп.— Ваш муж сказал мне об этих бумагах, но из его слов ясно не следовало, могу ли я ими свободно распоряжаться. Как вы считаете, могу ли я оставить их себе? Или мы снимем копии?

— Наша бедная земля!.. Господи, о чем вы говорите?

— И тем не менее...

— Хорошо,— сказала мадам Уипхэндл.— Оставьте их у себя.

— Я говорю об этом потому, что разговоры и слухи об этих бумагах способны породить всеобщую истерию. Этого нельзя допустить. И я ...

— Понимаю,— жестко прервала мадам Уипхэндл.— Вы хотите упрятать меня в этот ваш железный ящик на колесах, ради уверенности, что я не проговорюсь. Так?

— Я не беру с вас никаких обязательств. Вы сами прекрасно понимаете, как обстоит дело. Но я сделаю все, чтобы вы с дочерьми при первой же оказии отправились на материк к мужу.

Мадам Уипхэндл пожала плечами.

— Типичный мужской подход. Это все, что я могу сказать. Но учтите: нас не трое, нас шестеро. Я взяла на попечение трех сироток. Отец у них погиб, а мать покончила с собой.

Трех карапузов — мал мала меньше — устроили в спальном отсеке транспортера.

— Мама им сказала,— рассказывала Спрингглторпу Медб Уипхэндл, пока грузная машина одолевала путь в Линкенни.— Мама им сказала: «Деточки, мы все грешные, боженька на нас рассердился и решил всех убить. Но вы-то невинные, безгрешные, он вас пожалеет и не оставит. Идите по дороге и всем говорите: «Мамы и папы у нас уже нет». И побежала и прыгнула

в черную дырку. У нас за лагерем тоже сделалась черная дырка. Когда трясет, оттуда страшно кричат. Это грешники, да?

Ко времени вечернего толчка они не только успели добраться до Линкенни, но даже с комфортом устроиться. Местная фабрика изготовляла надувные домики для автотуристов, товар в это время года не ходовой. На складе был большой запас готовой продукции, из которого сенатор Баунтон распорядился выделить десяток штук для округа Рэли. Толчок был не очень сильный и прошел без особых осложнений. Когда подготовлены, совсем другое дело. К десяти вечера была установлена связь с Рэли. У микрофона была Памела.

Зная время толчка, она вовремя подняла в воздух вертолет, и тот немедленно обследовал округ с воздуха. Трещина на северо-востоке расширилась до двухсот — трехсот метров и подобралась к той единственной дороге, по которой Спрингторп приехал сюда. На остатки города вновь обрушился океан. Целых зданий в округе практически не осталось. Но благодаря предупреждению количество новых жертв сократилось.

— Что в Тринити-Майнор? Что вы там нашли? — кричала в микрофон Памела.— Что-нибудь важное?

— Да,— ответил Спрингторп и прочитал ей все «Преславное дело», как успел уже окрестить содержимое синенькой обложки.

— Поговорите с Баунтоном. Немедленно поговорите с Баунтоном,— донеслось в ответ. Микрофон щелкнул и умолк. Памела берегла аккумуляторы.

Некоторое время Спрингторп сидел и смотрел на подушку с ярким штампом какого-то мотеля. Потом закрыл глаза и увидел доктора Фиаха Дж. Дафти. Дафти, такой, каким он себе его придумал, представился ему поднимающимся по бесконечной дворцовой лестнице, устланной алой дорожкой, и Спрингторп слышал отзвук его шагов. Его охватило щемящее томление. Четверть двенадцатого. Поздно. Очень поздно. Он вздохнул и снял трубку полевого телефона.

— Это Спрингторп. Есть связь с сенатором Баунтоном? Попытайтесь соединить меня с ним, если он не спит.

Минуты три в трубке что-то шуршало и поскрипывало, и вот раздался голос:

— Алло, это Спрингторп? Вы уже вернулись! Очень хорошо. Нет, я не сплю. И пока не собираюсь.

Вы очень своевременно. Я вас жду. Ваших не беспокойте, я вышлю машину.

* * *

Баунтон закрыл «Преславное дело», положил на стол и накрыл большими дряблыми кулаками. Молчание затягивалось.

— Что вы по этому поводу думаете?— натужно спросил Спрингторп.— Что делать?

— Я знал Литтлбрэйна,— медленно проговорил Баунтон.— Это было очень давно. Мы даже встречались в обществе. Почетный ректор Высшего лицея. Жесткий был человек. Педантичный и, я бы сказал, болезненно честный. Обычно так кончают неудачники, на которых возлагалось много надежд.

— А Дафти?

— Не припоминаю. Нет, не припоминаю. Как это к вам попало? Расскажите подробней. И если не затруднит, заодно расскажите и о себе. Как вы стали начальником округа в Рэли? Я знал там многих, но о вас не слышал.— И Баунтон потянулся за таблеткой.

— Так,— сказал он, когда Спрингторп закончил рассказ.— А теперь посмотрите это.— Он протянул Спрингторпу пачку разнокалиберных листков, сколотых вычурной скрепкой.— Это последние новости.

Северо-западный округ после вечернего толчка прекратил связь. К десяти вечера на юго-восточной границе появилось несколько машин с беженцами. Утверждают, что бóльшая часть округа поглощена океаном. Северный округ рассечен на три части бездонными трещинами. Паника. Население уходит на юг. Волна беженцев достигнет Линкенни через сутки. Из западных округов сообщают о сильных толчках, разрушениях и жертвах. Запасы продовольствия иссякают. Местами управление и связь потеряны. Центральный округ отмечает резкое сокращение дебита пресноводных источников вдоль водораздельного хребта. Главная река острова при этом темпе убыли иссякнет за две недели.

— По сравнению с другими, наш район выглядит довольно прочно. Даже благополучно, если так можно выразиться. Почему — мы не знаем, но это не столь важно. Важно, к чему это приведет. Через несколько дней здесь скопится все население острова. Неделю назад

тут жило пятьдесят тысяч человек, будет четыре миллиона. Вы можете себе представить, что это такое?

Баунтон говорил медленно и тихо, словно размышлял вслух. Выдержав паузу, он сам себе кивнул и внезапно вскинул голову.

— Так о чем же мы будем говорить с вами, Спрингторп? О давнем споре — ему без малого полвека, и мы оба, мягко говоря, в этих делах некомпетентны — или об этом потопе горя и страха, который вот-вот нас окончательно захлестнет?

— Но если Дафти прав, — начал было Спрингторп. Баунтон остановил его мягким жестом.

— Полвека назад, — продолжал он, — все или почти все пришли к выводу, что Дафти неправ. И сам Дафти с этим почти согласился — будем говорить так. Да, да. Он ведь спрятал эти бумаги в стол. Логика зримого. Все было спокойно, и все невольно верили тем, кто опирался на эту очевидность. Теперь очевидность другая. Обратись мы к тем же людям — я имею в виду сословие, — что бы мы услышали? Что Дафти прав. Как тогда никто не осмелился его поддержать, так теперь никто не осмелится оспорить. А доказательств ни тому, ни другому не было и нет. Нет. Есть благие пожелания и черные пророчества. И склонность верить то одним, то другим в зависимости от обстоятельств. Чего вы хотите с этими бумагами? Политического успеха?

— Если Дафти прав, — твердо сказал Спрингторп, — то остается только объявить всеобщую эвакуацию. И навеки проститься с этой землей.

— Эвакуация — да. Это очевидно. Очевидно в любом случае. Прав Дафти или неправ, эвакуация — нам никуда от нее не деться. А «навеки проститься» — это уже эмоции, Спрингторп. Театр. Разжигание трагических страстей. После праведных трудов и сытного обеда отчего же нет? Извольте. Но сейчас?! Надо быть совершенно беззастенчивым политиканом, чтобы сейчас позволить себе публично дискутировать по поводу этих бумаг. Стопроцентный успех ваших домогательств к обществу гарантирован. Вас прославят и изберут куда хотите. Но если говорить о деле, только о деле, о наших ближайших планах и действиях, направляемых силой катастрофы, эти бумаги не имеют никакого значения, никакой цены. Эвакуация неизбежна, даже если сию минуту катастрофа прекратится. Зима, жилищ нет, транспорта нет, энергии нет, центров восстановления

нет. Финансовая помощь, сколь велика она бы ни была, дело затяжное. Эвакуация будет. Заметьте, я пришел к этому выводу, ничего не зная о ваших бумагах. Секретариат подготовил мне исходные материалы. Вот познакомьтесь. Установка на полную эвакуацию.

— Исход,— всплыло в уме Спринглторпа отчаянное слово.

— Осторожно, Спринглторп. Для полной паники нам не хватает только этого словечка. Все как раз наоборот. Море перед нами не расступается, мы идем не в обетованную землю, и сорока лет у нас с вами на это не будет. Уж скорее сорок дней. Оставьте это слово борзописцам. Дай Бог, чтобы мы успели приступить к делу прежде, чем они за него возьмутся.

— Четыре миллиона душ за сорок дней! По сто тысяч в день?!

— Одно из двух: либо мы поверим в это и осуществим, либо нам следует немедля уступить место тем, кто в это поверит.

— И вы верите? Вы думаете, что это можно сделать?

— Не вижу в этом ничего непосильного. Просто никому до сих пор не приходилось делать ничего подобного. И не дай Бог, чтобы когда-нибудь пришлось.

— Но какими силами? На кого можем рассчитывать?

— На Россию, Спринглторп.

— На Россию?

— Да. Вот поглядите. Это доклад О'Брайда о заседании Совета Безопасности.

Не дожидаясь, пока Спринглторп развернет рулон телетайпной ленты, Баунтон продолжал:

— В ближайший месяц Англия и Франция не смогут нам помочь. Они вывозят своих. У Испании нет технических возможностей. Немцы принимают голландцев и бельгийцев,— наши беды им здорово навредили. Скандинавы согласны принять по пятьсот тысяч человек в каждую страну, но у них нет транспортных мощностей. Штаты и Канада эвакуируют сейчас Атлантическое побережье, обоснованно опасаясь цунами. Это сорок миллионов. Остается Россия. Россия дает семьдесят процентов транспортных средств и обеспечения, Штаты — двадцать, Канада — десять. Англия и Франция обеспечивают промежуточные аэродромы.

Секретариату ООН поручено создать международный штаб. Завтра к нам прибудет русская техническая миссия. Я дал свое согласие.

Баунтон снова потянулся за таблеткой.

— Вы об этом еще не знаете, но, пока вы ездили в Тринити-Майнор, у нас состоялись радиопереговоры. Мы не сумели с вами связаться, и я взял на себя смелость сказать, что вы согласны. Собственно, это было предрешено. После того как Джеффрис был тяжело ранен... Короче, я единственный из руководителей округов член сената. Как таковому мне было предложено исполнять обязанности президента республики. Это устраивает всех. Худо-хорошо соблюдена преемственность, уважено старшинство. Но давайте смотреть на вещи трезво. Мне семьдесят шесть, я болен. У меня есть опыт и представительность, но сейчас грош им цена. Нужны энергия, решимость. Я на это не способен. Мне нужен помощник. И поэтому я предлагаю вам исполнять обязанности вице-президента.

— Мне?

— Да, вам.

— Но-о... Как я могу?

— Можете. Приняли же вы на себя ответственность в Рэли. Джеффрис был о вас высокого мнения. Судя по вашему подходу к делу, вы сможете. Я согласился принять президентство при условии, что сам выберу заместителя. Не очень демократично, что поделаешь, но настало время людей действия. Таких, как вы. Решились же вы, никого не спрашивая, отправить за границу призыв о помощи от имени нации. И были совершенно правы.

«Но это не я,— чуть не сказал Спрингглторп.— Это Памела, Кэйрд, отец Фергус, Ангус Куотерлайф...»

— Это не было моим личным решением,— честно сказал он.

— Тем лучше,— спокойно ответил Баунтон.— Значит, за вами стоит группа людей действия, признающая вас лидером. Это то, что нам позарез нужно. Вам шестьдесят два года?

— Да.

— Неужели вы считаете, что лучше назначить вице-президентом какого-нибудь мальчишку, которому еще лет пятнадцать надо учиться попросту сочувствовать человеческим бедам? Я не говорю уже о понимании или опыте. Чтобы он с отчаяния начал тут напо-

леонствовать, если я... — Баунтон со свистом втянул воздух и сжал подлокотники. — Завтра утром, часов в девять, я приведу вас к присяге. Тем временем свяжитесь со своими и начинайте эвакуацию Рэли. Мне не нравится эта трещина. Половину народа примет Тлеммок, половину — Линкенни. Заодно усильте руководство в Тлеммоке вашими людьми. Русская миссия прибудет часов в одиннадцать. Организуйте ее встречу и доставку сюда. Я, к сожалению, нетранспортабелен. Возьмите.

Спрингторп принял протянутое ему «Преславное дело» и начал:

— Но все же, если удастся провести негласную экспертизу...

Но Баунтон резко откинул голову на спинку кресла и отрывисто произнес:

— Потом... Потом... Врача!.. Скорее врача!..

5

Гейзер в очередной раз утихомирился, серый султан пара, лишившись опоры, рухнул наземь и пополз, гонимый ветром, цепляясь за развалины барака.

По-русски, невразумительно для Спрингторпа, заголосили радиомегафоны, и желто-зеленые фигурки в голубых касках, на ходу собираясь в группы, топоча устремились к потоку, отрезавшему часть лагеря. Обгоняя их, вертолет волок к переправе мостик.

Полковник Федоров, начальник русской технической миссии, тоже в лоснящемся желто-зеленом комбинезоне с красной надписью «SU» на спине, отрывисто командовал по радио, глядя на часы. Тридцать две минуты! У них было всего тридцать две минуты до того, как из трещины, разделившей эваколагерь, вновь взметнется чудовищная стена кипятка.

— До темноты успеем сделать еще два захода, — хрипло сказал он Спрингторпу. — Светотехники нет. И катодов нет к ольфактометрам. Этот пар их ест, как пончики.

— Совсем нет? — тоскливо спросил Спрингторп.

— Десять штук на базе. Я приказал, их везут вертолетом. Что такое десять штук! Радировали американцам. Высылают. Так это же сутки ждать!..

Пять часов тому назад во время толчка разверзлась трещина, отрезавшая пять бараков эваколагеря «Три-

нити-Майнор», и из нее забил горячий гейзер. Он бил двенадцать с половиной минут и на тридцать семь затихал. Поток кипящей воды отсек подход к баракам с другой стороны и сливался в ту же трещину в полукилометре от лагеря. Минут за пять до того, как гейзер вскидывался в небо, земля начинала трястись так, что нельзя было устоять на ногах.

В отрезанной части лагеря было не менее пяти тысяч человек. А может быть, и все десять. Сколько из них погибло в облаках жгучего пара, в кипящем потоке, сколько свалилось в трещину, сколько завалено в рухнувших бараках!

В центральном лагере «Линкенни» почти никого не было своих. Практически все надежные силы Памела Дэвисон увела на север на ликвидацию эваколагеря № 11, оказавшегося под угрозой затопления. Президент Баунтон после очередного приступа болезни еще не пришел в себя. Беда валуном осела на плечи Спрингл-торпа.

В ответ на его отчаянный звонок полковник Федоров собрал всех своих — шестьдесят человек, наскоро снарядил, проинструктировал и повел всю группу на вертолетах спасать попавших в ловушку. Спрингл-торп полетел с ними...

Как только мост — вырубленная секция железнодорожного полотна узкоколейки длиной метров сорок, наспех защитая досками, без перил — ткнулся в берег, оттуда, из клубящегося тумана, к нему побежали люди. У входа на мост забушевал кричащий человеческий водоворот, прорвавшиеся слепо бежали по мосту, сбивая друг друга в горячий поток. Спасатели ступить на мост не могли.

Полковник кричал что-то непонятное, махал рукой в сторону. А Спрингл-торп пошел к мосту, пошел навстречу бегущим, широко расставив руки, задыхаясь от запаха серы, не зная, что скажет и сделает. У одного из спасателей на шее болтался радиомегафон. Спрингл-торп рванул его к себе, ремешок лопнул.

— Сто-оп! — крикнул кто-то сзади.

Спрингл-торп ступил на мост, поднес к губам радиомегафон. Прямо на него бежал мужчина, согнувшись в три погибели, касаясь рельсов руками и выставив вперед обросшее лицо с открытым ртом и безумно расширенными глазами.

Люди! — закричал Спрингл-торп. Мужчина пле-

чом ткнул его в живот и пробежал дальше. Спрингл-торп покачнулся от удара, но боли не почувствовал, устоял. За человеком было метров двадцать свободного пути, потому что на том берегу, еле видная в тумане, кипела драка и в этот момент никому не удалось пробиться на узкую качающуюся полоску, повисшую над потоком. Натужно ревел вертолет, державший мост почти на весу.

— Люди! Я ваш капитан! Я иду к вам! Дорогу мне! Где я, там никто не погибнет! Я капитан! Я спасение! Дорогу!

Он никогда в жизни так не думал, никогда в жизни так не кричал всем своим существом. От напряжения сводило живот. Мост шатало. Он видел — на колею ворвался еще один мужчина, пригнулся и побежал. «Он меня сбросит»,— мелькнула мысль, охватил ужас, но Спрингл-торп продолжал идти и кричать эти неизвестно как пришедшие в голову слова. И, не добежав до него пяти шагов, мужчина внезапно выпрямился, всплеснул руками, остановился. И его тут же сбросил в поток бегущий следом, тоже остановился, упал ничком, о него споткнулся следующий, завизжал, стал пятиться. Кто-то еще бежал, падал, копошился, но Спрингл-торп шел вперед, охваченный ужасом и восторгом, не переставая кричать. Его захлестнуло торжество собственной силы, немыслимое, отчаянное, истинное. Вот уже осталось метров десять, пять, два. Вот перед ним застывшие в напряженных невероятных позах, сбившиеся на берегу люди, какая-то женщина, высоко поднявшая ребенка, парень на четвереньках, запрокинувшийся назад полуголый мужчина с окровавленным лицом.

— Расступитесь! Дайте дорогу! — истошно скомандовал Спрингл-торп.— Дорогу мне! — И добавил, в который раз обмирая от ликующей лжи этих слов: — Пока я здесь, никто не погибнет.

Медленно-медленно пятилась толпа на берегу. Он ступил на землю, остановился и почувствовал, что его толкают сзади. Шагнув в сторону, он оглянулся и увидел, что мост полон спасателями. Они шли за ним плотной стеной по два в ряд в своих желтых комбинезонах и голубых касках. Первая пара несла, как канатоходцы балансир, трехметровый рельс, к которому была привязана толстая веревка, уходившая в глубь колонны.

— Ол райт, дедка! — крикнул Спрингл торпу один из этой пары, наклоняя свой конец рельса и втыкая его в грязь.— Вери-вери гуд! Вперед!

«Вот почему пятились. Некуда было бежать», понял Спрингл торп. Силы оставили его, он поскользнулся, упал, уронил радиомегафон, но напарник того, что держал рельс, подхватил Спрингл торпа, поставил на ноги, сунул в руку перепачканный аппарат и, указывая на него и вперед, крикнул:

— Конти́нью! Продолжай! Хорошо!

Спасатели пробежали вперед к баракам, у входа на мост осталось несколько человек, один из них выдернул из грязи по-прежнему стоявшего на четвереньках парня, поставил на ноги, наложил его руку на веревку, туго натянутую над мостом, и повелительно толкнул на другую сторону потока.

— Пошел! Пошел!

Парень затрусил по мосту. Следом, спотыкаясь и вскрикивая, пошла женщина с ребенком, потом еще кто-то, толпа дернулась, заходила ходуном, но спасатели были сильнее. Отталкивая впереди стоящих, они выхватывали из качающейся перед ними наваливающейся стены тел то одного, то другого и чуть не швыряли на мост. Уже никто не кричал, слышалось только тяжелое дыхание десятков людей.

Спрингл торп схватил кого-то за руку и втиснулся грудью в толчею. Мегафон мигом вышибли из рук, больно ожгло губу. Но он прорвался, выволок за собой очумелого парня, неистово вырывавшего руку, дернул его к себе и сказал:

— Я капитан! Ты пойдешь со мной! Слушай, что я велю! Бери за руку еще одного и прикажи ему взять следующего.

Под ногами чавкала грязь, навстречу шли, ковыляли, бежали. Сбоку набежал спасатель, больно ткнул в плечо, закричал:

— Туда! Туда! Влево! Там другой мост! Большой! Быстро!

— Собери двадцать человек, доведи до моста, вернись и собери еще двадцать. И всем вели так делать. Ничего не бойся! — приказал Спрингл торп парню. Тот как-то дико зарычал в ответ.

Там, в стороне, куда указал спасатель, Спрингл торп увидел преградившую поток встопорщенную груду, в которой не сразу распознал крышу барака. Ее втащил

туда невесть откуда взявшийся на том берегу трактор. Вся груда была облеплена людьми — десятками, сотнями.

— Все туда! Все туда! — закричал он, размахивая рукой.

Заревела предупредительная сирена. «Гейзер! — сообразил Спрингглторп.— Надо переждать».

— Ко мне! Ко мне! Ложитесь! Переждем! — надсадно закричал он.

Земля заходила под ногами, затряслась, он упал на колени, боясь лечь, боясь, что его растопчут, а из трещины за бараками с гулом повалил пар. И вот взмыла ужасная серая стена, и все вокруг растворилось в многоголосом шипении и реве...

Спрингглторп вернулся на безопасную сторону в конце третьего затишья, когда все, кто мог сделать это сам, уже перебрались через поток. Теперь спасательные команды ворошили развалины, искали прячущихся, раненых, заваленных. Ольфактометров, чуткие датчики которых позволяли найти людей по запаху, было всего четыре штуки. Катоды датчиков насыщались сернистыми парами, заволокшими окрестности, и выходили из строя один за другим. Близился вечер, а с ним тьма. Холода Спрингглторп не чувствовал, но ведь холод тоже был. С севера от Памелы пришел вертолет с двадцатью солдатами и двумя фельдшерами. Они собирали женщин и детей, отводили группы за рощицу и сажали на вертолеты, шедшие в Линкенни. Остальных спасенных строили в колонны и вели пешком по проселочной дороге к лагерю № 3. Оттуда шли навстречу автобусы, грузовики, перехватывали колонну на ходу, забирали людей и везли в лагерь. У русских погиб один и трое были ранены. Спрингглторп договорился по радио с Памелой, что та пришлет еще двадцать человек и они заменят людей Федорова, которым надо возвращаться в Линкенни. Там без них могут начаться нелады с отправкой самолетов с эвакуированными.

— Тут мы сами закончим,— сказал Спрингглторп Федорову.— Спасибо вам. Я поговорю с Баунтоном. Представьте мне список. Мы наградим всех участников операции.

Полковник пожал протянутую руку Спрингглторпа и шумно вздохнул.

— Такой был мужик! — сказал он.— Такой мужик!

Бог связи! Что ж я теперь без него делать буду? Эх! Не уберегся. Что у вас тут творится! Что творится...

— Капитан! — окликнули сзади.

Спринглторп обернулся и увидел незнакомого летчика.

— Капитан, меня послали за вами,— сказал летчик, поднеся руку к шлему.— Вас срочно вызывают к президенту. Вот пакет. Мне приказано доставить.

Спринглторп разорвал конверт, развернул листок, напрягая зрение, попытался прочесть. Не сумел. Летчик отстегнул фонарик, зажег, подал.

— Благодарю,— сказал Спринглторп, осветил листок и, с трудом разбирая путаный почерк, прочел: «Поторопитесь. Через несколько часов я умру. Я должен привести вас к присяге, как президента республики. Это важнее всего. Ради всего святого, поторопитесь. Баунтон».

Темнело. Хлюпала грязь и талый снег. Невдалеке кто-то натужно кричал в радиомегафон. Отвратительно пахло серой и влажным паром. Спринглторп посмотрел на часы и увидел, что они разбиты вдребезги. «Где ж это я так?» — подумал он и спросил:

— Который час?

* * *

— Дамы и господа! Прошу внимания. У нас сегодня обычная повестка дня. Сначала сообщение геодезической службы. Затем слово управлению эвакуации, управлению социального обеспечения, внутренних и иностранных дел. Итак, вам слово, мистер Калверт. Прошу вас.

Низкий басовый рев плавно накатился, стал еще басовитей. Сейчас он переломится и станет пронзительным свистом. И он стал свистом, жестко надавил на уши. И начал спадать.

Спринглторп невольно посмотрел вверх, на белый пенопластовый потолок. И, словно не было потолка, увидел в сером январском небе огромную рыбоподобную тушу с шипами антенн, короткие узкие крылья, пузатые моторные гондолы, растопыренные угольники оперения, метание ярких вспышек стартовых огней по всему неуклюжему грузному силуэту. Туша плыла с такой натугой, так медленно, что просто не верилось, что

через каких-то два часа она скатится с неба в трех тысячах километров отсюда, где-то под Полтавой. Полтава примет сегодня двенадцать рейсов — двенадцать тысяч человек. Через десять минут следующий самолет пойдет на Тампере, еще через десять — на Сегед. Все четырнадцать сегодняшних приемных аэродромов доложили о готовности — так сообщили от полковника Федорова. Отправка идет с восьми площадок. Две вчера закрыли. Зона опасности первой степени добралась и до них.

Он окинул взглядом развешенные карты. Калверт, как всегда, будет обстоятелен и подробен. Как всегда. Долго ли оно длится, это «как всегда»? Всего недели две. Как же оно стало таким привычным? Но ведь стало же!

Просыпаясь по утрам, Спрингторп берет со столика у изголовья коричневую папку «Р. Н. Калверт — Президенту республики». В папке всего один листок: вычерченная на кальке цветной тушью карта. Черной линией обведен первоначальной контур острова, синей — положение перед вчерашними толчками, красной — после вчерашних толчков, красная штриховка — зоны первостепенной опасности на сегодняшний день.

Мистика не мистика, но у этого парня просто нюх! Вообще-то это чудовищно — встает человек и деловито говорит: завтра провалится то-то, трещины возникнут там-то, океан продвинется туда-то. Вероятнее всего. И назавтра так и оказывается. Все точно. Другой бы уже тронулся от своих погребальных пророчеств, а этот! Спокоен, чрезмерно, по-провинциальному, щеголеват Еще три недели назад никому не ведомый геодезист мелкой строительной фирмы, он выстоял трехсуточную очередь к отцу Феггусу и, подняв к груди огромный сияющий портфель с безобразной косой царапиной — не уберег-таки в очередном битком набитом грузовике с беженцами,— проникновенно сказал: «Ваше преподобие, у меня нет никаких претензий, никаких жалоб. Я очень хорошо умею рассчитывать сложные сечения и объемы. Я понимаю, это немного, но ведь должно же это быть кому-то нужно». И вот он с упоением чертит свои апокалипсические карты, нашедший свое место пророк-канцелярист катастрофы, ставшей образом жизни.

По его исчислениям, от острова осталось чуть больше половины. Уголковый отражатель, доставленный

из Франции и установленный рядом с правительственным бараком, за сутки смещается теперь уже на четыре километра. Остров стал похож на расколотый сверху кособокий треугольник. Еще месяц-два, и все будет кончено. И по нашей вине! Мы виноваты, мы!

Памела пододвинула записку: «Капитан, вы устали. Идите отдохните. Я поведу». Капитан. Его так все зовут. Капитан тонущего корабля. Он отрицательно покачал головой.

Почему мы? Да потому... Спрингторп лет тридцать варился в этой каше и знал всю механику подобных дел. Выгодный заказ, конкурсные сроки жмут, какие там к черту исследования, проработки! Да на это же годы уйдут! Мы не строим, мы формулируем предложение. Попроще, попроще. Только апробированные решения.

Решения есть. Добрый десяток. Лежат в архиве папки: потоньше, потолще. «Мэри, только, пожалуйста, самую тонкую». Шеф гонит, светокопия зашивается, в самом деле — уточним потом. Архивная девочка протягивает загнанному инженеру папку: «Я не знаю, мистер Смит. Вот эта, по-моему».— «Да-а!» Мистер Смит взвешивает на ладони увесистый дар судьбы: перечень сооружений, смету, планы, разрезы. Ох, тяжко. «Спасибо, Мэри. Шоколадка за мной».

В своей клетушке Смит грохает папкой о стол, рушится на стул, заправляет в машинку лист бумаги и возводит очи горé. «Считаю, что данный вариант обеспечивает...» Что обеспечивает? Вследствие чего? Из рутинной сумятицы в истомленном мозгу выщелкиваются гладкие пассажи, на которые клюет начальство: простота решения, снижение удельных расходов, надежность, доказанная в ходе... Смит тоскливо глядит на разрезы. На них все очень мило, а как там, в этом Арк-Родрэме? Ни одна собака не знает. Смит колеблется. Оживает телефон: его срочно требуют на совещание. Он аккуратно прячет чертежи в сейф, кладет сверху недописанное заключение и исчезает до конца дня.

Назавтра, после разбора текущих дел, он добирается наконец до своего стола, перечитывает незаконченный горе-опус. Вчерашние кругленькие словечки, лаская взор, убеждают его самого, что все правильно. На данном этапе. Твердой рукой он дописывает стандартную страховочную фразу: «Проект и смета должны быть откорректированы в соответствии с местными

условиями». И швыряет папку в жерло бумажной мельницы. Бедный капитулянт, ему бы впору копаться на своем огородике. Но прогрессу не нужны мелкие огородники, ему нужны конструкторы. И Смиту надо кормиться, вот он и пошел.

Конкурс выигран. Смит о том ведать не ведает: он давно уже перешел на другую работу. Его преемника, такого же, как и он, занимают совсем другие дела. Конечно, он просматривает чертежи. Сомнения ушли с мистером Смитом, а в бумагах все гладко. И вот отчаянный тычок пальцем в небо становится железным законом строительства. Блестящая гвардия отдела внешних связей готова в порошок стереть любого одиночку, который посмеет поднять руку на эту священную скрижаль. Вперед! Прекраснодушную шаткость замысла подпирает и крепит громада человеческого труда.

Нет, Баунтон был неправ. Фиах Дафти не согласился, что ошибся. Вокруг него сомкнулся хоровод чудовищ порядка вещей.

Кто оплатит экспертизу? У доктора есть лишних пятьдесят тысяч? Всемирно известная работает. Это факт. Доказательство. А где ваши факты, доктор? К чему вы призываете? Верить вашим бездоказательным выкладкам? Но это уже означает не «верить», а «веровать». Вы чувствуете разницу между этими словами? Цивилизованный человек имеет право веровать. Но, простите, до тех пор, пока не появляются очевидные факты. А факты против вас. Возьмем по пунктам...

Третьеразрядные профессора Высшего лицея возводятся чуть выше Олимпа, дабы судить об истине. От них разит беспристрастностью. Доктор изящной словесности полирует протоколы до блеска. Синклит решает, что истина может быть обнаружена путем взвешивания суждений на амбарных весах, торжественно совершает эту процедуру и пишет мудрую бумагу, в которой ответственность каждого растворена в словах «комиссия пришла к выводу». Обнажите голову перед порфиром этих строк!

И ведь каждый был прав и честен на девяносто восемь процентов в меру своего понимания вещей. Да большего от человека и требовать невозможно! «Дело» сплотило их в некое нерасчленимое единство. Сложился ничтожный недобор процентов, и сумма породила дракона.

Сколько раз он сам, Спрингторп, бессильно поднимал руки, когда на него накатывались подобные лавины! Поднимал — и тем самым становился частью этих лавин, добавляя им живой силы. Сколько раз! И не сочтешь, не поймешь, не узнаешь. А гадостный осадок от капитуляции так быстро зарастает слоями житейской шелухи. Остается только смутная тоска от сопричастности к чему-то неопределенно худому. Вот почему об этом так трудно рассказать, вот почему обжигает руки синяя папочка, которую протянул ему через полувековое кишение человеческих дел истлевший Фиах Дж. Дафти...

— В Австралии находится уже свыше пятисот тысяч эмигрантов,— докладывал отец Фергус.— В соответствии с соглашением, они поселяются в северо-западной части континента. Австралийский поверенный в делах передал вчера нашему представителю в Париже памятную записку. Полный текст к нам еще не поступил, но кратко мне сообщено, что Австралия настаивает на скорейшем подписании второй части соглашения о приеме эвакуируемых. Особо подчеркивается пункт о согласии на запрет в течение девяноста девяти лет на создание землячеств и партий на национально-религиозной основе. И пункт об отказе организаций и отдельных лиц от поднятия, обсуждения и попыток решения вопроса о национальном самоопределении переселяемой общины на тот же срок. Австралийцы хотят, чтобы каждый въезжающий дал добровольное письменное обязательство такого рода.

— Но мы должны четко поставить вопрос о гарантиях от насильственной ассимиляции!

Кто это? Калверт?! Это что за новости!

— Я думаю, нам прежде нужно подробно изучить австралийские предложения.

— Вы правы, отец Фергус. Мистер Калверт, если у вас есть конкретные соображения, благоволите изложить их в письменном виде и подайте записку лично мне или мадам Дэвисон...

В том, что все происходящее — дело рук человеческих, Спрингторп уже не мог сомневаться. На третий день после того, как Баунтона, окончательно сломленного болезнью, увезли в Цюрих, в клинику, и Спрингторп принес присягу президента, Памела Дэвисон, только что ставшая вице-президентом, позвонила ему по телефону: «Капитан, тут к вам добивается один про-

фессор. Его фамилия Левкович. Он из Югославии. Но он какой-то важный чин в Международном союзе. Уговорил кого-то из английских летчиков привезти его сюда без разрешения на въезд. Звонил мне из барака английской миссии. Примете?» — «Приму,— ответил Спринглторп.— Только безо всяких протоколов и сообщений в газетах. Это можно?» — «Ясно»,— ответила Памела.

Года три назад по телевизору передавали «Бориса Годунова». Пел какой-то русский. «Ка-акой красавец! — восхитилась Эльза, даже вязанье отложила.— А я-то, дура, вышла за тебя». Левкович оказался именно таким невероятным красавцем. Даже неприятно стало, таким красавцем был этот серб.

— Ваше превосходительство,— сказал Левкович.— Я действительно вице-президент Международного союза геофизиков. Для пущей убедительности я излишне напирал на это, но говорить с вами хочу просто как ученый. Не стал бы отнимать у вас времени, я честно пробовал все иные пути, но... Ко мне, как к редактору международного геофизического журнала, поступила заявка профессора Стоббарда. Я буду очень краток. Существует такая штука — термостратиграфия. Со спутника в определенных условиях получают... как бы это сказать... Ну, обобщенную характеристику поверхностного слоя планеты толщиной километров десять— пятнадцать. В виде фотографий. Потом по ним определяют перспективные горизонты: вода, газ, нефть, руды. Американцы делали это для себя, потом к программе подключились Мексика, Алжир, Ливия, Индия. Главным образом, для исследования динамики глубинных вод. Метод тонкий, дорогой, толкование почти произвольное, но чем черт не шутит. Остальные страны, в том числе и ваша, стратиграмм не заказывали и не имеют. Хотя я подозреваю, что они существуют, но... Формально американцам делать их было нельзя. Стало быть, формально их в природе нет. Съемка, согласно уставу программы, повторяется раз в пять лет. Чтобы как-то истолковать получаемые результаты, избраны два привязочных района: Исландия и Трансвааль. Считается, что там все ясно до этих глубин. Не очень все это прочно, но .. Так вот, Стоббард докопался — во всяком случае он так говорит,— что после привязочной съемки Исландии ввиду близости Алжира фототермограф на спутнике не выключался, и благодаря этой сча-

стливой случайности оставим ему выбор выражений — в его распоряжении оказались стратиграммы ваших мест. Вся эта история несколько сомнительна, но не в этом дело. Стоббард — автор метода дифференцирования стратиграмм. Он применил его к вашему району — и вот результаты. Полюбопыствуйте.

Левкович выложил на стол пачку бурых, пятнистых, с разводами фотографий.

— Вот. Это стратиграмма сорокатрехлетней давности. Для удобства на снимок нанесен контур острова. Теперь следующая. Практически они одинаковы. Видите? Берем их за исходные. Теперь стратиграмма тридцатитрехлетней давности. Обратите внимание: вот здесь, в восточной части острова, появилась светлая точка. Можно принять за дефект снимка. Дальше. Двадцать восемь лет тому назад. Смотрите. Точка расплылась в пятнышко. И вот здесь язычок на северо-запад. Еще можно сомневаться? Меня бы это всполошило, но... Кто стал бы копаться в груде никем не заказанных снимков! Тем более, что самого метода дифференцирования тогда и в помине не было. Вот следующая стратиграмма. Глядите. Это уже какая-то медуза. Осьминог. Размах отростков с севера на юг больше ста километров. И вот эта рябь. Глядите. Восемнадцать лет тому назад. Тринадцать. Восемь. Три года тому назад.

Светленькая медузочка расползлась на снимках в силуэт каракатицы. Ее щупальца протянулись на север и юг, широкими дугами повернули на запад, они змеились подо всем контуром острова, становились все толще и наконец слились в светлый полуовал, четко ограниченный с востока и размытый к западному краю далеко за пределами острова.

— Что же это? — холодея, спросил Спрингторп. От этих фотографий сводило пальцы. К ним страшно было прикоснуться. И все это где-то валялось столько лет! Подумать только!

— Мы не знаем. Никто не знает. Профессор Стоббард просто заключает, что в принципе катастрофы подобного рода — независимо от вызывающих их причин (я подчеркиваю: это его выражение) — предсказуемы на основе метода дифференцирования стратиграмм, разработанного под его руководством. И что термостратиграфия — это вовсе не шарлатанство, как считали некоторые, а очень полезная и нужная вещь.

— И это все?

— Нет, не все. Лично я не сомневаюсь, что Стоббард разумеет гораздо больше, чем о том пишет. Но у него нет вещественных доказательств. А есть жизненный опыт. От свары с промышленными концернами ничего хорошего для себя он не ждет. Поэтому он вежливо и без единого лишнего слова уступает все дальнейшее тем, кто пожелает заняться. Вам все ясно?

— Продолжайте.

— Там, где на стратиграмме тридцатитрехлетней давности появилось светлое пятнышко, примерно полсотни лет тому назад была построена атомная электростанция Арк-Родрэм,— отчеканил Левкович. Спрингторп невольно кивнул и проглотил слюну.— Она была построена по проекту «Ньюклеар пауэр» и все эти пятьдесят лет изо дня в день выдавала свои миллионы киловатт,— продолжал геофизик.— Надо быть последним идиотом, чтобы не сопрячь это пятнышко и станцию. Но фактов нет. Мы запросили Штаты. «Ньюклеар пауэр» давно окончила свои дни. Ее правопреемником является «Ти-Пи-Ай». Оттуда нам ответили, что по условиям контракта вся документация станции была передана заказчику для хранения и использования. Это обычный пункт международных контрактов такого рода. В данном случае очень удобный для подрядчика. Но мы должны знать! Человечество должно знать, что произошло под станцией Арк-Родрэм.

— Так. И мне предлагается помочь человечеству?

— Первое: надо предпринять розыск документации станции.

— Это невозможно.

— Понимаю. Но все-таки! Надо опросить людей, работавших там. Люди должны быть. Пенсионеры, уволившиеся, временно работавшие. Мои сотрудники, восемь человек, ожидают в Англии. Все расходы, всю ответственность мы берем на себя.

— Здесь государство, а не допотопный лес, профессор. Оно не может передавать ответственность.

— Понимаю вас. Но и вы должны понять...

— Вы сказали — «первое». А что второе и третье?

— Есть только второе. Мы просим разрешить бурение пробной скважины. Работу будут вести добровольцы. Условия те же. Руководить буровой буду лично я.

— Не могу вам это разрешить.

Почему?

Это безумное предприятие. Почва ходит ходуном. В любой момент вы можете провалиться в тартарары вместе со взятой ответственностью. Это никому не нужно. Тем более что ваши обсадные трубы лопнут при первой же подвижке.

— Верно. Шанс на успех — один из миллиона. Но мы обязаны попытаться. И мы этого хотим. Человечество должно знать, господин президент. Я вас очень прошу, не надо сейчас ничего решать. Поручите это дело кому-нибудь. Мы договоримся. Безопасность будет обеспечена, насколько это возможно.

— Я не могу вам это разрешить.

— Но можете не запрещать.

— Нет. Разговор бесполезен.

— Но опрос вы разрешите?

— Занялись бы вы этим там, у вас, в приемных лагерях!

— Надежней это делать при входе на эвакодромы.

— Вы ошибаетесь.

— Господин президент, я вынужден сказать, что за вашими словами ощущаю предвзятость. Меня это крайне настораживает. Да, истина — булавка в стоге сена. Но есть способы довольно быстро выудить ее оттуда. Не забывайте об этом.

— Вот уж о чем я могу забыть, профессор. Всегда найдется тьма желающих напомнить. Четыре миллиона душ! И всех надо собрать, охранить от этого ада, паники, голода! Всех надо попросту пожалеть, увезти отсюда, где-то поселить, вдохнуть в них веру и желание жить! У четырех миллионов человек размозжена душа! Вот чего я не имею права забыть. Ни на секунду. Кто я? Вы знаете, кто я? Я — провинциальный чиновник. Всю жизнь я смотрел на вас, ученых, как на добрых богов, которые все знают, все могут! В конце концов, как все, я отдавал вам долю своих денег. И не роптал. А вы? Вы, представитель мировой науки! Вы в страшный час моего народа пришли ему помогать? Нет. Вы явились искать истину. Как сыщик! Миллионы людей помогают нам. Сотни тысяч не спят ночами, чтобы успеть что-то сделать для нас. А передовая наука дифференцирует наше горе! И ей мало этого. Она хочет проковырять дырочку и посмотреть, что там внутри!..

— Я категорически протестую!..

— Категорически?! Вот если бы вы пришли ко мне

и сказали: «Мы хотим помочь вам. Неосторожные глупые люди столкнули ваш остров в бездну. Надо сделать все, чтобы остановить падение. Мы попытаемся. Тысяча! Три тысячи наших коллег только и ждут, чтобы приехать! Чтобы вцепиться в эту землю мертвой хваткой, гвоздями приколотить, да!» Я бы отдал вам все. Я пошел бы с вами в лагеря эвакодромов. Это страшные лагеря! Вы не знаете, что это такое! Я сказал бы: «Вот кто прибыл на помощь! Отдайте им все, что у вас осталось. Они хотят сохранить нам хотя бы часть нашей земли». А вы? Вы собрали восемь энтузиастов ученого сыска! И битый час расписываете мне, как благородно мы поступим, если позволим вам что-то там искать! Истину! Да вас в первом же лагере в клочки разорвут! Идите вы ко всем чертям! Вот! Читайте! Наслаждайтесь! Вы правы! Это сделали люди! Спрингл торп рванул ящик письменного стола и протянул Левковичу синюю папочку «Преславного дела». Неужели это все, что нам может предложить мировая наука?

— Но это же важнейший документ! — взорвался Левкович, потрясая «Преславным делом».— Опубликовать! Распространить! Почему же вы молчите? Это же преступление!

— Ну опубликовали бы. Ну и что? Что из этого проистекло бы? Что виновата строительная фирма, которая не ведала, что творила? Три десятка не очень далеких людей? Свалим все на них? Нет. Виноват весь наш уклад, наш способ жить. Вы можете предложить другой? Я не могу это правильно выразить, меня этому не учили. Я только чувствую: нельзя это превратить в скандальчик, в поношение десятка таких, как я, в какой-то картонной конторе. Это не решение. Такие штуки по мелочам сто раз проделывали, и что? И все остается по-прежнему. Нужен кто-то, кто сумеет повести это дело правильно. У нас нет таких людей. Мы все в истерике, мы не способны. Я дал приказ искать таких людей на стороне. Мне объясняют, что это практически невозможно сделать. Нет таких людей во всем мире, понимаете?

— Господин президент, доверьте это дело мне.

— Вам?

— Да. Я должен извиниться перед вами. Еще не очень понимаю, за что именно, но в ваших словах есть доля правды. Есть и чушь, смешение понятий, но не бу-

дем... Потом. Выяснится. Остановить остров! Эк куда хватили! Полсотни лет его подтачивало, и в три дня остановить. Да тут гром небесный нужен. Химера. Жуткая химера! Но я вас понимаю. Я ничего не могу обещать, но... Короче, разрешите мне и моим «сыщикам» въезд, дайте бумаги. Надо работать. Другого способа нет.

Хорошо. Обратитесь к мадам Дэвисон. Я с ней поговорю.

— Остановить эту глыбу! Химера. Химера... У вас тут хоть лаборатория какая-нибудь есть?

— Есть развалины политехникума. И при них несколько человек. Они делают, что могут и умеют. Свяжитесь с ними.

Спрингл торп, машинально распутывая узлы на шнуре, потянул к уху телефонную трубку.

— Памела? К вам зайдет профессор Левкович. Любомир Левкович. Ему и его людям надо как-то оформить въезд. Они собираются нам помочь, но пока придется помогать им. Это связано с «Преславным делом».

— Ох, не наломал бы он дров, капитан! — во всеуслышание ответила трубка.— Что-то он мне не показался.

— Месяц назад многие из нас были не лучше. Давайте попробуем,— ответил Спрингл торп, деликатно не глядя на Левковича, собиравшего со стола разбросанные стратиграммы.

Вновь накатился басовый рев, преломился, стал свистом. Спрингл торп посмотрел на часы. Затянули. Еще полчаса на финансовые дела, и пора кончать.

Неспешная устоявшаяся рутина эвакуации. Деловитое управление человеческим горем. И он во главе всей этой машины! Неужели он сумеет довести это дело до конца? Нет, все они и он сам просто сошли с ума.

6

Ко мне! Вижу цель. Вижу вас. Мой азимут триста девять. Забегали. Быстрей! — прохрипело в уши Спрингл торпу.

— Разрешите начинать, сэр? — заторопился молодой звонкий голос.

— Начинайте,— сказал капитан Двайер. Он сидел

впереди Спрингглторпа, чуть ли не на плечах у летчиков.

— Первый, к бою! Второй, к бою! Слушать меня. Наземный противник северо-западнее, пять километров. Задача — обеспечить поголовный захват, сопротивление подавить. Первый, азимут триста, скорость сто, высота пятьдесят. Второй, азимут триста двадцать, скорость двести, высота сто, заходите с севера. С севера заходите! Третий на месте, высота пятьсо-от!

Два передних вертолета, проваливаясь вперед и вниз, стали расходиться в стороны. В боках у них распахнулись прямоугольные люки, и оттуда, порыскивая длинными хоботками, высунулись пулеметы. Щетинистая седая шкура заснеженного леса внизу повернулась, как грампластинка. Спрингглторп увидел на ней длинную прямую борозду — дорога! — большую белую проплешину — поляна! — на ней три черных кубика — палатки! — а чуть в стороне грузовики, автобус и самолетик.

Звонкий голос торопливо, но четко командовал. Из-под ближнего вертолета выскочил желтый сполох, тут же на земле сверкнуло, самолетик подпрыгнул, окутался плотным черным комком дыма. Дальний вертолет полз по дуге над северным краем поляны. Между ним и землей посверкивали косые зеленые нити.

Где же патрульный вертолет? Спрингглторп тщетно пытался его разглядеть. Он должен быть где-то над лагерем.

— Бьет по мне! — прохрипел первый голос.— Ребята, здоровый такой, в черной куртке! Осторожней! У них оружие.

Из-под ближайшего вертолета снова выскочил сполох, и на земле между палатками и лесом вспух еще один черный комок. На месте первого взрыва пылал высокий костер, от него бежала вверх и медленно стыла кривая струя дыма. Внезапно Спрингглторп увидел, как вдоль нее камнем падает вниз крохотный вертолетик. Вот он повис, раскачиваясь над самой землей.

— Психи, кончай бегать. Соберись подо мной, руки вверх! Не то всех перещелкаем! Брось пушку, гад! Брось, говорю! — хрипело в ушах. Это пилот патрульной машины командовал по радиомегафону тем, на земле, не выключаясь из общей связи.

— Белый флаг! Они выкинули белый флаг,— вновь заспешил звонкий голос.— Прекратить огонь. Первый,

на посадку. Нулевой, второй — пока в воздухе. Третий, пожалуйста, не приближайтесь.

— Кто у флага, стой, не отходи. Бог за вас,— снова прохрипел патрульный.— Лейтенант, горючку теряю. Похоже, он мне дырку сделал. Огня нет?

— Огня нет,— ответил звонкий голос.— Разрешаю вам сесть.

Ближний вертолет заскользил к лагерю. На земле тучей взметнулся снег, и машина исчезла в белом облаке. Вот из него покатились к палаткам черные комочки.

—. Операция закончена, всем разрешаю посадку,— ликовал звонкий голос.— Здесь сам Живодер-паша. Мы его взяли. Он!

Гиены.

Мрачные опасения полковника Уипхэндла оправдались. Гиен было немного, но они были. Что гнало этих людей с далеких благополучных берегов, ночами, над грозным океаном на эту распадающуюся под ногами землю? Спрингглторп не мог этого понять. Здесь не было золота, скульптур, картин — их не было у него, и ему казалось, что все это существует только в Италии. Или во Франции. А в его стране, стране крестьян, рыбаков и мелких лавочников, еле сводивших концы с концами,— что у них может быть, кроме расхлябанных движков и дедовской утвари?

Он спустился на землю вслед за Двайером. Пахло гарью. Командир десанта, молоденький лейтенант, был на седьмом небе от счастья. Его первый бой проведен по всем правилам на глазах у начальства. Противник ошеломлен, раздавлен. Взято в плен одиннадцать человек. И среди них сам Живодер-паша, о котором тревожно шепчутся в эваколагерях...

Сегодня утром, часов в девять, радиодозор засек в воздухе самолет. Он шел с юго-запада на малой высоте. Крохотная зеленая точка исчезла с экрана: самолет сел где-то в этих местах. Сообщили Двайеру. «Гиены,— сказал тот.— Будем ликвидировать». И немедля позвонил Спрингглторпу: «Накрыли гиен. Видимо, крупный лагерь. Будем брать. Вы хотели посмотреть. Поедете?» — «Да»,— ответил Спрингглторп. «Тогда и я лечу,— заключил Двайер.— Высылаю за вами. Вылетаем через полчаса. Надо спешить. Туда только что пожаловали гости, и долго ждать они не будут».

Лагерь существовал, видимо, недели две. За одной из палаток кучей валялись на снегу домашние сейфы,

разъятые плазменными резаками. Эта палатка была чем-то вроде мастерской. На разостланных пластиковых полотнищах лежали горелки, дрели, баллоны с аргоном, какие-то инструменты.

— Металлоискатели,— указал лейтенант на длинные пруты с разветвлением на концах.— Искали в развалинах сейфы.

За чем охотились?— выдавил Спринглторп.

Его подвели к свалке тюков на краю выжженного круга. Один тюк обгорел, развалился. Тронутый огнем ковер, какой-то белый мех. Тошнотворный запах паленой шерсти. Торчит хрустальное горлышко вазы. И это все?

— Нет. Ценные бумаги иностранных фирм. И наших тоже.

— Наших-то зачем?— полубеззвучно спросил Спринглторп.

— Н-не знаю, сэр,— на миг растерялся лейтенант.

На снегу, сцепив руки на головах, сидели пленные. Почти все в одинаковых рыжих куртках с вывернутыми карманами. Двое в стороне — у них на коленях грязноватая простыня. «Это те, что выкинули белый флаг»,- сообразил Спринглторп. Держа пленных под прицелом, похаживали по снегу трое караульных.

«Надо поговорить. Хотя бы с Живодером. Который из них Живодер?» — подумал он и шагнул было к пленным, но у ног своих увидел троих, лежащих ничком. Снег вокруг был в красных пятнах.

Он отшатнулся и пошел к палатке. У входа на замасленном брезенте горкой лежали пистолеты, пара автоматов и несколько потертых нательных кошелей.

— Бесхозное оружие. Кое для кого ценная вещь.

Лейтенант поднял один из кошелей, расстегнул, подал. Кошель был неожиданно тяжелым. Кольца, серьги, ожерелья — безобразно спутанный ком, бликами покалывающий глаза...

Он вошел в палатку: десяток надувных матрасов, спальные мешки, скомканные одеяла, пара складных стульчиков, нетопленая железная печка. В изголовье одной постели — большой кубический предмет, прикрытый полотенцем. Лейтенант подошел к нему, протиснувшись между матрасами и обойдя лежащий на полу рюкзак, и сдернул полотенце. В полумраке блеснул хрустальный куб, и Спринглторп тоскливо замер. Чуть вздернутый вперед, в полном блеске славы, в тор-

жестве развернутых парусов и плещущих вымпелов в кубе застыл фрегат «Беллерофонт». Модель была выполнена с отчаянной скрупулезностью одряхлевшего боцмана — памятник любви к безвозвратно ушедшей поре странствий, воли и каждодневного утверждения силы своих рук и глотки.

Давным-давно, настолько давно, что это словно случилось с кем-то другим, он увидел, быть может, именно этот фрегат в витрине столичного магазина. Близилось Рождество, на витрине сказочно искрились небывало красивые вещи, без которых человек не может жить. Ему было всего десять лет, ровно столько, сколько нужно, чтобы понять это раз и навсегда. И ровно столько, чтобы знать: такой игрушки у него никогда не будет. Ведь он уже разумел смысл цифр на этикетке.

Он прожил потом пятьдесят с лишним лет, из памяти бесследно ушли сотни обид и унижений, десятки мелких побед и радостей. Но эта не его игрушка — не ушла. Не то чтобы он все время помнил о ней, нет. Этот образ порой оживал сам собой, безо всякого усилия или заведомого желания. И становилось до тоски ясно: будь у него «Беллерофонт», вся его жизнь была бы совершенно иной. И он сам представал перед собой тем, другим, кем угодно, только не инспектором по гражданскому строительству в краю, где мужицкая хитрость и ненависть к надзору почитались доблестями, достойными народной памяти.

Чтобы ничего подобного не случилось с Джонни, он и купил сыну желанный мотоцикл...

— Живодер говорит: они сейчас и не собирались выбрасывать хоть что-нибудь на рынок. Говорит, лет через двадцать этим вещам не будет цены,— пел лейтенант-победитель.

— Что ж, наверное, он прав,— тихо сказал Спринглторп, повернулся, тронул жестяную печурку. Она ответила гулким шуршанием прокаленной и остывшей ржавчины. «И парус напряжен, как грудь поющей девы» — откуда это? Палатка, пропахшая потом опасливой возни в развалинах. И «Беллерофонт». Встретились.

Закрывая выход, перед ним высился капитан Двайер. Спринглторп поднял на него вопросительный взгляд.

— Лейтенант, выйдите,— негромко скомандовал

капитан.— Спринглторп, постойте. Нам надо серьезно поговорить. Сядьте.

— В чем дело? Что случилось?— удивился Спринглторп, послушно садясь на шаткий раскладной стульчик.

— Прочтите это и подпишите,— сказал Двайер, протягивая сложенный лист бумаги.

Текст был отпечатан на плохой машинке через очень жирную ленту, так что некоторых букв было просто не разобрать. «К народу и армии,— читал Спринглторп.— В тяжкий час отчизны бремя власти пало на моих сгорбленных годами плеч. Я, как мог, прилагал все силы для спасения нашего страдающего народа, его материальных и духовных ценностей. Я знаю, что вы верите в честность и глубину моих усилий, и тем горестней для меня сознание, что тяжесть лет и пошатнувшееся здоровье препятствуют мне на этом пути, лишая мой труд полноты, необходимой в это судьбоносное время. Но рядом со мною трудятся молодые и сильные люди, которые, по моему убеждению, достойны стать у кормила власти. Настоящим я слагаю с себя всю полноту власти и назначаю своим преемником на посту президента республики Осгара Милтона Двайера и рекомендую ему назначить на пост вице-президента Ройга Нейна Калверта. Призываю вас объединиться вокруг них с той же самоотверженностью, с тем же патриотизмом, с каким вы объединялись вокруг меня, с каким неизменно объединяется наш народ вокруг своих вождей в часы испытаний. Н. С. Спринглторп. Линкенни... января».

Не смотреть на Двайера — это было самое главное. Не смотреть. И он поднял на него глаза. «Молчи! Не говори ни слова!» — твердил он себе и лихорадочно перебирал мятые обрывки фраз, чтобы что-то сказать, потому что молчать было невозможно. Молча встать и пойти прямо на Двайера, как на пустое место! И что он сделает? Будет кричать? Попытается остановить силой? Ах да, он достанет пистолет и будет грозить пистолетом.

И вдруг Спринглторпу стало смешно. Ну да! Двайер будет пугать его пистолетом. Его! Схоронившего сына! Жену! Давно схоронившего свою былую жизнь! Живущего не по своей воле, согласившегося стать чем-то простым, полезным, почти неодушевленным! Сначала для Уипхэндла! Потом для Джеффриса! Потом для

Баунтона, потом для всех-всех. Разве его можно испугать пистолетом! Как он смешон, этот захолустный бонапартишка! А Калверт? Гадатель по географической карте! Ополчились! Заговорщики! Кто это сочинял? Калверт, Калверт! Уж больно высокопарно. Тайком отстукивал одним пальцем на машинке. А каково ему было выбивать священные литеры своей фамилии на втором месте! Да его же корчило от уязвленного тщеславия!

— Нет,— сказал Спрингторп.— Я не подпишу. Я не могу подписать такую безграмотную стряпню. «Пало на моих сгорбленных годами плеч». Где вас учили грамматике? Я так, по-вашему, благообразно выражаюсь, и вдруг окажется, что я первый в мире малограмотный президент тонущей республики. Исправьте текст.

И Двайер, взъерошенный Двайер, глава заговорщиков, лично исполняющий тайное кощунство высшей государственной измены, растерянно принял протянутую бумагу и полез за пазуху. Не за кинжалом! Не за пулеметом о десяти стволах! За канцелярской принадлежностью! И стал на весу царапать ручкой по своему подельному манифесту, пятнистому от тошного пота нелегальщины. И конечно же ручка не писала.

Спрингторпа разбирал смех. «Дурацкий смех»,— определил он и сказал:

— Положите вон туда. Вам будет удобней.

И указал на куб с «Беллерофонтом».

Двайер оглянулся на куб, поколебался и пошел к нему по проходу между надувными матрасами. На пути был рюкзак. Лейтенант обошел его. А Двайер не обойдет. Он слишком обозлен. Он его пнет — Спрингторп понял это раньше, чем Двайер поднял ногу и пнул...

Ослепительная вспышка брызнула в глаза Спрингторпу, по лицу словно веником хлестнуло, громом шарахнуло по ушам, снесло со стульчика, он упал, зажмурился, открыл глаза и сквозь темные пятна в них увидел, что лежит под открытым небом. Где же палатка? Он с трудом сел, огляделся и понимающе кивнул лежащей в стороне куче мертвого брезента. «Сорвало,— подумал он.— А где Двайер?» И тут его подхватили, подняли, ощупали; вокруг замелькали люди — целая толпа; губы у всех шевелились, но он ничего не слышал. Он вздохнул, и вся глотка заполнилась гнусной химической вонью. В горле запершило.

— Где Двайер? — спросил он и вместо собственных слов услышал лающее повизгивание, больно отдавшее в голову.

Куб с «Беллерофонтом» стоял как стоял, спереди к нему обожженным комком прислонился дымящийся рюкзак, а чуть дальше на брезентовом полу палатки лежало что-то неузнаваемое.

Подбежало двое с носилками.

— Не надо,— сказал он и отрицательно повел рукой. Шагнул. Пошатнулся. Еще шагнул. Увидел пленных. Они не сидели на снегу, они лежали кто как и были недвижны. «Застрелили,— понял он.— Охранники с перепугу их застрелили». Он дернул шеей чтобы не было так душно, и увидел у своих ног лист бумаги. «К народу и армии». С натугой присел, взял лист в горсть, смял и сунул в карман. Выпрямился.

В правом ухе зазвенело, что-то распахнулось, и он услышал сразу все, а громче всего голос лейтенанта:

— ...аше превосходительство, прошу вас. Ваше превосходительство!

О чем он просит?

— Что с Двайером? — спросил Спрингльторп, и тут распахнулось в левом ухе.

— Капитан Двайер убит,— заспешил лейтенант.— Прошу вас в вертолет, ваше превосходительство. Вас должен осмотреть фельдшер. Вам необходим покой.

Покой. Спрингльторп криво усмехнулся. Господину президенту, кукле, кое-как сляпанной ради людей и обстоятельств, видите ли, нужен покой. Значит, Двайер на свой страх и риск...

От усилия осмыслить стало дурно.

— Я сам,— сказал Спрингльторп.— Сам пойду.

Ни на ком не обвиснуть, дойти, сесть, лечь. Самому. Нет, ложиться нельзя. Ходить, ходить, ходить. Держаться. Превозмочь.

Он пошел. Ему казалось, что он идет прямо к подножке вертолета. Откуда ему было знать, по какой кривой добрался он наконец до вонзившихся в снег железных ступенек.

* * *

Когда открывали дверь, Спрингльторпу становился виден сидящий у противоположной стены коридора человек в сером комбинезоне. Лицо его было полупри-

крыто съехавшей вперед каской, он сидел неподвижно, видимо дремал, поддерживая руками и высоко поднятыми коленями поставленный «на попá» огромный пулемет.

В комнате было полутемно. Но панели селектора бестолково моргали лампочки. И все: он сам и Куотерлайф, сидящие у стола, и старик Мартин Кэйрд, сгорбившийся на кресле в углу,— молча смотрели на лампочки, мигание которых только представлялось бестолковым, а по сути дела было полно тайного смысла. Вот-вот он откроется, и все станет ясно.

Сколько своих людей и кого именно Двайер взял с собой в лагерь гиен, было неизвестно. Но они там были, и в их число входил кто-то из троих радистов. Иначе нельзя было объяснить, откуда Калверт узнал о происшедшем. А он узнал, и явно раньше, чем пришедший в себя после антишокового укола Спрингторп успел связаться с Памелой Дэвисон со взлетевшего вертолета. Узнал и начал действовать.

Дэвисон немедленно вызвала в президентский барак всех членов правительственного совета. Явился Кэйрд-старший, явился Ангус Куотерлайф. Отец Фергус вел в Париже переговоры с австралийцами. Калверта и Мартина-сына, заботам которого была поручена лаборатория Левковича, Памеле найти не удалось.

Армия — если можно назвать армией две караульные роты, роту связи, взвод аэродромного обеспечения и взвод в мотопарке — была вся в разгоне на работах. Старший офицер штаба — хорошо знакомый Спрингторпу по совместным поездкам лейтенант Хорн — спокойно выполнил все приказы Памелы, объявил сбор в лагерь всех воинских команд, по роду работы способных временно прекратить исполняемые дела, и сам явился в президентский барак. Памела тут же назначила его командующим. Куотерлайф связался с авиамастерскими, где заправлял другой хороший знакомый Спрингторпа, бывший броканский профсоюзный староста Дедад Борроумли, и поручил ему обеспечить порядок на аэродроме и встречу возвращающегося президента, если он, Ангус, не успеет прибыть вовремя. Ангусу уже подали джип, когда Борроумли сообщил: на поле появилась группа военных и штатских — человек сорок — и спешно грузится в вертолеты. На верстаке у Борроумли был только что проверенный пулемет. Он не замедлил пустить его в дело. Два верто-

лета все же ушли, три удалось отбить. Большая часть группы осталась на земле и отступила от аэродрома и близлежащего оружейного склада, караул которого, поддержанный Борроумли, открыл предупредительный огонь.

Получаса не прошло, как из мотопарка сообщили о нападении и угоне четырех бронетранспортеров — Спрингглторпу были памятны эти машины. Куотерлайф тут же распорядился снять печати со склада и вооружить людей Борроумли — человек тридцать рабочих авиамастерских. И вовремя. Транспортеры, еще издали постреливая для острастки, не замедлили вломиться на летное поле.

Один из парней Борроумли всадил в головную машину противотанковую ракету. Машина потеряла ход. Остальные развернулись и ушли прочь. Подбитая машина, по терминологии Борроумли «скорпиончик», угрожающе ворочала башенкой, изредка отплевываясь огнем и никого к себе не подпуская. К счастью, оставшиеся на поле вертолеты оказались в мертвом углу для ее пушки. Люди Борроумли постепенно окружили транспортер, но особенно не высовывались. Вернувшиеся из лагеря гиен вертолеты пришлось сажать прямо в барачном городке среди поднявшейся метели. Горючее у них было на исходе.

Спрингглторп, отряхивая снег, вошел в кабинет Памелы как раз в ту минуту, когда та говорила по селектору с Левковичем:

— Ради бога, профессор, не подавайте вида, что вы встревожены и что-то знаете. Старайтесь держаться от них подальше и не теряйте связи с нами. Мы вас в обиду не дадим. Это исключено.

Она подняла глаза на Спрингглторпа.

— Кэйрд-сын там. С ним десятка полтора вооруженных людей. Пока ведут себя тихо, ни во что не вмешиваются. Прилетели на двух вертолетах. Явно ждут. Ждут Калверта, это ясно. Калверт идет туда на бронетранспортерах. Нам шах. Они занимают лабораторию и требуют нашей капитуляции. Лаборатория дороже всего. Мы капитулируем. Нужно остановить Калверта. Во что бы то ни стало! Хоть на самом пороге.

— Слушайте, Спрингглторп,— натужно бормотал Кэйрд.— Дайте мне возможность связаться с Мартом. Надо вызвать Мардж. Мы поговорим с пацаном. Не

может быть, чтобы он снутался с этой компанией! Чушь какая-то! Объясните хоть вы!

Спрингторп молча выудил из кармана мятый манифест капитана Двайера и протянул Кэйрду.

— Дэд, к вертолетам пройдешь? У тебя там есть кто-нибудь, кто может вести вертолет? Отлично, Дэд! — надрывался Куотерлайф.— Ставь вместо себя кого-нибудь, бери человек двадцать, бери вертолет и немедленно дуй к лаборатории! Те три «скорпиона» прут туда! Ты понял? Не должны допереть, ты понял меня? Там в лаборатории младший Кэйрд. Они что-то замышляют, они не должны соединиться! Седлай дорогу! Выстой полчаса! Через полчаса наших будет что гороху! Быстро, быстро, Дэд!

— Профессор,— торопливо говорила Памела по другому каналу.— От вас нужен радиосигнал. Пеленг. Немедленно. Вы можете это сделать, не подвергая риску себя и своих людей? Это очень нужно, профессор.

— Мистера Кэйрда к телефону Баракеш,— щебетало по третьему каналу.— Алло, мистер Кэйрд у вас? Срочный вызов.

Лейтенант Хорн по четвертому каналу вызывал бензовоз и собирал роту, чтобы отправить ее следом за десантом Борроумли к лаборатории на вертолетах, приземлившихся у президентского барака.

— Есть пеленг! Хорн, Куотерлайф, есть пеленг! — воскликнула Памела.— У Левковича работает плазменная горелка. Минуту работает, полминуты перерыв. Пусть ловят шумовой пеленг: минута шум, полминуты молчание. Ангус, вы остаетесь здесь, у вас хорошо получается. Я пойду с Хорном к лаборатории. Хорн, собирайтесь. Организуйте мне оружие.

— Спрингторп, послушайте,— молил Мартин Кэйрд.

— Что тут слушать? — резко обернулась Памела.— Они стреляют, Мартин! Вы слышите? Они стреляют.

— Поверьте, Мартин, мне очень жаль,— с трудом находя себя в обрушившейся суете, сказал Спрингторп.— Я не знал, что Март с ними. Я его очень уважаю и...

— Алло! Алло! Баракеш на проводе,— щебетал селектор.

— Мартин, что в Баракеше? — перебил Куотерлайф.

— Задержали транспорт вольфрама для Левковича.

Шестьдесят тонн. Техконтроль не выпускает машину. Развалина, говорят, а не самолет. Правы, конечно. Я намекнул: дай, мол, бакшиш. Вот вызывают. Ну их к черту!

— У, балаган! Алло, давайте Баракеш сюда. Будет говорить Куотерлайф. Куотерлайф!

Дэвисон торопливо совала в карман пистолет. Хорн ждал у порога.

— Не понимаю! — отчаянно сказал Кэйрд.— Ничего не понимаю! Мадам Дэвисон, я вам верю. Но я прошу вас...

— Хорошо,— резко ответила Памела.— Я постараюсь. Но если что, и он явится к вам с моим скальпом, пожурите его, пожалуйста.

— А, будь оно все неладно! Я подаю в отставку! Слышите, Спрингторп! В отставку! Я не могу! Вот как хотите! Вы все хорошие люди, да! Мой пацан встрял в дурное дело, да! Но я не могу! Что я скажу Мардж?

— Капитан, заговорите старика,— тихо сказала Памела, застегивая куртку.— Хоть заприте его, пока все выяснится.

— Погодите, Памела,— идя следом за ней по коридору, решился наконец Спрингторп.— Хватит с нас бед, зачем еще кровь? Если так надо, чтобы меня не было, я уйду. Уйду немедленно. Имейте это в виду.

— Да при чем тут вы! — с сердцем сказала Памела.

— Как «при чем»? — удивился Спрингторп.

— Ах, капитан! — неожиданно звонко воскликнула она.— Таким, как вы, возня с властью крайне противопоказана. Дайте я вас поцелую на прощанье. Господи! Вы мой старый добрый папа, начитавшийся Чарлза Диккенса. Разве так можно?

И ушла в сияющий белый занавес метели, окруживший освещенное крыльцо. Он вышел следом и услышал неровные пулеметные очереди. Это отстреливался подбитый бронетранспортер.

Вот так они и остались втроем в кабинете Памелы: Куотерлайф, Спрингторп и старик Мартин Кэйрд.

— Я говорил с Баракешем,— сказал Ангус, сосредоточенно глядя на селектор.— Звонили с частной квартиры. Пилот и тамошний технический шейх. Потребовал сто тысяч. Я обещал. Шейх дал номер счета в Риме. Галантный, сволочь. Выпустит самолет, не дожидаясь подтверждения из Рима. Шакал. Доверяет слову джентльмена. Только бы Левковича не задело.

Да, только бы не задело Левковича. Когда же это было? Три недели тому назад. В этом же кабинете. Вот тут.

Термобомбы! — в восторге восклицал Левкович. — Это единственный вариант. Представьте себе этакий вольфрамовый шар, битком набитый ураном. Мы опускаем его на дно океана юго-западней острова и приоткрываем цепную реакцию. Так, чтобы получить две тысячи градусов, больше нам не надо. Все вокруг кипит, плавится! И раскаленная пилюля проваливается в расплав, прошивает корку на шарике, как горячая дробинка кусок масла! Перфорация земной коры! Полторы недели, десяток таких пилюль, и пять, семь параллельных каналов достигают магматического очага! Оттуда, из недр, все это начинает выхлестывать наружу! Вы знаете, что такое вулкан? Так вот, я вам обещаю десяток вулканов по западному периметру острова. Через неделю-две после начала на океанском дне встанут горы, отличная горная цепь. И ваш остров упрется в нее и затормозит как миленький. А мы подопрем его еще с севера и юга. Все, что к тому времени останется от вашей республики, так и будет вашим и никуда не денется. Еще с запада вулканчики подсыплют вам землицы. Вулканчиков не бойтесь. Живут исландцы с вулканами, и лучше вашего живут. Договоритесь. Нужны расчеты? Я вам их дам, все равно ничего не поймете! Обратитесь за экспертизой? Все скажут, что я сумасшедший. Да, я сумасшедший! Но я прав. Хотите остров — давайте вулканы. Покорежит эту вашу косую линзу еще месяца три — и живите себе мирно на вашем острове, селитесь и размножайтесь! Только родрэмов больше не дозволяйте строить разным губошлепам. Вот так! Нужен вольфрам — три тысячи тонн, нужен уран — тонны две, и не какой-нибудь, а бразильский, извлеченный из океанских вод! Не то нас обвинят в отравлении Мирового океана. Нужно сто тонн графита, плазменные сварочные головки для вольфрама, аргоновый колокол и всякая муть по мелочам, которой всюду хоть пруд пруди! Найдете! Будем варить вольфрамовые коконы! Коконы нужны толстые. Будут расходоваться при погружении. Модели мне завтра заканчивают считать. А вы говорите — наука! Вот она, наука!

Словно это не он за две недели до этого крутил головой и бормотал: «Химера, химера!» Памела, Куотер-

лайф, отец Фергус, оба Кэйрда — все стояли, разинув рты, а этот красавец, обросший, исхудавший, в прожженной робе, колесом ходил по кабинету — вот-вот разворошит хлипкие перегородки — и вопил:

— Деньги? Это все стоит гроши, я вам говорю! Вам еще покажи, где у вас валяется кошелек с мелочью! Я геофизик, я не финансист. Ну, геофизиков у вас тут давненько не бывало, я понимаю, но финансисты-то были! Где они, я вас спрашиваю? Выуживайте их из ваших лагерей: спекулянтов, обирал и комбинаторов! Скажите им: чтобы торговать родиной, надо ее иметь! Вот благороднейшее вложение капиталов, награбленных у вдов и сирот! Засыпьте золотом хлябь, в которую вас тянет! — Он остановился, набрал полную грудь воздуха и неожиданно тихо сказал: — Может быть, есть другой путь. Но я его не знаю. Никто не знает. И не успеет узнать. А вы,— он ткнул пальцем в Спрингглторпа,— вы! Попробуйте теперь мне запретить пробное бурение! Должны же мы знать, по каким таким шарикам катится эта колымага! А?..

— Ангус! — ожил селектор.— Сижу перед лабораторией. Дошел по пеленгу. Пеленг идет хорошо. Густо. Вроде бы все нормально, только метет — спасу нет. Там, у Левковича, дымит, полыхает и вонища жуткая, как от доменной печи. Мало нас. Оценить ничего не можем. Жмусь к дороге. Ты уверен, что они пойдут по дороге?

— Спасибо, Дэд,— ответил Куотерлайф.— Пойдут по дороге. Они спешат, им хитрить нечего, в лаборатории их люди. Жди. Через полчаса на тебя с неба посыплются наши. «Вольфрамы». Ты — «Уран». Понял? Не шарь вокруг. Наткнешься на чужих — будет шум раньше времени. Твоя задача — только «скорпионы».

— Это-то я понимаю. А вот объяснил бы ты мне, если время есть: чего ради вся игра?

— Тут одна компания принялась за капитана. Двайер, фюрер и младший Кэйрд. Я-то думал, фюрер притих, делом занялся, а он куснул-таки, змей. Кэйрд-младший где-то в лаборатории, у тебя за спиной, а фюрер колесит к нему на «скорпиончиках». Хотят взять нас за глотку, наложив лапу на Левковича. Левковичем рисковать нельзя,— стало быть, мы благородно лапки вверх. И настанет светлое царство нового порядка. Вроде так.

— Вон оно куда! А Двайер где?

— У райских врат. Подорвался на коробке с детонаторами, судя по всему. Капитан ему подсунул вовремя. Отбился.

— Мозговитый, черт! Молоток! Здорово он тогда в Брокане кипятился. Как в театре. Значит, фюрер рожки показал. Я так ребятам и скажу. Будь здоров.

— Что за фюрер? — спросил Спрингторп.

— Да Калверт,— тягуче ответил Куотерлайф.— Мы его знаем. Лет пять назад перед выборами людям головы крутил. Разве не помните? Все насчет бессмертных идеалов национал-социализма. Он. Штурмовиков завел. Каски, велоцепи в кулаках, мундирчики, мордобойный кабинетик с изречениями по стенкам. Сходились мы пару раз. У Дэда во все плечико память, рубанули его цепью на обувной фабрике. Большая драка была. Не припоминаете?

— Нет,— сказал Спрингторп.— Я политикой не интересовался.

— Зря. Ну, нас не очень-то обведешь. Подвели его под тюрягу — и тихо стало. И вдруг — на тебе! — является. Ну, вижу, при деле мужик. Может, образумился. Да и не до того. А он, чуть нам изо всей этой каши засветило... И сынка твоего знаю,— обернулся Куотерлайф к Мартину Кэйрду.— Он ведь тоже бегал с ихним аксельбантом. «Страна, проснись!» Разве не так?

Кэйрд не ответил.

— Что ж вы раньше молчали? — упрекнул Спрингторп.

— А что было говорить? Старое делить? Сыск заводить?

— Но своих людей в авиамастерскую, как я понимаю, вы все же собрали.

— Они сами собрались. Народ дружный, сам к делу тянется, просить-искать не надо. Вот и пригодились. Сидим, можем кофе попить. Хотите кофе?

Спрингторп взял протянутую кружку, обжег пальцы, поставил кружку на стол.

— А вы в рубашке родились. Ухлопал бы вас этот сукин сын в палатке, и концы в воду. Свалил бы все на Живодера. Хороши! Ах, гиены! Ах, «своими глазами»! И никому не сказавши, бегом... Мы тут с Памелой вас с утра обыскались. Еле дозналась она, куда вы подевались. «Ладно,— говорит.— Пусть полюбуется старик». И я тоже хорош! Развесил уши. Вот и полюбовались бы.

— Алло, Ангус! Сыплются со мною рядом,— ожил голос Дэда Борроумли.— Вовсю сыплются. А на дороге никого. Я на всякий случай инструмент приготовил. Как у вас?

— Порядок у нас. И у тебя порядок. Сыпаться могут только наши. Дорогу береги. Людей береги. Ты теперь тут у нас вроде гвардии, понял? Не последний день живем.

— Погоди минутку. «Вольфрамы». Порядок! «Вольфрамы». Где ж твои «скорпионы»? Вы там часом не напутали?

— Мы-то не напутали, а вот они могли. Давай.

Куотерлайф обернулся к Мартину Кэйрду.

— Слышишь, отец? Молись. Ежели твой сынок напоследок сам чего не напортит, скоро обниметесь. Бери назад отставку-то. Бери, пока не приняли. Хороший ты мужик. Авось без крови обойдется, так приложи наследнику отеческой рукой. Чтобы нам об этом не стараться. Аэродром — семнадцатая? Не помните?

Спринглторп кивнул.

— Алло, на проводе Куотерлайф. Что у вас? Отстреливаетесь? Понял. Держите меня в курсе.

Куотерлайф отключил селектор.

— Надо бы мне, капитан, самому глянуть на этот транспортер. Что-то долго они с ним возятся. Пора кончать. Побудьте здесь, через вас вся связь.

— Мартин,— мягко сказал Спринглторп, когда дверь за Куотерлайфом закрылась.— Не расстраивайтесь так. Памела — умная женщина. Она сделает, как обещала. Простите ей горячность. Ведь тяжело.

Кэйрд шумно вздохнул, но не шевельнулся.

— Ваш сын много сделал для людей. Никто из нас об этом не забывает. Ни Памела, ни я, ни Ангус. Откуда мы знаем: может быть, он пошел туда, чтобы уберечь Левковича?

— Спринглторп, я вас прошу,— глухо сказал Кэйрд.— Не говорите со мной ни о чем. Я никуда отсюда не уйду, ничем не помешаю, ничего не попрошу. Но Бога ради, не говорите со мной.

— Алло, Ангус! — ожил селектор голосом Памелы.— Как у вас?

— Говорит Спринглторп. У нас все спокойно. Куотерлайф ушел к подбитому транспортеру.

— Капитан, у вас есть связь с Ангусом? Передайте ему: я принимаю решение. Лабораторию пока не тро-

гаем, оставляем перед ней взвод и команду Борроумли. Вторым взводом на трех вертолетах перебежками идем по дороге навстречу Калверту. Он заставляет себя ждать.

Вдали громыхнуло раз, другой. «Это на аэродроме»,— сообразил Спрингторп.

Куотерлайф ответил на вызов минут через десять.

— Разворотили «скорпиончику» борт, подводим мотопомпу с пеной. Будем качать внутрь, пока они оттуда не полезут.

На панели замигала незнакомая лампочка. Спрингторп поспешно переключил связь.

— Алло! Алло! Говорит третий эвакодром. На поле прорвались два бронетранспортера. Держат под прицелом готовый к отправке самолет с беженцами. Их экипажи требуют немедленной посадки на самолет. Что делать?

— Говорит Ной Спенсер Спрингторп! Что? Капитан говорит. Да. Разрешите им грузиться. Скажите: я гарантирую им беспрепятственный вылет. Прошу только сообщить, где находится третий транспортер. Третий. Вы меня поняли?

— Да, сэр.

— Памела! Памела!

— Говорит Дэд Борроумли, капитан. Мадам Дэвисон ушла вперед по дороге. Что ей передать?

— Передайте, что два бронетранспортера появились на третьем эвакодроме. Их экипажи требуют немедленного вылета. Грозят применить оружие. Я разрешил им лететь.

— Ага. Ясно.

В коридоре загрохотали шаги, дверь распахнулась, и вслед за Куотерлайфом солдаты протиснули в комнату носилки.

— Господин Калверт собственной персоной!— объявил Куотерлайф.— Застряли здесь, но вышли с пеной.

— Мистер Борроумли, передайте мадам Дэвисон: Калверт здесь. Он был на подбитом транспортере. Он взят в плен. По-видимому, на дороге никого нет.

— Ясно, капитан.

— Алло! Говорит третий эвакодром. Они требуют заложника, иначе не соглашаются очистить взлетную полосу. Они требуют кого-нибудь из членов правитель-

ства. Дают час сроку и запрещают приближаться к самолету с беженцами.

— Передайте им: мы вступим в переговоры, как только они сообщат, где третий транспортер,— сказал Спрингторп, глядя на хлопья пены, падающие с носилок. Пена остро пахла. Калверт был весь в пене. Его невидящие глаза смотрели куда-то в угол.

— Приподнимите его. Подержите за плечи,— хлопотал военный фельдшер.— Так. Так.

— Алло! Алло! Они говорят, третий транспортер провалился в трещину.

Раздался нечеловеческий хрип.

— Тихо, тихо,— приговаривал фельдшер.— Сейчас. Потерпите.

Он обернулся, рванул с рук пленчатые перчатки.

— Его надо в госпиталь. Я уже говорил: срочно в госпиталь. Осколок торчит, но я не могу его вынуть. Нужна операция, полная анестезия, переливание крови.

— Зачем вы доставили его сюда?— тихо спросил Спрингторп.

— Не так уж он и плох,— резко ответил Куотерлайф.— Только что выражался вполне связно. Мог бы сгоряча и вам сказать кое-что интересное.

— Вы!— не выбирая, сказал Спрингторп одному из военных.— Я вам приказываю: немедленно доставьте раненого в госпиталь. На моей машине, если других нет.

— Миндальничаете, капитан.

— Ангус, спокойнее. Мне только что сообщили: два транспортера пришли на третий эвакодром. Задерживают эвакуацию. Требуют заложника. Я разрешил им лететь. Мы дадим им заложника.

— Прекрасно! Уж не меня ли пошлете?

— Нет. Пойдет Мартин Кэйрд. Правда, Мартин?

Куотерлайф резко обернулся к Кэйрду. Тот медленно поднялся с кресла. Ростом он был выше Ангуса.

— Вы правы, Спрингторп. Спасибо. Я пойду, и все кончится миром. Не думайте больше об этом деле. Я справлюсь.

— Исторический момент!— с издевкой сказал Куотерлайф.

— Ангус! Ангус! Полубезумцы против полубезумцев в сумасшедшем доме. Фарс! Неужели вы не понимаете? Вы! Зачем нужно делать из этого трагедию? Пусть Мартин едет. Да придите же в себя!

Молчание было недолгим.

— Ладно,— сквозь зубы сказал Куотерлайф.— Будь по-вашему. Берите транспортер в парке. Там еще осталось два.

Кэйрд молча протянул Куотерлайфу свою ладонь-лопату. Тот, помедлив, стащил перчатку и подал Кэйрду руку.

— Алло! Третий эвакодром? Заложником будет Мартин Кэйрд-старший. Он выезжает. Прошу вас, ведите переговоры очень спокойно. Никакого раздражения.

Кэйрд вышел. Куотерлайф швырнул перчатки на стол, сел было, но тут же вскочил и заходил по комнате.

— Ангус, так нельзя,— начал Спрингторп. Решимость решимостью, я не спорю, это хорошо Но поймите, иногда она слишком далеко заводит.

— Давайте лучше не будем об этом, капитан. На вашем прекраснодушии, вы меня извините, можно заехать гораздо дальше. Так ведь тоже нельзя! Черт! Надо же, как прошляпили!

— Ничего худого не случилось, Ангус. Хотя и могло. Я уверен, что в лаборатории все кончится благополучно.

— Да я не об этом! Через неделю Левкович начнет кидать свои пилюли. Предположим, все пойдет, как задумано. Что это означает? А то, что через полгода, ну, через год все успокоится. Понимаете, капитан? Здесь начнется новая жизнь! Какая жизнь? Вот что мы прошляпили! А фюрер об этом подумал! Дрянь он последняя, сами видите. Но подумал. Вперед нас, благородных, умных, честных — называйте, как хотите! а по сути, так слепых котят!

— Ангус, постойте! Вы что, всерьез считаете нас с вами благородными, умными и так далее?

— Давайте без самоуничижения. Не надо. Дело таково. Нам эти качества припишут, не сомневайтесь. Вы и сами только что к этому руку приложили. А так это или не так, не имеет ровно никакого значения.

— Не знаю, Ангус, и знать не хочу. Я смотрю на это иначе. Просто все мы попали в беду. Рухнул дом. Из-под обломков надо выбираться. Мы пытаемся выбраться. Вот и все.

— В том-то и дело, что не все. Не все! Надо по-

строить новый дом. Вот что нам предстоит. Хватит ли у нас на это пороху? Вот о чем пора задуматься.

— Рано, Ангус. Вы говорите о политике, я никогда в ней ничего не понимал, но знаю: сейчас не до нее.

— Слепое мещанское чистоплюйство! Вы извините, но это так. Всегда до нее! Всю жизнь кто-то на вашем хребте гнул политику и выворачивал, как хотел, а вам все было не до нее! Вы понимаете, что произошло? Страна подошла вплотную к социальному перевороту. В нашей власти сейчас повернуть ее на новый путь, и непростительно, если мы эту возможность упустим. Я говорю вам открыто: ни я, ни ребята Дэда Борроумли — они сегодня много сделали, не забывайте о них! — мы вернуться назад не позволим.

— Вы говорите так, словно объявляете мне войну.

— Капитан, если нам придется это сделать, мы сделаем. Это будет очень трудно. Ваш авторитет громаден. Больше его, пожалуй, только ваша удивительная наивность. И умопомрачительная везучесть. Я не знаю, что отдал бы, чтобы твердо знать, что вы на нашей стороне. Но вы не на нашей стороне, вы сами по себе. Не хочу, не желаю сражаться с вами. Но если понадобится, буду. Буду. У меня нет другого выхода.

— Как странно, Ангус. Вы только что поставили на карту все, чем располагали, чтобы я остался на своем месте. И тут же чуть ли не умоляете меня убраться подобру-поздорову, чтобы я вам не мешал.

— Да нет же! Дело не лично в вас и не во мне. Надо строить дом. Я хочу, чтобы мы строили. Начинать надо сегодня. А кто не начнет, тот станет врагом. Не мне — делу. Огромному.

— Извините, Ангус, но, по-моему, вы излишне драматизируете. Как-то все это театрально. У меня неприятное чувство, словно всем нужно, чтобы я был достопочтенной говорящей куклой в чьих-то руках. Хватит! Не буду, слышите! Все эти ваши «нынче одно, а завтра по-другому» — чушь! Надо просто честно работать, и все образуется само. Не слишком ли вы поверили в какую-то идеальную схему? Берегитесь! Ее плен может погубить не только меня или вас.

— Капитан, я вас не перевоспитаю. К большому моему сожалению. Я должен был вам сказать то, что сказал. Давайте будем честно трудиться. Давайте. Там видно будет.

— А вы не думаете, что много будет значить еще и то, что по этому поводу скажет мадам Дэвисон?

Куотерлайф на полушаге остановился как вкопанный.

— Капитан,— сказал он, помедлив,— да неужели же вы настолько слепы! Она своими руками потащит остров на место, если только прикажете вы. И... не только потому, что вы для нее авторитет. Это гораздо больше. Чтобы такая женщина, как Памела Дэвисон... Человек же вы! Неужели вы не понимаете...

— Алло! Канитан! Капитан!— загремел селектор.— Дэд Борроумли говорит! Вы меня слышите? Мы Кэйрда-младшего сгребли!

— Дэд, старик, как тебе удалось?— завопил Куотерлайф.

— Ангус, ты там? Слушай! Пока суд да дело, я отправил туда две пары наших посмотреть, как да что. Они в робах. Кто отличит? Том Программа и Кожаный пошли. Том доску прихватил для маскировки, а Кожаный — угольник. Проходят мимо туалета, глядь а он оттуда собственной персоной, и с ним два лба из его команды. Медвежья болезнь одолела. Ребята-то в курсе, я им все в красках описал. Кожаный с ходу угольником одного по каске, с другим сцепился, а Том ему, красавчику, в живот головой: положил, рот снегом набил, шарфом завязал, он и не очень рыпался. Тех двоих упаковали и в кабинку упрятали. А его к доске примотали и на плечах вынесли, никто ничего и не заметил. Сидит, что-то такое бормочет. Вроде бы он у всей этой компании был на крючке за старые дела, от одного их вида его тошнит. И от нашего тоже. Плачет от облегчения души. Похоже, так. Сейчас Дэвисон придет — выясним. Совет держать будем. Еще Дятел ходил и Регбист Говорят, их там с десяток толчется возле трансформаторной и человек пять у вертолетов. Мы их мигом прихлопнем, не беспокойтесь.

— Благодарю вас, мистер Борроумли. Это замечательная новость,— сказал Спринглторп.— Но только я впредь попрошу вас: в разговоре со мной не упоминайте, пожалуйста, подпольных кличек, а называйте людей по именам.

— Слушаюсь, капитан,— радостно отозвалось из селектора.

— Ч-черт!— Куотерлайф ударил кулаком в ладонь.— Капитан, вам не может так везти! Это какой-то

цирк, фокусничество! Что же мне, верить в вас, как в Бога? Идиотизм!

— Почему вы считаете меня удачливым? — тихо спросил Спрингторп.— Я одинокий старый человек, я ко всем этим вещам не стремился. Если считать, что существует судьба, так это больше похоже на ее издевку К счастью, у меня не было времени раздумывать на эту тему. Когда выдается минута, я думаю о жене и сыне. Их нет значит, и меня нет До сих пор, Ангус, я не очень твердо знал, что я здесь делаю. Баунтон говорил, но я как-то не усвоил. Спасибо вам, теперь я, кажется, понял. Я живу, пожалуй, только для того, чтобы добры молодцы вроде вас не слишком увлекались экспериментами в новом доме. Я-то знаю: людям там должно быть удобно. Так что я снова инспектор по гражданскому строительству Имейте это в виду на будущее.

— Как хотите, — ответил Куотерлайф.— Строить, по-моему, более достойное занятие, чем инспектировать Впрочем, кому как.

7

Вдали над океаном грузно кренилась титаническая колонна желтоватого пара, подсвеченная снизу багровыми сполохами. Оттуда несся могучий, расслабляющий ноги рев. Вода за бортом была недвижна — вся в белых и черных разводах гуща из вулканического пепла. Светло-кремовая, только что отмытая надстройка танкера с алой надписью «Эльпидифорос» — «Надеждоносец», одно название чего стоит! — на глазах покрывалось безобразными черными потеками. Пепел был всюду: на зубах, на бровях, на одежде.

— А! Как работает! Как работает-то! — восхищенно приговаривал Левкович.

Он пританцовывал, размахивал руками, он места себе не находил, любуясь делом рук своих. Рук, сбитых в кровь, почерневших от возни с металлом. Такие руки здесь у всех, кроме господина Баркариса Хараламбоса совладельца и капитана танкера. По мере того, как белоснежная пластиковая капитанская роба с золотыми галунами покрывалась теми же потеками, господин Хараламбос начинал беспокойно и брезгливо оглядывать себя и наконец отлучался к помпе, откуда являлся сияющий великолепной белизной, нервно отряхиваясь, как холеный домашний кот, неожиданно

угодивший в грязь. Отлучки капитана повторялись каждые четверть часа, и Спрингторп невольно следил за их регулярностью, ловя себя на мелком злорадстве, вовсе неуместном и потому огорчительном. Кот не кот, а из кошачьих. Этакий ягуарчик на зыбких водах с великосветскими замашками.

Господина Хараламбоса указал старику Кэйрду тихий незаметный человек, на миг вынырнувший из кишащих толп эвакуируемых. Человек был из тех, кто считал, что всю эту катастрофу Господь Бог устроил только для того, чтобы покарать именно его,— ну, в крайнем случае, еще десяток ему подобных. У него погибли жена и калека дочь, ради благополучия которой он пускался в темные дела по всему свету. Какие именно, он не стал рассказывать. Он вручил Кэйрду чек на пять миллионов. «Мне самому не нужны деньги, мистер Кэйрд,— сказал он.— Слухом земля полнится: говорят, вам нужен хороший корабль. Завтра моя очередь эвакуироваться. Дайте мне ваш телефон. Думаю, смогу кое-что сделать. Есть один человек, он стоит больших денег, но на него можно рассчитывать».

Через десять суток «Эльпидифорос» сообщил, что находится на траверзе мыса Финистерре и готов принять людей и груз. Это обошлось в три с половиной миллиона. Погрузкой руководили Дэд Борроумли и Мартин Кэйрд-младший. «Этот парень на свободе гораздо полезнее, чем в тюрьме, которую нам заводить не ко времени»,— сказал Спрингторп. «Хорошо,— ответил Куотерлайф.— Он и Борроумли». Пара выглядела причудливо, но распоряжалась напористо: в три дня на борту танкера был смонтирован перекупленный у норвежцев комплект электроники для подводного бурения и установлены сбрасыватель и стеллажи для термобомб.

Хараламбос на все это согласился, но поставил только одно условие: все работы ведутся островитянами, из них же формируется новая команда танкера, а прежняя, за исключением старшего механика и штурмана-радиста, совладельца корабля, снимается с борта. «У вас там уран. Нам троим наплевать, но наши моряки — это семейные и не очень знающие люди, мистер Кэйрд. Мы все земляки или родственники, иначе нам нельзя работать. И если кто-нибудь из них пострадает, вина ляжет на меня, и все очень осложнится. Мы отлично понимаем: когда кончим дело, прежнему конец, мы

станем слишком заметны. Ну что ж. Когда-то надо кончать. И лучше так, чем иначе. Мы трое идем на это сознательно. Но наши люди — они здесь ни при чем».

Два десятка вертолетов кружились над Атлантикой, как пчелы. Чтобы сократить маршруты, Хараламбос прижался чуть ли не к самому трясущемуся наползающему берегу. Еще сутки, и двести тридцать тяжких вольфрамовых шаров, начиненных графитом и ураном, угнездились: в цистернах танкера, давным-давно забывших, что такое нефть.

А что они помнят, эти цистерны? Спрингторп вздохнул. Отец Фергус пытался деликатным образом дознаться. Следы круто повели во тьму, где люди исчезают без следа. А господин Баркарис, спустившись вместе с Борроумли в недра корабля проверить крепление груза, с белозубой улыбкой неожиданно спросил, много ли еще у островитян не в меру любопытных мальчиков. «Очень мало,— ответил Борроумли.— Практически больше нет».— «Это утешительно,— кивнул Хараламбос и тут же переменил разговор.— Так вот это и есть атомные бомбы?» — спросил он. Шестиметровые серые шары мрачно казали сизые шрамы поспешной сварки. «Ах, это не бомбы. А переделать их в бомбы можно?» Узнав, что проще начать заново, капитан еще раз улыбнулся, повернулся на каблуках и начал педантично проверять трос за тросом. «Дело знает»,— кратко отозвался о нем Борроумли, но каким это было сказано тоном!

В тот же вечер в кабинете Памелы Дэвисон состоялось последнее совещание перед вылетом Левковича на танкер.

— Мы наметили для перфорации пятнадцать точек. Вот здесь, здесь и здесь,— говорил Левкович, тыча в карту красным карандашом.— Слава аллаху, здесь, судя по стратиграммам, довольно близко к поверхности магматический очажок. Вам везет. Не бог весть что, но для нас хватит. И пилюль должно хватить. От точки до точки — двадцать миль, неполных полтора часа ходу. Начинаем здесь. Тут хорошая впадина в дне. Пойдем вот сюда, по дуге к южному краю скального плато. И назад по хорде на второй заход. Один круг — около полутора суток. Думаю, на двенадцатый день, где-то после седьмого круга, кое-что прорежется. Тогда и публикуйте сообщение.

— А если ничего не выйдет? — мучительно выдавил Мартин Кэйрд-старший.

— На вашем месте я бы лучше думал, как сделать, чтобы вышло, — отчеканил Левкович. — По расчету, я должен бросить следующий шарик в ту же точку дна через тридцать, максимум через тридцать пять часов, иначе горячий ствол может затромбировать. Норвежская станция наводку обеспечит, она трехканальная; большего запаса надежности могут требовать только капризники, я к ним не отношусь. А вот эта ваша темная посудина... Корабль должен пройти без остановки до пятнадцати тысяч километров со средней скоростью шестнадцать с половиной узлов. Около двадцати суток непрерывного хода. Вы уверены, что Хараламбосова бочка из-под керосина на это способна?

Хорошо, что господин Баркарис не слышал этих оскорбительных слов. «Эльпидифорос» работал, как часы, на двадцати шести узлах. Иначе и быть не могло. Хараламбосу по его делам нужен был не корабль, а марафонец-рекордсмен. Как бы иначе он мог предложить танкер, скажем, в качестве вертолетоносца во время гражданской войны на островах Бакалажу — удачная авантюра шестилетней давности, составлявшая предмет его профессиональной гордости.

— А дозаправка? — не унимался Левкович. — Если мы станем посреди океана без капли мазута, вот тогда действительно ничего не выйдет. Вы позаботились о дозаправке танкера топливом?

«Это моя забота», — сказал Баркарис во время переговоров с Кэйрдом. Дважды за время рейса танкер отклонялся от курса и выходил по радиопеленгу к огромным пластиковым поплавкам с горючим, одиноко болтающимся посреди моря. Кто, на чем и когда доставлял эти пузыри с мазутом, — это никого не касалось. «С вас достаточно знать, что это обходится мне в копеечку, мистер Борроумли, — заявил Баркарис. — Или вы решили, что я шкуродер, сграбастаю ваши миллионы и сам профинчу по кабакам? Если решили, то напрасно. Я больше романтик, чем шкуродер. Мне скучно было бы жить так, как вы прожили свою жизнь, суперкарго. Чтобы не скучать, надо рисковать и платить. Солоно платить. Зато мой сервис — это сервис. Во всяком случае, от Фиджи до Гибралтара. Честно говоря, это мой первый выход в ваши измордованные законоведами края. Надеюсь, успешный?» — «Это правда, что вы

выиграли танкер в карты?» — ответил вопросом на вопрос Дэд Борроумли. Они сидели в капитанском салоне, на столе красовалось невероятно дорогое коньячество со столетними сертификатами. Наслаждался им один Хараламбос. Борроумли не спал уже четвертые сутки и предполагал не спать еще двое. Рюмка вина могла свалить его с ног, и Хараламбос деликатно не настаивал на обоюдности пиршества, удовлетворившись соблюдением ритуала общего ужина капитана и «представителя владельца груза». «Не совсем так,— ответил Баркарис.— Это легенда. Но лично мне она нравится больше правды».— «Почем платили за легенду?»— угрюмо поинтересовался Дэд. Хуже не было для него пытки, чем эти ежевечерние пиры в «будуаре», как он именовал капитанский салон. «Сразу видно, что вы неопытны в таких делах, суперкарго,— возрадовался Хараламбос.— Легенды не продаются. Их нельзя купить. Их заслуживают. У слепцов, которые их слагают. Был такой случай в нашей истории. Вот послушайте». И включил магнитофон. Зазвучала протяжная, тоскливая, с придыханиями речь. «Вой собачий»,— определил про себя Борроумли. «Одиссея»,— гордо сказал Хараламбос. «Извините, капитан. Как-нибудь в другой раз»,— поднялся Дэд из-за стола. Он не мог есть, не мог видеть, как едят другие, он ничего не мог — мог только ворочать эти неподъемные глыбы металла и швырять их в зыбучую хлябь океана.

На корме готовили к сбросу очередную пилюлю. Крепили лопасти гидропланера, проверяли запальное устройство, вязали тросы. Начинался седьмой заход. Дул пронизывающий ветер. Находиться здесь Борроумли было необязательно, но он ушел с кормы только после того, как шар, тяжко плюхнувшись, исчез в черной пучине, волоча за собой кабель управления. Пройдя по грохочущему коридору, Борроумли открыл дверь каюты гидроакустиков. Левкович и Кэйрд-младший стояли, склонясь над столом и прижав к ушам по одному наушнику общей пары. Завидев Борроумли, Левкович поманил его рукой, потянул наушники, и Кэйрд, словно приклеенный к ним, попятился следом, не отпуская свой. Дедад прижал наушник к уху и услышал долгий скрип, потом скрежет и серию коротких хлопков. И снова скрежет.

— Это уже извержение,— сказал Левкович. Пошло! Бросим еще одну для гарантии, и чем быстрее

уберемся отсюда, тем лучше. В этой точке нам больше нечего делать. Передайте президенту: пусть публикуют сообщение...

Ничто так трудно не далось Спринглторпу, как дело о гласности работ «лаборатории». «Опубликуем, нашумим,— а ничего не выйдет. И что тогда?» — настаивал Куотерлайф на молчании до поры до времени. «Уран и так почти воруем,— ворчал Кэйрд-старший.— Вольфрам — металл редкий, запас на рынке ограничен. Чуть прослышат, что нам без него никак,— цены вздуются втрое. А транспорт?» Ведомство отца Фергуса разродилось меморандумом: «Операция, по своим масштабам сравнимая с величайшим природным катаклизмом, может вызвать резко отрицательные оценки, к которым присоединятся от тридцати до семидесяти процентов населения заинтересованных районов, что затруднило бы ее подготовку и проведение». Фразы были длинные, окатанные и живо напомнили Спринглторпу лучшие страницы «Преславного дела».

Памела выразилась кратко: «Конечно, это касается всех. Поэтому лучше сделать вид, что это никого не касается».

«Немедля обо всем сообщить! — требовал Левкович.— Хватит делать из нас домовых!»

Не зная, на что решиться, Спринглторп тянул и тянул дело, никому ничего не разрешая и не запрещая, пока чуть ли не все было подготовлено. Тогда и было решено, что официальное сообщение следует опубликовать, как только на океанском дне появятся признаки извержения.

Конечно, слухи ползли и доходили до имеющих уши, но попасть на остров извне было почти невозможно, толком никто ничего не знал. Каждое утро, открывая сводку мировой печати, Спринглторп ожидал появления сенсационных заголовков, но все было тихо. Он догадывался, что не обходится без трудов отца Фергуса, оказавшегося недюжинным дипломатом.

Тяжким испытанием для Спринглторпа оказалось прощание с полковником Федоровым, начальником русской технической миссии. Всемирный сбор средств позволил приобрести технику и обучить свои кадры, и русские готовились к отъезду. В президентском бараке был устроен торжественный ужин для сотрудников миссии, а на следующее утро Спринглторп принял Федорова один на один в своем кабинетике.

— Господин президент,— сказал полковник, когда закончилась официальная часть приема.— Мне поручено передать вам следующее устное заявление. Нашему правительству в общих чертах известно, что на острове ведутся работы определенного плана. Масштаб их широк, указаний о закрытом характере работ не имеется, так что в нашей осведомленности нет ничего предосудительного, хотя ваши правительственные органы предпочитают уклоняться от огласки программы и целей работ. Наше правительство и наш народ на деле доказали глубокое понимание трагической ситуации, в которой оказалась ваша страна. Безусловно, это не дает нам права вмешиваться в ваши внутренние дела и требовать к себе особого доверия. Нет и международных установлений, регламентирующих подобные программы. Но как вы понимаете, такие операции способны затронуть жизненные интересы сопредельных стран. В связи с этим наше правительство выражает беспокойство и ожидает от вас действий, способных его рассеять. Ни в коем случае не указывая формы и содержания этих действий.

Что мог Спрингторп противопоставить словам именно этого человека, которого глубоко уважал? За бешеную работоспособность и организованность, за бесконечную готовность помочь, пойти навстречу взвинченным островитянам, мечущимся на грани истерии и изнурения. Такому человеку нельзя было промямлить в ответ уклончивую любезность. И в то же время нельзя попросту отвезти к Левковичу и показать все от начала до конца. Это вынудило бы русских занять четкую позицию. Какую? Ясно какую: массированное искусственное подводное извержение — такого никогда не было. И не должно быть. Ни один трезво мыслящий человек не способен одобрить такой проект. Наоборот, он обязан воспрепятствовать. Ах, как хорошо трезво мыслить, когда твоя земля не ходит ходуном, не затягивается в океанские хляби!

— Полковник,— сказал Спрингторп.— Ведь вы не просто наблюдали, что у нас творится. Вы сами и ваши люди отдали нам часть своей жизни. Большего нельзя ни просить, ни требовать. Но подумайте: для вас это была только часть. Часть. Правда? А для нас — это вся жизнь. Не только наша. Жизнь будущих поколений нашего народа. Мы отвечаем перед ними. Мы обязаны, свято обязаны испытать все пути, предпринять все по-

пытки и в любой из них дойти до конца. До гибели, до сумасшедшего дома, до того, что всех нас перевяжет международная морская пехота. Вряд ли это случится, но, если случится, я обязан буду зубами грызть веревки, пока меня не пристрелят. Так думает каждый из нас, я тут не исключение. Вы скажете, что это слепой первобытный национальный эгоизм. Да, это так с точки зрения любой другой нации. Но не с нашей.

Полковник молчал, и Спринглторп, сделав круг по кабинетику, продолжал:

— Мы все прекрасно понимаем, что означают ваши слова. Это мягкое, но настойчивое предупреждение. Предложение утопить начатое в дискуссиях ученых авторитетов. Мы не пойдем на это. Пытаясь сохранить хотя бы часть своего дома, быть может, мы повредим еще чей-то. Я горячо надеюсь, что этого не произойдет. Но если произойдет, мы сто лет будем ходить голые и босые, будем каяться и расплачиваться. Будем. Но на своей земле, полковник. Поймите: вы — часть милостыни, которую нам подают. Но нам нужно большее. И у нас достанет дерзости потребовать у человечества свою долю целиком! — ошеломленный пылом собственных слов, Спринглторп помедлил и, одолев сухость во рту, закончил: — Прошу вас, полковник, передать это вашему правительству. Одновременно с выражением глубокой благодарности за все, что ваш народ сделал для нас. Был бы рад услышать ваше личное мнение по этому поводу. Ни в коей мере не соединяя ваших слов с мнениями служебными.

— Господин президент, я офицер,— негромко сказал полковник.— Работая здесь, я выполнял приказ. Он был для меня большой честью. Рад, что наша работа заслужила высокую оценку. За нашей группой были сотни тысяч умов и рук, без них мы ничего не смогли бы. Я проникнут этим ощущением и хотел, чтобы об этом помнили все, с кем нам пришлось здесь работать. Чувства и мнения этих сотен тысяч наших земляков — это и есть мои личные чувства и мнения, я от них неотделим. Я вам их высказал. Надеюсь, вы отнесетесь к ним с должным вниманием. Уверен, что к вашим словам наше правительство отнесется со всей серьезностью. Они того заслуживают. Позвольте мне на этом попрощаться и еще раз сказать, что наш народ относится к вашей стране с братским сочувствием. Именно поэто-

му он и послал нас сюда. Не забывайте об этом, господин президент.

Все же существует искусство, неведомое Спрингторпу. Искусство слияния себя и общества. Он всю жизнь нимало не нуждался в нем, а теперь... Ах, как трудно без него теперь! Тяжесть собственной нерешительности, неспособность глядеть вдаль и вширь подавляла Спрингторпа. И когда наконец оттуда, с неразличимого во тьме и туманах «Эльпидифороса», донеслись желанные слова, он почувствовал себя легко. Невесомо. Больше он ничего не мог сделать, ни на что не мог повлиять, все покатилось, как лавина, а он, покачиваясь, повис над ней как символ, как мишень, в которую бьют молнии запоздалых страстей, бьют жестоко и болезненно для него самого, но нечувствительно для дела. Пусть бьют.

Он с честью выдержал процедуру заявления для печати с передачей по телевидению. Отец Фергус постарался: не меньше сотни журналистов и телеоператоров кишело на борту американского самолета, в салоне которого, прямо на аэродроме Линкенни, состоялась пресс-конференция. Полуослепленный, полуошпаренный ярким светом юпитеров, Спрингторп прочел правительственное сообщение. Он знал его наизусть и ни разу не сбился:

«Полностью отдавая себе отчет в том, что предпринятая акция может вызвать обвинения в нарушении природного равновесия в бассейне западноевропейской котловины Атлантического океана, мы самым энергичным образом подчеркиваем, что стремимся как раз к обратному. Ибо неотвратимо надвигающееся исчезновение нашего острова означает гораздо большее нарушение этого равновесия, чем попытка хотя бы частично сохранить территорию, принадлежащую нашему народу».

На следующий же день пошли протесты. Первым был японский: «Искренне и глубоко принимая к сердцу трагедию нации, лишающейся собственной земли, правительство и народ Японии не могут одобрить действий, способных привести к неконтролируемому радиоактивному заражению вод Мирового океана».

— Чушь! — неистовствовал в радиотелефоне голос Левковича.— Я же вам говорил: весь уран, который мы ухлопали на это дело, извлечен из морской воды. Что

мы, дети, что ли? Если на то пошло, попади он в воду весь целиком — так равновесие только восстановится. Почему вы не сказали об этом в заявлении?

Забыли,— ответил Спрингторп.

— Забыли! Публикуйте разъяснение. Поезжайте на сессию ООН, делайте, что хотите, но чтобы с этим все было ясно! Поняли?

Ехать в штаб-квартиру ООН, эвакуированную в Виннипег, Спрингторпу так или иначе предстояло в ближайшие же дни. Международный штаб «впредь до получения разъяснений» приостановил финансирование технических операций. «Ходят слухи, что группа стран готовит проект резолюции с осуждением проводимой акции»,— сообщал О'Брайд.

— Поеду и выступлю,— сказал Спрингторп Левковичу.— Как у вас дела?

— Пока работают три точки: первая, вторая и пятая. Суточный выход — около ста тератонн, но это только начало. Разгуляется.

Через два дня загудело в четвертой, затем в седьмой и восьмой точках. Потом заработали двенадцатое и тринадцатое жерла. Восемь вулканов бушевали на океанском дне.

— Нам и так почти хватит,— доносилось по радиотелефону.— Еще бы парочку: третью да десятую. И довольно будет. Запас остался, мы бомбим десятую. День-два — и прорвет. Не может быть, чтобы не прорвало. Зрелище! Приезжайте посмотреть.

Десятую прорвало через три дня. Да как прорвало! В три дня гигантская гора поднялась на всю четырехкилометровую толщу океанских вод и выбросила над поверхностью свой грозный султан.

«Эльпидифорос» крейсировал теперь вдоль фронта вулканов. Еще два из них: второй и пятый,— приподнялись из океана. А десятый высился уже почти на полкилометра.

Дебаты в ООН были назначены на послезавтра, и Спрингторп решил, что перед этим должен увидеть своими глазами все, что происходит в море. И вот он стоял и смотрел, сжимая руками стальной поручень, идущий вдоль борта танкера. Смотрел и пытался себе представить, что происходит там, в ужасной тьме океанских глубин: бешеное кипение воды, огромные тускло-багровые комья, витающие на струях пара, тягучее клокотание громоздящейся грязи.

— Суточный суммарный выход по всем точкам две тысячи сто тератонн. Мы рассчитывали на две семьсот, но при этом закладывали двадцатипроцентный запас. Так что по делу сейчас — как раз! — кричал ему в ухо Левкович.

Каких чудовищ пришлось выпустить из недр! Сквозь пелену дыма тусклым красным кружочком едва светило солнце. С неба свешивались длинные серые струи. Нечем было дышать.

— Смотрите! Такой была Земля миллиард лет тому назад! — не унимался Левкович.

— А это кончится? — пролепетал Спрингторп. Вдруг и это не кончится. Вдруг все это...

— Кончится! — кричал Левкович. — Вот выдавит очажок и кончится. Еще три недельки — и будет тишь да гладь!

— Господин президент, мсье академик, — торжественно заявил капитан Хараламбос, отмывшись в очередной раз. — Мне, капитану корабля, по морским законам принадлежит право назвать вновь родившуюся сушу. Я намерен воспользоваться этим правом, но поскольку ее создателем являетесь вы, мсье академик, то прошу вас, нет ли у вас пожеланий?

— Ах вот как! Ну хорошо. Не откажусь. Я хочу, чтобы хребет именовался хребтом Геофизики. Вот так. А горы можете называть, как вам угодно. Они меня не интересуют.

— Решено, — кивнул Хараламбос. — Весь хребет отныне нарекается хребтом Геофизики. А эта гора да именуется Гефестион Бореалис. Я сообщу сейчас об этом по флотилии.

Да, вслед за «Эльпидифоросом» следовал целый флот. Два крейсера, два эсминца, вдали на горизонте — авианосец, несколько подводных лодок в походном положении — только рубки торчат из воды. Военные суда под вымпелами и флагами, ороговевшими от давней боевой славы, с достоинством выполняли приказы своих адмиралтейств: выражать неодобрение своих правительств молчаливой ощеренностью вооружения. Баркарис был в восторге от такого эскорта. «У нас на борту президент республики. Надо им объявить. Пусть салютуют», — кичливо заявил он, едва только Спрингторп ступил на палубу танкера.

— Я вас прошу, не нужно,— попросил Спрингторп.

— Президент здесь неофициально,— нашелся Дэд Борроумли.

— Как хотите, суперкарго,— пожал плечами разочарованный Хараламбос.— Но учтите: это против правил. И от этого баклажана вы все равно не спрячетесь.

«Этим баклажаном» он именовал пришедший сюда два дня тому назад теплоход «Авзония». Теплоход был битком набит журналистами, фоторепортерами и неуемной публикой, собравшейся со всей Европы. На полубаке «Авзонии» красовался транспарант: «ПОДАВИТЕСЬ СВОИМИ БОМБАМИ!», на полуюте реяло светящееся полотнище: «ХЭЙЯ, ХЭЙЯ, МОЛОДЦЫ!» По нескольку раз в день на теплоходе вспыхивали шумные сражения между полубаком и полуютом. С воплями, хлопаньем петард и метанием гранат со слезоточивым газом. «Авзония» шныряла короткими галсами по всей флотилии, старалась прижаться к «Эльпидифоросу». Стоило кому-нибудь появиться на палубе танкера, на «Авзонии» начиналось неистовство. Ослепительно мигали фотовспышки, десятки радиомегафонов наперебой славили, проклинали, сулили бешеные деньги за интервью и просто разражались дурацкой какофонией. Прошлой ночью кто-то метнул оттуда на «Эльпидифорос» зажигательную шашку. Хараламбос озлился, и теперь, едва «Авзония» ложилась на сближение, он включал вдоль всего борта противопожарные водометы и недвусмысленно наводил их на «баклажан». Подействовало. «Авзония» стала держаться в стороне.

Прибытие Спрингторпа, конечно, не ускользнуло от глаз авзонцев. Теплоход все же не рискнул приблизиться, но вот уже второй час подряд исходил неистовым, ни на миг не умолкающим криком.

— Через месяц остров войдет в контакт с горной цепью,— продолжал Левкович.— Это если скорость движения не изменится. У нас тут нет единства взглядов. Я считаю, что скорость начнет убывать недели через две.

Внезапно желтоватую колонну пара на горизонте развалил на две части стремительно вздымающийся черный фонтан. Он рос, рос, и вот верхушка его сломалась, словно ткнулась в невидимый потолок, и стала рас-

пространяться в стороны, ниспадая по клубящемуся ободу трепещущей черной вуалью. Вокруг фонтана один за другим явились на небе белые концентрические круги. Спринглторп увидел: от горизонта к кораблю несется ослепительная серебряная полоса.

— Л-ложись! — отчаянно крикнули ему в уши.

Танкер стал стремительно разворачиваться, все вокруг попадали на палубу — он еще успел удивиться этому,— как вдруг воздух дрогнул, опора под ногами исчезла, его ударило со всех сторон, но резче всего в спину и в затылок, и он мешком сполз вдоль чего-то твердого. Грохота не было, но в ушах осталось что-то нечеловеческое, всеподавляющее. В носоглотке освободилось, он непроизвольно поднес руку к лицу и изумился, увидя, как легко и обильно бежит по ней алая кровь.

Перед глазами что-то замелькало, он словно взлетел. С отвращением, нежелапием, страхом. «Не хочу,— сказал он.— Не хочу». Но язык не послушался, губы не подчинились, и он стал жевать это слово, выплевывать. Оно не выходило, не отклеивалось, а перед глазами мелькали бессмысленные, бессвязные картинки: небо, черный фонтан, трап, люк, поручни, потолочные плафоны, дверь с красным крестом. Он понял, что этого не надо видеть, и покорно закрыл глаза.

Когда он их открыл, то увидел солнечный свет и лицо Памелы Дэвисон. Милое лицо, губы, глаза, брови и рыжеватые, словно искрящиеся волосы.

— Памела, вы? Как вы здесь очутились? — спросил он и не услышал собственного голоса.

— Здравствуйте, капитан,— немо заторопились губы Памелы.

— Я ничего не слышу,— пожаловался он.— Здорово меня трахнуло. Танкер в порядке?

— Да,— ответила Памела.— Все в порядке, капитан.

— Я оглушен или ранен?

— Лежите, лежите спокойно.

— А что? Так плохо?

— Нет-нет, но врачи говорят: вам нужен абсолютный покой. Еще несколько дней.

Врачи? Откуда здесь, на танкере, врачи? Или он не на танкере?

— Где мы?

— В Тулузе. В госпитале.

Давно?

Несколько дней.

Дней? А как же там?

— Остров остановился?

Останавливается. Там сейчас никого нет. Очень сильные сотрясения. Но он больше не тонет. Пока вместо вас Ангус. Он в Париже.

Как немного он в силах сказать, и как много нужно сказать! Нельзя... чтобы там никого не было! Неужели они не понимают? Он долго лежал неподвижно и, ворочая слова, думал, как сказать, чтобы все поняли. Чтобы Памела поняла.

Там подснежники цветут?

Наверное, цветут, капитан.

Видишь? Они там. Никуда не ушли. И мы должны так же. Кто-то должен. Кто-то должен там быть все время. Просто жить. Как подснежники. Понимаешь?

Она кивнула, и его сердце задохнулось от благодарности. Он попытался поднять руку и погладить ее волосы, но рука не послушалась.

— Я буду там жить,— упрямо сказал он.— Ты поедешь со мной?

Да,— ответила она.

Как же вы так?— укоризненно сказал он.— Не сообразили.

Отдыхайте, капитан. Вам надо отдохнуть.

Не хочу,— сказал он. Слово выговорилось. Наконец-то он совладал с ним. Словно тяжесть великую сбросил с плеч.

Спите. Вам надо спать. Чтобы окрепнуть, вам надо спать.

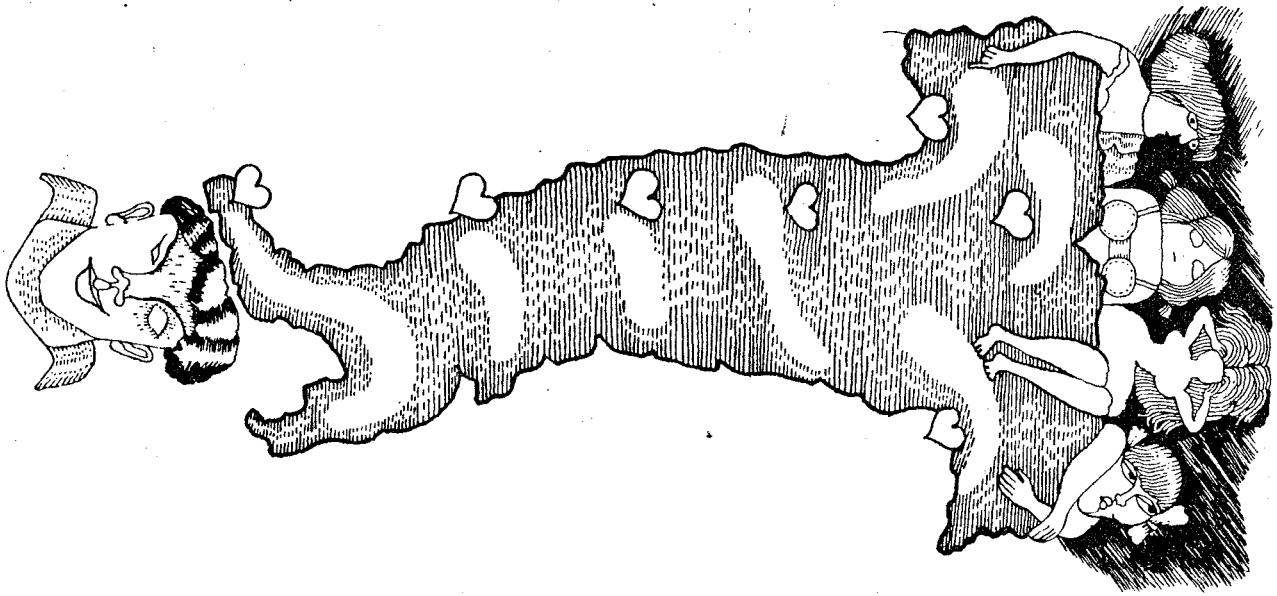
Он подумал и решил, что Памела права.

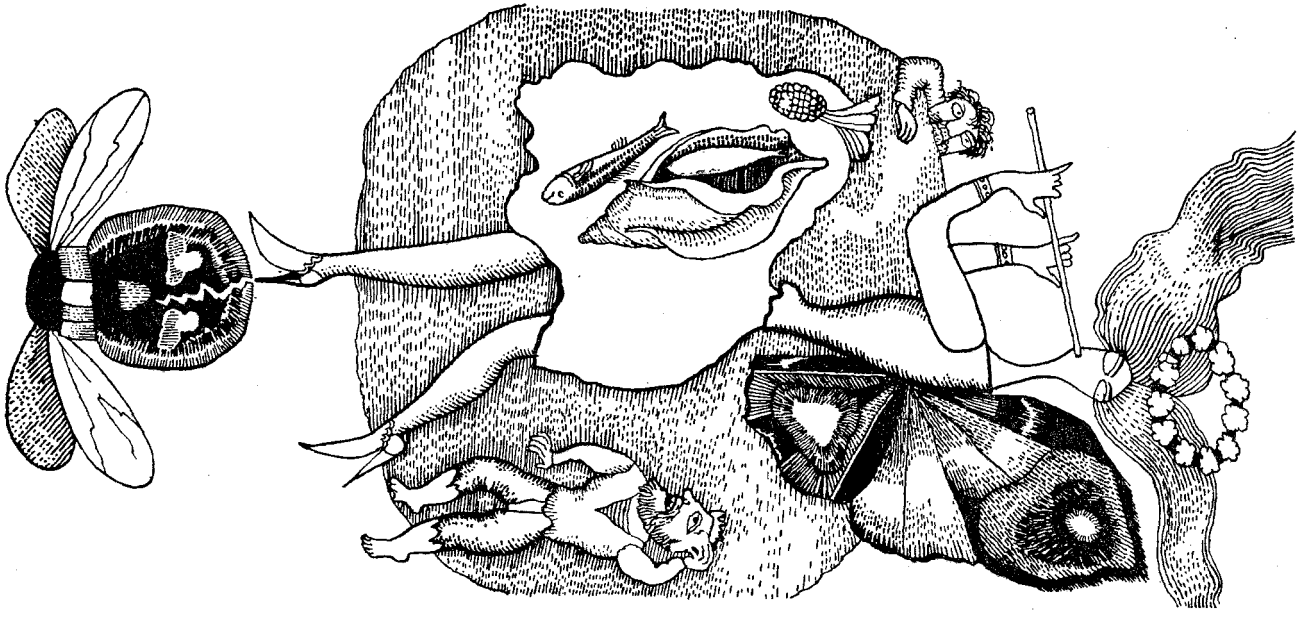
— Хорошо,— сказал он и послушно закрыл глаза. И оказался на зеленом-зеленом лугу, на влажной весенней траве. Кругом цвели подснежники. Земля под ногами подрагивала тревожными ритмичными толчками. Он с ужасом ощутил это. Значит, ничто не кончилось! Значит, все продолжается! И вдруг он понял, что надо делать. Он опустился на колени и стал гладить, гладить землю ладонями, успокаивая, уговаривая, как когда-то маленького Джонни, когда тот, плача, сучил ножками в своей кроватке. Кто-то стоял рядом. Спрингторп поднял глаза и увидел, что это Джонни. Ну вот, наконец-то! Он же знал, он же знал, что Джонни тогда не по-

гиб. Мотоцикл переломило — это было. Но все остальное — это неправда. Просто мальчику стало стыдно, так стыдно, и он убежал. И долго прятался. «Почему ты прятался, Джонни? Хорошо хоть мать знала, где ты и как ты. Помоги мне, сынок, делай, как я. Гладь землю, гладь. Она успокоится, она уже успокаивается — видишь? И все будет хорошо. Вот увидишь, все будет хорошо».

1975 — 1976 гг.
Ленинград

Вадим Шефнер





РАЙ НА ВЗРЫВЧАТКЕ

Повесть

1. ПРЕДИСЛОВИЕ

Перед началом своего повествования предупреждаю, что вы имеете дело с человеком не только некурящим, но и непьющим. Вы меня, уважаемые читатели, не уговорите и рюмочки выпить. И не подступайтесь, — отошью вас куда подальше. К сему добавлю, что здоровье у меня, невзирая на возраст, хорошее. До сих пор аппетит имею пылкий и всеобъемлющий, как говорят в народе: «Люблю повеселиться, особенно — пожрать». На учете в психодиспансере не состою, видений и привидений не наблюдаю, в карты играю честно, в фантазерстве не уличен. Склерозом не страдаю, память имею отличную. Жена однажды мне сказала: «К твоей бы памяти, Шурик, еще бы кое-что приплюсовать — ты бы в гении прямым ходом вышел. Жаль мне, что память у тебя долгая, а ум короткий». Ну, это уж она перегнула. Ум у меня не хуже, чем у вас, уважаемые читатели.

Такой мой краткий морально-психический словесный портрет. Дарю его вам на память, чтобы вы знали, что имеете дело с нормальным человеком, пусть безо всяких поднебесных взлетов, но зато и без всяких вывихов.

Впрочем, для полной очистки совести, скажу: один махонький вывих у меня все-таки есть. Дело в том, что ни на ногах, ни на витринах видеть не могу обуви с высокими острыми каблуками. Передергивает меня всего, дрожь берет. В первое же утро после свадьбы, пока Татьяна еще спала, я лучковой пилой каблуки на ее туфлях укоротил. Крику потом было, слез... Но со временем жена подчинилась моим законным требованиям. С дочерью — сложней.

© В. Шефнер, 1992

Она с мужем через два дома от нас живет и иногда имеет нахальство приходить в дом к родителям на остроконечных каблуках. Тут начинается у нас перепалка. Недавно она заявила, что у меня «симптом синдрома самодурственной острокаблучной идиосинкразии». И язык повернулся отцу сказать такое! Я вам, другие читатели, всенародно объявляю: никакого симптома тут нет. Для особого отношения к высоким каблукам у меня имеется конкретная причина. А какая именно — вы позже узнаете. Узнаете — и содрогнетесь...

2. СИЛА ТАЛАНТА

В предыдущей главе я вскользь упомянул о картах, однако умолчал о том, что у меня к ним талант. Теперь придется, подавив свою скромность, поговорить о себе подробнее. Однако я по горькому опыту знаю, что очень многие дамы не любят игроков, карты каким-то злом считают. Чтоб не утерять той заслуженной симпатии, которой, безусловно, читательницы уже ко мне прониклись, я постараюсь поменьше игровых терминов употреблять, поменьше о всяких картежных тонкостях толковать. Простите мне это, читатели-мужчины! Вы-то, я знаю: картишки любите.

Я родился и рос в приморском городке; в нем и поныне живу, вернувшись из Рая. Отец мой работал завхозом в местной здравнице, мать хозяйничала дома. Вечерами к отцу приходили сослуживцы-преферансисты. Играли на веранде, а я, забыв пустые детские забавы, следил за действиями игроков, вслушивался в специфические их разговоры, осваивал терминологию и постигал смысл игры. Однажды один из сослуживцев не явился, и меня, шутки ради, пригласили за стол. И что же — я сразу выявил себя как полноценный партнер! Взрослые были в восторге, они справедливо сравнивали меня с чемпионом мира Капабланкой, шахматная гениальность которого тоже проявилась в очень раннем возрасте. Родители стали гордиться мной. В то лето я часто играл с гостями, и отец всем говорил, что я — картежный вундеркинд. Ведь еще ребенок, только что во второй класс с трудом перешел, а уже такие успехи!

Потом однажды иду по курортному парку мимо беседки, а там отдыхающие картами развлекаются. Я — туда. Один добрый мужчина объяснил мне, как

в «очко» надо играть, дал двугривенный и, когда новый кон начался, ввел в игру. Я сразу освоился и трешку выиграл. Я туда неделю ходил, там и «три листика» освоил. Взрослые дивились! Но некоторые пыжились, обижались, что их такой маломерок обыгрывает. На те честно заработанные деньги я покупал пирожные, шоколадные конфеты «Озирис» и все это съедал безотлагательно. Только не подумайте, что меня дома впроголодь держали. Вот уж нет! Но во мне уже в те годы вскипали повышенные гастрономические потребности.

Когда закончились каникулы, я организовал негласный клуб «Пиковый туз». Мы собирались на кладбище и там в «двадцать одно» играли — на те деньги, что родители для завтраков давали. Благодаря своим способностям я теперь мог добавочные порции прикупать в школьном буфете. Но нашлись злопыхатели, дело до директора дошло, и пошло-поехало... Он мать мою вызвал, еле выплакала она, чтоб сына не исключили. А отец меня выпорол — это вундеркинда-то!

После этого стал я тайком ходить в детдом для дефективных, на самую окраину городка. Там в подвале игра на пуговицы шла. И вот там-то на меня однажды невезуха накатила. Партнеры все пуговки срезали, даже с брюк. И ремень для ровного счета отобрали. С трудом до дома дошел. О том, что меня ждало в семейном кругу, умолчу, чтобы вы, друзья-читатели, лишний раз за меня не переживали. В утешенье вам сообщу, что потом я отыгрался: с карманами, полными пуговиц, домой явился. Надо учесть, что даже у самого умного игрока бывают периоды неудач. А вообще-то мне везло. Но выигрывал я главным образом потому, что не признавал бесшабашного риска, не пер на рожон. Я всегда по ступенькам шагал, действовал, так сказать, поступенно. В том моя мудрая сила была.

Вскоре после окончания школы я был призван на действительную, причем в армии на карты наложил полное вето, так что с этой стороны нареканий на меня не было. А вернувшись в свой городок, я трудоустроился на пассажирскую пристань уборщиком. Должность не самая престижная, но меня-то прельщало, что общение с людьми будет обеспечено.

К сожалению, во все инстанции начали поступать необоснованные жалобы. Якобы пристань утопает в мусоре, якобы швабры в руках моих никто еще не ви-

дал — только карты, якобы я вообще превратил пристань в игорный бедлам. Вы, безусловно, уже догадались, что это мутные ручьи клеветы струились из-под авторучек завистников, ущемленных моими честными выигрышами. Но начальство, внемля клеветническим наветам, сперва вкатило мне выговор, потом выговор в квадрате. Выговора в кубе дожидаться я не стал, сам ушел из того гадючника и поступил в рыболовную артель. Увы, и там нашлись варнаки, начали шить мне дело, будто я «разлагаю картежом рыбаков, в связи с чем резко снизились уловы». Но я быстро на новое место устроился. Я ведь не лодырь какой-то!

Читатели вправе прервать меня и спросить: почему это я все о своих трудовых буднях толкую, а об интимных делах помалкиваю? Да потому,— отвечу я,— что о всяких сердечных переживаниях любят толковать те, кому не везет на этом поприще. А у меня на этом участке судьбы все шло как по маслу. Я был тогда симпатичный, правда, уже с некоторым уклоном к полноте, но и это шло мне. Ну и разговоры умел вести на отвлеченные культурные темы. Так что у противоположного пола имел заслуженный успех. Вскоре мать мне и невесту подыскала — натуральную брюнетку, законную дочь фельдшера. Она стала ко мне заглядывать, я стал к ней захаживать, возникли отношения, дело катилось к свадьбе. Но родителям невесты мой аппетит не нравился, они меня так окрестили: ухажер-многожор. К тому же я, на свою беду, ввел эту Анюту в картежную компанию, освоила она игры, азарт стала проявлять. Потом проигралась сильно. Проиграла не мне, а вину на меня опрокинула. Произошел скандальный конфликт, женитьба отпала.

Все эти недоразумения сильно угнетали моих родителей. Причем они, по своей наивности, верили не мне, а тем склочникам, которые чернили меня. И вот отец созвал аварийный семейный совет. Первой взяла слово мать. Она заявила, что мне надо ехать в областной центр и держать экзамены в вуз. Но у бати, оказывается, имелось свое заранее продуманное решение. Он сказал, что науки подождут, а первым делом мне надо «излечиться от своего порока». Мне нужна дисциплина! И не простая, не сухопутная, а морская. На море мне не дадут потачки, там я все время буду под надзором начальства. И далее он сообщил, что спишется со своим троюродным братом Вячеславом, который, как извест-

но, проживает в Ленинграде и служит в торговом порту; он хочет слезно просить братца временно прописать меня, а затем пристроить на какое-нибудь судно. Причем. кем угодно, хоть гальюнщиком. Главное — оторвать меня от грешной суши.

Я против этой отцовской идеи не возражал. Во мне вспыхнула мечта о дальних странах, о фруктах и кушаньях, которые там можно попробовать. Мне стали сниться всякие мыслимые и немыслимые блюда: бананы натуральные, ананасы свежепросоленные, утки по-руански, куры по-перуански, солянки по-африкапски, щи по-аргентински, шашлыки по-шанхайски...

Вскоре из Питера пришел благосклонный ответ.

За день до отъезда я направился к знаменитой тете Бане, местной прорицательнице будущего. Официально ее звали Таней, но детишки, а за ними и взрослые, перестроили ее имя, поскольку, невзирая на серьезный возраст, у нее всегда было такое бодрое румяное лицо, будто она только что из бани. Работала она нянечкой в детской больнице, а по вечерам принимала на дому взрослых, которым не терпелось заглянуть в будущее.

Тетя Баня первым делом проверила линии на моей левой ладони, затем дала мне таз с водой и велела держать его обеими руками, причем так, чтобы кончики пальцев были погружены в воду. Потом наклонилась над тазом и глядела на воду минут пять. После этого села за стол и вывела на медицинском бланке нижеследующее:

> благодаря картам проклятым ждет тебя казенный дом с полом покатым он станет тому причиной что случится твоя кончина однако та кончина не полевая не пулевая а нулевая а в дальнейшем пока ты живой ждет тебя сундук с человечьей головой и бегство что есть мочи когда среди ночи бубновая ангелица в даму превратится.

Прочтя этот диагноз, я заявил, что против казенного дома решительно возражаю. Ведь я играю по всем правилам искусства, без всякого шулерства! В ответ прорицательница заверила меня, что под каздомом здесь подразумевается отнюдь не тюрьма. Но больше никаких уточнений не дала.

3. НА МАЛОМ ПРОСПЕКТЕ

И вот прибыл я в Ленинград. Только не ждите здесь подробного описания этого знаменитого города. Он и без меня уже достаточно отражен в искусствах. А я и пробыл в нем не очень долго, и к тому же, в силу большой занятости, не успел ознакомиться с ним полностью.

Метро тогда еще не было, так что поехал я к дяде на трамвае — четверке. Нужный мне дом на Васильевском острове, в конце Малого проспекта, нашел без труда. Дядя Вяча и тетя Люда жили на третьем этаже в двухкомнатной квартирке. Кроме того, к кухне примыкала кладовка. Ее и отвели мне для проживания. Там стояли раскладушка и табуретка. Нормального окна не было, его заменяло малюсенькое окошечко под самым потолком, причем с какой-то решеткой.

— Уютно, но темновато,— признался я своим благодетелям.— И решетка не веселит.

— Эта решетка — еще не та решетка,— утешила меня тетя Люда.— А вот если карты не бросишь, они тебя и до тюремной решетки доведут.

— Да, это дело ты забудь!— присоединился дядя.— Если тебя хоть раз в милицию заметут через картеж и если до пароходства дойдет слух об этом — не видать тебе морей-океанов!

Из этих реплик я понял, что папаша мой в своем письме сильно сгустил краски насчет меня. Тем не менее дядя обещал мне устроить временную прописку и порекомендовал устроиться на временную работу, поскольку судно, на которое он надеется устроить меня, еще ремонтируется. Затем он взял с меня клятву, что в Питере я буду соблюдать карточный нейтралитет: ни одного рубля не проиграю никому и ни одного рубля не выиграю ни у кого. Эту клятву я честно сдержал.

Вскоре я устроился подсобником на винно-водочный склад, он находился недалеко от дядиного жилья. Платили там совсем неплохо, а поскольку я непьющий, работа эта опасности для меня не представляла. Начальство довольно мной было: когда увольнялся — характеристику хорошую дали. И вообще я там на высшем счету числился. Тамошний самодеятельный поэт Коля Складный (это его псевдоним был) даже стихи мне посвятил. Как сейчас помню:

Его полезные деянья
Я воспеваю, как Гомер,
И говорю, сдержав рыданья,
Что буду брать с него пример!

Дядя был доволен моим скромным, бескартежным и безалкогольным поведением. Он вообще хорошо ко мне относился. Зато тетя Люда оказалась дамой повышенной стервозности. Язык у нее не хуже дисковой пилы крутился, пилил всех без устали. Родом она была с Оккервиля. Это у них в Питере речка такая, на окраине где-то; ее и ленинградцы-то не все знают. На берегу той речки тетя провела детство и очень этим гордилась. «Я не какая-нибудь василеостровка, я с реки Оккервиль!» — горделиво твердила она всем и каждому. В доме за глаза именовали так: Оккервильская собака.

Из-за Оккервильской этой собаки неуютно мне было в дядюшкином жилье. Однажды я заикнулся ей, что, мол, познакомился с одной, так нельзя ли мне пригласить ее в кладовку, хочется интимно провести время после трудового дня. Оккервильская — на дыбы:

— Ты что, приехал сюда развраты разводить?! Ты кто, мастер высшего кобеляжа?! Если хоть одна посторонняя женская нога ступит на мой порог — прогоню тебя!

Одним словом, невесело началась моя житуха в этом монастыре. Но вскоре жить стало веселей. Это благодаря тому, что состоялось мое знакомство с Кузей Отпетым. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Перегорели однажды пробки в нашей квартире. Я, чтобы услужить дяде и тете, немедленно взялся за дело, жучка вставил. Но тут почему-то вспышка произошла, свет опять погас. Тогда дядя и говорит:

— Придется Кузю Отпетого позвать. В прошлый раз он все нам моментально наладил... Сходи-ка, мой отдаленный племянник (так дядя меня прозвал), за Кузей.— И он объяснил, где найти этого Кузю.

Кузя жил в дворовом флигеле, в квартире № 28. Я трижды нажал кнопку звонка у двери, и вот предстал предо мной молодой человек, года на четыре старше меня, высокого роста, средней упитанности. Это и был Кузя. Я толково объяснил ему, что в такой-то квартире по неизвестной причине произошла небольшая электроавария.

— Ладно, сейчас приду,— произнес мой новый знакомый.— Только инструмент кой-какой прихвачу... Да вы заходите, чего на площадке стоять.

По длинному, но чистому коммунальному коридору Кузя провел меня в свою комнату. По сравнению с моей кладовкой она казалась большой и уютной. Имелись: широкий низкий диван, стол, два стула, шкаф и даже этажерка с книгами. Пока Кузя рылся в каком-то баульчике, выискивая там что-то, я стал листать лежащий на столе массивный альбом «Путешествие по Италии». То было роскошное буржуазно-дореволюционное издание: толстая глянцевитая бумага, золотой обрез, кожаный переплет, уголки отделаны бронзой. В альбоме, в алфавитном порядке, чередовались снимки больших и малых итальянских городов. Весила эта «Италия» кило три, не меньше, и сыграла важную роль в последующих событиях. Но о них — позже. А пока скажу, что это художественное издание Кузя Отпетый неоднократно использовал при заключительной фазе ухаживаний.

«Дорогая, совершим путешествие в Италию»,— нежно предлагал он своей добровольной жертве, после чего они садились рядком на диван. Кузя, положив альбом на колени ей и себе, начинал нетерпеливо листать страницы и пояснять культурное значение того или иного города, сопровождая пояснения объятиями, поцелуями и клятвами верности. Эта география действовала на Кузиных знакомок безотказно. Через какой-то отрезок времени альбом соскальзывал на пол, и на диване происходило то, что не могло не произойти. А в Кузином донжуанском блокноте появлялась очередная шифрованная сводка: «Муся сдалась в Болонье». Или: «Побывал в Милане с Мариной». Или: «Клава продержалась до Рима».

Но вернусь ко дню нашего знакомства с Кузей. Когда мы с ним уже были готовы покинуть комнату, взор мой упал на колоду карт. Она сиротливо лежала на верхней полке этажерки и была крест-накрест перевязана черной лентой.

— Почему ваши карты в трауре?— вдумчиво спросил я своего будущего друга.

— Два года тому назад я одного пижона крупно обыграл — бешеный фарт мне шел. А тот через это с Тучкова моста сиганул,— признался Кузя.

— Утоп?

— Нет. В воде призадумался — решил жить. На всю Неву заверещал. Его речная милиция вытащила, откачали. Я этому недоутопленнику все деньги его вернул... А все-таки груз на душе: из-за меня человек на тот свет захотел. Тогда я и завязал.

— А я дяде слово дал — не играть на интерес.

— Так вы, значит, тоже... любитель! — с оживлением спросил Кузя, присаживаясь на стул.

— Еще какой! — ответил я. — У меня с детства талант.

Тут забурлил у нас разговор на волнующую тему. Памятуя свое обещание не сердить дам-антикатрежниц, не буду излагать его. Скажу только, что в процессе той беседы возникла у меня одна светлая идея.

— Давайте, Кузя, заключим двусторонний дружеский пакт о безналичной игре, — предложил я. — Будем играть на деньги, но вручать их друг другу не будем. Таким образом, мы останемся честными перед людьми и перед самими собой, и в то же время у нас будет взаимное удовольствие.

— Но ведь это самообман, — высказался Кузя. — А впрочем... — Он взял колоду, снял с нее траурный креп — и воскресли короли, дамы и валеты всех четырех мастей. Вначале карта шла Кузе, потом ветерок удачи подул в мою сторону. Но все равно играл я осторожно, прикупал вдумчиво. Такой стиль сердил моего партнера, хоть вроде бы ему и на руку был.

— По-бабски играешь, — ворчал он. — По мелочишке клюешь, зануда грешная! Чувствую, жмот ты, Шарик! (Так он мое имя переделал.)

Через какое-то время из прихожей раздался троекратный звонок. Дядя мой явился, причем сердитый. И тут выяснилось, что мы уже два часа играем, а в дядиной квартире — тьма непроглядная.

На другой день, в воскресенье, опять направился я к Кузе. И засиделся до вечера. И пошло-поехало: как воскресенье (субботы тогда рабочими днями были) — я к нему. Сидим, поигрываем. И хоть он не одобрял моей манеры играть, но все же мы прочно на карточной почве с ним подружились.

Ни дяде, ни тете про это наше времяпровождение я не сообщал, будто ни Кузи, ни карт в помине нет. Но тетя что-то подозревала. Приходилось мне иногда врать

ей, используя свои неплохие теоретические познания в искусстве. Бывало, спросит, где это я с утра пропадал, а я в ответ:

— В Эрмитаже был. Наблюдал «Мону Лизу» Айвазовского. Какое уникальное произведение гениальной кисти!

Или:

— В Русском музее задержался. Восхищался портретами, пейзажами, ренессансами и прочими натюрмортами. Какое роскошное богатство масляных красок!

Оккервильской собаке и крыть нечем. Конечно, вообще-то врать нехорошо. Но, как сказал один ученый монах, ложь оправдывает средства.

4. БИОГРАФИЯ ДРУГА

Биографию Кузи я детально помню с его слов. Она у него была сложная, многоступенчатая. Всю рассказывать не буду. Скажу кратко, что родился и рос он на славном Васильевском острове, в Гавани. Матери не помнил: та, покинув отца на почве семейных недоумений, ушла к другому, когда Кузе было два года. Так что мальчик возрастал и развивался на иждивении отца. Папаша Кузи работал сторожем на ситценабивной фабрике, спиртного в рот не брал, но по зову широкой души был хулиганом-любителем. Действовал он всегда критично, тактично, аскетично, романтично. Скажем, не понравилась ему какая-нибудь витрина за то, что оформлена без должного вкуса,— он аккуратно камень из мостовой выковырнет (тогда еще в Гавани все улицы были булыжником мощены) и, если кто-нибудь стоит у витрины, крикнет, чтоб отошел. И лишь когда убедится, что осколки стекла никого не поранят,— лишь тогда применит камень по его прямому назначению. А ежели он принимал посильное участие в драке, то действовал исключительно голыми руками и серьезных травм никому не причинял. Но, несмотря на проявляемую им заботу о людях, все же доводилось ему иметь приводы и отсидки, приходилось и штрафы выплачивать, что грустно откликалось на бюджете.

Однако, невзирая на большую занятость и малый достаток, отец заботился о культурном уровне сына, давал ему деньги на школьные завтраки, тетради

и учебники, а когда Кузя подрос, стал водить его в так называемый Васюткин сад. Там в те времена имелась эстрада, где процветали артисты местного значения, и первой из первых шла Надя Запретная, восходящая звезда вокала.

У Нади был свой коронный номер. Она появлялась на сцене с плачущим малолетним ребенком на руках. Ясно дело, то был не натуральный младенец, а чурбанчик, упакованный в детскую одежду. И плакал, безусловно, не он — это Надя за него плач подавала. Она его укачивала, убаюкивала, а когда он умолкал — будто бы уснул,— тут она начинала хрупким, негромким голосом:

Алиментов не будет, малютка,
Обручальных не будет колец,
На душе так тревожно и жутко —
Твой отец оказался подлец!..

И дальше — в том же задушевном плане. Ясное дело, такое всех за сердце брало. Иные, не таясь, плакали. Некоторые шкицы панельные в голос рыдали. Кузин папаша — уж на что человек закаленный обстоятельствами,— и тот иногда смахивал непрошеную слезинку.

Ну а Кузя полюбил Надю Запретную всем своим подростковым сердцем. За красоту полюбил. Хороша она была необыкновенно!.. Кузя вскоре уже самостоятельно стал посещать Васюткин сад. Вход туда в концертные дни платным был, так мой друг через забор перелезал, чтобы полюбоваться на свою гаваньскую мадонну.

Печально кончилось это обожание.

Однажды в конце сентября купил Кузя букет цветов, чтоб Наде преподнести,— долго экономил на школьных завтраках ради этого первого в своей жизни букета — и направился в Васюткин сад. Когда забор форсировал — ладонью на гвоздь напоролся. Брызнула алая кровь на белые лепестки. Горестное предзнаменование... Подходит он к эстрадной площадке, садится на скамью между двумя шкицами-девицами. А представление уже началось. Какая-то пожилая дама модный романс исполняет: «Разве в том была моя вина, что цвела пьянящая весна...» Потом певец вышел, «Кирпичики» запел. Тут Кузя у соседочки шепотом спрашивает, почему это Надя Запретная сегодня долго не появляется. А шкица-девица в ответ:

— С какого неба ты свалился, что не знаешь о такой беде?! Весь Васильевский плачет, вся Гавань рыдает... Вода, говорят, в Неве от слез людских выше ординара поднялась... Отмяукалась Надюша, погибла через загс... Дура я буду, если когда-нибудь хоть раз на замужество клюну!..

В дальнейшем выяснилось, что Надя Запретная только на сцене выступала в амплуа матери-одиночки, обманутой соблазнителем, а в жизни была стопроцентной девушкой и строго блюла мораль. Мать ее, оценщица из ломбарда, долго нодыскивала ей достойного жениха и наконец нашла такого, который пришелся по душе дочке. После записи в загсе молодые направились на квартиру невесты в дом на 19-й линии — и начался свадебный пир. Гости пили шампанское и водку, новобрачные же, по обычаю, в тот день от спиртного воздерживались; к тому же они и вообще непьющими были.

Но вот гости начали кричать: «Горько! Горько!» И тогда мать Нади извлекла из буфета заветную бутылку домашней вишневой настойки. Она радостно заявила, что засыпала вишни в бутылку и залила их спиртом еще в дореволюционную эпоху, в год рождения Надюши. И вот сегодня, в такой торжественный день, невеста и жених вправе окупорить этот сосуд и отведать заповедной настойки. Несчастная женщина! Она не знала, что из вишневых косточек, при длительном их нахождении в спирту, выделяется синильная кислота, губительная для жизни людской!..

— Горько! Горько! — продолжали подначивать гости. И вот наконец молодые подняли рюмки с густой душистой жидкостью, чокнулись, выпили до дна — и поцеловались. То был их первый и последний поцелуй.

— Мама, мне почему-то взаправду горько,— прошептала Надя с дрожью в голосе и вдруг безжизненно сползла со стула на пол. И рядом с ней упал ее жених.

Похороны новобрачных состоялись на Смоленском кладбище. Мать Нади на них не присутствовала: ее отвезли в психбольницу им. Балинского, что на 5-й линии.

Трагическая кончина красавицы певуньи потрясла юную душу Кузи и сказалась на его дальнейшей судьбе. А вскоре новое горе подкатило. Отец моего будущего друга, прогуливаясь по Среднему проспекту, сделал то-

варищеское замечание какому-то типу, одетому слишком нарядно для будничного дня. В ответ же нарвался на грубость и вынужден был применить силу. Незнакомец, в свою очередь, ударил и бросился бежать. Кузин отец, естественно, устремился за ним, но, в порыве справедливого гнева, не заметил идущего полным ходом трамвая. Вожатый не успел затормозить. На Смоленском кладбище стало больше одной могилой.

Кузю взяла на попечение сестра отца, тетя Зина, и поселила его в своей квартире на Малом проспекте. Работала она официанткой в частном полуподвальном ресторане «Раздолье». Нэп в те времена уже дышал на ладан, но некоторые частные торговые точки еще существовали. Вскоре Кузя устроился в это заведение внештатным вечерним мойщиком посуды, у него завелись карманные деньги. А в ресторане том имелась полусекретная задняя комната, где тайком от городской общественности и милиции шла игра на интерес. Кузя понемногу стал принимать участие в этом деле. Картежники играли с ним охотно: его незрелый возраст внушал им надежду на его проигрыш. Он и в самом деле иногда до нитки проигрывался, потому как все ставил на карту. Но уж если везло — уходил с богатым куском. Это была награда за риск.

С первого крупного выигрыша он купил на углу 17-й линии и Камской улицы два белых роскошных венка. Один из них возложил на могилу Нади Запретной и ее жениха, другой — на могилу отца. В дальнейшем он так не раз поступал — то с выигрыша, то с получки.

А время шло да шло. «Раздолье» прогорело. Кузя окончил школу, сменил несколько мест работы, безупречно отслужил действительную на флоте, где освоил профессию электромеханика, вернулся в Питер, поступил монтером в Дом культуры. Наряду с картами появились у него новые устремления. Он вступил в вокальный кружок, где специализировался на исполнении песен и старинных романсов и иногда исполнял их на вечерах самодеятельности, привлекая к себе благосклонное внимание девушек. Если учесть, что он был симпатичен собой и не хуже меня умел вести культурный разговор с дамским полом, то не следует удивляться его успехам. Немудрено, что злые мужские языки, из зависти к его достижениям на сердечном фронте, дали ему кличку «Дон Жуан из подворотни». Низкая кле-

вета! Подворотня здесь ни при чем! Кузя вовсе не был каким-то там беспринципным бабником! Нет! Подобно классическому Дон Жуану, неоднократно использованному в литературе, он искал свой утраченный идеал...

5. НАМЕК СУДЬБЫ

Как-то раз в воскресенье, с утра пораньше, пошел я к Кузе, предвкушая полноценный игральный день. Но на этот раз друг мой встретил меня хмуро. На лбу его красовался большой кровоподтек, смазанный йодом.

— Неплохая блямба,— пошутил я.— Где это тебе выдали?

— В Неаполе,— мрачно ответил Кузя.— Понимаешь, познакомился тут с одной, ухаживал не хуже, чем за другими, а как настал час путешествия по Италии — чувствую: на тормозах поезд наш идет. Ну, думаю, впереди городов еще много, где-нибудь во Флоренции... Но какое там! Стали Неаполь рассматривать, Ксана эта вдруг вскочила, альбом захлопнула — и меня же им по голове. Да еще кричит: «Вот тебе Неаполь! Я думала — ты человек, а ты — кобель гаваньский!» С тем и ушла.

— Не переживай! — стал я его утешать.— Не всегда же козырная масть идет.

— Да не в этом дело! — всколыхнулся Кузя.— Тут в том суть, что права она. Измельчал я на легких успехах. Она мне сигнал дала.

— Хорош сигнал — гирей по балде! — подкинул я остроту.

— Ну, положим, не гирей... Но именно — по балде. В этом — намек судьбы. Пора мне подумать всем мозгом, пора морально встрепенуться!

Он в тот день играл без должного внимания, мне тридцать условных рублей продул. Потом вдруг ударил кулаком по столу и заявил:

— Нужно мне свою жизнь перелопатить!

И тут я подбросил ему плодотворную мысль: перелопачивание надо начать с перемены места жительства.

— Мелко мыслишь, Шарик,— пробурчал Кузя.— Ну, сменяюсь я с Васина острова куда-нибудь на Петроградскую сторону, а что это даст душе? Там те же женские соблазны.

— Не мелко мыслю, а очень даже глубоко, — возразил я. — Я не о квартирном обмене толкую. Я о том толкую, что тебе надо обменять сушу на море То есть уйти в плавание. Тебе следует с моим дядей поговорить насчет этого.

— Хочешь на море иметь постоянного партнера? — угадал Кузя мой тайный замысел. — А что, если и взаправду попробовать сменить территорию на акваторию?..

Через несколько дней он явился к дядюшке моему с просьбой посодействовать насчет зачисления в пароходство. Дядя о Кузе был весьма высокого мнения и обещал помочь. Скоро дело пошло на лад. Хоть Кузя и донжуанил, но трудился он честно, безалкогольно, беспрогульно, так что с работы ему дали отменную рекомендацию. И по месту жительства управдом написал неплохую характеристику. Еще бы! Чуть в какой квартире неполадка со светом — жильцы к Кузе бегут, и он безотказно спешит на помощь. И притом все за так, ни разу ни с кого и копейки не взял. Плюсом было и то, что специальность нужную имел. Одним словом, зачислили его на тот же пароход, что и меня. И в день зачисления сжег Кузя свой донжуанский блокнот, а альбом с городами Италии букинисту продал. На вырученную сумму купил два белых венка — и возложил их на Смоленском кладбище на дорогие его сердцу могилы.

6. КАЗЕННЫЙ ДОМ С ПОЛОМ ПОКАТЫМ

Вскоре ушли мы в плавание. В трюме везли мы ящики с сельхозтехникой для одной южной страны. Это был наш так называемый генеральный груз. В дальнейшем от всякой корабельной терминологии буду воздерживаться — боюсь напутать, наврать; память-то у меня, как вы знаете, отменная, но не так уж много я проплавал, чтобы эта терминология в нее прочно въелась. И вообще, всякую морскую романтику и специфику не стану разводить — не буду у писателей-маринистов их соленый хлеб отбивать. Да и не в том суть моего повествования. Но на всякий случай, для сведения сухопутных граждан, уточню, что самое главное помещение на любом судне, мирном или военном, — это камбуз, то есть кухня. Камбуз — это, худо-

жественно говоря, душа и сердце корабля. На суше без кухни, на худой конец, можно прожить: пошел к знакомым, будто невзначай подгадал к обеду — глядишь, и сыт. Или свернул с дороги в лес, а там земляника, малина — как-никак пища. Иногда, в случае крайней необходимости, и через забор в чужой сад перемахнуть можно, поддержать себя яблоками, грушами. Но на море все эти возможности отпадают, там вся надежда — на камбуз

С гордостью могу отметить, что к камбузу я имел прямое отношение. Не скрою, я играл там роль вспомогательную, выполнял черновую работу, поручаемую мне главным коком. К сожалению, этот главкок, вредная душа, невзлюбил меня. Он клеветнически утверждал, что я, мол, не столько тружусь, сколько выискиваю самые вкусные куски и «обжористо заглатываю» их. Это он приклеил мне нелепую кличку — Жрун, а остальные члены команды, обезьянисто подражая ему, тоже так меня звать стали.

Кузе жилось полегче, он ведь не в камбузе трудился. И почет ему больше был. После одного случая команда его сильно зауважала. Он в некоей дальней гавани в воду кинулся — выручать слепого туземца, который по ошибке упал с причальной стенки. Дело тем осложнялось, что акулы почем зря у борта резвились. Но Кузя заявил: «Нептун не выдаст, рыба не съест» — и с борта вниз головой. Ему почему-то повезло: и сам в живых остался, и человека спас.

Что меня утешало — так это покупки. Я на валюту, что нам выдавали, сувениров не покупал, ими сыт не будешь. Я приобретал разные редкостные скоропортящиеся фрукты, овощи, ягоды и, безусловно, сразу же их потреблял. Чего только не перепробовал!..

А вот Кузя — тот на одной экзотической толкучке говорящую птицу приобрел. Какого цвета и какой породы она была — история умалчивает. Ведь опубликуй я ее данные — доценты, эти сыщики от науки, живо пронюхают, на каких широтах-долготах такие птицы говорящие водятся. А купил ее Кузя вместе с большущей позолоченной клеткой; ему эта птичья жилплощадь дороже самой птицы обошлась. Ту клетку-беседку мой друг подвесил в кубрике к подволоку. В первое время возражения были: некоторый запах от птицы появился, да притом она иногда в неурочное время начинала выкрикивать какие-то отрывистые ло-

зунги, мешая отдыху людей. Но вскоре один предпенсионный морской волк объяснил всем, что птица — не без образования. Она, мол, не при дамах будь сказано, умеет коротко и ясно выражаться на трех иностранных языках. Это был, ясное дело, плюс в ее пользу.

И еще на один сувенир Кузя потратился. Ну, тут я не возражал. Купил он в одном заморском ларьке колоду в роскошном упадочно-капиталистическом исполнении: короли — по пояс голые, дамы — тем более; однако все при своих украшениях и регалиях. Колода та имела надежный водонепроницаемый футляр, так что дружку моему она в копеечку встала. Но в карты — даже тайком — играть было как-то неудобно. И пролежала та ценная колода в Кузином кармане в полной неприкосновенности до самого кораблекрушения.

А жизнь шла. Генеральный груз мы давно доставили по назначению, и теперь судно наше, по договору пароходства с заграничными торговыми фирмами, курсировало между портами разных стран.

Однажды во время шторма напоролись мы на подводный риф. Образовался тот риф в результате недавней вулканической деятельности природы, так что ни в каких лоциях он не значился и капитан в аварии виноват не был. Впрочем, узнал я эти подробности только несколько лет спустя, когда вернулся из Рая. Пробоина оказалась широкой и длинной, не хуже, чем у «Титаника», так что спасти пароход не было никакой возможности. Он теперь плыл по воле волн и торопливо погружался в море. Были спущены спасательные шлюпки, команда без излишней паники заняла на них места. Капитан, как и положено, прыгнул в шлюпку последним.

По аварийному расписанию мы с Кузей поместились в шлюпку № 3. В тот момент, когда она уже отваливала от подветренного борта, Кузя вдруг хлопнул себя по лбу и закричал гребцам:

— А птица?! Она же захлебнется!.. Ребята, повремените малость! Имейте человечность!

С этими громкими словами он уцепился за штормтрап и полез обратно на судно. Я кинулся вслед за ним. Поступил я так не из слепого героизма, а по трезвому расчету. Я сообразил, что, пока Кузя спустится в кубрик и вынесет клетку, я успею смотаться в камбуз и взять оттуда в дорогу большую порцию жареного фарша (катастрофа произошла перед самым обедом,

который вследствие этого не успел состояться). И я действительно проник туда, куда задумал, ссыпал фарш с противня в большую кастрюлю, затем взял две буханки хлеба, кое-какие продукты и специи — и все это плотно завернул в поварской фартук главного кока.

Когда я упаковывал пищу, из нагрудного кармана фартука выпал ключ. Я знал, от чего он, но зловредный шеф-повар не доверял его мне! То был ключ от малого холодильника, в котором хранились особо ценные продукты; они входили в наше меню только по праздникам, и, кроме того, корабельный врач мог выписывать их заболевшим для подкрепления сил. Взвалив на спину узел и прихватив валявшуюся на полу большую ложку, я спустился по трапику в нужное помещение, где уже плескалась морская вода. Электричество, ясное дело, давно выключилось, но из иллюминатора падал тусклый свет. Я вставил заветный ключик в нужный замочек, и прежде всего моему взору предстала трехкилограммовая банка с зернистой икрой. Она была почата, но икры в ней было еще много-много! Поскольку узел с продуктами развязать в данных условиях я не имел возможности, а иной тары под рукой не имелось, я, чтобы добру не пропадать, решил в качестве тары использовать себя лично и стал потреблять драгоценную пищу. Я стоял по пояс в воде, из-за крена и качки я с трудом удерживал на спине узел, но стоически продолжал есть. Ведь я делал это для общего блага! Я сознавал, что чем больше я приму в себя икры, тем меньше питания потребуется мне в первые часы опасного плавания и, следовательно, тем больше продовольствия достанется моим товарищам по несчастью.

Вдруг из коридора послышался голос птицы. Затем я увидел Кузю. Цепляясь одной рукой за перильца, а в другой держа клетку, он спускался ко мне.

— Жрун окаянный! — крикнул он.— Зачем ты здесь?! Я тебя по всему судну ищу!

Я молчал по той естественной причине, что во рту у меня находилась икра. Но вскоре, прожевав и проглотив ее, я начал объяснять Кузе, что нахожусь здесь не из пустой прихоти, а для пополнения общественных припасов. Следовательно...

— Следовательно, пока ты обжирался, шлюпка ушла! — нервно перебил меня мой друг. В тот же миг в нем проявилась буйная отцовская наследственность: он хотел меня ударить. Но не тут-то было: в одной ру-

ке — клетка, другой — за перила надо держаться; крен к тому моменту еще больше усилился. Под критические возгласы птицы мы поднялись на палубу. Она теперь имела такой опасный наклон, что мне вдруг вспомнились строчки тети Бани, проницательницы будущего: «Благодаря картам проклятым ждет тебя казенный дом с полом покатым...» Так вот что имела она в виду!..

Итак, мы находились на тонущем судне. И ни одной шлюпки не видно было — только волны да волны. Уже много позже, вернувшись из Рая, я узнал, что те ребята с третьей шлюпки честно и с опасностью для жизни ждали нас какое-то время. Но потом помимо их воли одна особенно крупная волна отнесла их далеко в море. В утешение уважаемым читателям скажу, что никто из команды не погиб. Шлюпки разметало по океану, но в дальнейшем всех потерпевших крушение подобрали: одних — либерийский танкер, других — шведский сухогруз. А когда наши товарищи добрались до родины, то о нас двоих, естественно, доложили как о погибших.

Но мы с Кузей тогда не погибли.

На судне имелась еще одна дополнительная вненумерная шлюпка малого размера, рассчитанная на четырех гребцов. Из-за крена и дифферента она свисала на талях со шлюпбалки под таким углом, что вывалить ее на воду, да еще при таком сильном волнении моря, оказалось нелегким делом. Однако мы, благодаря Кузиной технической сноровке, с этим справились. Перед тем как покинуть палубу, Кузя выпустил на волю птицу. Мы изо всех сил налегли на весла. Надо было поскорее отдалиться от гибнущего парохода. Это нам удалось. Через какое-то время мы с гребня волны увидели, что там, где недавно находилось наше многострадальное судно, зияет темная огромная воронка.

7. ВО ВЛАСТИ ОКЕАНА

Шлюпку надо было держать кормой к волне, чтоб не перевернуло. До позднего вечера мы промучались на веслах. К ночи ветер упал, волны утратили свою крутизну. Уже не опасаясь, что нас перевернет, мы принялись за еду. Первым делом отведали добротного фарша, который я спас с погибающего судна, потом еще кое-чего поели. В бортовых ящиках шлюпки имелся, как положено, аварийный запас: сухари, галеты, консервы. Пита-

нием мы были обеспечены на много дней. Кроме того, в носовом рундучке хранились две канистры с пресной водой. Утолив голод и жажду, мы сняли промокшие ботинки, скинули с себя бушлаты и, рухнув на сырое днище шлюпки, мгновенно уснули.

Когда я пробудился, Кузя еще спал. Я не стал тревожить своего утомленного друга и приступил к одинокому завтраку. Насытившись, я огляделся вокруг. Оказалось, стоит штиль. Только мелкая рябь, след вчерашнего шторма, виднелась на поверхности океана. И вдруг я приметил акулу! Она плавала невдалеке, потом подплыла почти вплотную к борту. Мне стало не по себе. Я понял, что эта зловредная дочь морей хочет запрыгнуть к нам в шлюпку, дабы полакомиться нами. Чтобы умилостивить ее аппетит и отвлечь внимание от нас, я хотел бросить ей сухарь. Но не поднялась у меня рука на съестное... И тогда взгляд мой упал на наши ботинки, лежавшие на дне шлюпки. Напомню, что в описываемые мною времена обувь делали из добротной натуральной кожи, поэтому-то меня и озарила мысль, что для акулы это вполне съедобный материал. Взяв ботинки Кузи, я их один за другим метнул как можно дальше за борт. Хищница тотчас же кинулась к добыче — и проглотила. Но после этого вернулась к шлюпке. Тут я и своих ботинок не пожалел для общего блага! Но результат был тот же: неблагодарная тварь сожрала их — и опять очутилась у нашего правого борта. А у левого борта я приметил вторую акулу.

Когда Кузя проснулся, я толково объяснил ему причину отсутствия обуви, но он, охарактеризовав меня неудобными словами, заявил, что я выдал акулам аванс. Теперь они от нас не отвяжутся в ожидании полной получки. А получка — это мы, со всеми своими потрохами. После этого разговора он позавтракал, пришел в хорошее настроение и вынул из кармана заветную колоду. Благодаря водонепроницаемому футляру карты оказались в полной сохранности. Определившись по солнцу, мы стали гадать, в какую сторону света держать нам путь. Перед этим условились: дама пик — север, червонная дама — восток, дама треф — запад, дама бубновая — юг. Тщательно перетасовав колоду, стали тянуть. Кузя вытянул пятерку треф; я вытащил тройку пик; Кузя вытащил туза треф; я вытащил полуобнаженную даму бубен. Такова была воля Фортуны!

После этого распоряжения судьбы мы взяли курс на юг. При полном безветрии гребли мы недели три, делая перерывы лишь для ночного сна, приема пищи, дневного отдыха и игры в «двадцать одно». Играли мы, разумеется, на условные деньги, как это давно было договорено между нами. За все это время на горизонте показались только четыре судна. Три из них были явные купцы; четвертое, судя по очертаниям и шаровой окраске,— крейсер. Торговые суда проплыли очень далеко, не обратив на нас внимания, хоть мы, чтобы они могли нас заметить, скидывали с себя одежду и размахивали ею из всех сил. Что касается крейсера, то он тоже не приметил нас, да мы и не очень-то хотели такой встречи и никаких сигналов ему не подавали. Мы знали, что в этих водах наших кораблей нет.

В общем-то пока что дела наши обстояли не так уж плохо. Мы, можно сказать, плыли припеваючи. Еды хватало, погода стояла хоть и безветренная, но не убийственно знойная. Одно нас смущало: наличие акул. Они конвоировали нас днем и ночью. Мы их уже в лицо знали. Одну, пожилую, глазастую, я окрестил Людмилой Васильевной — так звали мою ленинградскую тетю. Другую, худенькую, но очень егозливую акулу-брюнетку, я прозвал Анютой — в честь моей бывшей коварной невесты. Однако эти рыбы пока что не предпринимали никаких окончательных решений. Со временем мы к ним привыкли. Кузя им романсы в духе ретро пел, я им разные бытовые советы, в смысле повышения морали, давал. На безлюдье и акула — человек.

Беда подкатилась совсем с другой стороны. Однажды Кузя намекнул мне, что я, мол, питаюсь слишком калорийно, даже в теле прибавил после аварии. Я честно учел это замечание. Однако все равно запасы наши шли на убыль. Вскоре остались только сухари да пресная вода. Мы начали терять в весе, слабеть. На весла больше не садились; для поднятия духа проводили время за картами. Но все деньги, условные и безусловные, утратили для нас всякую ценность. Теперь мы играли на воображаемые шашлыки, солянки, борщи флотские, котлеты гатчинские. Помню, в день, когда мы съели последний сухарь, Кузе адски везло: он выиграл у меня восемь условных порций рассольника, три шницеля, четырех цыплят табака... Когда я представил себе это утраченное пищевое богатство, то скоропостижно потерял сознание и упал на дно шлюпки. Очнулся

я благодаря тому, что Кузя зачерпнул консервной банкой порцию забортной воды и вылил мне на голову. При этом он сообщил новость: акулы ушли. По уменьшившейся осадке шлюпки эти бандитки морей сообразили, что мы очень исхудали и тем самым утратили для них интерес как продукты питания.

Дни шли, голод становился все мучительнее. Мы часто падали в забытье. Потом начался шторм. Как сквозь сон помню, что нашу неуправляемую посудину мотало туда-сюда. Потом я ощутил какой-то толчок, бросок и — потерял сознание.

8. РАЙСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

Я лежал на каком-то высоком, очень мягком тюфяке, покоящемся прямо на полу. Пол, как и стены, состоял из мелких голубых кирпичиков, очень аккуратно подогнанных один к другому. Справа находилось окно, на подоконнике лежала наша флотская одежда. Окно не имело стекол и рамы, просто квадратное отверстие в стене. Один дверной проем, но без двери как таковой выходил в сад; другой, завешенный цветной циновкой, вел (как вскоре выяснилось) в место общественного пользования; третий — в небольшой зал, в котором висело множество каких-то дырчатых зеленоватых тканей. Позже мы узнали, что в этом здании находится райская сетевязальная мастерская.

В комнате пахло чем-то приятным, во всяком случае не лекарством. С дерева за окном свисали странные, неведомые плоды, весьма аппетитные на вид. «Странно, почему мне не хочется есть; наверное, я все-таки скончался»,— подумал я. Но вдруг вспомнил, что меня уже кормили чем-то вкусным и сытным. Разбудили, накормили, потом я уснул, а теперь — проснулся. Но где я?..

— Шарик, ты очухался? — услыхал я голос Кузи. Оказывается, его ложе примыкало изголовьем к моему. Я ответил, что да. Но слабость во всем теле. Потом спросил своего друга, доволен ли он питанием.

— Кормят что надо! Чем — не пойму, а вкусно! Смотри, Шарик, не разжирей! А то здешние девушки тебя любить не станут. Девушки здесь — загляденье.

Вскоре в комнату, мягко ступая босыми ногами, вошел стройный парень в белой рубашке и серых брюках из грубоватого, похоже домотканого материала.

— Мне в гальюн треба,— мягко сказал я иностранцу и тактичными жестами пояснил свое намерение. Тот дружески заговорил на непонятном языке, помог мне подняться с лежака и повел в нужное место; встав, я обнаружил, что на мне просторные брюки и рубашка, точь-в-точь как у моего провожатого. Что касается гальюна, то он оказался в сельском стиле, без всякой техники, но очень чистым. Рядом находился чуланчик, где прямо из пола бил источник прозрачной воды; там же висело полотенце, сплетенное из каких-то шелковистых волокон.

Вернувшись, я залег, чтобы снова уснуть. Но тут в комнату вошла миловидная босая девушка. Ее стройные формы обтягивало голубое платье, сотканное из толстых ворсистых нитей. Сказав что-то на иностранном наречии, она с изящным поклоном вручила мне большую морскую раковину, полную сока каких-то фруктов, и плоскую раковину, на которой лежала вареная рыбина и не виданные ранее мною овощи. Еда оказалась очень вкусной. Я радостно осознал, что с голоду мы здесь не помрем. Но где мы?.. С этими мыслями я уснул.

Утром изящная босая молодая женщина в синем платье принесла нам завтрак. Он мне так понравился, что захотелось повторить его. Обведя руками опустевшую посуду, я показал два пальца, а затем сунул их себе в рот и сделал вид, будто жую. Догадливая иностраночка радостно засмеялась и быстро доставила вторую порцию. Когда она собиралась уйти, мой друг ткнул себя кулаком в грудь и сказал: «Кузя!» — «Кузя»,— мягко повторила красотка; затем, приложив ладонь к своему лбу, отчетливо произнесла: «Ака́на». Потом вопросительно поглядела на меня. Я назвал свое имя.

Так закончился наш первый урок райского языка. Вскоре я уже знал названия многих фруктов, овощей, рыб. Кузю же больше интересовали всякие отвлеченные понятия. Но хоть запас слов возрастал, мы никак не могли составить простого вопроса: где мы?

Однажды я спросил Кузю:

— Кузя, скажи по-честному, куда мы, по твоему мнению, попали?

— Шарик, если ты узнаешь, где мы, ты можешь сойти со своего небольшого ума,— пошутил он.— Шарик, я считаю, что мы в раю.

Шутки шутками, но после того, что мы на море испытали, новые условия действительно казались райскими и прямо-таки божественными. От черта не жди курорта, а здесь — бесплатное четырехразовое питание, прекрасные климатические условия, тактичное обслуживание, красота и изящество женского персонала...

Самочувствие наше улучшалось. Мы уже расхаживали по комнате, а утомившись, садились играть в карты. Ухаживающие за нами аборигенки и аборигены с удивлением смотрели на это наше занятие. Ясно было, что карт они прежде не видывали.

Наконец настал день, когда мы в сопровождении миловидной девушки вышли из помещения на воздух и очутились в саду. Там росли странные деревья, с которых свисали различные фрукты, каких мы не видывали и не едали ни в одной экзотической стране, хоть и не в одной побывали. А возле нашего окна находилась продолговатая клумба, на ней красовались цветы разных колоров и оттенков — от белого до почти черного. В дальнейшем мы узнали, что это — цветочные часы; каждый цветок раскрывается всегда в одно время. Первым — розовый, затем — белый, затем — оранжевый и так далее. Последним раскрывает лепестки темный цветок, и это означает, что близка ночь, пора на боковую. Спать все ложились рано: ведь там не было ни электричества, ни керосина, ни свечей. Там вообще не знали, что такое огонь. Да и не нуждались в нем. Фрукты и ягоды они ели сырыми, а овощи и рыбу варили в горячих источниках, бивших из-под земли. Благодаря отсутствию склок, нервотрепок, больниц и врачей они не ведали никаких болезней и жили до глубокой старости. Из медперсонала были только акушерки.

Уважаемые читатели и читательницы! Я чувствую, что вы ошеломлены, что вы теряетесь в догадках: где это «там», кто это «они»? Но самые умные из вас, безусловно, уже догадались, что мы с Кузей действительно попали в Рай. Пишу это слово с большой буквы, поскольку речь идет не о фантастическом божьем рае, а о секретной, но реальной географической точке. И забегая вперед, скажу вам, что когда мы мало-мальски освоили язык островитян, то узнали, что этот остров поихнему именуется ТИМГОРТОРИОСОГ, что в переводе означает Лучшее-Место-Для-Счастливых. Одним словом, если по-нашему сказать — Рай. Коротко и ясно.

9. РАЙ КАК ТАКОВОЙ

Итак, штормовой волной нашу шлюпку выбросило на остров, где жили люди, которые не имели связи с внешним миром, причем начхать им было на этот внешний мир. Со своего острова они никуда не стремились, ни лодок, ни кораблей не сооружали. Рыбы всякой в мелководных бухточках Рая плавало — хоть завались. Ловили ее бреднями, а то просто загоняли в затоны и голыми руками брали. Так что плавсредства им не нужны были; они вообще считали, что живым они ни к чему. Другое дело — мертвым. Когда кто-нибудь умирал, для него сплетали из древесных прутьев этакую помесь корзины с челноком. Это называлось «балоунти» — «погребальная корзина». Зазоры между прутьями промазывали тонким слоем глины, покойного укладывали в эту хлипкую лодочку, осыпали цветами — и пускали вплавь с Дальнего мыса. Возле того мыса проходит постоянное течение и сразу же начинаются большие глубины. «Балоунти» проплывает метров пятьсот, глина размокает — и покойный идет ко дну вместе со своей упаковкой, а цветы остаются на плаву, и их уносит в океан. Между прочим, шлюпку, в которой нас прибило к Раю, островитяне сочли «погребальной корзиной». Они вообразили, что где-то «на другом конце океана» нас положили в нее мертвыми, а потом мы почему-то воскресли. Поэтому шлюпку нашу они сразу же оттащили от уреза воды, под деревья,— она для них стала достопримечательностью.

Хоть мы, по ихнему понятию, «воскресли из мертвых», в святые они нас не произвели. Религии у них не имелось, они вроде бы считали, что они сами и есть боги. Только это — без всякого нижонства, без всякого зазнайства. Люди они были простые, за престижем не гнались, что такое деньги — знать не знали. Аристократии никакой. Правда, имелась королева, но это была дама своя в доску. Она акушеркой работала по совместительству. А в главные ее королевские обязанности входило разрешать недоразумения, мирить поссорившихся, оформлять браки. Это оформление так происходило: королева собственноручно дает брачующимся длинную вареную рыбу «флюгунш», на манер нашей миноги; жених начинает жевать ее с головы, невеста с хвоста; когда уста их сблизятся, королева плеснет им

на головы морскую воду из красивой перламутровой раковины — и супруги идут в построенный для них дом. Между прочим, супружеская верность в Раю соблюдалась честно. И девушки там держали себя в строгости. Ухаживай за мной, разговаривай, но сексу своему воли не давай. Все — после свадьбы.

Промышленности, разумеется, в Раю не имелось. Но были ухоженные сады, где росли фрукты, каких больше нигде на Земле нет, возделывались огороды с расчудесными овощами. Одежду пряли и ткали из особых трав и водяных растений, окрашивали ее соком, который добывали из моллюсков. Одевались вполне пристойно. У мужчин, как положено, брюки, рубахи; у детей — легкие костюмчики. Женский пол в кофточках, в блузках ходил и, разумеется, в юбках. Юбки — чуть ниже колен, никаких тебе мини. Брюк райские красавицы, само собой, не носили.

Что касается обуви, то в Раю все ходили босиком. Имелись, правда, этакие деревянные туфли на высоченных острых каблуках из кости какой-то рыбы, но туфли те островитяне использовали только в исключительных случаях, когда веселой гурьбой шли в дом новобрачных поздравлять их поутру, после первой их брачной ночи. Эти поздравления сопровождались бурными плясками. Других официальных праздников у них не числилось, если не считать, что вся их житуха была сплошным праздником. Каждый вечер на утоптанной площадке в центре поселка развертывалась босоногая райская самодеятельность, танцы, пение — сольное и хоровое. И притом — никакого винопития, никакого курева; что такое вино, что такое табак — они и ведать не ведали.

В Раю красоту очень уважали. Чем красивее девушка или дама, тем больше почета. Да там дурнушек, если по-честному сказать, и не водилось. Все сплошь — красотки. Стройные, движения плавные, длинные волосы пепельного цвета, глаза большие, ясные. Все смуглые, но в меру, не до безобразия. На загар там моды не было. А здесь поглядишь на иных девиц — целыми днями на пляже валяются, обгорели как головешки.

Мужчины там имели здоровый физкультурный вид. Ни толстяков, ни худяков даже среди пожилых не видел. И все бодрые такие, уравновешенные. И все — и мужчины, и женщины — так корректно, дружески вели себя друг с другом. Ни драк, ни воровства, ни жуль-

ства. Что такое слезы — знать не знали. Ни дети никогда не плакали, ни взрослые. Даже слова «слезы» в их языке не было. А слезные железы у них имелись, как и у нас, уважаемые читатели. В этом я позже убедился.

Ясное дело возникали и у них иногда мелкие спорные вопросы. Но разрешали они их в прямой честной беседе. В крайнем случае — шли к королеве, чтоб та их рассудила. И никаких подкопов, никаких анонимок! Впрочем, в Раю анонимок и по технической причине не могло быть: письменностью островитяне не владели, довольствовались устным общением.

Там, в Раю, хотите — верьте, хотите — проверьте, крепких слов никаких не имелось. Самое сильное их выражение так звучало: «Ла олли туал талмо!» Если дословно перевести: «Ты делаешь меня грустным!» Это, по их ругательской шкале, на уровне нашего мата стояло. И еще во многом островитяне на всех прочих людей не походили. Например, не знали, что такое страх. Им бояться было нечего. Что такое болезни и эпидемии, они и слыхом не слыхали. Гроз не бывало. Землетрясений не случалось. Зверей хищных не водилось. Змей — тоже. Так что босиком ходили в Раю не по дикости, а ради здоровья, чтоб иметь прямой контакт с почвой.

Нет, дикарями их никак не назовешь! Правда, книг, денег, огня, телевизоров, торговли и промышленности они не знали, но своя культурность у них была. Жилые дома, например, строили совсем неплохо. Одноэтажные коттеджи стояли в райской роще безо всяких оград и заборов. Жили в них довольно просторно. Строили свое жилье островитяне из мелких необожженных кирпичиков. На острове имелись залежи голубоватой глины, так они формовали из нее эти самые кирпичики, но не обжигали, а долго сушили. Вместо цемента употребляли какой-то ароматный клей. Крыши, правда, крыли не железом, не черепицей, а этакими широкими маслянистыми древесными листьями. Ну, по тамошнему климату это в самый раз.

Что касается инструментов, то в Раю имелись топоры, пилы, мотыги, лопаты, ломы, ножи, ложки, вилки, ножницы, иголки и прочие необходимые предметы. Выполнены они были из какого-то темно-синего сверхтвердого металла. Этот металл тем был замечателен, что он не ломался, не притуплялся, не стачивался и даже самовозобновлялся в процессе работы. Притом мы с Кузей заметили, что эти все инструменты

при ударе одного о другой или о камень ни единой искры не давали.

Эти вещи, ясное дело, были не местного производства. Насчет их происхождения у райских жителей существовало такое объясение. Когда-то, мол, не в очень отдаленные дни, на острове жило всего два семейства, причем питались скудно, одной только рыбой. Потом вдруг на остров «спрыгнули с Солнца» незнакомые мужчина и женщина. Женщина раздала островитянам семена растений и научила садоводству и овощеводству. Мужчина же одарил инструментами и провел инструктаж о том, как ими пользоваться. Затем эта загадочная пара «Вынула из круглого мешка Серую рыбу и подбросила ее в небо». Рыба та начала описывать над островом круги, все быстрее и быстрее, пока не стала невидимой; она и до сих пор кружится над Раем. Что касается тех двоих, то они «прыгнули обратно на Солнце».

Уважаемые читатели! Даю вам возможность принять личное участие в моем повествовании и самим вписать в него, кто были эти основатели Рая. Ведь самые сообразительные из вас уже догадались, что это были и.....е. Солнце тут — сбоку припека; они с какой-то дальней планеты прилетели, не из Солнечной системы. Взяли шефство над этим островом, учредили человеческий заповедник и применили какую-то сверхмудреную технику, благодаря которой жители Рая оказались отрезанными от внешнего мира. Эта «Серая рыба», видать, как-то влияла на компасы и на прочие навигационные приборы кораблей — все суда незаметно для капитанов, штурманов, рулевых, а также для членов команды и пассажиров как-то безболезненно отклонялись от курса, обходили остров стороной. И на авиационные приборы, и на летный состав она тоже влияла с такой же силой. Безусловно, что и на психику судоводителей и летчиков воздействовала и зачеркивала в их мозгах всякую мысль о существовании Рая. А для чего инопланетяне тот земной Рай организовали — дело туманное. Может, просто из добрых чувств к бедным островитянам, но всего вернее — интересовались, что в дальнейшем получится их этого подопытного участка.

Тут у вас возникает законный вопрос: как же это мы с Кузей попали в Рай, ежели он был технически закрыт для посторонних посетителей? А ларчик-то просто от-

крывается. Без сомнения, эти инопланетные профессора все вроде бы предусмотрели своими умными мозгами, все учли и оприходовали. Но, видать, и у инопланетян бывают просчеты, неувязки, а то и прямое очковтирательство и головотяпство. Короче говоря, на все сто процентов изолировать Рай они не сумели. Ведь вся их охранная технология была обязана воздействовать на приборы и на человеческие мозги, и в этом плане действовала безотказно. Но на шлюпке нашей не имелось никаких навигационных приборов. А на сознание наше «Серая рыба» давить не могла, поскольку наши умы были затуманены штормом и голодом и мы были без сознания. Да и вообще мы сами от себя не зависели, мы находились во власти волн и ветра.

10. РАЙСКИЕ БУДНИ

Но вернусь к нашему времяпровождению.

Мы с Кузей уже в полном здравии находились, отъелись на райских харчах. По райскому саду уже свободно разгуливали, иногда в дома к поселянам заглядывали. Нас всюду ласково встречали, ведь наше пребывание на острове было для них крупнейшим историческим событием. Однако дальше поселка ходить не рисковали, поскольку босые были, змей опасались. Мы еще не знали, что в Раю ни змей, ни ядовитых насекомых не водится.

Для увеселения души площадку в центре поселка иногда посещали, там райская самодеятельность процветала. Пляски, музыка на тростниковых дудках, песни... Девушки райские пели отлично. Слушаю, бывало, ничего не понимаю, а на сердце веселей.

Кузя там тоже выступать стал — в духе ретро. Начал с того, что однажды прошел в центр прощадки и торжественно объявил: «Приезжий солист Кузьма Васильевич Федосьев, он же Кузя Отпетый, исполнит фольклорно-блатную песнь «Гоп со смыком»!..» И запел:

Поскольку я играю и пою,
То жить, конечно, буду я в раю,
А в раю-то все святые
Пьют бокалы наливные,
Я ж такой, что выпить не люблю!..

И так далее. Он куплетов сорок спел. Смысла, разумеется, никто не усек, однако все были довольны, кри-

чали: «Лубан! Лубан!» Это значит — «Еще! Еще!» Потом, в другие разы, Кузя и романсам их обучать стал. Начали жители Рая, подражая ему, распевать: «Вернись, я все прощу!», «Мы сегодня расстались с тобою...» — и еще много чего. Память у них отличная была, однако до нашего прибытия им не на что ее было тратить: книг нет, кино нет. А тут Кузя со своим репертуаром подсыпался — только слушай да запоминай.

А вот с картами дело не сладилось. Мы долго мужчин и юношей вразумляли, как в «двадцать одно» надо играть,— и слова райские, какие знали уже, употребляли, и на пальцах поясняли. Некоторые суть игры поняли, но действовали вяло, без должного азарта. Из вежливости только играли, чтоб нас не обидеть.

По-честному сказать — скучновато нам было.

— Не по мне этот Рай,— высказывался Кузя.— Душа суматохи просит... Культработу бы среди них развернуть. По борьбе с неграмотностью, с алкоголизмом.

— Алкоголизм у них отсутствует, поскольку спиртных напитков нет,— уточнял я.

— Этому можно научить, можно самогонный агрегат построить. Тогда будет с чем бороться... Только стоит ли? Пусть на земле хоть этот островок в трезвости останется. Давай-ка лучше в картишки сыграем.

Игра у нас в Раю опять на условные деньги шла. Но прежнего интереса не было. Играем — а сами между собой толкуем, как бы нам из этого Рая отчалить, планы всякие строим...

Но вскоре мы перестали о бегстве с острова толковать. На туманном горизонте нашей судьбы появилась Маруся.

11. МАРУСЯ

В ту ночь — ночь перед днем, когда мы познакомились с Марусей,— море штормило. Шум валов доносился в наше помещение, и мне долго не спалось. К утреннему приему пищи проснулся я с тяжелой головой. Позавтракав, мы с Кузей, как обычно, приступили к игре. Когда я тасовал колоду, из нее вдруг выпала карта, она упала рубашкой вверх. Я поднял ее, оказалось — это дама бубен.

— Смотри, Шарик, не влюбись в блондинку! пошутил мой друг.

Я ответил ему в том смысле, что таковых в Раю не водится. Действительно, все девицы и дамы, которых мы до сих пор здесь видели, имели волосы красивого пепельного цвета; встречались и шатеночки, а блондинки — ни одной.

Но, оказывается, одна была.

Под вечер, когда мы с Кузей явились на райскую танцплощадку, нас поразило, что там, против обыкновения, не видно мужчин и юношей танцевального возраста. Мы уже знали, что в Раю полное равновесие полов и прекрасный пол даже преимущества имеет,— и вдруг такое невнимание островитян к дамскому и девичьему поголовью. И еще нас удивило, что у всех женщин и девушек какой-то взволнованный, радостный вид. Мы спросили у Аканы, у той самой островитяночки, что пищу нам приносила, в чем тут дело. И вот эта словоохотливая Акана начала нам толковать о том, что весь мужской персонал Рая сегодня с утра трудится у Песчаного мыса — так распорядилась королева. Океан, мол, прислал большой, небывалый подарок, великолепные «талуогли». Она про эти «талуогли» долго нам толковала, но мы плохо еще райским языком владели. Стали мы с Кузей между собой рассуждать, как это море может подарки делать, и какие подарки; стали мыслить, не жалея извилин. И вдруг не до морей, не до подарков нам стало...

...На небольшое земляное возвышение вроде эстрады поднялась невысокая белокурая девушка сногсшибательной красоты. Я уже говорил, что в Раю некрасивых не было, но эта всех райских красавиц перешибла! Не буду давать ее литературного портрета, словесных сил не хватит. Но уж поверьте, голубчики-читатели и голубицы-читательницы: такую красоту я тогда в первый раз повидал, а вам — вовек не повидать.

При появлении этого малогабаритного чуда природы я замер от восторга. И тут красавица запела. Смысл ее песни был, ясное дело, для меня вполне неясен, однако я моментально уразумел, что голос ее аж за сердце берет. И вдруг мне почудилось, что вся жизнь моя до этого дня гроша ломаного не стоила, а вот теперь я царь Вселенной, потому что такую девушку вижу и слышу. И в этот момент Кузя кладет мне руку на плечо и шепчет со слезами на глазах:

— Это она! Это она!..

— Какая такая «она»? — удивился я.

— Это — Надя Запретная!.. Вернее сказать — это ее улучшенный райский двойник...

Когда чаровница покинула певческую трибуну, мой друг, как тигр, метнулся на ее место и запел популярный уголовный романс «Зачем я встретился с тобою...». Пел он вдохновенно и напористо и все время глядел на прекрасную девушку. И я тоже не мог от нее глаз отвести. А Маруся скромно стояла в толпе слушательниц и, когда Кузя исполнил заключительный куплет, вместе со всеми стала кричать: «Лубан! Лубан!»

«Но почему «Маруся»? — спросите вы, уважаемые читатели. — Почему такое имя у иностранной райской девы?» Да дело в том, что звали ее по-тамошнему «Муароса», то есть «Утренний голос» (она подала свой первый детский крик ранним утром), а это уж Кузя стал звать ее Марусей, а за ним и все островитяне, то ли из уважения к нам, то ли им такое произношение понравилось. Да и самой девушке по вкусу пришлось это ласковое и скромное имя. Оно как-то подходило ей. Она хоть и красавицей выглядела, но не фифой, не секс-бомбой киношной; красота ее была сверхвыдающаяся, но в то же время чарующе скромная. Чем-то Маруся немного эстоночку напоминала. Кузя даже свою теорию насчет ее происхождения построил. Мол, в некие времена прибило к Раю какую-нибудь посудину вроде нашей, и был там уцелевший человек, прибалтийский белокурый матрос, который и стал законным предком Маруси.

Теперь жизнь наша по другому руслу пошла. Карты забросили, стали всюду бродить, забыв, что босые; стали с каждым встречным-поперечным заговаривать, чтоб язык райский скорее освоить. Нам хотелось побольше слов наскрести, чтобы перед Марусей в словесном всеоружии предстать.

Однажды утром разбудили нас раньше обычного, накормили завтраком и вручили туфли с длинными острыми каблуками. Мы уже знали, что такие ритуальные туфли надевают только в день поздравления новобрачных после первой брачной ночи. И вот поковыляли мы с Кузей, в числе прочих гостей, к новому, построенному специально для молодых супругов, коттеджу. Поздравляющие с песней вошли в спальню, в дальнем конце которой на своем брачном ложе, но уже вполне одетые, восседали счастливые молодожены.

И начались пляски в честь новобрачных. Спальням в райских домах отводилось, в смысле метража, главное место, так что пляшущим было где развернуться.

Поскольку новобрачная слыла в Раю одной из перворазрядных красавиц, в честь ее плясали особенно усердно, и так топали, что перламутровые раковинки, вделанные строителями в пол, в специальные зазоры между кирпичиками, потрескались, а кое-где и разбились. Когда я намекнул одной островитяночке — зачем же это пол-то портить,— она дала мне объяснение, из которого я понял: раковинки новые завтра же вставят, а что эти побились — это хорошо; чем больше их ломается — тем, значит, больше счастья будет супругам в их дальнейшей жизни. Удивился я такой странной примете, но спорить не стал.

Маруся тоже участвовала в том мероприятии, но при пляске сильно не топала; она, словно лебедушка, скользила по полу. С восторгом глядел я на ее изящные телодвижения. Смотрел я на нее, смотрел — и решился, подошел. На ломаном райском языке, тщательно подбирая слова, пригласил на совместную прогулку. И — представьте себе — она улыбнулась и сказала, что завтра утром, когда раскроется розовый цветок, она будет ждать меня на площадке.

12. ТАЙНА ПЕСОЧНОЙ БУХТЫ

Утром проснулся я в счастливом состоянии, завтрак скушал с могучим аппетитом. А Кузя ел нехотя, вяло. Я сделал ему дружеское замечание: когда дают пищу, ее надо есть активно; надо целиком и полностью использовать бесплатное райское снабжение. Но он ничего не ответил. В глазах его я заметил грусть.

Вскоре на цветочных часах под окном раскрылся розовый цветок — и я поспешил в пункт свидания. Маруся уже ждала меня. На ней было скромное голубое платье, в косах синели цветы.

— Какие красивые цветочки! — галантно воскликнул я на чистейшем райском языке.— Как они зовутся?

— Никак,— ответила девушка.— Разве цветам нужны имена?.. Куда же мы пойдем ходить?

— Давай пойдем куда глаза глядят,— предложил я.

— Но ведь твои глаза сейчас глядят на меня, а мои — на тебя,— с удивлением произнесла наивная

красавица.— И если мы пойдем так, как ты хочешь, то мы столкнемся лбами.

В конце концов Маруся предложила держать путь к Песочной бухте, туда ведет красивая дорога. И вот, покинув утопающий в плодовых деревьях поселок, мы поднялись на невысокий холм, затем спустились в долину. Там росли многочисленные кусты, с которых свисали крупные сочные ягоды, напоминающие вкусом клубнику. Я отдал должное этим даровым дарам природы, на что ушло менее часа. Затем мы вышли к океану, к Песочной бухте.

Море здесь далеко вдавалось в сушу, причем весь берег состоял из отличного пляжного песка. Тут и там виднелись группки островитян, принимающих водные процедуры. Купались они в чем мать родила, но девушки — своими стайками, а юноши — своими, на довольно большом расстоянии. Супружеские пары купались совместно, с ними вместе барахтались в воде ребятишки. Загорающих я не приметил. Те, которые вдоволь наплавались, прогуливались по берегу одетыми и распевали райские песни. Но не только райские. В одном месте я вдруг услышал:

...И там, в кибитке, забудем пытки
Далеких, призрачных страстей...

Пели по-русски, слова произносили отчетливо, с Кузиной интонацией, хоть ни бум-бум не понимали, о чем тут речь.

Да, Кузин певческий репертуар начинал входить в широкие райские массы.

Миновав людную часть бухты, мы с Марусей вышли к левой ее стороне, где далеко-далеко в океан уходила узенькая песчаная коса; в конце ее возвышалось что-то серое, вроде бы скала.

— Пойдем туда, Маруся,— предложил я.— Там тихо и безлюдно.

— Там теперь нечего делать. Мужчины уже перенесли на берег все подарки океана.— Дальше она начала объяснять мне что-то, но я ничего не понял. Ведь я знал райский язык поверхностно, в первую очередь осваивал всякие изящные слова, чтобы говорить девушке комплименты, о чувствах беседовать, об искусстве.

— Маруся, а ты сделай мне ценный, красивый пода-

рок, прогуляйся со мной по этому ласковому песочку,— повторил я свою просьбу.

Девушка ответила согласием. Мы пошли по косе. И чем дальше мы шагали по ней, тем яснее становилось мне, что впереди не скала, а судно.

— Так это же корабль! — воскликнул я по-русски. Затем, перейдя на райский, спросил Марусю: — Сколько восходов тому назад это прибило к острову?

Девушка опять начала лопотать что-то невнятное, часто повторяя слово «талуогли». Тем временем мы подошли к судну. Это был небольшой грузовой пароход, тысячи три тонны водоизмещением. Шлепая босыми ногами по мелководью, мы обошли его кругом. На корме беледа надпись, выполненная иностранными буквами. В трубе видна была пробоина от снаряда; в других местах повреждений я не заметил. Шлюпок на шлюпбалках не висело. Тут и дурак бы понял: пароход, покинутый командой в море, какое-то время дрейфовал без руля и без ветрил, а потом шторм вынес его на эту отмель. Но почему же это команда бросила свое судно из-за пробоины, которая плавучести судна не угрожала?

— Ты не знаешь, были на нем люди? — на всякий случай спросил я Марусю.

— Зачем там было быть людям?! — удивилась красавица.— Там были подарки океана, он подарил нам талуогли. Наши мужчины много поработали, они перетащили все талуогли в ктоарил.

«Что это она все о каких-то талуоглях,— подумал я.— Может, это консервы?»

— А ты их уже пробовала? Вкусные? — задал я вопрос.

— Ха-ха-ха! — интимно рассмеялась райская мадонна.— С тобой никто не будет скучать!.. Талуогли съесть нельзя! Если бы можно было, мы бы тебе и твоему другу принесли их... А теперь нам пора обратно... — Она нагнулась, приложила руку к воде, а затем стала неторопливо выпрямляться, держа руку ладонью вниз. Я сразу догадался: скоро начнется прилив. И мы пошагали в поселок, причем под ручку.

Вернувшись в наше жилище, я застал Кузю сидящим на подоконнике. Он угрюмо глядел в сад. Когда я рассказал ему об увиденном мной судне, он встрепенулся, заинтересовался, но потом снова погрузился в мрачное раздумье о своих личных делах.

13. РОКОВОЕ СВИДАНИЕ

Теперь мы с Марусей каждый день встречались. Иногда даже в уединенных бухточках купались вместе. Ну, правда, не совсем вместе: Маруся требовала соблюдения моральной дистанции, так что раздевались мы метрах с сорока друг от друга, а когда плавали, то она держала интервал метров в пятнадцать; такие уж у них в Раю порядки были, ничего не поделаешь. Про Кузю она меня ничего не спрашивала, хоть, наверно, догадывалась девичьим сердцем, из-за чего он так похудел и почему таким сычом на белый свет смотрит. На площадку по вечерам он все-таки и теперь иногда являлся, невзирая на свое тоскливое состояние. Пением его Маруся интересовалась, это она от меня не скрывала. Она многое из его репертуара запомнила.

...Дни шли — один краше другого, все ближе к счастью, все ближе... Так мне казалось. А вышло совсем не так.

...В то утро мы встретились — как было условлено — возле Марусиного дома, где она проживала с отцом, матерью и двумя малолетними сестрами. И я спросил у Маруси, куда сегодня мы отправимся на прогулку.

— Сегодня мы пойдем в Уютную бухту,— ответила красавица и добавила с какой-то загадочной улыбкой: — А по пути заглянем на сушильный склад. Там талуогли сушат. Для будущих домов.

«Опять о каких-то талуоглях толкует»,— с досадой подумал я... И спросил, что это слово означает.

— Как, ты еще не знаешь этого?! — удивилась Маруся.— Да вот они, талуогли! — и показала на стену своего дома, а потом подошла к ней ближе и ткнула пальчиком в один, в другой, в третий кирпичик.

«Кирпичик... только и всего»,— подумал я с какой-то даже обидой. Но затем у меня мелькнула догадка: показом этих кирпичиков, из которых строят семейные дома, Маруся хочет намекнуть мне, что она не прочь создать здоровую райскую семью, и ждет моего твердого признания в чувствах.

Мы миновали рощицу, пересекли низину и через какое-то время очутились в лощине между двумя холмами. Там не росло ни деревьев, ни кустов и дул ровный и довольно сильный ветер, на манер сквозняка. Он при-

жимал одежду Маруси к ее фигуре, изящно подчеркивая формы. «Когда придем к морю — объяснюсь ей! — вынес я мысленную резолюцию.— Пусть под классический шум прибоя прозвучат мои высказывания о готовности вступить в брак!» И в моем уме замелькали интимные картины нашей будущей совместной жизни...

— Здесь всегда ветрено,— прервала мои мечтания Маруся.— Потому и построили сушильный склад.

В этот момент мы поравнялись с длиннющим сараем. Дверей и стен у него не имелось, просто с крыши свисали циновки, сплетенные из морской травы. Маруся отогнула одну из них и вошла в сарай. Я — за ней. Весь длинный отсек склада был заполнен штабелями, сложенными из голубовато-серых глиняных брусков; как я уже упоминал, кирпичи в Раю были мельче наших. Мы прошли с Марусей шагов пятьдесят вдоль этих штабелей. Однако кирпичное дело в данный момент меня не шибко интересовало.

— Неплохие кирпичики,— сказал я, чтобы не молчать в присутствии очаровательной островитянки.— Но не пора ли продолжить наш путь к линии морского прибоя?

— Нет, ты еще посмотришь те прекрасные кирпичики, что подарил нам океан! — с энтузиазмом воскликнула Маруся. И далее она сообщила, что речь идет о тех «талуоглях», которыми было гружено «это» (слов «судно», «корабль» в райском языке не имелось); эти замечательные кирпичики мужчины перетащили именно сюда, на склад, чтобы они не попортились от морской сырости и дождей.

— Хватит с нас кирпичей! — воспротивился я.— Нас зовет песня прибоя!

— Нет, ты обязан их посмотреть! — заупрямилась райская красавица.— Они очень симпатичны... И, знаешь, королева сказала, что когда я выберу себе жениха, то именно для меня и моего мужа будет возведен первый дом в Раю из этих миловидных кирпичиков... Ты знаешь, королева очень хорошо ко мне относится.

— Да разве может кто-нибудь к тебе относиться плохо! — воскликнул я.— Ты — главное украшение Рая!.. И я хочу тебе сказать... Нет, то, что я хочу тебе сказать, можно сказать только на фоне красивой природы... Идем к морю!

Однако упрямая Маруся, взяв меня за руку, другой рукой откинула свисающую с балки циновку и ввела

меня в следующий отсек склада. Тут тоже виднелись штабеля кирпичиков, но эти кирпичики были еще мельче — этакие аккуратные брикетики. И цвет у них был другой — песочно-желтый, чуть отливающий зеленцой... Они мне что-то напомнили. Я вспомнил военную службу... Не хотелось верить страшной догадке.

— Правда, прекрасный подарок океана? — радостно спросила Маруся.

— Алаор долир, дип битурр лаом, дип — тол![1] — с волнением произнес я.

Она удивленно посмотрела на меня, потом расхохоталась и прощебетала на своем райском наречии:

— Почему они похожи на тол?! И чем плох тол?..

Из дальнейшего разговора выяснилось, что по-райски «тол» — это мотылек. А когда я стал втолковывать ей, что по-нашему тол — это взрывчатое вещество, она ничего не поняла. В их языке такого понятия не имелось.

— Это взрывчатка! Взрывчатка! — выкрикнул я.

Маруся опять засмеялась. Она не восприняла всерьез моего серьезного тона, решила, что я чем-то пугаю ее понарошку. Наверное, она считала, что у меня такой способ ухаживанья.

— Взрыв-чат-ка! Взрыв-чат-ка! — произнесла она нараспев своим звонким голосом. — Какое смешное слово: взрыв-чат-ка!

Я стоял будто оглоблей ударенный. Я не знал, какими словами пронять Марусю, как втолковать ей, какой бедой угрожают мне, ей и всему Раю эти чертовы брусочки. Мое замешательство она истолковала по-своему: решила, что они показались мне недостаточно красивыми. И вот потащила меня дальше, в следующий отсек этого бесконечного сарая. Там брикеты были чуть покрупней предыдущих, ярче отливали желтизной. На каждом из них иностранными буквами было оттиснуто какое-то слово с тремя восклицательными знаками, а рядом — изображение молнии.

Но на том не закончилась эта веселая экскурсия. В последнем отсеке взору моему предстали ряды небольших ящиков. На каждом из них трафаретным способом был изображен череп, пониже — молния и опять же три восклицательных знака. Приподняв крышку одного из ящиков, я увидел там некие предметы, напоми-

[1] Милая девушка, это плохая вещь, это — тол!

нающие детонаторы к противотанковым минам; каждый детонатор был отделен от соседнего переборочкой и аккуратно закутан в асбестовую вату. Мне стало совсем муторно. Я вспомнил предсказание тети Бани насчет «сундука с человечьей головой». А рядом с теми ящиками я узрел штабелек мелких ящичков; на них, помимо черепов и молний, были изображены как бы некие мундштучки, ясное дело — запалы для ручных гранат, уж настолько-то я в военном деле разбираюсь.

Тем временем Маруся взяла запал. Подбрасывая и ловя его своей изящной ручкой, она многообещающе прошептала:

Не правда ли, это будет очень милым украшением нашего уютного дома? Эти вещицы будут вделаны в пол, и стены, и...

Маруся, надо срочно созвать всех мужчин, чтобы срочно отнести все эти «кирпичики» и «украшения» на берег и затем срочно утопить их в самом глубоком месте! — строго прервал я беззаботную островитянку

— Ах, ты все надо мной подшучиваешь! — уже с некоторой досадой отвечала девушка. — Разве можно отдавать подарки обратно?!

— Маруся, пойми... Ты видишь, что это такое?! — И я ткнул пальцем в оскаленный череп, глядевший на нас с ближайшего ящика.

— Это какой-то очень некрасивый дяденька. Он, наверно, живет на другом конце океана, да?

— Дяденька-то дяденька, но и ты можешь стать такой тетенькой, если...

Странные слова ты говоришь! — обиженно прервала меня Маруся. — Такой я никогда не стану! Как это я могу стать такой?!

— Но ты пойми: это череп, череп!

— Его зовут Черепчерп? Значит, ты с ним знаком?

По ее тону я понял, что она не шутит. Я был ошеломлен. Позже я убедился, что обитатели Рая действительно не знали, что под кожным и мускульным покровом их лиц скрыты черепные коробки. Ведь они погребали своих усопших в глубине моря — и те исчезали для них навсегда. А так как в Раю жизнь текла очень мирно, неторопливо и спокойно и у островитян никогда не было несчастных случаев, травм черепа и прочих телесных повреждений, да и вообще никаких хворей они не знали, то их нисколько не интересовало, что у них там внутри, под кожей. Они не ведали даже, что у них есть

сердца. Тиктакает что-то в груди — ну и пусть тиктакает.

Когда мы с Марусей вышли из зловещего сарая, она сказала ласковым голосом:

— Я убедилась, что ты очень придирчивый и очень любишь смеяться над другими... Но я не сержусь. Ведь мы собираемся идти дальше, ты что-то хотел сказать мне у моря.

И вот направились мы к Уютной бухте. Маруся легкой, крылатой своей походкой шагала впереди. Я малость отставал. Тяжесть, что легла мне на сердце, передалась и в ноги. Теперь мне кое-что стало понятно. То судно, что мы видели с Марусей, ясное дело, шло в конвое и везло взрывоопасный груз. Возможно, оно почему-либо отбилось от конвоя. Всплыла неприятельская подводная лодка и, не желая тратить торпеду (вероятно, запас торпед был на исходе), дала артиллерийский выстрел. Снаряд попал в трубу. Учитывая свойства своего груза, команда не стала ждать второго выстрела и, используя наличные плавсредства, быстренько покинула борт транспорта. Почему субмарина не потопила судно — неясно. Возможно, экономила свои огнеприпасы. А быть может, подоспел крейсер, охранявший транспорты, и командиру подлодки было уже не до расправы над грузовым судном. Тут возможны всякие варианты. Факт тот, что покинутое людьми судно долгое время дрейфовало в океане, а потом шторм пригнал его к райской отмели. А наивные островитяне обрадовались этому, с позволения сказать, подарочку Фортуны. И теперь планируют употребить взрывчатку на постройку семейного коттеджа для нас с Марусей. Дурни блаженные!.. Выходит, что ежели я женюсь на этой райской деве, то опасность в первую очередь угрожает мне и ей...

— О чем молчишь? — прервала мои размышления островитянка и вдруг исполнила куплет из «гоп со смыком». В том куплете об Иуде Скариотском речь шла.

Блатная песня в ее устах звучала наивно и безгрешно. Я знал, что поет Маруся, не понимая смысла, просто хочет похвастаться своей памятью. А быть может, хочет ревность во мне пробудить: ведь понимаю же я, что это — из Кузиного репертуара? Но ревность во мне не вспухла. Меня только царапнуло, что она Иуду ни к селу ни к городу упомянула. «Я к этому библейскому типу никакого отношения не имею», — мысленно кон-

статировал я. Но идти на верную смерть из-за того, что Маруся не понимает, какая взрывчатая кончина ожидает нас в случае свадьбы,— это уж увольте.

Короче говоря, объяснения не произошло. Мы вернулись в поселок вдвоем и мирно разошлись по своим жилищам. Маруся девушка гордая была, она и виду не подала, что чего-то решающего от меня в тот день ожидала. Но, ясное дело, после этой прогулки знакомство наше на разрыв пошло.

14. СОБЫТИЯ СГУЩАЮТСЯ

Вернувшись с роковой прогулки, я немедленно поведал своему другу о том, что обнаружил на кирпичном складе и что ждет Марусю, ее будущего мужа и всех островитян, ежели будет построен дом из тех страшных «кирпичиков». Кузя сразу же согласился со мной, что необходимо развернуть среди жителей Рая разъяснительную компанию.

В течение ближайших дней мы с другом при всяком удобном и неудобном случае заводили разговоры с островитянами и островитянками о том, что «талуогли» грозят им смертной бедой и их надо немедленно утопить в океане. Слушали нас вежливо, но без должного внимания. Бедняги просто не понимали, что мы им хотим втолковать. Ведь даже таких слов, как «огонь» и «взрыв», в их языке не имелось. И вот Кузя постепенно остыл и выключился из противовзрывной агиткампании. А когда я сделал ему упрек в этом, он заявил мне: «Их не убедишь, слова наши — как о стенку горох». Но я подозреваю, что ему просто не до того было, иная проблема засела в его головушке.

Я уже известил вас, уважаемые читатели, что у нас с Марусей дело на разрыв пошло. Разрыв получился не грубый, не скандальный. Но, безусловно, она учуяла, что не о ней теперь мои главные мысли,— и плавно отчалила, как лодочка. И вот Кузя, видя, что она свободна, тихо-осторожно начал ухаживать за ней. Он, при его рисковом характере, о взрывоопасных последствиях не думал. Тем более Маруся была для него идеалом грез, двойником Нади Запретной.

Давно зарегистрировано: девичье сердце — не камень. Марусе с самого начала нравилась вокальная деятельность моего друга, а теперь постепенно он и весь целиком начал нравиться. Они теперь часто под

ручку гуляли, на морской берег вылазки совершали. И на вечерах райской самодеятельности стали иногда вместе выступать. Кузя настропалил добровольцев-музыкантов на дудках танго и фокстроты наяривать и танцевал в паре с Марусей. Плохого не скажу, получалось красиво. Эти танцы у островитян быстро в моду вошли. И песни, что Кузя пел, все шире внедрялись в райский быт Все не понимали, о чем речь, и все пели.

Однажды прихожу на площадку, а Кузя с Марусей уже там. Он стоит на певческом возвышении, она среди слушателей; он на нее пялится, а сам во все горло:

Обидно, досадно, да что ж делать ладно,
Не любишь не надо, другую я найду

Только по глазам видно, что не найти уже ему другую,— в эту по уши втрескался.

Я, когда он отпелся, тактично отзываю его в сторону и шепчу по-товарищески:

— Кузя, я тебе не из ревности это скажу, я о судьбине твоей беспокоюсь. Отшейся ты, пока не поздно, от этой девицы! Пора нам когти рвать из этого Рая. Этот Рай на взрывчатке!

А он в ответ пробормотал что-то невразумительное и опять к Марусе. И ушел с ней в райскую рощу гулять. Поздно в тот вечер вернулся.

Я же честно продолжал бороться за общерайскую безопасность. Но правильно какой-то мудрец выразился: не делай добра и тебе не сделают зла. Моя забота о людях склокой против меня обернулась. Тут надо учесть, что люди там жили хорошие, добрые, святые, можно сказать. Но, видать, и в самом райском раю женщины без сплетен обойтись не могут. Они решили, что Кузя отбил у меня Марусю своими талантами, что дело у них движется к свадьбе, а дом-то для новобрачных возведут из «подарков океана», и вот я, из зависти к счастливому сопернику, подбиваю всех утопить эти кирпичики в океане. И пошел гулять-погуливать по Раю этот коварный слушок.

Дополз он и до ушей королевы. Приглашает вдруг она меня на собеседование и укоряет в том, что я, мол, веду себя несимпатично по отношению к другу. Тут

стал я разъяснять этой даме, какая жгучая опасность грозит всему Раю и ей лично.

Вы все на воздух взлетите! — выкрикнул я в конце беседы.

Но разве это плохо — взлететь на воздух? игриво улыбнулась она.— Я бы, например, очень хотела взлететь, уподобившись птичке.

«Хоть ты и королева, но балда не лучше других», подумал я и удалился, понурив голову. И стало мне ясно: надо практически готовиться к индивидуальному отплытию. Надо запасать провиант. И самому перейти на усиленное питание, чтоб нарастить на себе солидный жировой слой; такой персональный запас очень может пригодиться в океане.

15. ПОСЛЕДНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Райские дни катились под откос.

Кузя теперь всюду с Марусей разгуливал Этакая аккуратная парочка, хоть для кино снимай. И вот однажды сообщает он мне, что были они сегодня у королевы, сделали совместное заявление о намерении вступить в нерасторжимый брак и та сразу же дала указание осторовитянам строить коттедж для будущих новобрачных.

— Из тех самых кирпичиков?— спросил я

— Именно из них Тут уж, Шарик, ничего не попишешь.

Кузя, думай вперед! Ведь ты вместе с Марусей на тот свет загремишь! И такая взрывная волна будет, что весь Рай рухнет. Никто не уцелеет... Давай-ка погрузимся в шлюпку, ты Марусю с собой возьмешь и айда с острова. Авось подберет нас какой-нибудь капитан.

— Намекал я ей на такой вариант. Никуда она из Рая не хочет, не сознает здешней опасности... А без Маруси я ни в какую шлюпку не сяду. Привинтился я к ней душой. Жить без нее не могу.

— Жить, Кузя, только без еды и без воды невозможно.. Ведь ты через эту свадьбу погибнешь!

— Не я — так другой,— возразил Кузя.— Такой красавице брака не миновать. Так лучше уж я... Ведь и она меня полюбила. Не могу я ее, дурочку, бросить. Помирать так вместе.

— Ну и помирай на здоровье,- подытожил я А

я не хочу через этот чертов Рай свою цветущую молодость губить!

С того дня стал я твердо готовиться к дальнему плаванию. Первым делом пошел в Песочную бухту — я хотел на судне том злосчастном насчет консервов пошуровать. Но потерпел фиаско. Пароходик тот во время очередного прилива дальше от бухты вода оттащила. Не стал я рисковать. Поплывешь к нему саженками, а по пути вдруг какая-нибудь Анюта-акула вынырнет — и прощай моя жизнь молодая. Я по другой линии пошел. Там, в Раю, среди прочих уникальных деревьев было одно, у которого плоды — вроде сдобных булочек маленьких. Стал я собирать те плоды, сдирать с них кожуру и микробулочки эти на прутики нанизывать, чтоб сохли, чтоб сухарики получались.

Проявил я и к шлюпке нашей внимание. Ее островитяне тогда сразу от воды подальше оттащили, так что находилась она в безопасном месте. Но вот беда — рассохлась, зазоры кое-где появились. Тут деготь бы помог, да на острове этом где его взять. А глина, которой островитяне свои погребальные корзины промазывали, здесь не годилась: я ко дну идти не собирался. Здесь нужен был тот клей, который они при постройке домов употребляют. И вот подобрал я на берегу большую морскую раковину и пошел с ней на стройку. Я уже знал, что строительство дома для Маруси и Кузи началось, но, ясное дело, не ходил туда, чтоб душу свою зря не терзать. А тут необходимость появилась, пошел.

Для коттеджа место в самом почти центре поселка нашлось. Стены уже на метр примерно возвели. Дом уже вполне вырисовывался — большой, с расчетом на многочисленное потомство; а спальня — рекордной площади, метров под шестьдесят. Клянусь вам, читатели,— не вру!

Строительство шло всерьез, много людей трудилось,— ведь каждому хотелось для райской красавицы № 1 поработать. Но работали очень неспешно. Каждый аккуратно смазывал клеем брусочек тола, затем неторопливо, осторожно прикладывал к тем брускам, которые уже стали частью стены. Глядя на медлительную, вдумчивую работу этих босоногих мужчин и юношей, можно было подумать, что они знают-понимают, какой опасный стройматериал подбросила им судьба. Но нет, ничего они не понимали. Просто в Раю у них был во

всем такой неторопливый стиль,— за исключением танцев.

Под будущей спальни был временно выстлан толстыми циновками. Приподняв одну из них, я увидал те же сатанинские брикетики; между ними строители оставили зазоры.

— Раковинки перламутровые, ясное дело, сюда вставите?— молвил я, проявляя свою техническую осведомленность.

— Туратон оторто! (Подымай выше!)— со счастливой улыбкой ответил мне какой-то паренек.— Сюда мы вставим, ради нашей красавицы, самые драгоценные дары океана!— И он повел меня за пределы стройки, в сад; там под раскидистыми деревьями стояли знакомые мне ящики с изображением черепов, молний и восклицательных знаков. Мне стало не по себе. На несколько минут я даже позабыл, зачем явился сюда. Но потом попросил дать мне клея и, получив желаемое, торопливо пошагал подальше от этой безумной новостройки.

Прошло несколько дней. Как-то утром тружусь под деревьями у шлюпки, шпаклюю ее. Вижу — Маруся идет по бережку. Бодрая такая, улыбается про себя. Вот остановилась у самой воды, камушек подобрала, бросила его в море. Потом на небо поглядела — и запела по-русски, но, разумеется, с райским акцентом:

Время первое было трудно мне,
А потом, поработавши с год,
За кирпичики, за веселый шум
Полюбила я этот завод...

«Не понимает, ничего не понимает...» — подумал я. Грустно мне стало, тоскливо. Вышел я из своего укрытия, подошел к ней. Она удивилась, думала — одна на всем берегу. И тут стал я убеждать Марусю, что плохо кончится ее свадьба, что коттедж ее гремучей могилой станет, что надо ей либо бежать из Рая, либо убедить островитян утопить кирпичики окаянные в бухте глубокой. Еще я о том ей толковал, что жизнью дорожить надо, поскольку жизнь — это предмет одноразового пользования; ведь помрешь — не воскреснешь. Я все это ей с таким волнением, с придыханием выложил, что почуяла наконец Маруся: неладное ждет ее в случае свадьбы. И призадумалась, головку опустила. А потом посмотрела мне в глаза и говорит:

— Кукан-тарлакан! (Это в переводе — «все равно», «до лампочки».)

— Ну что ж, это твое личное дело. Сама себя гробишь,— сказал я и вернулся к шлюпке. А Маруся в поселок пошла.

То была наша последняя встреча наедине.

16. ЧЕРНЫЕ РОЗЫ

Настал роковой день.

Коттедж из взрывчатых кирпичиков был построен. Островитяне толпились возле этого уютного многообещающего жилья, похваливали работу и стройматериал. Внутрь пока не входили: первыми туда должны были вступить Кузя с Марусей. Однако, поскольку дверей как таковых и оконных рам в Раю не водилось, интерьер был открыт для обозрения. Я тоже заглянул через дверной проем в спальню, где главенствовал мягкий двухспальный тюфяк. Но не брачное ложе интересовало меня. Я вцепился глазами в пол. В зазорах меж брусочками тола поблескивала художественная инкрустация — детонаторы и запалы. Холодок прошел по спине. Босиком-то по этим украшениям ходить еще более или менее безопасно, но ведь завтра поутру сюда гости в туфлях острокаблучных припрутся плясать... И никто из островитян беды не предвидит!.. Только нам с Кузей все ясно, но Кузя из-за неразумной любви своей — хуже слепого.

Вечером на площадке состоялся обряд бракосочетания. Весь Рай собрался, даже старики и детишки подсыпались. При всем народе королева вручила Кузе и Марусе пресловутую рыбу «флюгунш», стали они вдумчиво жевать ее, уста их встретились. В публике одобрительные возгласы, переходящие в овацию. И тут друг мой на прощанье решил порадовать аудиторию гвоздем своего репертуара. Встал на певческое возвышение и затянул свой любимый романс:

Черные розы, эмблему печали,
При встрече последней тебе я принес...

Он его до конца, слово в слово, исполнил. С чувством пел, с надрывом. Мне даже не по себе стало. И островитян проняло. Смысла, конечно, не понять им было, но надрыв-то, надрыв до них дошел. Понури-

лись, скуксились, у многих слезы потекли. Плачут — и сами дивятся, что это с ними происходит, что это за соленая водица из глаз выделяется. Ведь никто из них в жизни своей ни разу не плакал.

Тем временем у края площадки на цветочных часах темный цветок раскрылся. И пошли счастливые новобрачные свою райскую жилплощадь осваивать. А все прочие слезы утерли, успокоились — и айда по домам. Ведь утром им предстояло встать пораньше и идти поздравлять молодоженов.

А я направился к шлюпке. С трудом, но доволок ее до водной поверхности. Потом принес пищевой запас, распределил его по боковым ящикам. Затем взял канистры из носового рундучка, сходил к ручью, наполнил их пресной водой. И вот — отчалил. Гребу, налегаю на весла, а океан спокойный, ночь лунная, берег Рая отлично виден, как на картине. И вдруг пропал берег, вопреки всем законам оптики пропал. Это, безусловно, повседневная работа «Серой рыбы» сказалась.

Меж тем ветер свежеть начал. Правда, он мне попутный был, он все дальше отжимал меня от невидимого Рая, но он все крепчал. Валики пошли по океану, небо затянуло, луна скрылась. Час шел за часом, я греб, сил не жалея, держа шлюпку кормой к волне. Ветер, опасный мой попутчик, совсем распсиховался, гнал низкие грозные тучи, выл, гудел...

Я не сразу приметил, что солнце восходит. Но это, невзирая на всю непогоду, был явный восход: впереди край горизонта посветлел, заалел. «Сейчас в Раю на цветочных часах розовый цветок, наверно, раскрылся»,— подумал я. И представилось мне, как островитяне, надев свои танцевальные туфли, идут поздравлять Кузю да Марусю...

И вдруг с той стороны, где остров, что-то полыхнуло, вспыхнуло. Потом, перекрывая шум ветра и волн, гул пронесся над океаном. Не стало Рая.

* * *

Не помню, сколько дней провел я в том плавании Наступил долгий штиль, я греб, а куда и сам не знал Потом кончилась еда, потом и личные жировые накопления иссякли. Меня подобрали добрые туземцы-рыбаки, обитатели одного экзотического (но не райского!) острова. Долго описывать, как я все-таки на мате-

рик перебрался, как потом, после долгих сложностей, на родину вернулся, в свой городок.

По возвращении поступил я на краткосрочные счетоводные курсы, потом в курортную бухгалтерию устроился. Потом женился. Потом незаметно пенсионный возраст подошел. Живу я неплохо, имею семью, пользуюсь дарами природы и кухни. А ведь мог погибнуть, если б не проявил инициативы!

17. ПОД ЗАНАВЕС

...Третьего дня опять их во сне видел. Будто приехал я в Ленинград, иду по Малому проспекту, а навстречу — престарелый мужчина. И рядом с ним — дама. Уже пожилая, но еще симпатичная. Да это же Кузя с Марусей! И говорит мне мой друг:

— Шарик, да ты, выходит, жив! А мы-то считали, что ты как удрал тогда в океан — так и погиб там.

— Я не удрал, я по разумному расчету отчалил... Но вы-то как воскресли?

— А мы и не помирали. Правда, переживания были. Утром тогда ввалились к нам в спальню поздравители, пляс затеяли... Ну, думаю, амба. Супруге своей новоявленной шепчу: «Бодрись, Марусенька, сейчас в небо загремим!» Но ничего не случилось. Видно, в Раю свои законы физики, так что взрывчатые вещества там силу теряют.

— А потом, потом? — спрашиваю Кузю.

— А потом стали мы в своем особняке жить-поживать. И начала меня тоска брать. На кой хрен, думаю, мне этот райский остров — мне родной Васильевский подавай! Уговорил Марусю. Плот соорудил. Отчалили. Нас весь Рай провожал. В конце концов, после долгих приключений и мытарств, доставил-таки жену в Питер. Тут живем и множимся. Внуки уже завелись, двойки почем зря, на радость родителям, приносят.

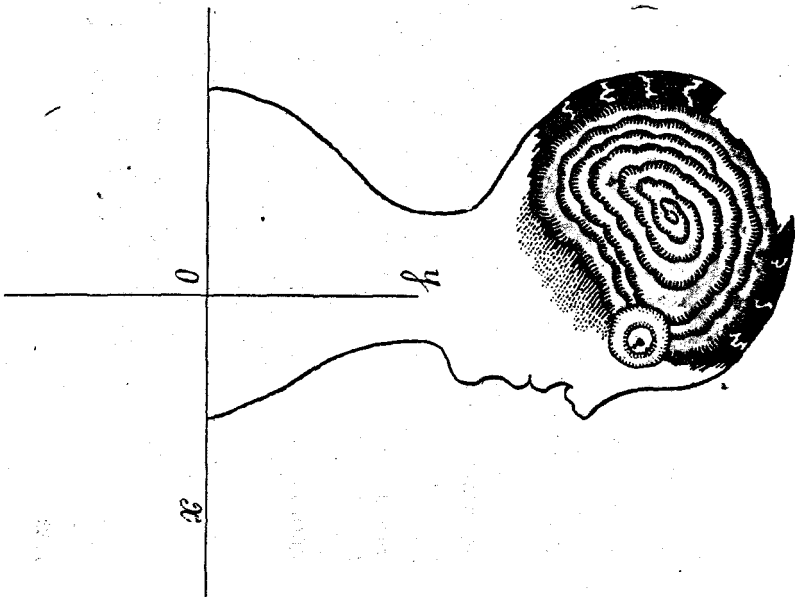
— Значит, ты счастлив, Кузя?

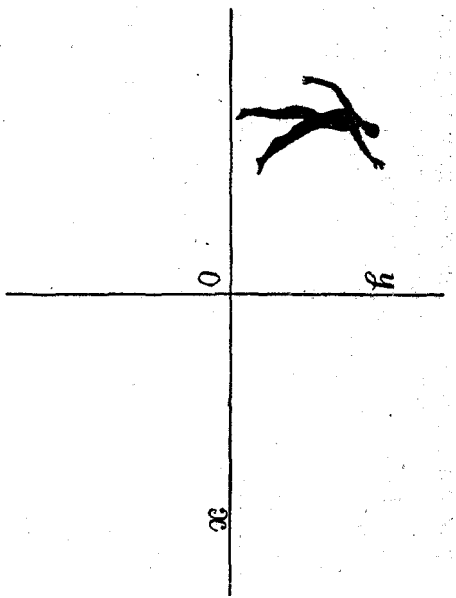
— На девяносто девять процентов. Все бы хорошо, да не тот нынче Васин остров. И подружки мои прежние куда-то подевались.

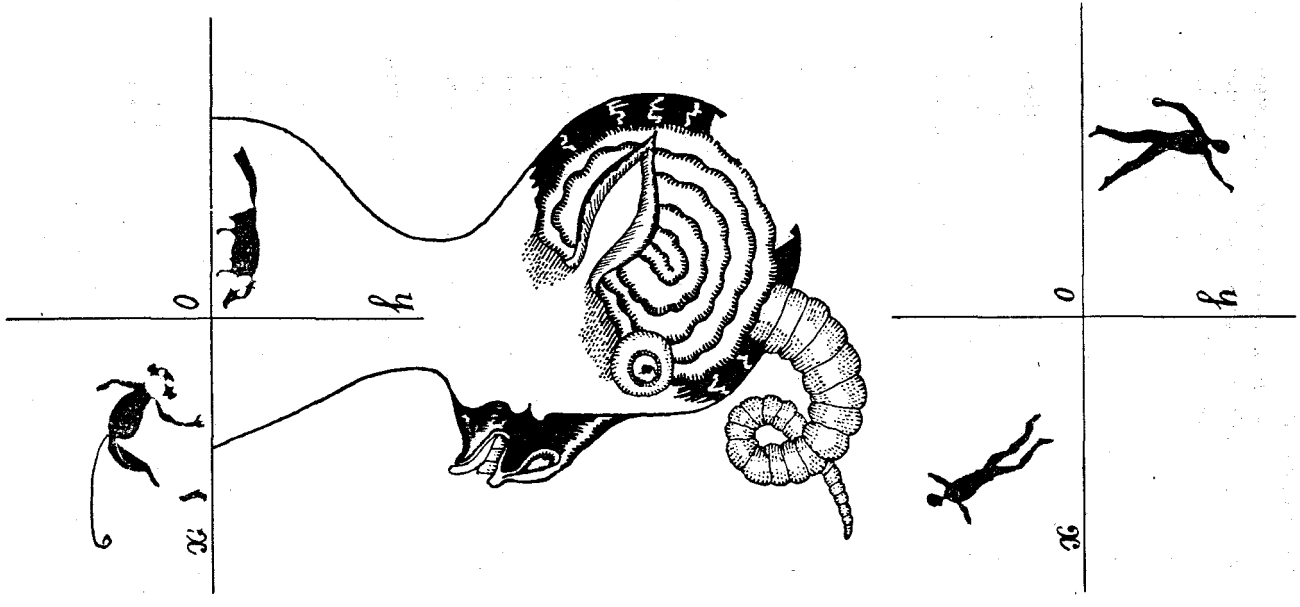
— Ты смотри у меня! — погрозила ему пальчиком Маруся, а сама улыбается. И понял я: любит она его прочно-вековечно. С тем и проснулся.

1983

Георгий Гуревич







ТАЛАНТЫ ПО ТРЕБОВАНИЮ

Повесть

Шеф сказал:

Гурий, для тебя особое задание Итанты нынче в моде, мы на острие эпохи. К нам идут толпы молодых людей, не совсем представляя, на что они идут. Надо рассказать им о нашем деле все, спокойно и объективно без восклицательных знаков.

Я воспротивился

Почему именно я? Есть Линкольн, есть Ли Сын, есть Венера, у нее одной разговорчивости на четверых Пришлите к ней корреспондентов, она за вечер надиктует им целую книгу

Гурий, не пойдет, сказал шеф твердо. Я всех вас знаю не первый день. Венера наговорит с три короба, нужного и ненужного, а Линкольн и Ли Сын будут отнекиваться. «Ах, ничего особенного. Ах, работа везде работа Ах, каждый на нашем месте» Мне не нужны каждые, нужны понимающие что в жизни за все надо платить, час за час, за час блага час труда Так вот будь добр, возьми сам диктофон и представь себе, что ты рассказываешь свою биографию, мне. или даже наблюдающему врачу, не скрывая ничего ни радостного, ни горестного, все с самого начала, точно, объективно, спокойно и откровенно

С самого начала?— переспросил я И о вашей племяннице?

Шеф поперхнулся.

Ладно, и о ней говори;— решился он.— Только переименуй На зови как-нибудь иначе: Машей, Дашей Сашей, Пашей, как угодно

Ну что ж, если нужно для дела Если нужно точно, объективно, спокойно и откровенно...

Пиши, диктофон!

© Г Гуревич, 1992

ГЛАВА 1

Все-таки случай играет большую роль в нашей жизни. Когда та странная девочка появилась в классе, не знал я, что решилась моя судьба.

Она пришла к нам в середине года, где-то в декабре, а может быть, в январе, не помню точно. Запомнилось бледное лицо на фоне очень яркой, суриком окрашенной двери, прямые светлые волосы, короткая стрижка без выдумки, взгляд нерешительный и настороженный. Новенькая замешкалась в двери: математичка ее вдавила в класс своей пышной грудью. Наши девочки вздернули носики: не соперница. Что я подумал? Ничего не подумал тогда. Или подумал, что невыразительная эта новенькая, бескрасочная, никакая. Портрет ее не стоит писать.

В ту пору я собирался стать художником, даже великим художником. Ручку не оставлял в покое; на всех уроках рисовал карикатуры на товарищей. Это было не первое мое увлечение, до того я мечтал стать путешественником. Со вздохом отказался от этой идеи, когда узнал, что все острова, мысы, бухты, речки и ручьи давным-давно нанесены на карту, еще в XX веке засняты спутниками. Путешествовать обожают все дети поголовно. Недавно одна юная четырехлетняя красотка сказала мне, что больше всего на свете она любит есть мороженое и смотреть в окно из автомашины. Естественно. она новичок на этой планете, ей нужно оглядеть всю как можно скорее. Я тоже в четыре года любил приплюснуть нос к окошку. К четырнадцати меня начала раздражать скорость. Автобус или поезд мчатся как угорелые, в самом деле, угорелые от горючего, несутся мимо прелестнейшие полянки, косогоры, озерки, болотца, рощицы, так хочется осмотреть каждый уютный уголок. Куда там? Пронесся, исчез далеко позади.

Так что я предпочитал ходить пешком, особенно охотно по глухим тропинкам, ведущим неведомо куда, радоваться, открыв какой-то рудимент дикой природы: укромный овражек, полянку, неожиданно освещенную солнцем, или безымянный заросший ряской прудик, наверняка не учтенный, невидный из космоса. И как же я огорчался, когда за поворотом появлялась надпись: «Завод синтетического мяса. Очень просим вас не заходить на территорию, чтобы не мешать работе гене-

тиков», или же, что еще хуже: «Здесь будет построен завод спортивных крыльев. Очень просим вас не заходить на территорию, чтобы не мешать работе строителей».

Таяли реликты дикой природы, превращались в «территории». В прошлом тысячелетии шел этот процесс, продолжается и в нашем.

И не сразу, постепенно возникла у меня в голове величественная идея. Я — именно я — отстою дикую природу, сохраню ее для потомков. Как сохраню? На бумаге. Рисовать мне нравилось, я часто рисовал, чтобы прочувствовать как следует, пейзаж, скалу, дерево, кочки, цветочки. Пешеход скользит глазом почти как пассажир у окна: «Ах дуб? Ах, какой раскидистый дуб!» И пошел дальше. Рисующий же должен разглядеть каждую ветку, каждую морщинку на стволе, вдосталь насладиться могутностью и раскидистостью. Вот я и нарисую и сохраню, обойду все берега, все леса, все горы, все страны, составлю тысячу альбомов «Живописная наша планета». А потомки, набравшись когда-нибудь мудрости и пожелавши снова превратить территорию в природу, восстановят по моим рисункам все берега, все леса..

Осталось немного: стать взрослым и стать художником.

Но придет время, и я — взрослый художник — выйду из дома для кругосветного обзора. Я даже составил маршрут: из города на север, на Верхнюю Волгу, Селигер, Ильмень, Ладогу, по берегу моря вокруг всей Европы с заходом в большие реки, по рекам поднимусь в горы, потом... Очень приятно было разрисовывать географический атлас.

Впрочем, все это разговор в сторону. Художником я так и не стал. Но собирался. Альбома не выпускал из рук. И это очень мешало мне внимательно слушать объяснение математички. Школа-то у нас была обычная, без специального уклона; главным предметом, как и полагается в старших классах, было жизневедение — общее знакомство с делами человеческими, чтобы мы могли сознательно выбрать работу. Изучали мы и геотехнологию — проектирование гор и морей, и генотехнологию — проектирование растений и животных, и гомотехнологию — для выращивания утерянных рук, ног и глаз, и астротехнологию — космическое строительство. Но все эти технологии проходились бегло, а ма-

тематичка, глубоко уверенная в превосходстве своей науки, внушала нам, что подлинная наука начинается с числа И исчисление было главным предметом в нашем классе. А вот мне — любителю формы и цвета числа казались на редкость бессмысленными. Что такое икс и игрек? Все и ничто Не нарисуешь, не пощупаешь, ни вкуса, ни аромата. Так что не внимал я и не хотелось внимать. И на каждом уроке начинались переживания:

Гурий, к доске. Гурий, я понимаю, что тебе тяжело, это муч-ч-чительная задача (так она произносила — через три «ч»). Но надо напрячь умственные способности.

Что-то не напрягаются,— легко сдавался я.— Муч-ч-чительная задача.

Но прояви же характер, Гурий. Ты же мужчина. Есть у тебя мужской характер?

Я кряхтел и краснел. Не мог же я объявить, что у меня нет мужского характера.

И тут выскакивала любимица математички — рыжая Стелла.

— Можно, я попробую, Дель-Финна (Делия Финогеновна на самом деле).

Ох уж эта рыжая Стелла, белокожая и веснушчатая, первая ученица и первый математик класса! Как она у нас верховодила, как распоряжалась! И все слушали ее, и все мальчишки были влюблены, потому что у мальчишек в этом возрасте стадное чувство. Один вздыхает, и все прочие заражаются. А я? Мне Стелла решительно не нравилась, я считал ее нескромной и деспотичной, но почему-то всегда замечал, когда она входила в класс. Спиной стоял, но чувствовал.

Стелла верховодила, а вместе с ней и ее подружки. Наш класс был девчоночий. Так бывает, хотя в школах всегда распределяют поровну: десять мальчиков и десять девочек. Но вот в нашем классе девочки были дружны, едины, а мальчики разрозненны. Кто увлекался спортом, кто техникой, я единственный рисовал и бродил по лесам в одиночку, а со мной никто не хотел бродить, презирали пеший способ передвижения. И все мы разбегались по домам после уроков, а девочки держались вместе — вся десятка.

И вот появилась одиннадцатая, нечетная.

Познакомьтесь, сказала математичка, подтал-

кивая новенькую.— Это Маша, ваша новая подруга. Примите ее гостеприимно.

Стелла тут же распорядилась:

Маша, вот свободное место рядом с тем мальчиком, его зовут Буба. Садись, не бойся, он безобидный

Стелла знала, конечно, что и румяный толстяк Буба влюблен в нее Усадила ненужную девочку к ненужному мальчику.

А с кем я сидел тогда? Не помню. Один, вероятно. Так удобнее было рисовать на уроках.

Новенькая так и не вписалась в класс. Вообще вела себя странновато. Обычно сидела сгорбившись, возле своего Бубы, с затравленным видом пойманного зайчонка. Когда вызывали к доске, бледнела, покрывалась красными пятнами и бормотала что-то невнятное, а чаще тупо молчала, кривила рот жалостливо, и такой глупый вид был у нее, такой потерянный. Я даже жестоко подумал однажды: «Неужели кто-нибудь влюбится в такую дуреху?»

Но на каких-то уроках она вдруг оживала, задавала кучу вопросов из категории детских «почему?», наивных и мудрых, из тех, на которые нет ответа и потому не принято спрашивать. А однажды на уроке географии Маша поразила всех, нарисовав по памяти карту Африки со всеми странами. Впрочем, назвать их она не сумела, перепутала Замбию и Зимбабве.

Все это было весной. А потом были каникулы, и мы родителями летали в Индонезию Вот где я нарисовался-то Конечно, привезли мы и киноленты, и стереослайды, но вся эта роскошная техника для меня не заменяет рисования. Рисуя, смакуешь красоту, всматриваешься, вчитываешься в каждый листок-лепесток. Ездок — это грубый едок, пожиратель ландшафтов, а художник — гурман, дегустатор красоты. Он не глотает, а пробует, не насыщается, а наслаждается.

К сожалению, должен признаться, что дегустатором я оказался эгоистичным. Сам наслаждался, другим наслаждения не доставил. Видеть-то видел, изобразить не сумел. Художники острят: «Живопись — дело простейшее. Нужно только нужную краску положить на нужное место». Именно это у меня не получалось: не ложились краски куда следует.

Так или иначе каникулы миновали, вернулись мы в класс. Еще в коридоре, услышав звонкий голос Стеллы, я вздрогнул. А незаметную Машу не заметил. По-

том уже, когда к доске вызвали, обнаружил: сидит на задней парте рядом с Бубой. Еще в голове мелькнуло: «Порозовела за лето, не такая уж бескровная». Впрочем, все свежеют за лето.

И все. И Стелла ее заглушила. А кипятилась Стелла по поводу очередного матча математиков, назначенного на 1 октября.

Я на том матче не был, меня эти волнения не касались. Но знал, само собой разумеется, что наша команда заняла четвертое место, уступив только спецшколам. Почетно, но не блестяще. И вся загвоздка была в какой-то одной задаче, которую не смогла решить даже Стелла.

Вот на ближайшем уроке наша Дель-Финна объявляет:

— Я понимаю, что это муч-ч-чительная задача, но преодолеть ее надо было. Ну, девочки, кто из вас самый храбрый, кто решится помуч-ч-читься у доски?

К девочкам обращается. Про мальчиков и не вспоминает.

Все смотрят на Стеллу, все мнутся, а Стелла не поднимает глаз, ей тоже не хочется стоять у доски с глупым видом, ловить наводящую подсказку.

И тут поднимает руку Маша, бело-розовая тихоня.

Выходит... и решает.

Математичка смотрит на нее с недоумением и подозрением. Про себя, наверное, думает, что не велик труд найти среди знакомых опытного математика. Дает Маше другую задачу.

Маша решает.

Третью — еще труднее.

Решает.

— Ну что же, — цедит математичка с сомнением. — Я вижу, ты не теряла времени даром. Это похвально. Но совсем не похвально, что ты не приняла участие в классном мероприятии. Могла бы поддержать школу, а ты уклонилась. Не по-товарищески, девочка, так у нас не принято поступать. Подумай на досуге.

Как улей перед вылетом матки, гудел наш класс на перемене, и всех перекрывал возмущенный голос Стеллы:

— Да, именно не по-товарищески, хорошие люди так не поступят. «Я сама подготовлюсь, я себя покажу, а на класс наплевать». Ну и пускай. Мы ей неинтересны, а она неинтересна нам. Не будем с ней разговаривать.

И ребята пусть не разговаривают. Слышите, мальчики? Буба, ты садись со мной, перебирайся сразу же, на следующий урок.

Сейчас-то, много лет спустя, вспоминая ту школьную трагедию, думаю, что не товарищеские чувства защищала принципиальная Стелла. То есть, конечно, она искренне возмущалась, но подсознательно отстаивала свое лидерство. Да, один раз ее превзошли, но случайно и только потому, что она-то хорошая, а соперница плохая. И подружки тут же поддержали ее, тем самым зачисляя себя в когорту хороших, неизмеримо превосходящих чужачку.

Да, нелегко вытравливается из сознания жажда превосходства.

Может быть, это была форма инстинктивного кокетства: «Смотрите, мальчики, какие мы хорошие!»

И ребята путь не разговаривают с ней,— распорядилась Стелла.

Так вот я не послушался. Спорить не стал, а Стеллу не поддержал. В ту пору я уважал людей с собственным мнением и сам старался иметь свое. Никто в классе не бродил по лесам с этюдником, а я бродил, мне это нравилось. Сверстники мои курили, чтобы показать свою взрослость и независимость, а я не курил, мне табачный дым казался невкусным. И не было у меня оснований обижаться на Машу-тихоню. Не хотела участвовать в матче, это ее дело. Я сам не участвовал. У каждого свое мнение.

Но не могу ручаться, что я рассуждал бы так же, если бы Стелла не Бубу, а меня посадила на свою парту. Очень боюсь, что тогда я не был бы таким самостоятельным и принципиальным.

Но так или иначе, когда Маша спросила у Бубы, что задано на завтра, а Буба отвернулся, надув щеки, я подошел к недоуменно озиравшейся девочке и громко продиктовал ей параграфы.

Стелла пыталась назавтра сделать мне выговор. Я ее послал подальше со всей мальчишеской грубостью.

Даже удивительно, сколько я написал об этой напористой девице. А она никакой, ну совершенно никакой роли не сыграла в моей жизни. И после школы мы не виделись. Знаю, что математику она забросила, вышла замуж за подводного агронома, живет где-то на дне Тихого океана.

А вот с Машей у нас пошла дружба с того самого дня, может быть, сначала и вынужденная с ее стороны, потому что другие девочки с ней не разговаривали недели две. Я консультировал мою «невыразительную», иногда мы вместе делали задания, я чертил за нее, а она мне решала геометрию с тригонометрией. До дому я ее провожал, пешком. В угоду мне Маша не надевала авторолики. И странное дело: все больше мне нравилась эта бывшая невыразительная. Так ласково она смотрела мне в глаза. Когда я чертил, она стояла сзади,— я ощущал на затылке ее дыхание,— и осторожно кончиками пальцев приглаживала мои вихры. Вот и сейчас помню это нежное прикосновение. Она мне подарила и первый поцелуй, сама поцеловала на крылечке. Несся я домой тогда одуревший, головой поматывал, в себя прийти не мог. И все губу пальцами ощупывал: тут поцеловала!

Как это получается? Полгода не замечал, и вдруг любовь?

Ненастоящая любовь?

Часто в жизни я слышал рассуждения о любви ненастоящей и настоящей, не зная между ними четкой границы. Один добрый друг объяснял мне так: если девушка кажется тебе в мыслях красивее, чем наяву, значит, это не любовь, а воображение Не знаю, не знаю. Мне Маша иной раз казалась некрасивой, бледной, болезненной, но тогда я испытывал еще больше нежности. Такая хрупкая, такая слабенькая, так хочется ее приголубить, успокоить, на руки взять, к сердцу прижать.

Ты очень добрый,— уверяла она.

Я возражал со всей мальчишеской суровостью Доброта казалась мне немужественной. Не добряк я; я крепкий, я снисходительно жалею заморышей, я им помогаю. Обязан помогать

Так прошел год, класс предпоследний. Дело шло уже к выпуску, к выбору профессии. А я все чертил за Машу, а она за меня решала задачи. Но постепенно дошло до меня, что с детством этим пора кончать, попросил ее позаниматься со мной всерьез.

Маша почему-то смутилась:

Но я совсем не умею объяснять, Гурик. Я чувствую, как надо решать, но не расскажу.

Между прочим, Гурик это тоже я. Вообще-то у меня серьезное имя, но девочкам обязательно надо одомашнить, тигра превратить в котеночка, Льва в Левушку

Маша, но как же понимать без объяснений? Я не умею думать печенкой.

— Хорошо, я поговорю с дядей.

— При чем тут дядя? Я не хочу репетитора, меня бы только направить. Если ты не хочешь, пойду на поклон к Дель-Финне.

— Видишь ли, дяде разрешили открыть специальную школу.

— Да не хочу я во вторую школу. Мне бы в пределах обязательной программы.

Маша помялась, опустила глаза, покраснела.

— Гурик, мы с тобой друзья, правда же, настоящие друзья? Обещай мне, дай честное слово никому не говорить в классе, никому в нашей школе, никому-никому не открывать тайну. Если ты разболтаешь, мне придется уйти немедленно, уехать в другой город.

Я дал слово, я даже держал его, пока тайну не опубликовали в печати, по радио и телевидению.

Итак, дядя Маши, известный психобиолог, работал над проблемой ограниченности человеческих способностей. Ученые знали, давно уже было установлено, что мозг наш растет лет до шестнадцати. Знали, что крысы (да-с, крысы!), у которых рост мозга продлевали искусственно, проявляли особенную сообразительность, быстрее всех закрепляли условные рефлексы. Машин дядя перенес опыты на собак, потом на шимпанзе (его обезьяна научилась читать и считать, только разговаривать не могла, объяснялась жестами). Но на людях ставить опыты не решались, не полагается ставить опыты на людях, а ЭВМ ничего не давали, все-таки машина только модель человека. И вот помогло несчастье. Маша племянница, единственная дочка сестры ученого, переболевшая в раннем детстве, отстала в развитии, вообще училась с трудом, ей угрожала грустная судьба не очень полноценного человека. И, проспорив и проплакав полгода, Машина мама решилась доверить свое чадо уважаемому знаменитому мудрому брату, высшему авторитету семейства, единственному свету в окошке. Опыт был поставлен, Маше ускорили и продлили рост мозга. Результаты я видел. Немножко странноватая, но, в общем, достаточно способная девочка с выдающейся памятью и чутьем. Во всяком случае, она сумела обойти наши математические звезды.

Потом было еще несколько опытов на добровольцах, все удачные, даже более чем удачные. Из лабора-

тории Машиного дяди вышли не просто нормальные, а даже очень талантливые люди — блестящие математики и музыканты — выбирались профессии, где чаще всего бывают вундеркинды, где сумма знаний не очень велика и основное — способности и умение. И вот теперь решено было организовать целую школу «итантов» (искусственных талантов). Маша и предлагала мне поговорить с дядей, не согласится ли он зачислить меня, чтобы срочно «вырастить» любовь к математике.

Еще одна школа? Ну нет, хватит с меня обязательных занятий, обязательного труда, обязательных экскурсий, обязательного спорта. Свободное время хочу. Величайшая ценность нашей эпохи — свободное время. Время мне нужно, чтобы с альбомом в руках рассматривать кору и кроны, листочки и лепесточки, вышагивать километры по заросшим тропинкам. Не хочу урезать мои драгоценные собственные часы.

— Категорически нет! — сказал я.

И, возвращаясь домой, сердито твердил себе:

— Нет и нет! Не хочу урезать, не буду отнимать.

Машу тревожило другое:

— Ты не разлюбил меня? Ты не разлюбишь?

— Нет и нет, — повторял я сто раз подряд. Но где-то на полпути к дому задумался: «Добавочный талант, может быть, это не так скверно? Кто я сегодня? Обычный парень, каких двенадцать на дюжину, русый, лохматый, конопатый, среднего роста, средних способностей, без особых склонностей, плыву себе по течению, куда выплыву, сам не знаю. Люблю природу, рисовать люблю, но перышком, с красками так и не справился. А в нашу эпоху фотокиноголостерео вообще кропать перышком не принято. Надо изображать свое впечатление, цветозвукоароматическое. Попрошу себе талант впечатлительности. Вообще какой-нибудь талант. Пассивная у меня натура, созерцательная, хочу творческую.

— Маша, я передумал. Поговори со своим дядей.

И дядя согласился. Труднее было с моими родителями — и с матерью и с отцом.

Отец сомневался, говорил: «Рискованно». Мать криком кричала: «Ни в коем случае! Через мой труп. Вивисекция запрещена еще в прошлом тысячелетии. Пусть ставят опыты на мышах или на своих детях!»

Я чуть не сказал: «Уже!»

— Задурили голову ребенку,— кричала мать.— Я буду жаловаться. Я до Всемирного Совета дойду.

— Я уже не ребенок,— возражал я.— Мне семнадцать будет в декабре.

— Вот когда будет двадцать один...

— Тогда поздно. Голова перестает расти в шестнадцать. Своевременно надо включать гормоны.

Я убеждал, отец сопротивлялся, мать кричала и плакала, воздевая руки к небу. Но в конечном итоге я настоял на своем. Как настоял? Обидел родителей. Обидел их, признаюсь со стыдом.

— Вы поглядите на меня,— сказал я,— средний парень, каких двенадцать на дюжину, русый, лохматый, конопатый, среднего роста, средних способностей, натура пассивная, созерцательная, без тяги к творчеству. Какие вы мне выдали гены? Самые заурядные, самые распосредственные. Я не желаю быть рабом генов, пожизненным узником вашей наследственности. Не мешайте мне освободиться от генетических цепей.

И пронял. Мать еще всхлипывала, а отец смолк, загрустил, сложил руки на коленях, уставился в пол.

— Возразить нечего,— вздохнул наконец.— В древних книгах говорилось: «И будешь ты проклят до седьмого колена». Возможно, наследственность подразумевалась. Верно, не блестящие у тебя гены, не знаю, от которого колена. Ну что ж, освобождайся, сбрасывай цепи. Но уверен ли ты, что не нашлешь проклятие на своих потомков, испортив их гены?

— Если испорчу, исправят,— сказал я с юной бесшабашностью.

ГЛАВА 2

Школа итантов. Школа как школа: классы, в классах, конечно, столы, а не парты, на каждом справа пульт и дисплей, на стенах экраны, экраны. «Друзья, посмотрите направо, друзья, посмотрите налево, друзья, посмотрите наверх». На кафедре лектор с указкой, урок 45 минут, перемена — 10, в соответствии со средней восприимчивостью. На всей планете так.

Единственное отличие: каждую субботу инъекция. Вводится в кровь кубик раствора ростового вещества. И мозги продолжают расти; образуются новые нейроны и ганглии. Предстоит наполнить их талантом.

Каким? И какие бывают таланты вообще?

Мы говорим о человеке: талантливый художник, талантливый математик, талантливый хирург, механик, философ. Разные таланты, разные мозги. Чем-то различаются мозги художника, математика, хирурга, механика, философа. Не только содержанием, но и строением. Природные способности были какие-то. И вместе с тем едва ли природа конструировала заранее художественные или хирургические мозги.

Надо разобраться.

Работе мозга была посвящена вступительная лекция в школе итантов.

Мозг — это орган, задача которого обрабатывать информацию и на основе ее руководить действиями.

Информация — обработка — действие! Три этапа.

Информация приходит извне — через глаза, уши, нос, кожу — и изпутри: голоден, болен, устал.

Мозг приступает к обработке. В ней тоже три этапа — понимание — оценка — решение. Природа отрабатывала их механизмы сотни миллионов лет, исправляла, добавляла, дублировала для надежности. Даже понимание у нас двойное: образное и словесное. Образ: «Знакомое лицо, где я его видел?» Слова: «Ах! Да это же дядя Ваня!»

Чтобы произнести это опознающее «ах», нужно иметь в мозгу громадный архив, картотеку знакомых лиц, проще говоря — память. С картотекой этой и сличается информация, и если она новая, важная и повторяющаяся — закладывается «на длительное хранение».

Понимание — только первый этап обработки. Опознанную информацию нужно еще оценить — хороший человек дядя Ваня или прескверный? Обнимать его или обходить сторонкой? Оценка тоже ведется по двум критериям: эмоциональному и рассудочному. Эмоциональный: «приятно — неприятно», рассудочный: «полезно — вредно, нужно — не нужно».

Оценили. Можно действовать?

Нет. Еще рано. Предстоит выбор. Информации много, и много побуждений: сильные и слабые. Есть мотивы биологические: голод, страх, размножение. Есть мотивы психологические и мотивы социальные: обещал, обязан, полезно, выгодно, необходимо, почетно, стыдно. Все это надо подытожить, вообразить правой половиной мозга, обсудить левой. И принять решение. Чем больше мотивов, тем труднее решить. Решительность — тоже талант.

Наконец решение принято. Остается выполнить его. За последний этап отвечает воля, отсекающая новые мотивы, новые решения, слабость и усталость. Конечно, еще и силы нужны и умение — возможность осуществить.

Информация — опознание оценка решительность — воля силы и умение. Конечно, все эти качества развиты у разных людей по-разному, есть слабые звенья, есть сильные. Для одной специальности важен один набор, для другой совсем иной. Талантливому художнику требуется изощренное зрение, талантливый музыкант может быть и слепым.

Итак, набор необходимых качеств. Как развивать именно необходимые?

О принципах развития таланта споры в науке шли лет десять, еще до создания школы итантов. Предлагались два: в просторечии их называли «диетический» и «гастрономический». Первый экономный, но сложнее, второй расточительнее, но проще. При научной диете вы даете организму полезные ему вещества, при гастрономической вкусно кормите до отвала, предлагая пищеварению самому отобрать нужное и ненужное.

В данном случае речь шла о кормлении мозга.

Так вот, от диетического метода, экономного и рационального, пришлось отказаться. Для него следовало бы знать больше и гораздо больше уметь. Допустим, взялись мы создать талантливого музыканта. Музыканту нужен особо чувствительный слух, особая отзывчивость эмоций на музыкальные образы, изощренная оперативная память, надежная, долговременная, четкое чувство времени биологические часы, гибкость и проворство пальцев. Но где в мозгу образная эмоциональность? Где долговременная память? Возможно, они разлиты по всему мозгу. Насчет слуха известно точно, он сосредоточен в височной области. Но как при росте мозга развивать именно височную область?

Волей-неволей наука склонилась к «гастрономическому» методу. Желудок сам разбирается, и мозг сам разберется. Будем его растить и тренировать по доброму старому принципу Ламарка: что упражняется, то и развивается.

К тому и свелось учение в школе итантов: раз в неделю инъекция и всю неделю математика.

Выше я говорил, что в математике и музыке чаще всего бывают вундеркинды, здесь более всего значит прирожденный талант. Но когда я приступал к учению, человечеству требовались именно математики, не музыканты... и не художники, к моему огорчению.

Первый месяц был самым трудным. Попал я из огня да в полымя. Четыре часа ежедневно до глубокой ночи терзали меня иксы и игреки, безликие, неопределенные, лица́ не имеющие, все выражающие, ничего не выражающие, да еще их друзья дельта-иксы и дельта-игреки, стремящиеся к нулю, не доходящие до нуля, миниатюрные, меньше любой наперед заданной величины, но производящие производную, которая может быть даже и бесконечной.

Муч-ч-чительнейшая задача.

Впрочем, в отличие от Дель-Финны здешний профессор не считал ее мучительной. Маленький, круглоголовый, оживленный, он все твердил нам, улыбаясь:

— Нет, это нетрудно, совсем нетрудно. Чтобы дифференцировать, нужны пальцы, только альцы (и он прищелкивал пальцами для убедительности, чтобы показать, как это все легко дается). Даже и для интегралов потребуется одна лишь память, исключительно хорошая память. Вот когда мы перейдем к интегральным уравнениям, там уже напрягайте мозги.

И я с ужасом думал, что тогда мне придется уйти. Плакали мои нерожденные таланты.

Второй основной предмет был для меня куда легче. Назывался он «Связи». На самом деле нас просто учили думать, тренировали на рассуждение.

— Назовите слово, первое попавшееся, что пришло в голову.

— Например, человек.

— Прошлое — настоящее — будущее.

— Ребенок — взрослый — старик.

— А почему так? Почему человек не рождается сразу взрослым?

— Само собой разумеется. Как же иначе?

— Но ведь бабочка-то рождается взрослой. Бывает же иначе.

— Еще связи. По сходству.

— Человек — обезьяна.

— По несходству?

Учили нас логике формальной: «Иван — человек. Все люди смертны, значит, Иван смертен». Учили

и диалектическому: «Человек смертен, но человек бессмертен в своем потомстве».

Этим я занимался с удовольствием. Это шло легко.

Заскучавших читателей утешаю: я не просто перечисляю программу, я говорю о программе, которая сработает своевременно.

Математика — связи — инъекции раз в неделю. И росли и росли в голове у нас новообретенные клетки, росли и алчно жаждали наполнения. Мы ощутили это как возвращение детства. Мир стал удивительно любопытным, все лезло в глаза и все требовало объяснения. Хотелось останавливать на улице прохожих и спрашивать: «Это что?», «А как называется?», «А как вас зовут?», «И куда вы идете?», «А зачем?». Но поскольку нас-то пичкали почти исключительно иксами и дельта-иксами, волей-неволей «отчего», «для чего», «почему» направлялись на иксы и дельта-иксы.

И безликие, бесформенные, ничего не выражающие и все выражающие неожиданно приобрели смысл и даже облик. Оказалось — а в школе я почему-то пропустил это мимо ушей,— что каждое уравнение можно изобразить, нарисовать на бумаге, получится прямая линия, или кривая, или ломаная, круг, эллипс, спираль, завиток, цветок... даже похожий на анютины глазки. Оказалось, что можно нарисовать какую угодно загогулину и вывести ее формулу. Можно написать какую угодно формулу, взять с потолка и получить ее портрет. И мы — мои товарищи и я — забавлялись, черкая каракули на бумаге и соревнуясь, кто быстрее выразит их буквами.

Потом до меня дошло, наверное, и это толковала нам Дель-Финна, только я не слушал ее, изображая ее головку редиской с жиденьким пучком на макушке,— дошло, что все эти бесцветные, безликие имеют смысл, физический, технический или житейский. Кривая — это движение или процесс, причем любой: плавление или охлаждение, рост населения, прыжок с парашютом. Наклон — его скорость, производная — ускорение или же замедление, вторая производная — ускорение ускорения, изменение изменения. Два корня — два решения, три корня — три решения. Мнимые корни — решения невозможные... или же непонятные. Вот есть же смысл у мнимой скорости. Две причины — два измерения, график на плоскости; три причины — три измерения,

объемная диаграмма. А как быть с четырьмя причинами? Увы, графика пасует, идет чистая алгебра.

Если похожи формулы, похожи и процессы. Сходны формулы тяготения и электростатики. Что общего между ними? Сходны движения в атмосфере и в магнитном поле. Что общего между магнитом и ветром? Вот так возникал у меня интерес к математике. От формы к формуле, от процесса к вычислению. Процесс есть в природе, а уравнение не решается. Почему? С какой стати?! Атаковать! Неужели не одолею?

А голова свежая, жадная, голова думать хочет.

И одолеваю.

Постепенно пришло мастерство. Мы научились распознавать уравнения, как опытный врач — это я предполагаю: лечился, но не лечил — распознает болезнь Встречалось такое в практике, знаем подход. Выдавали нам подобные задачи металлурги — теперь дают строители. Но мы справлялись уже. Есть тут загвоздка... мучительная... для новичков. А у нас на ту хитрость своя хитрость.

И познали мы радость победы над крючкотворством иксов-игреков, научились укладывать их на обе лопатки, гордились победой, и не простой, а красивой победой. А что такое красивое решение в математике? Да примерно то же, что красивая комбинация в шахматах. Не долгое, мучительное дожимание предпочтительной позиции, использование преимущества двух слонов против двух коней, а внезапная жертва жертва — жертва, шах и мат в три хода.

Неожиданность и простота — в том краса математики.

И в физике - простой и ясный закон.

Почему простота для нас красива? Думаю, что это чисто человеческая черта. Природа-то сложна невероятно, но мы жаждем простоты, мы радуемся простоте — неожиданной легкости.

Так вот научились мы — итанты,— глядя на уравнение, ощущать эту возможность легкого пути. Научились не одновременно — способные быстрее, средние позже, а я в числе последних. Но подогнал. И выпустили нас всех одновременно — 16 парней и 6 девушек — первый выпуск, первая наша команда, когорта искусственно талантливых Поименно:

Лючия, Тамара, Дхоти, Камилла, Венера, Джой, Семен, Симеон, Али, Перес, Ваня, Вася, Ли Сын, Линкольн, Ли просто, Нгуенг, Мбомбе, Хуан, Махмуд, Артур Большой, Артур Маленький и я двадцать второй.

А Маша? спросите меня, конечно.

Маша, представьте себе, не захотела пойти в школу талантов. Я недоумевал, уговаривал, упрашивал, обижался и возмущался. Маша оправдывалась как-то уклончиво, ссылаясь на головные боли и советы врачей, на то, что она не нашла себя, хочет еще искать. Я говорил: «Если не нашла себя, зачем же отказываться от добавочных талантов, талант пригодится везде» Я говорил: «Мы же любим друг друга, если любишь, надо быть вместе, использовать каждую возможность»

Мы обязательно будем вместе,— уверяла Маша и нежно целовала меня, чуть прикасаясь, гладила теплыми губами. Ты только не сердись на меня, Гурик. Не будешь сердиться, хорошо? Я не выношу, когда ты сердитый.

Я таял и обещал не сердиться.

А пошла Маша, к моему удивлению, в спорт. И стала тренером по художественной гимнастике. Самый женственный вид спорта. И сравнительно скоро, меньше, чем через год, вышла замуж за другого тренера по прыжкам в длину, мастера прыгучести. Я узнал об этом в командировке на Луне (об этом речь пойдет дальше), я кипел, я рычал, я лелеял планы отмщения. Но прежде надо было дождаться конца командировки и вернуться на Землю. Меня ждала записка, странная записка от Маши, сумбурная и невнятная, где были просьбы о прощении, и уверения в искренней любви, и ссылки на необходимую заботу о здоровье своем и будущих детей И почему-то меня утешило, что Маша любила меня, хотя и вышла замуж за другого.

Много позже, не сразу, перечитывая и перечитывая эту записку, я понял логику ее поведения, подсознательную, а может быть, и сознательную. Маша с детства была больной девочкой, отсталой, слабенькой, и ей страстно хотелось быть нормальной, такой, как все, абсолютно обыкновенной, стать обыкновенной женой и родить нормального здорового ребенка. У нее вызывали опасения даже привитые ей сверхспособности, она решила не развивать их, не использовать, выбрала

спортивную профессию, чтобы закалять и укреплять свое нормальное женское тело, предназначенное для рождения нормального ребенка. И мужа предпочла нормального, не перенасыщенного инъекциями ради дополнительных талантов.

Так что ее решение пришло от ума, а не от сердца. Именно это меня утешило.

ГЛАВА 3

Первый наш выпуск был математический и не только потому, что так удобнее было для школы талантов. Математики требовались срочно и в большом числе для обслуживания «проекта — Луна».

Что такое «проект — Луна» и зачем он нужен, в наше время никому объяснять не нужно, но пока я учился в школе, шла яростная дискуссия, нужна ли нам Луна, вообще следует ли людям покидать Землю и выходить в космос. И были публицисты и даже ученые, которые с пафосом доказывали, что проект вреден и опасен, он оторвет умственный труд от физического, лишит науку и искусство живительной связи с мазутом и угольной пылью, детей разобщит с отцами, разрушит брак и нанесет неисправимый ущерб морали. Вообще земной человек рожден для Земли, счастлив может быть только на Земле, за ее пределами «расчеловечится».

Вот уже и третье тысячелетие идет, а все не переводятся люди, боящиеся перемен, любых, всяческих.

Отчасти, может быть, они и правы. Любая перемена что-то дает и что-то отнимает. Если вы сожгли дерево в печке, вы отогрелись, но дерево-то спалили. Вот ученые и взвешивали: Луна или не Луна? Но логика истории настойчиво уводила их в космические дали.

Еще в XVIII веке, как только зародилась промышленность, наметилось разделение жилья и заводов. Где строили их? На окраинах города, за пределами городских стен. Естественно, только за стенами были свободные земли. Но и на окраинах заводы дымили, отравляли городской воздух желтым сернистым газом, черными угольными клубами, бесцветным угаром, всякой химией и радиоактивностью. И в XX веке горожане начали отгораживаться от заводских труб зеленой зоной, потом стали создавать целые бездымные области — курортные, лесные, предгорные, столичные. Все равно отрава спускалась в реки — плевали мы в колод-

цы, откуда пить собирались. И все равно газы, дым, пыль и тепло выбрасывали в атмосферу; воняли, извините за выражение, вонью потом дышали. И грели, грели, грели воздух, грели суда, поезда, трактора, грузовики и авторолики, грела каждая печь и каждая градирня, каждый двигатель и каждый электроприбор. Атмосфера изнемогала от промышленного тепла, не успевала остывать по ночам. И портился климат, редели мои возлюбленные леса, ползли к полюсам пустыни и сухие пески. Надо было куда-то выносить промышленность.

А куда? В космос, куда же еще...

Строить космические города предлагал еще Циолковский. В XX веке их начали сооружать, и именно по схеме Константина Эдуардовича: город-колесо или город-труба, вращающиеся вокруг оси, диаметром километра в полтора. Именно так и выглядят ныне существующие КЭЦ, Королев, Гагарин, О'Нил и другие — десятка полтора, плавающие в эфире. Посещать приходилось их неоднократно, и мы, приезжие, были не в восторге. На ободе — нормальный вес, а на оси невесомость. Перемещаться туда и обратно неудобно, так что практически середина пропадает; там перепутанные чащи несусветных растений, арбуз не арбуз, тыква не тыква, как у Гоголя на заколдованном месте. Вся жилая зона и вся рабочая — у поверхности, на ободе, где всего опаснее метеориты. Чтобы обезопаситься от них, обод одевают стеклянной шубой метровой толщины. Но толстенные стекла худо пропускают солнечные лучи, так что практически, несмотря на прозрачные полы, дневного света все равно нет. Всюду лампы и лампы, 16 часов горят, потом на 8 часов их гасят. И лично меня просто угнетали эти кривые, уходящие под потолок коридоры или цеха с наклонными полами — так и кажется, что дальние станки уже ползут на тебя, вот-вот обрушатся. Впрочем, старожилы к этой кривизне привыкли, не в эстетике суть. Было три серьезных возражения о переносе промышленности в космос. Первое: города неизбежно ограничены в размерах — на них помещается два-три крупных завода, один комбинат. Расставлять же спутники надо пошире, чтобы избежать опасности столкновения, вытягивать их цепочкой на одной орбите и вести хозяйство на всех этих разобщенных городах, как на флоте, — каждый корабль по своему маршруту. Вторая трудность — сырье. Сырье надо возить с Земли и только на ракетах. Никакие трубо-

проводы в космосе невозможны. И третья трудность пожалуй, непреодолимая,— отходы. Куда девать шлаки, обрезки, мусор, пыль, дым? Выбрасывать в пространство, дескать, места хватит? Но мусор в пространстве — это метеорный поток: смертельная опасность и для кораблей, и для тех же городов. Да, там просторно, но если тысяча заводов будут ежедневно создавать тысячу метеорных потоков...

В итоге проект «Эфирные города» был побежден «проектом Луна».

На Луне заводы не плавают, прочно стоят на месте, и нет необходимости разносить их подальше друг от друга, а наоборот, сконцентрировать в одном районе, в море Дождей, например. Все рядом — перевозки короткие.

На Луне есть какое-то сырье. Есть минералы, а в них металлы — черные и цветные.

У Луны достаточное притяжение, не надо мудрить с невесомостью. Есть притяжение, значит, дым, пыль и мусор никуда не улетят. Можно беззастенчиво выбрасывать их из труб или свозить на свалку. Будем мусорить на Диане; это невежливо, но безопасно.

И строить проще. Нет необходимости везти с Земли каждый блок. На Луне множество глубочайших пропастей, а пропасть — это почти готовые стены. В них редко залетают метеориты, а потому вместо стеклянной шубы можно перекрыть плитами.

Короче: Луна — это вторая Земля, но поменьше, а космическое пространство — нечто принципиально иное.

Конечно, все это не так простенько. На Луне другая энергетика, другие руды и минералы, другие металлургия, химия, транспорт, другая получается экономика, другие шахты, дороги, строительство. Вот все это «другое» и проектировали инженеры, а мы — свежеиспеченные математики — помогали им расчетами.

Шли к нам лунные горняки, лунные экономисты, лунные транспортники, лунные химики со своими затруднениями. Этакая трудная складывается проблема, этаким трудным выражается уравнением, как его решать, как продиктовать ЭВМ, посоветуйте, помогите. Приходили хмурые и озабоченные, запутавшиеся в сложностях специалисты, нередко опытные, немолодые специалисты, а мы, молокососы, выручали их, исцеля-

ли, потому что в школе итантов вырастили нам виденье, не только виденье, но и чутье. Мы смотрели на крючкотворное уравнение транспортников и припоминали: у штурманов, у космических навигаторов было нечто подобное, тоже многопричинность, выводящая на четвертое измерение, и тоже мнимая скорость на старте. Не совсем так, но сходно, известен подход. И мы находили корни и выписывали рецепт, выслушивали удивленную благодарность, снисходительно отклоняли похвалы: «Ах, что вы, что вы, никакого труда не стоит, и не такие преграды штурмовали». И ощущали сладкую гордость: «Вот мы какие особенные, славные рыцари, спасители беспомощных дам, попавших в плен к четырехголовому дракону четырехпричинности».

«Только не зазнавайтесь,— твердили нам наставники.— Вам привили талант, это подарок, а не заслуга. Со временем будут прививать всем желающим».

Мы старались не зазнаваться, но гордость распирала. Славно быть могучим воином в поле, хотя бы и в математическом.

Бывали и конфликты, особенно у наших лучших, у тех, кто вторгся в чистую математику — у Лючии, Семена и Симеона. Они разошлись со школой Юкавы, внесли какие-то исправления: старик заупрямился, попытался опровергнуть опровержение, наши разбили его шутя. В той дискуссии я не принимал участия, но присутствовал, и ощущение было такое, будто сижу я среди непонятливых школьников. Юкависты выступают с жаром, что-то говорят, говорят убежденно, выписывают длиннющие формулы, но мне-то ясно, что они не поняли самого начала. Не доходит до них парадокс Лючии. В фойе и в перерывах подходят к нам с возражениями, стараются переубедить. Мы объясняем, нас не слышат. Не понимают или не принимают. Заранее убеждены, что не могут их победить эти мальчишки и девчонки (мы). И пустота вокруг нас. Стоим в отчуждении отдельной кучкой, другие, особенные, наша команда, наша когорта.

Теперь-то признаны наши теоретики. Теперь-то они корифеи — Лючия, Семен и Симеон.

Но это теоретики. Мы же, остальные, рядовые таланты, пошли в прикладную математику — кто на энергетику, кто в химию, кто куда, а я на самую практическую практику — к строителям. Я не случайно напро-

сился к ним, ведь работа-то начиналась со строительства. Строители первыми осваивали Луну, и я выпросил командировку при первой возможности.

И вот я на Луне.

Первое впечатление — самое сильное. Какой же это необыкновенный мир, весь черно-белый, контрастный, как передержанный снимок! Тени словно пролитая тушь, каждый камешек очерчен по контуру. Сейчас-то ощущение противоположное: «До чего же надоедливое однообразие: смоляная тьма и слепящий свет, смола и белизна!» Нет, ни за что не стал бы я обходить Луну пешком, заполняя альбом за альбомом, одного с лихвой хватило бы, чтобы дать представление.

Запомнилась первая пропасть. Не на канатах, на каких-то неубедительных проволочках спускали меня в бездну (десять кило — мой лунный вес). Тьма казалась густой из-за непроглядной темноты, в самом деле, будто в смолу окунают. А там, где наши фонари шарили по стенам, из смолы выступали угловатые пилоны или плиты, геометрически правильные, все не сглаженные водой и ветром. И всюду торчали висячие скалы (пронеси, господи), а на них опирались, одним углом касаясь, другие. Словно нарочно кто строил карточно-каменный домик. На Луне все завалы зыбки, там нет основательной все трамбующей земной тяжести.

В той первой пропасти мы возводили строительный завод. Расчищали ее и резали, плавили стандартные блоки. И шли они отсюда короткими лунными дорогами по адресам, надписанным краской: «Химзаводу», «Медеплавильному», «Автостраде», «Атомной электростанции». С удовольствием поглядывал я на эти надписи и думал: «А эта химия, и медь, и авто, и атомы — все уйдет с Земли. А где-то будут убраны надписи: «Просим вас не ходить на территорию, чтобы не мешать химикам, медеплавильщикам, атомщикам». И буйная зелень вырастет на деловых дворах.

Пропасть для строительного завода, пропасть для медного, для атомного. Везде выравнивание стен, расчистка завалов, но пропасти-то разные и завалы разные, и глыбы все неодинаковые, и каждой особенный подход. Я стал понимать, в чем разница между работой математика и инженера, казалось бы, родственной. Мы, математики, ищем обобщение, некое единое количественное правило, пригодное повсюду. Они, инженеры, всматриваются в конкретные случаи, ищут откло-

нение от правила. Мы описываем цифрами, они прилагают силы, высчитывая, как это сделать экономнее. Помню по Земле, не по Луне, ехал я с одним нашим лунным инженером по живописной дороге в предгорье. Я-то восхищался красотами: «Ах, овражки, ах, косогоры, ах, овечки на косогоре!» А он свое: «Южнее надо было прокладывать трассу, выемку делать глубже, овраг пересекать насыпью и трубу в ней, не надо никакого моста. Сотню тысяч кубов зря накидали».

Вот и у меня постепенно начало складываться инженерное мышление, даже инженерное чутье. Вы прирожденный инженер — уверяли меня коллеги.

А я вовсе не прирожденный. У меня нейроны добавочные, жадно впитывающие новое. Впитали инженерные задачи, сложилось второе чутье... а потом понадобилось еще и третье.

Нет ничего дороже человека. С детства внушают нам эту истину, ставшую подлинной истиной с тех пор, как на планете установлен окончательный мир. Поэтому в пропастях Луны работали не люди, а роботы, роботы высшего класса, самодвижущиеся, с руками-ногами и даже с головой на плечах, способные самостоятельно принимать решения на месте, — не инструктировать же их для каждой отдельной глыбы заново. И мозг их кристаллический, его-то я и рассчитывал, получался довольно сложный.

Да ведь и в биологии то же. Наследственная программа тела уложена в гены, это даже не клеточка, часть одной клетки. Для самостоятельной же работы, зависящей от обстановки, природе пришлось соорудить мозг, целый орган: у человека в нем 15 миллиардов клеток. Одна клетка или 15 миллиардов — разница!

Не 15 миллиардов, но тысяч пятнадцать блоков было у наших роботов.

Но чем сложнее машина, тем больше вариантов порчи. В медицине есть правило: если есть орган, значит, есть и болезни этого органа. В применении к роботам: если есть блок, если есть какое-то устройство — значит, оно может выйти из строя. Робот откажет, можно сказать, заболеет.

Робот не человек, но и он дорог достаточно. Много часов затрачено на его монтаж, обучение, наладку, доставку с Земли на Луну. Много часов пойдет прахом, если он выйдет из строя в первый же момент, ухватит глыбу не по силам и прищемит себе лапу или, хуже то-

го, обрушит эту глыбу на голову товарищу. В лучшем случае это простой и ремонт, в худшем — переплавка. Поэтому у роботов предусмотрены блоки осторожности с многочисленными датчиками по всему корпусу.

А если эти блоки выйдут из строя? Он станет безрассудным, будет все крушить.

А если блоки чересчур чувствительны? Робот станет как бы мнительным и трусливым, начнет отлынивать от работы.

А если выйдут из строя датчики прочности, машина будет работать на износ, пропускать профилактический ремонт.

А если датчики прочности слишком чувствительны, робот то и дело будет уходить на ремонтную базу, обленится.

Добавлю еще, что в каждой пропасти работает целая команда роботов, иногда со сложным разделением обязанностей. И роботы должны считаться друг с другом, для этого им приданы радиоуши и радиоголоса. Но если уши вышли из строя, робот будет работать сам по себе и подведет всю команду. Как это назвать глухота? эгоизм? своевольное упрямство?

А если отключится программа, но робот все будет действовать, но уже без смысла? Скажем, сошел с ума?

Расстройство машинной психики.

Неуместное слово «психика»? Происходит от психеи — души. Души у машины, как известно, нет. Впрочем, нет и у человека, у него не душа, а мозг. Психические болезни — болезни мозга, органа, управляющего организмом. Болезни управления роботов явно были похожи на психические расстройства.

Вот и пришел я к шефу с просьбой продлить мне рост моего мозга, потому что необходимо мне знакомиться еще и с психологией.

И услышал:

Ну, будь по-твоему, Гурий. Пожалуй, желание твое своевременно. Школа наша расширяется, объявлен обширный набор итантов, учить и учить их надо А кому? Вам — опытным. Как раз я тебя и рекомендую в преподаватели. Так что психология понадобится безусловно

ГЛАВА 4

Никогда не гадал я и не думал, что придется мне стать преподавателем.

В школе, глядя на учителей наших, зарекался: «Ни за что, ни за что не стану тратить душевные силы, чтобы тащить за уши в науку таких лоботрясов, как я (я был достаточно самокритичен), рисующих карикатуры на подвижников, пытающихся приобщить нас к загадочной красоте комплексных уравнений».

Но вот диалектика жизни заставила и меня обратиться в свою противоположность. Некогда я с парт смотрел на кафедру, ныне с кафедры взираю на парты... ну, не на парты, на студенческие столы, вижу двадцать пар глаз, и не детских, легкомысленных, а юношеских, внимательных и пытливых. Двадцать молодых людей ждут, как я буду обучать их инженерному чутью.

Я вижу лица, розовые и бледные, смуглые, желтые бронзовые, коричневые и почти черные «Проект — Луна» глобальное мероприятие, в нем принимают участие все народы. Все заинтересованные в зеленеющей планете.

Цвет кожи самая поверхностная характеристика. Черты лица тоже поверхностная Некоторые кажутся мне красивыми, располагающими, некоторые неприятны, это надо подавить. Выражение? Как правило, девушки с первой же лекции жадно внимательны, готовы впитывать; у юношей чаще напускное недоверие, желание не уступать своей самостоятельности. Они и сами с усами; у них свое я; еще неизвестно, удивит ли их чем-нибудь молодой педагог, стоит ли признать сразу его превосходство.

Это тоже еще одна поверхностная характеристика.

Признать мое превосходство ученики не готовы, но готовы учиться. Инъекции они получают, мозг растет у каждого, он жаждет наполнения, как пустой, голодный желудок. Но чем наполнить? Ведь даже и желудок не рекомендуется набивать чем попало. Ежемесячно диспансерный диетолог дает советы: «Прибавьте витамины или белки, сократите углеводы, сахару в крови многовато, или же, наоборот, жиров добавить надо». Мозг неизмеримо сложнее, в нем гораздо больше звеньев, какую же диету пропишу я своим подопечным с их молодым растущим умственным механизмом, таким тонким, таким многозвенным?

Я повторяю вступительную лекцию школы итантов: «Мозг — это орган, задача которого обрабатывать информацию и на основе ее руководить действиями организма.

Информация — обработка — действие. Три этапа!

Информация приходит: извне — через глаза, уши, нос, кожу и изнутри — я голоден, болен, устал...»

Мозг приступает к обработке. В ней тоже три этапа: понимание — оценка — решение.

Понимание двойное — образное и словесное.

Оценка двойная — эмоциональная и логическая.

По мотивам логическим, психологическим, вкусовым, физиологическим, сиюминутным, постоянным и прогностическим, моральным, своим, чужим...

Надо выбрать, принять решение, довести его до конца, отбиваясь от новой информации и новых побуждений, сверяясь с обратной связью ежесекундно...

Десятки звеньев. Мыслительная цепь.

И у каждого слушателя звенья в цепи разной прочности. Вот я и стараюсь разобраться, какое слабее или надежнее, какое надо укрепить или использовать с полной нагрузкой, какую прописать индивидуальную умственную диету.

Расспрашиваю. Разговариваю. Наблюдаю.

Двадцать личностей передо мной. А я читаю им одинаковую лекцию.

Двадцать пациентов!

Вот Педро. Худенький, смуглый, порывистый, с горящими любопытством глазами. Он засыпает меня вопросами, нетерпеливо ерзает, привстает, если я не сразу замечаю его поднятую руку. Рвется ответить первый, подсказывает мне слова, как только я замнусь на секунду-другую. Он прирожденный талант, еще до нашей школы, я даже сомневаюсь, стоит ли вообще ему наращивать мозг. И первый месяц мои усилия направлены на то, чтобы унимать его: «Педро, вы не один в классе. Педро, дайте высказаться другим».

И домашние задания он выполняет блестяще, раньше всех, почти всегда лучше всех. Так до первого проекта. И вдруг выясняется, что Педро застрял. Мечется в нерешительности. Отброшен один вариант, другой, третий, примерно одинаковые, даже первоначальный был в чем-то оригинальнее. Время идет, ничего не выбрано, парень начинает заново, опять и опять. Я-то ви-

жу лучшее решение, у меня бывали похожие случаи в практике, отработан подход, но я креплюсь, не хочу подсказывать. Знаю: если подскажу, Педро побежит к компьютеру и через день принесет мне цифровые таблицы. Но я же не у компьютера экзамен принимаю, я готовлю инженера, командующего компьютерами. Стараюсь понять, почему он не видит очевидного.

И постепенно до меня доходит: Педро не хватает звена под названием «характер». Он не умеет доводить дело до конца. Привык работать на публику, щеголять сообразительностью, догадки бросать с лету. В одиночестве за рабочим столом скисает, теряет уверенность. Диагноз: способности есть, выдержки нет. Терапия: персональные, трудоемкие, однообразные задания, требующие терпения, нечто, напоминающее личные рекорды на дальность: сегодня проплыл километр, завтра тысячу триста. Тренировать выдержку, растить лобные доли, вместилище твердой воли.

Следующий Густав. Этот распознается проще. Густав грузноватый, большеголовый, плечистый, медлительный, долго соображает, даже если уверен в ответе. В классе пассивен, молчалив, но домашние задания выполняет основательно и даже с выдумкой. В сущности можно бы и примириться с его неторопливостью. Для проекта важнее качество, а не скорость его выполнения. Но после второго, третьего задания я почувствовал некоторое однообразие, однобокость, даже узость. Понял: Густав — упорный интраверт, у него все долго вертится внутри, так и эдак прилаживаются и подгоняются надежные, твердо усвоенные, но немногочисленные факты. Новое он воспринимает с усилием, как бы нехотя, глуховат к внешнему миру, получил два-три факта и спешит замкнуться, приступить к перевариванию.

Диагноз: слабое звено Густава — восприятие. Терапия: задания на сбор материала — изучение, описание, выяснение, исследование. И тоже тренировка на личный рекорд: не сколько сделал, а сколько нашел.

Так с каждым из двадцати.

Самым же твердым орешком оказалась для меня способная и прилежная Лола, чернокожая курчавая красавица с густым румянцем и вывернутыми губками, словно приготовленными для поцелуя. Сидела она

прямо передо мной, сверлила в упор угольными глазами, улыбаясь многозначительно своими поцелуйными губками. Не знаю, намеренно ли она старалась смутить молодого учителя, смягчив заранее на всякий случай его суровость, или же бессознательно на всех подряд пробовала силу своего обаяния, мне лично мешало это кокетство. Мне бы разобраться в ней надо, поговорить откровенно с глазу на глаз, но не хотелось оставаться наедине.

Как ученицу я не понимал Лолу.

У нее был вкус, работы оформляла красиво, охотно думала о дизайне, но как-то не воспринимала конкретную обстановку. «Конкретная обстановка» — термин неконкретный, сейчас я поясню, что я имею в виду. Строится завод: расчищается пропасть, прокладываются дороги через холмы и горы, роботам надо дать наставление, как справиться с этим перевалом, с расщелиной, с данной горой, скалой, глыбой, похожей на любопытного щенка, приподнявшего одно ухо. Инженерное чутье в том и заключается, чтобы почувствовать, как взяться за этого одноухого базальтового щенка. Лоле же почему-то, при всей ее любви к форме, задание надо было давать в цифрах. Красоту видит, а задание давай в цифрах! И не сразу, совершенно случайно до меня дошло объяснение. Лоле мешала не слабость ее образного понимания, а сила. Она очень четко представляла себе ушастую скалу... но на Земле, а не на Луне. На Луне скала весит в шесть раз меньше, к ней другой технический подход нужен. Вот абстрактные тонны Лола считала отлично. Их она не представляла зрительно, и представление не сбивало ее.

Какое лечение? Длительная командировка на Луну. Чтобы осели в мозгу лунные масштабы, отношения объема и веса.

И еще семнадцать проблем. И еще двадцать в параллельном классе. И двадцать и двадцать на следующий год, в очередном потоке. И четырежды сорок, если принять в счет классы моих товарищей. Вместе мы ломали головы над тайнами мыслительных цепей наших учеников.

И обрел я талант гретий — чутье педагога. Уже не за месяцы, за день-два управлялся с распознаванием личности. Иногда и часовой беседы хватало. Иногда и одного взгляда. Даже испытывал я себя,

пробовал, правильно ли первое впечатление. Да, в основном бывало правильное. Уточнения добавлялись.

А с третьим талантом в третий раз пришло горделивое ощущение некой удали. Я могу, я умею! На свете нет ничего сложнее человека, а для меня это сложное как на ладони. Столько было написано толстых томов о некоммуникабельности, непознаваемости, непроницаемой истинной экзистенции человеческой сущности, но вот пришел я, проникаю, проницаю, познаю экзистенцию, воздействую на нее коммуникабельно. Корил сам себя за зазнайство, разоблачал, опровергал. Жизнь сама опровергла вскоре. Но я не гимн себе пою, рассказываю, какие ощущения у итанта. Молодцом себя чувствуешь, победителем.

Но потом пришло и неприятное.

Глаза стали меня подводить. Пока я рассеянно, ни о чем не думая, водил взглядом по рядам учеников, все было нормально. Но стоило задуматься о каком-нибудь одном, прислушаться к его словам, хотя бы фамилию вспомнить, облик его начинал искажаться, контуры расплывались или, наоборот, становились резче, угловатее; на лицо его накладывались другие лица, с разным выражением, даже разновозрастные: одновременно видел я старика, взрослого и ребенка. Иной раз сквозь человеческие черты проглядывали звериные мордочки: хитренькие лисички, кроткие ягнята или бессмысленные бараны, перепуганные кролики, настороженные крысы, насмешливые козлы, задиристые петухи... И если я упорствовал, таращил глаза, силясь разглядеть, что же я вижу на самом деле, что мне чудится, лица раскалывались, по ним змеились плавные или угловатые трещины, огненные такие линии, какие видятся закрытыми глазами после молнии. Линии эти ширились, ветвились, сливались, превращаясь в широченные потоки, загораживающие все лицо, потоки стремительные или медленные, яркие или тускнеющие, постепенно сходящие на нет. И в конце концов все тонуло в подсвеченном пульсирующем тумане, обычно неярком, розоватом, желтоватом, сизом, как пасмурное небо, или блекло-оливковом, как затоптанная трава Туман этот колыхался, меняя очертания, не исчезая, даже если я глаза закрывал. Чтобы прогнать его, как я заметил позже, надо было не думать об этом ученике. Но легко сказать — не думать! Еще Ходжа Нас-

реддин дразнил людей, предлагая им не вспоминать о белой обезьяне. Как не вспомнить? Гонишь из мыслей, а она тут как тут: лохматая, со свалявшейся шерстью, грязная, краснозадая, противная такая.

Работать стало невозможно. Вместо того, чтобы думать об уроке, я отгонял цветные туманы, словно муть разводил руками. Пришлось пойти к врачу. Окулист с полнейшей добросовестностью проэкзаменовал меня по разнокалиберным буквенным строчкам, изучил мою роговицу и хрусталик, через зрачок заглянул на глазное дно, измерил его давление, неторопливо продиктовал свои наблюдения стрекочущему автомату и в результате признался, что ничего в моих глазах не видит, порекомендовал посоветоваться с психологом.

Ах, с психологом? Тогда мне незачем идти к незнакомцу, рассказывать все с самого начала про школу итантов. Я предпочел обратиться к шефу. К нашему выпуску — первым своим изделиям — он всегда относился с особой благосклонностью, разрешал приходить без дела, просто так, поведать о своих ощущениях, впечатлениях. В данном случае подходящий предлог: с глазами осложнение.

И на этот раз шеф пригласил меня сразу же, хотя в кабинете у него были люди: он напутствовал новичков, практикантов, отправляющихся на Луну,— трех парней и девушку. Парни выглядели обычно; лица, плечи, грудь — все выражало старательную молодцеватость. Я-то посматривал на них снисходительно, думал про себя: «Эх, петушки молодые, хорохоритесь, еще хлебнете всякого, узнаете, почем фунт лиха, научитесь кушать его спокойно и ежедневно». Это у нас поговорка такая лунная: «У каждого в скафандре НЗ — фунт хлеба и фунт лиха». Впрочем, парней я не разглядывал внимательно, засмотрелся на девушку — естественная реакция в моем возрасте. Маленькая, худенькая, с детской шейкой, так умилительно выглядывавшей из широченного раструба лунного комбинезона, и с большущими черными глазами, злыми почему-то. Меня так и хлестнула взглядом: «Отвернись, мол, не для того я в космос лечу, чтобы засматривались всякие».

Такие худенькие бывают очень выносливыми, знаю по лунной практике. Но мне почему-то стало жалко эту

девчушку. И когда мы с шефом остались вдвоем, я даже позволил себе посетовать:

— Зачем такую малявку на Луну? Здоровых парней не хватает, что ли?

— Она у нас из лучших,— возразил шеф.— Любого парня за пояс заткнет. Сосредоточенная. И целеустремленная. Своего добивается. Умеет.

— Не вернется она с Луны,— вырвалось у меня.

Шеф поглядел осуждающе:

— Не надо каркать, что за манера?

Я развел руками:

Жалко стало почему-то. Вообще настроение минорное. Себя жалею, что ли? С глазами у меня плохо...

Я начал рассказывать об утроенных лицах, лисичках, ягнятах и струях в глазу, но тут загорелся экран. Шефа куда-то вызывали срочно. Он заторопился, не дослушал, кинул, одеваясь:

Гурий, к здоровью надо относиться серьезно. Ты переутомился, немедленно бери отпуск на две недели, отправляйся куда-нибудь подальше, в горы, в Швейцарию, в Саппоро, еще лучше в тайгу. В тайгу! Нет лекарств лучше лесной тишины. Прописываю тебе две недели якутской тайги.

Увы, усиленный курс тишины пришлось прервать через три дня. Только я успел подобрать для себя заброшенную сторожку у болотца, окруженного трухлявыми стволами, усесться поудобнее у разведенного костра и вдохнуть аппетитного запаха дыма, как встревоженное лицо шефа появилось на браслете:

— Гурий, ты нужен срочно. Бросай свою тайгу, прилетай сию же минуту,— распорядился он.

Пять тысяч километров туда, пять тысяч километров обратно. Я даже не успел разобраться, проходит или не проходит моя болезнь. Пятого числа вечером я простился с шефом, девятого поутру входил в его кабинет.

Сядь, Гурий,— сказал он сразу.— Садись и объясняй, почему ты сказал, что девочка не вернется?

Она погибла?— ахнул я.

Сорвалась в пропасть. Глубина четыреста метров. Это смертельно даже на Луне. Ты был прав, не следовало ее посылать. Но почему? Откуда ты узнал, что она не вернется?

— Не знаю, мне так показалось.

— Гурий, не отмахивайся, я спрашиваю очень важное Сосредоточься, подумай как следует, вспомни, почему тебе пришло в голову, что девочка не вернется

Я задумался, привел мысли в порядок.

— Она боялась, сказал я.- Не Луны, боялась, что испугается на Луне. Я это почувствовал, а она поняла, что я чувствую ее страх, и злилась на меня, опасалась, что выдам. Она из тех натур, что всю жизнь занимаются самопреодолением, ненавидят себя за слабость и бичуют слабость. Такие хотят быть героями, но геройство им не под силу, и они казнят себя за это, жертвуют идя на плаху. И вот она: героиня и жертва Но на Луне не жертвы нужны, а цехи и дороги. Там надо работать и доводить работу до конца, а эта девочка думала только об одном: «Струшу или не струшу?» Наверное, прыгнула там, где заведомо не могла перепрыгнуть

— Именно так, вздохнул шеф.— Прыгнула там, где и мужчина не перепрыгнул бы. Тем более что для Луны у новичков нет же глазомера. Но почему ты не сказал мне этого вовремя?

Я задумался. В самом деле, почему не сказал?

— Не сказал потому, что не понимал. Это сейчас я формулирую, выражаю словами. А тогда увидел цвет лица неестественный, бледно-зеленый. И ощутил напряжение нервов, натянутых до отказа, это же ощущаешь в другом человеке. И злость, и отчаянную решимость, мучительное усилие ради усилия, все затмевающее. И еще «шейку» на пределе текучести. Но это наше инженерное, возможно, вам не довелось иметь дело с испытанием металла на разрыв. Представьте себе: стержень вертикально зажат в тисках, а на нижнюю платформу грузят, грузят, кладут гирю за гирей. Вы сами ощущаете, как невыносимо трудно металлу. И вот металл не выдерживает, стержень вытягивается, худеет на глазах, словно пластилиновый, течет, течет... и лопается с оглушительным звоном. Вот эту шейку я и увидел, она заслонила глаза. Вообще неприятно было Смотрю на человека и вижу стержень. Это и есть моя болезнь. Я тогда начал рассказывать о ней...

Шеф сокрушенно покачал головой:

Да, горько признаваться, но эту девушку мы просмотрели. Привыкли считать, что полет на Луну студенческая практика и никакой не подвиг Было бы здоровье каждого послать можно. Антарктида или океанские впадины куда опаснее. Да, просмотрели Придется усилить психологическую экспертизу Видимо, и тебя подключим, Гурий... в дальнейшем. А нока отпуск твой отменяется. Лечить не будем, будем обследовать. Ждал я чего-то подобного, и вот пришло Очевидно, родилась третья сигнальная. Поздравляю, Гурий, тебе она досталась первому

А что такое третья сигнальная? — спросил я с опа ской Это надолго? Это пройдет?

ГЛАВА 5

Что такое третья сигнальная?

Мне-то шеф объяснил двумя фразами, но ради популярности нужно напомнить кое-что школьное

Живое существо животное или человек получает из внешнего мира сигналы: световые лучи, запахи, звуки, тепло, удары, уколы. На эти отдельные сигналы примитивные существа сразу же отвечают действиями. У позвоночных, развитых животных, владельцев мозга, разрозненные сигналы складываются уже в систему — в образ. Образ это обобщение раздражений первая сигнальная система по Павлову: я слышу грозное рычание, я чувствую острый запах, я вижу гриву над высоким лбом, крупную морду и толстые лапы Страшноватый зверь — удирать надо

Вторая сигнальная система словесное обобщение образов: видел я таких зверей на картинках, в зоопарке, в цирке и в кино. Они называются львами Мне уже не надо слышать рык, рассматривать гриву Достаточно крикнуть. «Лев!» Я побегу

Третья сигнальная система по логике вещей — обобщение слов. Во что?

Раздражение единичные сигналы

Образ комплекс раздражений — целая картина составленная из простых сигналов.

Слово обобщенный, но простой сигнал, несколько звуков

Что на очереди? Может быть, некий комплекс

составленный из слов, какая-то мысленная картина?

Так рассуждал шеф. А что получилось, предстояло выяснить, изучая меня. И не знал я, жалеть ли себя, несчастного подопытного кролика, или гордиться тем, что я первооткрыватель, первопроходец новой психологии

Я-то предпочитал гордиться. И спросили, не отказался бы от почетной роли.

Итак, вместо учения началось изучение. Прикрепили ко мне трех лаборантов, но главным образом для записи, потому что наблюдал я себя сам, а им диктовал самонаблюдения. Увы, в психологии такой необъективный метод — один из основных.

Я думаю, стараюсь думать и замечать, как я думаю, о чем и в какой последовательности. Я чувствую и стараюсь проследить, что чувствую, по какой причине и в какой связи.

Допустим, идет рядовое занятие в классе. Я на кафедре, дал задание, сижу в задумчивости, поглядываю на лица. Скольжу рассеянным взглядом, ничего особенного не вижу. Но вот задержался на одном, припомнил имя: Шарух. Подумалось: это человек мягкий, податливый, легко поддается влиянию. И сразу черты его расплылись, размокли, словно их водой размыло И словно нос корабля в воду, в них врезается острый угол.

А это я подумал о соседе Шаруха Глебе. Того я вижу жестко очерченным, с профилем, как бы тушью обведенным, с резкими, угловатыми, стилизованными чертами.

Еще подумалось: «А почему он жесткий такой?» Знаю, расспрашивал. Родители были суровы, из тех, кто считает, что ребенка нельзя никогда ласкать, воспитывать только строгостью, требовать и наказывать. И вот на обведенное тушью лицо накладывается другое — замкнутого ребенка, не запуганного, но хмурого, не привыкшего шумно радоваться. «Оттает ли?» спрашиваю себя. Едва ли. Очень уж жесткий контур, таким и останется, даже еще окрепнет к старости. Ведь с годами радостей все меньше, хотя бы от того, что здоровье хуже, силы убавляются. И впрямь, контур становится все толще и чернее, уже не контур, кожура, кора, вот уже и человека я не вижу, нечто черное

и прямое, этакая заноза, гвоздь с острием. И лежит этот гвоздь, резко очерченный на переливающемся перламутровом фоне (чужая жизнь, что ли?), обособленный, непреклонный, чужеродный, прямой. Отрезок прямой — линия, выражающаяся уравнением первой степени, самым простым и самым скучным. Сказывается математический этап моего обучения — вместо лица я вижу уравнение жизни. Но этакая глухая неподатливая изолированность, как у Глеба, — редкость. Чаще уравнения жизни я вижу криволинейными, второй, третьей, четвертой степени, синусоиды, комплексы разнородных волн. У эмоциональных натур острые всплески, как на осциллографе, у авантюрных неожиданные зигзаги. У детей чаще крутой подъем, а к старости пологий спуск, выцветающий и сужающийся. У нас — итантов — несколько крутых подъемов: каждый курс наращивания мозга — дополнительное детство.

Все это я могу выразить иксами-игреками: пропитался математикой насквозь. А от школьной любви к рисованию пришла ко мне красочность. Яркие люди так и выглядят яркими в моем мозгу, невыразительные — блеклыми, серыми — разных оттенков, болезненные — землистыми. И в конечном итоге линии превращаются в струи — в некий поток жизни, потом же иногда — не всегда — в колыхающееся цветное пятно. Что означает это пятно? Я воспринимаю его как некое обобщенное представление о человеке. Можно расшифровать его, изложить словами, тогда получится емкий трактат о прошлом и настоящем личности, ее характере и темпераменте, способностях и перспективах. Трактат многословный и не очень вразумительный, так же как невразумительно словесное описание портрета: нос этакий, брови такие, лоб такой, а губы совсем такие. Проще показать фотографию: вот какое лицо. Пятно в моей голове — квинтэссенция опыта и знаний. Этакий человек! Мысленно двинул пятно в будущее — вот что с ним сделается. Мгновенный вывод.

Шеф утверждает, что так мыслят опытные шахматисты. Не фигуры переставляют с места на место, с клетки на клетку, а смотрят на позицию и ее меняют в воображении. Двинул коня — что получится?

Может быть, именно это и называется интуицией?

Но почему же над одним ходом думают по часу?

Я наблюдаю себя, шеф придумывает темы, диктует задания:

Гурий, подумай о биноме Ньютона. Что увидел?

Гурий, подумай о моем котенке.

Гурий, подумай обо мне. Как я выгляжу?

В данном случае отказываюсь:

Шеф, мне неудобно как-то. Мало ли что человеку приходит в голову невежливое. Мысли — это же только черновики рассуждения. Отредактированное выражают словами.

— Ладно, что ты читал сегодня? Что в голове осталось?

— Бумага, больше ничего. И не отбеленная, шероховатая, серая, оберточная. Книга была такая невыразительная.

Познакомься, Гурий, молодой человек хочет поступить к нам в школу Что отразилось в твоей голове, расскажи.

Шеф придумывает задания. Я формирую в мозгу цветные пятна, потом тщусь разобраться в них. Почему этот человек кажется мне голубым, а тот сиреневым? Какая тут закономерность?

И, конечно, с самого начала шеф старается извлечь пользу из моего нового свойства. Если я гибель девушки мог предсказать самое место для меня в приемной комиссии

Однако вскоре выясняется, что именно там пользы от меня мало. Да, поговорив десять минут с молодыми людьми, я хорошо представляю, чего можно ждать от них... сегодня. Но ведь они получат инъекции, отрастят новую порцию мозга и через два-три месяца станут другими людьми с другими способностями. Что я улавливаю, собственно говоря? Я вижу процесс развития человека, не обязательно человека, вижу процесс развития. Пребывание в школе итантов меняет процесс.

Отчаянные же, вроде погибшей девушки, мне не попадались. Безрассудные есть, есть любители риска, я отмечаю их. Есть и такие, которые будут прыгать через пропасть без особой надобности, могут и шею сломать. Но мои цветные линии и пятна не подсказывают мне, который прыжок будет роковым, первый или сотый Может быть, у той девушки нервы были очень

уж перенапряжены. А может быть, я угадал случайно. Возможно, она и отучилась бы прыгать без толку, если бы при первом прыжке сломала не шею, а ногу.

Кто-то, а впрочем, я помню, кто именно, советует мне испробовать свой новый дар на спортивных соревнованиях. После двух-трех неудач у меня получается хороший процент попадания, особенно на длинных дистанциях, там, где решает запас сил, а не рывок. Но кому это нужно? Спорт — это игра, зрелище, и нет интереса смотреть, если знаешь, кто выиграет. Где-нибудь в прошлых веках на бегах я бы все ставки срывал в тотализаторе. Но в наше время давно забыли, что такое тотализатор. Даже пояснение не во всяком словаре найдешь.

Шеф направил меня в клинику, в отделение тяжелобольных. Я удрал оттуда через три недели. Невыносимы страдания людей с печатью смерти на лице. Да, каждая санитарка это видит, каждая умеет видеть, могу только преклоняться перед ними. И опять-таки нет смысла в моем вмешательстве. Предсказывать, что человек умирает? Врачи и сами это знают. Говорить, чтобы не лечили, не оперировали? Но как же не лечить, если есть хоть малейший шанс оттянуть час смерти? А вдруг я ошибся, и тонкая нить жизни (я так и вижу ее) не оборвется на этот раз или выдержит груз жизни еще полгода, год? Не смею я говорить врачу, что его усилия безнадежны. Он обязан лечить. Может быть, я полезен был бы в диспансере, где подстерегают развитие болезни? Но для этого надо было растить мозг в четвертый раз, заполнять клетки всяческой латынью. В общем, я предпочел уклониться. Допускаю, что это эгоистично, не выдаю себя за образец для подражания, но я человек жизнелюбивый и плохо переношу чужие страдания. Впрочем, и шеф не настаивал на четвертом доращивании мозга. Он хотел исследовать мое теперешнее состояние, прежде чем двигаться дальше, считал, что добавочные инъекции собьют картину.

Ну и, конечно, возникла бытовщина, совсем неуместная. Прослышав о моем таланте предсказывания, «добрые» знакомые начали присылать ко мне своих «добрых» знакомых. Главным образом это были юные парочки, собирающиеся заключить брачный союз, и непременно желающие знать, будут ли они счастливы.

Я составлял их цветные пятна, накладывал друг на друга, говорил, как сочетается желтое с лиловым, красное с зеленым, синее с голубым. Иногда получалось красиво, иногда яркий цвет заглушал светлый, иногда тон был грязноватый. Сейчас задним числом могу свидетельствовать: мои цветовые игры подтвердились. Красивые сочетания жили красиво, некрасивые ссорились, яркие подавляли партнера. Конечно, если бы молодые учитывали свою тональность и старались смягчить неудачное сочетание, я был бы опровергнут и разоблачен, как никчемная гадалка. Но часто ли супруги перестраивают себя ради семейного счастья? Любовь требовательна: «Давай, люби меня, каков я есть!»

В конце концов шеф нашел нам все-таки достойное занятие.

«Нам»,—говорю я, потому что к тому времени нас было уже четверо. Новое видение прорезалось еще у троих, причем не у наших светил. Лючия, Семен и Симеон, как и прежде, блистали в теории математики. Третья же сигнальная система, если это она в самом деле, открылась у середняков, таких, как я, и, подобно мне, трижды поменявших специальность. Через математику и педагогику мы прошли все четверо, но Ли Сын вместо инженерного дела изучал химию, Линкольн — экономику, а Венера — биологию. Ей пришлось иметь дело с жизнеобеспечением, людей на Луну устраивать.

Венера! Надо же, какое громкое имя ей дали родители! И совершенно неуместное. Не могу сказать, что она некрасива, возможно, и красива, но не в моем вкусе: смуглая, почти сизая, приземистая, голова вобрана в плечи, курчавая, с густыми грозными бровями и еще более грозным носом. Нос, конечно, можно было бы и выпрямить, в наше время это делается шутя, для косметологии проще простого, но Венера гордится своим носом, считает его родовым отличием и надеется передать потомкам до седьмого колена. Во всяком случае, первенец ее родился с заметным клювиком. Генотип обеспечен.

Итак, шеф нашел для нас работу. Поручил подготовить тезисы доклада «Перспективы освоения Луны», ни много ни мало на двести лет вперед.

— Двести лет? переспросили мы.— Не многовато ли?

Но взялись с удовольствием. Перспективы развития, процесс развития!

Коротко: как пошло рассуждение?

Да так же, как с «проектом — Луна».

Два века во всех странах мира шло разобщение жилья и производства, заводы выселяли из центра города на окраины, затем из городов, из курортных и жилых зон, наконец, с планеты долой — на Луну.

А теперь пошел второй виток спирали.

Вот высылают на Луну электростанции, высылают металлургию...

Но если металл добывается на Луне, имеет смысл перевести туда и металлоемкое станкостроение. И если станки делаются на Луне, зачем же везти их на Землю, нагружать ракеты, тратить топливо зря, имеет смысл использовать станки на Луне, оттуда доставлять продукцию, прежде всего малогабаритную: часы, приборы, ткани, бытовую химию. Имеет смысл и приборы не возить на Землю, на Луне строить лаборатории, тем более что многие из них и нужны-то для заводов. Но в лабораториях и на заводах будут люди, одними роботами не обойдешься. А человек требует человеческих условий, его нельзя вечно держать в подземельях, ему зелень нужна, сады, просторы. Кислород на Луне есть — в тех самых породах, откуда добывается металл, со временем будет кислородная атмосфера, а ее надо беречь, не засорять пылью, ядовитыми газами и угаром. И где-то в пределах двухсот лет уже встанет вопрос о высылке промышленности с Луны, об охране природы этого внеземного материка площадью чуть поменьше Азии. Нельзя же его использовать как мусорную свалку.

Куда же выселить технику?

В космос, очевидно.

Вот и возвращаемся мы на круги своя: город-колесо, город-труба, кривые коридоры, уходящие под потолок, цехи с наклонными полами, так и кажется, что на тебя рушатся станки, стеклошубы, заслоняющие солнечный свет. И проблема отбросов: не плоди метеоритные потоки!

Если возвращаемся к отвергнутому, подумать надо об отрицании отрицания.

Чего ради проектировать эти разрозненные города-трубы, города-кольца и цилиндры? Ради веса. Вес, желательный человеческому организму, создавался там

вращением вокруг оси, центробежная сила создавала вес. На Земле вес центростремительный, к центру планеты направленный, а в тех космических городах центробежный. Для человека непривычно и неудобно Удобнее был бы центростремительный вес искусственное тяготение.

Но как его создать? Наука не знает

А если нужно? Создадут же.

Двести лет в запасе. Может быть, откроют через двести лет, может быть, через сто, а может десять? Искать надо.

А что это даст?

Разрабатываем перспективу:

Что даст открытие искусственного тяготения?

Что даст через десять лет и что даст через двести лет?

И где его искать? Наука не знает, но ведь и не ищет.

Я не буду пересказывать доклад. Это несколько папок, довольно объемистых, с графиками, формулами расчетами, цифровыми таблицами. Желающие могут затребовать копию доклада, им пришлют ее из Центра информации через час. Я говорю только о нашем подходе, нашей манере видения. Жизнь поток, наука и техника поток. Поток течет быстрее или медленнее, становится шире, у́же, но течет обязательно, неудержимо, ветвясь и сливаясь, обходя преграды, поворачивая, извиваясь, бурля или растекаясь, но течет и течет. Надо уловить, куда течет Мы и старались понять куда?

Старались понять вчетвером, хотя поначалу не так было просто договориться. Мы по-разному видели потоки-процессы. У меня раскраска была пестрая видимо, сказалось увлечение рисованием, а Линкольн — музыкальный, как все негры, слышал мелодии, улавливал темпы — аллегро, модерато и прочие. Формы же геометрические, соответственно и уравнения, получались у нас более или менее сходные математикой же занимались мы все четверо И договаривались мы чаще всего на основе графики. Тоже язык пришлось вырабатывать специальный:

— Лю, ты что видишь?

— А ты, Венера?

— Ситуация Арарат, говорит Венера убежденно

— И у меня Арарат, пожалуй, чуть-чуть араксистее.

— Ерунда какая. Ни тени араксистости.

Всего четверо нас, но уже надо вырабатывать терминологию, условные названия. Что такое араксистость? Этакое течение процесса, мы уже договорились, какое именно. Этакая картина. А легко ли объяснить образ. Лошадиное лицо что такое? Лицо, похожее на лошадиную морду. А какая морда у лошади? Лошадиная, каждый видел. Или какого цвета роза? Розового А что такое розовый цвет? Как у цветка розы. Светло-красный, но с белилами и оттенком голубизны. А что такое красный цвет? Это все знают.

Так вот мы знаем, что такое араксистость. Процесс, график которого напоминает реку Аракс на карте: большая волна, перегиб и малая волна выше нуля. А вот араратистость — две волны, большая и малая, но обе выше нуля.

Поспорив и как-то договорившись, мы заполняем страницу — очередную страницу доклада о будущем космоса и Луны.

Тот доклад мы представили в Институт дальних перспектив, особого интереса он не вызвал, показался несвоевременным. Но вызвал внимание к нам — итантам. Нам поручили другую тему: итанты в хозяйстве и науке. Тема оказалась необъятной: итанты — искусственные таланты, а где же не нужны таланты? Тему сузили, оставили — итанты как педагоги. А там пошло ветвление: опыт преподавания математики, подготовка итантов, распознавание способностей, типовые ошибки и т. д и т. п.

Приглашать-то нас приглашали охотно, задавали кучу вопросов, слушали с любопытством, но я бы не сказал — дружелюбно. Такое отношение было: «Показывают нам сенсационную новинку, едва ли достойную». И выслушивали нас внимательно, но главным образом, чтобы возразить. Чаще всего мы слышали: «Это давным-давно известно в науке». Или же: «Вы ошиблись. Вы не в курсе дела, того-сего не учли, на самом деле так не получится».

Сначала мы очень смущались, уходили, краснея за свое невежество, даже просили избавить нас от этих скороспелых консультаций, потом, почитавши, разобравшись, выясняли, что нам самим есть, что возразить на возражения. И научились отвечать: «Да, това-

рищи, мы не все знаем на свете, вы глубже нас вникли в свою специальность. Но разрешите обдумать ваши сомнения, ответить вам письменно или устно, если у вас есть время для повторного обсуждения». И мы находили ответ. И на следующем заседании уже стояли с горделивым видом, глядя на смущенных специалистов, пожимавших плечами, бормотавших неуверенно: «Да, пожалуй, что-то в этом есть».

Это было почетно, это было приятно. Приятно чувствовать себя сильным, догадливым, сообразительным, приятно побеждать в споре, приятно, что рядом с тобой, плечом к плечу, стоят твои товарищи, команда победителей — итанты, таланты.

* * *

Рассказываю и сам себя ловлю на слове: не расхвастался ли, не преувеличиваю ли успехи, саморекламой не занимаюсь ли? Этакие мы универсалы — всезнайки, все можем, все видим.

Нет, конечно, не знаем мы всего на свете, мы только соображаем быстрее, а специалисты в определенной области знают больше нас, и потому, как правило, при первом разговоре мы пасуем: что-то они знают давным-давно, а что-то мы неправильно толкуем, не получится, как мы предлагаем. В лучшем случае мы быстро сообразили то, что им давно известно.

Но в дальнейшем вступает в дело еще одно наше качество. Специалисты твердо знают положение в своей науке, знают по принципу «да-нет»: это можно, а это нельзя. Но мы-то видим поток. И мы знаем, помним, что движение побеждает всегда, никакая плотина не остановит реки, вода либо перельется, либо просочится, либо размоет, либо проточит, либо найдет другое русло. Этим мы и занимаемся: оцениваем высоту плотины, ищем другое русло, не в этой науке, не в этой отрасли. Мы ищем, а специалисты давно знают, что ничего не выйдет... У их учителей не выходило... но с той поры столько воды утекло.

И слышим: «Да, в этом что-то есть»

Еще и так скажу:

Разные есть дела на свете; в одном важнее знание, в другом сообразительность. Мы специалисты по со-

образительности. Это не наша заслуга, мы итанты — мы искусственные. Но сообразительность нам дана, использовать ее приятно.

И увлекательно.

Лично я доволен, что стал итантом. Думаю, что в законы планеты стоит добавить параграф:

«Каждый имеет право на талант».

ЭПИЛОГ

Шеф сказал:

— Гурий, итанты нынче в моде, мы на острие эпохи. К нам идут толпы молодых людей, не совсем представляя, на что они идут. Надо рассказать им все, не скрывая ни радостного, ни горестного, точно, объективно, спокойно и откровенно, все с самого начала.

— С самого начала? — переспросил я. — И о вашей племяннице?

Итак, о Маше, еще о ней хочу я досказать.

Вообще-то ничего не было бы удивительного, если бы она исчезла из моей жизни. Разве обязательно первая любовь оканчивается женитьбой? Только в романе героиню надо тянуть от первой страницы до последней. Обычно влюбляются в сверстницу, в соученицу, а сверстницы предпочитают старших, более сильных, более зрелых, для семейной жизни сложившихся. Вот Стелла, о которой я так много, слишком много говорил на первых страницах, исчезла на дне своего океана, разводит там китов, доит их и кормит. Ничего не могу добавить о Стелле.

Но Маша, племянница нашего шефа, естественно, бывала у него часто. И мы время от времени встречались с ней, так что я знал, как складывается ее жизнь. Мечта ее о нормальном ребенке сбылась: Маша родила дочку, сейчас она уже подросла, длинноногая такая, мрачноватая, на Машу совсем не похожа, в отца, наверное. Впрочем, девчонки меняются, хорошеют, созревая. Так или иначе — нормальная девочка, не отсталая и не чересчур способная, а к математике равнодушная совершенно, предпочитает одевать кукол.

С нормальным же мужем своим Маша, видимо, не ладила с самого начала. Он был человек простоватый,

но твердо убежденный, что муж должен превосходить жену во всех отношениях, а Машу как-никак немножко сделали итанткой. И она первое время старалась угодить, подлаживалась под взгляды мужа, глушила всплески таланта. Впрочем, тогда маленькая дочка поглощала все ее время. Но потом девочка пошла в детский сад, у Маши стало больше свободного времени, появились культурные интересы, работу она сменила, бросила свою гимнастику, все меньше часов проводила дома, и муж предъявлял претензии...

В общем, расстались они.

Маша переехала назад к родителям, стала часто бывать у дяди, как раз и меня в то время вернули с Луны в школу итантов, я усердно занимался психологией, часто консультировался у шефа. Встретились мы с Машей нечаянно. А потом стали встречаться намеренно.

Эх, не проходит, никогда не проходит бесследно несостоявшаяся первая любовь! Остается как заноза, как осколок в сердце. И улегся, казалось бы, и зарос, а нет-нет — шевельнется, кольнет боль нестерпимая.

Второе дыхание пришло к моей первой любви.

В ту пору я был погружен по уши в работу, осваивал свой первый класс — искал подход к каждому, у Маши же было вдоволь свободного времени, и я получил возможность, такую заманчивую для мужчины, разглагольствовать перед сочувствующей женщиной. Я рассказывал внимательной слушательнице о своих мучениях с нетерпеливым Педро и глуховатым, но основательным Густавом, о восприимчивой к внешности Лоле, никак не представлявшей лунные масштабы, о том, как я стараюсь преодолеть их нетерпение, глуховатость и непонимание особенностей Луны.

— И о каждом ты заботишься так? Какой же ты добрый, Гурик!

— При чем тут доброта? — оправдывался я. Как в мальчишеские времена, доброта казалась мне немужественной. Хотя, в сущности, сильный и должен быть добрым, именно потому, что он сильный, может и себя обеспечить, и слабеньким помочь.— При чем тут доброта? Работа у меня такая, наставительная.

— Нет, ты добрый,— настаивала Маша. Я это еще в школе поняла. Когда все девчонки окрысились на меня, только ты встал на защиту.

Разве я встал на защиту? Просто я самостоятельный был, у меня не было основания обижаться на тебя, я терпеть не мог математику.

Нет, ты добрый, ты меня пожалел.

Обсудив проблемы доброты и жалости, я включал диктофон, чтобы записать свои соображения о Педро, Лоле и Густаве, а Маша тихонько сидела у меня за спиной, кроила что-нибудь для дочки, склеивала, изредка заглядывая через мое плечо и при этом ласково кончиками пальцев чуть-чуть поглаживала мои волосы. Почему-то это робкое поглаживание больше всего умиляло меня.

И у нас все шло хорошо, пока не вселились мне в голову утроенные лица и звериные мордочки, витиеватые линии и цветные облака, араксистость и араратистость. Я начал думать и говорить иначе, невнятно, с точки зрения окружающих.

Вот, например, Маша с трепетом приносит мне видеоленту, взволновавшую ее душу, сентиментальную сверх всякого предела историю верных влюбленных, мечтавших о соединении всю жизнь, десятилетия наполнивших мечтами. Догадываюсь, что Маше хотелось, чтобы я был из той же породы мечтателей. Я говорю: «Маша, это разведенный сироп, жиденький, бледно-бледно-розоватенький». Маша приносит стихи своего поклонника, о чувствах, подобных урагану, заре, закату, метели, ливню,— сплошной учебник метеорологии. Я говорю: «Я вижу суп с зеленым горошком. Зеленое — описание природы, прочее — вода». Маша обижается, конечно. Ей лестно было вызвать пургу, ураган и прочее в чьей-то душе, даже в душе ненужного поклонника.

Маша знакомит меня с Верочкой, своей ученицей, совсем молоденькой девочкой, уже невестой. Верочка прослышала о моем новом даре (от Маши, конечно) и просит предсказать, будет ли она счастлива в браке Четверть часа я беседую с ней, еще четверть часа с женихом, потом говорю Маше:

— Мутновато.

— Загадками говоришь,— возмущается Маша. Объясни членораздельно, по-человечески.

Но я так вижу. Он пронзительно-желтый. Вероч ка голубенькая. Вместе что-то серо-зеленое, нечистый тон, грязноватый даже.

— Злой ты какой-то.— Маша пожимает плечами.

— Выламываешься,— говорит она в другой раз.

Потом всплывает ревность:

— С Венерой своей разговаривай так, с носатой красоткой.

И вот беда: в самом деле мне с Венерой легче разговаривать. Мы понимаем друг друга, у нас общий язык, мы близкие, не одной крови, но одного мышления. Маша осталась где-то в стороне, пропасть расширяется, и все труднее наводить мосты.

И смертельную обиду вызываю я, сказав, что дочка ее как оберточная бумага — шершавая и сероватая. Почему «как бумага»? Потому что никакая она, не человек еще, «табула раза», жизнь еще напишет на ней содержание. Почему «как оберточная»? Потому что не очень чувствительна девочка, только жирные буквы отпечатываются на ней. И «шершавая» потому, что толстокожая. Но ведь все это я выразил короче. Лаконичны мои новые образы.

— Ты меня дразнишь? Оскорбить хочешь?

Снова и снова объясняю ей, что не злюсь, не выламываюсь, не дразню и не оскорбляю. Вижу я теперь иначе. Машу не утешают мои оправдания. Она рыдает, ломая руки: пальцы сплетает и расплетает, локти прижимает к груди, словно ей мешают собственные руки, хочет их оторвать и отбросить. Маша не находит себе места, не находит слов:

— Ты совсем другой человек, ты чужой, чужой, я такого не знала никогда. Я не могу любить каждый год другого. Я знаю, что ты не виноват, это все проклятые опыты дяди. Ну какое он право имеет вмешиваться в душу, перелицовывать человека? Где мой милый, добрый Гурик? Подменили, выдали другого — сухого, циничного, оракула всевидящего. А потом будет еще какой-нибудь величественный, снисходительный, божественный. Все разные, все чужие. Я так не могу, не могу, не могу!

Мне не удалось утешить Машу. Она убежала, отмахиваясь, и я решил отложить разговор на другой день, когда она не будет так расстроена. Но Маша не пришла назавтра и послезавтра, а потом я получил от нее письмо. Письмо само по себе символ разрыва. В наше время, когда так легко появиться на запястье, в кружоч-

ке наручного экрана, письма пишут, если не хотят видеться.

«Гурий, прощай,— писала Маша.— Гурика, которого я любила, больше нет на свете. А ты только его тезка, чужой человек, захвативший имя и внешность моего лучшего друга. Я даже не уверена, что ты человек. И не преследуй меня, не ищи. Такого я не люблю, такого я боюсь».

Вот так получается. Как говорит шеф: «За все на свете надо платить, а кто платит, тот тратит». И кто осудит Машу? У нее своя правда. Маша — хранительница человечества. А я не сохранился, я изменился. Кто меняется, тому изменяют.

Я кинулся было к шефу: «Спасайте, выручайте, не хочу быть пожизненным кроликом, заберите третью сигнальную, отдайте мою личность». Но, в сущности, я заранее знал, что он ничего не может сделать. Как отобрать у человека талант? Испортить мозг лекарствами? Но кому нужен жених с испорченным мозгом?

Есть, конечно, средство, и я сам догадывался. Талант можно засушить бездействием. Год не пускать в ход лобастую голову, два, три не думать об уравнениях, графиках, учениках, о людях вообще, и она отучится вырисовывать потоки с дельтами и меандрами. Можно, например, возродить детскую свою мечту, закинуть за плечи рюкзак с этюдником, выйти из дому пешком, взять курс на Верхнюю Волгу, Ильмень и Ладогу, вглядываться и радоваться, рисовать цветочки и кочки, ветки и морщины коры, этюд за этюдом, альбом за альбомом «Живописная планета». Можно и не рисовать даже; в каком-нибудь заповеднике обходить просеки летом и зимой, проверять, «пушисты ли сосен вершины, красив ли узор на дубах», и радоваться, что кто-то перевел на Луну еще один завод, освободив сотню-другую гектаров для сосен и дубов.

И лет через семь, выдержав характер как библейский Иаков, приду я к своей Рахили с докладом: «Маша, я совершил подвиг долготерпения, я достоин тебя, мне удалось поглупеть».

Так, да?

Не хочется.

Жалко мне расставаться с глобальными задачами, решающимися в переплетении цветных линий, жалко спаянной нашей четверки «Четверо против косности»,

жалко бросать будущие дела и сегодняшнее срочное «Земле — зелень, Луне — дым».

Пусть земное небо будет чистым ради чистой наследственности детей!

Чтобы сохранить Землю, надо изменить Луну — менять, чтобы сохранить. Вот какая диалектика.

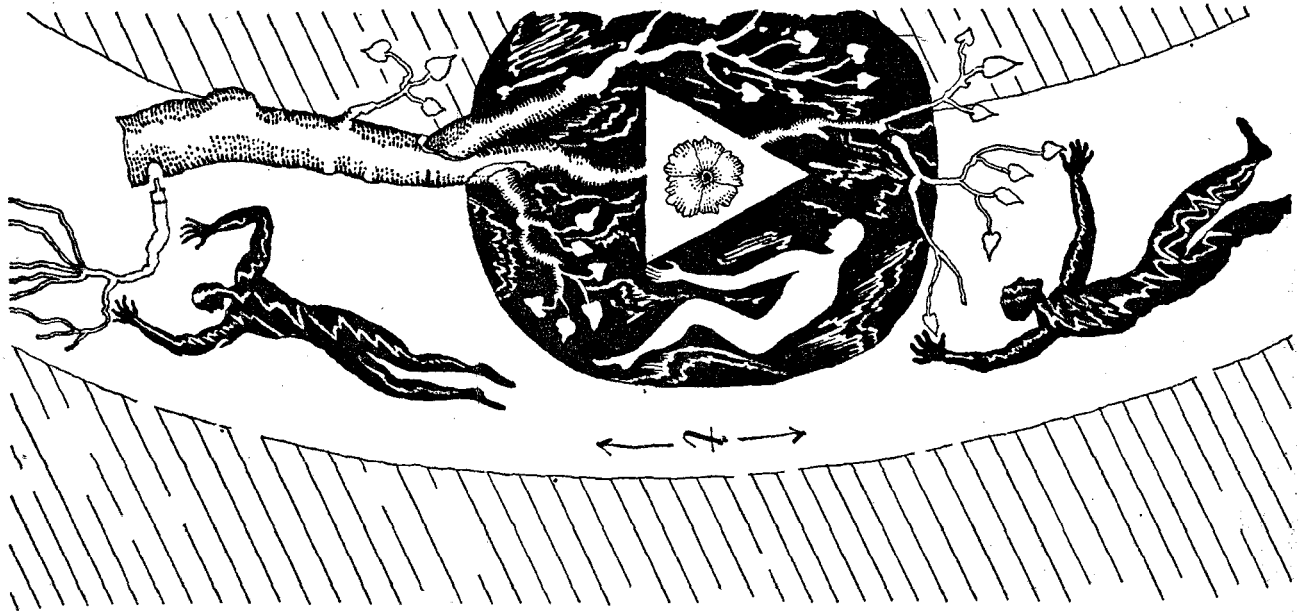
Чтобы сохранить человечество, надо менять человека — такая моя правда.

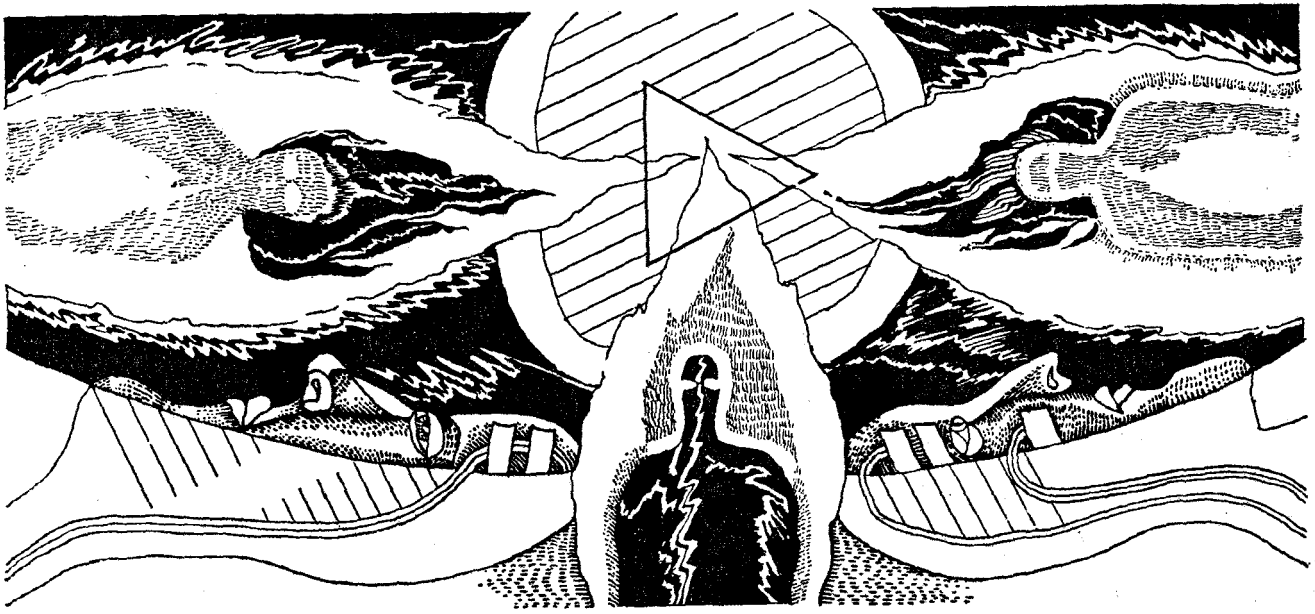
Но кто меняется, тому изменяют — это правда Маши.

У Маши — своя, у меня — своя.

Чья правда правдивее?

Сергей Снегов





ПРАВО НА ПОИСК

Повесть

1

Чарли присел к моему столику, деловито пробежал глазами меню что бы в нем ни значилось, он закажет омлет с помидорами и апельсиновый сок, это неизменно — и порадовал:

— К Латоне приближается рейсовый звездолет «Командор Первухин». На нем цистерна с тремя миллионами тонн сгущенной воды. И некто Рой Васильев. Этот землянин на Латоне пересядет в планетолет на Уранию. Сгущенная вода прибудет поздней. Ты что-нибудь слыхал о Рое Васильеве? В общем, готовься к трудным объяснениям.

Меня раздражает обстоятельность, с какой Чарли изучает совершенно не нужные ему фантазии поваров. Как-то, спустя час после такого десятиминутного углубления в роспись первых, вторых и третьих блюд, я поинтересовался, не помнит ли он, что нам сегодня предлагают на обед. Конечно, помню, бодро заверил он, омлет с помидорами и сок. Даже бифштекса и торта не запомнил, а я их жевал за одним с ним столом! На вопрос о Рое Васильеве я не ответил. Промолчал сознательно и вызывающе. Молчание — единственное, что молодой академик, мой начальник Чарльз Гриценко, способен слушать объективно. На молчание он реагирует быстро и толково, молчание информативно, утверждает он. Молчание — самый красноречивый сигнал несогласия в споре, самое категорическое оповещение протеста,— острит он.

— Омлет с помидорами и апельсиновый сок,— сказал Чарли в микрофон.— Эдик, ты слышал, что я сказал? Почему молчишь?

— Не вижу причин кричать.

© С. Снегов, 1992

— Хотя бы промычи. Рой возьмется прежде всего за тебя. Павел был твоим помощником, связь между его гибелью и взрывом сгущенной воды на складе почти несомненна. Рой прибывает для того, чтобы исследовать эту связь... Тебе мало этих фактов?

— Что мне мало и что много — несущественно.

— Правильно, единственно важное, что будет думать сам Рой о трагедии. Но снова и снова повторяю...

Ему не дал договорить Антон Чиршке, Повелитель Демонов Максвелла. Этот белокурый, долговязый, крупноносый, большерукий физик известен на Урании больше по прозвищу, чем по фамилии. На кличку Повелитель Демонов он откликается охотно, даже гордится ею. Если крикнуть на улице «Повелитель», он обернется без раздражения. Злость приберегает не для встреч со знакомыми, а для работы. В лаборатории он неистов и дьявольски вспыльчив — Антон Чиршке, Повелитель Демонов. Если ему кажется, что прибор висит криво, он кричит на него. Я сам видел, как Чиршке закатил оплеуху командному механизму, включившему не ту программу. Механизм пострадал куда меньше, чем рука Антона. Кроме вспыльчивости и нетерпения к чужим мнениям, Антон еще и талантлив. Все мы талантливы, конечно, бесталанных на Уранию не командируют, в этом смысле Чиршке не исключение. Просто он талантливей каждого из нас. Таково мое убеждение, его разделяют не все, но я никому не навязываю своих оценок. Его ошеломительно простой механизм, сепарирующий молекулы воздуха по их скорости, вызвал множество возражений, каждый помнит, какие шли страстные дискуссии пять лет назад,— не было обидных слов, которые бы не бросались Антону в лицо. Но, между прочим, все отопление на Урании, все холодильники на нашей экспериментальной планете сегодня работают от сепараторов Чиршке, от его небольшого заводика, пущенного в прошлом году: с одной стены воздух засасывается в приемную трубу, а с другой — две трубы отправляют сепарированный воздух потребителям: по одной горячий поток, по другой — ледяной. И кто придумал Антону в насмешку прозвище «Повелитель Демонов Максвелла», те давно прикусили язык, а само прозвище ныне выражает не иронию, а уважение. И еще одно. Антон щедро одарен умением всюду видеть загадки. У него вызывает тысячи недоумений любая вещь, любое обычнейшее явление. Павел шутил: «Ан-

тона потрясает даже то, что дважды два четыре. Он не опровергает этой истины, он только ошеломлен ею». Павел был не просто талантлив, как Антон, Павел был гениален. И он говорил об Антоне: «Не хотел бы попадаться этому человеку под горячую руку. Но если мне захочется услышать что-нибудь совершенно новое о чем-то совершенно тривиальном, я обращусь к Чиршке».

— Парни, к нам летит какой-то Рой Васияьев,— объявил Антон, присаживаясь к нашему столу и бесцеремонно отодвигая от Чарли стакан с апельсиновым соком.

— Тебя это, естественно, выводит из равновесия?— Чарли снова пододвинул стакан к себе.

— А как может быть иначе?

— Что же тебя поражает в прилете Роя?

— Во-первых, сам прилет. А во-вторых, кто такой Рой? Какого шута мне в нем, а ему в нас?

— Шута нет ни в тебе, ни в нем, а неприятности будут нам всем. Между прочим, мы их заслуживаем.

И Чарли с обычной своей проницательностью обрисовал ситуацию. Рой Васильев — астрофизик, неплохой знаток космоса, кроме того, он детектив. Ну, не простой сыщик, хватающий за ворот преступника, этого за Роем не слышно. Но вряд ли на Земле имеется другой такой специалист по расследованию загадочных несчастий. Его стиль — искать в различных бедах не злоумышления, а неизученные явления природы. А их в природе, особенно в космосе — бездна. На Урании Рой займется любимым делом — выискивать неизвестные причины недавнего взрыва сгущенной воды и гибели Павла Ковальского.

— По-твоему, ничего неизвестного не было?— Антон нервно жевал какое-то блюдо, голос звучал глуше и невнятней обычного. Ясностью речи Антон не берет, разве когда говорит спокойно и уравновешенно. Но таким я видел его очень редко.

— Суть не в неизвестном, а в том, чтобы объяснить хорошо известное,— спокойно отпарировал Чарли.

— Ты педант!— закричал Антон, отвлекаясь от еды.— В жизни не встречал большего педанта.

— Ты, наверно, хотел сказать — более точного человека? Тогда это я. Я правильно понимаю словечко «педант»?

Антон мигом вышел из себя. Он хлопнул кулаком

по столу. Чарли поспешно схватил полный стакан и отпил немного.

— Ты консерватор, Чарли! Чего ухмыляешься? В древности такие усмешки приравнивались к уголовному преступлению! Иногда жалею, что наша эпоха пренебрегла многими хорошими обычаями старины.

Улыбка Чарли выражала не издевку, а то, что он собирается придать дискуссии неожиданный поворот. Чарли великий мастер на парадоксы. Я провел пять лет под его начальством и сотни раз терялся до немоты, когда он принимался выворачивать привычные понятия. Если Антон ко всему придирается, то Чарли надо всем насмехается и временами делает это с таким ледяным спокойствием, что охватывает дрожь, а не смех. В те древние времена, о каких вспомнил Антон, Чарли провозгласили бы великим софистом, учителем невероятного толкования слов — поклонники его мудрости толпой сбегались бы к нему. Сейчас с ним побаивались вступать в спор и на Земле, в Академии наук, где он приобрел влияние не по годам. Я не сомневался, что он готовится нанести удар Антону именно такой, каким неоднократно сражал и меня, и противников посильней,— обернуть против Антона его же аргументы.

— Как понимать странный термин — консерватор? — сказал он так мягко, что обманул Антона. Меня, естественно, он обмануть не мог. Я с интересом ждал продолжения.

— Как все люди понимают!

— Как понимать фразу — понимают как все люди?

Глаза Антона засверкали, он даже приподнялся на стуле. С людьми Антон не дерется, но стулом хватить об пол способен.

— Возьми словарь международного языка. Можешь перелистать и словари всех пяти тысяч мертвых языков. Результат не изменится.

— Я бы хотел получить разъяснение от тебя, а не из словарей.

Повелитель Демонов все же сдержался. Иногда ему удавалось не взрываться в спорах.

— Слушай же. Консерватор — человек, который остается всегда одним и тем же, как бы все ни менялось вокруг; человек, который, однажды установив для себя систему взглядов, манеру обращения... В общем, придерживающийся одного типа поведения. Устраивает такое толкование?

Настал час торжества Чарли. В спорах подобного рода Антон перед Чарли — мальчишка перед мастером. Антон к тому же задал нашему академику достаточно простую задачку.

— Вполне устраивает. Ты прав — я консерватор. И горжусь этим!

— Ты хотел сказать — стыжусь?

— Я сказал то, что хотел сказать. Да, я не меняюсь. У меня ко всему один подход — стараюсь понять новое, постигнуть неизученное, овладеть труднодающимся. Для меня мир — пустыня, где каждый шаг сулит открытия. Я всегда в поиске, и не позволю себе почить на однажды достигнутом, и не стану выдавать чужой успех за собственный. Но я не всеяден, не равнодушен, не безучастен. Я пристрастен и односторонен, тут тоже не собираюсь меняться: всегда поддерживаю доброе против злого, честное против подлого, неправедно обиженного против обидчика. О нет, я не из тех, кто добру и злу внимает равнодушно — кажется, так в древности говорили об иных мудрецах. Я человек, никогда не изменяющий человечности. Ибо мое постоянство в том, что я всегда, везде, при всех обстоятельствах за истину против заблуждения, за талант против бездарности, за вечный поиск против бесплодной самоудовлетворенности. Тебе не приходило в голову, что именно этой моей неизменностью и объясняется, что я горячо поддерживал тебя против твоих противников и что само приглашение тебя на Уранию вызвано моими долгими хлопотами в Академии наук? Не я назвал тебя Повелителем Демонов Максвелла, но если ты сегодня с достоинством носишь эту кличку, то поблагодари за это и меня.

Чарли мог бы и не говорить последней фразы, Антон был сражен. Всех его душевных сил хватило только на то, чтобы промямлить:

— Ты выворачиваешь мои слова наизнанку, Чарли!

— Тогда говори словами, которые не выворачиваются наизнанку,— холодно посоветовал Чарльз Гриценко, руководитель Лаборатории экспериментального атомного времени, мой начальник, мой лучший друг, по специальности — блестящий физик, по душевным влечениям — великий софист. И для него так естественно было одерживать верх в любом споре, что он и не порадовался, только подмигнул мне.

Антон перехватил его взгляд.

— Послушайте,— сказал он с удивлением, мы с Чарли битый час надрываем глотки, а Эдик не выговорил и словечка. Что кроется за такой отстраненностью?

У этого человека, Антона Чиршке, было редкое чутье на необычность самых, казалось бы, ординарных поступков! С этим надо было считаться.

2

С этим надо считаться, мысленно остерег я себя. Из столовой мы вышли втроем. Повелитель Демонов широко зашагал в свою каморку на сепарационном заводике. Ходит ножницами, острили о нем, а одна из его лаборанток как-то обозвала своего руководителя: «Повелитель Демонов — журавль»,— очень точная, по-моему, характеристика. Когда до Антона дошли и эти две клички, он деловито поинтересовался: «Ножницы я знаю, а что такое журавль?»

— Чарли, сообщай новости,— сказал на прощание Антон.— И я буду звонить. Эдика не тревожим, от этого молчуна ничего интересного не узнать.

Заводик Антона приткнулся к Биостанции. Повелитель Демонов свернул к ней, мы с Чарли молча прошли мимо ее корпусов. Мардека светила тускло, вот уже месяц — после взрыва сгущенной воды — даже полдень на Урании вряд ли ясней земного зимнего вечера. Правда, потоп закончился, из двух миллионов тонн в пламени и пару вознесенной воды больше полутора миллионов по внезапно сотворенным ручьям излились в котлован будущего Института мирового вакуума: образовалось озеро длиной с километр и шириной метров двести. На берегах этого озера не будут расти деревья и травы, его не обживут рыбы, даже птицы, завезенные на Уранию, стараются облетать стороной. Оно мертво и останется мертвым. Энергетики утверждают, что вода, восстановленная из сгущенной, аномальна: не образует лед, плохой растворитель, не утолит жажды, и вообще, чтобы она снова стала обыкновенной, нужна почти такая же техническая обработка, какая потребовалась, чтобы сгустить первичную воду в сто тысяч раз: литр сгущенной воды, это известно из школьного учебника, весит сто тонн. Между прочим, вода, месяц назад огненным вулканом взметнувшаяся над Уранией, по заводскому

сертификату была сгущена даже в сто тридцать тысяч раз.

Чарли остановился у котлована. В бледном свете полускрытой облаками Мардеки расплавленным металлом поблескивала водная гладь. Я залюбовался мертвым озером. Оно все же было красиво.

— Помнишь? — спросил Чарли.

Я помнил. Пейзаж еще никем не виденного чудовищного взрыва я сохраню в памяти даже при смерти, лишенный уже всякого иного сознания. Мы с Чарли выскочили из лаборатории, бежали бок о бок к Энергостанции. А впереди взметнулся водяной вулкан — не пар, не исполинских размеров гейзер, таким, вероятно, представили его на Земле, когда пришло известие о несчастье. Это было пламя, странное, сине-фиолетовое, бурное, пышущее диким жаром. Вода, ставшая вдруг огнем,— таким мы увидели взрыв. И водяные тучи, быстро затянувшие всю планету, были поначалу не тучами, а дымом. Повелитель Демонов клялся потом, что ощущал гарь. Так это или нет, проверить трудно, хлынувший после взрыва ливень вычистил все окрестности Энергостанции. Мы с Чарли умчались от ливня, он едва не смыл нас в котлован. А в это время Павел Ковальский, мой помощник, катался по полу лаборатории, отчаянно борясь с удушьем. Я вернулся слишком поздно, чтобы спасти его, он умер у меня на руках. Никогда себе этого не прощу!

— Предупреди Жанну о приезде Роя Васильева,— сказал Чарли.— Я мог бы и сам поговорить с ней, но лучше это сделать тебе.

— Развернуть перед Жанной программу ответов на возможные вопросы следователя? — хмуро уточнил я.

— Чепуха, Эдик! Жанна не всегда способна отделить важное от пустяков. Она слишком пристрастна. Это может ввести в заблуждение Роя. Будем помогать ему, а не запутывать пустяками.

— По-твоему, взаимоотношения Павла и Жанны — пустяки?

— Прямое касательство к взрыву и гибели Павла они вряд ли имеют. Или ты думаешь иначе?

— Я ничего не думаю. В моей голове нет ни одной дельной мысли.

— Тогда поразмысли о моей гипотезе взрыва. Положи ее в основу своих рассуждений и рассмотри возможные следствия. Без этого тайны не раскрыть.

Я промолчал. Чарли не догадывался, что с первой минуты несчастья я пришел именно к тому, что он называл своей гипотезой взрыва, и что для меня это вовсе уже не гипотеза, а неопровержимая истина. И что из нее следуют выводы, о которых он и помыслить не способен и которые терзают мою душу неутихающим отчаянием. Он говорил о тайне, а тайны не было. Была действительность, до дрожи, до исступления безысходная. Скоро месяц я бьюсь словно головой о стену, чтобы предотвратить новое несчастье. Я мог рассказать ему об этом, он мог все понять. Но помочь он не мог. Вероятней другое — он помешал бы мне искать выход. Он имел на это право и воспользовался бы им. Я вынужден был молчать.

— И еще одно, Эдик,— сказал Чарли, когда мы подошли к моей лаборатории.— Повелитель Демонов вчера работал с Жанной, она принесла новые пластинки для сепараторов молекул. Он позвонил мне вечером очень обрадованный. Пластинки отличного качества, но обрадовали не они, а сама Жанна. Она выглядела сносно, говорила если и не весело, то и без скорби. В общем, опасения, что она не переживет гибели Павла, можно считать напрасными. Молодой организм берет свое не только на Земле, но и на Урании — не так ли? Учти это, ведь будешь касаться весьма болезненных для нее вещей. Почему ты молчишь?

— Учту все,— пообещал я.

Говорят, последняя капля переполняет стакан. Я чувствовал себя стаканом, в который слишком много налили. Я готов был пролиться — какой-нибудь безобразной вспышкой гнева, каким-нибудь нелепым поступком. Входя в лабораторию, я впервые понял, почему Антон в ярости бьет кулаком по приборам. Но мои приборы работали исправно, кулачная расправа с безукоризненными механизмами не дала бы выход раздражению. Возьми себя в руки, приказал я себе. Эту странную форму успокоения — взять себя в руки — внушил мне Павел. Сам он знал только одно душевное состояние — вдохновение. Правда, в разных градусах усиления, был то исступленно, то лишь восторженно — озаренным. В иных состояниях я его не знал. А мне он со смехом советовал: «Остановись, Эдуард, ты уже готов выпрыгнуть из себя!» И я брал себя в руки, то есть присаживался на стол или подоконник, минуту молчал,

две минуты что-нибудь песенное бормотал — и неистовство утихало, гнев усмирялся.

— Возьми себя в руки, Эдуард,— вслух сказал я себе, сел в кресло и закрыл глаза. Стало клонить ко сну, я не спал уже пятые сутки. Радиационные души и пилюли антиморфена помогают при движении, это известно каждому, а я почти не выходил наружу, к тому же забыл принимать их.

— Ты меня звал, Эдик?— услышал я голос Жанны и раскрыл глаза.

Жанна хмуро глядела со стереоэкрана.

— Приходи,— сказал я,— или я к тебе приду

— Жди.— Экран погас.

Теперь надо было быстро подготовиться к ее приходу. Я задал аппаратам код ее пси-поля, проверил точность настройки. Жанна вошла, когда я подгонял программу командного устройства.

— Брось!— приказала Жанна.— Мне надоела роль подопытного кролика. Садись, Эдуард.

— Все мы теперь подопытные кролики, Жанна,— возразил я, но отошел от механизмов.

Она внимательно осматривала меня. То же делал и я — выискивал в ее лице, в фигуре, в движениях, в голосе что-либо неизвестное. Она сидела в кресле похудевшая, побледневшая, усталая, нового в этом не было, она и раньше бывала такой — не все эксперименты сходили удачно, результат каждого отпечатывался на ней. Но в каком бы она ни была состоянии, она оставалась красивой. Красивой она была и сейчас, измученная, почти больная. Я привык доверять прозорливости Антона. То, что он сказал Чарли об улучшении настроения Жанны, тревожило. Ни он, ни Чарли не знали, какая информация кроется за невинной фразой: «К Жанне возвратилось хорошее настроение». Она тоже не могла этого знать.

— Ты раньше боялся на меня смотреть,— сказала она.— Взглянешь и потупишь глаза. И при каждом взгляде краснел. А сейчас готов пожрать меня ненасытным взглядом.

— Испытующим, а не ненасытным, Жанна. Раньше я был просто влюблен в тебя.

— Сейчас ты тоже влюблен, но без простоты?

— Простоты нет, ты права. А что до любви, то меня терзают чувства сильней любви. Можешь не стра-

шиться других признаний. Гибель Павла ничего не изменила в наших с тобой отношениях, так я считаю.

— Я тоже. Начнем возвещенный тобой разговор. Для начала устанавливаю — внешне ты не изменился. Что ты скажешь обо мне?

— Ты выглядишь нездоровой. После терзаний этого месяца такой вид вполне естественен. Больше ничего сказать не могу.

— На этом закончится наша беседа?

Она еще не начиналась. К нам вылетела с Земли следственная комиссия. Правда, в составе одного человека, зато стоящего десяти.

Я рассказал Жанне о Рое Васильеве. Она поморщилась.

— Опросы, расспросы, допросы... Въедливый человек этот Рой.

— Ты его знаешь?

— В отличие от вас с Павлом, занятых только своими работами, я интересуюсь и знаменитыми современниками. Рой и его брат Генрих очень известны на Земле.

— Известность Роя и его брата на Земле имеет значение для нас?

— Непосредственное, Эдуард. Рой прославился тем, что доискивал истину в ситуациях, где другие мастера розыска пасовали. Приготовься к полной с ним откровенности.

— Именно это и советует нам Чарли. Быть с Роем предельно откровенными, помочь ему установить истину. Под истиной Чарли понимает свою теорию взрыва из-за поворота времени на обратный ход.

— Ты придерживаешься иного мнения?

— Чарли абсолютно прав. Но его теории недостаточно, чтобы установить все причины катастрофы. И в эту особенность ситуации нельзя посвящать Роя. Во всяком случае, пока.

— Не понимаю, Эдуард,— хмуро сказала Жанна.— Хитрости в тебе еще не наблюдала. Лукавство и ты — категории несовместимые. И собираешься обманывать изощренного в хитросплетениях дознавателя?

— Должен это сделать.

— Объясни — почему?

— Жанна, это же проще простого. Чарли совершил великое открытие, указав на обратный ход времени. Гипотеза его хоть и парадоксальна, но достойна увен-

чать собой любой розыск причин катастрофы. Чарли хочет, чтобы Рой Васильев пришел именно к такому выводу.

— И это будет правильный вывод.

— Да, если это будет только выводом.

— Опять не понимаю тебя, Эдуард.

— Жанна, ты сама считаешь этого Роя Васильева проницательным исследователем. Вообрази себе и такую возможность: Рой приходит к гипотезе Чарли Гриценко не в конце долгого пути розысков, а принимает ее сразу. Тогда она будет не выводом, а предпосылкой. На выводах останавливаются, от предпосылок отталкиваются. Рой неизбежно двинется дальше. Он поставит пред собой следующий вопрос — как стал возможен поворот времени на обратный ход?

— Такой вопрос поставит пред собой и Чарли.

— Несомненно. Но раньше ведь надо доказать истинность своей гипотезы, он пока увлечен только этим. Стало быть, есть время для завершения наших с тобой экспериментов. А дознаватель может сразу перейти к ним.

— Тебя это страшит?

— Мы должны завершить исследования! Павел погиб, но его расчеты подтверждены. Они должны из набора формул стать реальным физическим процессом. Не прощу себе, если этого не сделаю!

В ней происходила борьба. Я знал заранее, что она предложит. Павел предупреждал, что тайные поиски не для Жанны, она постепенно сгибается под тяжестью накапливающихся секретов. Он советовал даже кое от чего ее отстранить для нашего спокойствия.

— Эдуард, мне надоело скрываться,— сказала она то, чего я ожидал.— Объявим, чем занимаемся, и попросим разрешения на эксперименты.

— И немедленно получим категорический отказ!

— Я устала, Эдуард...

— И готова примириться с тем, что великую загадку природы мы не раскроем?

— Боюсь, я не рождена раскрывать великие загадки природы. Павел убедил меня в другом. Но его гибель опровергает его уговоры. Поверь, я креплюсь, но сколько можно крепиться?

Одно в том, что она говорила, было утешительно. Повелителю Демонов отказало его ясновидение. Она отнюдь не вернулась от горя к веселью. С моей души

спала большая тяжесть Теперь я был уверен, что удастся переубедить ее. Я ходил, она сидела и молча слушала мои объяснения и просьбы. Так бывало и прежде. Она садилась в сторонке, а мы с Павлом шагали от стены к стене, говорили, кричали, ссорились, мирились, хлопали друг друга по плечу, с ликованием утверждали, что совершили открытие, с сокрушением признавались в неудачах, обвиняли себя в бездарности, восхваляли свои таланты... Она переводила глаза с одного на другого, ее щеки от напряжения охватывало пламенем всегда красивая, она становилась прекрасной!

Так было и на этот раз — я говорил, она слушала. Наши эксперименты оборвались трагически, но их надо завершить, чтобы не повторилась новая трагедия. Их нельзя прервать. Вызванные ими процессы продолжаются, и пока не установить, как далеко они зашли и чем закончатся Отказ от продолжения может породить свои опасности.

Даже если нашим соседям и мало что грозит, то под угрозой мы с тобой, Жанна, и в первую очередь — ты! — говорил я. Только завершение экспериментов гарантирует нам безопасность. Жанна, Жанна, ты же ученый-физик, мастер эксперимента, как же ты не понимаешь, что мы вызвали к жизни злого джинна. И не будет нам спокойствия, пока не возвратим его в бутылку или не скуем на него иные путы.

— Ты прав, эксперименты надо закончить, сказала она, когда я выговорился.— Постараюсь скрыть от Роя их суть, если он ими заинтересуется. Но это для меня пока неясно.

— Он ими заинтересуется!

Жанна ушла. Я подошел к окну, следил, как она перепрыгивала через маленькие лужи, оставшиеся от недавнего потопа, обходила большие. И ни разу не оглянулась. Странная походка — упругая, стремительная, она подпрыгивала, как бы взлетая. Столько раз я украдкой любовался тем, как она ходит между институтскими лабораториями! У меня было скверно на душе Я убедил ее, но не назвал реальных опасностей. Я не смел говорить о них. Их надо было предотвратить, а не разглагольствовать о грядущих ужасах. Я подошел к регистратору. Прибор писал нормальную кривую пси-поля Жанны Прогноз Антона Чиршке не подтверждался У меня было достаточно времени, чтобы раз-

работать противодействие Теперь я ждал Роя Васильева.

3

Рой задерживался на Латоне. Два рейсовых планетолета прибыли с грузами для Биостанции. Для Энергостанции и Института времени не поступало ничего. Энергетики нервничали, Чарли радовался: его сообщение в Академию наук, переданное по сверхсветовому ротоновому каналу, видимо, произвело впечатление: до установления причин взрыва воды энергетики будут ориентироваться на ядерные генераторы, хотя они и менее эффективны.

— Придется и нам ужать эксперименты с атомным временем, иначе говоря, временно ограничиться безвременьем,— острил Чарли.— Это, естественно, плохо — мы ведь основной потребитель энергии на Урании. Зато другое хорошо — на Земле поняли серьезность аварии. Предвижу полезное дополнительное внимание к работам Института времени.

Особое внимание к нашим исследованиям было как раз то, чего я хотел бы избежать, но после катастрофы об этом не приходилось и мечтать. Я улыбался и отмалчивался.

Однажды утром меня вызвал Чарли.

— Эдик, подними свои бренные кости и выметывай их наружу,— почти весело сказал он.— Идем встречать гостей с Земли. Нет,— поспешно добавил он,— вижу по твоим губам, что собираешься послать меня к черту К черту я не пойду. Жду тебя у выхода через пять минут.

Среди особенностей Чарльза Гриценко имеется и точность. Он гордился, что у него все «минута в минуту». Он говорит о себе: «Я повелитель времени, хоть рабски ему покоряюсь. Я командую им в соответствии с его законами». Между прочим, его успехи в экспериментировании с атомным временем неотделимы от уважения к законам самого времени. Одно из возражений, какие я выдвигал против иных увлечений Павла: ставил Чарли в пример.

Я вышел из лаборатории на исходе последней из дарованных мне пяти минут, и мы зашагали в космопорт

Вероятно, это был первый ясный день после катастрофы. Теоретически могу представить себе, что и до

того попадались кратковременные прояснения, но они прошли незамеченными. А сегодня на планету вернулся полный дневной свет. Мардека светила ярко, было тепло, воздух, еще недавно мутный, как дым, стал до того прозрачным, что виднелись башни космопорта, а это около двадцати километров.

— Авиетки я не вызывал, сядем в рейсовый аэробус,— сказал Чарли.

До отправления аэробуса было минут десять, мы присели на скамью. С холма открывалась великолепная, всхолмленная, цветущая равнина. Если бы я не знал, что нахожусь невообразимо далеко от Земли на еще недавно мертвой планете, переоборудованной специально для опасных экспериментов, запрещенных в окрестностях Солнца, я чувствовал бы себя как на Земле. Впрочем, это и было «как на Земле», строители Урании постарались создать на ней главные земные удобства: мы восхищались нашей планетой как великим достижением астроинженеров и космостроителей.

— Понимаю, ты тревожишься,— сказал Чарли; мое молчание и сейчас подействовало на него информативно.— И хорошо, что тревожишься. Тревога — рациональная реакция на любые опасности. Один древний бизнесмен телеграфировал жене: «Тревожься. Подробности письмом». Но не переходи меры. Тревога не должна превращаться в панику. Эксперименты с временем Рой бессилен запретить.

— Смотря какие эксперименты,— пробормотал я.

— Любые! Мы работаем по плану Академии наук. И только Академия правомочна внести изменения в свои планы. Между прочим, ее решения зависят и от меня. Этот землянин неплохой космофизик, но никакой не хронист. Он не возьмет на себя ответственность за направление наших исследований. В проблемах атомного времени Рой Васильев разбирается не глубже, чем воробей в интегральном исчислении.

Чарли хотел меня успокоить, но еще сильней встревожил. Я предпочел, чтобы Рой был полузнайкой, а не профаном в загадках атомного времени. Полузнайка будет углублять свои малые сведения, то есть продолжать традиционную дорогу. Но профану все пути равноценны, он способен зашагать и по тем, что полузнайке покажутся невероятными, а среди невероятных — не исключить и нашу с Павлом исследовательскую тропу

Ты не согласен? — поинтересовался Чарли.

— Согласен,— сказал я и молчал до космопорта.

В космопорте собралась вся научная элита Урании. Впереди компактным отрядом сгустились энергетики, это я еще мог понять, катастрофа на энергоскладе их всех больше затрагивала. Но зачем позвали биологов? Я так и сказал Антону Чиршке, возбужденно вышагивающему в сторонке от толпы. Он закричал, словно в парадной встрече видел мою вину:

— А я? Я тут для чего, объясни?

Антон сердито пнул ногой березку — хилое белоствольное деревцо с листьями березки и цветами, похожими на пионы. Березка закачалась, осыпая яркокрасные лепестки. Это немного успокоило Повелителя Демонов. Я подошел к Жанне, она разговаривала с Чарли. Бледная, очень печальная, красивая, она так невнимательно отвечала на его остроты, что я бы на его месте обиделся. Чарли отозвали в передовую группу энергетиков, и Жанна сказала мне:

— Мне трудно, Эдуард, но я креплюсь. Не тревожься за меня. Что нового принесли вчерашние эксперименты?

Так она спрашивала каждое утро: вызывала по стереофону и задавала один и тот же вопрос. И я отвечал: нового пока нет, копим данные. Она грустно улыбнулась, выслушав стандартный ответ, и пожалела меня:

Ты плохо выглядишь, Эдуард. Я не собираюсь отговаривать тебя от круглосуточных дежурств у трансформатора атомного времени, ты все равно не послушаешься. И не посылаю к медикам, ты к ним не пойдешь. Но иногда думай и о себе.

— Я часто думаю о себе,— заверил я.

Так мы перебрасывались малозначащими для посторонних фразами, с болью ощущая сокровенное значение каждого слова. На площадку опустился планетолет с Латоны, и вышел Рой Васильев. Он прошагал сквозь расступившуюся толпу, пожал с полсотни рук — мою тоже,— столько же раз повторил: «Здравствуйте!» — приветствие прозвучало почти приказом: «Смотрите, будьте у меня здоровыми!» Мне в ту минуту почудилось, что я в такой странной интонации воспринял его приветствие из-за разговора с Жанной о здоровье, а реально оно обозначало обычность встречи. И понадобилось несколько встреч, чтобы я понял: у этого человека, астрофизика Роя Васильева, не существует обы-

денности выражений и притупленной привычности слов, он говорит их каждый раз почти с первозначным смыслом — и даже такое отполированное до беззначимости словечко, как «спасибо», меньше всего надо воспринимать как простую признательность,— дикарское, полуиспуганное, полумолящее «спаси Бог!» куда точней: горячее, от души, а не вежливая благодарность. В наших последующих встречах эта особенность Роя сыграла немалую роль, но в тот первый день знакомства я и представить не мог, как вскоре понадобится вдумываться в смысл, казалось бы, вполне однозначных слов.

Зато в аэробусе я составил себе твердое представление о внешности гостя с Земли — единственное, что сразу узнавалось точно.

Рой Васильев сидел в переднем кресле, у коробки автоводителя, лицом к пассажирам. То один, то другой обращались к нему с вопросами. Он отвечал неторопливо и обстоятельно, не быстрыми репликами, обычными на Урании, а сложно выстроенными соображениями, в каждую фразу вкручивалось с пяток придаточных предложений, уводящих от главного смысла. Я украдкой запечатлел на пленке один из вычурных ответов о цели его командировки на Уранию и ограничился этим — ничего важного сегодня сказано не будет, важное начнется, когда он по-деловому ознакомится с Уранией. Я молча разглядывал посланца с Земли. Смотреть на что было.

Он был высок, почти на голову выше любого уранина. Правда, как-то получалось, что на Уранию уезжали люди среднего роста и малыши, ни один из земных исполинов сюда не выпрашивал командировок. На Земле Рой ростом не поразил бы, но здесь выделялся. Худой, широкоплечий, длинноногий и длиннорукий, он плохо умещался на низком кресле и то протягивал вперед ноги, то, поджимая их, поднимал колени. Лицо его тоже было не из стандартных — большая голова, собранная из крупных деталей: широкий, мощной плитой, лоб, нос из породы тех, какие называют рулями, толстогубый рот и сравнительно маленькие на таком крупном лице голубые холодные, проницательные глаза. Рой методично обводил взглядом всех в аэробусе, ни на ком не задерживался, в глазах светилось пристойное равнодушие, он не приковывался глазами к собеседнику, а скорей отстранялся ими Так было, пока он

не бросил взгляд на меня. То, что совершилось при этом, и сейчас мне видится странным. Глаза его вдруг вспыхнули и округлились, он словно бы чему-то поразился. Он не мог знать, кто я такой, никто при знакомстве не называл моей должности, а фамилию он пропустил мимо ушей. И подозревать, что я имею какое-то особое отношение к трагедии, у него оснований не было. А он впился в меня глазами, как бы открыв что-то новое. Возвратившись в лабораторию, я долго стоял у зеркала, стараясь понять, чем поразил его: лицо как лицо, некрасивое, немного глуповатое, кривоносое, большеглазое, узкоскулое, со скошенным подбородком. В общем, по снисходительной оценке Чарли: восхищения не вызывает, но и кирпича не требует.

Мы подлетели к гостинице, и Рой объявил свою программу: сперва детально ознакомиться с Уранией, его давно интересует эта замечательная планета, столько о ней на Земле историй! Потом побывать на Энергостанции, на Биостанции и в Институте экспериментального атомного времени. Дальнейшее выяснится.

Мы возвращались в свои лаборатории вчетвером — Жанна, Антон, Чарли и я. Повелитель Демонов кипел, Чарли иронизировал, Жанна изредка подавала реплики, я молчал — старательно молчал, как потом определил мое поведение Чарли.

— Нет, зачем нас заставили терять драгоценное время на пустые встречи и ничего не значащие разговоры? — негодовал Антон. — Ну, прилетел кто-то, ну, проехал в гостиницу, ну, что-то маловразумительное пробормотал, а я при чем? Какое мне дело до этого? Вызовут на объяснение, пойду объясняться. Каждый будет говорить в меру своего понимания. А пока одного прошу — не тревожьте попусту!

От досады он остановился и топнул ногой. Чарли потянул его за руку.

— Не теряй свое драгоценное время еще и на остановки. Ты ошибаешься в главном — каждый будет говорить в меру своего непонимания. Наука состоит из интеллектуальных приключений. Приключения науки классифицируются как загадочные, важные и пустячные. Считай, что сегодняшняя экскурсия относится к приключениям пустячным. Для тебя заполненное время — некое божество, которому все подчиняется. Но каждый бог имеет своего черта, а черти, особенно из любимцев бога, народ вздорный и непоследовательный.

Я в студенческие годы читал это в древних курсах демонологии.

Антон опять остановился. Он любил замирать на месте, когда в голову являлись интересные мысли. Но сейчас он только закричал:

— Надоели твои парадоксы! Ты способен перевести свои туманные изречения на человеческий язык?

— Способен. Перевод будет примерно такой. Рой Васильев ровно на порядок умней тебя, хотя по габаритам — всего лишь средней руки медведь. Ты требуешь примитива, тебе немедленно подавай отполированные формулировки. А Рой разговаривает полуфабрикатами, лишь намечает силуэты мыслей, а не вырисовывает каждый завиток. Он и допрашивать будет так — на подтекстах, многозначительно, а не однозначно.

Допросы на подтекстах? Очередная острота, Чарли?

— Очередное точное постижение действительности. Ожидаю неожиданности. И делаю из этого важные для нас всех выводы.

— Выводы? — Антон сделал вид, что безмерно удивлен. Что-то новое! До сих пор ты не выбирался из сферы доводов, предоставляя другим делать выводы. Твоя стихия о каждой простенькой вещи высказывать ровно десять противоположных мнений, громоздить загадку на загадку. А что верно, ты не успеваешь установить.

На этот раз отступаю от своего обыкновения. Я прослушал вступительный словесный взнос Роя Васильева в общую сумятицу суждений о взрыве и наметил дорогу, по которой нам всем шагать.

Объясни в двух словах.

Двух слов не хватит. Дай сто.

Даю сто, но ни одного слова больше.

В сто слов Чарли уложился. Он гнул ту же линию. Ему не понравилась туманность первых высказываний Роя. Он, Чарльз Гриценко, отчетливо видит: Рой готов заранее обвинить хронистов больше, чем энергетиков или биологов. Когда он познакомится с гипотезой Чарли, мнение, что виноваты работники Института времени, превратится в убеждение. Он замахнется на опыты по трансформации атомного времени. Так вот — не поддаваться! Если в чем-то второстепенном и уступить, то ничем важным не поступаться.

Ты уже говорил мне об этом,— напомнил я.

Тебе да, Жанне и Антону — нет Надо сплотиться. Нас будут допрашивать поодиночке. Предлагаю после каждой встречи с Роем информировать остальных о каждом его слове, о том, как он слушал, как глядел, с какими интонациями говорил...

— Вопросы, опросы, расспросы, допросы!.. повторила Жанна, что уже говорила мне.— Как это противно! Ну скажи, пожалуйста, какое значение могут иметь интонации голоса Роя?

— Первостепенное, Жанна. Эдик, ты что-то записывал в аэробусе, включи-ка!

Я вынул карманный магнитофон. Антон опять остановился. Мы стоя выслушали длинную фразу, записанную, правда, не с самого начала: «...а потому необходимо, учитывая заинтересованность Земли в благополучии Урании и ответственность каждого, поскольку мои особые задания не выходят за эту границу, а сам я чрезвычайно в этом заинтересован и могу вас заверить, что только в этом направлении буду действовать и, стало быть, картина задачи выясняется как картина дальнейшей безопасности, хотя неизбежны всяческие отклонения, то именно это и подчеркнуть, а после разработать окончательные условия, отдавая себе отчет, что и Земля и Урания тут одинаково согласны».

— Абракадабра какая-то! — рассердился Антон.

По-моему, все понятно, только длинно и витиевато. Воспримем высказывания Роя, как некогда спартанские вожди восприняли двухчасовую речь афинских послов, явившихся в Спарту с просьбой о мире.

— Никогда об этом не слыхал.

— Тогда послушай. Афины хотели мира, Спарта жаждала продолжать удачную для нее войну. И спартанцы ответили афинским послам, что ничего не могут ответить на их речь, потому что не поняли ее конца, а не поняли конца, потому что забыли начало.

— Остряки. Но какое это имеет отношение к Рою?

— Умницы, а не остряки. Они сделали вид, что не понимают речи афинян именно потому, что отлично ее понимали. Рой Васильев совместил в себе афинянина со спартанцем: говорил длинно и всесторонне, как афинянин, каждый завиток предложения имеет точный смысл, а в целом все звучит для моего уха спартански: идите, друзья, пока что подальше, а придет время, получите разъяснения поточней.

— Мне пора к себе,— сказала Жанна и ушла от нас.

Мы заговорили о ней. Антон снова сказал, что Жанна оправляется от потрясения. Разве она не засмеялась, когда Чарли заговорил о вопросах на подтекстах? После гибели Павла было опасение за ее здоровье, теперь такой угрозы нет. Лечение дало результаты.

— Смеяться-то она смеялась, но уж очень нерадостно,— заметил Чарли.— И в надежном излечении я не уверен. Ее лечили от второстепенных хворей — нервного потрясения, истощения, головокружений. А надо было лечить от основного заболевания. Основное заболевание — то, что она живет после гибели Павла. Лекарства от болезни, даже от преждевременной смерти — есть. Лекарства от жизни нет.

— Лишить ее жизни для излечения?

— Кто из нас любитель парадоксов, дорогой Антон? Не лишать жизни, а изменить жизнь — вот что излечит ее. Скажем, возвращение на Землю, полное прекращение всех исследований, в том числе и тех, что она делает для тебя.

— Исключено! Или хотите, чтобы в ваши теплые лаборатории вторгся космический холод? Не забывайте, что теплоснабжение Урании обеспечивают мои сепараторы молекул.— Антон подумал и добавил: — Все же я вижу в Жанне хорошие перемены. Возможно, душевное ее состояние остается скверным, но физически она оправилась, даже похорошела.

На развилке шоссе Чарли снова напомнил:

— Итак, друзья, держимся твердо: уступать, но не поступаться!

«Уступать, но не поступаться»,— так он объявил, уходя к себе. В сущности, то было пустое наставление, в нем не содержалось конкретности. Но для меня в такой краткой формуле таилось все, чего я мог пожелать. Чарли, при всем его остроумии, и не догадывался, сколь много значили его слова. «Уступать, но не поступаться»,— твердил я, шагая по лаборатории, заставленной механизмами и приборами. Самописцы чертили все те же кривые, процесс шел своим ходом — от пункта к пункту, от этапа к этапу. Всей силой мысли я стремился убыстрить его, но он двигался по своим законам, не по моему хотению. Мы с Павлом, как некие могучие волшебники, вызвали к жизни еще никому не ведомые потенции природы, но не подчинили их себе: гибель Павла, взрыв двух миллионов тонн сгущенной воды стали свидетельством нашего бессилия. Дозна-

ется ли Рой Васильев до тайны трагедии на Урании, если сам руководитель Лаборатории экспериментального атомного времени, сам блистательный академик Гриценко, далек от ее раскрытия? Скоро ли дознается? Сколько времени нужно мне и Жанне, чтобы овладеть коварным, бесконечно опасным джинном, так безрассудно нами вызволенным из атомного заточения? Даст ли нам землянин Рой это время? Что он потребует от нас? Что разрешит, что запретит? У меня голова распухала от трудных мыслей. «Уступать, но не поступаться»,— твердил я себе как заклинание. И понятия не имел, что именно уступать, чем именно поступаться.

День шел за днем. Рой не торопился. Цистерна со сгущенной водой оставалась на Латоне. Энергетики жаловались, что ресурсы ядерных аккумуляторов на пределе. Биологи ворчали на слишком жесткий энергетический лимит. О нашем институте и говорить не приходилось, любой эксперимент со временем требовал бездны энергии — девять десятых мощностей Энергосистемы работали на нас. Хронисты вели себя сдержанней энергетиков и биологов. Гипотеза Чарли, что причина аварии в неполадках с атомным временем, пугала всех. Мы не требовали немедленной доставки с Латоны заветной цистерны, ибо опасались вопроса: как предотвратите новую аварию, если причины ее в ваших работах, но что за причины, сами толком не знаете?

Рой, повторяю, не торопился. До него, казалось, не доходили сетования энергетиков и биологов. Он безмятежно гулял по Урании. Его видели на берегах неширокой Уры, он карабкался по сопкам и спускался в долины, осматривал дома и заводские здания, облетал на авиетке южные леса. Держал себя как турист, а не как дознаватель. И когда заговаривал с кем-либо, то лишь для того, чтобы выказать восхищение пейзажем планеты, выбранной людьми для своих опасных экспериментов. Разглагольствовал о благоустроенности, о том, что всего за два человеческих поколения каменистый дикий шарик в космосе превратили в цветущий сад. «Он, кажется, считает Уранию космическим домом отдыха»,— говорили те, кого он удостаивал пока лишь своими пейзажными беседами.

И когда он приступил к выполнению своего задания, то и его повел иначе, чем ожидали: посетил все биологические лаборатории, вызывал биологов для собеседований. Расспрашивал о том, что не имело отно-

шения к взрыву: как ведут себя искусственно синтезированные животные, рыбы, птицы, растения, какая от них польза, будут ли биологические искусственники вывезены на Землю и другие планеты для расселения там, или жизнь их ограничится лишь индивидуальным, а не видовым существованием? Даже сами биологи — они безмерно гордятся своими удивительными созданиями: наши, мол, успехи — вершина человеческой науки,— даже они удивлялись расспросам Роя.

Затем пришла очередь энергетиков. Этих-то несчастье на Энергоскладе касалось непосредственно. Теперь в разговорах посланца Земли послышались словечки: «взрыв, катастрофа, трагедия, меры предосторожности». Чарли не сомневался, что ни один энегетик не способен дать толковое объяснение события. Для них сгущенная вода была то же, что для древних энергетиков уголь или нефть — они использовали готовый продукт, не задумываясь, как его получили.

— Пока Рой не поставит себе вопроса — как сгущают воду, он и не приблизится к раскрытию загадки,— утверждал Чарли.— Технологию получения воды надо было изучать на Земле. Он этого не сделал.

Последним из энергетиков Рой пригласил к себе Антона Чиршке.

Повелитель Демонов так заторопился предстать перед дознавателем, что забыл известить нас о встрече. Чарли узнал об его уходе к Рою и предложил мне и Жанне срочно прибыть в лабораторию Антона. Не скажу, что я охотно оторвался от процесса, но поспел до возвращения Антона. Чарли развлекал Жанну, но это удавалось плохо.

— Ужасно хочу спать,— пожаловалась Жанна.— Если засну, не будите до появления Антона.

— Все нормально,— объявил Чарли.— Сон это здоровая реакция на нездоровую действительность. Любое выздоровление начинается с позыва ко сну.

Я хотел было напомнить Чарли, что недавно он доказывал невозможность излечения, если не ликвидировано основное заболевание. А основное заболевание Жанны — тот факт, что она живет. Но он вовремя сообразил, что парадоксы такого рода не для слуха Жанны. Тут ворвался Антон Чиршке и с порога закричал:

— Вы у меня? Я каждого вызывал, никто не откликался. Черт возьми, что произошло! Нет, этот Рой штучка, можете мне поверить!

— Садись! — приказал Чарли. — Не топай ногами и не размахивай руками. Постарайся говорить связно. Точно передать разговор ты не сможешь, но хоть ни о чем не умалчивай и не мэкай.

Не сомневаюсь: Чарли хотел, чтобы Антон обиделся. Обиженный недоверием к своим способностям, Антон начнет следить за собой. Чарли добился большего — Повелитель Демонов вознегодовал. Он обругал Чарли и взял себя в руки. Это дало ему возможность десять минут толково изъясняться.

— Знаете, с чего начал этот белобрысый землянин, этот медведь средней руки, как ты его определил, Чарли? Ни за что не поверите! Пожал полутонным усилием мою руку, как будто не пожимал, а выжимал ее, и объяснил, что больше всего его интересует, почему я ношу кличку Повелитель Демонов. Я, естественно, поправил: не Повелитель Демонов, а Повелитель Демонов Максвелла. Он осведомился, есть ли в названиях разница. Я заверил, что разница весьма существенная. Он попросил разъяснить эту существенную разницу. Я ответил, что ее должен видеть каждый здравомыслящий и культурный человек, в особенности физик по образованию. Рой и глазом не моргнул, даже стал мягче голос. «Если это вас не затруднит, — сказал он и так улыбнулся, словно я его одарил, а не высмеял, — то я бы хотел узнать подробней, что должен видеть в разнице демонов: обычных и Максвелла». Общеизвестные демоны, сказал я тогда, это нечто вроде недобрых духов, непрерывно общающихся с людьми, то есть чаще всего вредящих людям — всякие черти с рогами и хвостами, домовые в лохмотьях, заросшие шерстью крысообразные бесы, безрогие и бесхвостые гномы и кобольды, эльфы и сильфиды в развевающихся одеждах, а также прекрасные юные феи, уродливые старухи ведьмы, лесные бродяги лешие, коварные речные русалки, глуповатые джинны в бутылках и прочие в том же роде. Объединяет этих многообразных демонов то, что все они сверхъестественные существа, каждое со своим именем и норовом и непохожим на других обликом, а также то, что эти существа реально — в смысле физически — не существуют. Они плод воображения.

— Понятно, — сказал он. — Нормальные демоны имеют свои фигуры и лица, носят особые имена, по-особому общаются с людьми, а реально их нет. Этими красочными плодами воображения вы не командуете.

Сколько вспоминаю, такими демонами повелевал в древности некий царь Соломон и два-три калифа. В общем, с ними просто. Ну а демоны Максвелла? Они тоже имеют имена и телесный облик? И существуют физически?

— Нет,— сказал я.— Демоны Максвелла это научные понятия. У них нет телесного образа, их не наделили именами. Великий физик прошлого Джеймс Кларк Максвелл предположил, что если бы существовал демон размером с молекулу, и если бы этот демон стоял у забора с отверстием, прикрытым дверкой, и если бы к отверстию подлетали молекулы, он смог бы их сепарировать по скоростям: открывал дверцу перед быстрой молекулой, закрывал перед медленной. В результате быстрые пролетали бы по другую сторону забора и там повышалась температура, а медленные оставались по эту сторону и здесь температура падала. Мне удалось осуществить гениальную идею Максвелла.

— Поэтому вас и назвали Повелителем Демонов Максвелла?

— Совершенно верно.

— И эти демоны, эти абстрактные научные понятия, не имеющие ни имен, ни физического образа, у вас приняли вид...

— Особого рода пористых перегородок, которые я изобрел еще на Земле и которые поставляет мне на Урании лаборатория Жанны Зориной. Быстрые молекулы пролетают сквозь них, медленные отталкиваются. Вроде бега с препятствиями: хороший бегун перепрыгивает через поставленный на пути забор, плохой задевает его ногами и падает...

— Я слышал, все отопление на Урании производится вашими демонами, то есть сепараторами молекул?

— И охлаждение тоже. Все холодильные установки работают от моих сепараторов.

— Как технически это осуществляется?

— Проще простого. Насосы вдувают в сепараторы воздух под давлением. Быстрые молекулы проскакивают через перегородку и отводятся по горячей трубе, медленные рушатся в трубу холодную. Вот и все.

Так я ему растолковал конструкцию моих сепараторов. Он кивал головой, улыбался — демонстрировал, что восхищен простотой объяснений. А потом задал стандартнейший вопрос всех невежд: не опровергают ли мои демоны, принявшие телесную форму пористых

перегородок, второе начало термодинамики. Вот, мол, есть такое понятие — энтропия, мера вырождения энергии, мера хаотичности движения молекул. Он затвердил еще в восьмом классе, что энтропия во всех физических процессах должна расти, увеличивая хаос и беспорядочность,— как у меня с этим священным понятием термодинамики? Не ополчились ли мои демоны на фундаментальные законы физики? Я объяснил, что хороший физик не должен ограничиваться знаниями, приобретенными в восьмом классе. И популярно растолковал, что и в моих установках энтропия растет И что если снова соединить горячий и холодный потоки, то воздух возвратится к прежней температуре — повышение ее в одной трубе компенсируется понижением в другой, а к этому еще добавляется потеря энергии на работу насосов, весьма немаловажная величина, доложил я ему. В общем, можете не волноваться, Рой, сказал я, энергия в моих установках не создается и не уничтожается, а лишь трансформируется. Он любезно заверил, что уже не волнуется, и предложил перейти от сепарации молекул к взрыву сгущенной воды. Я согласился, что пора перестать попусту терять время. Он и этот выпад снес. У него дьявольская выдержка, вам нужно заранее это учесть. Он почти вежливо сказал:

— На Земле мне объясняли, что не существует физических процессов, которые могли бы вызвать нарушение структуры сгущенной воды. Вы согласны с этим?

— Абсолютно,— ответил я.— Превращение сгущенной воды в обычную происходит только с открытой поверхности. При этом выделяется огромное количество энергии, которая и утилизируется. Процесс подобен испарению, только несравненно более энергоемок и несет обратный знак — при испарении энергия поглощается, а не выделяется И как нельзя заставить воду превращаться в пар во всей массе, если температура ниже точки кипения, так нельзя и сгущенную воду во всей массе, а не с поверхности заставить менять свою структуру. Вам правильно говорили на Земле, друг Рой: не существует условий, вызывающих превращение изнутри сверхплотной массы в обычную. Даже если бросите цистерну со сгущенной водой в звездные недра, то и там температура в миллионы градусов не вызовет мгновенного взрыва. Напомню, что баллоны со сгу-

щенной водой испытывались в термоядерном пекле и теория подтвердилась.

— Однако взрыв на Урании произошел,— сказал он.

— Не отрицаю.

— И, стало быть, теория опровергнута?

— Стало быть, опровергнута.

— У вас есть объяснение?

Я рассердился. Его вопросы раздражали примитивностью, почти невежеством. Если бы я знал, какой удар готовит мне Рой, я бы сдержался. Но он глядел так наивно, так легко сносил мои выпады, что я зло напомнил: расследует катастрофу он, а не я. Если бы мне стали ведомы причины катастрофы, ему не понадобилось бы прилетать на Уранию. Не вижу никаких объективных причин для несчастья. У него похолодели глаза. Он не взглянул, а ударил взглядом.

— В самом деле? А я собираюсь предложить вам для рассмотрения одну абстрактную возможность несчастья. Она непосредственно вытекает из вашего рассказа о своих работах.

— Вот как?— Надо было вскочить, топнуть ногой, в крайнем случае стукнуть кулаком, с вами бы я так и поступил, но с ним постеснялся, только постарался, чтобы прозвучало язвительно:— Какие же возможности катастроф таятся в моих работах?

— А вообразите, что стенки энергетической цистерны каким-то способом превращены в разновидность ваших пористых перегородок и что сквозь них бурным потоком вдуваются в сгущенную воду под давлением быстрые молекулы. Вы уверены, что это не приведет к взрыву?

Я жестоко совру, ребята, если не признаюсь, что меня ошеломило. То, что Рой говорил, было дико, но абстрактная возможность такого объяснения существовала.

— Но ведь этого не было!— воскликнул я.

— Я говорю о возможностях, а не о реальностях.

Тогда я ответил:

— А не кажется ли вам, друг Рой, что привлекать для объяснения взрыва сепарационные перегородки ничем не лучше, чем вызывать для этого реальных демонов?

— Реальных, в смысле реально не существующих?

Вы говорите о бесах и дьяволах, феях и ведьмах, леших и эльфах?

— Именно о них. Почему не объяснить катастрофу на Энергоскладе вторжением в цистерну сгущенной воды джиннов или кобольдов?

— Попробуйте изучить и эту возможность, вы ведь крупный специалист по демонологии,— отпарировал он.— Надо, надо вам оправдывать прозвище Повелитель Демонов, друг Антон.

На этом беседа закончилась. Он снова мощно выжал мою руку и милостиво отпустил. Вот такой разговор, други мои. Боюсь, что не так я иронизировал над его наивными вопросами, как он подшучивал надо мной. Бросаю вам психологическую кость, погрызите ее.

— Погрызем, погрызем!— сказал Чарли.— Но раньше послушайте, как я оцениваю сцену, описанную Антоном.

Толкование Чарли было просто. Рой Васильев работает по системе. Он подбирается к загадке исподволь — последовательно отсекает все, что не может иметь значения. Его прогулки по Урании отнюдь не пейзажное времяубивание. Если бы это было так, то он продолжал бы их, а он как отрезал все выходы на природу — видимо, установил, что природные условия с катастрофой не связываются. Начал опросы с биологов и опять установил, что они далеки от тайны — такое на первых порах пытливое изучение новых биологических объектов, такой интерес к искусству геноконструирования в считанные часы сменяются полнейшим равнодушием. Подходит очередь энергетиков — следующий этап приближения к загадке. И в случае Антона, последнего из энергетиков, расспросы завершаются насмешками, Рой подшучивает и ни одной минуты не верит, что исследования Антона могли вызвать внезапное катастрофическое изменение структуры сгущенной воды.

Этот Рой Васильев, космофизик и детектив, штучка с ручкой. Я назвал его медведем средней руки, но шкура этого медведя шита белыми нитками. Круги его поисков сужаются. В фокусе его внимания скоро окажемся мы трое — Жанна, Эдуард и я. Нужно готовиться к тому, что опросы теперь станут допросами.

— Не понимаю тебя, Чарли!— воскликнул Антон.— Последовательностью ты никогда не отличался,

хлесткая фраза тебе важнее факта. Но такой поворот! Не ты ли недавно доказывал, что исследованиям времени ничто не грозит. Уступать, но не поступаться — не твои ли слова?

— Мои, мои! Но видишь ли, сценка, разыгранная Роем с тобой, очень странна. Я уже не уверен, что удастся избежать осложнений. Очередь теперь за Жанной. Посмотрим, как пройдет ее допрос.

— Буду говорить только правду — точно как ты советовал.

— Правда часто выглядит неправдоподобной, Жанна.

— Постараюсь доказать Рою, что правда это правда. Надеюсь, он не остряк и не любитель парадоксов, как ты.

— Надежда это изнанка неуверенности. В ней что-то от авось и небось. Предпочел бы расчет, а не надежду.

— Хорошо, выражусь по-твоему: рассчитываю на ясный ум и научные знания Роя Васильева.

— Петля сужается,— сумрачно повторил Чарли.— Жутко не понравился мне разговор Роя с Антоном. Говорю вам: петля сужается!

5

Круги сужаются, мысленно твердил я себе. Всю беседу у Антона мне удалось промолчать. И ни Антон, остро ощущающий любое отклонение от обычности, ни Чарли, воспринимающий всякое молчание как красноречивое высказывание, ни тем более Жанна молчания моего не заметили. Поведение Роя казалось им более важным, чем мое. Это одно было успехом. У меня разошлись нервы, если бы вызвали сейчас на разговор, я наговорил бы глупостей. Никто от меня не ждет сияющих откровений и пронзительных озарений. Но я мог наговорить и такого, что в старину это называли «раскрытием карт». Друзья по-прежнему не соображали, как скверны наши дела, и я не имел права просвещать их. Круги сужались. Новая трагедия уже надвигалась, и лишь я один знал, какой она будет. Я это понял, смотря на Жанну.

Антон Чиршке, Повелитель Демонов Максвелла, и на этот раз не ошибся. Он говорил Чарли, что Жанна повеселела и похорошела, он счел это свидетельством

выздоровления, как бы там ни острил Чарли насчет основных и второстепенных хворей. Но моим глазам Жанна представала по-прежнему похудевшей, ослабевшей, бесконечно измученной, такой она сидела в лаборатории, когда я ввел ее пси-поле в датчик самописца и он не уловил важных изменений в ее психике. Но сегодня я увидел то, о чем первый заговорил Антон. Нет, я не раздражал Жанну пытливым взглядом, она не терпела, когда засматриваются на нее: даже у Павла пресекала любование собой, что же говорить обо мне! Я только бросил на нее взгляд и молчаливо ужаснулся. Она похорошела, пополнела, на еще недавно серые щеки возвратился румянец, в потускневшие глаза — блеск, в голосе, усталом и слабом, зазвучали звонкие нотки. Антон, чутко воспринимающий и малые изменения, не мог проникнуть в тайную суть перемен. Не здоровье возвращалось, происходило нечто иное — и совсем не радостное!

Самописец пси-поля по-прежнему записывал душевное состояние Жанны. Прибор был из короткофокусных, далеко не брал, Жанна, выходя за пределы научного городка, выпадала из обзора. Но пока находилась дома или в лаборатории, он надежно фиксировал ее душевный настрой. Он каждый день выдавал, что существенных изменений нет, так, малые колебания от настроения похуже к настроению получше, снова возврат в дурное настроение: повышенная нервность, усиленная реакция на раздражители. Такую же оценку он объявил и сейчас.

— Идиот! — обругал я компьютер и пригрозил кулаком самописцу. Неистовство Антона, дубасящего кулаком по приборам, охватывало и меня. Но такое поведение, соображал все же я, не будет решением. Надо поразмыслить.

Я бегал по лаборатории и размышлял. Приборы не открывают того, что давно обнаружил Повелитель Демонов, что сегодня увиделось и мне. Приборы описывают душевное состояние, а не внешний вид Жанны. Внешний вид изменился, психическое состояние осталось прежним. Так надо понимать свидетельство моих глаз.

— Психика запаздывает, — сказал я себе. — Ведь основные отправления организма — дыхание, пищеварение, усталость и прочее мало зависит от сознания. А психика — пленница сознания, она побочная функция

разума. Понимаешь ли ужас того, что приближается? Не задавай себе, глупец, риторических вопросов! — гневно оборвал я себя.— Ты давно предвидел трагическую возможность. Нужно срочно действовать!

В столе Павла хранился альбом фотоснимков. В альбоме была и его биография, начиная с детства, и моя страница — одна фотография с Земли, четыре — я на Урании. Жанне Павел отвел половину альбома. Жанна глядела со страниц девушкой, такой она прибыла на Уранию, Павел фотографировал ее тогда чуть не каждый день. Последняя страница показывала Жанну, когда она стала женой Павла. Это была незначительная часть альбома, Павел мог любоваться Жанной в любой миг, не обращаясь к снимкам,— и охладел к фотографированию.

Я всматривался, соотносил портреты Жанны с тем, какой она была сегодня. Еще недавно я убеждался, до чего Жанна подурнела в сравнении с последними фотографиями. Я горевал вместе с ней, гибель Павла была тяжка и ей и мне,— внешний вид отвечал внутреннему состоянию, странным было бы, выгляди Жанна хорошо. А сегодня она походила на ту девушку со множества снимков, еще не жену моего друга. Она была привлекательней и моложе женщины, изображенной на последней странице альбома.

— Ты уже впадаешь в панику! — сказал я себе.— Время еще есть. Форсируй решающий эксперимент.

Время еще было, но формировать решающий эксперимент я не мог. Я был способен по-разному использовать законы природы, но отменить их было выше моих сил. Я снова и снова изучал кривые стабилизации времени. И снова и снова видел, что ускорения нет, процесс идет на пределе. Время еще есть, утешал я себя. Внешний вид Жанны предупреждал, что времени оставалось все меньше.

На стереоэкране возник Чарли.

— Спешу порадовать, дружок, нас просит к себе посланец Земли.— Недавняя озабоченность, какую Чарли старательно внедрял и в нас, видимо, отошла. Он снова готов был сыпать парадоксами и остротами.— Почему не вскакиваешь? Мало бодрости!

— Иди к дьяволу!

— Намек понят, исполнение отложим. Раньше посетим Роя. Впрочем, возможно это и будет реализацией твоего желания.

— Жанну вызывают?

— Жанна, очевидно, пойдет после нас. Видимо, Рой считает, что она ближе всех к тайне катастрофы. Древние французы во всех запутанных случаях советовали: ищите женщину. Тебе не кажется, что Рой Васильев, если не по рождению, то по образованию,— француз?

— Мне надоели словесные выверты, которые ты считаешь остротами.

— Тогда деловой совет. Приведи себя в порядок. У тебя нос по фазе не совпадает со ртом, с этим уже ничего не поделаешь, но совершенно излишне к кривому носу еще так злодейски кривить губы.

Насмешкой над моим носом он временно исчерпал запас своих шуток. За дверью лаборатории он встретил меня озабоченным — очень редко можно видеть его в таком настроении. Хоть я и не люблю зубоскальства, а сейчас вообще было не до шуток, я не удержался:

— Ты тоже по фазе не в своей обычности. Боишься Роя?

— Боюсь,— признался он.— Следствие, которое мы с тобой проводим, показывает, что возможны неожиданности.

— Следствие, которое мы проводим? Следствие ведет Рой Васильев!

— Он ведет свое следствие — открытое. А мы скрыто следим за ним сами. Мы ведем следствие о следователе. Для него тайна — катастрофа на Урании, для нас тайна — что думает о той тайне землянин Рой Васильев, облеченный, не сомневаюсь, значительными полномочиями.

— Следует ли так понимать, что для тебя тайны взрыва уже не существует?

— Сердечный мой друг Эдуард! — сказал он с досадой.— Я давно догадываюсь, что ты свой природный ум, правда небольшой и неупорядоченный, намеренно экранируешь от посторонних глупейшими вопросами. У каждого своя форма самозащиты, но не перебирай. Рой не поверит, что ты так туп.

Мы подошли к гостинице. Зеленый глазок в дверях приглашал войти. Рой занимал стандартный номер из двух комнат. В гостиной стены были увешаны фотографиями взрыва: локаторы космостанции, следящие за поверхностью планеты, зафиксировали катастрофу в первые ее мгновения. Я своими глазами видел черную тучу из двух миллионов тонн воды, помнил, как она

взметнулась над планетой, как потом из недр ее хлестал ливень. Но фотографии в гостиной Роя Васильева показывали детали, мне неизвестные. Мы с Чарли переходили от снимка к снимку, а Рой глядел на нас — внимательно и задумчиво.

— Ну, и что вы думаете обо всем этом, друг Рой? — поинтересовался Чарли, усаживаясь в кресло. Рой тихо засмеялся.

— Я пригласил вас, чтобы узнать ваше мнение, а не для того, чтобы делиться своим.

— Да, так обычно ведут расследования. Но случай необычный. Давайте вести его нестандартно. И начнем с того, что не вы нам, а мы вам будем задавать вопросы.

— Можно и так.

— Тогда я жду ответа на мой первый вопрос.

— То есть какое у меня создалось мнение о происшествии? Я мог бы ответить — пока никакого. И будет правдиво, но не вполне точно, ибо фраза «никакого мнения» тоже своего рода мнение.

— Согласен. И уточняю: какое конкретное мнение выражает абстрактное утверждение, что мнения нет? Уверен, что за внешней неопределенностью вашего ответа таится нечто определенное.

— Вы угадали. Мое мнение таково: взрыва сгущенной воды не могло быть. Все, что я знаю о технологии этого продукта, решительно исключает возможность катастрофы. А взрыв совершился.

— Вы хотите сказать, что причины катастрофы лежат вне уровня современной науки?

— Именно это!

— И вы собираетесь требовать, чтобы мы — я и Эдуард Барсов — подняли вас над уровнем современной общеизвестной науки?

— Уверен, что вы можете это сделать.

— Мы это сделаем. Начну с того, что причина катастрофы, по нашему мнению, таится в характере исследовательских работ в Институте экспериментального атомного времени, который я возглавляю. И скажу больше — ничто иное, кроме экспериментов над атомным временем, не может явиться научным объяснением катастрофы.

— Стало быть, вы принимаете ответственность за трагедию?

Что называть ответственностью, друг Рой? По-

нятие это неопределенное. Его можно понимать и как сознательное устройство катастрофы. Этого не было. Мы и не догадывались, что катастрофа возможна, до того, как она совершилась. Лишь оглядываясь назад, анализируя все обстоятельства трагедии, мы допускаем, что вызвать ее могли некоторые из наших исследований.

— Не предвидели, значит, преступления не было. Но и определенности тоже пока нет. Не вызвали, но могли вызвать, оглядываясь на прошлое, анализируя, допускаем... Вряд ли на любом научном языке такие уклончивые формулировки сочтут доказательными.

— Вам придется удовлетвориться ими, ибо никто другой, кроме нас, и до такой неопределенной определенности не дойдет. Мы сами обвиняем себя, хотя вам кажется, что делаем это очень уклончиво. Но ни на Урании, ни на Земле и не подумают заподозрить нас в несчастье. Мы спокойно могли бы сказать: не знаем, не понимаем, столкнулись с загадкой. Как бы вы поступили в таком случае?

— Власть закрыть ваш институт у меня есть...

— Нет у вас такой власти, Рой! Вам прежде понадобилось бы доказать, что эксперименты с атомным временем явились причиной взрыва на Энергоскладе. А как бы вы это сделали? Где нашли бы факты? И второе — в наших работах заинтересована вся наука, они отражены в плане Академии наук в разделе важнейших. И что их перенесли на Уранию, местечко для опасных исследований, свидетельствует, что какая-то неизвестная угроза опытов с атомным временем заранее учитывалась, но полагалась менее важной, чем возможный успех. Это вам ничего не говорит?

Я не сомневался, что Чарли идет на встречу с Роем Васильевым как на сражение. И что Чарли не постесняется припереть Роя к развилке двух одинаково рискованных решений: либо прервать наши работы без строгого обоснования, либо оставить их без твердых гарантий безопасности. Но что дискуссию Чарли поведет с такой дерзостью, что так бесцеремонно покажет Рою Васильеву его беспомощность, было неожиданно. Чарли раскраснелся, глаза его сердито блестели. Я иногда видел его таким, но то были минуты раздражения, приступы злости при больших неудачах, сейчас не было ни поводов раздражаться, ни причин для злости. Чарли временами актерствует, особенно когда ударяется в па-

радоксы, позы тогда поражающие: позы не было, он не актерствовал, он и нападал и защищался по-серьезному.

А Рой Васильев глубоко откинулся в кресле, слушал с безмятежным хладнокровием, ему, он показывал, даже нравится запальчивость директора Института экспериментального атомного времени. Он, мол, способен слушать, не прерывая, сколько Чарли вздумается говорить. Но Чарли замолчал, и заговорил Рой.

— Очень интересно и по-своему убедительно,— объявил он, лениво покачивая ногой, закинутой на другую.— Чего-то в этом роде я и ожидал. В дороге я штудировал ваш рапорт о взрыве в Академии наук. Там вы коснулись и этого вопроса — правда сослагательно: не могут ли изменения атомного времени, волнообразно распространяясь, сказаться и на расстоянии от ваших лабораторий? Волны времени, проникающие сквозь стены хорошо экранированных лабораторий... Неподготовленному трудно снести... но столько на Земле говорят об Урании вообще, о вашем институте в особенности! Многие убеждены, что вы конструируете машину времени, любимый механизм в романах старых фантастов. В общем, друг Чарльз, если вы подробней введете меня в существо ваших изысканий, это будет не только в моих, но и в ваших интересах.

И Чарли ответил блестящей лекцией. Он совмещал в себе не только иронika и софиста с глубоким экспериментатором, но был и мастером популярного изложения. Он сел на одного из своих любимых коньков и сразу поднял его в галоп. Вот такой же сверкающей лекцией десять лет назад он убедил президента Академии Альберта Боячека разрешить строительство нашего института на Урании. Мы с Павлом тогда сидели в зале рядом и только издавали возгласы восторга, в такое возбуждение привел Чарли и нас, тоже неплохо разбиравшихся в атомном времени. И если я сейчас столь невыразительно восстанавливаю не форму, нет, только смысл его лекции, то лишь потому, что без этого мне не разобраться в путанице собственных попыток выплыть из водоворота времени на спокойную поверхность обычного мира.

Пусть не говорят при нем о какой-то дикарской машине времени, так начал Чарли. Он, Чарльз Гриценко, физик и инженер, а не писатель фантастических повестей. Его захватывают лишь реальные возможности,

а не заоблачные полеты неупорядоченного мечтательства. Переброс больших материальных масс из настоящего в будущее или тем более в прошлое — детская сказочка. Именно на такой сказке обоснованы все машины времени. Цель Института экспериментального атомного времени, между прочим, состоит и в том, чтобы доказать фантастичность подобных суждений. Да, конечно, мы в своих установках меняем ток времени, то замедляем, то ускоряем его. Но это совершается лишь в недрах атома.

Время это всеобъемлющая река, в ней плывут все события жизни, с увлечением продолжал Гриценко — научный соловей, увлеченный только своей песней и не слышащий иных шумов. А к иным шумам, к зловещим шумам окружающей обстановки, он мог бы отнести и то, что Рой Васильев слушал его вовсе не так увлеченно, как сам он говорил, и что Рой порой бросал на меня быстрые взгляды, словно доведываясь, какое впечатление у меня от вдохновенной речи моего начальника; а я ответно — и по возможности незаметно — пытался в свой черед определить, что думает сам Рой. И уж конечно, Чарли и допустить не мог, что Рою известно все, о чем ему говорят, что он дьявольски осведомленный парень, этот невозмутимый землянин. Он только прикрывает свою эрудицию ширмой внешнего интереса, и за той благообразной ширмой вежливого внимания вдруг развернулась безмолвная борьба — борьба между Роем и мною. До Чарли она и намеком не доходила, меня самого застала врасплох: я молчаливо защищался — дело шло, в конце концов, не обо мне одном. Ни один звук, ни одно движение, ни одна ясно высказанная мысль не говорила о загоревшейся схватке. Был именно тот случай, когда пси-поле собеседника, я скажу сильней — противника — сгущается без специальных датчиков, фиксируется не на ленте самописца, а реакцией души. Я уже знал, что отныне проницательное, как удар копья, понимание Роя направлено в меня, как в фокус тайны. И что он, не думая этого показывать Чарли, знает, что я о том знаю тоже. Чарли выстраивал стартовую площадку для Роя, чтобы облегчить тому понимание. Но если бы я мог закричать: «Перестань, не ведаешь, что творишь!» — я бы крикнул.

Да, время это всеобъемлющая река Вселенной, вдохновенно доказывал Чарли. Но каждая река слагается из тысяч струй, ее колеблют миллионы волн. Имен-

но так обстоит и с могучей рекой нашего общего физического времени. Оно складывается из миллиардов локальных времен, в нем слиты мгновения ядерных превращений, атомных взаимодействий, молекулярных реакций, каждая мельчайшая элементарная частица, каждая атомная комбинация частиц, каждая упорядоченная молекулярная микроструктура атомов вливается в общий поток времени своим крохотным ручейком. Нет, мы еще не способны повелевать суммарным временем, величественным потоком, текущим в космосе из прошлого через настоящее в будущее: кораблей, намечающих самостоятельный путь в этой грандиозной реке Вселенной, долго еще не сконструируют. Но в глубочайших глубинах потока космического времени мы уже способны кое-что сделать. В наших лабораториях мы замедляем и ускоряем течение ядерного и атомного времен. Отдельные атомы искусственно, раньше их соседей, выдвигаются в будущее, так же искусственно задерживаются в прошлом. Но дальние эксперименты пока не идут.

Рой задумчиво сказал:

— Стало быть, вы все же нашли способ преобразования настоящего в прошлое или будущее?

Слишком элементарное толкование, сказал Чарли. Оно отдает все той же примитивной машиной времени. Что такое настоящее, и что такое прошлое и будущее? Настоящее всегда приход из прошлого и уход в будущее, разрез по живой линии временного потока. Прошлое еще живет в настоящем, будущее уже в нем живет. Выход в будущее лишь постепенно ослабляет прошлое, а не уничтожает его сразу. Поэтому изменение времени отдельных атомов не выбрасывает их сразу из молекул, а лишь ослабляет их связи. Молекула как бы расшатывается. Она уже частично в будущем, еще частично в прошлом. Но любая разновременность грозит разрывом структуры. Здесь база для многих опасностей.

Кроме того, продолжал Чарли, есть разница в движении в будущее и возвращении в прошлое. Замедляя время, мы не умеем создавать прошлое ниже того настоящего, какое было в момент эксперимента. Вот это и делает невозможным фантастическое путешествие в прошедшие эпохи. Иное дело — выброс в будущее путем ускорения времени. Будущее не имеет границы. Оно может стать беспредельным. В этом особая опасность: мы знаем, каково было прошлое, но понятия не

имеем, каким станет будущее. Все выходы в будущее грозят аварией. На молекулярном уровне опасность невелика. Просто ослабеют связи какой-то молекулы с окружающими ее молекулами — потом, уходя в будущее, она как бы станет призраком, а может, и вообще сохранится какая есть. Таковы молекулы минералов; в близком ли, далеком ли прошлом — они остаются, не разрушаясь и не исчезая, ибо время их существования недалеко от вечности. Совсем по-иному реагирует живая молекула на ускорение ее времени. Живая молекула не существует самостоятельно, она элемент биологической структуры. Выбросите ее даже в близкое будущее, она погибнет.

— Насколько я понимаю, мы подходим к вашей гипотезе взрыва на Энергоскладе,— сказал Рой.— В докладе Земле вы осторожно упомянули о ней, сейчас, надеюсь, разовьете подробней.

Все хронисты Института — равно как энергетики и биологи — уже не раз выслушивали соображения Чарли. У меня не было причины опровергать их. И до прихода к Рою я не сомневался, что он примет концепцию Чарли, другой попросту не существовало. Но то напряжение, что внезапно возникло между мной и Роем, предвещало, что будет что-то иное.

— Вы не ошиблись, Рой, я перехожу к моей концепции катастрофы. В этой связи должен поговорить о Павле Ковальском, помощнике Эдуарда Барсова. Павел обеспечивал экранизацию лабораторий нашего института. Вас, конечно, информировали, что лаборатория Барсова называется Лабораторией стабилизации времени. И Павел взял на себя охрану окружающего Институт пространства от выноса наружу хроноколебаний. Он вел свое дело надежно уже не один год, но вот допустил какой-то просчет, и пульсирующая волна атомного времени вырвалась острым лучом в направлении Энергосклада. Произошло вторжение пульсации в спокойный ток внутреннего времени воды. Павел собственным телом, как экраном, погасил пульсацию времени, но было уже поздно: на складе высвободилась из чудовищного сгущения вода, а в клетках самого Павла произошел разрыв биологического времени. Спасти его мы не сумели.

— Как, по-вашему, произошла деформация атомного времени сгущенной воды — в будущее или прошлое? — спросил Рой.

В прошлое. Хоть я немало наговорил вам об опасности выбросов в будущее, ибо будущее всегда менее известно, чем прошлое, но в данном случае прошлое было грозней. Ибо в обозримом будущем сгущенная вода должна оставаться сгущенной водой, если не производится энергосъема с ее поверхности. А в прошлом было время, когда сгущенная вода была просто водой. Достаточно возвратить ее в это время, даже в одно мгновение этого времени, чтобы мигом высвободилась вся чудовищная энергия сгущения, что, к несчастью, и произошло.

Рой Васильев задумался. Чарли бросил на меня вопросительный взгляд — убедительна ли аргументация? Я взглядом же успокоил его — отличная речь, возражений не будет.

Рой заговорил — медленно, как бы вслушиваясь в каждое слово:

— Возражать вам не могу, да и не хочу. Гипотеза, вероятно, правильная. И объяснение откровенное. Вы не ждете, чтобы вам предъявили обвинение, вы сами признаете свою вину.

— Свою часть вины,— поправил Чарли.— В конечном счете авария произошла от недостаточного экранирования трансформаторов времени. Это мой просчет. Больше таких просчетов не допущу.

— Вы продумали, как усилить меры безопасности?

— Конечно. Новый Энергосклад строится подальше от нас. Вы могли заметить около столовой завершающуюся стройку здания — это для него. А экранирование лабораторий от пульсаций временно усилено. За этим следит Эдуард Барсов.

Рой наконец обратился ко мне:

— Что вы добавите к объяснению друга Чарльза?

Решительно ничего,— ответил я.

Значит, вы с ним полностью согласны?

— Полностью согласен.

— Друг Чарльз, по-вашему, исчерпал проблему?

— Мне добавить нечего,— повторил я.

Рой хотел спросить что-то еще, но передумал. Он теперь говорил снова с одним Чарли, так демонстративно игнорируя мое присутствие, что тот должен был это почувствовать. Но Чарли и не заметил, что Рой поворачивается ко мне чуть ли не спиной.

— Я буду думать, друг Чарльз,— сказал Рой.— Вы до краев наполнили меня интереснейшей информацией,

надо ее переварить. Когда приду к какому-либо решению, я снова с вами посоветуюсь.

Мы ушли из гостиницы, и по дороге Чарли радостно сказал:

— Он, наверно, думал, что мы будем юлить, оправдываться заранее в вине. А мы обрушили на него правду, нигде не затесывая ее острые грани. Он ошеломлен, это минимум.

— Будет еще и максимум,— сказал я.— В максимуме, очнувшись от ошеломления, он может счесть недостаточными наши защитные меры. Подумай об этом.

— Подумаю. Зайди ко мне, надо проинформировать Жанну.

Жанна возникла на экране. Я сел подальше и постарался не глядеть на нее. Она вновь была недопустимо хороша. Мне и взглядом нельзя было доводить до ее сознания, что я вижу в ней перемены. Чарли передал ей разговор с Роем и попросил приготовиться к вызову.

— Сколько ты еще собираешься внушать мне свои инструкции?— оборвала она.— Чарли, я по горло сыта твоими и Эдика наставлениями.

— Ты такая красивая и умная, Жанна,— умильно сказал Чарли.— В общем, восхитительная. А Рой слабый мужчина. Все мужчины считают ум в мужчине обыденностью, а в женщине — необычайностью. И когда женщина не только красивая, но и дьявольски умная...

— Чарли, в старину, на которую ты так часто ссылаешься, ежедневно молились Господу: избави меня от лукавого!

Он воскликнул с хохотом:

— Жанна, всеми чертями прошу — не избавляйся от лукавого!

6

— Не избавляйся от лукавого и ты, Эдик,— посоветовал Чарли мне.— Ведь лукавый — кто? Я тебе это быстренько разъясню...

— Не старайся,— сказал я.— Софизмы я способен выслушивать только в столовой, там они вроде перца к еде. Будет что серьезное, вызывай.

Я ушел к себе. Чарли еще был в возбуждении от разговора с Роем, ему надо было остыть. Он мыслил всегда ясно, был превосходным логиком, но сейчас его гла

за застил туман удачи. Он вообразил себе, что все заканчивается на успешном разговоре. И странная просьба к Жанне — очаровать посланца Земли — виделась ему завершающей точкой: Рою будет приятно, в угоду нашей уранийской красавице, сделать то, что он и без нее — и, возможно, без приязни — сделать должен. Свою часть проблемы Чарли понимал превосходно. Он не понимал одного: то была лишь часть проблемы, а не вся!

Возвратившись к себе, я проверил процесс. Претензий к механизмам не было. Претензии были к себе самому, я спроектировал слишком медленный процесс. Время еще есть, успокоил я себя и сел на подоконник. Наступал вечер, Мардека закатывалась, на сумрачном зеленоватом небе — такова его обычная окраска — горели костры трех пылающих облаков: впечатляющая картина, откройся она мне до катастрофы, я бы не оторвал от нее глаз. Все бы во мне волновалось от красоты этих облачков, ликовало оттого, что так прекрасен мир, в каком довелось жить. Я безучастно наблюдал, как разгорались и гасли золотые и красные пламена заката, повода для ликования не было. Есть ли еще время? — допрашивал я себя. И не находил ответа. Ответ мог дать только Рой Васильев. Он был далеко — в гостинице. Как-то странно, угрожающе странно держался он сегодня со мной.

Я вспоминал его слова, как он сидел, покачивая ногой, закинутой на ногу, с какой почти равнодушной заинтересованностью слушал — дикое сочетание «равнодушие» и «заинтересованность», в стиле острот Чарли, но более точной формулы я найти не мог. И снова ощущал, как все напряглось в нем, когда он бросил на меня быстрый взгляд. Чем я поразил его? Чем возбудил внимание? Тем, что молчал? Чарли часто говорит: молчание — красноречивый сигнал несогласия, категорическое оповещение о протесте. Рой не мог заподозрить моего несогласия, тем более — протеста. Все, что излагал сегодня Чарли, было азбучно истинно, я мог подписаться под каждым его словом. Или Рой почувствовал, что я мог бы чем-то дополнить рассказ Чарли, но не захотел? Что из этого последует? Будет ли время завершить так лихорадочно ускоряемый и не поддающийся ускорению процесс? Вопрос элементарно прост — простого ответа не было.

Я снова достал заветный альбом Павла, снова всма-

тривался в портреты Жанны. Все сходилось: она теперь была иной, чем изображена на последних снимках, много красивей, много моложе. Я закрыл глаза, во мне возникла Жанна такой, как появилась сегодня у Чарли на экране. Нет, сказал я себе, это же девчонка, какой была в студенчестве, в ней вытравлены все следы трагедии с Павлом, даже печать, наложенная тремя годами труда на Урании, двумя годами сумасбродной, сжигающей их обоих любви — даже этих отпечатков уже не видно. Я задал компьютеру все ту же, изо дня в день повторяемую программу ее пси-поля. Компьютер возвестил именно то, что я с таким беспокойством ожидал: инерция скорби преодолена, психика Жанны приходит в соответствие с физическим состоянием ее организма, она полностью — душой и телом — оправилась от несчастья. В моем сознании зазвучал голос Жанны, голос смеялся: «В старину молили Господа: избави меня от лукавого!» Ее уже не следовало упрашивать не избавляться от лукавого, в ней возродились все женские инстинкты. Все сходилось, все странно сходилось в одном беспощадном фокусе. Времени могло не хватить.

— Она должна тебя возненавидеть, Эдуард,— сказал я себе то, о чем думал уже давно, к чему все больше склонялся, как к неизбежности.— Странно, самозабвенно возненавидеть. Иного выхода нет.

Я соскочил с подоконника и заметался по лаборатории. Меня захлестнуло отчаяние. Дело было не в том, что я отказывался от мысли завоевать любовь Жанны, от надежды быть ею любимым я отказался, когда она влюбилась в Павла. Жанна выбрала достойнейшего, нельзя было в том усомниться. Стоило мне и Павлу подойти вместе к зеркалу, стоило увидеть нас за расчетами, у компьютеров, которым мы задавали программу поиска,— и сразу становилось очевидным, кто орел, а кто кукушка. Даже Чарли временами говорил: «Ты подобрал себе удивительного помощника, Эдик: красивого, умного, талантливого, работоспособного. Тебе повезло, что в наше время не носят поясов: он заткнул бы тебя за пояс. В старину, я слышал, подобные странные операции совершались часто». Эмоции командуют мною редко, страсти во мне не горят, а тлеют: я не сентиментален, не романтик, не сумасброд, не карьерист — к очень многим человеческим особенностям, анализируя меня, надо прилагать это важное уточне-

ние: «не». И мне, по-честному, не так уж существенно, равнодушна ли Жанна или ненавидит меня. Она меня не любит, это единственно важное, все остальное почти одинаково, так мне воображалось. А любовь Жанны я не завоевал, когда Павел жил, не завоюю и после его гибели — и пытаться не буду. И отчаяние шло не оттого, что Жанна возненавидит меня. Я не хотел умирать.

Желание жить — вот единственная страсть моей души. Все люди хотят жить, инстинкт существования внедрен в каждого. Никто в здоровом состоянии не жаждет смерти, это трюизм. Но этот инстинкт во мне особенно силен. Безразлично — как жить, только жить, жить, жить! Не знаю, почему я родился таким, таким тихим, таким некрасивым — рот по фазе не совпадает с носом, справедливо указывает Чарли, — не знаю, есть ли глубинная цель, высокая или глумливая, в том, что меня вызвали из несуществования к бытию, но я бесконечно благодарен, что это совершилось. Древний поэт скорбно допытывался: «Кто меня враждебной властью из ничтожества воззвал?» Могу понять его, вполне могу, но скажу: благословенно то, что одарило меня существованием. Ибо жить — величайшее блаженство! Видеть мир в его буйстве и тишине, в его пылающих красках и сумрачных полутонах, ежечасно, ежеминутно, и вечно ощущать себя частицей этого великолепного мира, любоваться им, все снова и снова познавать его, и снова ощущать себя всей Вселенной! О нет, не стандартно выкручивалась в житейских меандрах пока еще не длинная река моего бытия, но ее беды и бури стирались в ничтожность перед тем основным и восхитительным, что она текла. Сколько раз я утешал себя — очень действенное лекарство — дошедшим из древности изречением: «Мне бывало хорошо, даже когда было плохо». И вот теперь, свободным своим решением, жестоким итогом неопровержимого рассуждения я должен уничтожить единственную мою радость, единственное мое счастье — что я существую в мире!

Я бегал от окна к двери, разговаривая вслух с собой и крича на себя. Почему я? Нет, почему я? Не я вызвал к реальности диких джиннов разновременности, я только не запретил экспериментов. И если бы даже запретил, Павел нашел бы способ обойти запрет, для его гениального ума обход любого запрета — пустяк! Но Павла нет, а расплачиваться за его просчеты должен я — расплачиваться неминуемой смертью. Какое

пустое словцо — неминуемая! Смерть неизбежна, она никого не обходит, даже великие мастера новых геноструктур на Биостанции, творцы еще невиданных живых тварей не способны ни в старые, естественно возникающие, ни в искусственно создаваемые организмы внедрить ген бессмертия, а так бы это нужно! Да, смерть неизбежна — но в свой час. Мой час пока еще где-то вдали. А требуют, чтобы я сам вызвал его из тумана грядущего, чтобы прервал себя преждевременно. Какое кощунство!

Поворачиваясь от двери к окну, я видел снаружи угасающий закат и кричал на себя: «Ты скоро перестанешь восхищаться красками вечернего неба». И обращаясь от окна к двери, горестно шептал: «Тебя вынесут ногами вперед в эту дверь!» И глядя на пол, вспоминал, как бился Павел на этом полу, инстинктивно, всей силой рук пытаясь разорвать удушающую петлю разновременности и в последнем еверкании сознания страшась, что разорвать ее удастся,— исступленно не допускал спасти себя. Будет час, и я забьюсь на полу и, как Павел, разорвусь душой в страдании двойного страха — что смерть наступает и что ее могут предотвратить. И я бросал взгляды на самописцы и регуляторы — их не исковеркает разновременность — они останутся, только меня не будет, только меня одного не будет! Они доведут процесс до конца, на их лентах, на кристаллах их бесстрастной памяти запечатлится успех одного из величайших научных экспериментов, им тот грядущий успех «до лампочки», как подшучивали наши предки. А мне, которому так бесконечно важно знать, как завершится эксперимент, он останется навечно неведом — меня не будет!

— Нет! — закричал я в неистовстве.— Нет! Я этого не сделаю!

Почти в беспамятстве я рухнул в кресло. На небе развернулся «пленум» ярчайших звезд, они сверкали живыми глазами. Земля прекрасней Урании, это общеизвестно, но небо Земли несравнимо с небом Урании. Уже ради одного этого радостно жить — ведать счастье каждодневно вбирать в себя свет и сверкание трех тысяч голубых и желтых, красных и зеленоватых светил, сложившихся в сто прекраснейших созвездий космоса. Небо Урании — праздник Вселенной. Тот, кто хоть раз посетил этот праздник, с нетерпением ждет его возобновления, когда Мардека закатывается. Нет, и

земные звезды прекрасны, но они бесстрастны, лишь чуть-чуть перемигиваются, а здесь, в темно-зеленом ночном небе Урании, в ее непрерывно волнуемой атмосфере, переливаются, притушиваются, вспыхивают... Они разговаривают между собой, кричат и себе и нам мятежным непостоянством сияния, величаво выплывают на свой ночной совет, на какие-то переговоры и несогласия. Мы лишь допущенные зрители грандиозного вселенского совета сверкающих небожителей. И я сам вскоре больше не увижу это божественное звездное торжество. Оно останется, меня не станет.

— Не сделаю! — прокричал я с рыданием. — Не хочу, не хочу!

Истерика истощила мои силы. Наверно, я потерял сознание. Потом, стараясь восстановить обстановку, я догадывался, что беспамятство перешло в обыкновенный сон. И сон был такой глубокий, что лишь вызов Жанны пробудил меня.

— Не спи! — приказала она с экрана. — Я только что вернулась от Роя. Приди ко мне.

Я мигом вскочил. О том, чтобы идти к ней, не могло быть и речи.

— Не могу оторваться от механизмов, Жанна. Сделай одолжение, приходи в мою лабораторию.

— Буду через пять минут.

Экран погас, и я кинулся к аппаратам. Пяти минут еле-еле хватало, чтобы настроить их на новую программу. От недавней скорби и нерешительности не осталось и следа. План был ясен, и его надо было выполнять без увиливаний. Теперь меня беспокоило одно — не совершу ли в спешке ошибки. Я быстро регулировал автоматы и датчики, дважды повторяя — для верности — каждую операцию.

Жанна вошла, когда я отошел от аппаратов и водрузил себя на подоконник — самая безмятежная из моих поз, она это знала.

— Какой трудный день! — со вздохом сказала она. — Если бы не наставления Чарли и не твои упрашивания, вряд ли беседа с Роем сошла бы благополучно. Это был настоящий допрос, по правилам старины.

Он допрашивал тебя о Павле?

— И о нем. Я сказала, что о Павле лучше узнавать у тебя. Вы вместе вели исследования. Ты присутствовал при его гибели.

Что он ответил?

— Он не увидел в тебе желания распространяться о Павле.

— Он и не спрашивал меня о Павле: ограничился тем, что о Павле сказал Чарли. Впрочем, он не ошибся: у меня не было желания распространяться о Павле.

— Примерно так я и объяснила.

— Ты сказала: он расспрашивал и о Павле. Значит, его интересовали и другие?

— Другие — это ты один.

— Вот как — я один! И не интересовался ни Чарли, ни Антоном?

— Сказал, что Антон и Чарли ему ясны, а ты — загадка. Он с первых слов просил расшифровать таинственную природу существа, именуемого хронофизиком Эдуардом Барсовым.

— Ты это сделала?

— В меру своего понимания.

— Это много — мера твоего понимания? Чарли шутит: каждый говорит в меру своего непонимания.

— Суди сам, если, конечно, ты способен судить о себе объективно и беспристрастно. Павел считал, что ты сам в себе не разбираешься.

— Думаю, что и он во мне не очень-то разобрался Тайны природы всегда были ему ясней, чем человеческие характеры. Он интересовался законами мира больше, чем странностями людей.

— Тобой он интересовался. Возможно, он видел в тебе одну из тайн природы. Я начала рассказ о тебе со слова, которым Павел выражал суть твоей души. Ты помнишь его?

Нет, естественно.

Павел часто говорил его. Ты должен был слышать.

Наверно, но пропускал это слово мимо ушей

Не смотри на меня. Меня раздражает твой взгляд.

— Буду смотреть в сторону. Так хорошо?

Лучше. Теперь слушай. В разговоре с Роем я вспомнила, как познакомилась с вами четырьмя. Я прилетела на Уранию с направлением на Энергостанцию и каким-то грузом для Института времени Институт достраивался, груз свалили в общежитии Трое из вас пожертвовали для груза своими номерами, вы переселились к Чарли, его директорская квартира была обширней ваших комнатушек. Каждый внес что-

то свое в украшение временного жилья. Чарли радостно подчеркнул беспорядок в комнате красивым плакатом, он повесил его на двери: «Выходя на улицу, вытирай ноги!»

— Плакат в стиле его острот. Я помню это его воззвание.

— Антон нарисовал чертенят с хвостами, рожками и руками, гибкими, как хвосты. На чертенят падали молекулы, они отшвыривали их — большие направо, маленькие налево. В общем, оправдывал прозвище «Повелитель Демонов Максвелла». Павел прибил к стене схему переключений регуляторов в каком-то процессе, а ты повесил над своей кроватью портрет древнего философа Декарта.

— Было. Отличная репродукция знаменитой картины Франца Гальса. Я любил эту картину, хотя к творчеству Гальса равнодушен.

— Вот, вот! К творчеству Гальса равнодушен, а этот портрет любил. Я спросила у Павла,— так странно в наше время встретить поклонника старых философов: «Этот твой друг Эдуард Барсов, наверно, большой знаток учения Декарта?» Павел ответил: «Сомневаюсь, чтобы Эдик держал в руках хоть одну книгу Декарта».— «Но почему он повесил его портрет?» — спросила я. «А ты присмотрись к портрету,— посоветовал Павел,— на этой картине изображена душа Эдика».

— И ты присмотрелась к портрету Декарта?

— Много раз присматривалась. Мне хотелось узнать все ваши души. С портрета глядел мужчина средних лет, длинноволосый, кудри прикрывали плечи, длинноносый, тяжелые веки наполовину заэкранировали большие выпуклые глаза, он недавно побрился, но плохо, художник лукаво изобразил и порез на подбородке, и островок недобритой у шеи бородки. А Декарт не просто глядел на зрителя, он радостно удивлялся тому, на что падал его взгляд. Франс Гальс с совершенством воссоздал душевное состояние философа. Тот словно говорил каждому, кто подходил к портрету: «Боже, как удивителен, как прекрасен этот мир! Восхищайтесь им, поражайтесь ему!» И Павел сказал мне: «Теперь ты понимаешь, почему Эдуард выбрал портрет Декарта в наставники,— не учение Декарта, только его портрет. Здесь икона души самого Эдика — его вечное удивление перед всем, что его окружает. Если

Антона Чиршке раздражают законы природы, то Эдуард им восторженно удивляется».

— Так вот оно, это загадочное словечко! Удивление — формула моей души! Так, по-твоему?

Это сказал Павел, и я каждодневно утверждалась, что он прав.

Ты поведала это и дознавателю?

— Конечно. Он ведь интересовался твоим характером, как я могла скрыть главную твою особенность? И я рассказывала ему, что ты способен замереть от восхищения, когда мимо твоего носа пролетит гудящий жук, и, забыв на время обо всем ином, ты будешь зачарованно следить за тяжелым полетом жука. И что, когда на обочине дороги вдруг раскроется в весеннее утро краткожизненным цветочком какой-нибудь вздорный сорняк, ты остановишься перед ним и упоенно удивишься, сколь совершенны невзрачные лепестки, до чего прекрасно, каким-то особым бордюром их облепила придорожная пыль! И ради такого дурацкого времяпровождения опоздаешь к началу важнейшего эксперимента. А в эксперименте, объяснила я Рою, тебя захватывают порой такие пустяки, что тормозится сам эксперимент. Я вспомнила, как пришла как-то к вам и ты воскликнул с сияющими глазами, словно случилось что-то абсолютно неожиданное: «Жанна, посмотри результат, как же все поразительно сошлось!» И я спросила Павла, в чем неожиданность, а он засмеялся: «Никакой неожиданности, все по расчету, но не будем мешать Эдуарду безмерно поражаться тому, что в науке отклонений от законов природы не бывает». А когда ты вечером смотришь на небо, Эдуард! Со стороны впечатление, будто тебя весь день одолевал тайный страх, что звезды не выйдут на ночное дежурство, и ты радостно ошеломлен их появлением и поэтому должен насладиться этой красотой, ибо она дана только на одну эту ночь. Вот ты каков, Эдуард. И в наших с тобой отношениях до предела сказалась эта твоя привычка всему поражаться, любой штамп воспринимать как открытие. Ненасытная твоя любопытность, обращенная одинаково на важное и неважное. Любознательность без разбора!

— Ненасытная любопытность в наших с тобой отношениях? Или лучше второе словечко — любознательность?

— Ты снова впадаешь в удивление! Это ведь секрет твоего понимания

— Постараюсь на этот раз не впадать в удивление. Ты говорила Рою о наших отношениях?

— С чего бы мне их скрывать? Он спрашивал, я отвечала. Не хочешь ли и ты спросить, что я сказала о нас с тобой?

— Хочу, Жанна.

— Он поинтересовался, крепка ли наша дружба. Я ответила, что не очень. Ты опять вцепился в меня глазами, перестань, я этого не терплю! Итак, я сказала Рою, что ты влюбился в меня сразу, как увидел. Надеюсь, ты не будешь этого отрицать? И еще я сказала, что твоя любовь показалась мне такой привлекательной, так трогало восхищение мной, ты с такой доброй радостью следил за каждым моим движением, что и я стала влюбляться в тебя!

— Этого не было, Жанна!

— Это было, Эдуард. Но тут вмешался Павел, сказала я Рою. Павел в отличие от тебя был настойчив, когда чего-нибудь хотел добиться. И он был... В общем, Павел был Павлом, тебе этого не нужно растолковывать, а Рою я кое-как объяснила. Но был момент, Эдуард, когда я заметалась между вами Очень короткий момент, но он был, и увлечение мое могло тогда переломиться в твою сторону. Но ты ушел от соперничества. Тебя поразило, что Павел, так страстно увлеченный наукой, может испытывать и другие страсти. Тебя заинтересовало, как я отвечу на его домогания. Перед тобой появилась замечательная картина: некто без церемоний прививает девушке свою любовь, стремительно заражает ее своей страстью — ну как этим не полюбоваться? Как не поразиться могуществу чувства, ведь он буквально теряет голову, когда перед ним появляется та девушка. Деятельный обсерватор, разве не так шутит о тебе Чарли. Он еще говорит — неистовый наблюдатель... А что до нас с Павлом, то я объяснила Рою, что все совершилось по другой шуточке того же Гриценко: кто ухватил, тот и отхватил. Очень точная оценка, должна тебе. Павел всю меня охватил своим чувством, и у меня не возникло желания сопротивляться. Так я полюбила его, так мы стали мужем и женой. Так мы были счастливы, пока он не поставил свой последний эксперимент, который ты разрешил. И разрешил, вероятно, из того же восторженного любопыт-

ства: как удивительно, что опыты наши удаются! Вот она, наша «удивительная удача»: Павел погиб, я не восстановлю здоровья. Есть чему радоваться!

Теперь я знал, как мне держаться. Я не вникался в нее глазами, чтобы не раздражать, но видел ее всю. Она сидела у самописца пси-поля, я заранее поставил около него стул: каждое движение ее души, каждая извилина настроения фиксировалась. Она позволила себе расковаться, после гибели Павла это был первый случай. И она изменилась так, что не только Повелитель Демонов ясновидец Антон Чиркке, не только сам я, но и любой знакомый не мог бы не порадоваться: «Как вы отлично выглядите, Жанна,— помолодели и похорошели». Трусости я уже не смел себе разрешить. Времени оставалось только на одно решение.

И я спокойно, даже с издевкой — она, несомненно, сочтет это издевкой — заговорил:

— Ты представила мне замечательный анализ моего характера. Восторженное удивление перед всем, ото всего!.. Неплохо бы продолжить и дальше твое проницательное исследование. Ну, хотя бы на те минуты, когда я восторженно любовался — другая формула не уложится в твое понимание меня — фонтаном пылающей, дымной воды, забившей на месте Энергосклада. Именно в эти минуты я вспомнил о Павле и испугался, что с ним плохо. Я опрометью кинулся назад в лабораторию, забыв и о водном светоносном вулкане, и о метавшемся неподалеку Чарли. Я вбежал к себе и увидел Павла, в агонии рвущего руками с шеи петлю разновременности, ощущение ведь было такое, что его душит какая-то петля.

— Зачем ты вспомнил это? — Жанна побледнела, положила руку на сердце.

Я холодно продолжал:

— Хочу понять собственное поведение, используя твой психологический анализ. Итак, он метался, а я над ним. Что мне надо было сделать? Наверно, выключить аппараты, погасить разрыв времени в теле Павла. А меня удивило — ну, не восторженно удивило, этого все-таки не было — зрелище необыкновенной агонии. Согласись, еще ни один человек не наблюдал, как реальным физическим взрывом распадается связь времен. Хоть взглядом окинуть такую картину, хоть секундным снимком запечатлеть ее в сознании. А когда я опомнился от ненасытного любопытства, как ты глу-

боко и верно определила его,— когда я кинулся к аппаратам, было уже поздно.

Она подошла вплотную. Секунду мне казалось, что она ударит меня. Но она лишь прошипела сквозь сжатые губы:

Эдуард, ты пошутил, правда? Так страшно, что ты сказал!

Лишь тяжким усилием воли я принудил себя говорить спокойно:

— Жанна, все было, как я рассказал.

Она уже верила и еще не верила. На бледном лице округлились сверкающие глаза. Она пошатнулась. Я сделал движение поддержать ее. Она отшатнулась от меня, как от змеи

— Убийца! прошептала она.— Эдуард, ты убийца!

— Убийца! согласился я. Что было, то было Прошлого не изменить.

Я разил безошибочно. Я знал, на что наталкиваю ее, и не оставлял выхода на иной путь. Отомстить мне действием она не могла. Выход был лишь в ненависти Сейчас она заговорит о Рое.

— Прошлого не изменить! — выговорила она белыми губами.— Ты прав, прошлого не изменить. Но почему не изменить будущее? Я сейчас пойду к Рою Васильеву и расскажу, какие эксперименты ты поставил с Павлом. Хоть это будет мне утешением — тебя выгонят с Урании, перед тобой закроют двери лаборатории. Не видеть тебя! Никогда не видеть!

Ты этого не сделаешь, Жанна!

— Пойду! — исступленно выкрикнула она. Прямо от тебя к нему!

Не сделаешь! Ты все же любила Павла. Не верю, что ты надругаешься над его памятью!

Ей понадобилась почти минута, чтобы обрести дыхание на ответ. Ее захлестывало неистовство. Она была готова на все. Но в ее верности Павлу я не усомнился.

— Ты убил Павла, Эдуард,— сказала она наконец.— А теперь измываешься надо мной! Какой честности ждать от презренного убийцы? Но сказать, что я не любила Павла, что я хочу надругаться над его памятью! Боже мой, какая низость! Какая низость!

— Я убил Павла, не отрекаюсь. А ты собираешься плюнуть на его могилу. Вот что будет означать твой очередной визит к Рою Васильеву.

Она кинулась на меня. Не знаю, чего она хотела задушить насмерть или только выцарапать глаза? Я схватил ее за руки. Она вырывалась с такой силой, что мотала меня то вправо, то влево. Но я не выпустил рук, и она ослабела. Я швырнул ее в кресло. Она опустила голову и зарыдала. Я снова заговорил. Надо было забить еще пару гвоздей в гроб нашей былой дружбы.

— Тебе не удастся заставить меня замолчать, Жанна. Я продолжаю. Ты знаешь, у Павла была одна цель в жизни, одна пламенная страсть — реализовать свое великое открытие. Даже любовь к тебе лишь соседствовала с этой страстью. Павел формально был моим помощником, но реально я был его учеником. Я его убил, так уж получилось, но все силы своей души, все свои способности отдам завершению дела его жизни. Пусть мир узнает, каким гением был этот человек, так верно любивший тебя твой муж Павел Ковальский. Пусть не истлеет он безвестным в могиле! Он заслужил в пантеоне великих людей человечества памятник. И его воздвигнут, тот вечный памятник, если ты не помешаешь. Скажи, скажи мне, Жанна, кому протянул бы руку Павел, если бы смог хоть на минуту встать из гроба: тебе, его возлюбленной, его жене, столь одарившей его ласками при жизни и столь беспощадной к его памяти после смерти? Или мне, его убийце, его верному ученику, думающему лишь о том, как показать миру величие своего учителя?

Все совершилось, как и должно было совершиться. Поводов для удивления, тем более восторженного, не нашлось: не все во мне верно увидела Жанна, вряд ли в ту минуту последних уговоров мне было легче, чем ей. Она с трудом поднялась, поправила растрепавшиеся волосы, она боялась смотреть на меня, чтобы снова не взорваться.

— Пусть будет по-твоему,— сказала она тусклым голосом.— Я не помешаю завершению опытов. Но ты должен знать: ненавижу тебя! Безмерно, бесконечно ненавижу! Теперь это будет единственной моей отрадой — ненавидеть тебя! Ты просишь моей помощи в лаборатории, я вынуждена помогать, но ненависть не смягчится. Помощь будет, а ненависть останется. Боже мой, боже мой! Вечно тебя ненавидеть!

Она ушла, хлопнув дверью. У меня дрожали ноги, я должен был сесть, чтобы не упасть. Несколько минут

я не двигался, ни о чем не думал, ничего не сознавал. Это не было беспамятство, потеря сознания или сон. Врачи заговорили об остром приступе нервного истощения. Я назвал бы свое состояние острым истощением души, чем-то вроде кратковременной смерти: я был в этом мире, и меня не было.

Потом я подошел к самописцу пси-поля, подал выход на диаграмму. Все было, как задумывалось. Нервное потрясение Жанны отразилось в дикой пляске кривых, ее гнев — в никах и изломах, ее отчаяние — в их падении вниз, к зловещей оси небытия. Я проверил программу процесса, задал сравнение со старыми записями. Компьютер доложил, что процесс восстановлен на высоком уровне, он идет как при жизни Павла. Большего не требовалось. Теперь предстояло сделать последнее вычисление: сколько мне осталось жить?

7

— Сколько мне осталось жить? — вслух спросил я себя. В общем, я успокоился, интерес к дате конца был уже скорее академическим, чем практическим. Даже если бы вычисление показало, что жизнь быстро приближается к распаду, теперь бы это не послужило поводом рвать на себе волосы. Завершение экспериментов именно таким способом было моим свободным решением, негодовать на себя нелепо. Я только с интересом отметил, что самоубийцы кончают с собой в состоянии аффекта, а у меня аффекта не было, неистовство мутило сознание лишь до решения, страх небытия терзал до реального отказа от бытия. Я не радовался, но и уныние не одолевало. Была даже удовлетворенность, что найден выход из совершенной, казалось бы, безысходности, да практическое любопытство — много ли совершишь посторонних экспериментату дел, разных необязательностей, всегда наполняющих наше существование? Раньше в подобных случаях писали завещания и заверяли их подписями и печатями, подумал я. И почти весело рассмеялся — раньше не было подобных случаев! Никто, даже после моей гибели, не должен догадываться, что я ее предвидел. Она предстанет случайностью эксперимента, а не рассчитанным результатом.

Компьютер выдал утешительный расчет: жизни хватало и на дело и на безделье, можно и всласть по-

спать, и разика два прогуляться по холмам Урании. Я зевнул и потянулся. Желание спа одно из самых сильных проявлений жизни. Все получалось по любимой формуле: «Мне бывало хорошо, даже когда было плохо». Я пошел к двери. Появившийся на экране Антон задержал меня.

— Эдик, я возмущен, можешь мне поверить! — орал он.

— Охотно верю, — ответил я. — Ты всегда чем-нибудь возмущен. Что на этот раз вывело из себя Повелителя Демонов? Взбесил закон сохранения энергии? Или негодуешь на таблицу умножения? Или стало непереносимо, что электроны существуют независимо от позитронов?

— Независимо они не существуют, я берусь доказать это. Но меня взбесил ты, а не позитроны. Это гораздо хуже.

— Раньше назови мою вину, потом будешь убеждать, что я хуже возмутительных законов природы

— Твоя вина — в Жанне!

— В Жанне? — На мгновение я растерялся. Все, что связано с Жанной, имело особый смысл.

— Да, в Жанне. В чем же еще, спрашиваю тебя?

— Повелитель, воля твоя...

— Не прерывай! Я встретил Жанну, возвращаясь от тебя. Она уже выглядела поздоровевшей, даже помолодевшей, а ты ее чем-то расстроил... Я, естественно, поинтересовался, скоро ли она принесет очередную партию пластинок для сепарации воздуха на быстрые и медленные молекулы. Она послала меня в преисподнюю и убежала...

— Ты уверен, что у нее не было причин послать тебя в преисподнюю и без посещения моей лаборатории? Для Повелителя Демонов...

— Я запрещаю тебе острить! Ты не Чарли, у тебя остроты не получаются. Скажи прямо, чем ты довел Жанну до такого расстройства?

Повелителя Демонов надо было успокоить. Его необузданность непосредственно не грозила ходу моих экспериментов, но он мог привлечь внимание к дурному настроению Жанны. И такую мелочь следовало предвидеть и предотвратить. Я сказал:

— Мы говорили о Павле. Я наконец показал ей место, где Павел упал. Раньше я боялся это делать. Она

плакала, я тоже не плясал. Поводов для веселья не было.

Антон мигом перестроился.

— Понимаю. Будем надеяться, что это последнее потрясение. На время ее надо оставить в покое, пусть выплачется. Обещаю не торопить с новой партией пластинок, хотя, поверь, ох как нужны!

Он отключился, и я выбрался наружу.

Была глубокая ночь, короткая ночь Урании, прекраснейшая из ночей, какие мне удалось увидеть в жизни. Всего восемь земных часов отвели космостроители на суточное вращение Урании вокруг своей оси. В природной первозданности Урания вращалась еще быстрее, ее прежнее шальное кружение замедлили чуть не вчетверо: первые поселенцы жаловались, что не успевают от заката до восхода Мардеки сосредоточиться ни на одной толковой мысли, а быстрый бег дневного светила по небосклону вызывает головокружение. Старожилы и при нас ворчали, что ночь осталась такой короткой, что не успеваешь перевернуться с одного бока на другой, как уже пора вставать. Мы, новое поколение исследователей, не предназначали ночи для сна, мы, бывало, не спали и по неделям, драгоценное время не стоило тратить на такое примитивное занятие, как сон. Зато если выпадал спокойный часок, торопились на торжество звездной ночи. Ты — своя собственная обсерватория, шутил обо мне Чарли, изредка соглашаясь на совместные прогулки. Ты восторженный созерцатель, ты всему радостно удивляешься, сказала мне Жанна. В отличие от Чарли, ни ее, ни тем более Павла мне ни разу не удалось уговорить на сопричастие к празднику звезд. У них была иная радость взаимное присутствие. Звезды для этого не требовались.

Выбравшись из городка, я зашагал по темной равнине. Дойду до извива реки и поверну назад, сказал я себе. Я шел, и небо двигалось мне навстречу. Быстрое вращение планеты добавляло свою красоту в ночное колдовство. Звезды не как на Земле медленно передвигались, они торопились, не шествовали друг за дружкой, а — казалось глазу — стремились обогнать одна другую. Силуэты созвездий менялись, расплывчатыми выплывали из-за горизонта, сжимались, становились четкими в зените, снова расплывались, рушась за гори-

зонт. Когда я подошел к речке, небо стало другим. Оно еще раз изменит свой облик, когда я ворочусь.

На долины и холмы лился серебристый свет. Урания не имеет спутников, но и ночи без Луны полны сияния. Повелитель Демонов утверждает, что при свете звезд он свободно читает старинные книги. Правда, я и днем не видел Антона с книгами, он черпает свои знания из пленок, а не со страниц. И, сотни раз прогуливаясь по ночным просторам, я ни разу не встречал Антона. И сейчас я был, вероятно, один на всем ночном пространстве планеты. Я шел и шел — никто не приближался ко мне, никого я не увидел по сторонам.

Я постоял у обрыва реки. По воде передвигались сияющие жгуты: каждая звезда, поднимаясь на небо, торопилась прочертить след своего небесного пути. Я выбрал самую яркую звездочку, она менялась: расплывчатая, очень длинная — через всю реку,— она сжималась, ярче сияла, когда звезда карабкалась вверх, а в зените линия превращалась в пылающую точку. Всю поверхность воды усеяли такие неподвижные, сверкающие точки среди сотен живых, меняющихся полос и жгутов. Я наслаждался отражением звезды, а когда она поползла с зенита вниз и точка снова растянулась, расплываясь и тускнея, в жгут, а потом в призрачную полосу, я оторвал взгляд от реки и пошел домой.

Впервые за много коротких ночей Урании, за долгие часы лабораторных бдений я, отрешенный от забот, крепко выспался — примитивным сном предков, не ведавших ни антиморфена, ни радиационных душей, ни острой необходимости жертвовать необязательным сном ради настоятельного бдения. И, проснувшись к концу следующего дня, удовлетворенно сказал себе:

— По расчету отпущено семь дней на жизнь. Мне хватит пяти для завершения эксперимента. Процесс идет автоматически.

Процесс шел автоматически, это было верно. Но не было ни семи дней на жизнь, ни пяти дней на завершение процесса. Меня с экрана вызвал Чарли. Еще никогда я не видел его столь расстроенным.

— Приходи ко мне, Чарли,— сказал я.— Мне нельзя отрываться от аппаратов.

— Оторвись! Когда ты около своих механизмов, с тобой не поговоришь.

На его двери горел красный глазок, запрещающий вход. Ко мне он не относился. Я вошел не постучав.

Чарли ходил по своему большому кабинету, точно волк в зверинце. Он показал рукой на кресло, я присел на подоконник. Чарли крякнул — совсем как Антон, даже голоса стали похожи, — раздражение подавило все иронические интонации, столь обычные у Чарли:

— Слезай с подоконника! Скоро у тебя хватит времени обсервировать красоты Урании и без того, чтобы делать это из моего окна.

Я знал, что именно этого-то и не будет — времени для любования красотами Урании из чьего-либо окна, — ибо время моего существования на исходе. Я сел в кресло. Чарли продолжал ходить и говорить:

— Проклятый Рой нанес-таки нам удар! Энергетики нажимают, он поддался. Он дает разрешение на доставку с Латоны сгущенной воды. Энергетики обещают отменить ограничения энергии.

— Ты это считаешь ударом?

— Ударом — и почти смертельным! Условием для получения воды Рой поставил прекращение всяких форм трансформации времени. Ибо ему, видишь ли, неясно, как произошел конкретно сдвиг времени на Энергоскладе в обратную сторону. Он опасается, что и с новой цистерной сгущенной воды произойдет такая же катавасия. Он так и выразился: какая-то катавасия!.. Удивительно точный язык для знаменитого космофизика!

— Но ведь и вправду точно не известно, каким образом волна обратного времени достигла Энергосклада, — осторожно заметил я. Чарли я не мог показать, что знаю о причинах взрыва больше, чем он.

— Правильно, мы не все понимаем о распространении проклятой волны обратного времени. Но какое это имеет значение? В свой час выясним и подробности. Сегодня важно одно: такая волна была, ее генерировал Павел Ковальский, она вызвала взрыв. А Павла больше нет, волны обратного времени никто не генерирует, опасностей для Энергосклада, к тому же ныне отнесенного далеко от наших лабораторий, не существует. Я рисую ситуацию неправильно?

— Правильно рисуешь. Уверен, как и ты, что условия для новой катастрофы полностью отсутствуют.

— Так почему, тысячу раз черт его подери, Рой Васильев отказывается это понять?

— Спроси у него самого.

Уже спрашивал. Он притворяется дурачком.

Разводит руками — не физически, а фигурально, с эдакой наукообразной грацией: доказательства неубедительны, ситуация темна, мои, мол, мозолистые мозговые извилины не способны вместить все тонкости вашей хронистики.

— Так прямо и высказывается?

— Не прямо, а криво! Придумал новый тип аргументации. Нас учили, что ультимарация логики — доказательство от абсурда. А у него доказательства от невежества. Аргументирует своим невежеством! А за его невежеством — полномочия! Все могу понять, одного не понимаю — как Альберт Боячек, как наш светлоразумный, наш проницательнейший президент Академии наук мог снабдить этого Роя Васильева таким властительным мандатом?

— Что собираешься предпринять?

— Завтра вылетаю на Латону, оттуда на Землю. На время моего отсутствия директором Института назначаю тебя. Продолжать борьбу с Роем Васильевым будешь ты. Тебе понятны твои задачи?

— Мои задачи мне понятны. Непонятно, что ты собираешься делать на Земле?

— Буду стучать кулаком по столам! Схвачу Боячека за его старческое горло, вытряхну душу из этого милого человека.

— А если по-серьезному?

— По-серьезному — буду доказывать, что эксперименты с атомным временем слишком важны для науки, чтобы так безапелляционно их запрещать. Думаю, в Академии наук к моим аргументам прислушаются больше, чем к безграмотным велениям какого-то дознавателя. О чем ты так напряженно думаешь? Откажись хоть разок от привычки многозначительно молчать! Надеюсь на твою полную откровенность.

Полной откровенности я не мог себе разрешить. Но на многие просчеты Чарли указал. Я напомнил, что еще недавно он предвидел пользу от дополнительного внимания к работе Института, вызванного аварией. Пользы не получилось, ожидается вред. Он думал, что, доказав правильность гипотезы обратного времени, заставит Роя остановиться на объяснении аварии именно этой причиной. Рой пошел дальше, он напуган возможностями, хорошими и плохими, которые таятся в искусственном изменении тока времени. Теперь Чарли надумал новую ошибку. Конечно, он докажет Боя-

чеку важность хроноэкспериментов. Но Боячек и не сомневался в этом. Разве факт, что Чарльза Гриценко, физика, создавшего первый в мире трансформатор времени, единогласно избрали в члены Академии наук и что Боячек публично объявил: трудами нового академика открывается особая глава в изучении природы — создается новая наука — хронофизика,— разве все это, повторяю, не свидетельствует о сознании важности наших работ? Но Чарльз Гриценко, академик и директор Института атомного времени, любитель парадоксов и острот, блестящий софист и столь же блестящий экспериментатор, наш общий друг Чарли, почему-то упорно закрывает глаза на то, что все понимают не только важность, но и опасность искусственных изменений хода времени.

— Я ни в одном пункте не отошел от утвержденной на Земле тематики наших работ! Будь справедлив ко мне, Эдуард!

— Буду справедлив. Не отошел от тематики, все верно. Но сама эта утвержденная тематика казалась такой опасной, что колебались, можно ли ее выполнять на Урании, далекой от Земли планете, специально оборудованной только для сверхопасных работ. Разве не изучали предложения оборудовать вторую планету, подобную Урании, и передать ее одному тебе? И разве не ты убедил этого не делать, ибо не терпелось поскорей развернуть исследования? Вспомни, что ты говорил: работы наши, конечно, опасны, но вряд ли опасней творений биоконструкторов. Те способны выпустить в мир искусственные смертоносные бактерии, новых гигантских цератозавров, зверье, перед которым земные тигры — что божьи коровки перед осой, в общем, тысячи порожденных к биологической жизни демонов зла. А мы, хронофизики, и близко не коснемся таких страхов. Так ты говорил, верно? А что получилось? Погиб Павел Ковальский, прекрасный человек, великолепный экспериментатор. И только счастливая случайность, что все мы в тот миг сидели в своих сверхэкранированных казематах, именуемых лабораториями, предотвратила гибель десятков, если не сотен людей. Так к кому прислушаются теперь на Земле? К тебе или к посланцу Боячека Рою Васильеву? Не надейся, что расхождение Роя Земля отменит, она его подтвердит. Ты предлагал нам уступать, но не поступаться. Ты поступишься всем, и знаешь, чего добьешься? Что возвратят-

ся к предложению, которое ты когда-то уговорил снять: станут выискивать другую планету для наших работ. А все те годы, какие понадобятся для ее оборудования, мы будем попеременно в потолок или прогуливаться по равнинам Урании. Если нас, конечно, не отзовут на Землю, чтобы поручить совсем иные исследования.

— Проклятый молчун! — с досадой сказал Чарли.— Сто лет держишь замок на губах, но уж если заговоришь!.. Что же делать?

— Просить Роя отменить свой запрет. Объяснить ситуацию так, чтобы он взглянул на нее нашими глазами. Все иное неэффективно.

Чарли, шагая по кабинету, с минуту размышлял.

— Согласен. Надо опять идти к нему. Поднимайся, отправимся вместе.

— Нет, Чарли. К Рою пойдет один человек. Я.

Чарли выглядел таким удивленным, что я едва не рассмеялся, хотя было не до смеха.

— Ты слишком волнуешься, Чарли,— продолжал я.—И ты увлекаешься собственной аргументацией, боюсь, на педанта Роя это действует плохо. Доверь мне переговоры.

Чарли принимал решения без долгих колебаний.

— Иди один. Если ты меня переубедил, то с ним задание проще — не переубеждать, а убеждать. Превратить его дремучее невежество хотя бы в брезжущий рассвет знания.

— Та самая простота, которая хуже воровства,— ответил я в его стиле, и он захохотал: реплика отвечала обстановке.

До гостиницы от Института было метров пятьсот, но я потратил на них полчаса. Моя уверенность вдруг испарилась. Убедить Роя я мог только исповедью, а не вывязыванием цепочки аргументов. На исповедь я не пошел бы ни к Жанне, ни к Чарли. И я не был уверен, что и скорбная откровенность воздействует на сухого землянина. Что, если и последняя отчаянная попытка спасти процесс будет напрасной? Нужно тысячу раз подумать, сотни раз взвесить все за и против, прежде чем постучать в дверь Роя! Я шел, останавливался, стоял — ни одной мысли не возникало в голове — снова шел. Меня вела неотвратимость.

На двери Роя горел зеленый огонек: он был у себя и не запрещал входа. Я вошел, Рой стоял у окна. Он

сделал шаг ко мне. Ни на лице, ни в голосе не было удивления. Он очень спокойно сказал:

— Хоть и поздно, но вы пришли!

8

— Хоть и поздно, но вы пришли! — повторил он, усаживаясь в кресло.

— Почему поздно? — это была единственная возникшая мысль, и я высказал ее, ибо надо было что-то сказать. И, еще не закончив, сообразил, что не так следовало начать. Но Рой не нашел в ответе ничего странного. Возможно, именно такого начала беседы он и ожидал.

— Почему поздно? Мне кажется, вы это должны понимать. Вам лучше было прийти до того, как я наложил запрет на все работы с трансформатором времени. Не появилось бы протестов у ваших коллег.

— Да, так было бы логичней, — сказал я и удивился тому, что он сказал, и тому, что я ответил. Так можно было говорить только после исповеди, а я еще ни в чем не повинился. Рой смотрел пристально, но без настороженности и отстраненности, раньше я видел в его глазах только эти два настроя — настороженность и ощутимое, как рукой, отстранение. Он знал, с чем я пришел — не с конкретными фактами, конечно, но с готовностью поведать о фактах, как бы не было трудно их объявлять. Ответно я знал, что ничего теперь не утаю. И понял, что и мне предоставлено право требовать ответа на мои недоумения и что лучше мои вопросы ставить до того, как он поставит свои. Я начал так:

— Рой, разговор наш будет не из легких, для меня по крайней мере. И я хотел бы, чтобы раньше разъяснились некоторые ваши странности. Почему вы еще в аэробусе выделили меня среди других? Вы не знали, кто я, какая связь между мной и взрывом, ваши глаза невозмутимо осмотрели всех, ни на ком не задерживаясь, а на мне задержались. Ваш взгляд словно споткнулся на мне. Вы ударили в меня внезапной вспышкой глаз. Не знаю, заметили ли это другие, но я не мог не заметить. Скажу больше — я содрогнулся.

Рой ответил с исчерпывающей обстоятельностью. Чарли, тоже поклонник обстоятельности, выдал бы ответ в форме деловой справки, присоленной остротой, приперченной парадоксом. У Роя была иная манера —

преобразовывая ответ в исследование, он предоставил мне продуманную концепцию, как я выгляжу при первом знакомстве и какие мысли порождает даже случайный взгляд на меня. Он выделил меня среди пассажиров аэробуса, потому что я сам выделился. На Роя все пассажиры просто смотрели, а я всматривался, изучал. Что это настойчивое изучение отражает какую-то важную мысль, Рой понял сразу. Поняв, заинтересовался мной, а заинтересовавшись, удивился, а удивившись, сам стал размышлять обо мне. Я непрерывно менял выражение лица и позы, то мрачнел, то светлел, то замирал на сиденье, то вдруг нервно дергался — таким я увиделся ему в аэробусе. Все это явно шло изнутри, не от реплик пассажиров и Роя, а от собственных мыслей. Каких мыслей? — спросил себя Рой и ответил: какие возникли в этом молчаливом уранине оттого, что я прибыл сюда и сейчас сижу перед ним. Он, стало быть, этот уранин, всех непосредственней связан с трагедией, и самый точный анализ происшествия я должен ждать от него. В таком убеждении Рой окреп еще до того, как аэробус остановился перед гостиницей.

— Я вскоре узнал, кто вы такой, узнал и о гибели вашего помощника Павла Ковальского, — продолжал Рой. — Ваш приход ко мне становился необходим. Я ожидал, что вы потребуете, чтобы я принял вас раньше всех. Но вы не торопились. Это было странно. А потом вы явились вместе с Чарльзом Гриценко и позволили ему вести всю беседу. Объяснить ваше настороженное молчание особым почтением к своему начальнику я не мог, у вас с ним отношения свободные, вы иногда так на него огрызаетесь, что на Земле это сочли бы развязностью. Вы предоставили ему привилегию разговора, ибо что-то боялись выдать неосторожным словом. Ваше молчание шло от предписания себе молчать. И тогда мне захотелось показать, что понимаю вашу задумку. Я намеренно выполнил то, что вы желали получить от меня неприметно. Стал игнорировать вас, повернулся спиной. Я был уверен, что вы встревожитесь и чем-нибудь да выдадите себя.

— Вы не ошиблись в том, что я встревожился. Но я не выдал себя.

— Вы подтвердили молчанием, что таите секрет. И я подумал, что секрет нельзя выдавать директору института, а ведь вы пришли с ним.

— Правильный вывод. Я не мог объявить известной мне тайны Гриценко.

— Но если вы хотели рассказать ее мне, вы должны были прийти потом сами. Но вы не шли, я вызвал Жану Зорину. Она поведала немало интересного о себе, о Ковальском, о вас. Но тайны она не раскрыла. Если она и знает ее, то сумела сохранить.

— Она знает лишь часть тайны, и я умолял даже намеком не касаться ее. Всего она не могла бы вам поведать, если бы и захотела.

— После разговора с ней я окончательно утвердился, что только вы можете пролить свет на взрыв. А вы по-прежнему не шли. Это означало, что вы хотите сохранить секрет. Ради чего? Загадка взрыва, несомненно, связана с вашей лабораторией. Стало быть, чтобы продолжать исследования так, как они уже шли. И тогда я объявил о запрете экспериментов с трансформацией времени. Основание было твердое, хотя друг Чарльз его запальчиво оспаривает,— его же теория обратного хода времени угрожает новыми катастрофами. Перспектива закрытия лаборатории подействовала — вы пришли. Теперь слушаю я.

Он слушал, я говорил. Временами он прорывался в мой монолог репликами. Я отвечал и снова вывязывал свой невеселый рассказ. Все началось с того, объяснил я, что Чарльз Гриценко доказал возможность изменения скорости времени и построил первый в мире трансформатор времени, позволяющий менять его течение в атомных процессах. Это было великое открытие, именно так его и восприняли на Земле. На Урании выстроили специальный институт для хроноэкспериментов. Чарли пригласил меня на Уранию, мы с ним друзья еще со студенчества. Я возглавил лабораторию хроностабилизации — тематика, прямо противоположная той, какую исследовали в других лабораториях института, там ведь доискивались, как время изменить, а не стабилизировать. С Земли прилетел Павел Ковальский, и Чарли направил его ко мне. Павел, специалист по хронофизике — дисциплине, созданной в основном трудами Чарли, привез отличную характеристику: широко образован, умело экспериментирует, годен для сложных заданий. Павел не соответствовал своей характеристике, он был гораздо выше ее. В характеристике не было главного: он шел всегда дальше задания, был ненасытен в научном поиске. Я долго не понимал,

почему Чарли определил Павла в мою лабораторию, у меня ведь трудно совершить открытие, наша задача поддерживать постоянство, а не выискивать чрезвычайности. Я попенял Чарли, что он не уловил научного духа Павла. Чарли ответил:

— Полностью уловил, потому и направил к тебе. Хочу вытравить из Павла этот дух чрезвычайности. Лучше всего это делать у тебя.

— Чарльз Гриценко в роли душителя научной инициативы — зрелище если и не для богов, то для дьяволов! — воскликнул я со смехом. — Кто-кто, а уж Чарли не из тех, кто глушит научную инициативу.

— Стремление всегда совершать открытия — не научная инициатива, а научная халтура! — выдал Чарли очередной парадокс. — Настоящий ученый — изучает. Халтурщик — ошеломляет. Наша задача — изучить закономерности тока времени, а не выламывать его в циркаческих трюках.

— Я раньше думал, что развитие науки идет от открытия к открытию, — сказал я. — И что великие открытия — ступеньки подъема науки, и что гении научной мысли...

— Гении, гении! — прервал он сердито. — Гений доходит до открытия в результате великого постижения проблемы. Он планирует для себя понимание, а не открытие. Павел не гений. И его жадное стремление к необычайности неизбежно выродится в пустозвонство. Его так и подталкивает работать на публику, а не на науку.

Кое в чем Чарли был прав, но в одном ошибся. В Павле гнездился гений, а не халтурщик. Он вышел за грань стабилизации времени ради интереса узнать, что там, за межой, а не для того, чтобы ошеломить заранее ожидаемой неожиданностью. Он был ненасытен именно к пониманию, всей натурой заряжен на изучение. Объяснять это Чарли было бы пустой тратой времени. Чарли составил себе твердое мнение о Павле, и никакие уговоры не заставили бы его изменить. Аргументом могли быть только реальные результаты, а не слова.

В моей лаборатории Павел вскоре поставил опыт на себе. Он сделал это тайно, не только Чарли, но и я не разрешил бы столь рискованных экспериментов. И опыт увенчался блистательным успехом. Павел совершил воистину великое открытие, даже не одно, а два.

— И тогда впервые поделился с вами, чем втайне от вас занимался? — вставил реплику Рой.

Так и было, подтвердил я. Павлу захотелось узнать, можно ли воздействовать трансформаторами атомного времени на биологические процессы. Еще Чарли установил, как он докладывал вам, что в атомной области выход в прошлое имеет весьма близкий предел — в дальние древности не уйти. Зато выход в будущее не имеет границ. Идея Павла звучала просто. Биологические системы, в отличие от неорганики, с которой оперировал Чарли, построены иерархически. В мертвой материи изменение времени отдельных атомов мало влияет на соседние. Взять кусок гранита, перебросить половину его атомов на тысячу лет вперед или тысячу лет назад — что изменится? Миллионы лет назад этот кусок гранита был гранитом, миллионы лет спустя будет гранитом. А в биологических системах изменение времени какого-нибудь управляющего центра в мозге немедленно отзовется на всем организме. Перебросьте тысячу важных нейронов мозга в будущее, отодвиньте их в прошлое — весь организм испытает потрясение. Центр управления организмом, переброшенный искусственно в будущее, властно потянет за собой всю подчиненную ему биологическую систему — все процессы убыстрятся, организм как бы заторопится жить, зато и старение наступит скорей. А затормозив ток времени, мы замедлим пребывание организма в его «сейчас», он будет пребывать все тем же, хотя вокруг все будет идти вперед, в свое будущее.

— Что-то вроде этого я читал в старинных книгах по фантастике, — сказал Рой. — Не вижу пока, какие открытия совершил Павел Ковальский. Вы говорили даже о двух.

Да, я говорил о двух открытиях. Первое состояло в том, что ток обратного времени в биологических системах возбуждается легче, чем в неорганических. Не остановка времени, не консервирование наличного «сейчас», а реальный уход в прошлое, до полного обращения в ничто. Иначе говоря, омоложение до уничтожения. Ибо развитие организма всегда ограничено двумя близкими пределами времени — *моментом рождения* и моментом смерти; он может балансировать только между этими двумя межами. И его движение в узких границах жизни — процесс автоматический. Все, что рождается, должно умереть. Можно замедлить посту-

пательный ход к концу, но нельзя его отвергнуть. Все это пока укладывалось в хронобиологические уравнения Чарли. И вот Павел установил, что обратный ход, омоложение, из искусственно возбужденного неминуемо превращается в автоматический. Уход назад, в прошлое, становится столь же естественным, как движение вперед, в будущее. Вечное пребывание в конкретном «сейчас» неосуществимо. Малейший толчок, и возобновится ход времени — вперед к естественному концу или назад к началу, которое в этом случае станет и концом. Таково первое великое открытие Павла.

— Иначе говоря, никакой старик, впадая в детство, на стадии юности не задержится,— прокомментировал Рой.— Открытие довольно грустное. Хотя, конечно, забавно было бы поглядеть со стороны, как старец растет — можно применить такой термин? — в молодого мужчину, потом в юношу, потом в отрока и младенца... Что будет дальше? В конце, который был когда-то началом?

— Погибнет на каком-то этапе. В зародыша не превратится, ведь он один совершает обратное развитие, матери ему не возвратят. Повторяю, открытие Павла состояло в том, что процесс омоложения непременно перейдет в автоматический: независимо от того, как его возбудили.

— Понятно. Слушаю второе открытие Павла Ковальского.

— Второе открытие в том, что Павел нашел удивительную возможность все же стабилизировать обратный ход организма. Надо лишь подстраховать один организм другим. Если два организма связать взаимодействующим пси-полем, то получится нечто вроде психологического дипполя. И тогда уход в прошлое одного организма вызовет ускоренное движение в будущее другого. Один организм своим противоположным ходом будет тормозить ускоренный ход времени у другого. Пси-поле сыграет роль амортизатора. И чем сильней будет душевное родство, тем безопасней станут любые хроноэксперименты.

Дойдя до этого вывода, Павел поделился со мной. Я ужаснулся, говорю без преувеличения. Переносить опыты с трансформацией атомного времени минералов на хрупкое, недолговечное время биологического существования было больше чем рискованно — недопустимо. В такой форме я и высказал свое мнение.

Павел в ответ вдохновенно предложил мне составить с ним пси-поле. Он всегда выглядел вдохновенным. Вдохновение усиливало силу его аргументов. Да, конечно, никто не даст разрешения на хроноэксперименты с организмами, соглашался он. Но почему нам самим не выдать себе такое разрешение? Ведь мы ставим опыты над собой, никого не привлекаем к опасному сотрудничеству. Каждый имеет право делать с собой что вздумается — жить, влюбляться, ненавидеть, тосковать, ликовать. Кто посмеет крикнуть самоубийце: «У тебя нет формального права лезть в петлю!» Кто объявит юноше: «Мы официально запрещаем тебе влюбляться!» Кто придерется: «Ты любишь стихи, а есть ли у тебя юридическое обоснование любви к стихам?» Человек одарен свободой воли, свобода воли дает право делать с собой все, что не ущемляет прав других людей. Этого единственного ограничения мы не нарушаем. Стало быть, наш поиск правомочен. Права на эти эксперименты мы ни у кого не должны выпрашивать и никого не обязаны о них информировать.

Так он уговаривал меня, и я стал поддаваться. Проблема была захватывающе интересной. Но я не мог пойти к Чарли за разрешением на новый поиск, он не только категорически запретил бы, но и немедленно убрал бы от меня Павла, чтобы оборвать в зародыше соблазн.

Так мы с Павлом составили первый пси-диполь, продолжал я. Крепость общего пси-поля была невелика, но мы и не отваживались на глубокие колебания времени. Вскоре мы установили, это было уже нашим общим открытием, что колебания нашего физиологического времени несколько запаздывают по сравнению с общим временем на Урании. Оттого, что наше биологическое время колебалось то вперед, то назад, оно замедлилось в общем поступательном движении вперед. Мы то микромолодели, то микростарели, а в результате медленней старели, чем другие жители Урании. Павел ликовал. Не омоложение, конечно,— омоложение может выйти из-под контроля и превратиться в губительный автоматизм, утверждал он. Но замедление старения — несомненно. Продление человеческого века — вот что дает нам пси-диполь. Скоро, скоро мы объявим миру о нашем успехе, официально создадим свою особую лабораторию. Название для нее, сказал он, я придумал: «Лаборатория продления жизни путем ди-

польного регулирования физиологического времени». Ты скажешь — длинно? Зато точно!

И тут в нашей лаборатории появилась Жанна Зорина.

Энергофизик по образованию, она считалась на Земле хорошим специалистом по сгущению воды и на Урании должна была помочь в использовании этого энергоемкого топлива. Она участвовала в монтаже «трехмиллионника», все прошлю отлично, обращение с энерговодой ведь много проще, чем с углем и нефтью, проще даже, чем с ядерными аккумуляторами. Наши энергетики могли управиться и без нее, но все же это был трехмиллионник, таких мощностей в одной цистерне земные заводы еще не выпускали. Для транспортировки и монтажа применили новые антигравитаторы, вот с ними-то и знакомила нас Жанна.

— Та самая цистерна, что взорвалась? — спросил Рой.— За три года пользования вы израсходовали один миллион тонн, верно?

Я подтвердил — та самая цистерна, выработанная на треть. После монтажа сгущенной воды Жанна хотела вернуться на Землю, но за нее ухватился Антон Чиршке. Повелитель Демонов проведал, что она изучала прозрачные стали, сверхпрочные пластики и прочие материалы высоких структур. Для восстановления его пористых пластинок такой специалист был даром фортуны. Для трансформаторов времени тоже требовались знатоки высокоструктурных материалов, и мы уговорили Жанну остаться. При первой же встрече Жанна полонила меня.

— Самая красивая женщина, которую я когда-либо видел,— так обрисовал я Антону свое впечатление.

— Выдающийся специалист,— сказал он с уважением. Для Повелителя Демонов такие пустяки, как внешность женщины, не имеют значения.— Ну, уж я заставлю ее поработать на сепарацию молекул!

Так случилось, что я влюбился в Жанну. Мы начали встречаться в нерабочее время, гуляли по пустым равнинам Урании, сидели при красочном закате Мардеки на крутых берегах Уры. Я рассказывал Павлу о встречах с Жанной, он равнодушно слушал — его не интересовало, в кого я влюбляюсь. Однажды Жанна посетила нашу лабораторию. После ее ухода Павел сказал мне:

— Эдик, я удивлен. Самописец вел запись нашего с тобой пси-поля. Так вот, в присутствии Жанны ди-

поль практически не функционировал. Зато прибор зафиксировал колоссальную душевную связь между тобой и Жанной. Что бы это значило, Эдик?

Я шутливо ответил, что наши приборы заново открывают то, что в древности было ведомо каждому парню и девушке, и слыхом не слыхавших о психофизике. Любовь сильней дружбы — вот что означает запись прибора. Если бы я знал, какие последствия вызовет мое объяснение, я остерегся бы откровенничать с Павлом, не стал бы приглашать Жанну в лабораторию. Но она продолжала посещать нас, Павел какое-то время держался спокойно, а потом — взрывом, словно пробудившись от сна безразличия,— повел на нее наступление. И не постеснялся сказать мне, что уж если наш с ним пси-диполь так ослабел, что не годится для хроноэкспериментов, то он заменит его более активным — своей собственной душевной связью с Жанной. Они стали мужем и женой.

— Стало быть, его любовь была операцией заранее запрограммированной,— сказал Рой.— В ней не было искренности. В общем, любовь, которая, собственно, и не любовь. Что вы качаете головой?

Я ответил, что Павел заранее запрограммировал любовь к Жанне, но от этого любовь не стала неискренней. В программу, заданную им себе, входило все, что делает любовь любовью — и в самом полном, самом высоком исполнении. Павел влюбился в Жанну беззаветно, страстно, беспредельно... И она ответила тем же. Они годились в герои древних романов о трагической любви мужчины и женщины. Я говорю — трагической, потому что сила их взаимной любви и привела к гибели Павла. Душевная связь, превратившая их с Жанной в одно психическое целое, открывала возможности для опытов, какие никогда не могли возникнуть в нашем с ним пси-диполе. Павел без колебаний продолжил с Жанной исследования, для которых вначале использовал меня. Отныне мне была отведена роль стороннего наблюдателя — неистового обсерватора, как пошучивает обо мне Чарли,— вдохновенного их безрассудства. Жанна сказала вам, что я всему удивляюсь, всем восхищаюсь. Павел ту же мысль высказал короче и бесцеремонней: «Смотри и учись, но Боже тебя оборони помешать! Наблюдения фиксируй, потом разрешаю докладывать!»

— Странные взаимоотношения! — заметил Рой.—

Насколько знаю, начальником лаборатории были вы, а не он.

Начальником Лаборатории стабилизации атомного времени был я, но душой тайных экспериментов по хронофизике являлся Павел. И вообще на Урании, разъяснил я Рою, формалистику должностей не культивируют. Мы безоговорочно подчиняемся Чарльзу Гриценко, академику, директору Института, создателю научной школы хронофизиков, но в личных отношениях с ним — свобода, немыслимая на Земле. Итак, Павел исследовал пси-диполь, созданный его душевным единением с Жанной. Первые месяцы он не торопился переходить от этапа к этапу. Ставлю эксперимент в полной чистоте,— так он характеризовал свои опыты. В понятие чистоты эксперимента входило и то, что он не захотел иметь детей: догадываюсь, у Жанны желание быть матерью появилось, но Павел воспротивился.

— Ребенок — это третий полюс,— объяснил он мне.— Проблема трех душ в пси-хронистике столь же трудна, как проблема трех тяготеющих тел в астрономии. Не вижу пока, как эту трудность преодолеть. О детях мы подумаем, когда завершим эксперименты.

К важным достижениям первого периода относилось окончательное подтверждение общего замедления биологического времени при колебаниях пси-диполя. То, что давал наш с Павлом пси-диполь, его единение с Жанной увеличило многократно. Оба они, Павел и Жанна, не молодели, естественно, но их старение совершалось куда медленней, чем общее старение людей на Урании или на Земле. Мы установили, что мои с Павлом хроноэксперименты продлевали нашу жизнь на 4—5 лет, а такие же эксперименты с Жанной — на 15—18 лет.

— Любовь — великий замедлитель старения! Любовь — великий стабилизатор жизни! — ликовал Павел.— Люди догадывались об этом, как только почувствовали себя людьми. Но только мы доказали это с точностью количественного закона природы. Отныне среди других теорий физики в институтах будет изучаться и теория физического поля любви. Ты представляешь себе, друг мой Эдик? Математические уравнения нежности, интегралы ревности и страсти, матрицы свиданий и разлук и — обобщением — длинный дифференциальный ряд общего времени жизни как функции лю-

бовного слияния. Бурные эмоции и глухие томления души на языке логарифмов и тензоров! Каково, а?

Он приложил свое новое понимание к одному давно известному факту. Еще наши предки заметили, что долго прожившие вместе супруги к старости становятся внешне очень похожими. Отличия внешности ослабляются, муж и жена выглядят на склоне лет как брат и сестра. Павел утверждал, что причина такого увеличивающегося с годами внешнего сходства — в хроноколебаниях пси-диполя. Супруги обмениваются не только ласками и придирками, радостями и заботами, но и индивидуальным своим временем, а физиологическое время определяет жизненные функции не меньше, чем изначальная генопрограмма организма.

— Ручаюсь, что у таких состарившихся в единстве супругов и продолжительность жизни больше, чем у одиноких или мало связанных душевно людей,— говорил он.— Мы доказали продление жизни в искусственном эксперименте. Но жизнь — тоже хроноэксперимент, только естественней, медленней. Принципиальные закономерности — одни и те же!

Так прошло несколько месяцев. Любовь служила эксперименту. Но возникла и новая закономерность: эксперимент стал служить любви. Я первым заметил зловещую новизну. Мое странное положение — друга Павла и отвергнутого соперника — не позволяло сразу поднять тревогу. Не знаю, как Павел, а Жанна сочла бы, что из ревности препятствую их любви. Эксперименты действовали на нее как вино, после каждого она чувствовала себя охмелевшей. Пси-диполь в потенциале динамичен, а влюбленные вообще никогда не пребывают в полном равновесии. Хроноколебания усиливают естественную неустойчивость взаимодействующих душ. Павел начал с небольших хроноколебаний, осторожно увеличивал их размах. Я контролировал процесс, не допуская выхода за физическую безопасность. Что появится опасность психическая — ни я, ни Павел не предвидели. После завершения каждого хроноколебания Павел и Жанна описывали свое состояние, а я фиксировал их информацию. Однажды Жанна так со смехом говорила о себе:

— Сначала я почувствовала себя в полете, я мчалась среди звезд. Вселенная вращалась вокруг меня, а я какой-то диковинной рыбой в море космоса уносилась в будущее. Я непрерывно рассеивала икринки. На

каждой ступеньке безмерно длинного будущего я оставляла своих детей. И знаете, кем я засевала мир? Тобою, Павел! Ты в миллионах одинаковых фигур оставался позади светящимся шлейфом!

Павел хохотал, его восхитило красочное видение, а я содрогнулся. Я понял, что колебания времени действуют наркотически. Вскоре видения появились и у Павла, он с наслаждением расписывал их. Павел еще изучал хронику колебаний, но его все больше привлекал «побочный продукт эксперимента», так он радостно именовал возникающий у него и Жанны бред. Они все больше отдавались сладкому дурману. Наступил момент, когда порождение галлюцинаций стало главной целью эксперимента, а его «побочным продуктом» физический смысл процесса. Павел все усиливал размах хроноколебаний, ему хотелось побольше вторгнуться в будущее, подальше унестись в прошлое. Я говорил, что он опасно увеличивает амплитуду, может появиться неконтролируемый автоматизм в колебательном процессе. Он успокаивал меня. До автоколебаний не дойдет, стабилизаторы надежно ведут процесс. Однажды мне все же показалось, что наступает автоколебание, и я прервал процесс. В нормальном состоянии Павел проанализировал бы обстоятельства перерыва, но он был в наркотическом трансе. Вы знаете, что происходит, когда наркомана насильно выводят из транса? Павел не стеснялся в выражениях. Мне пришлось напомнить, кто руководит лабораторией. С той минуты между нами пробежала черная кошка. Он вбил себе в голову, что я отвращаю их от новых открытий. А я при каждом опыте думал не о том, что он даст для науки, а о том, как обезопасить Жанну и Павла от неудачи. Под неудачей я понимал тяжелое нервное потрясение, мысль о физической катастрофе мне не являлась.

Катастрофа произошла, когда мы с Чарли обсуждали у него доклад в Академию наук. Взрыв на Энергоскладе разнесся по всей Урании. Энергосклад превратился в бушующий вулкан пылающей дымной воды. Вода, ставшая огнем и дымом,—такой картины до нас еще не наблюдал никто. Я воскликнул в ужасе: «Чарли, это же невозможно, в мире не существует физических причин, вызывающих взрыв сгущенной воды!» Чарли иногда соображает с такой быстротой, что рождающиеся в нем идеи сверкают как озарения. Он мигом ответил на мое восклицание: «Эдик, а если атомное время

сгущенной воды возвратилось к тому моменту, когда она была простой водой? Неужели твои стабилизаторы времени отказали?»

Чарли остался у огненного водяного вулкана, а я бежал изо всех сил. Основную причину взрыва я уже понял. Павел воспользовался моим отсутствием и самостоятельно запустил хроноколебания. Вероятно, чтобы не терять времени, он даже не вызвал к себе Жанну, только позвонил, чтобы она уединилась в своей лаборатории: пси-диполь их душ был так прочен, что на него почти не влияло небольшое отдаление.

Я ворвался в лабораторию, когда Павел, извиваясь в судорогах, подползал к командному аппарату. Он из последних сил старался подняться и перекрыть процесс, но судороги бросали его на пол. Я кинулся его поднимать, он оттолкнул меня. Он шептал, выбрасывая из себя слова, как застрявшие в горле комья:

— Жанна!.. Спасай... Автоколебание!.. Я держу... Спасай!..

Я лихорадочно пытался отрегулировать процесс, прежде чем оборвать его. Отдавая себе отчет, что автоколебание, ставшее неконтролируемым, нельзя просто отключить. Это могло привести к такому разрыву связи времен, что оба полюса диполя — Жанна и Павел — неминуемо бы погибли. И еще тогда, пытаясь синхронизировать трансформатор времени с автоколебаниями пси-диполя, я со всей остротой ощутил, как далеко зашел Павел в попытке спасти Жанну. Он не прерывал автоколебания, как мне показалось, а тормозил вызванную им бешеную пляску времени всеми атомами своего тела, он сжигал себя, чтобы не дать разновременью истерзать Жанну — он исступленно бросил свою жизнь на гибель, чтобы спасти Жанну. Продолжая извиваться на полу, но не давая себе и миллисекунды передышки, а мог бы. Он не только жертвовал собой, он отчаянно боролся за то, чтобы грозные дьяволы разновременья не отвергли его жертвы.

Синхронизация удалась, я остановил процесс. Павел вытянулся и замер. Я вызвал врача. Павел прошептал:

— Эдик... Я без тебя... Прости... Хочу...

Молчи! — приказал я. — Знаю все, что скажешь. Ты запустил хроноколебания на полную амплитуду. Процесс вырвался на автоколебательный режим. Тебя и Жанну стало трясти. Ты пытался удержать собой пу-

льсирующее время. Теперь успокойся. Процесс остановлен на равновесии, а не на разрыве. Жанне больше ничто не грозит. А тебе придется долго лечиться, очень долго, Павел.

— Спасибо...— шептал он.— Теперь... умереть...

Он умер на моих руках. Явившемуся врачу оставалось лишь официально установить прекращение жизни. Вскрытие показало ожог нервных клеток. Медики отнесли причины смерти к очередным загадкам жизни на Урании. Но могу вам сказать, что тот же Павел заранее очень точно рассчитал картину гибели организма, когда одни его клетки прорываются в будущее, а другие отодвигаются в прошлое. Те, что в будущем, полупризрачны, они малодейственны, а те, что в прошлом, как бы больны, они тоже ослаблены. Настоящее время — всегда время господствующее. При разновременье иерархическое взаимодействие клеток превращается в анархию. Клетки, живущие в настоящем, пожирают клетки-рудименты, энергично противодействуют клеткам, материализующимся из будущего. «Будет впечатление, что организм сжигает себя! — посмеиваясь, говорил Павел и добавлял: — При очень большом разновременье, естественно. И достаточно долгом!» Из-за наркотического ослепления не понимал, что создает в себе и едва не создал в Жанне именно такое гибельно большое и долгое разновременье.

— Вы ничего об этом не говорили следственной комиссии, Эдуард?

— Ни комиссии, ни Чарли. Даже Жанна не знает правды о гибели Павла.

— Такое ваше поведение имеет смысл только в одном случае: если вы и после гибели Павла Ковальского тайно продолжаете работы, вызвавшие его гибель.

— Совершенно верно. Я без Павла продолжаю исследования, вызвавшие его гибель.

— С возможностью столь же трагического конца?

— С неизбежностью столь же трагического конца.

Рой долго глядел на меня. Мне показалось, он растерялся — как держаться? Высказать возмущение? Показать сочувствие?

— Вы по-прежнему присваиваете себе право на опасный поиск? Вы считаете морально обоснованными неразрешенные исследования?

— Они прежде всего незавершенные, Рой.

— Они прежде всего неразрешенные, Эдуард.

— Выслушайте меня до конца, Рой.

— Именно этого и хочу, Эдуард.

После гибели Павла, говорил я Рою, у меня была одна мысль — немедленно прекратить биологические хроноэксперименты. И хоть я горевал о потере друга, но было и утешение: его гипнотическая власть надо мной кончилась, я мог поставить крест на его исследованиях. Но как отнесется к этому Жанна? Она не только любила мужа обычной женской любовью, с таким затруднением я бы не посчитался — мало ли женщин теряют своих мужей, не она первая, не она последняя! Но она боготворила Павла как хронофизика. Она могла счесть своим долгом завершить, что он не успел. Я наметил, как держаться, если Жанна потребует продолжения исследований. Объявлю Чарли, чем мы втайне занимались, попрошу официального благословения на хроноизыскания, получу строжайший отказ и взыскание за научное самоуправство — и с претензиями Жанны будет покончено.

Так я примеривался действовать, но не сумел.

Вы понимаете, Рой, первейшей задачей было — установить, как подействовала на здоровье Жанны гибель мужа. То, что случилось с Павлом, могло произойти одновременно и с нею. Она объяснила, что во время опыта с ней ничего необычайного не стряслось, она просто вдруг ослабела и прилегла, потом потеряла сознание и пришла в себя лишь после взрыва на Энергоскладе. Я сам отвел ее к врачам. В те первые дни после катастрофы она, измученная, покорно выполняла все мои требования. Осмотр показал, что кроме большого нервного истощения других недомоганий нет. Врачи уверили, что выздоровление гарантировано, но потребуется время. Времени у нас достаточно, так я тогда легкомысленно посчитал. И снова удивился гению Павла. Даже погибая, он понимал, как спасти Жанну,— собственная гибель была лишь элементом расчета. Чтобы не дать хроноколебаниям разорвать жизненную синхронность в Жанне, он всей силой воли, всей мощью трансформатора времени фиксировал клетки своего мозга в том будущем, куда их выбросило автоколебанием. Насильственно удержал себя в будущем. Возможно, он заранее предвидел и такой путь спасения Жанны при катастрофе — он был мастер на предвидения и расчеты. Чем глубже я вникал в траге-

дию, тем сильней покоряла меня сила его любви к Жанне.

И вот, рассматривая кривые экспериментов, я вдруг обнаружил собственную ошибку. В дикой спешке я разорвал процесс не в точке равновесия, как мне показалось, а чуть в стороне от нее. Для Павла это не имело значения, он уже и в тот миг был обречен. Но положение Жанны беспокоило. От автоколебаний внутреннего времени ее удалось предохранить, но восстановится ли его естественный ход, раз синхронизации на точке равновесия не произошло? Я с тревогой смотрел на выданный компьютером анализ. Наш автоматический мудрец, последняя модель марки «УУ» — усиленный умный,— предупреждал о возможности новых несчастий, только не расшифровывал их.

Один вывод был очевиден. Жанну нельзя выпускать из пси-диполя, она не должна уходить в самостоятельное духовное существование, пока не появится полная гарантия от непроизвольных автоколебаний времени. Только я мог теперь составить второй полюс такой психологической связи. Но как убедить Жанну, что новый диполь необходим? Не подумает ли она, что я хочу воспользоваться смертью Павла, чтобы завладеть ее душой? Она ведь знала, что я люблю ее. Она могла принять старания оградить ее от опасности за хитрые домогательства влюбленного! Была естественная возможность — рассказать, как реально обстоит дело. Пойти на это я не мог. Я скрыл, что Павел пожертвовал своей жизнью ради спасения ее жизни. Она не перенесла бы правды, сочтя себя убийцей мужа. И если бы она не покончила с собой, то отказалась бы и принять мою помощь. Мысль о том, что Павел, спасая ее ценой своей жизни, оставил какую-то опасность, а вызволять из той опасности буду я — нет, страшно и подумать, как она воспримет это!

И тогда я решил воздействовать не на ее заботу о себе, а на ее любовь к мужу. Я сказал Жанне, что хочу закончить исследования Павла. Человечество должно узнать, каким научным исполином он был. Пусть она докажет свою любовь к Павлу тем, что завершит погубившие его хроноэксперименты. И единственный путь к успеху — составить нам с ней новый диполь и проделать несколько опытов.

— Мы не будем уноситься с тобой на волнах видений.— Я понимал, что ей отвратительно и думать, что

она должна пережить со мной, что сопереживала с Павлом.— Ни бреда, ни галлюцинаций, все это было твоей с Павлом интимной радостью. Нас сегодня интересует одна наука. Завершение хроноэкспериментов много времени не займет, за это ручаюсь.

Так я уговорил ее продожить тайные исследования. Нас связывало единое пси-поле, оно было достаточно прочное, хотя один полюс — Жанна — показывал явное безучастие. Зато я мог ручаться за второй полюс — себя. Я готовился энергично нейтрализовать любое колебание времени. Я стал спокоен за Жанну. Не тревожился и за себя, не было поводов.

Новые обстоятельства помешали так хорошо рассчитанному плану.

Первым обстоятельством была сама Жанна. В ней обнаружились совсем не те изменения, каких я ожидал. Колебаний времени не произошло, время оставалось целостным, но течение времени изменилось. Павел, отчаянно выбрасывая себя в будущее, одновременно ввергал Жанну в ее прошлое. Очень близкое прошлое, вполне по теории нашего директора Чарльза Гриценко, доказавшего, что уход в далекое прошлое не больше, чем тема для фантастических романов. Но прошлое! Хроноколебания пси-диполя имеют свои проклятые закономерности! В самом горячечном бреду я не смог бы вообразить того, что случилось с Жанной. В ней не появилось разновременности, ее время пошло в обратную сторону. Жанна уходила в прошлое, она стала молодеть.

Рой, поймете ли вы мой ужас? Могу ли передать, какими глазами смотрел на первую страшную выдачу компьютера: «Атомное время нервных центров объекта идет в обратном направлении». Объектом была Жанна. Обратный ход ее времени означал приговор: не выброшена в близкое прошлое, а оттуда, пульсируя, спешно догоняющая свое настоящее время,— нет, она постепенно уходит от нас, невозвратно убегает назад, к недавнему своему жизненному началу, и оно станет вскоре ее жизненным концом! Именно так описал вам в этой комнате Чарльз биологическое значение обратного хода времени. Именно так и произошло — в точности по его прогнозу, хотя и отдаленно он не догадывался, что неподалеку от его кабинета, без его разрешения, без его ведома осуществляется этот грозный процесс.

Я был в отчаянии. Теория возвратного хода времени теперь предстала мне беспощадным физическим фактом. Жанне выпала судьба пойти по дороге «омоложения до уничтожения», высчитанного ее мужем. И в полном согласии с прогнозами Павла процесс ухода назад должен, постепенно убыстряясь, из искусственно возбужденного превратиться в автоматический — конец не заставит долго ждать себя!

Я бы солгал вам, Рой, если бы говорил, что испытывал одно отчаяние. Главным было — можно ли предотвратить ужасный финал? Вы сказали, что было бы забавно поглядеть, как древний старец растет в юношу. Молодая, красивая женщина Жанна Зорина растет в девочку — но, уверен, вы, Рой, не найдете в том ничего забавного. И тут я вспомнил о втором великом открытии Павла. И этот обратный рост можно задержать и повернуть на нормальное развитие, используя пси-диполь. Не все потеряно, твердил я себе, настраивая аппаратуру на противодействие. Свойство нашего с Жанной диполя допускало такое противодействие, если падение в прошлое будет медленным. Для нейтрализации стремительного ухода назад у нашей слабой духовной связи не хватит прочности. Это я уже и тогда сознавал. Но как быстро идет обратное развитие? Где та роковая точка, в которой оно автоматически убыстрится?

Я не мог оторвать взгляда от Жанны, когда мы встречались, это ее раздражало. Она вбила себе в голову, что я любуюсь ею, что во мне возникает желание завоевать ее, вдруг ставшую свободной. И я не мог отвергнуть ее оскорбительного заблуждения, ибо любое опровержение могло стать разоблачением. Надо мной как топор нависал грозный вопрос, а я не имел надежного ответа: выдержит ли Жанна правду уже не одного, а двух несчастий — правду гибели Павла и правду грозящей ей самой гибели? Я не смел позволить себе риска правды, что бы Жанна ни думала обо мне.

Первые недели после катастрофы надежда на удачу была. Жанна выглядела ужасно — похудела, постарела, ослабела. Это радовало. Радовало и ее пси-поле, в душе Жанны господствовало горе, все мысли приковывались к воспоминанию о Павле, она не выходила из состояния подавленности. И хотя компьютер выдавал свое неизменное «Атомное время объекта идет в обратном направлении», я с тихой радостью разглядывал записи пси-поля Жанны, с той же скрываемой от всех радо-

стью украдкой бросал взгляды на нее. Время еще есть, говорил я себе, убеждаясь, что Жанне по-прежнему плохо. Пси-диполь не давал Жанне рухнуть в прошлое, он методично поворачивал атомное время на прямой ход из обратного. Уже и в анализах компьютера появились обнадеживающие нотки: «В объекте появилось разновременье, некоторые группы атомов приобретают прямое направление времени, хотя в целом время течет обратно». Разновременье само по себе опасно. От разнузданности разновременья Павел и пытался Жанну уберечь в последнюю минуту своей жизни. Но только этот опасный путь и мог сегодня обезопасить Жанну от гораздо худшего. Главное — не допускать бури противоборствующих времен, предотвратить ураган разрыва связи времен — и я постепенно вытяну Жанну из болота небытия, куда она готовится рухнуть!

Энергетик Антон Чиршке первым подал сигнал, что времени осталось слишком мало. Этот человек, Повелитель Демонов Максвелла, наделен воистину демоническим ощущением необычайного. Жанна изготавливает для него сепарационные пластинки, Антон встречается с ней ежедневно. Частые встречи отнюдь не способствуют восприятию медленных изменений. А Повелитель Демонов обнаружил их раньше Чарли, даже раньше меня, с таким беспокойством ожидавшего их появления. Он с радостью сказал Чарли, повторил потом и при мне: «Жанна оправляется от потрясения, выглядит уже сносно. За ее здоровье можно не опасаться». Антон и не подозревал, какой зловещий смысл таится в его утешительном наблюдении. Несколько дней — как раз вы прилетели, Рой,— еще можно было сомневаться, запись пси-поля Жанны еще показывала подавленность и горе. Но вскоре уже и сам я увидел, что Жанна оправилась от физического недомогания. Душа ее еще скорбела, а тело возвращалось к жизни — к прошлой жизни, не к будущей! Я смотрел на ее старые фотографии и молчаливо ужасался — она становилась похожей на ту девушку, которая три года назад появилась на Урании.

— Догадываюсь, что этот возраст, превращение девчонки в девушку, и есть та роковая точка, где движение назад должно стремительно убыстриться,— сказал Рой.

— Да, точку убыстрения, вероятней всего, надо искать в переходном возрасте. Я проверил свои расче-

ты. Наш слабый диполь гарантировал в три-четыре месяца поворот на прямой ход времени. Катастрофическое же падение в прошлое могло начаться в ближайшие дни. Времени не было.

— Догадываюсь, что дальше. Осталось одно: усилить вашу душевную связь с Жанной. Но это могла сделать только любовь. Неужели вы думали, что она сможет вдруг так сильно полюбить вас?

— Вы угадали, Рой. Только огромное усиление нашего пси-поля могло еще дать надежду. Но на любовь я не рассчитывал. Я не мог заставить Жанну вдруг полюбить меня, да еще с такой силой. Я использовал другую могучую силу. Я прибег к ненависти.

— К ненависти? — воскликнул Рой. Если в начале беседы он демонстрировал невозмутимость, лениво покачивал ногой, то чем дальше вывязывался мой рассказ, тем меньше Рой заботился, какую принять позу. Он вникал в мои разъяснения, старался их предугадать, домысливал факты и выводы раньше, чем я их высказывал. Он сопереживал. Но того, что я сказал о второй могучей силе, он не ожидал.

— К ненависти, — повторил я. — Рой, противоположности сходятся, разве мы этого не учили? И многие внешние проявления противоположных сил одинаковы. Ненависть тоже форма душевной связи. Сила ненависти так же огромна, как сила любви. И так же быстро вспыхивает, так же жжет душу, так же мобилизует все потенции организма, как и любовь. С обратным знаком, конечно. Но знак в данном случае не имеет значения. Мне важна была связь наших душ, острая ненависть эту связь давала. Я легко возбудил у Жанны это чувство к себе.

— Понимаю! Вы раньше скрывали от Жанны, как погиб Павел. Вы сказали, что вам еще не все ясно в его смерти. Она не могла не уловить вашей уклончивости, не могла не подозревать, что причины хуже, чем вы туманно намекаете. И сейчас вы признались, что причина гибели Павла в ваших действиях. Она сразу поверила и возненавидела вас. Верно?

— Все верно.

— Что было дальше?

— Дальше был расчет крепости пси-поля, один конец которого — ненависть, а другой — любовь. Диполь оказался достаточно прочным, чтобы в течение при-

мерно пяти дней, форсируя аппаратуру, вырвать Жанну из падения в прошлое.

— И этих пяти дней я вам не дал, запретив все работы?

— Да, Рой.

— Но исповедь не закончена, правда ведь?

Не закончена.

— И конец ее будет в том, что вы надумали обеспечить спасение Жанны своей собственной гибелью? Что вы повторите самопожертвование Павла, только расчеты надежнее? Он-де был гениален, но в панике не все учел. А вы в тот момент, когда ворвались в лабораторию, в панике же не сумели остановить процесс в точке равновесия. Зато сейчас ошибки не сделаете.

— Все точно, Рой.

— И надеетесь, что я разрешу вам самоубийством спасти Жанну?

— Да.

— Какие у вас основания на это надеяться?

— Рой, это же просто! Если не погибну я, погибнет Жанна. Одна смерть неизбежна. Но моя смерть гораздо моральней.

— Моральней?

— Да, Рой. Я должен понести кару за неразрешенные эксперименты. Жанна их участник, но она неповинна, к тому же жестоко наказана. Моя смерть — форма самонаказания, продиктованная совестью. Неужели вы думаете, что я смогу жить, отягченный двумя смертями по моей вине? Не преувеличивайте моей научной любознательности. Через два трепа она не перешагнет.

Рой заметался по комнате. От его невозмутимости не осталось и следа. Он был в неистовстве. Даже у вспыльчивого Антона Чиршке я не знал такого приступа гнева. Рой кричал, что наложил запрет на работы в институте, ибо догадывался, что в нем идут какие-то тайные исследования, ставшие причиной катастрофы. И был уверен, что веду их я, именно я, а не другой, всем видом показывая, что таю секрет. И он, Рой Васильев, абсолютно не сомневался, что рано или поздно я приду с повинной. Даже тематику тайных исследований он смутно подозревал, во всяком случае, очень уж большой неожиданности в моих объяснениях не нашел. Но что я сделаю его участником недозволенного поиска, он и помыслить не мог. Поставить его перед дилеммой: самому решать — кому жить, кому умереть! Ведь это

что! Я исповедался и теперь ожидаю отпущения грехов, так? А ответственность за новую неизбежную трагедию возлагаю на него, да?

— Не предваряю ваших решений, Рой,— сказал я, когда он выкричался.— Но хотел бы знать: что вы решили?

— Ничего не решил! — сердито ответил он.— Даже представления не имею, какое возможно решение.

— Но что-то вы предпримете и какое-то решение составили?

Он с усилием взял себя в руки.

— Предприму я вот что. Вызову Чарльза Гриценко и передам наш разговор. Пусть и директор знает, какие исследования совершаются втайне от него. Будем вместе искать выход. А мнение мое таково: права на тайный научный поиск у вас нет, но право на помощь вы имеете.

9

— Права на поиск у тебя нет, право на помощь ты имеешь,— этими же словами описал ситуацию Чарли.

А вспыльчивый Антон, Повелитель Демонов, сердито добавил:

— Я разобью все твои аппараты, измочалю тебя всего! В этом не сомневайся. Но это будет потом, раньше надо тебя спасти.

Они пришли ко мне втроем. Рой молча уселся в сторонке, подальше от аппаратов — мне кажется, он испытывал к ним недоброжелательство: не то опасение, не то прямое отвращение. Впрочем, он постарался показать свою обычную невозмутимость: забросил ногу на ногу, покачивая ею. Он только слушал, не вмешиваясь в обсуждение. Это, наверно, было одной из предписанных себе поз: спокойно переводить взгляд с одного на другого, ничем не выдавать, какое предложение нравится, какое вызывает протест. Таким он являлся обычно на Урании, и мне уже не верилось, что этот человек метался по комнате, кричал и ругался и если бы мог закатить мне здоровенную пощечину, то не задумываясь поднял бы руку. Своей нынешней бесстрастной отстраненностью он показывал, что несдержанности больше себе не позволит,— это был его своеобразный способ приносить извинения.

А Повелитель Демонов кипел и выбрызгивался. Он

первым вошел — ворвался, естественно, а не просто вошел — в лабораторию и начал с того, что минуты три только ругался, яростно доказывая, что на наши с Павлом научные достижения ему чихать, а губить Жанну он не позволит, она прелестная женщина, и лучше ее никто не изготовит пластинки для сепарации молекул по скоростям. И меня он тоже не позволит губить — я хороший парень. Вот еще вздор — ценой своей жизни поправлять глупейшие научные ошибки! Нет, куда это годится, он спрашивает. Боюсь, в своем возбуждении Антону реально вообразилось, что имеются два Эдуарда Барсова. И один — его приятель Эдик, тихий скромница, неплохой экспериментатор, в общем, добряк. И попал тот добряк в беду. Его — немедленно вызволять! А второй Эдуард — мрачная бестия, нарушитель научной этики, губитель хороших людей. И этого Эдуарда надо бы топтать ногами, да жаль, в наше время такое естественное обращение со скверными людьми запрещено.

— Перестань, Антон! — приказал Чарли. — Эдика надо вызволять не от Эдика, а от ошибки в эксперименте. Вот этим мы и займемся.

Я всегда восхищался Чарли — как ученым и как научным руководителем — и понимал, как сложно сейчас его положение. И со стороны — старался, во всяком случае, посмотреть на него со стороны — с некоторым любопытством ожидал, как же он поведет себя. В отличие от Повелителя Демонов — тот в запальчивости приписал мне раздвоение личности. Чарли сам ощутимо раздвоился. В одной своей ипостаси он был академик и директор Института, эта его ипостась смотрела на меня гневным и укоризненным лицом. Директор возмущался, что в его Институте ведутся неразрешенные работы и ведет их его друг, его главный помощник. Можно ли простить этому другу и помощнику, Эдуарду Барсову, его самоуправство? Как его наказать? Какие установить запреты для тех, кто вздумает последовать, впадая в азарт научного поиска, за человеком, подавшим столь опасный пример?

— От кого угодно мог ожидать, только не от тебя, Эдик! Так безрассудно втянуться в безумные эксперименты! — говорил он. — Разве я не доказал, что выход в обратное время для биологических структур губителен? И разве ты не понимал, что эксперименты, придуманные Павлом, преждевременны? Мы не научились

контролировать время на молекулярном уровне, а он при твоем попустительстве пытался воздействовать на целостное время сложнейших биологических систем. Перепрыгнули через добрую сотню неизученных промежуточных ступенек! Правда, эффект научного поиска огромен, но какой ценой!

Уже в этом строгом выговоре директора Института сказалась вторая сторона личности Чарли,— его чисто научная ипостась. Он сразу оценил открытия Павла. Он не одобрил их,— этого не было,— но не скрыл, что удивлен их значимостью. При иных обстоятельствах он, наверное, высказался бы по-иному: «Я восхищен!» — сказал бы он, если бы речь не шла о жизни Жанны. Для его научной проницательности не составило труда сразу понять, как велики оба открытия Павла: то, что искусственное «омоложение до уничтожения», в какой-то критической точке становясь автоматическим, приобретает неконтролируемую скорость и что пси-диполь, связующий души двух людей, является единственным тормозом такого «падения в ничто». Необыкновенные возможности пси-диполя захватили Чарли — и то, что качели микромолодения и микростарения замедляют общее время и способствуют продлению жизни; и что прочное родство душ позволяет ставить хроноэксперименты, абсолютно губительные, когда такого родства душ нет,— правда, небезопасные и при прочных пси-диполях. Это, к несчастью, мы с Павлом доказали. И Чарли без возражений принял, что придуманный мной отчаянный план спасения Жанны вполне реален.

— Ты, конечно, спасешь Жанну,— сказал он.— И конечно, погибнешь сам. Расчет твой безукоризнен, я не нашел в нем ни единой ошибки. Вообще такого рода расчеты тебе вполне можно доверить, они в пределах твоих знаний и способностей. Но мы не можем примириться с таким финалом. Самопожертвование — твое личное решение, мы не вмешиваемся в то, какой тебе рисуется твоя судьба. Но пейзаж гибели — не та картина, которая способна нас восхитить. Мы решили внести поправки в расчеты. Павел был вдохновенно пытлив, но ему не хватало научной солидности. Он, как тебе ни покажется странным, проявлял трусость в иных случаях. Он отступил перед проблемой трех связанных душ, посчитав ее равнозначной проблеме трех тяготеющих тел в астрономии. Аналогия есть. Но ведь и три

взаимно тяготеющих тела в космосе не редкость. И три взаимно связанных души — типичность. Вспомни, как увлекались наши предки — особенно в книгах — проблемой «любовного треугольника». И хоть решались задачи таких треугольников не проще, чем задачи трех тяготеющих тел, решение все же отыскивалось.

— Не уясню, к чему ты клонишь,— прервал я Чарли. Мне вообразилось, что он готовится разразиться очередным парадоксом. Для шуток мог бы выбрать другое время.

— Вижу, что не догадываешься. И жаль, ибо в проблеме трех душ — реальный путь к спасению вас обоих, тебя и Жанны, друг мой Эдик! Вот мой план, слушай. Мы образуем треугольник: Жанна, ты, Антон. В треугольнике три полюса: ненависть — Жанна, любовь — ты, дружба — Антон. Три полюса образуют три диполя, три стороны треугольника: Жанна — ты, Жанна — Антон, ты — Антон. Твой пси-диполь с Жанной выволакивает ее из катастрофического падения в молодость; диполь Жанна — Антон добавляет своего старания в том же направлении, а диполь Антон — Эдик сыграет роль тормоза, когда ты станешь уноситься в будущее. Антон погасит тряску разновременности в твоем теле, не допустит в тебе разрыва связи времен. Думаю, для роли дружеского психотормоза Антон годится лучше всех на Урании. Руководство операцией беру на себя. И можешь не сомневаться, в панику не впаду и прерву процесс точно в положении равновесия для всех трех полюсов. А что до нашего друга Роя, то ему поручим твою любимую роль — обсерватора.

Не знаю, как я удержался от слез. Еще за минуту до того, как он заговорил о своем плане, я видел только один мрачный выход. Но был, оказывается, и другой, Чарли нашел его. Я хотел сказать, что согласен, что благодарен, что выполню все мне в плане отведенное, но не справился с голосом. Зато Антон внезапно впал в восторг.

— Приступаем немедленно! — заорал он, вскакивая.— Терпеть не могу тянуть резину, как это когда-то называли. Ох, Эдик, покажем теперь, до чего ты недооценивал друзей! И если не попросишь у нас извинения, задам потом тебе оплеух, будь спокоен!

Когда Чарли говорит: «Предлагаю план»,— это означает, что у него готова не только идея, но и расчет. Жанну решили в программу не посвящать, просто обя-

зать себя вести, как наметил Чарли. Мы с Антоном занялись подготовкой своей части программы. Повелитель Демонов с его дьявольским чутьем к необычному и вправду идеально подходил для прочной душевной связи и со мной и с Жанной. Эта связь существовала всегда, но одно дело просто дружить, другое — вводить свою дружбу в аппараты в качестве физической силы. К тому же еще синхронизировать течение его индивидуального времени с биологическим временем моим и Жанны! Включение Антона в третий полюс прошло блестяще. Чарли был доволен, а доволен он, если программа выполняется с блеском.

— Завтра вызовем Жанну и начнем эксперимент!

Жанна смутилась, застав у меня Роя, Чарли и Антона. Мы с Павлом так таили ото всех наши исследования, а я недавно так перепугался, когда она посетовала, что надоело вечно секретничать... Она бросила на меня гневный взгляд — к ее ненависти добавилось и негодование, что я, не предупредив и не испросив согласия, открыл наши тайны. Антон незаметно для Жанны мне подмигнул: все в порядке, мол, лишняя капля возмущения ненависти не испортит, а стало быть, сработает на наш план.

— Жанна, мы все знаем,— сказал Чарли.— Эдик рассказал, какие Павел разрабатывал темы. Грандиозно — вот наше мнение. Подробней обсудим потом, а сейчас тему надо завершать, пока нам не нагорело за недозволенный научный поиск. Мы решили ускорить исследования. Пси-диполь, соединяющий тебя с Эдиком, будет сегодня проверен на разные изменения времени. Пройди в соседнюю комнату и немного побудь там в одиночестве. Можешь вздремнуть, если хочется.

Жанна опять метнула на меня ненавидящий взгляд. Я постарался изобразить на лице наглую развязность — она вспыхнула от возмущения. Уходя, подошла к зеркалу и поправила волосы. Она любовалась собой, это было новое.

— Совсем девчонка,— задумчиво сказал Рой, когда Жанна скрылась в соседней комнате.— Она помолодела даже с того дня, как я ее впервые увидел. В ней, кажется, появилось и кокетство.

— Значит, мы захватили впадение в юность на критической точке,— высказался Чарли.— Будем торопиться, друзья!

Торопливость у Чарли всегда быстрая, но без сума-

тохи. Я и Антон сидели в креслах напротив друг друга. Рой в сторонке, прислонясь плечом к стене, молчаливо наблюдал за нами. Чарли ходил от кресла к креслу и к аппаратам. К креслам были прикреплены датчики от командных механизмов. Компьютер непрерывно выдавал ход процесса, на лентах самописцев извивались записи наших состояний — Жанны, Антона и моего. Чарли вел программу с интенсивностью, на которую я бы не осмелился. Он знал что делает. Я задыхался, боль была в каждой клетке тела. Вероятно, что-то похожее, только стократ усиленное, испытывал и Павел. Антон испуганно закричал:

— Эдик, ты превращаешься в старика! Это ужасно, Эдик!

— Рой, подойдите к двери в другую комнату,— распорядился Чарли.— И если Жанна попытается вырваться, не давайте. А ты молодец, Антон! Помни, от тебя зависит не дать завершиться уходу Эдика в будущее. Старайся, Антон!

— Я стараюсь,— пробормотал Антон, не отрывая от меня широко раскрытых глаз. Вероятно, я очень плохо выглядел, раз он так перепугался.

Не знаю, сколько прошло, я потерял ощущение времени. Как бы сквозь сон, я услышал крик Жанны, громкие уговоры Роя. Потом была опять тишина, и ее разорвали два крика, два вопля — торжествующий и негодующий.

— Готово! — ликующе кричал Чарли. Я открыл с усилием глаза — он в дикой спешке отключал аппараты и все кричал: — Тройная точка равновесия схвачена! Точно тройная точка! Точно!

А посередине комнаты стояла Жанна, вырвавшаяся из своего временного заточения, и тоже кричала:

— Прекратите пытку! Прекратите пытку!

Я опять стал терять сознание. Но взгляд на Антона придал мне какие-то силы. Антон был страшно бледен, бескровные щеки отвисли, нос заострился. Он казался мертвецом. Я попытался вскочить, чтобы помочь ему, хотя и не знал, как это сделать. Чарли положил руку мне на плечо, рука была безмерно тяжела, я со стоном опустился в кресло. Чарли сказал очень радостно и очень торжественно:

— С Антоном все в порядке. Антон сделал свое дело, теперь отдыхает.

— А мы? — прошептал я.

— Ты жив, это главное. А Жанну спасли.

Больше спрашивать я не мог. Рой, Жанна и Чарли превратились в призраков,— туманными силуэтами парили в воздухе. Один Антон не двигался, он был все так же бледен. До меня как сквозь стену доносились голоса, я старался изо всех сил разобраться в них. Я понимал, что и Жанна, и Чарли, и Рой говорят громко, быть может, даже кричат.

— Что это значит — Жанну спасли? — негодовала Жанна.— Эдуард устроил какую-то новую подлость? Я хочу знать, что он сделал!

— Жанна, подойди к зеркалу,— говорил Чарли.— Полюбуйся на себя, ты теперь настоящая. Тебе уже ничто не грозит.

Она, очевидно, всмотрелась в зеркало. До меня донесся ее новый — шепотом — крик:

— Боже мой, что он сделал со мной! Как я подурнела! Я же выгляжу старухой. Как ты смеешь говорить — «полюбуйся на себя»! Ты издеваешься!

— Мы радуемся за тебя, Жанна!

Среди всех выделился голос Роя:

— Жанна, вы сказали, что Эдуард устроил вам новую подлость. Подберите слова из другого лексикона. Самые высокие будут бледны...

Он еще что-то говорил, но я не слышал. На несколько минут пробудившееся сознание донесло, что меня несут на носилках, потом наступил долгий провал. Очнувшись, я увидел, что лежу в палате. Около меня на столике стоял микрофон. Я попросил дежурную сестру, чтобы пришел врач. Я сказал, что слишком долго спал — наверно, не меньше суток, хорошо бы мне встать. Он засмеялся. Я не спал, а был в беспамятстве. И не одни сутки, а ровно двадцать. И что встать надо, точно, было бы неплохо, но только вряд ли это осуществимо. Некоторое время мне придется передвигаться только на костылях. Окончательное выздоровление он гарантирует, но это будет не завтра. Моего первого прихода в сознание ожидают трое, он сейчас разрешит им посещение.

В палату вошли Чарли, Рой и Антон.

— Ты неплохо выглядишь, Эдик! — сказал Чарли.— Врач уверяет, что ты отличник выздоровления. По-моему, ему можно верить.

Ты жутко похудел,— посетовал Антон.— В чем

только душа держится! А как настроение? Неплохое, правда?

— Опыт был проведен блестяще,— сказал Рой.— Вы вскоре сами все узнаете, когда изучите записи процесса. Конечно, таких опытов больше вам не разрешат.

— Будем двигаться поэтапно,— бодро уточнил Чарли.— Следующие наши эксперименты — не выше молекулярного уровня. Надо же что-нибудь оставить и будущим поколениям хронофизиков.

Я спросил о Жанне. Жанна, узнав правду, приходила в больницу, но я лежал без сознания. Несколько дней назад Жанна улетела на Латону, оттуда на Землю. Перед отлетом она великолепно справилась с монтажом «трехмиллионника». Играла на могучих антигравитаторах, как на рояле. Цистерна с тремя миллионами тонн сгущенной воды плыла от космопорта к новому Энергоскладу, как легкий воздушный шарик. Антон внезапно рассердился.

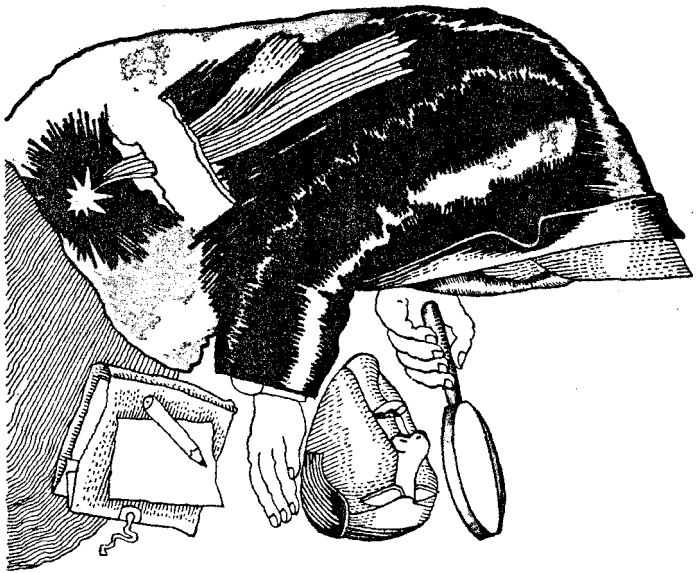
— Никогда не прощу тебе, что она улетела!— закричал он.— Ты знаешь, какие мне теперь суют сепарационные пластинки? Посчитаемся после выздоровления. Хорошего не жди! Выздоравливай поскорей!

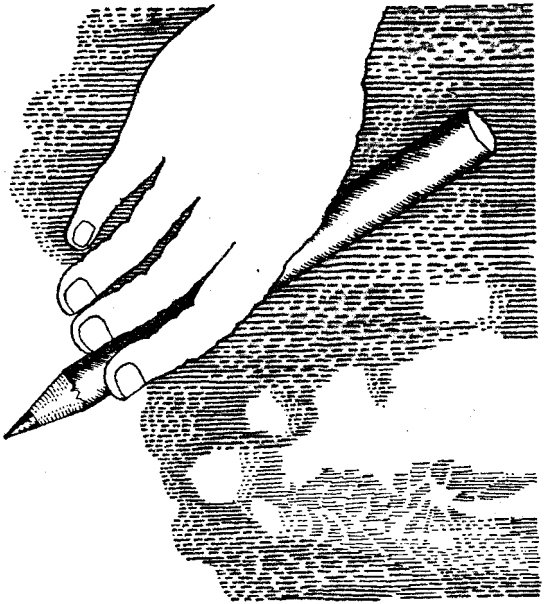
Они ушли. Я закрыл глаза, вспоминал, огорчался, радовался. То, что Жанна не захотела оставаться на Урании, было, вероятно, хорошо, а не плохо. Многое объединяло нас, но еще большее разделяло, я не мог разобраться во всей этой путанице.

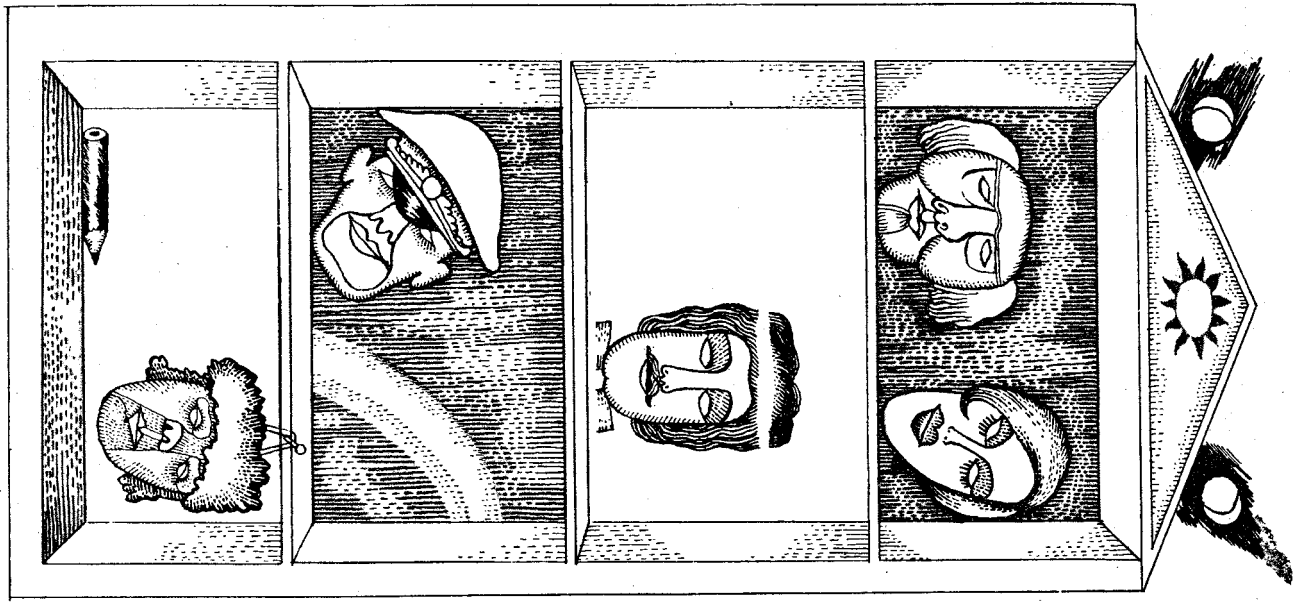
И настал день, когда — пока на костылях — я смог выбраться в столовую. К моему столику подсел Чарли, деловито пробежал глазами меню, заказал омлет с овощами, апельсиновый сок и порадовал:

— Вчера с Латоны ушел на Землю рейсовый звездолет «Командор Первухин», на нем отбыл Рой Васильев. Он передает тебе поклон.

Олег Лукьянов







ПРИНЦИП НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Повесть

Сегодня перед рассветом я взошел на вершину горы, и увидел кишащее звездами небо, и сказал своей душе: «Когда мы овладеем всеми этими мирами Вселенной, и всеми их усладами, и всякими знаниями, будет ли с нас довольно?» И моя душа сказала: «Нет, этого мало для нас».

Уолт Уитмен. Песнь о себе

ГЛАВА 1

«...Таким образом, применение принципа в самообучающихся распознающих системах открывает практически неограниченные возможности и для их дальнейшего совершенствования».

Профессор поставил точку и, откинувшись в кресле, с наслаждением потянулся. Ну вот теперь, кажется, все. Теперь идея доведена до полного блеска. Остается как следует преподнести ее конгрессу. Именно как следует, чтобы сразу взяло за живое. О действующей модели сначала, разумеется, ни слова. Как будто ее и нет. Сначала только теория. А теоретическая часть, что ни говори, хороша! С этакой сумасшедшинкой, способной привести в недоумение даже очень раскованный ум. Это что за странная формула? Как можно ставить знак равенства между частями, значение которых, как только что заявил сам автор, нельзя определить точно? Оказывается, можно? Так, так... любопытно... гм... в самом деле! Ну что ж, теория изящная, но какое практическое применение она может найти, если нельзя составить заранее ни одного алгоритма? Какое? А вот какое... А ну-ка, Володя, подкатите поближе установку. Сейчас мы вам продемонстрируем, уважаемые коллеги...

Профессор встал и, закинув руки за спину, принялся прогуливаться по кабинету, улыбаясь собственным мы-

© О. Лукьянов, 1992

слям. Вот что значит настойчиво следовать поставленной цели! Правильно говорил Эдисон: два процента вдохновения и девяносто восемь — пота. А ведь сколько было колебаний, сомнений, доводящих порой до отчаяния! Сколько раз казалось, что впереди тупик, и хотелось бросить все к черту. Но какая-то струна внутри дребезжала, не давала покоя, говорила: «Иди! Иди и найдешь». И ведь нашел! Как там сказал классик? «И гений, парадоксов друг...»

Профессор распахнул настежь окно и с удовольствием вдохнул свежий утренний воздух, пропитанный солнечным светом. Небо-то какое голубое! Ах, красота! Внизу гремела, сверкала, переливалась бликами весенняя улица. Ветер нес над крышами тополиный пух. Одна из пушинок залетела в окно, закружилась и стала зигзагами опускаться на пол. Повинуясь внезапно вспыхнувшему детскому инстинкту, профессор повернулся и хлопнул ладонями в воздухе, ловя пушинку.

В ту же секунду, вздрогнув, он опустил руки. Это что такое? В кресле для посетителей сидел, положив ногу на ногу, словно давно дожидаясь, молодой человек лет двадцати восьми, сухощавый, симпатичный, в просторной бархатной куртке. Профессор нахмурился, с недоумением разглядывая непрошеного гостя, но сказать ничего не успел, так как тот опередил его. Он с улыбкой поднялся, отталкиваясь руками от подлокотников, как-то очень изящно поклонился и сказал неожиданно звучным, красивым баритоном:

— Прошу извинить, что побеспокоил, Анатолий Николаевич, но я к вам по чрезвычайно важному делу, очень для вас интересному.

В его манере держаться и говорить — простой, обезоруживающей улыбке, четкой дикции, самих движениях — было что-то артистическое, действующее на воображение, и молодой человек, очевидно, хорошо знал это. Профессор неодобрительно покачал головой, начиная кое о чем догадываться.

— С телестудии?

— ...Нет... не совсем,— чуть помедлив, сказал посетитель, и улыбка на его лице чуть пригасла.

Профессор только хмыкнул на этот не очень-то вразумительный ответ и, обогнув стол, уселся в кресло.

— Вообще-то говоря, принято хотя бы постучать, прежде чем войти,— сдержанно сказал он, окидывая взглядом покорно стоявшего перед ним посетителя.

Изобретатель? Не похоже... — Ну, садитесь, раз уж явились. Что у вас там за срочное дело...

— Благодарю...

Молодой человек пододвинул себе кресло и сел, сцепив на коленях руки.

— Дело у меня очень необычное,— начал он, немного подумав,— можно даже сказать, из ряда вон выходящее, фантастическое дело.

Он поднял голову и выжидательно посмотрел на профессора, как бы примеряя, какое впечатление может произвести на неподготовленного человека столь неожиданное начало.

— Я вас слушаю,— сказал профессор.

— Как бы вы поступили, если бы к вам пришел некто и заявил, что имел встречу с...

Он снова замолчал, не отводя от профессора внимательного взгляда, и не торопясь закончил:

— ...с разумным существом внеземного происхождения?

Профессору сразу стало скучно. Еще один «тарелочник»! Сколько их сейчас развелось!

— Дело действительно нешуточное,— сказал он, усмехнувшись.— И какие же факты предъявил бы ваш «некто» в подтверждение этой замечательной встречи?

— Никаких. Факты были предъявлены только ему. Абсолютно неопровержимые, убедительные, так что не остается ни малейших сомнений в том, что это было действительно внеземное существо, а он может лишь подробно рассказать об этих фактах и самой встрече.

Профессор с интересом разглядывал собеседника. Что же это, однако, за экземпляр? На сумасшедшего тоже как будто не похож.

— Слабовато,— резюмировал он после минутного размышления.— Ведь его просто-напросто могли мистифицировать. В наш искушенный век изобразить пришельца, я полагаю, не труднее, чем подделать печать какого-нибудь Общества спасения на водах. Об этом ваш некто не подумал?

Ирония профессора не произвела, однако, на посетителя никакого впечатления.

— Ну, а если это, скажем, человек с большим научным авторитетом, очень осторожный в выводах и чрезвычайно дорожащий своей научной репутацией?

Произнесено вроде бы вполне корректным тоном, но в самом содержании вопроса профессор отчетливо

почувствовал какой-то тайный намек, отчего иронии у него несколько поубавилось.

— Не знаю, что за сюрприз вы там приготовили,— сказал он, становясь серьезным,— но боюсь, что вы сделали неудачный выбор, обратившись ко мне. К возможности прямого контакта с внеземным разумом я отношусь весьма скептически, несмотря на всю популярность ныне этой темы, а самый принцип подмены живых фактов свидетельством авторитетов, пусть даже очень высоких, считаю порочным.

— Я знаком с вашей позицией в этом вопросе, именно потому и пришел,— хладнокровно сказал посетитель.— Позиция, надо заметить, двойственная, даже непоследовательная. В теории вы допускаете возможность существования внеземных цивилизаций, а на практике относитесь иронически, если не враждебно, ко всяким сообщениям о контактах.

— Именно так,— охотно подтвердил профессор.— Но никакой непоследовательности в своей позиции я не вижу. Теория теорией, а практика практикой. Пока что астрофизики не нашли ни малейших следов жизнедеятельности каких-либо цивилизаций, а средства наблюдения у них чрезвычайно мощные. Что же касается так называемых НЛО, то сам, извините, не видел, а то, что о них говорят, похоже на откровенную чертовщину, несовместимую с понятием о высшем разуме. Глубоко убежден, что наши ближайшие космические соседи находятся так далеко, что им до нас никогда не добраться. Пространство и время — это стена, дорогой мой, и стена несокрушимая. Об этом говорит нам теория относительности, в выводах которой я никак не могу сомневаться.

— Да, теория относительности — наука серьезная, спорить с ней нелегко,— согласился посетитель.— Но вот вечный вопрос: пространство, время — что это? Не кажется ли вам, что, оперируя этими символами, можно впасть в упрощение? Ведь получается, что мир в принципе объяснен. Это бесконечное пространство, заполненное веществом. Сколько ни гляди в телескоп, везде одно и то же: звезды, галактики, скопления вещества. Скука! Напоминает логику древних, не имевших телескопов и потому убежденных, что небо — это хрустальный купол, к которому прибиты звезды. Что вижу, то и думаю...

Профессор помолчал, скрывая впечатление, кото-

рое произвел на него остроумный, хотя и дерзкий выпад.

— Я отнюдь не считаю, что мир объяснен,— заметил он сдержанно.— Но относительно обозримого мира существует принципиальная ясность. Все явления в нем подчиняются фундаментальным законам физики.

— Вы в этом убеждены?

— Разумеется.

— А жизнь, биосфера? Многие ее феномены, например сознание, воля, чувство, никак не описываются законами физики. Может быть, здесь кроются сюрпризы, о которых физики и не подозревают?

Профессор пожал плечами.

— Не понимаю, о чем вы?

— Жаль...

Наступила неловкая пауза. Профессор хотел сказать кое-что о своих взглядах на загадки жизни, но посетитель опередил его:

— Хорошо, оставим этот разговор. Скажите, а ваша реакция, если бы этот некто заявил, что он сам и есть... такое существо?

— Что-то я перестаю вас понимать,— сказал профессор, настораживаясь.— Говорите-ка прямо, кто вы и с чем пришли.

— Ну что ж, можно и прямо. Дело, видите ли, в том, что мой воображаемый некто — это я сам.

Профессор не успел раскрыть рта. Страшная сила припаяла его к месту, сковав каждый мускул. Лицом, кожей рук и ног, всем телом он ощутил, как пространство вокруг него стало быстро отвердевать, становясь жестким, и вот в считанные секунды он оказался вмурованным в него, как мошка в кусок янтаря.

— Альфа-ритмы!— Прокатилось в мозгу профессора вместе с приступом сильного, доводящего до тошноты страха. Нужно преодолеть, встать!

Куда там! Он не смог пошевельнуть даже веком, даже вздохнуть! Конец! Но тут мертвая хватка ослабла, напряжение стало спадать и постепенно исчезло.

Кровь хлынула к лицу профессора. Он закрыл и открыл глаза. Странный гость сидел в прежней позе, внимательно наблюдая за ним.

— Напугал я вас, Анатолий Николаевич? Извините, пожалуйста. Надо же было с чего-то начать... Только относительно низкочастотного воздействия вы оши-

блись. Альфа-ритмы вашего мозга я не нарушал. Да и никаких секретных излучателей при мне нет.

Он даже распахнул куртку, предлагая профессору убедиться, что под ней действительно ничего нет, кроме белой рубашки, плотно облегающей тело.

— По ряду причин я не могу предстать перед вами в собственном телесном виде. Поэтому я воспользовался посредником — вот этим актером с телевидения... Вы почти угадали его профессию.

...За окном громыхнул трамвай. Порывом ветра шевельнуло листки статьи. Актер не торопясь застегнул пуговицы. Лицо его было чисто и спокойно.

Профессор наконец перевел дух. Страх рассеялся, и на его место пришло возмущение.

— Ну знаете! — заговорил он, прибирая листки.— Я, кажется, не подопытная обезьяна! Если у вас есть серьезный разговор, то и аргументы выбирайте посерьезнее, а... насильственные сеансы тут неуместны.

— Еще раз прошу извинить,— немедленно отозвался актер, прикладывая руку к груди,— может быть, мне лучше уйти?

Он даже привстал с места.

— Да нет уж,— буркнул профессор, понемногу приходя в себя.— Продолжайте, раз уж начали. Только без этих... штук. Или предупреждайте хотя бы, что ли.

Дело затевалось, как видно, нешуточное, и профессор приготовился к бою.

— Я в принципе готов обсудить любое заявление,— сказал он уже спокойнее,— даже и такое, действительно из ряда вон выходящее. Но существуют же, наконец, рамки здравого смысла. Вы, простите, так же похожи на пришельца, как я на Медузу Горгону.

Актер улыбнулся.

— Иной реакции я от вас и не ожидал. Было бы в рамках здравого смысла, если б я и в самом деле прилетел на тарелке и приземлился во дворе вашего института. Вот тогда бы вы не колебались ни секунды. Ведь так, дорогой Анатолий Николаевич?

Спокойный и доброжелательный тон посетителя, его уверенность в себе производили впечатление, и, пожалуй, не меньшее, чем эта его внезапная психическая атака. Но ученого не так просто было сломить.

«...Нет, так у нас дело не пойдет! Личность ты, конечно, незаурядная, и что-то у тебя там за душой, вероятно, имеется. Но действуешь слишком наступатель-

но. Тем более необходимо сразу же взять инициативу в свои руки. Кто ты такой и чего хочешь? Втянуть в какую-нибудь авантюру или просто разыграть?»

И тут в кабинет, весьма кстати, вошла секретарша, профессор испытал облегчение.

— Анатолий Николаевич, звонил Еремин. Очень просил подъехать к одиннадцати. Будет совещание по конгрессу.

— Хорошо,— кивнул профессор, отметив недоуменный взгляд, который она бросила на посетителя.— Одну минуту, Светлана Григорьевна,— с некоторой поспешностью позвал он, видя, что секретарша повернулась, чтобы уйти.— Я тут небольшую статью подготовил в дополнение к основному докладу. Отпечатайте, пожалуйста, в пяти экземплярах.

Он не торопясь выровнял листки, поискал в столе папку и, вложив в нее статью, передал секретарше. Та вышла. Профессор помолчал с минуту, барабаня пальцами по настольному стеклу. Так не вовремя этот вызов! А может быть, наоборот — вовремя? Он подумал еще немного и поднялся из-за стола.

— Разговор у нас, я вижу, намечается интересный и долгий, и не хотелось бы вести его наспех. Сейчас, как видите, мне надо идти. Если не возражаете, давайте встретимся завтра в то же время. Буду вас ждать.

Он подошел к шкафу, взял плащ и стал одеваться. В зеркале ему был виден молодой человек, который продолжал сидеть в кресле, словно и не думал уходить.

Застегнув плащ, профессор повернулся к настойчивому гостю, приглашая его идти первым:

— Прошу.

Актер поднялся, одергивая куртку, как-то странно посмотрел на профессора и кивнул в сторону стола:

— Вы, кажется, что-то забыли, Анатолий Николаевич?

На пустом столе лежала папка, невесть откуда взявшаяся. Профессор взял ее в руки и, раскрыв, остолбенел: в ней лежала его собственная рукопись, которую он только что отдал Светлане Григорьевне!

Несколько секунд он оторопело рассматривал свои каракули, затем, метнув взгляд на актера, выскочил в приемную. Секретарша стояла с растерянным лицом, тараща глаза на пустой стол. Профессор с подозрением посмотрел на нее, бросил папку на стол и, обернувшись к вышедшему актеру, покачивая головой, засмеялся:

— Впечатляющий номер! Считайте, что вам удалось окончательно заинтриговать меня. Жаль, что приходится отложить встречу до завтра!

ГЛАВА 2

Они вышли в коридор, освещенный только лампами дневного света. Профессор не выносил этих слепых, без окон переходов, поэтому непроизвольно ускорил шаг. Кроме того, ему не терпелось остаться одному. Пожалуй, это даже к лучшему, что его вызвал президент. Будет время остыть от первого впечатления, подумать.

На лестничной площадке его остановил юноша в спецхалате.

— А я как раз к вам иду, Анатолий Николаевич. Все вроде бы отладили, только вот генератор не дает стабильной характеристики. Со вчерашнего дня бьемся, и все без толку.

— Что-нибудь да не так!—поморщился профессор.— Вот что, Володя, позвоните-ка Рогожину в семнадцатую лабораторию, он сейчас должен быть там. Попросите от моего имени, чтобы он на эти три дня уступил нам свой генератор. Сразу же по окончании конгресса вернем.

— Ага, только...— Юноша хотел сказать что-то еще, но так и остался с раскрытым ртом. Взгляд его вдруг потускнел, лицо потеряло выражение и стало как у манекена. И этот живой манекен смотрел на актера, стоявшего рядом с профессором. Анатолий Николаевич вспыхнул и резко повернулся к своему спутнику:

— А вот это уже лишнее! Мы же, кажется, договорились. Что такое?

С актером тоже произошла метаморфоза. От прежней его собранности не осталось и следа. У него был такой вид, словно профессор на его глазах вдруг превратился в обезьяну. Анатолий Николаевич непроизвольно отступил на шаг.

— Ну, ну, не надо так, пожалуйста!

С таким же успехом он мог бы сказать это стенке. Актер с потрясенным видом осматривал помещение.

— Как же так?— услышал профессор безвольный, лишенный жизни голос, прозвучавший с такой неактерской естественностью, что сердитая фраза, готовая со-

рваться у него с языка, застряла в горле. Он не сводил глаз с актера.

— Как отсюда выйти? — тихо спросил тот, потирая пальцами виски.

Профессор молча указал рукой вниз, в направлении вестибюля и, пока актер спускался по лестнице, держась, как больной, за перила, смотрел ему вслед.

Володя вдруг негромко засмеялся. Лицо его ожило.

— Растерялись, Анатолий Николаевич? Хоть и актер, а на игру не похоже... Вот ведь Фома неверующий! Я же объяснял вам, что это всего лишь посредник. А теперь посредником стал Володя.

Профессор взглянул на него как на сумасшедшего и... осекся на полуслове. Перед ним был другой человек! Безвольная линия рта стала твердой, всегда бегающие голубые глазки смотрели холодно и спокойно. Анатолий Николаевич на миг растерялся. Что сие означает и как вести себя в такой ситуации? Прежде всего не выпускать из своих рук инициативы, что бы там ни было.

— Стойте здесь и никуда не уходите, — жестко сказал, ткнув Володю пальцем в грудь, и бросился вниз по лестнице за актером. Нагнал он его на выходе и проводил до ворот, но толку не добился. Инициативный, уверенный в себе посетитель и этот потрясенный до глубины души человек не имели между собой ничего общего.

— Что же это такое? — потерянно говорил он, не реагируя на вопросы профессора. — Ехал на репетицию, и вдруг — как затмение.

Профессор с минуту постоял в раздумье и пошел обратно. У него начинала побаливать голова от всей этой чертовщины. В вестибюле у телефона он увидел Володю.

— Да, сразу же после конгресса. Тридцатого, не позже, — говорил он, кивая в трубку. — Ну вы же знаете Анатолия Николаевича. Ага... да, спасибо, немедленно еду.

Он положил трубку и, подняв голову, увидел стоящего перед ним шефа.

— Так, молодой человек, — сказал профессор, опираясь руками о стол и глядя Володе прямо в глаза. — А теперь объясните, пожалуйста, что за спектакль вы разыграли передо мной с этим вашим другом?

— Какой спектакль? Что с вами, Анатолий Николаевич?

В его голосе прозвучало такое искреннее изумление, что профессор по-настоящему растерялся. Он вытащил носовой платок и промокнул вспотевшую шею.

— Хм! Все это интересно... Вот что, Владимир Сергеевич, повторите, пожалуйста, последнюю фразу, которую вы мне сказали пять минут назад.

Володя пожал плечами.

— Я сказал, что генератор не дает характеристики... Но вы не беспокойтесь, Анатолий Николаевич! Я уже договорился с Рогожиным.

— Это все?

— Что все?

— Все, что вы мне сказали?

— Да... по-моему все.

— Та-ак, очень хорошо. А скажите,— продолжал допытываться профессор,— вы не испытывали каких-либо особых ощущений? Вам не было плохо?

Юноша покраснел и отвел глаза в сторону.

— Значит, заметили... Я никогда никому об этом не говорил, боялся, что отстранят от работы. Есть такая болезнь. У меня иногда на короткое время наступает помутнение сознания, и я ничего не соображаю.

— Вот оно что!

— Да... Я даже не заметил, как спустился по лестнице в вестибюль. Меня еще поддержал под руку этот генерал-майор, наверное, вид был неважный. Но вы не беспокойтесь, Анатолий Николаевич! Это у меня очень редко бывает.

— Генерал-майор?— у профессора сжалось сердце.— Какой еще генерал-майор?

— Ну, этот... изобретатель. Да вон он, выходит на улицу.

У подъезда остановилась легковая машина. Из нее вышел молоденький солдат и, обойдя кругом, открыл дверцу перед военным в генеральской форме. Повинуясь тревожному чувству, профессор вышел было вслед за генералом, но, сделав несколько шагов, остановился. Черт возьми, да это же просто глупо! О чем он будет говорить с этим незнакомым ему человеком?

Дверца машины захлопнулась, и вдруг в окне показалось улыбающееся лицо генерала.

— До свидания, Анатолий Николаевич! Значит, завтра ждите, как и договорились.

Машина тронулась и поехала к воротам, оставив профессора в состоянии глубокой задумчивости.

ГЛАВА 3

На следующий день в назначенное время профессор сидел в своем кабинете, дожидаясь вчерашнего гостя. Прошедших суток ему вполне хватило, чтобы как следует поразмыслить над странными событиями и прийти к выводу, что все тут шито белыми нитками. И эффектное появление «пришельца» в кабинете, и сеанс гипноза, и трюк с папкой, и сцены с перевоплощениями... Ни одного действительного, стоящего внимания факта, который невозможно было бы объяснить естественными причинами. Теперь ясно, кто тот таинственный «некто», на которого намекал «пришелец»!

«... А если это человек с большим научным авторитетом, очень осторожный в выводах и чрезвычайно дорожащий своей научной репутацией?..»

Анатолий Николаевич усмехнулся. «Вон оно в чем дело: авторитет им мой понадобился... Налицо психологическая атака с очевидной целью — сразу же подавить волю. Ну ладно, актер, генерал — это еще куда ни шло (действительно, знали в патентном отделе такого генерала), но Володя! Вот тебе и тихоня! Никогда бы не подумал, что он умеет так держаться и говорить! Да... не хватало забот перед конгрессом».

Интуиция подсказывала, что визит «пришельца» за два дня до конгресса не случаен и имеет к нему какое-то отношение. Это особенно беспокоило и раздражало его. Вчера на совещании у президента он чуть было не поддался искушению рассказать обо всем присутствующим, но, слава богу, сдержался. Не надо суетиться. Время еще есть. Посмотрим, что даст сегодняшний разговор...

Профессор начал уже беспокоиться, что актер не придет, когда за дверью послышались голоса. Профессор откинулся в кресле, принимая удобную позу. Он был совершенно спокоен. Дверь отворилась, и в кабинет вошел директор.

— Ах, это вы, Георгий Иванович,— с плохо скрытым разочарованием сказал профессор, вставая.— Прошу, проходите. Извините, пожалуйста, что не зашел вчера. Срочно вызвал Еремин. Надеюсь, Светлана Григорьевна вам передала?

— Передала, передала,— почему-то усмехнувшись,

сказал директор и, не садясь в предложенное кресло, быстро спросил:

— Что, не ждали?

— Да нет, почему же,— смутился профессор,— я всегда рад...

— Всегда, но только не сегодня. Вы ведь актера ждали, так?

Анатолий Николаевич удивленно вскинул брови.

— Что? Вы знаете? Он и у вас был?

— Нет, он у меня не был,— директор чуть прищурился, пристально следя за профессором.— Я ведь объяснял вам вчера, что актер как личность тут пока ни при чем. Это всего лишь посредник. Так же как Володя Тимошин и генерал-майор. Генерал с его репликой был последним штрихом во вчерашней картинке. А сегодня я решил воспользоваться мозгом вашего руководителя и, думаю, не ошибся в выборе. Человек он у вас серьезный, даже чересчур. От него трудно ожидать легкомысленных поступков. Неплохая идея, правда?

Директор произнес всю эту нелепицу таким искренним и доброжелательным тоном, что ни один маломальски знавший его человек не усомнился бы в том, что он говорит правду. Именно поэтому настроение у профессора сразу же испортилось.

— Та-ак,— протянул он после минутного недоброго молчания.— Оригинальный номер! Ученый муж в роли испанского быка. Сначала бандерильи ему в холку, чтобы рассвирепел как следует, потом красную тряпку в нос, а вот, наконец, и сам матадор явился. Блестящий номер! Сыграно все бесподобно!

Он поднялся и, закинув руки за спину, принялся нервно ходить по кабинету.

— Вы меня извините, Георгий Иванович, но я был о вас всегда самого высокого мнения, и мне не очень хотелось бы менять его. Не можете ли вы объяснить, почему именно я выбран в качестве петрушки в этой глупой комедии? Ну да, сейчас мания какая-то устраивать всякие тесты, психологические эксперименты, но надо же оставаться в рамках здравого смысла, простого приличия, наконец! Это же надо такое загнуть! О, я прекрасно понял этого вашего артиста или кто он там? Очень оригинально! Просто сногсшибательно! Супермен из туманности Андромеды, изволивший каким-то сверхъестественным способом посетить нашу провинциальную планетку! Бесплотный дух, кочующий

по телам людей. Вчера актер, сегодня директор, завтра кандидат в покойники, а послезавтра младенец, только начинающий жить! Вы что, хотите, чтобы я поверил в переселение душ? Че-пу-ха!

Профессор упал в кресло, расстегивая воротничок рубашки.

— Стыдно, Георгий Иванович... Мы с вами не первый год работаем вместе, я всегда уважал вас и вправе ожидать к себе такого же отношения.

Он вдруг ощутил слабость. Болезненную, быстро нарастающую слабость. Закружилась голова, комната поплыла перед глазами.

«Давление! Погорячился!» — успел подумать профессор, теряя сознание, и уже в полузабытьи услышал далекий голос директора:

— Не волнуйтесь, Анатолий Николаевич. Ничего плохого я вам не сделаю.

Вслед за тем сознание его погасло.

ГЛАВА 4

...Профессор открыл глаза. А впрочем, он и не закрывал их. Смутно, как в воде, перед ним прошла расплывчатая тень. Слышались глухие удары, какая-то музыка. В нос ударил запах уксуса и табачного дыма. Муть рассеялась, и он обнаружил, что сидит в зале ресторана, в двухместной полукабине, стены которой обиты красным пластиком. На столе его любимое блюдо — пельмени. В руке у самого рта — ложка с дымящимся бульоном. За окном ночь кипит блестками огней.

Анатолий Николаевич медленно опустил ложку, испытывая странное состояние полусна-полуяви. Что с ним стряслось? Почему он здесь и почему ночь, если только что было утро? В кабину вошел вчерашний актер с бутылкой лимонада в руках:

— Надеюсь, все в порядке?

Он наполнил бокал лимонадом и поставил его перед профессором.

— Выпейте-ка немного воды и постарайтесь взять себя в руки.

— Что было со мной? — бесцветным голосом спросил профессор. — Это новый вид наркоза?

— Ни в коем случае. Гораздо безвреднее. Просто теперь я на некоторое время воспользовался вашим

мозгом. Мне нужно было побеседовать с актером, кое-что ему объяснить. Надо сказать, он оказался очень восприимчивым и чутким человеком, не в укор вам будет замечено. У нас с ним получился очень содержательный разговор. А сюда мы забрели случайно, решили поужинать. Теперь все понятно?

— Понятно, понятно,— механически повторил профессор, отхлебывая лимонад.— Логика есть, продумано все хорошо... Значит, вас целая бригада и намерения, как видно, весьма серьезные, коль так основательно взялись за меня.

— Да, намерения серьезные, только бригады никакой нет. Кроме нескольких эпизодических персонажей, есть лишь два человека, играющих поочередно одну и ту же роль: вы и... он.

Актер с улыбкой постучал себя в грудь большим пальцем.

— Можно добавить к этому, что если с одним мы быстро и легко нашли общий язык, то другой упорно меня отрицает, несмотря, кажется, на весьма убедительные доказательства.

— К сожалению, ваши... доказательства можно объяснить и не прибегая к эффектным гипотезам,— возразил профессор.

— Безусловно. В качестве научных фактов они не годятся, но я и не собирался оставлять объективные факты. Мне хотелось убедить только вас.

Профессор молча пожал плечами. Актер засмеялся, зашевелился в кресле, складывая на груди руки.

— Значит, и ваш вечно занятый трудяга-директор, и не умеющий лгать Володя, и случайный генерал — всего лишь талантливые лицедеи? Ну, хотите что-нибудь еще? Хотите, сейчас все сидящие в этом зале одновременно встанут? Впрочем, это вас тоже не убедит: я ведь с ними заранее договорился.

— Да, это меня не убедит,— сказал профессор, понемногу обретая уверенность в себе.

— Интересно бы узнать, почему?

Профессор пожал плечами.

— Потому что речь идет о деле, действительно из ряда вон выходящем, как вы сами вчера справедливо заметили, и здесь нужна предельная строгость и точность... В науке существует золотое правило, которого я считаю нужным придерживаться: не придумывать новых, а тем более фантастических объяснений явлениям,

которые принципиально могут быть объяснены в рамках известного.

— Бритва Оккама?

— Она самая,— кивнул профессор.— Прекрасный инструмент, нечто вроде компаса. Без него наука давно бы заблудилась в густом лесу вымыслов.

— Инструмент действительно полезный,— согласился актер.— Но стоит ли абсолютизировать его возможности? Не приведет ли такая жесткая ориентированность к атрофии фантазии, губительной для настоящего ученого? Ведь с помощью логического аппарата можно опровергнуть все, что угодно, рационализовать любую тайну. Неужели интуиция не подсказывает вам, что в данном случае вы действительно имеете дело с чем-то необычным, выходящим за рамки известного? Существует, наконец, внутреннее чутье, которое позволяет иногда безошибочно отличить честного человека от фальсификатора, истину от вымысла.

Анатолий Николаевич усмехнулся.

— А вот это, простите, красивые слова. Сами по себе они, конечно, хороши, но к системе научного мышления никакого отношения не имеют. Вы, я заметил, все время нажимаете на эмоции — обычный прием, когда не хватает серьезных доказательств. Видимо, это неизбежно для той задачи, которую вы перед собой ставите. Ведь вы хотите убедить меня в вещи поистине фантастической. Что где-то в невообразимых далях Вселенной разум достиг столь высокого уровня развития, что может вступать в контакт на расстоянии, используя мозг человека в качестве своеобразного приемника. Не слишком ли? Отвлекаясь от ваших оригинальных опытов, разгадка которых хотя и непроста, но все же вопрос времени и сил, давайте оценим саму посылку. Если даже такой разум и существует, то какое ему, спрашивается, дело до нас, людей? У него своя, неизмеримо более обширная, чем наша, сфера познания в бесконечном мире, свои потребности и цели. Что нового для себя он узнает, вступив с нами в контакт? Общаться с человеком для него, вероятно, такая же нелепость, как для меня, скажем, разговаривать с ребенком о теории относительности. Вы и ваши помощники, безусловно, неглупые люди, даже талантливые, и, конечно, превосходные актеры. Но вы всего лишь люди. Вас выдает ваша человеческая логика, человеческая психология и, как следствие, сама манера выражать свои мысли.

— Прошу прощения! А как же прикажете их выражать, чтобы быть понятым? Как вы сами разговариваете с детьми, с вашим собственным внучонком? Он ведь и не подозревает, какая уйма мозгов у его доброго дедушки, и принимает вас, как равного.

— Но в таком случае вам все-таки придется объяснить, какие причины могут побудить могущественный сверхразум снизойти до простенького homo sapiens? Я, например, обдумывая вчера этот вариант, так и не смог найти убедительной причины.

— Так и не смогли?

— Не смог.

— И по-прежнему убеждены, что являетесь жертвой мистификации?

— Не знаю, жертвой чего я стал: мистификации, эксперимента или чего-нибудь еще. Знаю одно — есть принципы, которые нельзя нарушать ни при каких обстоятельствах, иначе можно залезть в болото, из которого потом не выберешься...

В разговоре наступила продолжительная пауза.

— Ну, хорошо,— сказал актер, как будто даже довольный упорством профессора.— Мы еще доберемся до причины, а пока ответьте, пожалуйста, еще на один вопрос. Как вы оцениваете вчерашний опыт с папкой?

— О, блестящий трюк!— оживился профессор. Ему было приятно похвалить наконец оппонента.— Нечто подобное я в свое время видел в Индии на выступлении одного знаменитого йога. Я в общих чертах сразу догадался, на что вы намекаете. Теперь вы сами подтвердили мою догадку. Вы хотели показать, что владеете более чем тремя измерениями и мы — трехмерные примитивы — все равно что картинка, нарисованная на бумаге. Я поднимаю соринку и переношу ее в другое место плоскости. Как будто просто? Но только для меня. А нарисованный человечек потрясен до глубины души. Как же так? Исчезает в никуда и появляется из ничего! Аналогичный намек заложен и в манипуляциях с мозгами. Все это, несомненно, действует на воображение, и я, пожалуй, готов признать, что вы — гений, но в качестве аргумента в таком серьезном разговоре, как наш, простите, не годится. Грош мне была бы цена как исследователю, если бы каждый раз, сталкиваясь с неизвестным, я бы искал ему фантастическое объяснение, игнорируя голос рассудка. Можете считать меня упрямым ослом, но я не могу думать иначе...

Профессор замолчал, вполне как будто удовлетворенный своей позицией. Он, если бы даже сам захотел, не мог бы заставить себя думать иначе. Действительно, есть принципы, которые нельзя нарушать безнаказанно, и тут Анатолий Николаевич был непоколебим.

ГЛАВА 5

— Надо, однако, что-то делать, а? — Актер попытался вывести из тупика спор.— Как-то довести дело до конца. Либо да, либо нет. Может быть, у вас есть какие-нибудь идеи?

И опять, как в начале вчерашнего разговора, в его тоне профессору почудился намек, подсказка (Анатолий Николаевич усилием воли подавил неприятное чувство), и вслед за тем из глубин сознания с пугающей неожиданностью выплыла простая и ясная мысль, как можно точно и наверняка разоблачить этого гениального мистификатора. Разоблачить сейчас же, не прибегая к сложным тестам, экспериментам, помощи свидетелей и прочим громоздким приемам. Он же сам отрезал себе путь, назвавшись сверхразумным существом!

Анатолий Николаевич выдернул из пластмассового стаканчика салфетный треугольник, взял услужливо предложенную актером ручку и сделал аккуратный рисунок: колодец и две перекрещенные жерди, идущие от углов дна к стенкам.

— Вот. Определите диаметр колодца, если длина жердей — тридцать и пятьдесят с половиной, а высота их точки пересечения над дном колодца (он секунду подумал, прикидывая)... скажем, девятнадцать и две.

— Задача египетских жрецов,— с неприятно задевшим профессора удовлетворением сказал актер, принимая салфетку,— сводится к алгебраическому уравнению четвертой степени.

Он положил листок перед собой, взял у профессора ручку и принялся записывать.

Профессор с недоверием и одновременно с беспокойством следил за тридцатикопеечной ручкой, уверенно двигавшейся по бумаге. Что он делает? Не пытается же в самом деле решать? Да тут во всем ресторане салфеток не хватит!

— Сорок знаков достаточно? — спокойно спросил актер.

У профессора язык не повернулся сказать «да»: так

дико прозвучал теперь этот вполне обычный в иной ситуации вопрос. Он взял протянутый лоскут и увидел длинный ряд цифр, написанных под рисунком мелким каллиграфическим почерком.

— Очень хорошо,— сказал он после короткой паузы.— Очень хорошо. Теперь посидите немного, мне нужно сходить позвонить.

Он хотел было встать, но актер жестом остановил его.

— Не стоит затрудняться, Анатолий Николаевич. Звонить можно отсюда.

В ту же секунду на столе появился черный телефонный аппарат. Профессор вздрогнул от неожиданности, но тут же взял себя в руки. Спокойно! Пора бы уже привыкнуть. Только покосился по сторонам — не видел ли кто.

— Звоните, не смущайтесь,— подбодрил его актер.— Можете куда угодно — хоть в Белый дом.

Анатолий Николаевич криво усмехнулся и снял трубку, лишенную провода...

— Машенька, это я,— сказал он, услышав в трубке голос жены.— Да, да... все в порядке... я тут с одним товарищем немного задержался. Будь добра, Машенька, открой нижний ящик моего стола и достань оттуда папку с надписью «Алгоритмы»...

Месяц назад в плане последней работы Анатолий Николаевич составил алгоритм и программу для решения на ЭВМ задачи египетских жрецов. Составить-то составил, а опробовать не успел — отвлекли более срочные дела. Теперь представлялась возможность проверить «пришельца». Задача редкая, знают о ней только узкие специалисты, и цифры он назвал первые, какие пришли в голову. Эксперимент — чище не придумаешь!

Анатолий Николаевич записал программу, продиктованную по телефону женой, положил трубку и сразу же набрал второй номер — вычислительного центра. Он немного волновался, диктуя программу дежурному оператору. Попросил для проверки повторить цифры. Тот пообещал минут через пятнадцать-двадцать выдать решение — не до сорока знаков, разумеется: шкалы не хватит у машины, а только до тридцати пяти.

Все эти четверть часа оба просидели молча. Актер, сложив на груди руки, с отрешенным видом смотрел в зал. Профессор разглядывал странный телефон. «Ни-

чего особенного,— успокаивал он себя,— радиотехнический фокус, и только». Тем не менее на душе у него было тревожно.

Сердце у него гулко и тяжело стучало в груди, когда он вторично набирал номер вычислительного центра.

— Все в порядке, Анатолий Николаевич, записывайте,— услышал он сквозь гул работающих машин голос оператора.

Профессор положил перед собой салфетку с решением и приготовился писать.

— Значит так, пишите...

Первые же цифры, словно капли расплавленного свинца, прожгли мозг профессора. Точно! Ничего не видя вокруг и ничего не слыша, кроме монотонного голоса оператора, профессор записывал, нет, попросту списывал решение актера. После тридцать пятого знака оператор сказал: «Все» — и умолк.

Профессор медленно положил трубку. Снова и снова просматривал он длинный ряд цифр, сравнивая его с решением. Ни единой ошибки! Сорок знаков! С ума сойти... нет, немыслимо, невозможно! Человеческий мозг не в состоянии... Ну извлечь корень из седьмой степени, возвести в степень, умножить — это могут люди-счетчики. Но найти алгебраическое решение, произвести подстановку и получить ответ с такой сатанинской точностью. Нет. Нет! Значит...

Послышался негромкий булькающий звук. Это *он*, потянувшись через стол, наполнял бокал профессора лимонадом. Анатолий Николаевич сделал глоток, медленно поднялся и подошел к открытому окну.

Многоэтажные каменные истуканы полыхали в ночи желтыми кроссвордами окон, а между ними рвалась в ослепляющее созвездие огней тусклая лента шоссе. Далеко в сером месиве туч вспыхнул маленький белый куст молнии. Ветер донес приглушенный расстоянием раскат грома.

Профессор стоял с закинутыми за спину руками и смотрел в ночной город. Какие-то совсем лишние, тысячу раз кем-то повторенные фразы бестолковой канителью вились в его опустевшем мозгу.

Вот оно! Состоялось! Сбылась мечта сумасшедших умов... И конечно, не так, как ждали. Все не так. Ждали из космоса. Радиосигналов, ракет, тарелок. Ждали чего угодно и кого угодно, но непременно с парадного входа, с грохотом, эффектами — вот, мол, мы явились, да-

вайте знакомиться. А вышло так — тихо и обыденно. Пришел самый обыкновенный человек и сказал — вот я...

ГЛАВА 6

Среди многочисленных качеств, составлявших духовный комплекс Анатолия Николаевича, имелось одно очень важное, без которого он никогда не достиг бы успехов в науке: умение смотреть фактам в лицо и под их давлением отказываться даже от самых стойких и привычных убеждений.

Остыв немного на влажном предгрозовом ветерке, он вернулся на место. От прежней его позиции не осталось и следа. Теперь это был ученый, припявший факт и желавший извлечь из него максимум пользы.

Понимая свою ответственность за результаты контакта, он теперь настроился на то, чтобы все как следует понять и запомнить, не упустив ни одной мелочи.

«Актер» сидел за столом в прежней позе — скрестив на груди руки — и спокойно ждал. Интересное дело: в глазах этого человека, посредника или как там еще, не виделось в общем-то того огромного интеллекта, который сейчас двигал им. Человек как человек, красивый, и только. А между тем перед тобой сидит представитель загадочного космического разума колоссальной мощи, и у него к тебе (именно к тебе из всех людей на Земле) какое-то, очевидно, важное дело. Профессор весь внутренне собрался, готовясь выслушать самое невероятное, самое неожиданное сообщение.

— Анатолий Николаевич, — очень обыденным тоном начал «актер», облокачиваясь о стол. — А что, если я скажу сейчас, что вы были правы, что все происшедшее лишь тонко организованная мистификация, эксперимент?

— Простите, не поверю, — не дрогнув, ответил профессор. — Уравнения четвертой степени в уме не решаются.

— А если я сейчас исчезну и больше не появлюсь?

— Это было бы бессмысленно с вашей стороны. Зачем же вы вступали в контакт?

— А в самом деле, зачем?

Сказал, как прибил к месту. Анатолий Николаевич с недоверием глянул в спокойное лицо своего могущественного собеседника.

Вероятно... для того, чтобы сообщить какую-то важную информацию.

— Какую?

— Не могу себе представить. Очевидно, что-нибудь важное.

— Например, открыть тайну мироздания или научить расщеплять атомы легких элементов?

— Ну нет, такое знание было бы сейчас равносильно катастрофе.

— Тогда, может быть, рог изобилия? Есть отличная конструкция. В один конец загружается вещество в любом виде, хоть морской песок, а из другого выходит любой продукт, какой только может измыслить самое прихотливое воображение.

Профессор подумал и с сомнением покачал головой.

— Не знаю... Боюсь, что это тоже некоторая крайность.

— Тогда что же?

Этот обескураживающе простой вопрос окончательно выбил из колеи Анатолия Николаевича. А в самом деле, что? Вот когда он пожалел, что не проработал вчера, хотя бы вчерне, версию о контакте.

— Вы могли бы оказать какую-нибудь конкретную помощь,— сказал он не совсем уверенно.— Человечество двадцатого века задыхается от всякого рода проблем, да они вам, конечно, хорошо известны.

— А какой в этом смысл?— тут же откликнулся «актер», словно знал (да уж точно знал), что предложит земной ученый.— Ну, решу я вам десяток-другой проблем, а взамен, пройдет время, появятся новые, может быть, еще более острые. Так все время за руку и тащить?

Анатолий Николаевич не нашелся, что ответить.

— Разве что попробовать устранить самую причину всех проблем?— как бы размышляя вслух, продолжал «актер» и вопросительно посмотрел на профессора.

— Но ведь не может быть какой-то одной причины,— чувствуя подвох, осторожно высказался тот.

— Ну почему же? Если подумать как следует, то, может быть, только одна причина и есть — противостояние добра и зла, порождающее бесконечную борьбу. Но смысл всякой борьбы в полной победе над противником, иначе зачем бороться? Вот если бы

добру удалось раз и навсегда взять верх... Что вы на этот счет думаете?

— Полностью уничтожить зло? — Анатолий Николаевич погрузился в раздумье. — Коварный вопрос... Но возможно ли это в принципе?

— А если я предоставлю вам такую возможность?

Профессор не успел вникнуть в смысл сказанного: его внимание привлекло странное явление. На дне пустого бокала, из которого он только что пил, клубился, свиваясь в тонкий жгутик, алый, вихрящийся дымок. Розовые кольца удивительной красоты, расширяясь, поднимались вверх и таяли в воздухе над краем бокала. Эти светящиеся кольца, очевидно, обладали каким-то действием на психику, потому что при одном взгляде на них в памяти профессора ожило и забурлило восторженное, счастливое ощущение жизни из далекого детства. Инстинктивно улыбаясь, он протянул руку к бокалу.

— Стоп! — раздался предостерегающий возглас.

Профессор отдернул руку, и радостное чувство исчезло. «Актер» спокойно и доброжелательно смотрел на него, словно бы раздумывая.

— Итак, последнее предложение, раз уж мы завели разговор на такую тему. В вашем бокале эликсир бессмертия. Если вы вдохнете несколько раз этот дым, то станете бессмертным.

Анатолий Николаевич смотрел на него, не понимая. При всем том, что он уже видел и слышал за прошедшие два дня, он не мог сразу поверить, что *такое* может быть сказано серьезно, и поэтому совершенно непроизвольно обронил стереотипную фразу:

— Вы, наверное, шутите...

— Да нет, нисколько. Пять-шесть глубоких вдохов, и вы бессмертны. Клетки организма начнут работать в режиме самовосстановления, живите хоть миллион лет.

— И зачем же... — У профессора голова шла кругом. — За какие заслуги?

— Затем, как и говорилось, чтобы одним ходом устранить все проблемы.

«Актер» выдержал паузу, достаточную для того, чтобы профессор окончательно понял, что он не шутит.

— Одновременно с бессмертием я наделю вас способностью подчинять своей воле волю других людей,

и не просто отдельных людей, а огромных масс. Слово ваше станет законом на этой планете, но в отличие от многих человеческих законов будет исполняться всеми с радостью... Вы получите возможность рациональнейшим образом распорядиться абсолютной властью, ведь вы же ученый, человек морально уравновешенный. Ваши действия не могут причинить людям зла. Вы убедите богатых поделиться с бедными, усмирите дикие страсти, заставите людей полюбить друг друга, и люди наконец станут счастливы.

Профессор сидел совершенно оглушенный. Розовый с кроваво-красными прожилками дымок клубился в бокале, суля грандиозные перспективы. Черт возьми, как все это внезапно, нарочно внезапно, чтобы не дать времени подумать! От великого до смешного...

Он потер пальцами виски, хотел что-то спросить, но забыл что и решительно замотал головой:

— Нет... нет... это несерьезно. Вот так сразу взять на себя такую ответственность: распоряжаться волей, судьбами миллиардов людей! Да это просто немыслимо!

— А как же другие берут? Кто-то ведь должен управлять людьми.

Профессор со вздохом отвернулся от розового сияния.

— Пусть они берут. Я не могу.

Ох, как он ругал себя за ограниченность, косность и прочие грехи, из-за которых во вчерашних своих рассуждениях не допустил даже мысли, что посетитель — действительно тот, за кого себя выдает, и в результате совершенно не подготовился к контакту. Будь на его месте любой толковый студент, он хотя бы дал волю фантазии, посоветовался бы с кем-нибудь и оказался бы теперь полезнее его, известного ученого.

— Ну что ж, подведем итоги,— сказал «актер» с ноткой явного удовлетворения (бокал снова стал пуст).— Высокие научные знания вы считаете опасными, от рога изобилия отказались, власть над людьми вас отталкивает. Только огорчаетесь вы напрасно, Анатолий Николаевич: вы поступили совершенно правильно, отказавшись от моей помощи.

Профессор с удивлением и недоверием посмотрел на собеседника.

ГЛАВА 7

В ночном небе вспыхнула молния. От удара грома дрогнули стекла. Окно со стуком распахнулось, и в помещение, пузыря занавеси, ворвался свежий грозовой вихрь. Вихрь-грубиян слизнул со стола салфетку с решением задачи и понес в зал, выгнув, как парус. Профессор бросился за драгоценным документом, едва не сбив с ног проходившую мимо официантку. Он поймал белый треугольничек прямо перед носом какого-то гривастого усача. Тот качнулся на стуле и пьяно погрозил пальцем перед собой:

— Пап-паша...

В углу взвыли сатанинскими голосами электронные инструменты, как бы подчеркивая всю нереальность происходящего. Публика зашевелилась, вылезая из-за столов. У эстрадных подмостков завихляли друг перед другом танцующие пары. Анатолий Николаевич аккуратно сложил салфетку и, сунув в карман, вернулся на место.

«Актер» вытянулся на цыпочках у окна, пытаясь справиться с неподдающимся шпингалетом. Край его рубашки вылез из-за пояса, проглядывая в разрезе пиджака, и эта маленькая банальная деталь, бросившаяся в глаза профессору, только усилила состояние хаоса и бестолковщины, в котором он находился. Вот ведь абсурд! Вот нелепица! Нафантазировали бог знает чего, понаписали умных и глупых книжек, нагородили эвересты слов. А вышло так: в каком-то дурацком ресторане, в случайной точке земного шара происходит событие невероятного значения для человечества. И никто об этом не подозревает. Ничего не случилось — танцуют, пьют. И не с кем посоветоваться. Выйти к микрофону, объявить? Поднимут на смех. Да и нельзя. Теперь все решает *он*...

Черные стекла быстро покрывались искрящимися дождевыми стрелами. «Актер» задернул штору и сел в свое кресло.

— «Пронеслась гроза седая, разлетевшись по лазури. Только дышит зыбь морская, не опомнится от бури»,— продекламировал он, наливая себе в бокал лимонада. Наклонил бутылку и ловко отнял, когда жидкость дошла до краев.

— Фет, между прочим, был не только хорошим

поэтом, но и тонким философом. Эта сторона его личности, к сожалению, мало знакома любителям поэзии.

Он откинулся в кресле с бокалом в руках и отпил немного, щурясь от удовольствия.

— Я полагаю, вам, ученым, есть чему поучиться у поэтов. У вас не кружится голова от сознания непостижимости бесконечного, вас не мучает, как поэтов, потребность в цельном мироощущении. Примат логики над чувством кажется вам чем-то само собой разумеющимся, и вы можете спокойно умереть с мыслью, что совершили еще один шажок по бесконечной лестнице познания.

— По-моему, это единственно трезвый подход к проблеме бытия.

— Вы так думаете? Плохо же вы знаете человеческое племя, Анатолий Николаевич. Мироощущение и мировоззрение — суть две равноценные формы связи человека с миром, и опасно приносить одно в жертву другому... Впрочем, мы несколько ушли от темы. Вот вы пытались доказать, что разуму, значительно превосходящему земной, не может быть до него дела.

— Теперь вижу, что ошибался.

— О нет, вы не ошибались.— «Актер» медленно покачал головой.— Вы были совершенно правы. Совершенно.

Анатолий Николаевич весь внутренне напрягся, понимая, что сейчас начнется самое главное. «Актер», уютно устроившись в кресле, некоторое время неподвижно смотрел на профессора, словно сомневаясь, стоит ли продолжать разговор. Потом он сказал:

— Ваша лаборатория пытается решить загадку сознания, кажется, так?

— Так,— подтвердил Анатолий Николаевич, приходя в состояние тревожного беспокойства.

— И, будучи на уровне современных философских идей, вы сразу же отказались от представлений, что сознание — всего лишь сумма нейрофизиологических процессов, протекающих в нервных клетках мозга.

— Да, подобные представления давно устарели, они слишком механистичны. Импульсы в коре, вызванные сигналами от органов чувств,— это своего рода изображение на экране, а наше «я», фиксируемое сознанием,— как бы зритель, который его рассматривает.

— И вы ищете этого таинственного зрителя?

— Да... пожалуй. Мы пытаемся разобраться в са-

мой сущности феномена сознания, выявить фундаментальные характеристики, обнаружение которых открыло бы принципиальные пути для его воспроизведения.

— Вы занимаетесь бессмысленной работой, Анатолий Николаевич. Вы даже вообразить себе не можете, что ищете. Ваши эксперименты при всей их высокой технической оснащенности весьма похожи на попытки ребенка поймать руками солнечный зайчик.

Эти слова, произнесенные спокойным и уверенным тоном, вызвали у профессора приступ легкого головокружения.

— Не понимаю,— проговорил он внезапно с вшим голосом.

— Могу пояснить. Феномен сознания неизмеримо сложнее всего, что о нем думают самые смелые ученые головы, и он не объясняется только такими категориями, как вещество, поле или процесс.

— Тогда что же это?

В глазах «актера» на какую-то долю секунды появилось выражение отрешенной задумчивости и тут же исчезло.

— Загадка, Анатолий Николаевич... Величайшая из загадок бытия. И пока она есть — есть и человек... Да вы подумайте, чего вы, в сущности, добиваетесь. Раскрыть тайну человеческого сознания? Да ведь это значит разобраться наконец в устройстве человека, как в каком-нибудь часовом механизме. Человек, познавший себя до конца, это ли не ужасно, а?

— М... м... почему же? Мне лично, напротив, представляется, что, только познав себя до конца, то есть точно зная, что ему полезно, а что противопоказано, человек станет, наконец, счастлив. И уж совершенно очевидным кажется, что для будущей широкой космической экспансии такое знание совершенно необходимо.

— Радикальная мысль!.. А кстати, почему человека так тянет в космос? Вы когда-нибудь задумывались глубоко над таким вопросом?

Анатолий Николаевич чувствовал себя в положении игрока, у которого партнер знает все карты, однако ему не оставалось ничего другого, как продолжать эту не им затеянную и неизвестно куда ведущую игру.

— Конечно, задумывался и не могу прибавить ничего нового к тому, что уже сказано на этот счет. Тут действует закон экспансии, свойственный всему живо-

му и в духовном плане стимулируемый надеждой на встречу с... братьями по разуму.

Он непроизвольно поморщился, употребив, не найдя лучшего, ходячее выражение.

— Значит, вы все-таки допускаете такую возможность?— добродушным тоном сказал «актер».

Профессор усмехнулся и ничего не ответил.

— Ну, хорошо,— кивнул «актер».— Примем встречу с братьями по разуму в качестве одной из целей будущей космической экспансии. Но возникает серьезный вопрос: о чем вы будете говорить с этими братьями? Что общего найдется у вас с ними? Ведь формы жизни во Вселенной, если исходить из популярной теории, бесконечно разнообразны, у каждой свои потребности. Потребности же формируют систему ценностей, ценности — философию, а философия — этику. Может, например, случиться, что белок, из которого собран homo sapiens,— деликатес для крылатых драконов из соседней планетной системы. И никакая сила не убедит этих разумных драконов, что человека есть нельзя. А в самом деле, почему бы не съесть существо, с которым у вас лишь то общее, что оно годится вам в пищу? Едите же вы кроликов, гусей, не испытывая угрызений совести.

— Но разум!— воскликнул профессор, задетый очевидной как будто нелепостью рассуждений космического гостя.— Разум — разве это не общее? Разве может одно мыслящее существо съесть другое, обладающее такой же способностью?

«Актер» вдруг совершенно искренне рассмеялся.

— Ай-я-яй, Анатолий Николаевич! Забывчивость, непростительная для вашего возраста. Или это не вашему поколению пришлось воевать с существами, которым не откажешь в способности мыслить и которые если и не ели себе подобных, то использовали их в качестве сырья для изготовления разных полезных предметов — мыла, дамских сумочек, удобрений? Мысль — обоюдоострое оружие. Логика опровергается логикой, если в основе ее лежит иная система ценностей. А ведь это были существа одного с вами вида и даже одной расы. Чего же тогда требовать от драконов, у которых одна внешность землян будет вызывать сильнейшие приступы аппетита?.. Так вот, если вам нравится такая Вселенная, то, готовясь к встрече с братьями, не забудьте захватить с собой ядерные пушки. Если же нет, то

придется поискать пропущенное звено в наших рассуждениях — то действительно общее, что могло бы объединить все человеческие племена во Вселенной, как бы сильно они ни отличались друг от друга.

— Как вы сказали? — перебил профессор.— «Человеческие племена»?..

— Да, я сказал «человеческие племена»,— спокойно ответил «актер».— А что, вам больше нравятся драконы?

Профессор ничего не ответил.

— Каждый человек, как вы это знаете, повторяет в своем развитии всю биологическую эволюцию — от зародыша до высокоорганизованного, полностью сформировавшегося существа, в каковом виде он и появляется из материнской утробы. Далее, в течение одного-двух лет это существо приобретает сознание. Оно как бы рождается второй раз, становясь разумным. Оно и не подозревает (и в памяти его нет следов об этом процессе), что это *кто-то* научил его сознавать себя. Этот *кто-то* есть человечество, уже обладающее сознанием, в лице родителей, окружающих, которые знакомят его с миром вещей и понятий. Без их помощи никакой личный опыт, никакое взаимное общение даже огромного количества детей, предоставленных самим себе, не сделает их разумными. Они так и останутся животными, лишенными разума. Маугли — всего лишь романтическая выдумка. Но если так, то возникает вопрос: как же само человечество приобрело сознание? Почему стихийный опыт человекообразной обезьяны, имевшей гораздо менее развитый мозг, чем современное человеческое дитя, получил определенное направление, постепенно сформировавшись в феномен самосознания?

— Ну, это в общих чертах известно,— заметил профессор.— Суровые природные условия, необходимость выживания, совместная трудовая деятельность... Труд создал человека.

— Согласен. Роль среды в формировании сознания действительно велика, но... не единственна, ибо остается открытым вопрос: откуда взялось само качество? Та искра, из которой потом разгорелся огонь? Ведь сколько ни тряси завязанный мешок, содержимого в нем не прибавится.

— Вы хотите сказать...— Профессор остановился, не решаясь закончить свою мысль.

— Да, я хочу сказать то, что вы и так хорошо знаете из собственного земного опыта, но не рискнули пока расширить до космических масштабов. Что сознание — феномен коллективный и само по себе, без наличия других очагов, вспыхнуть не может.

«Актер» встал, прошелся не торопясь по кабине и остановился у стены перед висячим горшком с кактусом.

— Завтра во второй половине дня вы делаете доклад на международном конгрессе по проблемам моделирования разумных систем? — сказал он, рассматривая широкие зеленые лепешки растения.

— Да. — Профессор почувствовал холодок в груди от вопроса, которого давно ждал.

«Актер» потрогал пальцами колючки кактуса и повернулся лицом к профессору.

— Тема вашего доклада, Анатолий Николаевич, безусловно, интересна, а открытый вами принцип неопределенности остроумен и привлечет внимание многих специалистов. Однако в применении к теме нашей беседы все это, как уже говорилось, пока лишь ловля солнечных зайчиков. Поэтому я хочу предложить вам кое-что посерьезнее.

Он снова сел за стол и, положив ладонь на руку профессора, продолжал:

— Вы расскажете с трибуны конгресса о нашей встрече. Все, от начала до конца. Об эстафете разума, пришедшей из космических глубин на вашу планету. О редких огнях жизни, разбросанных по бесконечным просторам Вселенной, о глубокой и сложной взаимосвязи между ними. О том, что эти огни, пылающие среди слепых стихий, есть величайшая загадка для самих себя. Загадка, которая не решается в одиночку и только ресурсами мышления. Нужно действие, движение в космос для постижения тайны. Потребность самопознания — вот то общее, что объединяет разные цивилизации мироздания, незримый, но мощный вектор, толкающий их на соединение с себе подобными... Это не приказ и даже не просьба, а всего лишь предложение. Выступить с таким заявлением или нет — дело вашей совести. Я никоим образом вас не принуждаю. Решайте сами... — Он убрал руку.

Анатолий Николаевич сидел, не видя и не слыша ничего вокруг.

— Я теперь не могу не выступить, — хрипло прого-

ворил он, шаря в карманах носовой платок.— Как же я теперь могу не выступить? Но... простите, либо вы не все сказали, либо я несколько оглупел от всех этих неожиданностей. Какие факты я представлю в подтверждение своих слов?

Он промокнул платком вспотевший лоб и, подняв глаза на «актера», увидел в них ответ раньше, чем тот начал говорить.

— Никаких,— сказал он, почти в точности повторяя фразу из вчерашнего разговора.— Факты предъявлены только вам. Абсолютно неопровержимые факты, а вы можете только подробно рассказать о них.

Стараясь унять дрожь в пальцах, профессор сложил платок и сунул его в карман. Такого поворота дел он не мог предвидеть, хотя был, кажется, готов ко всему...

— Наверное, я все-таки утратил способность соображать,— сказал он потерянно.— Но я никак не могу понять, какой смысл в подобном заявлении? В лучшем случае его примут как оригинальную гипотезу, высказанную в несколько своеобразной форме, а в худшем — сочтут, что я сошел с ума.

— Вашу вменяемость смогут подтвердить врачи.

— Но тогда мне просто не поверят!

— Это вам-то, с вашим научным авторитетом, с известной всем осторожностью в выводах?— сказал «актер», опять повторяя мысль из вчерашнего разговора.— Кроме того,— добавил он,— с подобным заявлением завтра же выступят, точнее, могут с большой долей вероятности выступить еще несколько других ученых, в других частях мира.

У Анатолия Николаевича немного отлегло от сердца.

— Ну, это несколько меняет дело. Кто эти ученые, я их знаю?

— Безусловно. Все они, как и вы, до сегодняшнего дня были ярыми противниками космической интерпретации природы разума.

— Кто же они?

На лице «актера» обозначилось что-то вроде усмешки. Он молчал.

Не дождавшись ответа, медленно опустил голову.

— Понимаю. Начнутся переговоры, переписка. Все обратится в фарс. Скажут: ученые договорились.

«Актер» продолжал хранить молчание. Анатолий Николаевич тоже замолчал, пытаясь осмыслить стран-

ное условие, явно не объяснимое с позиций нормальной человеческой логики. Непокорный его дух начал роптать против очевидной нелепости поступка, на который его толкали.

— Я, конечно, понимаю всю бесперспективность спора с таким существом, как вы,— начал он сдержанно,— но, простите, в вашем предложении отсутствует нормальная человеческая логика, а ведь обращаетесь вы к человеку. Вы решили сообщить нам, людям, информацию огромного научного значения. Кажется, куда проще и естественнее, не прибегая к хитростям, прямо...

Он осекся на полуслове; актер сидел, закинув голову, с широко открытыми глазами, которые ничего не выражали. Рука с бокалом висела вдоль тела, и на пол, переливаясь через край, лилась тоненькая струйка лимонада.

ГЛАВА 8

Удивительное дело, теперь, когда так внезапно кончился контакт (а в этом можно было не сомневаться), вместо вполне естественной нервной реакции Анатолий Николаевич испытал прилив глубокого целительного спокойствия. Пропала дрожь в пальцах, утихло сердце, и, несмотря на все переживания, голова обрела ясность, а мысль — твердость.

Зато собеседник, как и следовало ожидать, изменился в другую сторону. Он очнулся с видом пассажира метро, разбуженного репродуктором, объявившим его остановку. Выпрямился в кресле, тревожно всматриваясь в профессора, и, видимо кое-что поняв, спросил, как выронил:

— Все?

— Не знаю,— сказал Анатолий Николаевич больше по привычке к точности, чем потому, что в самом деле сомневался.

Они сидели и смотрели друг на друга, два совершенно незнакомых человека. Лицо актера смягчилось. Он облегченно вздохнул, словно сбрасывая с плеч тяжелую ношу, и поставил на стол бокал.

— Кажется, в самом деле все.

Оба засмеялись, потому что подумали одновременно об одном и том же: а вдруг еще не все?

— Как вас зовут?— спросил профессор, разглядывая с симпатией молодого человека.

— Андрей Мохов, актер. А вас я уже знаю. *Он* мне вас представил.

— Занятная ситуация,— подытожил профессор.— Встреча двух марионеток. Спектакль сыгран, можно обменяться впечатлениями.

Он вынул из нагрудного кармана салфетку с решениями.

— Ваш почерк? Вот эти цифры?

— Мой. А что это?

— Так, одна задачка. У вас какие были оценки в школе по математике?

— Еле на тройки тянул.

— Ну что ж, совсем неплохой результат для троечника.

Настроение у профессора улучшалось. Теперь их было двое, а это уже легче.

— Интересно, какие факты он предъявил вам?

Вопрос произвел неожиданное действие на молодого человека. Он нахмурился, посерьезнел.

— Что значит «предъявил»?.. Ах да. Вы же ученый, обязаны все подвергать сомнению, даже самые очевидные вещи. Вот.— Он вынул из кармана старенький томик с золотым обрезом.— Это редчайшее издание из библиотеки одного моего знакомого, который живет в другом городе и никогда никому не дает своих книг.

— Да... эффектный номер,— сказал профессор, перелистывая твердые белые листки, которые не смогло тронуть даже время.— Подобным образом он мне тут устроил телефонный разговор. Кстати, а где телефон?

Анатолий Николаевич только сейчас заметил, что телефонный аппарат исчез. Он вернул томик Андрею.

— Представляю, как вы были потрясены... особенно когда узнали, с кем имеете дело.

— Не представляете,— проговорил Андрей, глядя на профессора с пронизывающей серьезностью,— потому что особенно потрясен я не был. Я давно догадывался (да и не только я): что-нибудь такое обязательно должно произойти в мире.

— Не знаю, не знаю,— отозвался профессор, несколько задетый его отчужденным тоном.— Впрочем, какое это теперь имеет значение? Контакт с инопланетным разумом действительно имел место, от этого фак-

та никуда не денешься, но при обстоятельствах весьма туманных, непонятных. И теперь нам с вами надо решить, как действовать дальше, а поэтому предлагаю для начала обменяться информацией. Если что-нибудь будет неясно, спрашивайте.

Анатолий Николаевич коротко пересказал Андрею содержание своего разговора с космическим гостем. Молодой человек слушал очень внимательно, не спуская глаз с профессора.

— Значит, вам его предложение показалось нелогичным?

— Да не просто нелогичным, а нелепым! Убежден, что такой вариант контакта никому не приходил в голову.

— Это уж точно...

Чувство ревности кольнуло Анатолия Николаевича. Похоже, что-то такое рассказал пришелец этому далекому от науки красавцу. Что-то такое важное, что счел нужным утаить от него, ученого.

— Ну, а вы с ним о чем говорили?

Андрей повертел в руках пустой бокал, играя капелькой жидкости на дне, поднял глаза на профессора и вдруг мягко, совсем по-детски улыбнулся.

— О смысле жизни.

— Вот как! И... что же?

— Что нового я узнал, хотите вы сказать?

— Да.

— А ничего.— Актер пожал плечами и поставил бокал на место.— Ничего такого, о чем в той или иной форме не говорилось бы еще до нас с вами.

— Ну а конкретнее?

— Конкретнее?..— Андрей задумчиво поднял брови.— Вот уж не знаю, получится ли... Очень уж тема обширная.

Он откинулся в кресле, положив руки на подлокотники.

— Вы, как я понял, всю жизнь занимались наукой?

— Да, со студенческих лет.

— И, наверное, прочли немало книг по своему профилю?

— Не только по своему. Занятия наукой требуют определенной широты кругозора.

— Ну, а такие, скажем, области, как история, философия, религия, вас не интересовали?

— Честно говоря, постольку поскольку,— подумав,

признался Анатолий Николаевич.— Тут я, видимо, троечник, как вы в математике. В наше время быть энциклопедистом, сами понимаете, невозможно. Чем-то приходится жертвовать.

— Вот и первая хитрость космического демона,— усмехнулся Андрей,— свести двух троечников. Очень символично.— Он задумался, глядя куда-то далеко, мимо профессора.— Не отсюда ли все беды человеческие, что мир, если вдуматься, состоит из троечников.

К ним подошла официантка:

— Будем расплачиваться?

Актер и ученый одновременно вынули бумажники и... рассмеялись. После короткого забавного пререкательства профессор отвоевал право заплатить за ужин. Они поднялись и пошли к выходу.

ГЛАВА 9

У ярко освещенного фасада ресторана было шумно. Дождь еще не кончился, и под бетонным навесом, громко разговаривая, толпились подвыпившие посетители. Анатолий Николаевич и его новый знакомый остановились в стороне, у края навеса, с которого на черный асфальт лились редкие струйки дождя. Среди ожидающих выделялась компания девушек и парней, одетых модно и довольно пьяных. Они стояли в кружок, обнявшись за спины,— все длинноволосые, в джинсах, трудноотличимые друг от друга — и, качаясь, с громким подвыванием пели популярную песенку.

Профессор давно уже не бывал не только в ресторанах, но и вообще в местах массового отдыха. Институт, завод, академия, министерство, дом, иногда (если уж очень допекут) телестудия — все время в спешке, на машине. Привык беречь каждую минуту. Сценка неприятно поразила его. Он подумал, что в дни его молодости, когда жизнь была куда более бедной, увидеть такое было почти немыслимо. Чего им надо? Чего еще не хватает?

— Что, не нравится?— услышал он над ухом баритон Андрея.

— Да... неприятное зрелище.

— А раз неприятное, то лучше и не смотреть,— сказал Андрей с жестковатой ноткой и, помолчав, снова заговорил: — Живем каждый на своем этаже, занимаемся каждый своим делом: кто космос штурмует,

кто спортивные рекорды, а кто вот так... воет у кабака. Любопытно живем, а?

— Да...— без выражения обронил профессор. Его сейчас гораздо больше всех других занимала проблема, как выйти из неопределенного положения, в которое его поставило странное условие космического гостя.

— Пойдемте-ка, а? Дождь как будто уже кончился,— предложил он, выглядывая из-под навеса.

Они двинулись по мокрому черному тротуару, на котором расплескались разноцветные огни от фонарей и витрин. Анатолий Николаевич покосился на своего молча шагавшего спутника. Да, он совершенно честный и искренний человек, но в свидетели никак не годится. Актер... Пожалуй еще засмеют, когда узнают. Одна надежда, что выступят те авторитетные инкогнито в других странах. А если не выступят? Анатолий Николаевич почувствовал что-то вроде негодования против всесильного существа, по прихоти которого оказался в таком щекотливом положении. Зачем ему это понадобилось?

— Странное все-таки условие,— высказал он вслух свои сомнения.

— Нисколько,— откликнулся Андрей, останавливаясь и поворачиваясь лицом к Анатолию Николаевичу. Тот тоже остановился.

— Не только не странное, но, наоборот, единственно разумное,— сказал он с силой.

— Простите, не понимаю.

— А вы подумайте как следует и поймете.

Они стояли друг против друга на каком-то мосту, под которым, сверкая огнями, текла шумная автомобильная река. Мимо с глухим рокотом промчался тяжелый автобус, приглушив последние слова Андрея, и профессор, чтобы не возражать, сделал вид, что не расслышал их.

— Тут есть над чем подумать,— сказал Андрей, облокачиваясь о бетонные перила моста.— И о чем поговорить тоже.

Он повернул к профессору лицо, тускло подсвеченное красным огоньком сигареты.

— Вы не обидетесь, если я буду говорить с вами откровенно?

— Я буду рад этому,— сказал профессор искренне.

— Благодарю.

Он сдвинул локти и опустил голову, устремив взгляд на мелькание огней внизу.

— Вот смотрю я иногда по телевизору популярные передачи о новейших достижениях физических наук — обо всех этих черных дырах, кварках, чудесах кибернетики. Вижу людей, страстно увлеченных своим делом, убежденных в том, что оно насущно необходимо, и, знаете, приходят мне в голову мысли, на которые вряд ли рассчитывали авторы передач. Что всеми этими умными людьми движет, в конечном счете, инстинкт, неосознанная потребность. Да, да, такая же сильная и вряд ли подвластная сознанию, как, скажем, потребность в продолжении рода или в пище. Ведь смотрите, что получилось. В течение тысячелетий человек нагружал свой мозг, чтобы выжить в борьбе с природой, удовлетворить самые насущные потребности тела, и, вероятно, для наших предков это был мучительный процесс — думать. Но постепенно мыслить стало привычкой, а позже и самостоятельной потребностью. Материальный уровень современной цивилизации давно превзошел все возможные пределы, пора бы, кажется, остановиться, подсказывает здравый смысл,— ведь не так уже много и надо человеку для счастливой жизни. Но привыкшая думать голова уже не может остановиться. Она жадно ищет интеллектуальной пищи, опережая потребности своего времени. Все равно над чем, лишь бы думать! Кто-то из ученых шутил: наука — это способ удовлетворять личное любопытство за государственный счет. В каждой шутке есть доля правды. В этой, боюсь, большая. Не отсюда ли эти протуберанцы знания, отрывающиеся на миллионы километров от материнского тела? Не отсюда ли опасный разрыв между уровнем добываемых энергий и моральным уровнем человека? Поразительно и печально, но есть ученые, и их много, которые этого не замечают. Их философия проста на удивление. Им кажется, что человеку не хватает источников энергии, высоких скоростей, сложных автоматов. Это стойкое убеждение порождено безудержным процессом нарастания потребностей, в который мы все вовлечены и управлять которым пока, увы, не можем. А между тем все, чего ищет душа, к чему жадно стремится,— это внутренняя гармония, примирение противоречивых сторон бытия. Во все времена человек искал ее и, найдя, цепко за нее держался, отвергая самые подчас очевидные факты ради иллю-

зий. Вечная проблема для личности! И я что-то не уверен в том, что современному человеку решать ее легче, чем, скажем, человеку средневековому. У каждой эпохи свои крайности, свои протуберанцы...

— Все это может быть и так,— вклинился профессор в возникшую паузу.— Но что прикажете делать в реальной ситуации? Научное познание мира— объективный процесс, остановить который невозможно.

— А сориентировать? Сосредоточить усилия всех ученых в каком-то одном стратегическом направлении?

— Мысль интересная, но только где оно, это направление? А то ведь так, сориентировавшись всем миром, можно заехать бог знает куда. Поэтому уж лучше пробовать во всех направлениях.

Андрей выпрямился, положив на перила руки.

— И вы говорите это теперь, после того, что с нами произошло! Вы по-прежнему считаете, что нынешнее все убыстряющееся движение человечества совершается им вполне сознательно?.. О, да! Скорость опьяняет, особенно тех, кто вырвался вперед и не хочет знать, что творится позади него. А если усилием воли заставить себя отрезветь и оглянуться? Оглянуться, чтобы увидеть, что вся наша сознательность, может быть, только в том и заключается, чтобы оправдывать перед самими собой наше беспрекословное подчинение загадочной силе, заставляющей бежать. И мы послушно бежим, кто как может, все увеличивая разрыв между бегущими. Ученому видятся впереди новые блистательные открытия, человеку рядовому — комфорт и наслаждения. Какая разница? А ведь необычайно важно понять главное: откуда эта беспокойная сила? Почему человек все время чего-то хочет? Одного, другого, третьего, сотого. Куда приведет его это безудержное, подогреваемое все новыми открытиями и изобретениями хотение? Биологи утверждают, что идет эволюция, прогресс вида homo sapiens, что действует некий объективный закон, согласно которому из нынешнего несовершенного человека выйдет когда-нибудь сверхсовершенное существо. Но разрешите спросить: почему? Почему мы должны верить в мудрость *Закона*? Ведь закон слеп. Он равнодушен к моральным ценностям, а без них нет человека. И вот вам первый, безнравственный результат этой наивной веры: мы бежим, а тех, кто падает на пути, стараемся не замечать. Не повезло! Или еще лучше:

сами виноваты! Популярная житейская философия... А между тем без каких-то серьезных мер весь наш головокружительный научно-технический прогресс грозит стать тупиковой ветвью социальной эволюции. Человек — моральное существо, но страх оказаться бессмысленной жертвой убивает моральное чувство, делая человека эгоистичным. А общество эгоистичных людей и есть тупиковое общество. Какая-нибудь внешняя или внутренняя сила рано или поздно разрушит его. Это уж мое личное убеждение.

Андрей затянулся последний раз и, не гася окурка, сильным щелчком послал его вверх, в темное небо. Красная точка, описав дугу, полетела в огненную реку.

Они снова двигались по шумной вечерней улице, кипевшей людьми, машинами, залитой огнями. Андрей как с тормозов сорвался. Он говорил, не давая Анатолию Николаевичу раскрыть рта, но профессор и не возражал, лишь изредка вставлял замечания. Ему только этого было и надо — понять точку зрения партнера, назначенного ему космическим пришельцем.

— Ну конечно! Если смыслом человеческой истории считать этот безудержный неконтролируемый бег, то «протуберанцева» философия есть квинтэссенция человеческой мысли, и правы те, кто ищет истину вне человека, в отрыве от его человеческой сущности. Но где тогда гарантия, что мы не распадемся рано или поздно на глубоко чуждые друг другу частицы когда-то единого живого тела? Есть реки, бегущие к океану, и есть реки, бесследно исчезающие в песках. Впрочем, я верю, с нами этого не произойдет, потому что в человеке есть одна чрезвычайно важная, доселе дремавшая потребность. Не беспорядочное и хаотичное познание ради познания, в конечном счете разобщающее людей, а познание, объединяющее единством цели. И мы с вами узнали об этом сегодня из очень авторитетного источника. Что может объединять миллионы разных людей и даже разные цивилизации Вселенной? Очевидно, общность происхождения, сокровенная тайна природы разума, уходящая своими корнями в невероятные глубины пространства и времени. Что может быть глобальной на веки вечные целью, как не постижение этой тайны? Вы спросите: зачем? О, теперь я знаю зачем! *Он* сказал об этом вполне определенно. Затем, что именно там, в непостижимом пока будущем разрешение всех исторических противоречий, ответы на жгучие вопросы души,

которые кажутся сейчас бессмысленными. Овладев тайной своей природы, человек обретет поистине фантастическое могущество — сможет творить самого себя, победить смерть, воскресить минувшие поколения, обрести принципиально новые формы чувствований — все, что угодно... все! Разве не стоит ради такого великого будущего объединить усилия всех людей и всех цивилизаций!

Занятный у них вышел разговор. Они прогуливались по улицам, сворачивая в переулки, говорили и спорили, иногда шли молча, думая каждый о своем.

— Ну, хорошо,— сказал Анатолий Николаевич, подводя итог рассуждениям,— допустим, что мы с вами правильно поняли нашего могущественного визитера: он явился для того, чтобы, так сказать, подтянуть тылы, указав заблудшим братьям по разуму путь к истине, но, простите, вся эта таинственность лично мне по-прежнему кажется странной...

Андрей откликнулся немедленно и с азартом:

— Неужели вы еще не поняли! В том-то и тонкость, что напрямую, в лоб, действовать нельзя. Да вы только представьте себе, какие последствия вызвало бы его открытое выступление! Люди вдруг по подсказке «свыше» с достоверностью узнают, в чем их цель. Все! Тайна раскрыта, споры окончены. Пророки и философы отныне больше не нужны. Всех, кто сомневается,— к позорному столбу! Остальных выстроить в колонну и прямиком в царство истины. Да вы что! Есть вещи, которые нельзя, опасно знать точно. Нельзя отнимать у человека права на риск — из творца он тогда превращается в пассивного исполнителя. Не-ет! Слишком точное знание опасно, но незнание опаснее втройне. Раз нет общей цели, нет и будущего. Нужен намек, огонек вдали. Нужно знать и... не знать — догадываться.

— Принцип неопределенности! — воскликнул профессор, пораженный неожиданной трактовкой его же собственной идеи.

— Вот именно! Главный принцип всякого творчества. Подлинное творчество — процесс с заранее не известным результатом. Художник стремится к смутно осознаваемой им цели сквозь ошибки и неудачи, потери и находки. Этим и отличается он от простого копииста. А человек по природе своей — художник, творец, вот в чем дело!

...Да, о многом они поговорили в этот прохладный

после дождя майский вечер, блуждая по улицам никак не утихавшего города. Анатолий Николаевич спорил и соглашался, соглашался и спорил, но ни на минуту его не покидала одна и та же колючая мысль о завтрашнем конгрессе. С каким нетерпением он ждал весь последний месяц этого конгресса, готовился к нему в поте лица, а теперь...

Андрей проводил его до самого дома, оставил свой телефон, сказав, что готов подтвердить каждое его слово, если Анатолий Николаевич надумает все-таки пригласить и его. Профессор поблагодарил и, пожав на прощание руку, пошел к своему подъезду. Даже теперь, после всего переговоренного, он не знал, как поступит завтра.

ГЛАВА 10

На следующий день Анатолий Николаевич проснулся поздно. В голове еще шумело от принятого на ночь снотворного. Голое рыжее солнышко, сиявшее в чистом небе, слегка потускнело, как только профессор вспомнил о вчерашних событиях. Он сунул руку в карман пиджака, висевшего рядом на стуле. Вот она, салфетка...

На ней черным по белому значилось убедительное доказательство того, что вчера два представителя земной цивилизации — он и актер Андрей Мохов — действительно имели встречу с космическим разумом высшего порядка. Если бы не эта салфетка, совесть профессора была бы сейчас, пожалуй, спокойна. Фокус с пространственными перемещениями — еще не факт. Но салфетка, увы, факт, да ведь какой хитрый! И факт и не факт. Для тебя факт, для всех остальных нет. Ни к чему не привело и шаткое предположение, что Андрей, при всем ярко выраженном гуманитаризме его мышления (в чем профессор имел возможность достаточно убедиться), все же обладает способностью к сверхбыстрому счету. Такие уникумы действительно могут соперничать с ЭВМ в выполнении конкретных числовых операций, но в комплексе?.. Совершить целый ряд разнообразнейших алгебраических и числовых операций, и все за несколько секунд — нет, такое не под силу никакому, даже супергениальному счетчику. Сорок знаков! С ума сойти можно!.. Да... доказательство неопро-

вержимо, и теперь не остается ничего другого, как выступить на конгрессе.

Десятиминутная гимнастика, прохладный душ и чашка кофе укрепили тело и дух профессора, отвлекли от беспокойных мыслей. За завтраком он просмотрел принесенную машинисткой статью — все было в порядке, потом позвонил в академию, предупредил, что придет как раз к своему докладу.

Два оставшихся часа он гулял по аллеям городского парка среди молодой зелени, гипсовых статуй и тишины. На зеркальной поверхности пруда плавали лебеди. Изящно выгибая шеи, они склевывали с воды хлебные крошки, которые им бросали с берега дети.

Облокотившись о перила арочного мостика, профессор смотрел на лебедей и старался не думать о предстоящем выступлении, как больной в ожидании очереди старается не думать о той неизбежной минуте, когда он собственной волей войдет в кабинет и сядет в зубоврачебное кресло. Мысли, однако, не подчинялись воле и медленно скользили вокруг вчерашних событий, как лебеди по замкнутой поверхности пруда. Этот симпатичный актер оказался чрезвычайно интересным собеседником, хотя интеллектуально и психологически они отличались друг от друга очень сильно. Любопытно, что он интуитивно понимал то, к чему Анатолий Николаевич шел логическим путем, медленно и трудно, долгие годы, через сомнения и отрицания, пока последнее невероятное событие не положило им конец. Концепция человечества как самоорганизующейся, замкнутой внутри себя и развивающейся за счет собственных внутренних ресурсов системы оказалась ошибочной. Мы — открытая система, вот в чем штука! Идея случайного, изолированного зарождения разума означает, что жизнь — всего лишь забавная игрушка природы, случайное завихрение в мощном потоке энтропийных процессов, идущих во Вселенной, и, следовательно, может исчезнуть с такой же легкостью, как и появилась. Что за дело *стихии* до каких-то там мыслящих червячков! А ведь так думают многие...

Но хаосу, разрушению всегда противостояла творческая сила созидания. Ариман и Ормузд, Шива и Вишну, Сатана и Бог. Да, Андрей прав, кое-какие истины человечество постигло еще в детстве, не дожидаясь века

электронно-счетных машин и космологических гипотез. Оно, вероятно, вообще не могло бы жить и развиваться, если бы не знало в той или иной форме этих важных истин.

Но если жизнь — открытая система, соединенная множеством причинных связей с бесконечностью Вселенной, то вполне можно допустить наличие таких связей на уровне ноосферы. Например, взаимодействие нашего сознания с сознанием других цивилизаций Вселенной. По каким каналам? В этом еще предстоит разобраться. Мы же, в самом деле, и понятия не имеем, что такое сознание. Может быть, оно загорается, как головешка на ветру? А ветры эти дуют во Вселенной со сверхзвуковой скоростью и не обнаруживаются приборами...

Не было, не было высоколобых пришельцев! А летающие тарелки и прочая чертовщина, как предположил вчера Андрей, это скорее всего игры неведомых сил самой биосферы, знак беды, а не спасения. Дело, вероятно, обстояло так. На Земле методом проб и ошибок шел поиск существа со сложной структурой мозга, готовилась та самая головешка, которая вспыхнула, когда количество перешло в качество.

И вот теперь костер горит на полную мощь, но хаотично, растрачивая энергию во все стороны. Он воображает себя свободным, самосущностью, не подчиненной никому и ничему, а это опасно. Значит, нужно отрегулировать горение, сконцентрировав в определенном направлении. Расчет точен! Нужно лишь отрегулировать пламя, а не прибить его к земле слишком грубым вмешательством. И тогда к нескольким ученым с мировым именем, известным своим скептицизмом, являются разные, совсем обыкновенные на вид люди и вдребезги разбивают их скепсис...

Если теперь эти ученые наберутся каждый духу и выступят в один день с одним и тем же заявлением, это, конечно, будет сенсация! Научная честь стоит нынче не меньше, чем когда-то рыцарская. Так просто никто своей репутацией рисковать не станет.

Постепенно скандал утихнет (фактов-то нет), но след в научном и общественном сознании останется. За дело возьмутся философы, и тогда... трудно представить себе последствия, но, очевидно, последствия должны быть положительными.

В воображении Анатолия Николаевича вырисовы-

валась картина предстоящего выступления на конгрессе. Вот он подходит к доске и рисует на ней задачу египетских жрецов, потом поднимается на трибуну.

— Глубокоуважаемые коллеги,— скажет он, отряхивая мел с пальцев,— прежде чем начать свое выступление, я хотел бы обратиться к вам с не совсем обычным предложением.

Он подождет немного и, убедившись, что слова его услышаны всеми, продолжит:

— Перед вами задача, решение которой сводится к нахождению алгебраического уравнения четвертой степени. Найдется ли среди вас человек, который смог бы без помощи ЭВМ, вооружившись только ручкой и листком бумаги часа, скажем, за два подсчитать ширину колодца с точностью до сорока знаков?

После паузы, достаточной для уяснения всей абсурдности вопроса, в зале, конечно, начнется оживление. Советский ученый, очевидно, приготовил что-то сногсшибательное, если начинает свой доклад с такой оригинальной шутки. И когда участники конгресса будут основательно заинтригованы, на экране диапроектора появится салфетка.

— Вот это решение,— скажет он в наступившей тишине,— сделано ЭВМ в течение четверти часа, а вот это — одним весьма далеким от науки молодым человеком в течение сорока секунд, достаточных для того, чтобы записать его, то есть практически *мгновенно*...

Что тогда начнется в зале! А что начнется, Анатолий Николаевич представить уже не мог, потому что никогда еще ни один ученый в мире не делал подобных заявлений с трибуны международного конгресса. Ах, черт! Ну и положение!

Ветерок, тянувший от темно-зеленой воды, холодил не только лицо, но и, кажется, душу Анатолия Николаевича.

Теперь только и надежды, что выступят те, остальные «избранники», на существование которых *он* намекнул. Сколько их и что за люди? Рискнут ли поставить на карту свой авторитет во имя истины, которую невозможно доказать? Может быть, кто-то из них сидит сейчас в зале конгресса, решает ту же проблему? «...Критерием истинности научного факта является возможность его воспроизведения. На этом стояла и будет стоять наука». Незыблемый принцип, убийственный для всего неопределенного, случайного! На нем скон-

струированы мозги любого человека, занимающегося наукой — от академика до аспиранта. Он раздавит себя как муху. Сам. При полном уважении и сочувствии аудитории. Горе одиночке!

Так... А если подождать, пока выступят другие? Мыслишка, конечно, трусоватая, но ведь твоей трусости никто не увидит. Можно один раз в жизни...

Нет, нельзя. Другие-то не глупее. Они тоже сейчас обдумывают этот заманчивый вариант и придут к тому же выводу. А вывод прост. Если пропустить назначенный день, то по той же логике можно пропустить и следующий. Потом еще. И еще. И с каждым пропущенным днем будет возрастать вероятность оказаться гласом вопиющего в пустыне. А там забудется, сотрется в памяти. Нет, пришелец все рассчитал точно, с полным знанием человеческой души...

В здание, где проводился конгресс, Анатолий Николаевич вошел все с тем же настроением нерешительного больного. Можно, конечно, отказаться и жить с гнилым зубом, но что это будет за жизнь?

У входа в конференц-зал к нему бросился взволнованный Володя:

— Наконец-то, Анатолий Николаевич! Мы тут все извелись. Через полчаса демонстрация, а вас все нет и нет.

Анатолий Николаевич успокаивающе похлопал его по плечу и вполне деловитым тоном спросил:

— Установка в порядке?

— Да, все отлично, сейчас только проверяли. Это будет сенсация, Анатолий Николаевич!

— Возможно, возможно...

Он тихонько прошел на сцену и занял место с краю. Председатель, канадский кибернетик, однако, заметил его и, улыбнувшись, сделал короткий, приветственный жест рукой. Анатолий Николаевич кивнул в ответ. В зале тоже отреагировали на его появление: задвигались, заговорили, так что англичанин, выступавший с докладом, сделал выразительную паузу, ожидая тишины. Да, идеи его принципа, изложенные в тезисах к докладу, заинтересовали многих. Его выступления ждали.

Интересно, уважаемые коллеги, как вы примете од-

ну небольшую, но существенную поправку к принципу? Фантастика! Чушь!.. Может быть, в самом деле следовало обзавестись медицинским заключением?

Чтобы отвлечься от неприятных мыслей, Анатолий Николаевич заглянул в программу: «Некоторые вопросы принятия решений в условиях неопределенности». Тоже неопределенность. Многие сейчас интересуются неопределенностью. Анатолий Николаевич почувствовал легкую зависть к солидному, уверенному в себе докладчику. Нет, он не из «нашей» компании, и ему не приходится сейчас решать проблему, отнюдь не научную, но тем не менее властно требующую решения.

Англичанин, рыжеватый низенький мужчина в очках, говорил обстоятельно и размеренно, с особой тщательностью произнося звук «р» и «инговые» окончания.

«...Как известно, главная трудность подобных задач состоит в том, что последствия от принятия положительного либо отрицательного решения зависят от неизвестной ситуации...»

Вот именно, подумал профессор, задерживая внимание на этом, в сущности, азбучном положении, ситуация известна только мне. Те, кому я ее перескажу, обязаны принять ее как неизвестную. Вывод?

«...Степень неприемлемости последствий, выражаемая условными единицами — потерями, которые может понести активное лицо...»

О да, потери! Активное лицо, то есть научный мир, обязано четко представить себе, какие последствия для самой философии научного познания могут выйти, если принять всерьез его заявление. И если только не выступят другие, одновременно и независимо... Да... задача!.. Мохову проще: он актер. Явление пришельца задело нервный узел его философии, дав пищу для сугубо гуманитарных интерпретаций будущего. Но философия его, если судить строго, однобока и эмоциональна и вряд ли будет принята всерьез...

Вероятно, не зря *он* предоставил свободу выбора, не зря обратился именно к ученому. Может быть, не так уж назрела необходимость корреляции научного прогресса? Если бы опасность была очевидной, *он* принял бы конкретные меры. По крайней мере, выразился бы точнее. Уж тебе-то мог бы сказать прямо. Следовательно, в принципе...

Нет! Проклятый клочок бумаги! Это же факт, предъявленный именно тебе, но не просто частному лицу,

а представителю земной цивилизации. Утаить его — значит взять на себя ответственность решать за все человечество. И так плохо, и эдак не лучше.

...Англичанин отвечал на последнюю записку. В глубине сцены Володя и двое сотрудников уже возились с доской, подтаскивая ее поближе...

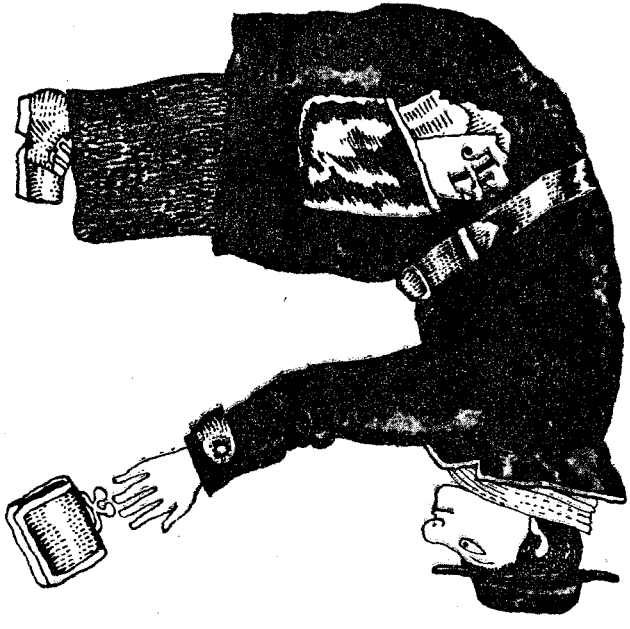
...Председатель сделал Анатолию Николаевичу приглашающий жест — пора. Профессор нечувствующими пальцами развязал тесемки своей папки. Зачем? Неужели он будет делать доклад? Он поднялся. В виске его мелко пульсировала жилка. А может быть, все-таки это был гениально сыгранный спектакль? Все от начала и до конца: и сцены в институте, и разговор в ресторане, и прогулка по ночному городу. А задачу жрецов внушили, когда находился в бессознательном состоянии...

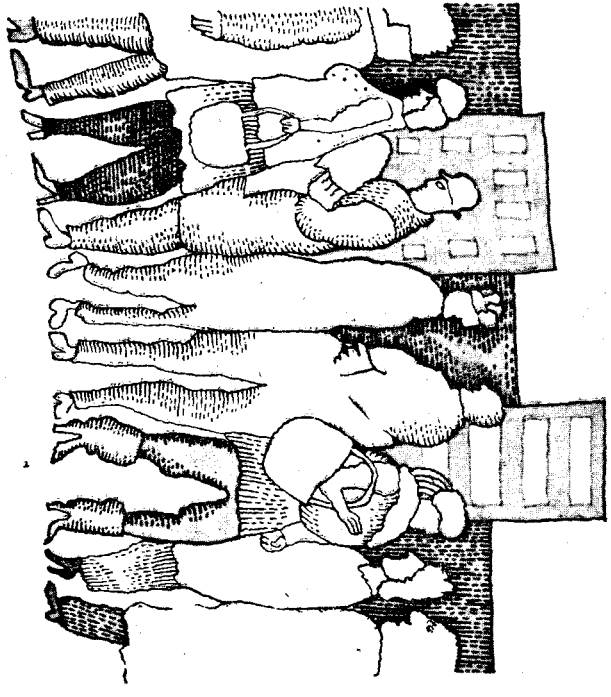
Может быть. Все может быть в этом бесконечно сложном мире.

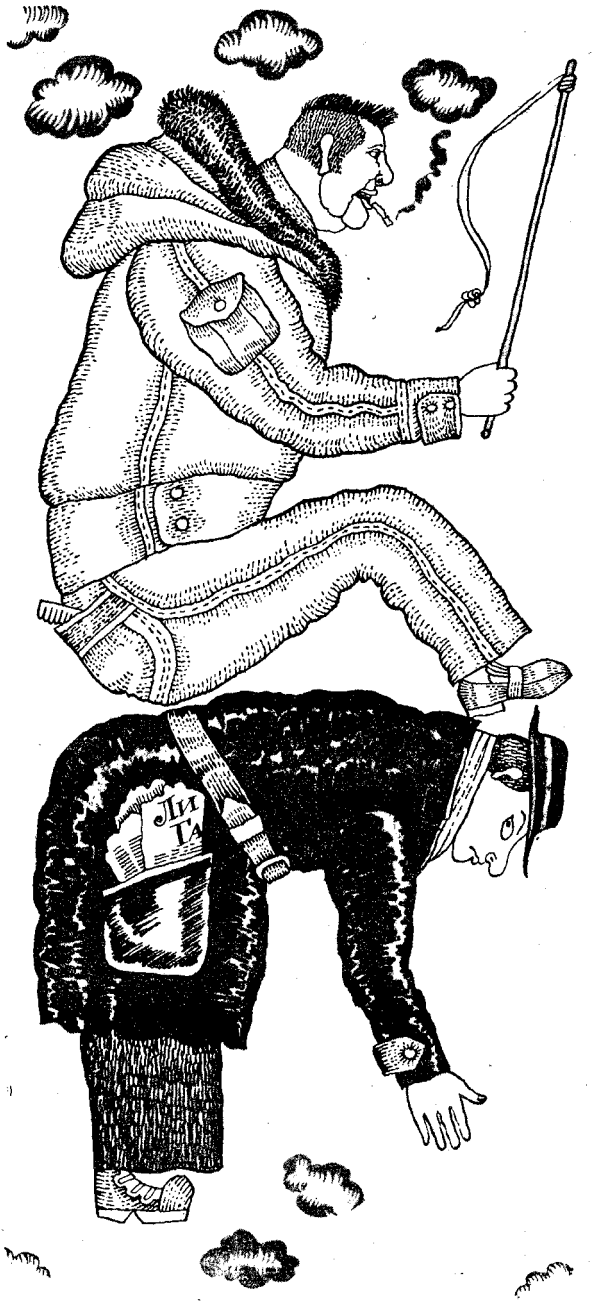
Что же делать? Что?

Профессор поднялся и пошел вдоль стола к трибуне...

РАССКАЗЫ







Каждое утро в мое окно стучится нечто.

Здесь очень богатая фауна. Я пока еще не разобрался, что именно летает, а что ползает. Живность мелкая и для меня безобидная: жуют непрестанно трубчатые мхи и время от времени для разнообразия — друг друга.

Нечто у моего окна — желтый пушистый шар с клювом. Лежбище этих шаров я недавно обнаружил у излучины реки. Они ворочались, закапываясь в песок, елозили клювами по гальке и забавно покрякивали. Большие цыплята, размером с футбольный мяч. То ли прыгают, то ли летают. Крыльев и ног не заметил. Впрочем, не приглядывался. Биологические исследования не входят в мои обязанности.

У меня нет обязанностей.

Сегодня триста шестьдесят пятый день моего пребывания на Багряной. Дни недели несущественны, захочу — и будет вечный понедельник. Время года здесь только одно — лето. Не слишком жаркое, не очень сухое, но лето, только лето... Оранжевые восходы, фиолетовые закаты, и все оттенки красного — днем.

Заурядная кислородная планета, таких в Рубрикаторе сотни. Четвертая в системе красного гиганта. Два материка. Орбитальных ретрансляторов — два. Информационных буев — двадцать четыре. Людей — один.

Год назад, и может, в этот самый час я стоял на балконе, высоко, и прохладный ветер тянул с севера долгое:

© Э. Геворкян, 1992

у-у-у... Будь я волком, то затянул бы в полнолуние ветру вслед: у-у-у...

Но тогда, как и сейчас, был день. Там, на Земле, в своей квартире, я вспоминал, перетряхивал память до самых захламленных уголков, высчитывал ошибки, действительные или мнимые, взращивал на хорошо унавоженной почве сомнений дерево вариантов каждого поступка и гадал, который из них ключевой...

И когда замигал наружный вызов, я отключил его. Через минуту он снова замигал. Это могла быть Лиза, но именно ее я не хотел сейчас видеть. И трижды именно, если это кто-либо из Десятки. Кончилась Десятка, кончился Учитель, попросим учителя Шамиссо отчитаться о своей бездарной деятельности и посмотрим, что он сумеет сказать...

Сигнал непрерывно мигал, с той стороны двери усердно прорывались ко мне. Может, по делу? Хотя какие могут быть дела у бывшего учителя! Скорее всего нашлась соболезнующая душа...

Снова сигнал. Пусть мне будет хуже, решил я и разблокировал вход.

— Итак, это вы! — сказал вместо приветствия высокий мужчина с длинными висячими усами.— А я — Клеланда из Общественного контроля. Вы не будете возражать, если мы займемся вашим делом? Разумеется, найдем хорошего протектора, поднимем все архивы... Вы меня слышите?

Я его слышал. Для начала совсем неплохо. Новое состояние порождает новые ситуации. Вот уже энтузиасты из ОК проявляют заботу. Ненавязчиво и скромно.

— Если вам трудно решить сейчас, мы свяжемся позже,— продолжал Клеланда. Он посмотрел на меня и поднялся с места.— Я хотел бы пригласить наших экспертов. Ваше дело будет прекрасным казусом для дискуссии, может, и всеобщей...

Только этого мне не хватало! Молодцов из ОК далеко занесло, но я им в эти дали не попутчик.

— Не могу принять вашей заботы,— ответил я гостю и тоже встал, давая понять, что разговор окончен.— Тем более что сейчас, приношу извинения, не имею намерения принимать у себя кого-либо.

Вчера я еще не мог вообразить, что буду в состоя-

нии грубо оборвать человека, не закончившего разговор. Но Клецанда вместо того, чтобы холодно отклоняться, только улыбнулся и после секундной заминки сказал:

— В таком случае позволю себе пригласить вас к нам. Приношу извинения...

Он поднял руку и разжал ладонь. Небольшой граненый хрустальный шарик завертелся перед моими глазами. Я удивился, но тут же сообразил, что это компактный гипнарк. Поплыли радужные пятна, шарик вдруг превратился в голубую ослепительную звезду...

Очнулся я в помещении с выключенными окнами. Связь не работала. Выход заблокирован. Ноги ватные, и стены расплываются, как после долгого процедурного сна. Минут через десять я пришел в норму. Я не знал, вернее, не мог сообразить, где я нахожусь, но при любых обстоятельствах собирался выбраться отсюда как можно скорее. И выяснить, кто и по какой причине меня изолировал. Что еще скажет Совет Попечителей, узнав о насилии над бывшим учителем?! Ничего, я продержусь. А вот что сейчас творится с Мурадом?..

Шестьдесят два года — почти старость. А полвека назад мой Учитель назвал меня Вторым. Он долго колебался, и если бы не болезнь Виктора... Добрый Учитель, ему казалось, что мне не хватает уверенности. Все-таки он назвал меня. А Первым, и без всяких оговорок, шел Леон, краса и гордость Десятки. Он получил мандат в одну из австралийских школ, мы изредка встречались на каникулярных сборах. После выпуска своей Десятки он ушел к освоенцам и, кажется, участвовал в четвертом десанте на Горизонт. В наставниках не остался.

Какое это было время! Долгая и многотрудная история освоения Марса, полная мытарств и трагедий, подошла к своему блестящему финалу — был сооружен и наконец-то задействован экваториальный фазоинвертор. Дальний космос стал ближним. И такое началось, такой прорыв!.. Я даже начисто забыл, что являюсь Вторым, и очень удивился, когда меня сняли с рейса и вызвали в управление.

В приемной встретил сам начальник управления.

Он странно оглядел меня, провел в кабинет, усадил в кресло и вручил розовый бланк вызова на комиссию. Много лет спустя я понял, что значил его взгляд. Он уже тогда смотрел на меня, как на Учителя.

После полугодового карантина я вошел в основную группу школы 221, Базмашен. Физподготовку я любил, раза два даже брал призы на стендах и поэтому первого года не боялся. И напрасно! Нас гоняли похуже, чем на всех штурманских курсах, вместе взятых. Если у кого-то было особое мнение о своих способностях, то оно выветрилось через неделю, после канатных пятнашек, бега с подвязками и мокрых простынь. Ровно год шлифовали нашу мускулатуру и психику. Тесты и кроссы, гокинг и нервные бревна, батут и колодец...

Главное началось потом! Первый год обучения мы долго вспоминали, расслабленно улыбаясь. Теперь уже шел не прыг и скок, а усиленный курс всех наук, в компакте, конечно, при этом никакой гипнопедии или нейродопинга. Десять часов в неделю, двадцать часов в неделю, а к концу второго года — десять часов каждый день. Лучшие обучающие системы, отменные Наставники, консультации ведущих мотиваторов, экзамены шесть раз в году, две недели отдыха, и опять занятия, экзамены, лавина информации, мозг распирает, а попробуй не перевари или забудь, попробуй на экзамене не ответить на блиц-опрос по совершенно другой теме...

Пять лет в школе стоили тридцати до нее. В день Клятвы многим из нас было уже тридцать пять. Затем год общения, год стажировки, коррекция и гармонизация педагогической премудрости. Наконец, я получил свою Десятку. Первую и, конечно, единственную. Пятнадцать лет вместе. Пятнадцать лет... впустую!

Когда я впервые увидел этих годовалых несмышленышей, вокруг которых вертелись, не находя места, родители, меня распирало от гордости. Я чувствовал себя Творцом, замесившим круто глину. Кого я вылеплю...

Девочки заговорили чуть раньше, зато мальчиков потом невозможно было остановить. Лена, Аршак, Сима, Гриша, Саркис, Ирма, Мурад... Наш дом выбрали на родительском собрании за год до моего назначения.

Он стоял на берегу речки, линию обеспечения провели от Базмашена. Неглубокое ущелье, а за ним начинался заповедник стобчатых базальтов. Прекрасные места!

Родительские комнаты занимали третий этаж, все остальные были в нашем распоряжении. Первые два года прошли нетрудно. Большая часть нагрузки легла на родителей. Но вот дети стали задавать вопросы, и от контроля и коррекции надо было переходить к активному воздействию — и тогда началась моя работа. На каждый вопрос своевременно ответить, учесть последствия ответа, любой поступок мгновенно экстраполировать, направить активность, сместить активность, элиминировать активность, формировать начальные структуры — и все осторожно, без нажима, весело и серьезно, чередуя игры и занятия. Сотая часть всего, чем мне приходилось заниматься...

Все головоломные переплетения нелинейных барьеров на Гиперборее и все бездонные каверны Горизонта были сущей ерундой по сравнению с детской психикой. Безупречная радость и чудовищная ответственность Творца, ежедневные, ежечасные приключения и испытания духа, знаний, личности — это работа...

Но что и в какой момент я проглядел?

Вот Кнарик отобрала у Мурада игрушку, веселая возня, но Мурад отказывается взять ее обратно. Что это было — не признак ли чрезмерной гордости? А в первый год знаний он сам лишил себя воскресной рыбалки из-за нерешенной задачи — требовательность или первый росток асоциальности? Не заметил тогда, а теперь буду вспоминать день за днем, искать в памяти слова и поступки, могущие оказаться ошибочными...

Линопласт слегка пружинит под ногами. Я иду от стола к окну, возвращаюсь к столу, снова иду к окну, задерживаюсь у него.

Горы почти не видны, их затянуло сиреневой дымкой. Но до сумерек еще далеко. Кажется — еще немного, и начнутся дожди, лето кончится... Но осень здесь никогда не наступит.

Шар-цыпленок сегодня скучен.

Неделю назад он увязался за мной и допрыгал

от отмели сюда. Скребся клювом в дверь, затем облюбовал окно и каждое утро барабанил в него. Сей час он вяло копошится под окнами, ковыряется во мхах.

Со стороны реки ветер несет какой-то желтоватый пух.

В соседнем помещении вдоль стены лежат ящики. Почти до потолка. Это мой архив, извлеченный из глубин Центрального Свода. Записи, наблюдения, видеотека, сочинения, рисунки, результаты контрольных замеров... Один из ящиков набит картинами Гриши, в девять лет он до самозабвения увлекся акварелью, через год внезапно переключился на биомоделирование и начисто забыл про краски. В другом ящике среди прочего лежит матерчатый пес с разными ушами — его сшила Ирма в три, нет, в три с половиной года.

Ящики постепенно опорожняются, приходится наращивать полки: видеоблоки отдельно, журналы наблюдения — отдельно, дневники, мои дневники — на другую полку. Это все холст, грунт, первые мазки, а потом все должно сложиться в единую картину, имя которой — Белая Книга.

Скоро я начну складывать осколки воедино, а пока кружу по комнате, как тогда, год назад...

Я кружил по комнате, стряхивая с себя остатки гипнаркического беспамятства. Когда я окончательно пришел в норму, входная панель отошла в сторону и объявился Клецанда в сопровождении двух молодых людей.

— Что все это означает? — спросил я, заложив руки за спину.

Клецанда не обиделся.

— Видите ли, — доброжелательно сказал он, — нам обязательно нужно побеседовать с вами.

— С каких пор Общественный контроль взял на себя функции Совета Попечителей?

— Хорошо. С этого и начнем. — Он кивнул сопровождающим, и те вышли.

Тут я понял, что они были вроде, как их...да — телохранителей. На всякий случай.

Мне стало смешно. Мальчикам лет за тридцать. Клецанда, пожалуй, мой ровесник. Но если бы я позор-

но сорвался в истерику, то мог их телам нанести некоторый ущерб. Троим меня не удержать.

— Вы только выслушайте меня, а выводы делайте сами, и не обязательно сейчас.— Клеланда потрогал свои усы и продолжил: — Виновный должен быть наказан и будет наказан. Прекрасно! Но остальные, остальные!.. Я преклоняюсь перед Дидаскалом! Я преклоняюсь перед Учителями, сделавшими наш мир прекрасным и справедливым, насколько это сейчас возможно. Но, клянусь памятью первых Учителей, система образования себя исчерпала! Где же логика? Простая логика отношений требует, чтобы и Десятку, в которую вы входили, лишили полного доверия, а значит, вина ложится и на вашего Учителя, и на его Десятку, и на его Учителя и так далее... Вы не находите?

— Не нахожу.

— Да? Но вы обратили внимание на то, что от здравого смысла до абсурда мы совершили путь всего в один шажок? Три века демонтажа традиционной семьи...

— А ведь вы не из Общественного контроля,— перебил я, с бесцеремонным любопытством разглядывая Клеланду,— вы «персоналист»!

— Рад за вас,— быстро ответил он,— это упрощает дело!

Минуту или две мы молча смотрели друг на друга. Мне наконец воочию довелось увидеть «персоналиста». Не героя анекдотов курсантских времен, не сотую долю процента социографических справок (мелким шрифтом в специальном приложении для научных библиотек), а живого, натурального «персоналиста». Их на Земле и в радиусе обитания несколько сотен, ну, может быть, чуть больше тысячи. Даже не горсть, даже не капля... Но все-таки нормальные, полноценные люди, которые в какой-то момент отрекались от Десятки и Учителя, публично снимали с себя ответственность за других и отвечали сами за себя. Общество могло позволить себе такое отклонение, да оно не обращало на них почти никакого внимания. Дети, правда, иногда задавали вопросы — до них доходили всякие слухи, но слухи эти ютились где-то между жутковатыми сказками и ночными историями.

— Вы нам нужны! — заявил Клеланда.— Пора наконец показать всем, какие идеи мы можем пред-

ложить миру. Разумеется, до референдума дело не дойдет, но дискуссию мы затеем славную. К тому же совершенно безразлично, чем она кончится. Важен прецедент, понимаете? Если вы опротестуете...

Он говорил, уговаривал меня, а я молча смотрел, как он размахивает руками. Вдруг мне показалось, что он разыгрывает маленький спектакль, а сам наблюдает со стороны и ждет моих реплик. Когда я окончательно уверился в этом, он на полуслове оборвал себя, улыбнулся и тихо сказал:

— Только не подумайте, что я подкапываюсь под основы бытия. Не зову вас в наши ряды. Хотя стоило бы попытаться... Скорее всего вы никогда не будете с нами, но рано или поздно к вам придет мысль, возникнет сомнение — а все ли возможности старой этики мы перепробовали, прежде чем ее сломать?

Мне стало скучно. И стыдно. Стыдно за его Учителя, пусть даже Клеланда и отрекся от него.

— Вам наверно трудно давалась История Разума? — участливо спросил я. — Могу порекомендовать отличный восстановительный курс.

— Благодарю, — спокойно ответил Клеланда. — Непременно воспользуюсь вашей рекомендацией. Но если вы считаете, что за какие-то тысячелетия индивидуальная ответственность исчерпала себя...

Не дослушав, я подошел к нему, взял за локти и, легко приподняв, отодвинул от входа.

— Сейчас я уйду, а если ваши авантюристы попробуют меня задержать... Словом, не советую!

— Куда же вы? — развел руками Клеланда. — Напротив, это я уйду. Вам совершенно незачем уходить. Вы что же, свою квартиру не узнаете? Впрочем, мы перенесли мебель в соседнюю комнату. Беспокоились за вас. Извините.

И вышел.

После гипнарка с координацией плоховато, но хорош же я! Заперли, заточили, ах, ах! Не узнать свое жилье?! Вон на стене напротив висит маленькая картина Бояджяна — по степи мчатся, словно волны, всадники на коротконогих лошадках, а над степью тяжелые полосы облаков...

Включив окно, я несколько секунд смотрел на зеленое кольцо парка. Его наискось пересекал греб-

ной канал, с высоты казавшийся темной трещиной.

На седьмой год мы переехали в Базмашен, учебный центр. Родители остались в доме, место им нравилось. Встречались с ними раз в неделю. Дети врывались ко мне в любое время суток и по страшному секрету, разумеется, сообщали, что они придумали для воскресного подарка и почему для него необходимо сию секунду и откуда угодно достать три килограмма лимонных ягод, двести метров нитинола, ореховую тянучку, губчатую платину и все такое...

Мурад, Семен и Лена дружили с соседней Десяткой. У остальных тоже было немало друзей по школьному городку. У меня прибавилось забот. Много сил и времени забирало планирование — надо было срочно выяснять, кто из Учителей наиболее силен в прекрасном чтении, кто в биофизике, идти ли к ним на урок или приглашать их Десятку к нам, ломать голову, увеличивать ли частоту таких посещений до двух раз в неделю, или, наоборот, пора на некоторое время локализовать учебный процесс.

Голова пухнет от массы сопутствующих дел, а тут вдруг вылезает, скажем, Аршак с проблемами энформных логик, а ты сразу и не сообразишь, за что хвататься: матричную историю и математическую философию в Школе я вытягивал на пределе...

Какое это было время! На сентябрьских торжествах я познакомился с Лизой. До моего Выпуска оставалось четыре года, а ее — три. Поначалу все было хорошо, но через год я вернул ей Слово, потом у нас наладилось, потом опять мы запутались... Так, в общем, до сих пор ни я, ни она не разобрались, что кому надо. Каждый остался при своем Слове, с ним, наверно, и успокоимся. Не судьба...

В последние годы, правда, отношения наши упростились, и Лиза несколько приутихла, и я расслабился, но прошлых лет растаял след... Где ты, школьный городок? Где ты, сентябрь?..

В десятилетнем возрасте у детей обострилось критическое осмысление мира. Ничего на веру не прини-

мается, аксиомы и авторитеты пробуются на зуб, идет вторая волна вопросов. И среди них многократно и в самых забавных вариациях: неужели Учителю так трудно за всю свою жизнь воспитать только десять человек?

Рано или поздно задается этот вопрос. Потом еще и еще раз. Главное, почувствовать момент, когда наступила пора рассказа об учителях. Почему ими гордится человечество, какая лежит на них чудовищная ответственность за все и вся, и почему последнее слово всегда остается за Учителем, и почему за радостью мира иногда скрывается невидимая никому усталая печаль Учителя.

С этого начинается введение к курсу Истории Разума и продолжается до самого конца. В это же время Учитель начинает приглядываться к своим ученикам, чтобы за оставшиеся до выпуска годы успеть подготовить Первого и Второго, возможных кандидатов в учителя. Сколько их отсеялось, а сколько отвели себя сами! Это не делало чести их Учителю, но это было честно. Учитель — не разработчик, не мастер и даже не мотиватор. Он не имеет права ошибаться. Если ошибся — не Учитель! Как я...

Из-за пустяковой, возможно, ошибки такой позорный финал! Нет, у нас не бывает пустяковых ошибок, любая ошибка — конец! Но где, когда?.. Вывернуть Вселенную наизнанку, пустить время вспять, секунда за секундой просмотреть все сначала, найти неправедное слово, неверное действие...

Кончено, бывший... Теперь уже просто — учитель. Сколько «бывших» наберется на наш век? Пять или шесть, хоть отсчет веди! «Это был восьмой год от провала бывшего Учителя Шамиссо»,— скажут историки, а курсанты будут понимающе кивать. Позорная точка отсчета!

И бедной усеченной Десятке переломан хребет бережным, неназойливым вниманием. Вежливые просьбы о внеочередном контрольном замере, мало ли что... Долгие месяцы, если не годы, будет восстанавливаться спокойная уверенность в себе. Бедный Мурад...

Закат на Багряной красив. Горизонт расслаивается на синие и красные полосы, медленно наливается фиоле-

товым небо, а в нем время от времени расцветают стрельчатые цветы метеорных дождей.

Перенося ящик из соседнего помещения, я задел боком терминальный выступ стола и чуть не выронил груз. Подхватывая его, случайно задел скобу фиксатора. И, разумеется, скоба осталась дурацким кольцом на моем пальце, а ящик немедленно распался на тонкие полоски. На пол со стуком посыпались видеоблоки, у некоторых отвалились крышки, и тонкие радужные диски разлетелись по комнате. Я постоял над безобразной кучей, затем махнул рукой и сел прямо на линопласт, посреди развала, собирая блоки по годам и разглядывая пометки на дисках.

С видеоблоками я возился долго и отсидел ногу. Чтобы размяться, решил пройтись, обойти территорию.

Снаружи было не очень темно, что-то вроде земных сумерек. Но темнее здесь не бывает.

Под окном зарылся в мох по самый клюв шарцыпленок. Мне показалось, что он стал чуть больше. Может, это другой? Хотя нет, вот темное пятнышко на клюве.

Я пошел по тропинке к кубу синтезатора, от него к реактору, хотел спуститься к реке, но посмотрел на часы и передумал.

Сегодня я надел часы. Сегодня день связи.

Код вызова я оставил только Лизе. Потом, когда-нибудь, я попрошу ее дать код Десятке... вернее — Девятке.

За семь минут до связи я был уже за столом. Перевел дыхание, быстро сварил кофе и успел сделать несколько глотков.

Сигнал вызова я заглушил до предела и поэтому его не услышал. Вспыхнул экран, на нем появился юноша с эмблемой прямой связи на рукаве.

— Здравствуйте,— сказал он и замялся. На секунду, не больше.— *Вы просили связь на полчаса. Если вам* понадобится, можно будет продлить.

— Спасибо, думаю, что не понадобится,— ответил я совершенно искренне. Каждая секунда прямой связи съедала уйму энергии, а я и так вечный должник...

Юноша исчез. На экране возникла Лиза. Она крепко зажмурила глаза и причмокнула. Наше приветствие.

— Я долго думала, что тебе сказать вначале, но ничего лучше «ну, как ты?» не придумала. Спросить?

— Спроси.

— Ну, как ты?

— Как видишь! — Я бодро выпятил грудь и для убедительности стукнул по ней кулаком.

— А ты не поседел...

— Не поседел или даже не поседел? — переспросил я и тут же мысленно обругал себя — и сейчас не смог удержаться. Ну почему каждый разговор с ней начинается и кончается выяснением, кто что имел в виду и почему имел... Куда деваются чуткость, такт и понимание? Почему исчезает почти рефлекторное умение вести отменную беседу почти с любым собеседником? Очевидно, она не входила в эту когорту «почти любых». Или я выпадал из нее...

Лиза не ответила на мой вопрос. Она разглядывала меня, потом вдруг улыбнулась.

— Если бы не мать, я бы приехала к тебе.

— Как ее здоровье?

— Все так же. Не лучше и не хуже. Пробуем клеточные стимуляторы. Ходить еще не может.

— Передавай от меня... Впрочем, не надо.

— Да, лучше не надо. Обещают за полгода поставить ее на ноги.

— Но тебе придется долго за ней присматривать.

Она опустила голову и поджала губы.

— Я все понимаю, — наконец сказала она. — Я начала седеть.

— Вот глупости! — ответил я. — При чем здесь это?

Несколько секунд она смотрела мне в глаза, потом вдруг всхлипнула.

— Только сейчас я поняла, какие мы были... Все равно ты от меня никуда не денешься!

«Денусь», — подумал я.

— Ты же понимаешь... — Я развел руками. — Мне... ты...

— Я все понимаю. Как только поправится мать... — Она снова всхлипнула и исчезла.

Юноша с эмблемой прямой связи выглядел растерянным.

— Ваш собеседник отключил линию. Если терминал неисправен...

— Все в порядке! — Я потряс ладонью для убедительности.

— Но... В вашем распоряжении больше двадцати минут. Есть еще один запрос. — Юноша вертел в пальцах прозрачный код-жетон. — Если вы не возражаете... Запрос шел через Совет Попечителей. Там оставили на ваше усмотрение.

Кто бы это мог быть? Кто-либо из десяти, то есть девяти? Нет, подобную бестактность они себе не позволят. И тут я поймал себя на мысли, что простил бы им это. Хорошо, если просит связи Кнарик. Много говорить не будет, повздыхает, выпятив нижнюю губу, — уже теплее в сердце. Нет, не она. Гриша? Аршак?

— Ладно, — сказал я, — соедините.

И чуть не застонал от досады, когда на экране появилось длинное лицо и длинные же усы Клеанды.

— Приветствую вас!

Я ограничился кивком.

— Ну вот, если кому суждена встреча, то ее не избежать, раскидай их хоть в разные концы Вселенной. Вы неплохо выглядите. Как ваше здоровье?

— Так вы запрашивали Совет исключительно ради удовольствия осведомиться о моем здоровье? — спросил я.

Улыбка с его лица исчезла мгновенно.

— Нет. У меня есть к вам предложение. Просьба! Вы, наверно, уже пишете книгу, ну, понимаете, вашу... книгу. Так вот, не могли бы вы, как бы это сформулировать... ну, несколько страничек, буквально несколько страниц — ваши мысли, эмоции и все такое... Все, что вы испытали, пережили в тот день. Я имею в виду день Суда. Если это вас не затруднит! Я понимаю, неудобно обращаться с такой просьбой, но...

Он с минуту расшаркивался словесами, а я смотрел ему в глаза и молчал. «Опять какая-то игра, — думал я, — опять «персоналисты» жаждут дискуссии или референдума. Прекрасно, но при чем здесь я? Что-то затянулась их возня вокруг бывшего Учителя. Теперь понадобились мои эмоции! Странно! Никогда не думал, что они так... организованны».

— Я ничего не понял! Собственно говоря, что вам от меня надо? Какие еще заметки? Если у вас много свободного времени...

— Извините и еще раз извините,— перебил меня Клеланда.— Но нам действительно крайне интересны ваши воспоминания о том дне. Время связи истекает, а в двух словах теорию альтернативной этики не изложить. Если бы вы позволили в следующий раз, через год...

Я медленно покачал головой.

— Жаль. Ваш Учитель был уверен, что вы не откажете.

— Что-о?

— Я немного знаком с Учителем Барсегом. Он, разумеется, не имеет к нам ни малейшего отношения и весьма скептически относится к нашим концепциям. Мы с ним соседи и иногда встречаемся в гостевые дни. Мы ему любопытны, не более. Он, сами понимаете, не хотел говорить о вас, но потом все-таки сказал, что теория альтернативной этики могла бы у вас вызвать интерес и что вы занимались чем-то подобным за год до его выпуска. «Шамиссо полагает,— сказал он,— что повесть жизни закончена. Но это только пролог». Я не знаю, что он хотел этим сказать.

Он хотел еще что-то добавить, но в верхнем правом углу экрана замигали слова: «Одна минута».

Клеланда потрогал усы, наклонил голову и исчез. Конец связи.

Некоторое время я сидел перед пустым экраном, затем допил остывший кофе и встал. Все-таки никто из девяти... Они-то могли не посчитаться с моим запретом. А Мурад... впрочем, лучше о нем не думать, даже представить страшно на миг, что с ним...

А Клеланда меня смутил. Гора родила мышь, и мышь оказалась дохлой! Если раньше я подозревал их в непонятных кознях вокруг меня, Мурада и Преступления, то все это оказалось пшиком. Мемуары им нужны! Но что имел в виду мой Учитель? Никогда не увлекался и не занимался альтернативной этикой. Да чего уж там, впервые о ней я услышал только сегодня, от Клеланды. Что-то здесь не то!

Я прошелся по комнатам, включил пылесборник, вы-

ключил его, вскрыл еще один ящик — он тоже оказался с видеоблоками. Разбирать их не стал, сегодня буду листать дневники.

Выложив на стол первую стопку толстых тетрадей, я некоторое время сидел над ними, ничего не делая. Никак не мог сосредоточиться. Потом решил отвлечься и вышел из дома.

Там меня ждал сюрприз. Вокруг шара-цыпленка сновали маленькие клювастые шарики, полтора десятка, не меньше. Ну, вылитая наседка с цыплятами. Шар-наседка выглядел плохо, словно из него, или из нее, воздух выпустили. А потомство возбужденно подпрыгивало, размахивая острыми клювиками и, не успел я умилиться этой картинке, как вдруг они набросились на шар-наседку... Во все стороны полетел пух, ветер подхватил его и понес. Я не успел опомниться, как от шара-наседки остались лишь тонкие полудужья скелета, а шарики весело запрыгали вниз по склону к реке, откуда ветер временами нес клубы пуха. Один из шариков отстал, несколько раз клюнул в подошву моих топталок и заскакал вдогонку. Вот, значит, как...

«Вот, значит, как»,— повторил я про себя, вернувшись в дом. Однажды Учитель Барсег повел нас в Музей питания. Там был макет скотобойни... видеоряд... неприятные ощущения! Когда же это было? Вспомнил! Вспомнил. Никакими этическими теориями за год до выпуска я не увлекался, а взялся я тогда, и взялся основательно, за социомутагенез. Закопался в нем плотно и надолго, запутался сам, запутал Учителя. Вместе долго сидели у терминала, что-то интересное получалось, а потом я вдруг остыл, забросил. Учитель огорчался...

Что же это — весточка от Учителя? Намек? На что? Неужели он полагает, что в идеях «персоналистов» что-то есть, что пора к ним всерьез присмотреться, и заняться этим следует именно мне? Странно! Хотя, социомутагенез... Мир, созданный Учителями, совершенен, насколько это возможно сейчас, и должен совершенствоваться и впредь. И чтобы не растерять зерна будущих Систем Воспитания, придется быть внимательным и к сорнякам. Кто знает, что из них впоследствии вырастет.

Добрый Учитель! Не знаю, хватит ли у меня сил и желания взяться за проблему, подсказанную

тобой. Есть дела, не терпящие отлагательств, а именно — Белая Книга. Собственно, ее начинаешь писать в день Суда. И я начал ее тогда, год назад...

Тогда, год назад, в день Суда, после нелепой стычки с Клецандой, я стоял у окна и смотрел вниз, на канал. Потом раздался предупредительный звонок, окно переключилось. Это был сам Ранганатан, председатель Совета Попечителей. «Суд через два дня,— сказал он.— уже выслана платформа».

«А Мурад?» — чуть было не спросил я, но смолчал. Он будет ждать у входа...

Я вышел в коридор, транспортная лента вынесла меня на летную площадку. Над ней уже завис и с шипением опускался темный квадрат платформы. Я вошел в кабину.

Внизу потянулись зеленые зоны с вкраплениями городков и жилых башен, время от времени мелькали стартовые овалы портов, затем платформа нырнула в облака.

Во мне медленно поднималось опустошающее спокойствие. Что будет, то будет! Но вот чего уже никогда не будет, так это сентябрьских встреч, разговоров, веселья и шума праздника начала учебного года, когда в школьные городки съезжаются многие...

Платформа пошла вниз, показалась кромка берега с белой ниткой прибоя. Нитка постепенно раздалась в ленту, вода осталась позади, и тут по курсу выросли синие купола Зимнего комплекса.

У входа меня встретил Наставник, немолодой, темнолицый, с пушистыми бровями.

— Я провожу вас,— сказал он после приветствия.— Можете отдохнуть, время еще есть.

— Спасибо. Вот, возьмите...— Я протянул эмблему Учителя, которую снял по пути с рукава. Темнолицый сунул эмблему в карман и, не оглядываясь, ступил на транспортную полосу. Я последовал за ним.

Он довел меня до дверей, обитых бледно-зеленой кожей, кивнул и ушел. В комнате меня ждала Наставница.

— Это обвинительное заключение,— тихо сказала

она, протянув мне диск в прозрачном конверте.— Ознакомьтесь, пожалуйста. С Протектором вы встретитесь перед началом. Он тоже принимал участие в расследовании.

— Благодарю.— Я взял кассету и сел на диван.

Наставница вздохнула и вышла. Она еще молода. Быть может, подумала о своей Десятке...

Я просмотрел диск с обвинительным заключением и содрогнулся. Дела выглядели гораздо хуже, чем я предполагал. Ах, Мурад, Мурад! Ну как он мог!.. Боюсь, он даже не догадывается, насколько все скверно.

Промышленный реактор класса «атанор» сожжен дотла. Пострадало восемь человек, очень серьезно, двое до сих пор в реаниматории. Что-то замкнуло в инжекторе, и один за другим стали выгорать предохранительные стержни. Мурад покинул пульт, отключил автоматику и геройски полез в релейный отсек, чего не имел права делать ни при каких обстоятельствах. Мурада пытался остановить напарник, но он заманил напарника в подсобное помещение и запер его там. Час от часу не легче! И это мягкий, обходительный Мурад! Откуда в нем эта жесткость?

Экспертная комиссия признала риск допустимым, но только в безлюдном варианте и только при отказе всех аварийных линий. Между тем в реакторном зале находилась группа технического обслуживания. Мурад знал, что там люди, его товарищи, он каждый день встречался с ними, говорил, улыбался... И тем не менее рискнул. Во имя чего? Автоматы сделали бы то же самое, хотя потом, насколько я разобрался в материалах, надо было налаживать все снова — работы на месяц или больше.

Ему не хватило нескольких секунд. Все пошло вразнос, хорошо, что сработала аварийная обойма. Не сработай она — от промзоны не осталось бы и пепла. Заражение района, непредсказуемые последствия... Он не имел права рисковать, зная, что есть угроза людям. Но когда, в какой злой час я не заметил ростков самоуверенности, вовремя не сместил, не сдвинул модусы?..

В комнату вошел Протектор, кивнул и протянул мне текст своего выступления. Я, не заглядывая в него, возвратил и поймал себя на мысли, что так, наверно, поступали и те, кто до меня пытался уйти дос-

тойно. Впрочем, для традиции слишком мало таких как я.

— Буду настаивать на определении «неоправданный риск». Это около, но не более, двух лет частичного ограничения,— говорит Протектор.— Правда, я не знаю, что потребует обвинитель. Его слово последнее и, как правило...

Два года! У Мурада легкоранимая натура, травма останется на всю жизнь. На сентябрьские встречи он часто приезжал первым, и букет его был самым большим. Как он рассказывал о своей работе! А теперь...

А теперь Протектор, совсем еще молодой, миссия его чисто символическая, дань каким-то древним процедурам, смотрит на меня с жутковатым интересом. И конечно, немного гордости — скорее всего это единственный и последний Суд в его жизни. Ах, если бы знать, что ты последний споткнувшийся... К сожалению, тома Истории Ошибок медленно, очень медленно, но все же растут из века в век. Мы изучали их на последнем курсе, с горечью вчитываясь в сухие выводы и рекомендации, в выдержки из Белых Книг, полные отчаяния, сочившегося из скупых исповедей бывших.

Наконец с вводной частью покончено, и мы с Протектором вошли в зал суда. Огромное помещение было набито до отказа, многие сидели на полу в проходах. Ну что ж, каждый имеет право быть свидетелем редкого, но весьма поучительного зрелища. Только одному человеку запрещен вход, возможно, он будет топтаться у дверей, ждать исхода, а когда все начнут выходить, станет жадно хватать за руки, заглядывая в глаза. Ему будут неразборчиво-утешительно бормотать что-то, но вряд ли скажут сегодня...

Стойка с баскетбольным щитом сдвинута в сторону, на ее месте помост. За столом сидят трое: Ранганатан, Фалькбергет, Верховный координатор, и мотиватор Синицина. За их спинами — зеленый штырь протоколиста.

Речь Председателя.

Речь Протектора.

Речь обвинителя.

Обвинитель говорит тихо, медленно выдавливая слова, но каждое из них все туже и туже закручивает во мне пружину. Я не поднимал головы, боясь встретить-

ся с глазами Лизы. То, что она здесь, в этом большом зале, я не сомневался, и, возможно, где-то совсем близко.

Я отказался от заключительного слова — в самом деле, что я могу сказать сейчас? Вина тяжела, и целой книги порой не хватает для оправдания самого себя.

В ожидании решения я вспоминал сентябрьские встречи. Десятка собиралась у меня в Ангермюнде: разговоры до утра, воспоминания, планы, споры, а некоторые приезжали с семьями — крик, визг, кутерьма... Сентябрь! Сентябрь...

Все встали. Суд принял решение.

Утверждена формулировка обвинителя и принята Судом без изъятий и включений — «преступная самонадеянность, повлекшая тяжкие последствия. Рекомендуемая мера — десять лет полного ограничения». Высшая мера!

Зал неслышно ахнул, тяжелый вздох колыхнул разноцветные полотнища, не убранные после спортивного праздника — нелепые, пестрые...

Я хотел что-то сказать, но будто стальные манипуляторы плотно взяли за горло и задушили крик. Мне не хватало воздуха, сердце раскаленной ледышкой барахталось в груди.

Десять лет! Мурад этого не переживет. Как хорошо, что его нет здесь, в зале.

Десять лет. Что же, выберу подходящую планету и засяду за свою Белую книгу. За десять лет, может, и напишу. Но Мурад... Такого сурового наказания давно не было. Конечно, вина моя велика, но ведь не было у него злого умысла, не было!

Бедный Мурад, он не выдержит! Знать, что твой Учитель, твой второй отец отбывает за тебя наказание, а ты можешь идти, куда угодно, и делать все, что хочешь... Тяжело, когда кара обрушивается на тебя, но вдвойне она страшнее, когда из-за тебя страдает другой.

Я вернусь через десять лет, когда истечет срок моего ограничения. Привезу книгу, в которой день за днем все будет описано, разложено, чтобы кто-нибудь потом нашел мою ошибку в воспитании и обвел ее черной линией. Я вернусь через десять лет, десять лет добровольного одиночества с редкой, раз в год, связью.

Но сколько выдержит он, Мурад, среди людей, которые изо всех сил будут вести себя так, словно ничего не произошло и он совершенно такой же, как все?

Если я все же напишу для «персоналистов» что-то вроде воспоминаний, то назову их так: «Прощай, сентябрь!..»

Земной разведывательный звездолет, возвращаясь домой, забрел в скопление звездной пыли. Место было мрачное, неизученное, а земляне искали повсюду кислородные миры — дышать уже было нечем. Поэтому, когда звездолет подошел к кислородной планетке, робот Стабилизатор заорал нечеловеческим голосом: «Земля!» — и инспектор Бел Амор проснулся.

Тут же у них произошел чисто технический разговор, разбавленный юмором для большего интереса,— разговор, который обязаны вести многострадальные герои фантастического жанра в порядке информации для читателя: о заселении планет, о разведке в космосе, о трудностях своей работы. Закончив этот нудный разговор, они облегченно вздохнули и взялись за дело: нужно было ставить бакен.

Что такое бакен?..

Это полый контейнер с передатчиком. Он сбрасывается на орбиту и беспрерывно сигналит: «Владения Земли, владения Земли, владения Земли...» На этот сигнал устремляются могучие звездолеты с переселенцами.

Все дела.

Несколько слов о Бел Аморе и Стабилизаторе. Инспектор Бел Амор — человек средних лет с сонными глазами. В разведке не бреется, предпочитает быть от начальства подальше. Не дурак, но умен в меру. Анкетная автобиография не представляет интереса. О Стабилизаторе и того меньше: трехметровый корабельный робот. Недурен собой, но дурак отменный. Когда Бел Амор спит, Стабилизатор стоит на вахте — держится за штурвал, разглядывает приборы.

Вдруг события стали принимать не-

© Б. Штерн, 1992

ожиданный поворот. С другого конца пылевого скопления к планетке подкрадывается нежелательная персона — звездолет внеземной цивилизации. Это новенький суперкрейсер, только что спущенный со стапелей. Он патрулирует галактические окрестности и при случае не прочь застолбить подходящую планетку. Его жабообразной цивилизации как воздух нужна нефть... что-то они с ней делают. В капитанской рубке расположился контр-адмирал Квазирикс — толстая жаба с эполетами. Команда троекратно прыгает до потолка: открыта планета с нефтью, трехмесячный отпуск обеспечен. Крейсер и земной разведчик приближаются к планетке и замечают друг друга.

Возникает юридический казус: чья планета?

— У них орудия противозвездной артиллерии...— шепчет Стабилизатор.

— Сам вижу,— отвечает Бел Амор.

В местной системе галактик мир с недавних пор. Навоевались здорово, созвездия в развалинах, что ни день — кто-нибудь залетает в минные поля. Такая была конфронтация. А сейчас мир; худой, правда. Любой инцидент чреват, тем более есть любители инцидентов. Вот, к примеру: рядом с контр-адмиралом Квазириксом расположился адъютант-лейтенант Квазиквакс.

— Плевать на соглашение,— квакает адъютант.— Оно все равно временное. Один выстрел, и никто ничего никогда не узнает. А узнают — принесем дипломатические извинения. Много их расплодилось, двуногих. Суперкрейсер ни во что не ставят.

Есть и такие.

— Будьте благоразумны,— отвечает ему контр-адмирал.— В последнюю войну вы еще головастиком были, а я уже командовал Квазанским ракетным дивизионом. Вы что-нибудь слышали о судьбе нейтральной цивилизации Журавров из одноименного скопления? Нет? Посмотрите в телескоп — клубы пепла до сих пор не рассеялись. Так что если хотите воевать, то женитесь на эмансипированной лягушке и ходите на нее в атаки. А инструкция гласит: с любым пришельцем по спорным вопросам завязывать мирные переговоры.

У инспектора Бел Амора инструкция того же содержания.

Гигантский крейсер и двухместный кораблик сближаются.

— Вас тут не было, когда мы подошли!

— Мы подошли, когда вас не было!

Бел Амор предлагает пришельцам отчалить подобру-поздорову. (Это он хамит для поднятия авторитета.)

— Послушайте, как вас там...— вежливо отвечает контр-адмирал Квазирикс.— На службе я тоже агрессивен, хотя по натуре пацифист. Таково мое внутреннее противоречие. Мой адъютант советует решить спор одним выстрелом, но если после этого начнется новая галактическая война, я не выдержу груза моральной ответственности. Давайте решать мирно.

Инспектор Бел Амор соглашается решать мирно, но предварительно высказывает особое мнение о том, что с противозвездными орудиями и он не прочь вести мирные переговоры.

Тут же вырабатывается статус переговоров.

— Мы должны исходить из принципа равноправия,— разлагольствует Бел Амор.— Хоть у вас и суперкрейсер, а у меня почтовая колымага, но внешние атрибуты не должны влиять на результаты переговоров.

Со своей стороны, крейсер вносит предложение о регламенте. Контр-адмирал настаивает: не ограничивать переговоры во времени и вести их до упаду, пока не будет принято решение, удовлетворяющее обе стороны. Судьба планеты должна быть решена.

Вот выдержки из стенограммы переговоров. Ее вели на крейсере и любезно предоставили копию в распоряжение землян.

7 августа. Первый день мирных переговоров.

Контр-адмирал Квазирикс. Решено: не надо грубостей. Будем решать мирно.

Инспектор Бел Амор. Может быть, рассмотрим вопрос о передаче нашего спора в Межцивилизационный арбитраж?

Квазирикс. Ох уж эти мне цивильные... По судам затаскают.

Бел Амор. Ну, если вы так считаете...

Квазирикс. Предлагаю не обсуждать вопрос о разделе планеты. Она должна полностью принадлежать одной из сторон.

Бел Амор. Заметано.

Квазирикс. Будут ли еще предложения?

Бел Амор. Ничего в голову не лезет.

Квазирикс. Тогда предлагаю сделать перерыв до утра. По поручению команды приглашаю вас на скромный ужин.

8 августа. Второй день.

Бел Амор. Наша делегация благодарит за оказанный прием. В свою очередь, приглашаем вас отобедать.

Квазирикс. Приглашение принимаем. А теперь к делу. Предлагаю опечатать корабельные хронометры. Они должны были зафиксировать точное время обнаружения планеты. Таким образом можно установить приоритет одной из сторон.

Бел Амор. Где гарантии, что показания вашего хронометра не подделаны?

Квазирикс (*обиженно*). За вас тоже никто не поручится.

Бел Амор. Решено: показания хронометров не проверять. Кстати, обедаем мы рано и не хотели бы нарушать режим.

Квазирикс. В таком случае пора закругляться.

Бел Амор. Еще одно... Захватите с собой вашего адъютант-лейтенанта Квазиквакса. Мы с ним вчера не закончили беседу...

12 августа. Шестой день.

Неизвестное лицо с крейсера (*похоже на голос боцмана*). Эй, на шлюпке, как самочувствие?

Робот Стабилизатор. У инспектора Бел Амора с похмелья болит голова и горят трубы... Говорит, что он не в состоянии... Говорит: ну и крепкая у них эта штука... Он предлагает отложить переговоры еще на один день.

Неизвестное лицо. Контр-адмирал Квазирикс и адъютант-лейтенант Квазиквакс тоже нездоровы после вчерашнего ужина. Контр-адмирал приглашает вас на завтрак.

26 августа. Двадцатый день.

Квазирикс. Ну и...

Бел Амор. А она ему говорит...

Квазирикс. Не так быстро, инспектор... Я не успеваю записывать.

16 сентября. Сорок первый день.

Бел Амор. Адмирал, переговоры зашли в тупик, а припасов у меня осталось всего на два дня... Все съели и выпили. Надеюсь, вы не воспользуетесь моим критическим положением...

Квазирикс. Лейтенант Квазиквакс! Немедленно поставьте инспектора Бел Амора и робота Стабилизатора на полное крейсерское довольствие!

Лейтенант Квазиквакс (*радостно*). Слушаюсь, мой адмирал!

3 октября. Пятьдесят восьмой день.

Во время завтрака контр-адмирал Квазирикс вручил инспектору Бел Амору орден Зеленой Кувшинки и провозгласил тост в честь дружбы землян и прыгушатников. Инспектор Бел Амор выступил с ответной речью. Завтрак прошел в сердечной обстановке. На следующий день инспектор Бел Амор наградил контр-адмирала Квазирикса похвальной грамотой.

11 декабря. Сто двадцать седьмой день.

Бел Амор. Мы торчим здесь уже четыре месяца! Давайте наконец решать!

Квазирикс (*неуверенно*). Команда предлагает стравить наших роботов, пусть дерутся. Чей робот победит, тому и достанется планета.

Бел Амор. В принципе я согласен. Спрошу Стабилизатора.

Стабилизатор. ...

(В стенограмме неразборчиво.)

12 декабря. Сто двадцать восьмой день.

Утром в космическое пространство вышли корабельные роботы Стабилизатор (Солнечная система) и Жбан (Содружество прыгушатников). По условиям поединка роботы должны были драться на кулаках без ограничения времени с перерывами на подзарядку. Инспектор Бел Амор и контр-адмирал Квазирикс заняли лучшие места в капитанской рубке, команда выглядывала в иллюминаторы. Жбан и Стабилизатор, сблизив-

шись, подали друг другу клешни и заявили, что они, мирные роботы, отказываются устраивать между собой бойню. А если хозяевам охота драться — они не против.

По приказу контр-адмирала робот Жбан получил десять суток гауптвахты за недисциплинированность. Инспектор Бел Амор сказал Стабилизатору: «Я т-те покажу! Ты у меня попляшешь!» — однако дисциплинарного взыскания не наложил, ничего такого не показал и плясать не заставил.

1 февраля. Сто семьдесят девятый день.

Квазирикс (*угрюмо*). Мне уже все надоело. Меня в болоте жена ждет.

Бел Амор. А я что, по-вашему, не женат?

Квазирикс. Я бы давно ушел, если бы не вы.

Бел Амор. Давайте вместе уйдем.

Квазирикс. Так я вам и поверил.

Стабилизатор (*что-то бормочет*).

Бел Амор. Адмирал, у меня, кажется, появилась мысль! Давайте отойдем в сторону от планеты и устроим гонки. Кто первый подойдет к цели, тот и поставит бакен.

Квазирикс (*с сомнением*). Но я не знаю предельной скорости вашей шлюпки.

Бел Амор. А я — скорости вашего крейсера. Риск обоюдный.

(Далее в стенограмме следует уточнение деталей, и на этом она обрывается.)

В десяти световых годах от планеты они нашли замшелый астероид и решили стартовать с него. Гонки продолжались с переменным успехом. Сначала Бел Амор вырвался вперед, а суперкрейсер все никак не мог оторваться от астероида. Контр-адмирал буйствовал и обещал то всех разжаловать, то присвоить внеочередное звание тому прыгушатнику, который поднимет в космос эту свежеспущенную со стапелей рухлядь. Адъютант-лейтенант Квазиквакс стал капитаном 3-го ранга: он спустился в машинное отделение и, применив особо изощренные выражения, помог кочегарам набрать первую космическую скорость.

К половине дистанции суперкрейсер настиг Бел

Амора, и оба звездолета ноздря в ноздрю плелись в пылевом скоплении со скоростью 2 св. год/ч; плелись до тех пор, пока у Бел Амора не оторвался вспомогательный маршевый двигатель.

— У вас двигатель оторвался! — предупредительно радировали с крейсера.

— Спасайся, кто может! — запаниковал Стабилизатор и выбросился в космическое пространство.

Бел Амор сбавил скорость и осмотрелся. Положение было паршивое. Еще немного — и того...

На последних миллиардах километров суперкрейсер вырвался далеко вперед и первым подошел к планетке. Тем гонки и закончились. Для Бел Амора наступило время переживаний, но переживать неудачу ему мешал Стабилизатор. Тот плавал где-то в пылевом скоплении и просился на борт.

— Пешком дойдешь! — отрезал Бел Амор.— Как в драку, так принципы не позволили?

— Надо не кулаками, а умом брать,— уныло отвечал Стабилизатор.

Бел Амор вздохнул и... навострил уши. Там, у планеты, с кем-то неистово ссорился контр-адмирал Квазирикс.

— Вас тут не было, когда мы были! — кричал контр-адмирал.— У меня есть свидетель! Он сейчас подойдет и подтвердит!

Незнакомый грубый голос возражал:

— Тут никого не было, когда я подошел. Вы мешаете мне ставить бакен!

— У меня есть свидетель! — повторял контр-адмирал.

— Знаю я этих свидетелей! Я открыл эту каменноугольную планетку для своей цивилизации и буду защищать ее всеми доступными средствами до победного конца! Не знаю я ваших свидетелей и знать не хочу.

Бел Амор приблизился и обнаружил на орбите такой огромный звездолет, что даже суперкрейсер рядом с ним не смотрелся.

— В самом деле, свидетель...— удивился Грубый Голос, заметив звездолет Бел Амора.— В таком случае предлагаю обратиться в Межцивилизационный арбитраж.

Контр-адмирал Квазирикс застонал, а у Бел Амора появилась надежда поправить свои дела.

— Адмирал,— сказал он.— Переговоры никогда не

закончатся. Вы же сами видите, что происходит. Давайте разделим планету на три части и возвратимся домой, а потом наши цивилизации без нас разберутся.

— Почему на три части?— послышался новый голос.— А меня вы не принимаете во внимание?

— Это кто еще?!

К планете подкрадывалась какая-то допотопина... паровая машина, а не звездолет. Там захлебывались от восторга:

— Иду, понимаете, мимо, слышу, ругаются, принюхался, пахнет жареным, чувствую, есть чем поживиться, дай, думаю, сверну, спешить некуда, вижу, планетка с запасами аш-два-о, да у нас за такие планетки памятники ставят!

— Вас тут не было!— вскричали хором Бел Амор, контр-адмирал и Грубый Голос.

— По мне — не имеет значения, было, не было...— резонно отвечала паровая машина.— Дело такое: прилетели — ставьте бакен. Бакена нет — я поставлю.

— Только попробуйте!

— А что будет?

— Плохо будет!

— Ну, если вы так агрессивно настроены...— разочарованно ответила паровая машина.— Давайте тогда поставим четыре бакена... О, глядите, еще один!

Увы, паровая машина не ошиблась: появился пятый. Совсем крохотный. Он огибал планетку по низкой орбите над самой атмосферой.

— Что?! Кто?!— возмутились все высокие договаривающиеся стороны.— Пока мы тут болтаем, он ставит бакен! Каков негодяй! Вас тут не было...

— Нет, это не звездолет...— пробормотал контр-адмирал Квазирикс, разглядывая в подзорную трубу вновь прибывшую персону.— Это бакен! Кто посмел поставить бакен?! Я пацифист, но сейчас я начну стрелять!

Это был бакен. Он сигналил каким-то странным, незарегистрированным кодом.

Все притихли, прислушались, пригляделись. Низко-низко плыл бакен над кислородной, нефтяной, каменноугольной, водной планетой, и планета уже не принадлежала никому из них.

У Бел Амора повлажнели глаза, Грубый Голос прокашлялся, сентиментально всхлипнула паровая машина.

— Первый раз в жизни...— прошептал контр-адмирал Квазирикс и полез в карман за носовым платком.— Первый раз присутствую при рождении... прямо из колыбельки...

— Потрясающе! По такому случаю не грех...— намекнула паровая машина.

— Идемте, идемте...— заторопился Грубый Голос.— Нам, закостеневшим мужланам и солдафонам, нельзя здесь оставаться.

Бел Амор молчал и, не отрываясь, глядел на бакен.

Бакен сигналил и скрывался за горизонтом.

Это был не бакен. Это был первый искусственный спутник этой планетки.

Лес был бесконечен. Плоская, душная мгла обволакивала тело туго и незримо. Иногда в ней вспыхивали багровые огоньки глаз — то ли зверя, то ли духа, и художник замирал, стараясь не дышать. Дважды ему попадались маленькие поляны, и тогда можно было взглянуть на мерцающие в вышине звезды, такие спокойные и голубые после опасных звезд леса. Но потом вновь приходилось нырять в сладковатую затхлость под низкими кронами. Лес кричал и выл, лес зловонно дышал, иногда доносились крадущиеся шаги — то ли зверя, то ли духа... Художник мечтал услышать голос птицы Ку-у, птицы его предков, это значило бы, что он на верном пути. Но лес кричал иными голосами. Художник шел из последних сил, все сильнее припадая на искалеченную ногу, облизывая спекшиеся губы сухим языком.

Посреди очередной поляны он остановился и запрокинул шишковатую голову. Над ним, обрезанный темными тенями ветвей, мерцал звездный туман, клубясь по высокому неистово синему своду. Звезды всегда помогали художнику. Стоило их увидеть — и самые сложные картины всегда получались хорошо. Художник не понимал, почему другие не любят смотреть на звезды.

Со сдавленным стоном он опустился на влажную землю и коротко обратился к Ку-у, прося помощи. Только знак. Больше не надо ничего, только знак, остальное он сделает сам. Он будет неутомим, как ветер, он будет вечно идти, не замечая боли — только знак, что путь выбран верно, что страдания не напрасны. Но знака не было.

...Он кончил рисовать медведя

© В. Рыбаков, 1992

и приготовился проткнуть его, где полагалось, черточками копий.

Род рос, ему нужна была пещера побольше. Но в единственной пещере, которую удалось найти в округе, жил медведь. Надо было его убить. С такой задачей род не сталкивался давно — только самые старые помнили, как убивать медведя, да и то каждый из них советовал свое.

Чья-то тень упала на стену, и художник услышал за спиной знакомое дыхание. Художник обернулся. Вождь некоторое время внимательно рассматривал картину, а потом сказал:

— Хорошо.— Помедлил и добавил: — Хватит.

— Что — хватит? — удивился художник.

— Рисовать — хватит.

— Надо копья.

— Не надо копья.

— Не надо копья?

— Не надо копья. Мы не будем плясать у картины.

Художник опустил выпачканные красками руки.

— Мы не пойдем на медведя?

Вождь прятал глаза.

— Мы пойдем на медведя,— ответил он.— Мы не будем плясать у картины. Ты не будешь рисовать копья. Ты не будешь рисовать ничего.

Художник медленно поднялся, и его помощник, деловито растиравший глину, поднялся тоже.

— Как же можно не рисовать копья? — растерянно спросил художник.— И как же можно ничего не рисовать?

— Ты будешь охотиться, как все,— с внезапной твердостью сказал вождь.— Твой помощник тоже будет охотиться, как все. Рисовать не надо. Вы двое мужчин тратите все время на дело, с которым справится любая старуха. Это глупо,— он помолчал.— Рисовать не надо. Мы сотрем все это.— И он широко взмахнул рукой в сторону стены художника.

Художник посмотрел на вождя, а потом повернулся к своим картинам. Здесь были все звери, каких только видели глаза людей. И люди здесь тоже были. В каждом из них был кусочек вечного неба, в каждой линии искрились звезды. Не рисовать художник не мог.

— Я не дам,— хрипло сказал он и вновь повернулся

к вождю.— Пускай останется.— И, чтобы сделать свои слова более весомыми, страшно оскалился и зашипел, пригибаясь, хотя прекрасно понимал: если они решили, они сотрут. Он только не мог понять, зачем.

— Мы решили,— сказал вождь и уставился прямо в глаза.— Они не нужны и мешают.

— Кому мешают?— спросил художник.

Вождь стиснул кулаки. Каждый из них был величиной чуть ли не с голову художника. Художник старался не смотреть на эти кулаки.

— Кому мешают?— отчаянно спросил он еще раз, и вдруг его помощник тоже стиснул кулаки. Вождь недобро покосился на помощника и медленно сел, скрестив могучие ноги, бугристые от шрамов.

— Садись и ты, рисующий людей и зверей.— Он стукнул по земле рядом с собой.— Ты хочешь говорить, тогда поговорим, раз ты хочешь. И ты садись, растирающий глину. Нет, не здесь, а там садись, чтобы не слышать, что я буду говорить.

— Почему он не будет слышать, что ты будешь говорить?— спросил художник.— Он растирает глину. Я велю ему остаться здесь.

— Ты не велишь ему остаться здесь,— возразил вождь.— Потому что я хочу говорить так, чтобы он не слышал, а только ты слышал.

— Я хочу, чтобы он слышал все, что слышу я,— упрямо сказал художник, но вождь лязгнул челюстями и гулко ударил себя в волосатую грудь.

Когда растирающий глину отошел, вождь перевел взгляд на художника.

— Ты рисуешь копья,— проговорил он.— И все пляшут, и старейшины просят удачи. А потом настоящие копья не попадают.

— Значит, надо рисовать еще,— вспыхнул было художник, но вождь прервал его.

— Ты рисуешь, а мы охотимся. Ты сидишь в пещере и ешь, что мы приносим, а мы погибаем и получаем раны, а твой помощник сидит с тобой и растирает тебе глину. Не говорю: твоя вина. Не говорю: тебя убить. Но род перестает верить. Раньше думали: нарисовать победу, и будет победа. А теперь видим так: нарисовать победу одно, а добиться победы другое. Рисовать не помогает. Рисовать мешает, потому что вы не охотитесь, и всем обидно.

Художник сидел как оглушенный и долго не мог ответить.

— Я буду рисовать,— сказал он потом.

— Ты не будешь рисовать,— тяжело вздохнув, ответил вождь.— Ты будешь охотиться.

— Я рисую хорошо,— художник нервно сцепил тонкие пальцы.— Старейшины просят плохо.

Вождь угрожающе встал, и помощник, увидев это, тоже встал, хоть и не слышал слов.

— Это тоже думают,— сказал вождь.— Некоторые думают: он рисует хорошо, это видно. Как просят старейшины, не видно, и они просят плохо. Такая мысль хуже всех.

— Я буду охотиться, а потом рисовать. Ты не велишь стирать,— попросил художник вставая.

Вождь опять тяжело вздохнул и наморщил лоб.

— Рисуй медведя и копья,— сказал он после долгого раздумья.— Так, как только умеешь, рисуй копья. И мы не будем плясать. И старейшины не будут просить. И мы не пойдем убивать медведя. Ты и твой помощник нарисуете хорошо, а потом пойдете и убьете хорошо. И если не убьете, то вы рисовали плохо, и больше не надо.

— Вдвоем?

— Да,— подтвердил вождь.— Рисуй хорошо.

...И вот помощник погиб, и Ку-у молчит, и нет сил идти.

И медведь невредим.

И картины сотрут.

Эта мысль подстегнула художника. Он заворочался, пытаясь встать. Если бы хоть кто-нибудь подал руку... Никто не подавал руки. Загребая воздух пятерней, художник старался подняться и стискивал, стискивал зубы, чтобы не закричать. Кричать нельзя — лес всегда идет на крик, там легкая добыча, там пища. На крик о помощи всегда приходит убийца. Надо встать. Надо добраться до своих. Там помогут, там же люди... люди... если позволит вождь... если согласятся старейшины, то... люди.

Он встал и пошел.

...Он лежал, запрокинув голову, хрипло и коротко дыша. Рядом сидела на корточках старуха и обмазывала раны травяным настоем. Она невнятно бормотала, чуткими пальцами трогая распоротое, раздавшееся

в стороны скользкое мясо. Вождь возвышался над ними, как скала, его лицо было угрюмо.

— Мы не убили медведя,— выдохнул художник.— Нас было мало.

— В старые времена медведя убивал один.

— Он знал способ.

— Но ведь ты рисовал!— с деланным удивлением воскликнул вождь.— Зачем тебе способ?

Художник не ответил. Вождь подождал, а потом сказал:

— Ты будешь собирать корни.

Такого унижения художник еще не знал. Ведь он не виноват, что его послали. По чужой вине он стал калекой, по чужой вине остаток жизни будет заниматься женской работой и смотреть на пустые стены!

— Я не смогу собирать корни, потому что не смогу ходить,— едва разлепляя губы, выговорил он.— Я буду рисовать.

Вождь оскалился.

— Ты будешь резать корни, сидя в пещере! Ты будешь разделывать шкуры, сидя в пещере! Кто-то должен делать самую грязную работу. Ты привык к грязи, возясь с краской, и тебе будет нетрудно.

— Я буду делать самую грязную работу, а потом рисовать,— тихонько попросил художник.

Мускулы вождя вздулись, он оглушительно зашипел, молотя себя в грудь обеими руками. Старуха испуганно шарахнулась, задев твердым сухим коленом рану художника. Боль вспыхнула как молния, художник вскрикнул, дернувшись на вонючей шкуре.

Вождь успокоился. Он тяжело вздохнул, а потом нагнулся и заботливо расправил сбившуюся под художником шкуру.

— Стереть важно,— сказал он.

Художник закрыл глаза.

...Он помогал резать корни, потрошил рыбу, разделывал шкуры. Над ним смеялись. Иногда он выбирался из пещеры и останавливался у входа, вдыхая свежий, просторный воздух и глядя в лес. Ходить было трудно, но солнце горячим языком вылизывало его перекошенное тело. Художник щурился и мечтал.

В редкие мгновения, когда он оставался в пещере

наедине с детьми и глупыми полуслепыми старухами, он подходил к своей стене. Рисунки были стерты, но художник гладил стену ладонями, в кожу которых все глубже въедалась земля, ласкал холодный твердый камень огрубевшими пальцами, творя воображаемые картины, и вдруг снова, как в прежние времена, он осознавал, что правильно ведет эту линию и вот эту тоже; будь они видны, на него смотрел бы со стены влажный удивленный глаз косули...

А старейшины все припоминали способ извести медведя, и каждый говорил свое и упрекал остальных в молодости, и вождь не решался рискнуть.

Однажды, опираясь на крепкую палку, художник вышел из пещеры и заковылял туда, где его помощник брал глину.

Он дошел через час. Набрал, сколько мог унести, и поплелся обратно, часто присаживаясь отдохнуть, вытягивая усохшую ногу и подпирая подбородок суковатым костылем.

Он нашел большой валун неподалеку от пещеры и сел возле: начал растирать глину — неумело, но любовно и тщательно, чувствуя, как она постепенно перестает быть глиной и становится краской.

Потом он обессиленно лег, уткнувшись затылком в мягкую траву. Небо сияло. Художник подумал, что очень давно не видел звезд. Он с трудом сел и начал рисовать.

И вновь увидел, как громадный серый ком беззвучно рухнул откуда-то сверху, вскрикнул растирающий глину, и лишь тогда медведь взревел, почуяв кровь. Тоненькие ноги, торчащие из-под туши, дернулись по земле. Морда медведя стала багровой. Художник попятился, неловко выставив копье, потом закричал от ужаса. Все произошло так неожиданно и внезапно, ведь растирающий только что разговаривал и старался успокоить художника, и, отстранив его крепким локтем, пошел первым... Медведь поднял голову и опять зарычал. Художник попятился и споткнулся, упал навзничь, цепляясь за копье, и медведь бросился. Художник швырнул копье и попал, но медведь лишь взревел сильнее, художник вскочил, медведь прыгнул, художник прыгнул тоже и покатился с откоса, а следом за ним с нарастающим гулом и грохотом, вздымая облака пыли, понеслась лавина песка и щебня...

Он рисовал. Он рассказывал, и плакал, и просил: не

надо смеяться. В том, что случилось, нет ничего смешного. Он закончил одну картину, другую, третью, четвертую, срисовывая с памяти все, как было. Он не жалел красок. Его била дрожь. Ему хотелось, чтобы хоть на миг всем стало так же больно и обидно, как больно и обидно ему, чтобы все поняли. И перестали смеяться. Он нарисовал себя, искалеченного, скрюченного, как сухая травинка, опрокинутого на шкуру, и пустую стену рядом.

Он вернулся в пещеру поздно, люди уже спали. Его глаза тоже слипались, он был опустошен; сладкая усталость умиротворяла и расслабляла его. Он уснул мгновенно, и этой ночью его не преследовали кошмары — медведь и вождь.

Вождь пришел к нему после полудня. Его ноздри широко раздувались, и верхняя губа то и дело вздергивалась, обнажая зубы.

— Ты рисовал? — отрывисто спросил вождь.

Художник отложил рыбу, которую потрошил.

— Я рисовал, — ответил он. — Я — рисующий людей и зверей.

— Зачем ты рисовал? Я не велел.

— Я люблю. Я решил сам, потому что ты не велишь, а я люблю.

Вождь сдержался.

— Зачем ты рисовал такое? — спросил он, пряча руки за спину. — Это самое вредное, что ты нарисовал.

— Я рисовал, что видел. Я рисовал, что думал.

— Ты рисовал, как медведь вас ел.

— Да.

— Некоторые уже видели, и некоторые еще увидят. Мы сотрем, но некоторые увидят, пока мы не сотрем. Они никогда не решатся войти к медведю. Он страшный.

— Да, — подтвердил художник, — он страшный.

— Ты для этого рисовал?

— Нет.

— Для чего же ты рисовал?

— Я не мог не нарисовать.

Вождь задумался, морща лоб.

— Ты испугал все племя, — сказал он.

— Я не думал об этом.

— О чем ты думал?

Художник помедлил.

— О себе. Когда я рисую, я всегда думаю о себе и о том, чего хочу. И что люблю. Я думал о том, как мне больно. И еще я думал о растирающем глину.

Вождь быстро оглянулся по сторонам, проверяя, не подслушивает ли кто-нибудь их разговор, и резко спросил:

— Тогда почему медведь похож на меня?!

Художник молчал. Об этом он не знал.

— Я сразу понял,— сказал вождь.— Ты хотел сделать мне плохо.

— Нет,— ответил художник безнадежно.— Я не люблю делать плохо. Я люблю делать хорошо.

— Тогда ты пойдешь и сотрешь,— сказал вождь.— И нарисуешь все не так, потому что так страшно. Твой медведь — страшный.

— Он не мой медведь. Он сам медведь, и был такой.

— Ты нарисуешь другого. Ты нарисуешь маленького-маленького медведя и больших-больших охотников с большими-большими копьями. Тогда никто не станет бояться. Я сам буду водить охотников смотреть на твою картину. А потом велю им убить медведя.

— Нет,— сказал художник.— Медведь был не такой. Я не могу рисовать не такого медведя, потому что могу рисовать только такого, какой был.

— Тогда ты будешь изгнан,— сказал вождь,— и погибнешь один в лесу. И даже если ты найдешь чужих, они сперва поманят и похвалят тебя, а потом съедят.

«Так или иначе, меня везде съедят»,— подумал художник. У него заболели едва затянувшиеся раны. Он промолчал.

— Когда все станут смелыми от маленького медведя, они его убьют, и у нас будет пещера.

— Когда они,— не выдержал художник,— увидят настоящего большого медведя, они испугаются еще больше, потому что думали, что он маленький медведь.

— Пусть,— ответил вождь спокойно.— Когда медведь бросится, им придется драться, потому что он бросится на них.

— Он многих убьет.

— Да. Но у нас будет большая пещера.

— Когда многие погибнут, большая пещера станет не нужна.

Вождь поразмыслил.

— Большая пещера всегда нужна,— сказал он.— Медведя надо убить, потому что мы уже сказали, что его надо убить, и теперь не можем сказать, что убивать не надо.

Художнику нечего было ответить. Он опустил голову.

— В новой пещере я разрешу тебе рисовать и дам помощника,— мягко сказал вождь.— Иди.

Художник пошел, и вождь довел его до выхода, поддерживая своими мощными руками. Он так поддерживал, что художнику казалось, будто он выздоровел и даже никогда не был ранен — вот как легко было идти, пока поддерживал вождь. Но вождь поддерживал недолго, и весь путь художник прошел один.

У валуна, опершись на копья, стояли два молодых охотника и тихо разговаривали. Художник, навалившись на костыль, остановился за кустами и уставился на их широкие коричневые спины.

— Смотри,— говорил один другому.— Вот, оказывается, где был медведь.

— Да,— отвечал другой.— Смотри, как он прыгнул. Передние лапы вытянуты, а брюхо беззащитно. Если прыгнуть ему навстречу и поднять копье, он брюхом напорется на копье.

— Но они этого не знали. А видишь, как здесь нарисовано. Удобно зайти с двух сторон.

— Да. Помнишь прием, который мы придумали? Он бы здесь пригодился.

— Жаль, что они не знали нашего приема.

— Жаль, что они не знали, как прыгнет медведь.

— Жаль, что они не знали, где сидит медведь.

Они неловко помолчали, поглядывая на валун.

— Но мы-то теперь знаем,— сказал один. Второй облегченно вздохнул и перекинул копье в правую руку.

— Да,— сказал он.— Мы знаем.

Больше они не говорили. Стискивая копья, они еще раз посмотрели друг другу в глаза и ушли, проскальзывая сквозь кустарник беззвучно, словно тени.

Художник опустился на землю. Из него будто вынули все мышцы и все кости. Он мучительно жалел, что не может пойти с теми двумя, и раз уж он не может пойти, то не стоило шевелиться совсем. Оставалось только ждать.

Небо затуманилось, и по листьям зашуршал тихий дождь. В воздухе повисла мелкая водяная пыль, тревожа ноздри, обостряя пряные запахи. Под первыми же каплями рисунок сморщился и потек, через минуту от него и следа не осталось на потемневшем, шероховатом боку валуна. Но художник этого даже не заметил, глядя вслед тем двум, которые не захотели плакать и болеть вместе с ним. Которые просто пошли. «Я их нарисую,— думал художник.— Я их обязательно нарисую, чем бы ни кончилась их попытка».

Михаил Веллер. КОШЕЛЕК

Черепнин Павел Арсентьевич не был козлом отпущения — он был просто добрым. Его любили, глядя заботливо и иногда как на идиота. И принимали услуги.

Выражение лица Павла Арсентьевича побуждало даже прогуливающего уроки лодыря попросить у него десять копеек на мороженое. Так складывалась биография.

У истоков ее брат нянчил маленького Пашку, пока друзья гоняли мяч, голубей, кошек, соседских девчонок и шпану из враждебного Дзержинского района. Позднее брат убеждал, что благодаря Пашке не вырос хулиганом или хуже, но в Павле Арсентьевиче не исчезла бесследно вина перед обделенным мальчишескими радостями братом.

На данном этапе Павел Арсентьевич, стиснутый толпой в звучащем от скорости вагоне метро, близился после работы к дому, Гражданке, причем удерживал тяжеловесную сетку с консервами перенавьюченного командировочного, и, вспоминая свежий «Вокруг света», стыдливо размышлял, что не вредно было бы найти клад. Научная польза и радость историков рисовались очевидными, — некоторая чувствительность, правда, смущала, — но двадцать (или все же двадцать пять?) процентов вознаграждения пришлись бы просто кстати. Образовалось так, что Павел Арсентьевич остался на ноябрьские праздники с одиннадцатью рублями; на четверых, как ни верти, не тот все-таки праздник получится.

Он попытался прикинуть потребные расходы, с тем чтобы точнее определить искомую стоимость клада, и клад

© М. Веллер, 1992

что-то оказался таким пустяковым, что совестно стало историков беспокоить.

Отчасти обескураженный непродуктивностью результата, Павел Арсентьевич убежал мыслями в предшествовавший октябрь, сложившийся также не слишком продуктивно: некогда работать было. Зелинская и Лосева(острили: «Если Лосева откроет рот — раздается голос Зелинской») даже заболеть наладились напару, и, когда задымился вопрос о невельской командировке, к Павлу Арсентьевичу, соблюдая совестливый ритуал, обратились в последнюю очередь. И неделю он в Невеле, среди света и мусора перестроенной фабрики, выслушивал ругань и напрягал мозги: с чего бы у модели 2212 на их новом клее стельки отлетают.

А по возвращении затребовался человек в колхоз. Толстенький Сергеев ко времени сдал жену в роддом, а «Москвича» в ремонт, вследствие чего картошку из мерзлых полей выковыривал Павел Арсентьевич. Он служил как бы дном некоего фильтра, где осаждались просьбы, а предложения застревали по дороге.

Слегка окрепнув и посвежев, обратно он прибыл, когда уже снег шел, как раз ко дню получки. Получки накапало семьдесят шесть рублей, и премии десятка.

Среди прочих мелочей того дня и такая затерялась. В одной из забитых мехами кладовых ломбарда на Владимирском пропадала бежевая болгарская дубленка, а в одной из лабораторий инженерно-лабораторного корпуса фирмы «Скороход», громоздящегося прямоугольными серыми сотами на Московском проспекте, погибала в дальнем от окна углу (как самая молодая) за своими штативами с пробирками ее владелица Танечка Березенько — с трогательным и неумелым мужеством. Надежды па получку треснули, и завалились все планы: до ноябрьских праздников оставалось четыре дня.

Излишне говорить, что Павел Арсентьевич сидел именно в этой лаборатории, через стол от Танечки. В дискомфортной обстановке он проложил синюю прямую на графике загустевания клея КХО-7719, поправил табель-календарик под исцарапанным оргстеклом и нахмурился.

Молчание в лаборатории явственно изменило тона-

льность, и это изменение Павел Арсентьевич каким-то образом ощутил направленным на себя.

Дело в том, что дома у него висел удачно купленный за сто рублей черный овчинный полушубок милицейского фасона, а у Танечки в дубленке заключалось все ее состояние.

Короче, вызвал тихо Павел Арсентьевич Танечку в коридор и, глядя мимо ее припухшей щеки, с неразборчивым бурчаньем сунул три четвертных. Увернулся от Сеньки-слесаря, с громом кантовавшего углекислотный баллон, и торопливо к автомату — пить теплую газировку...

И вот поднимался он на эскалаторе и жалел жену... Среди толчеи вечерней площади рабочие обертывали кумачом фонарные столбы, а когда опустил глаза — на затоптанном снегу темнел прямоугольничек: кошелек. Только он нагнулся, как трамвай раскрыл двери, толпа наперла и так и внесла сложенного скобкой Павла Арсентьевича с кошельком. Пока он кряхтел и штопором вывинчивался вверх, сзади загалдели уплотняться, вагоновожатая велела двери освобождать, даме с тортом и ребенком придавили как первый, так и второго, юнцы сцепились с мужиком, передавали на билеты, трамвай разгонял ход...— момент непосредственности действия как-то отдалялся, исчезал, и злосчастная застенчивость сковывала Павла Арсентьевича все мучительнее. Спросил бы кто... А то вот, мол, благородный выискался, оцените все его честность и кошелечек грошовый, гордого собой... Заалел Павел Арсентьевич (и то — давка), однако собрался с духом уже,— да раздвинулись двери, народ вывалился и разбежался в свои стороны, остался он один на остановке.

И тут обнаружил, что рука-то с кошельком — в кармане. Тьфу.

Черт ведь... Теперь в бюро находок завтра тащиться...

Кошелечек коричневый, потертый, самый средненький. Срезая путь к подъезду душистым по-зимнему соснячком, Павел Арсентьевич не выдержал — обследовал... Содержимое равнялось одному рублю, ветхому, сложенному пополам. Эть, из-за пустяков...

— Верочка,— сказал он в дверях, улыбнувшись и ясно ощутив движение лицевых мускулов, создавшее улыбку,— сегодня, знаешь...

Жена была верной спутницей жизни Павла Арсентьевича и настоящим другом; они делились всем. Она выразила взглядом дежурную готовность мирно принять известие и помочь найти в нем положительную сторону. Они хорошо жили.

— Мамочка! бежит! — запаниковала Светка из кухни, грибной дух и шипение распространились одновременно, Верочка взмахнула руками и исчезла. Проголодавшийся Павел Арсентьевич стал настраиваться к обеду: разуваться, переодеваться, мыть руки и попутно растолковывать Валерке, что такое бивалентность и (подглядев в словаре) амбивалентность, причем долговязый Валерка соглашался высокомерно — возрастное...

За столом Павел Арсентьевич, дуя на суп, изложил про дубленку. Верочка разложила второе, налила кисель, щелкнула по макушке Валерку за то, что он жареный лук из тарелки выуживал, и умело раскинула высшую семейную математику, теория которой ханжески прикидывается арифметикой, а практика сгубила не один математический талант.

После, выставив детей и конфузясь, Павел Арсентьевич чистосердечно поведал обстоятельства находки и предъявил кошелек. Верочка ознакомилась с рублем № Ое 4731612, 1961 года выпуска, и сказала:

— Бир сом!

— А? — встревожился Павел Арсентьевич.

— Бир манат, — сказала Верочка. — Укс рубла. Адзин рубель. Добытчик мой!..

Посмеялись...

Назавтра у Верочки после работы проводилось торжественное, так что Павел Арсентьевич должен был спешить домой — контролировать детей. В четверг же, следуя закономерности своей жизни, он трудился на овощебазе (не ясно, вместо кого): таскал в ангароподобное хранилище ящики с капустой. Когда расселись на перерыв, Володька Супрун, начальник второй группы, стал по рублю народ гоношить. Бутерброды у Павла Арсентьевича были, а рубля — нет... А Володька ждет, и все смотрят... Плюнул про себя Павел Арсентьевич, достал найденный кошелек, который потом в бюро сдать намеревался, и подал рубль, под шуточки компании.

За портвейном с Володькой он же в очереди давился.

Застелили перевернутые ящики газетами, разложили бутерброды и яблоки среди бутылок, встретили наступающий праздник 7 Ноября. По-человечески, по-свойски, хорошо.

Праздничным утром Павел Арсентьевич еще нежился в постели, а вернувшаяся из универсама Верочка уже варила картошку, перемешивала салат и наставляла Светку не-мед-ленно поднимать ленивых мужчин. И водочка на белой скатерти отпотевала, и шпроты, и огурчики, и Павел Арсентьевич умильно подивился Верочкиной изворотливости.

Ответ ему был:

— Пашенька... так у тебя же в кошельке взяла..,

Павел Арсентьевич не понял.

— Ну... который ты нашел... В куртке нейлоновой, синей, что для овощебазы, во внутреннем кармане... лежал...

Павел Арсентьевич совсем не понял. Розыгрыш.

— Двадцать рублей,— растерялась Верочка.— По пятерке. Три шестьдесят сдачи осталось...

Валерка, паршивец, из туалета голос подал:

— Дед Мороз принес, чего неясного!..

Насели на Валерку, но он с шумом воду спустил. По телевизору загремел парад, Светка индейским кличем потребовала своей доли веселья в торжестве, пожаловал Валерка и нацелился отмерить себе алкоголя — праздник проворачивал свое многоцветное колесо: утюжить кофейный костюм, ехать гулять на Невский, из автоматов обзванивать с поздравлениями знакомых, собираться в гости к Стрелковым на Комендантский аэродром... Возвращаясь ночью в трамвае, вспоминали, как Верочка однажды из мешочка пылесоса вытряхнула десятку... Мало ли забот у семейных людей...

В этих заботах он с легким сердцем пожертвовал жениховствующему, предсвадебному Шерстобитову два билета на Карцева и Ильченко, а сам подменил его в дружине: подняв ворот тулупчика, до полуночи патрулировал пустынную Воздухоплавательную улицу, знакомясь с историями из жизни бывалого двадцатилетнего старшины. Из почтового ящика в подъезде вынул открытку с напоминанием о квартплате.

— Ну-ка... тряхни нашу самобранку! — пошутил он, поцеловав Верочку в прихожей. И как-то... не то чтобы что-то такое возникло... не то чтоб они друг друга поняли... а может, и поняли...

Верочка открыла защелку стенного шкафа, достала из синей нейлоновой куртки с надорванными карманами кошелек, с улыбкой открыла, перевернув, и тряхнула. На зеленый линолеум прихожей выпорхнули синенькие пятерки: раз, два, три, четыре...

В спальне испуганный совет шел шепотом, хотя дети в другой комнате давно спали. Ночью Верочка грела молоко: Павел Арсентьевич не мог уснуть, а снотворное в их доме отродясь не требовалось.

— Товарищи,— храбро вопросил Павел Арсентьевич в лаборатории,— кто мне двадцать рублей возвращал, братцы?..

Прозвучало бестактно. Большинство хмыкнуло, а Танечка Березенько покраснела. Толстенький Сергеев пожал ему плечо и мужественным голосом попросил обождать аванса. Павел Арсентьевич смутился, отнекивался.

Отнекиваться у Агаряна, Алексея Ивановича, начальника лаборатории, не приходилось. Алексей Иванович хлопотливо усадил его в кресло, угостил сигаретой, осведомился о жизни, после чего крутнул свои кавказские усики и поручил бегленько накидать ему тезисы для выступления на отраслевом совещании — за последние полгода, только основы, ну, как он умеет. Всех след простыл, а Павел Арсентьевич терзался муками слова, пока сдал перелицованный текст злой золотозубой блондинке, распускавшей свитер в пустом машбюро.

Перед сном стукнул кулаком по подушке, извлек из тумбочки подле кровати помещенный туда кошелек и скованными пальцами дважды пересчитал восемь бумажек пятирублевого достоинства.

— Верочка,— фальшиво и крайне глупо обратился Павел Арсентьевич,— ты зачем сюда-то свой аванс положила?..

Аванс лежал в денежной коробке из-под конфет «Белочка», в бельевом шкафу. Павел Арсентьевич закурил в спальне. Верочка пошла греть молоко.

От субботника, проводимого в четверг, Павел Ар-

сентьевич неумело попытался увильнуть. («С таким лицом отказывать в просьбе — означает обмануть в искреннейших ожиданиях... Непорядочно...») И выгребал Павел Арсентьевич ветошь из закройного без всякого подъема духа.

И подозрения его не могли не оправдаться.

Плюс двадцать рэ.

А в пятницу хоронили директора пятого филиала, и отряженный от лаборатории Павел Арсентьевич стоял с траурной повязкой среди венков, имея лицо воистину скорбное...

(Плюс двадцать рэ.)

В его отсутствие Верочка погасила задолженность за квартиру, прибегнув к сумме из этого кошелька. Грянула сцена.

Убедившись в недостаче, Павел Арсентьевич хлопнул своим персональным Клондайком об стену и призвал Верочку в спальню.

— Что — это? — твердо допросил он.

Верочка засвидетельствовала:

— Это деньги.

— Откуда? — надавил Павел Арсентьевич. Для него такая интонация являлась признаком значительного раздражения.

Верочка ответила:

— Из кошелька. — И нервно засмеялась.

Ночное совещание постановило: ну его к лешему. Унизительно и небезопасно. Что надо — на то они сами заработают. Еще неизвестно, откуда эти деньги в кошельке берутся. И вообще что это за кошелек такой. Может, здесь такое замешано, что потом грехов не оберешься. Лучше держаться подальше. А посему сдать в бюро находок, и пусть кому принадлежит тот и владеет.

На Литейном в бюро находок («гибрид сберкассы и камеры хранения») Павел Арсентьевич заполнил за стойкой бланк и облегченно вздохнул. Старик в гардеробщицком халате казенно кивнул крапчатой лысиной. Павел Арсентьевич сунулся в карман, засуетился и оцепенел: забыл дома... Конфуз был.

Перерывали жилище всей семьей. Валерка брезгливо возил веником под ванной. Светка, перетряхивая игрушки, деловито разломала старую гармонику и нелюбимую куклу Ваньку под предлогом поисков

внутри. Посреди развала Верочка пристально посмотрела Павлу Арсентьевичу в глаза, влезла рукой в задний карман его брюк и достала искомый предмет.

Предмет содержал сто десять рублей. Вдвое против вчерашнего.

— Паша,— сказала Верочка и оробела,— может, так надо?..

— Кому?— резонно возразил Павел Арсентьевич. И сам себе ответил:— Мне — нет.— Подумал и добавил:— Тебе — тоже нет.

Еще мысль трепыхнулась, что у Танечки вот есть дубленка, а у нее нет, что у Сергеева знакомый частник-протезист вставляет фарфоровые зубы... вздохнул и обнял жену.

Теперь перед высокой двустворчатой дверью бюро он зафиксировал кошелек в кармане. По заполнении бланка карманы в совокупности содержали: носовой платок, сигареты «Петровские», спички, ключи от квартиры и почтового ящика и шестирублевую проездную карточку на декабрь. Абзац.

В заснеженном сквере у метро «Чернышевская» закурил на скамеечке: осенился — проверил.

Достал! Пересчитал.

Двести двадцать как одна копеечка.

«Удваивает, негодяй...» — прошептал Павел Арсентьевич.

Зажал постыдный рог изобилия в кулаке и решительно направился обратно.

Кошелек неукоснительно исчез при пересечении линии порога и появился при выходе. Павел Арсентьевич мрачно произнес не к месту фразу: «Вот так верить людям» — и пошел вон.

Четыреста сорок.

Выкинуть? Ну, знаете... Да и... тоже не получится...

Последний отчаянный заход добавил пятерку. Эта мелочность подачки воспринималась особенно оскорбительно. Мол, не ерунди, дядя, ты уже все понял.

Умница Верочка самочинно приобрела бутылку «Старого Замка», и два зеленоватых стаканчика с вином светились, как в добрую старь, на тумбочке у кровати.

Выявленная закономерность не поддавалась материалистическому истолкованию, а в идеалистическом они были не сильны. Ученый совет твердого мнения не вывел. Информацию постановили во избежание труднопредсказуемых последствий не распространять, а в качестве дополнительных мер предпринять походы в филиал Академии наук и районное отделение милиции, а также дать объявление в «Вечерку».

Насчет Академии наук Павел Арсентьевич представлял себе туманно, а сине-молочная вывеска милиции светилась по соседству. Сержантик в рыжих бакенбардах, не отрываясь от телефона, понимающе проследил, как потерянного вида гражданин охлопал себя по груди и бокам, покраснел и ретировался.

С пылающим на челе клеймом афериста Павел Арсентьевич за углом ревизовал утаившиеся от органов средства, каковые увеличил таким образом на один ветхий рублишко: кошелек явно издевался.

Объявление в «Вечерке» незамедлительно потерялось: никаких отклонений и неожиданностей. Кошелек приветствовал разменной монетой двадцатикопеечного достоинства. Учитывая, что подача объявления обошлась в четыре семьдесят шесть, это было гадство. Нежелание очевидного позора удержало от контактов с Академией наук.

Дома густела неопределенная напряженность. Павел Арсентьевич запретил себе вдаваться в ее анализ, крепя заслон от предательства неправедных соблазнов. Воля его подрагивала и держалась, как флагшток среди туманных руин.

— А многие бы радовались,— с простодушной интонацией подточила Верочка.— В конце концов, он же платит тебе за добрые дела...

— И даже за добрые намерения,— помолчав, продолжил неподкупный муж.— Ладно...

Под ее боязливым взглядом он выгреб из кошелька четыреста сорок шесть рублей двадцать копеек и целенаправленно спустился в морозный и мирный вечер, ощущая себя чужим самому себе.

Принявшись твердо заполнять бланк почтового перевода, обнаружил, что адрес Министерства финансов ему неизвестен. Приемщица, озабоченная красно-

той своих глазок девочка, усмотрела в вопросах насмешку, но пошла советоваться с другой девочкой, озабоченной линией челки. Павел Арсентьевич нервозно ожидал под их взглядами, как объявленный к розыску преступник, и успел рассудить, что Министерство не может принять на баланс сумму неизвестно откуда, а как оформить — он не знает. Да и адрес не выяснился.

Назавтра в обеденный перерыв он составил в профкоме фирмы заявление о перечислении в Фонд мира. Оформили деловито и спокойно, но вспоминался Павлу Арсентьевичу медосмотр призывников: стоишь голый перед женщинами, и за излишне подчеркнутой профессиональной обыденностью не исчезает вторым планом простецкий и стыдный интерес.

— А что теперь? — задавала Верочка вопрос после ужина.

— А что теперь? — благодушно отозвался Павел Арсентьевич, отметивший славный день парой кружечек пива и теперь размышлявший о парилке.

Верочка протянула кошелек:

— Пятьсот.

— Черт какой, — печально молвил Павел Арсентьевич. — А?..

— А я еще когда за тебя выходила, знала, что все у нас будет хорошо, — прорвало вдруг и понесло Верочку. — Мне девчонки наши говорили: «Смотри, Верка, наплачешься: хороший человек — это еще не профессия. Он же такой у тебя правильный, такой уж — все для всех, весь дом раздаст, а сами голые сидеть будете». А я-то чувствовала, что все не так.

Это признание на шестнадцатом году семейной жизни Павла Арсентьевича задело неприятно... Нечто не совсем ожиданное и знакомое в нем было...

— Паша, — прошептала Верочка и капнула слезкой. — Ну что ты мучишься... Уж неужели ты не заслужил...

— Да что ты несешь? Что заслужил? — в бессилии и жалости вскричал Павел Арсентьевич. Он устал. — Устал я!

— Все же... все тобой пользуются. Должна же быть справедливость на свете...

— Какая еще справедливость! — закричал Павел Арсентьевич, комкая в душе белый флаг капитуляции.— Квартиру дали, зарплаты получаем, в доме все есть, какого рожна?!

И нелепо встряло, что ему сорок два года, а он никогда не носил джинсов. А у него еще хорошая фигура. А джинсы стоят двести рублей. А Светка через десять лет вырастет в невесту...

По лаборатории поползли слухи. Скромный облик Павла Арсентьевича обогатился новой чертой некоей оживленной злости. Предначертанность отчетливо проступила с прямизной и однозначностью рельсовой колеи.

И — лопнул Павел Арсентьевич. Сломался. (И то — сколько можно...)

...В Гостином поскользнулся на лестнице, в голове волчком затанцевала фраза «На скользкую дорожку...», и он не мог от нее отделаться, отсчитывая в кассу за венгерскую кофту кофейного цвета, исландский кофейной же шерсти свитер, куклу-акселератку со сложением гандболистки, когда принимал у нагло-ласковых цыганок пакеты с надписью «Монтана» и на Кузнечном рынке набивал их нежнейшими, как масло, грушами, просвечивающим виноградом, благородным липовым медом желтее топаза, когда в винном, затовариваясь марочным коньяком и шампанским, в помрачении ерничая, выстучал чечетку («Гуляет мужик... с зимовки вернулся»,— одобрительно заметили за спиной.), когда оставшиеся сорок семь рублей, доложив три двадцать своих кровных, пустил на глупейшую, якобы хрустальную вазочку в антикварнате на Невском.

— Издалека приехал? — со свойским одобрением спросил таксист у самоходной груды материальных ценностей на заднем сиденье.

— С улицы Верности,— злобно отвечала вздернувшаяся меж добром кроличья ушанка.— Дом тридцать шесть.

Себе он приобрел десять пар носков и столько же носовых платков, приняв решение об отмене стирок. Хотел еще купить стальные часы с браслетом, но денег уже не хватило.

Неуверенный возглас и заблудившаяся улыбка Верочки долженствовали изобразить их невинность, непричастность к свалившемуся изобилию ну, как если б получили наследство дальнего и забытого родственника. Светка затрепетала бантом и возопила о Новом годе; Валерка озадачился отсутствием нравоучений Павел же Арсентьевич издал неумелое теноровое рычание, отведал коньяку «КВВК», пожалел, что не водка или портвейн, и припечатал точку веху воткнул: «Ну и черт с ним со всем». Перевалив внутренний хребет самоуничижения, он почувствовал себя легче.

Валерка выразился в том духе, что лучше б часы, а не свитер.

Светка, чуя неладное, опасалась, что утром все исчезнет.

Верочка прикинула кофту и пошла в спальню с выражением то ли оценить вид, то ли капнуть слезкой.

А Павел Арсентьевич заполировал коньячок шампанским, мелодично отрыгнувшимся, и напомнил себе записаться на прием к невропатологу и получить рецепт на снотворное.

Однако спал он чудно. Снились ему джунгли на необитаемом острове, где среди лиан порхали пестрые попугаи с деньгами в клювах, а он подманивал их манной кашей, варящейся в кошельке, усовещевая, что кошелек портится без денег, а попугаи дохнут без каши, и пока он не наденет джинсы, то они не научатся говорить, а машина ему вовсе не нужна не пройдет в джунглях, а вездеход частному лицу не продадут.

Для вас! — кричал он, шлепая по теплой каше ладонью. Попугаи кружились, воркуя: «Паша Паша...» но денег не выпускали.

Паша,— сказала Верочка, дуя ему в лицо Не кричи... Ты дерешься...

Случай представился сразу: в Архангельске упорно не клеил Л-14НТ, зато клеил немецкие моющиеся обои дома Модинов и уламывал встречных и поперечных откоманди, оваться за него. Сборы Верочкой «командировочного» чемодана Павла Арсентьевича и проводы в аэропорт носили не требующий расшифровки дополнительный подтекст

Под порошистым небом Архангельска скрипела стынь; одноэтажная фабричка оказала прием — авторитет! — забронировали гостиничную одиночку, парнишка-директор приглаживал прическу, потчевал в ресторашке... неудобно...

Возясь до испарины в обе смены, с привычной скрупулезностью проверяя характеристики состава и режимы выдержки, не мог он скрыться от всплывающей, как перископ подлодки, мысли: сколько это будет стоить... Раскумекав простейшее и указав парнишке-директору дать разгон намазчицам за свинскую рационализацию (мазали загодя и точили лясы), честно признал, что и за так работал бы не хуже.

На родном пороге, осыпая с себя пыльцу северной суровости и вручая домочадцам тапочки оленьего меха с вышивкой, оттягивал ожидаемое...

Возмутительною суммой в три рубля оценил кошелек добросовестнейшую наладку клеевого метода крепления низа целому предприятию. Павел Арсентьевич, уязвлен и разочарован, слегка изменился в лице.

— Как же так? — дрогнула и Верочка с обманутым видом. — И здесь тоже... — Подразумевалось, что ее представления о справедливости и воздаянии по заслугам действительность попрала в очередной раз.

Так что билеты в Эрмитаж на испанскую живопись Павел Арсентьевич, из таковой все равно знающий лишь художника Гойю и картину «Обнаженная маха», уступил Шерстобитову хотя и готовно, но не без малого внутреннего раздражения. Все же, когда за добро хотят платить — это одно; подачки же кидать...

Однако оказалось — десятка... Хм?..

Рейд в составе комиссии по проверке санитарного состояния общежития профессионального училища — двадцать.

Составление техкарты за сидящую на справке с сыном Зелинскую — тридцать.

Передача Володьке Супруну двухдневной путевки в профилакторий «Дибуны» — сорок.

В неукоснительной повторяемости прогрессии вырастала привычка, растворявшая душевное неудобство. Павел Арсентьевич в свободные минуты (дорога

на работу и с работы) пристрастился с известным приятствием размышлять о природе добра и предназначении человека.

В фабричной библиотеке выбрал «О морали» Гегеля, с превеликим тщанием изучил четыре страницы и завяз в убеждении, что философия не откроет ему, откуда в кошельке берутся деньги.

Принятие на недельный постой одноглазого сорокинского кота (страдалец Сорокин по прозвищу «Иов» вырезал аппендицит) — девяносто рублей.

Провоз на метро домой Модинова, неправильно двигающегося после служебной встречи своего сорокадевятилетия, и вручение его жене — сто рублей.

Добросовестнейший Павел Арсентьевич постепенно утверждался в мысли о правомерности положения. Говорят, период адаптации организма при смене стереотипа — лунный месяц. Так или иначе — к Новому году он адаптировался.

— Не исключено, — поделился оправдательным рассуждением Павел Арсентьевич с Верочкой, — что подобные кошельки у многих. Как ты думаешь?..

Верочка подумала. Электрические лучи переламывались в белых плоскостях кухонного гарнитура. Новый холодильник «Ока-ШМ» урчал умиротворенно. Она соотнесла оклады знакомых с их пробретениями и признала объяснение приемлемым.

Доставка трех литров клея в обеспечение нужд школьного родительского комитета — сто пятьдесят рублей.

Помощь рабсилой при переезде безаппендиксному Сорокину — сто шестьдесят рублей.

И азартность оказалась не чужда Павлу Арсентьевичу: впервые конкретный результат зависел лишь от его воли: дотоле плавное и тихое течение неярких дней взмутилось и светло забурлило. Краски жизни налились соком и заблистали выпукло и свежо. Прямая предначертанности свилась в петлю и захлестнула горло Павла Арсентьевича. Жажда стяжательства обуяла его тихую и кроткую душу.

Павел Арсентьевич привык уж если что делать, то так, чтобы переделывать после него не приходилось.

Он втянулся, превращаясь в своего рода профессионала. Деловито вертел головой: что, кому, где? С невесть откуда прорезавшейся старомодной церемонностью отвешивал полупоклон: «Позвольте... Вы весьма меня обяжете... Совершеннейшие пустяки...» Проходя коридором, бросался в дверь, где двигали столы. Отправлялся в дружину каждую субботу; лаборатория переглядывалась: дома, видать, нелады...

Дома были лады. Очень даже. Жить стали как люди.

Павел Арсентьевич лично брал в затяжном молоток и гвозди и чинил «бабушке фабричной химии» Людмиле Натальевне Тимофеевой-Томпсон каблук, самоотпадающий вследствие ее индейской, подвернутой носками внутрь походки. До полуночи подвергался психофизическим опытам темпераментного отпрыска Зелинской, посещавшей театр. Сдав в библиотеку многомудрого Гегеля, до закрытия расставлял с девочками кипы книг по пыльным стеллажам; в благодарность его собрались наградить «Ночным портье» — отказался с испугом...

— Вы похорошели, Павел Арсентьевич,— отметили Зелинская и Лосева, оглядывая его шапку из енотовидной собаки.— Что-то такое мужское, знаете, угрюмоватое даже в вас появилось.

Зеркало ни малейших изменений не отражало, но, зафиксировав несколько «женских» взглядов, Павел Арсентьевич решил, что нравиться еще вполне может. Ничего такого.

Беспокоила лишь работа. Свободного времени на нее не хватало. Опасался, чтоб не заметили, но — каким-то образом дело двигалось в общем ничуть не медленнее, чем раньше. С облегчением убедившись в этом, он успокоился.

Верочка (при дубленке) записалась на финский мебельный гарнитур «Хельга», и тут оказалось, что срочно продают новый югославский, но деньги нужны в четыре дня. Исходя из соображений, что мебель дорожает, решили деньги собрать.

С оттенком сожаления припоминал Павел Арсентьевич, сколько в прошлом не было ему оплачено. Ну — ...

Он приналег. Хватал на тротуаре старушек и влек под ветхий локоток через переход. В столовой шастал

за судомойкой, собирая грязную посуду. Занимал очередь за апельсинами и несся предупреждать всех, выстаивая после два часа в слякоти. Навестил в больнице Урицкого, на Фонтанке, помирающего Криничкина. В густом и теплом запахе урологии, меж рядов коек, Павел Арсентьевич сомлел. Криничкин, желтый, облезлый и старенький, был толковым химиком и работал в лаборатории с основания. Все он понимал, кивал и спокойно улыбался с плоской подушки; и казалось, что боль его проявляется в этой улыбке... Павел Арсентьевич выложил журнальчики свежие, конфеты, три гвоздички, передал приветы... Ах ты, господи...

Сумма сложилась. Кошелек выдавал теперь по триста за раз. Удар настиг с неожиданной стороны. Сергеев, косясь на польские сапожки Павла Арсентьевича, хмурясь и крякая, попросил одолжить тысячу на год: водил рукой по горлу и материл жулье авторемонтников и кандидата-гинеколога, пользовавшего жену частным образом.

Павел Арсентьевич сохранил самообладание.

— Пашка, ты меня угробишь,— отреагировала на известие Верочка.

Вздохнули. Поугрызались.

Плюнули. Дали.

Разрешилось неожиданно: утром Павел Арсентьевич вручил деловито-счастливому Сергееву тысячу, вечером Верочка вынула из кошелька тысячу двести.

— Па-авлик,— прошептала ночью Верочка и потерлась об него носом,— у меня такое чувство, будто мы с тобой моложе стали...

— Ага,— признался он...

Новый способ был прост и хорош. Павел Арсентьевич стал давать деньги в долг. Расслоились слухи о наследстве из-за границы. Неопределенными междометиями Павел Арсентьевич оставил общественное мнение пребывать в этом предположении, достаточно для него удобном. Облагодетельствование проводилось с глазу на глаз с присовокуплением просьб — и обещаний в ответ — не распространяться. Однажды Павел Арсентьевич в неприятном смысле задумался об ОБХСС; позже его удивило, что тогда он этой мысли не удивился...

Черно-вишневый с бронзовой отделкой югославский гарнитур, компактный и изящный, включал в себя тумбочку под телевизор. На которую и водрузили цветную «Радугу», свезя старенький «Темп» в скупку в Апраксином.

Купаясь мысленным взором в синдбадовых красочных далях «Клуба кинопутешествий», Верочка развесила витиеватую фразу:

И какая же белая женщина не мечтает сидеть дома и заниматься семьей при наличии достатка, прибегая к общественно-полезной деятельности эпизодически и в необременительной форме, по мере возникновения потребности, но не регулярнее и чаще

Павел Арсентьевич сопоставил Гавайские острова с грядущим летом и неуверенно молвил о Сочи.

Этот муравейник в унитазе? удивилась Верочка с пугающей прямолинейностью выражений. Приличные люди давно там не отдыхают.

И настояла на Иссык-Куле: горный воздух, экзотика и фешенебельная удаленность от перенаселенных мест

Под черным флагом пиратствовал Павел Арсентьевич в обманчивом океане добрых дел.

Но петля оказалась затяжной. Павел Арсентьевич пытался сообразить, чего ему не хватает. Первые признаки недовольства он обнаружил в себе через несколько месяцев.

В яркое воскресенье, хрустя по синим корочкам подтаявшего снега, Павел Арсентьевич высыпал помойное ведро и с тихой благостностью помедлил, постоял. В безлюдном (время обеда) дворе обряженная кулема на качелях — Маришка из второго подъезда,— старательно сопя, пыталась раскачаться. «Сейча-ас мы...» Павел Арсентьевич подтолкнул, еще, Маришка пыхтела и испускала сияние от удовольствия и впечатлений

В лифте он вспомнил... и не то чтобы даже омрачился.. но весь тот день не исчезала какая-то тень осадка в настроении.

С этого эпизода, крупинки, началась как бы кристаллизация насыщенного раствора.

Павел Арсентьевич честно спросил себя, не надоели

ли ему деньги, и так же честно ответил: нет. Неограниченность материальных перспектив скорее вдохновляла. Но...

Накапливалась одновременно и какая-то связанность, усталость. Он больше не был ни легок, ни чудаковат, и сам знал это. Павел Арсентьевич отметил в себе моменты внутреннего злорадства при совершении своих добрых дел. Мол, нате,— а знали бы вы... Стал ловить себя на нехороших, неожиданно злых мыслях.

Он понял, что профессия оказалась тяжелее, чем он предполагал. И, пожалуй, оплата, как ни высока она теперь была, производилась все же по труду. Этот успокоительный вывод, вместо того чтобы укрепить душевное равновесие Павла Арсентьевича, непонятным образом усилил внутреннее раздражение.

Система меж тем функционировала отлаженно, от Павла Арсентьевича даже не требовалось личной инициативы. Однако к каждому поступку ему приходилось теперь понуждать себя, и он отчетливо это сознавал.

Бунт вызревал в трюме, как тыква в погребе.

Но сначала в марте пришло письмо от брата, из Новгорода. Просил приехать.

Затемно в субботу Павел Арсентьевич и отбыл «Икарусом» с Обводного, и вкатил в Новгород серебряно-солнечным утром.

В ободранной квартире, похмельный — нехорош был брат... После ухода жены (несколько лет назад) он тосковал, запивал иногда, говорил о жизни, жалел всех и все пытался объяснять...

Они пили в кухне, нежилой, голой,— два брата, два невеселых стареющих мужика; и думал Павел Арсентьевич, что лучше б Нина его разлюбезная ушла гораздо раньше, и все бы еще сложилось счастливо, пьянел, считал ее стервой и шлюхой, а к третьей бутылке и ее жалел, и бубнил неискренне, что все к лучшему, и искренне что она из тех, на ком вообще жениться нельзя.

Наутро брат встал снова черен, Павел Арсентьевич потащил его выгуливать, под закопченными сводами

«Детинца» осетрину по-монастырски медовухой запили, а вечером дома он заставил разгребать мусор, пришивать номерки к грязному белью и менять перегоревшие лампочки.

В понедельник, позвонив Агаряну и Верочке на работу, хозяйничал, купил новые занавески и швабру, мыл полы, все заблестело, а вечером выпили — уже немного, перебирали детство, пили за детей, поминали отца и мать, шутили и плакали.

Павел Арсентьевич подарил брату кофейный пиджак и приемник «Океан» и велел приезжать на следующие выходные.

А дома вынул из кошелька толстую пачку зеленых пятидесятирублевок. Глупо подумал, что доллары — тоже зеленого цвета. Бородатый анекдот идиотски всплыл: «Зеленое, хрустыт, нэ дэнги, что такое? — Пятдесат рублэй. — Правилно, слушай, как угадал, а?..»

В пушистом кофейном джемпере и вранглеровских джинсах он сел за семейный стол и поковырялся в индейке.

Вызревшая тыква оказалась бомбой, стенки разлетелись, локомотив сошел с рельсов и замолотил по насыпи.

Эффект в лаборатории оказался силен. Даже очень силен.

Павел Арсентьевич явился на работу ровно в восемь сорок пять и закрыл за собой дверь, уходя, ровно в семнадцать пятнадцать. Масса ужасных вещей вместилась в этот промежуток времени.

В восемь пятьдесят он отказался утрясать вопросы с технологами.

— Супрун, — с сухим горлом ответил он, — это компетенция начальника группы. Или завлаба. Я запустил работу. Пусть прикажут.

Супрун растерялся, стушевался, просил извинения, если обидел, и только потом обиделся сам.

Алексей Иванович Агарян, заглянувший с мягким пожеланием приналечь, получил ответ:

— Кто везет — того и погоняют.

Агарян обомлел и ущипнул себя за усики. Похолодевший от собственной металлической стойкости Па-

вел Арсентьевич около получаса унимал дрожание различных частей тела.

На пять минут через каждые пятьдесят пять он выходил курить в коридор, и в лаборатории гнал напряжение тихо зудящий трансформатор: «Крупные неприятности... ОБХСС... Москва... повышение... любовница...»

— Извините, я ни-че-го не могу для вас сделать,— с ласковым состраданием пояснил он бескаблучной Людмиле Натальевне Тимофеевой-Томпсон. Старая дама в негодовании ушла к затяжчикам.

Теперь Павел Арсентьевич не садился в транспорте, дабы не уступать потом место. На улице смотрел строго перед собой: пусть падают кому нравится, его не касается. Отворачивался, если женщины брались за пальто,— не швейцар.

Существование двинулось в перекрестии проницающих взглядов: они вели его, как прожекторные лучи намеченный к сбитию самолет.

В последующие дни он отмел встречу с подшефными пионерами, овощебазу, дружину и стояние в очереди за колготками, заполучив неприязнь Тимофеевой-Томпсон, Зелинской и Лосевой, Шерстобитова, который все еще не женился, но уже на другой, и Танечки Березенько. В его отсутствие для успокоения общественного самолюбия было решено, что Павел Арсентьевич получил расстройство нервов вследствие переутомления.

Без двадцати семь он возвращался домой с продуктами из универсама, с аппетитом обедал, шутил, возился со Светкой, мыл посуду, декламировал прочувственные нравоучения Валерке и читал в постели журнал «Юный натуралист».

По истечении пятнадцати суток этого срока испытаний он расписался в ведомости за пятьдесят пять рублей аванса, кои и вручил Верочке со скромной горделивостью наследника, отрекшегося от миллионов и заколотившего копейку грузчиком в порту.

Кошелек пятнадцать суток провел заключенным в тумбочке, запертой на ключ: ключ был упрятан в старый портфель, а портфель сдан в камеру хранения.

По освобождении кошелек предъявил тысячу восемьсот пятьдесят рублей: на полтину больше последней выдачи, как и наладился.

Спорить и бессмысленно ломиться против судьбы они с Верочкой не стали, деньги отложили, а часть пустили на жизнь.

Ночью в туалете Павел Арсентьевич составил крайне детальный список: что в жизни делать обязательно, а что — сверх программы. «И никакого произвольного катания,— шептал он,— никакой самодеятельности».

Жизнь приобрела напряженность эксперимента. Павел Арсентьевич боялся лишний раз улыбнуться. Мучился, взвешивая каждое слово. Дома обедал, смотрел телевизор и ложился спать — все. «Как все нормальные мужья»,— веско объяснил Верочке.

Еще пятнадцать суток.

Тысяча девятьсот.

Нехороший блеск затлел в глазах Павла Арсентьевича. Ночами он просыпался от сердцебиений (по-современному — тахикардия).

Назавтра, скованный от злости, он сидел в вагоне метро, отыскивая глазами женщин постарше, поседее, и сидел.

Танечке Березенько ни с того ни с сего влепил, что надо соотносить траты со средствами.

В скороходовском дворе оглянулся, подобрал камешек и с силой запустил в голубя — не попал.

Сергееву велел пошевеливаться с долгом: он на дочери миллионера не женат.

Тимофеевой-Томпсон прописал ходить в обуви без каблуков: и по возрасту приличней, и для ног полезней. «А также для чужих рук»,— негромко добавил.

Какие услуги!..

Пружина с треском разворачивалась в другую сторону, и щепки летели. В воздухе лаборатории пышным цветом распустились нервозные колючки.

Зелинской и Лосевой было велено пройти заочный курс техникума легкой и обувной промышленности, а также бросить шляться по театрам и записаться в клуб «Тем, кому за 30» с целью замужества.

Агаряну было хлопнуто заявление о десятке прибавки. Агарян вырвал два волоска из усиков, подписал и двинул в бухгалтерию.

Павел Арсентьевич ждал конца этих пятнадцати суток, как зимовщик — уже показавшегося на горизонте корабля со сменой. Корабль подвалил, и в пену прибоя посыпались с автоматами над головой десантники в чужой форме.

Тысяча девятьсот пятьдесят.

Любимым местом в доме постепенно стала у Павла Арсентьевича ванная. Там он мог быть один, долго и вроде по делу. Он пристрастился проводить в водных процедурах часа по два ежедневно; дети умывались перед сном на кухне.

Павел Арсентьевич сидел под душем, хлещущим по разгоряченной лысинке на темени, время от времени высовываясь к прислоненной у мыльницы сигарете. «Гад,— шептал он, затягиваясь,— паразит, врешь, что хочу, то и делаю».

Чего он хотел, он уже решительно не знал, а делал следующее.

Потребовал двухдневную путевку в профилакторий; и получил, и не поехал, но Сорокин тоже не поехал.

Совершил прогул: вызвал врача, настучал градусник, подарил коробку конфет и получил больничный по гриппу на пять дней. Позвонил в лабораторию (телефон стоял давно — триста рэ) и злобно потребовал навестить его: «Как я — так всех!..» Вечером примчалась делегация в составе Зелинской и Лосевой с хризантемами и Супруна с мускатом, которую Павел Арсентьевич и велел Верочке не впускать, передав, что он заснул впервые за двое суток.

Вышел в день совещания по итогам первого квартала, потребовал слова и вознес ханжеским голосом льстивую и неумеренную хвалу администрации, сорвал неожиданно аплодисменты, спохватился и без перехода, перестроившись, подверг администрацию черной клеветнической критике, а деятельность родной лаборатории перемешал с грязью, предложив чистку, ревизию и пересмотр планов работы и штатного расписания, и под грохот овации был с легким сердечным приступом сведен с трибуны и доставлен домой на такси.

Кошелек платил. Павел Арсентьевич утерял всякую

ориентацию, словно слепой в невесомости. Он обратился к своей душе, узрел в ней скверну и грянул во все тяжкие. Прекратил здороваться с соседями по площадке. В комиссионке предложил продавцу открытым текстом взятку за японские электронные часы «Сейко»: часы материализовались мгновенно.

На грани невменяемости Павел Арсентьевич украл в универсаме пачку масла и банку сардин атлантических, нагло заставил кассиршу дважды пересчитать и вслух произнес слово «жулье». Он норовил пить и ругаться. Кошелек платил.

В два часа ночи Павел Арсентьевич обнаружил себя в незнакомой комнате лежащим в незнакомой постели рядом с незнакомой женщиной. Восстановив наутро в памяти предшествующие события, он убедился, что изменил Верочке сознательно. Домой назло не звонил и явился лишь вечером после работы, с растрескивающейся головой. Был принят с пониманием и уважением — усталый добытчик, глава семьи. Кошелек заплатил.

Ушибившись о бесплодные крайности, Павел Арсентьевич решил пытать счастья в золотой середине. И бросил делать вообще что бы то ни было.

Он бросил ходить на работу. И вообще никуда не выходил. Поставил в ванную переносной цветной телевизор, бар и пепельницу, и сидел целыми днями среди благоухающих сугробов немецкого шампуня, пил черный португальский портвейн по шесть пятьдесят бутылка, курил крепчайшие кубинские «Партагас» и прибавлял теплую воду.

Верочка плакала...

Кошелек платил.

Холодным апрельским утром Павел Арсентьевич умыл лицо, побрился, выпил крепкого чаю, надел старую синюю нейлоновую куртку, сел в троллейбус, доехал до Дворцового моста и с его середины кинул кошелек в воду. Успокоил душу парочкой пива в буфете Военно-морского музея, позвонил на работу тяжело болел, завтра выйдет, дома произвел уборку, приготовил обед, забрал обрадованную Светку из садика и поведал пришедшей Верочке финал всех событий.

— Ну и слава богу,— сказала Верочка, с лица которой словно сняли светомаскировку.— Так лучше.

Вечером они ходили в кино, и на обратном пути погуляли по свежему воздуху.

И назавтра день тоже был очень хороший.

А дома Павел Арсентьевич увидел кошелек. Он лежал на их постели, отсыревший, и на покрывале вокруг темнело влажное пятно. И на тумбочке — кучка мокрых денег.

— Ааа-аа!..— голосом в последний раз ожившего чучела льва сказал Павел Арсентьевич.

— Пришел,— сказал кошелек.— Мерзавец... Свинья неблагодарная.— И простуженно закашлял.— Ты соображаешь хоть, что делаешь?

Павел Арсентьевич взвизгнул, ухватил обеими руками мокрую потертую кожу, выскочил на балкон и вышвырнул в темноту, вниз, на асфальт.

— Вот так,— хриповато объявил он семье. И не без рисовки стал умывать руки.

Назавтра, отворив дверь, по лицам домашних сразу зачуял неладное.

Кошелек сидел в кресле под торшером. Нога у него была перебинтована. Он привстал и отвесил Павлу Арсентьевичу затрещину.

— Он в травматологии был,— хмуро сообщил Валерка, отведя глаза.

Окаменевшая Верочка двинулась на кухню. Кошелек потребовал чаю с лимоном. Отхлебнул, поморщился на чашку, и сказал, что даст на новый сервиз, хотя они и не заслужили.

Петля стянулась и распустилась сетью: началась оккупация.

Кошелек велел, чтоб его величали Бумажником, но откликался и на Портмоне. Запрещал Светке шуметь. Ночью желал пить чай и читать биографии великих финансистов, за которыми гонял Павла Арсентьевича в букинистический. На дверь ванной налепил голую девицу из журнала. По телевизору предпочитал эстрадные концерты и хоккейные матчи, комментируя, кто сколько получает за выступление. Во время паредачи «Следствие ведут знатоки» клеветал: говорил, что все они взяточники и сажают не тех, кого следует, и поучал, как наживать деньги, чтоб не попадаться. И за все исправно платил.

Под его давлением Верочка записалась в очередь на

автомобиль и кооперативный гараж. Кошелек обещал научить, как провернуть все в полгода.

Однажды Павел Арсентьевич застал его посылающим Валерку за коньяком, с наказом брать самый лучший. Валерке сулился магнитофон к лету.

Верочка успокаивала, что теперь уже ничего не поделаешь, а когда они поменяют с доплатой свою двухкомнатную на четырехкомнатную — она уже нашла маклера,— то у Бумажника будет своя комната, и все устроится спокойно и просторно.

Именование ею кошелька Бумажником Павлу Арсентьевичу очень не понравилось. Еще менее ему понравилось, когда Кошелек погладил Верочку ниже спины. Судя по отсутствию у нее реакции, случай был не первый.

Павел Арсентьевич пригрозил уволиться с работы в ночные сторожа. Кошелек парировал, что он может хоть вообще не работать — хватит и работающей жены, с точки зрения закона все в порядке. Да хоть бы и оба не работали, плевать, с милицией он сам всегда сумеет договориться.

Павел Арсентьевич замахнулся стулом, но Кошелек неожиданно ловко саданул его под ложечку, и он, задохнувшись, сел на пол.

Когда Светка гордо объявила, что подарила Маришке из второго подъезда синий мячик и помогала искать котенка, Павел Арсентьевич напился до совершенного забвения, попал в вытрезвитель, из которого и был извлечен звонком Кошелька через час.

...Билет он взял в кассах предварительной продажи на Гоголя. До Ханты-Мансийска через Свердловск, дальше — местными линиями. Он знал хорошо, что будет делать там. Знакомый его институтского друга работает старшим лесничим. Устроит. Есть там и егеря, и промысловая охота, и безлюдность, и отсутствие регулярного сообщения — он прочитал все в энциклопедии.

Он оставил Верочке письмо в тумбочке и поцеловал спящих детей. Чемодана с собой не брал. Одолжит денег и купит все на месте.

Утро в аэропорту было ветреное и ясное. Отсвечивающие дюралем обшивки лайнеры медленно ру-

лили по бетонному полю и занимали место в ряду. Очередной дымный шлейф таял над взлетной полосой в небе. Гулко объявили регистрацию на его рейс.

Павел Арсентьевич предъявил у стойки билет, паспорт, прошел контроль и магнит, присоединился к толпе у выхода на посадку и засвистал пионерскую песенку.

Подкатил желтый автобус-салон, прицепленный к седельному тягачу-ЗИЛу; дежурная сдула рыжую кудряшку с глаз и открыла двери; все повалили.

Тряп мягко поколебался под ногами, и Павла Арсентьевича принял компактный комфорт лайнера. Его место было у окна.

Салон был полупустой и прохладный. Павел Арсентьевич застегнул ремень, улыбнулся и закрыл глаза. Дверца хлопнула. Трап отъехал. Засвистели турбины, снижая мощный тон. Они тронулись.

Потом город в иллюминаторе накренился, бурая дымка подернула его уменьшающийся чертеж, и Павел Арсентьевич задремал.

— Минеральная вода,— сказала стюардесса.

Павел Арсентьевич протянул руку к подносу, и рядом протянулась к голубой пластмассовой чашечке с ручкой без отверстия рука соседа. Рядом сидел Кошелек.

Он солидно раскинулся в кресле у прохода и благосклонно разглядывал круглые под смуглым капроном коленки стюардессы.

— А покрепче ничего нет?— со слоновой игривостью поинтересовался Кошелек, поднимая поощрительный взор к ее бюсту.

— Покрепче нельзя,— без неудовольствия отвечала стюардесса, и в голосе ее с тоской и злобой различил Павел Арсентьевич разрешение на подтекст. Повернулась и с пустым подносом пошла по проходу.

— А?— сказал Кошелек и подмигнул вслед стройному и округлому под синим сукном.— Ниче-го-о... В Свердловске они на отдых пойдут; там посмотрим. Выпьем, причастимся? А то ведь с утра не выпил— день пропал.

И потянул из внутреннего кармана плоскую стеклянную фляжку коньяку.

— Потом в туалете по очереди покурим, точно? А в Свердловске хватай в буфете два коньяка и дуй прямо к диспетчеру по пассажирским перевозкам. А то мы с тобой в Ханты-Мансийск до морковкиных заговен не улетим.

Владимир Фирсов
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ И ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ДЕМОН

Вам приходилось когда-нибудь присутствовать на розыгрыше тиража «Спортлото»? Крутится прозрачный барабан, напоминающий колесо фортуны, с волнующим рокотом перекатываются пронумерованные шары, хитроумное устройство подхватывает чью-то удачу и выкатывает ее наружу, поближе к алчно сверкающим глазам телекамер. Вот шар останавливается, заставляя огорченно вздохнуть одних и радостно улыбнуться других. Увы, следует признать, что этих других — подавляющее меньшинство... Что поделать, лотерея — это лотерея. Удача в ней — случайность, причем случайность точно запрограммированная, заранее рассчитанная и вычисленная с помощью теории вероятностей (а в переводе на иностранный — пробабилитности).

В различного рода азартных играх и лотереях влияние пробабилитности особенно заметно. Кавалер де Мере, своими неустанными трудами за игорным столом заложивший краеугольный камень в фундамент теории вероятностей, первый поверил в то, что случайностью можно управлять, и тем не менее разорился.

В отличие от кавалера де Мере Александр Петрович очень хорошо знал, что вероятность крупного выигрыша чрезвычайно мала — недаром лишь один-два счастливца из многих миллионов угадывают заветные шесть цифр. Но знал он также, что «Спортлото» игра без обмана. Никто не мешает тебе зачеркнуть в карточке именно те шесть цифр, которые через несколько дней окажутся единственно верными. Поэтому хотя он и не верил в выигрыш, но все же очень надеялся на него.

© В. Фирсов, 1992

Именно эта надежда и привела нашего героя в зал Дворца культуры машиностроителей, где разыгрывался очередной тираж «Спортлото».

Александр Петрович никогда в жизни не играл в преферанс, покер, вист или «очко», не покупал билетов денежно-вещевой или художественной лотереи. Но сейчас Александру Петровичу были очень нужны деньги.

Я пишу эти слова и предвижу, что они вызовут ироническую улыбку у читателей. Деньги нужны всем — это общеизвестная истина. Деньги нужны каждому, причем желательно побольше. В этом нет ничего дурного, поскольку мы зарабатываем их собственным трудом. В наши дни, слава богу, есть на что деньги истратить, и чтобы помочь нам в этом, заводы и фабрики выпускают телевизоры, магнитофоны, модные светильники и дорогие духи. Приходи и покупай — были бы деньги.

Александру Петровичу все эти товары были не нужны. Ходил он в отличном английском пальто из несминаемой и невыгораемой мохерово-джерсовой тонкой шерсти, цветной телевизор давно уже купил в кредит и успел расплатиться за него, а хрустальную люстру привез из недавней командировки в Чехословакию. Нет, не ради этих мелочей отступил он от своего незыблемого принципа, которому свято следовал всю жизнь,— всячески избегать расходов, твердый доход от которых не гарантирован, если даже эти расходы выражались в смехотворной сумме, равной стоимости лотерейного билета. Александру Петровичу были нужны деньги, потому что он задумал приобрести автомобиль.

Вообще-то машину Александр Петрович имел. Довольно давно, еще в бытность директором фабрики, он приобрел «Москвичонка», который верой и правдой служил ему много лет, да и сейчас работал превосходно. Голубая краска на нем сверкала, капитально отремонтированный мотор позволял на прямых участках шоссе вытягивать почти сто десять в час, дворники весело мотались туда-сюда — не машина, а загляденье! Но это был всего-навсего «Москвич», причем — увы! — не последней модели. А сам Александр Петрович работал теперь уже не директором захудалой фабрики районного значения — он служил в министерстве, которое к тому же располагалось не где-нибудь, а на красивейшей

улице столицы — проспекте Калинина. Каждое утро, встречаясь на стоянке с сослуживцами, глядя, как они небрежно хлопают дверцами «Жигулей» и «Волг», Александр Петрович чувствовал себя уязвленным. Его раздражали и нелепые дверные ручки «Москвича», и кургузый зад машины, и безвкусная облицовка радиатора.

Нельзя сказать, что мысль о приобретении «Волги» возникла у него только что, Александр Петрович давно прицеливался на новую машину, однако до поры до времени не считал это первоочередной задачей. Чтобы купить машину, нужны не только деньги, но и очередь, а ее-то и не было. Несколько раз Александр Петрович, поднятый ложной тревогой, бросался туда, где, по слухам, записывали на машину, но каждый раз возвращался не солоно хлебавши. Теперь же, когда автомобильный гигант в Тольятти заработал на полную мощность, проблема очереди стала терять остроту. А на днях по министерству разнесся слух, что для сотрудников выделено некое количество машин и в самое ближайшее время желающие могут стать владельцами автомобилей наипоследнейших марок. Дело было только за необходимой суммой.

Александр Петрович подсчитал свои ресурсы. Получалось, что, если даже быстренько продать «Москвича», снять все сбережения со срочного вклада и добавить то, что удастся получить супруге в кассе взаимопомощи (сам Александр Петрович в кассе не состоял), до заветной суммы все же будет далеко. Друзей, которые могут ссудить несколько тысяч на долгий срок, у Александра Петровича не было. Правда, впереди ожидался гонорар, и мысль о нем придавала Александру Петровичу уверенность в достижении желанной цели.

Как и многие работники интеллигентного труда, Александр Петрович не чурался литературной работы. Отнюдь — литературные приработки составляли весьма существенную часть его бюджета. У министерского служащего побочных доходов нет — сколько положено тебе по штатному расписанию, столько ты ежемесячно и получишь. Конечно, бывают премии, прогрессивки, но все это не то. Поэтому Александр Петрович в меру своих способностей стремился время от времени издать книжечку-другую.

Писал он в основном про ультразвук — не потому, что хорошо в этом разбирался, а потому, что один из

его давних приятелей работал заместителем директора научно-исследовательского института ультразвука. Такое знакомство открывало Александру Петровичу доступ ко всяким техническим новинкам, когда они были недосягаемы для пишущей братии. На стадии же рецензирования материала это знакомство было просто бесценным, так как дружеское перо всегда давало опусам Александра Петровича самую лестную оценку. Понятно, что резко положительный отзыв компетентного лица позволял автору справиться с недоброжелательством или просто излишней придирчивостью чересчур щепетильных редакторов.

Но и на старуху бывает проруха. Как раз сейчас, когда договор на новую и довольно толстую книгу про автоматику был почти у него в кармане, дело вдруг застопорилось. Какой-то ретивый рецензент разнес в пух и прах рукопись Александра Петровича. Несмотря на все демарши автора, издательство мнением рецензента пренебречь не захотело. В результате книга, которую Александр Петрович мысленно уже видел стоящей в плане выпуска ближайшего года, в окончательный вариант плана не попала.

Это прискорбное событие сильно ударило по авторскому самолюбию Александра Петровича. Вдобавок исчезла зримая возможность получить 60 процентов аванса, которые очень бы сейчас пригодились. Оставался единственный выход — лотерея.

Александр Петрович, как мы уже сказали, оказался в зале Дворца культуры машиностроителей. Здесь и произошла у него удивительная встреча, положившая начало другим событиям, которые, в свою очередь, сыграли в жизни нашего героя весьма значительную роль.

Впрочем, началось все самым простым и естественным образом. Александр Петрович только что достал из коричневого, натуральной кожи бумажника карточку «Спортлото», чтобы еще раз взглянуть на вписанные в нее цифры. Он, правда, помнил их наизусть, потому что цифры эти, хотя и были совершенно случайными, как того требуют неумолимые законы пробабилитности, в то же время были и не случайными. Александр Петрович знал, что один из его коллег, заполняя карточки «Спортлото», пользуется современнейшей электронно-вычислительной машиной, к которой по роду службы имеет постоянный доступ. Некоторые открывают наугад страницы книги или пытаются промоделиро-

вать ситуацию, которая возникнет при очередном розыгрыше тиража, каким-либо иным способом. Александр Петрович знал, что все эти ухищрения мало кому помогали — максимальный выигрыш, которым похвастался один из его приятелей, был равен сорока трем рублям за четыре угаданных вида спорта. Обычно же, хотя тоже не часто, угадывались три цифры, за что полагалось четыре-пять рублей. Пробабилитность твердо отстаивала свои позиции.

Однако Александр Петрович собственными глазами читал заметку, где рассказывалось, как некий инженер из Ленинграда одинаково заполнил семнадцать карточек, угадал пять или шесть цифр (сколько именно, Александр Петрович запамятовал) и получил совершенно фантастическую сумму. И хотя Александр Петрович как человек пишущий знал, что досужие газетчики могут и не то выдумать, но все же воспоминание о ленинградском счастливце продолжало точить впечатлительную душу нашего героя. Оно-то, пожалуй, и толкнуло Александра Петровича на покупку карточки «Спортлото», что, в свою очередь, явилось непосредственной причиной той удивительной встречи, к рассказу о которой я сейчас приступаю.

Итак, Александр Петрович достал из бумажника аккуратно сложенную карточку «А» и хотел уже развернуть ее, когда над самым его ухом кто-то сказал:

— Три тысячи надеетесь выиграть, Александр Петрович?

Александр Петрович обернулся. Рядом стоял некий незнакомец — не высокий и не низкий, не молодой и не старый, не толстый и не худой, не то чтобы блондин, но и отнюдь не брюнет. Взгляд у незнакомца был ленивый и в то же время интересующийся, слегка иронический и слегка безразличный — такой, словно незнакомец знает все наперед, и ему от этого немного скучновато, но все же есть и надежда — а вдруг...

Александр Петрович, будучи человеком наблюдательным, к тому же вхожим — правда только по делу — к самому высокому начальству, которое может и казнить, и миловать, хорошо развил в себе способность с первого взгляда схватывать оттенки настроения вышестоящих товарищей, и это не раз выручало его в сомнительные моменты его жизни, позволяя мгновенно вырабатывать единственно правильную линию

поведения в разговоре с данным вышестоящим лицом.

Великое это искусство! В молодости еще бывали у Александра Петровича досадные промахи, когда, вызванный для поощрения, он начинал вдруг каяться и, наоборот, начинал скромно намекать на свои заслуги в тот момент, когда начальство готово было чуть ли не разорвать его на части. Но уже очень давно не допускал Александр Петрович подобных промахов. Вот и теперь, окинув незнакомца взглядом, Александр Петрович сразу понял его душевный настрой и только подивился, каким образом тот умудрился приблизиться столь тихо и незаметно.

Услышав вопрос незнакомца, Александр Петрович на мгновенье возмутился. Игра в «Спортлото» — дело сугубо личное, законами не возбраняемое, а наоборот, поощряемое, и выиграть надеется каждый иначе зачем же затевать канитель!

Во второе мгновенье в мозгу Александра Петровича сформулировался ответ достаточно официальный, чтобы поставить незнакомца на место: «Извините, не имею чести быть знакомым». В третье кратчайшее мгновенье мозг Александра Петровича, работавший в нужные моменты, как сверхскоростной миникомпьютер четвертого поколения, выдал еще один вариант — молча повернуться спиной и отойти. В четвертое мгновенье Александр Петрович ужаснулся: а вдруг это кто-то из нового руководства, которое могло запомнить его на последней конференции НТО, где Александр Петрович выступал с сообщением? В пятое и шестое мгновенья перебор вариантов был закончен, и всего лишь через полсекунды после вопроса незнакомца наш герой вежливо ему улыбнулся и слегка пожал плечами. Дескать, что делать, все мы человеки...

Напрасно надеетесь, лениво сказал незнакомец. Все равно не выиграете.

При этих словах колесики компьютера в мозгу Александра Петровича бешено завертелись в обратную сторону. Ни одно уважающее себя руководящее лицо никогда не станет произносить такие пустые и обидные слова тем более в присутственном помещении, где проводится официальный розыгрыш лотереи — мероприятие государственное, призванное привлечь средства населения для строительства замечательных

спортивных сооружений, на воспитание здорового, сильного, смелого поколения. Нет, такие жалкие слова мог сказать только человек, не облеченный постами и должностями. Лицо сколько-нибудь официальное таких слов произнести не могло. Поэтому миникомпьютер, упрятанный за большим сократовским лбом Александра Петровича, тут же выдал четкий вариант поведения: ледяной взор, неуловимое движение головы, сразу возводящее непреодолимую стену перед назойливым субъектом,— черт его знает, на цыпочках он подошел, что ли...

Так Александр Петрович и сделал — обдал незнакомца замораживающим взглядом и повернулся, чтобы прошествовать поближе к сцене, где заканчивались последние приготовления к розыгрышу, но так и замер с поднятой было ногой — ему показалось, что его правая рука словно попала в железную пасть экскаватора. Это незнакомец легко придержал его за локоть — придержал и тут же отпустил.

— И хорошо, что не выиграете,— сказал он своим невыразительным голосом — не то басом, не то баритоном, в котором к тому же прорывались вроде и писклявые нотки, которых ни у одного уважающего себя лица быть не должно.

— Почему? — неожиданно для себя спросил Александр Петрович, несколько сбитый с толку столь категорическим заявлением незнакомца.

— Погубят вас деньги,— ответствовал тот, философически разглядывая потолок.— Правда, не первого они вас погубят, но погубят все же... А ведь хотели выиграть, верно? И именно три тысячи?— Тут в глазах у незнакомца сквозь лень мелькнуло что-то новое — не то злорадство, не то живой интерес.— Вы вот и циферку зачеркнули три...— И он показал на аккуратно сложенную карточку, которую Александр Петрович держал в кулаке.— Но не выиграет циферка три — сегодня четверка выиграет.

Александр Петрович немного ошалело взглянул на незнакомца. Действительно, мысль о трех тысячах мелькнула у него в голове, когда он заполнял только что купленную карточку. Именно поэтому он и зачеркнул тройку. Про кавалера де Мере Александр Петрович слыхом не слыхивал, перепиской его с Паскалем, естественно, не интересовался, однако знал, что по законам пробабилитности единственно верная система в дан-

ном случае — это отсутствие всякой системы. И цифра три годилась для целей Александра Петровича не меньше, чем любая другая цифра. Но смутило нашего героя вот что. Когда он заполнял карточку — Александр Петрович это помнил очень хорошо,— рядом никого не было. Тем не менее этот тип откуда-то разнюхал про тройку, да к тому же был осведомлен о мотивах, по которым эта ничем не примечательная цифра была выбрана среди других. Также поразило его, хотя и не столь сильно, самоуверенное заявление незнакомца о четверке. Александр Петрович был по натуре рационалист, атеист и реалист, он не признавал телепатию и телекинез, ясновидение, пришельцев и прочие сенсации. Поэтому он не верил, что кому-то может быть ведомо будущее.

В жизни Александру Петровичу приходилось не раз встречаться с заявлениями вроде того, что сделал незнакомец, но авторы этих заявлений, предсказывая, скажем, превращение ржи в пшеницу, на месте уличены быть не могли, поскольку для проверки их утверждения требовалось время. А с течением времени, как известно, категоричность забывается, и когда наступает момент для проверки утверждения, оно воспринимается лишь как предположение — любопытное, но, увы, не оправдавшееся.

За годы своей многотрудной жизни Александр Петрович твердо усвоил, что никогда нельзя обещать или утверждать что-то, если твое утверждение может быть немедленно проверено. Поэтому, давая необоснованные обещания, он называл сроки достаточно отдаленные — хотя бы месяцы, а лучше — годы. Годы идут долго, и вряд ли кто будет помнить о твоем обещании. Поэтому Александр Петрович просто поразился заявлению своего собеседника о четверке — ведь колесо фортуны на сцене уже завертелось, и нужно было подождать совсем немного, чтобы уличить незнакомца в беззастенчивой лжи.

Александр Петрович повернулся к сцене, где перед зрачком телекамеры счастливый шар уже выкатился на всеобщее обозрение.

— Выиграл номер четыре! — громко объявил председатель тиражной комиссии.— Вид спорта — альпинизм!

Александр Петрович пожал плечами. В первом туре незнакомцу повезло, и если тот действительно зачер-

кнул в своей карточке цифру четыре, то его шансы на получение мелкого выигрыша возросли. Эка невидаль — угадал одну цифру. Посмотрим, что ты скажешь, если выпадет двадцать пять — возраст дочери Александра Петровича.

Тут незнакомец сказал такое, отчего Александр Петрович даже замер на секунду в приступе панического страха.

— И двадцать пять не выиграет,— ласково проворковал незнакомец в самое ухо Александра Петровича.— Вашей дочке, если не ошибаюсь, двадцать пять лет?.. Двадцать шесть на днях исполнится? Да, так вот двадцать шесть сейчас и выиграет, уважаемый Александр Петрович. Именно двадцать шесть, а не двадцать пять, как вы изволили здесь записать.— Незнакомец оттопырил мизинец с длинным изящным ногтем и указал им на судорожно сжатый кулак Александра Петровича.

— Выиграл номер двадцать шесть!— объявил со сцены председатель.

Александр Петрович почувствовал, что ладони у него вспотели. Он испуганно посмотрел на ноготь незнакомца, и ему показалось, что этот ноготь вдруг стал длинным, заскорузлым, а палец вокруг него порос густой черной шерстью... Впрочем, наваждение тут же прошло, и ноготь стал таким, каким ему и должно быть у посетителя Дворца культуры машиностроителей — чистым, розовым, хотя и несколько удлиненным.

— Вам нехорошо?— участливо спросил незнакомец, заглядывая в побледневшее лицо Александра Петровича.— Давайте лучше выйдем на воздух. А остальные результаты я вам скажу. У вас там идут такие цифры: 5 и 8 — это ваш возраст, 58 лет, 47 — возраст вашей супруги, 40 — этот возраст она называет знакомым. Так вот: выиграют все следующие цифры — 6, 9, 41, 48.

— Выиграл номер 48!— торжественно объявил председатель.

В голове у Александра Петровича наступило какое-то затмение, и он не замечал, куда увлекает его железная рука незнакомца. Когда же туман перед глазами растаял, Александр Петрович увидел, что идет по набережной в самом центре города. Он попытался понять, как попал сюда, в удаленное от Дворца машино-

строителей место, но ничего вспомнить не смог — был в его памяти какой-то провал, пустота. Ему стало жутко, он почувствовал в коленях слабость и остановился.

— Что вам от меня надо? — сказал он весьма нетвердым голосом, на всякий случай ища глазами милицию. — И кто вы, собственно говоря, такой?

Незнакомец улыбнулся, и от этой улыбки у бедного Александра Петровича мороз побежал по коже.

— Я, конечно, должен извиниться, что не представился вам сразу. Но у меня были на то основания. Если бы я сразу назвался, вы бы мне не поверили. Вы же не поверите, если к вам подойдет на улице человек и скажет, что он фараон Тутанхамон или пришелец из туманности Андромеды? Ведь так?

«Так вот он кто — пришелец», — подумал Александр Петрович, и ему стало немного легче. Однако вряд ли пришельцы полетят за биллионы километров ради того, чтобы сделать пакость ему, Александру Петровичу. Наверно, у них тут есть дела поважней. А те фокусы, которые выкидывал этот тип, — лишь мелкая самодеятельность, с рангом пришельца несовместимая... но тут же сообразил, что корабль пришельцев проскочить незамеченным при нынешнем уровне ПВО и ПРО не мог, и следовательно, неизвестный вовсе не пришелец — дело гораздо хуже, потому что знать будущее, как считал Александр Петрович, могла только нечистая сила.

— Да, а почему мы остановились? — продолжал незнакомец. — Я сейчас покажу вам самый красивый пейзаж в Москве. Вы ведь любите, чтобы в окно был виден красивый пейзаж?

Упоминание о пейзаже было для Александра Петровича как нож острый. Перейдя на работу в свое нынешнее министерство, он долго добивался, чтобы ему достался кабинет с окнами на проспект — красивейшую улицу нашей столицы, а может быть, и всей страны. Операция «Пейзаж» заняла у него полтора года, отняв массу сил и энергии. Потребовалось укрупнить один отдел, и разукрупнить другой, и осуществить еще ряд изменений в структуре и штатном расписании.

Полтора года титанической деятельности дали свои плоды, желаемый результат был почти достигнут, и Александр Петрович уже предвкушал сладостный

миг переезда в вожделенный кабинет, как вдруг высшее руководство бесцеремонно отменило нововведения, которые Александр Петрович пробивал с таким трудом. Долгожданный переезд, увы, не состоялся, а инициатору реорганизации было строго указано на недостаточную мотивированность и абсолютную нецелесообразность намечавшихся мер.

Бестактное упоминание незнакомца о пейзаже грубо вернуло Александра Петровича к тем неприятным для него дням и повергло в уныние и смятение. Из-за этого он не заметил даже, как оказался вместе со своим настырным провожатым на площадке второго этажа какого-то старинного здания.

— Смотрите, Александр Петрович! — сказал незнакомец, поворачивая его к огромному застекленному проему в стене.— Прекрасней этого пейзажа вы не найдете нигде.

Настроение Александра Петровича не располагало к любованию пейзажами. Не понимал он также, зачем понадобилось незнакомцу приводить его сюда. И все-таки то, что он увидел, поразило его и захватило: за огромным застекленным проемом он увидел на изумрудном холме золотые луковицы древнего собора, рядом с которыми возвышалась белая свеча колокольни. Ниже, за крепостной стеной, по речным волнам прыгали отблески солнца.

Александр Петрович не был чужд чувства прекрасного, хаживал на выставки Хаммера и к портрету Моны Лизы, дважды бывал в Третьяковской галерее, а будучи в Ленинграде дважды посетил Эрмитаж. Поэтому он сразу и безоговорочно поверил оценке, которую только что дал этому пейзажу его провожатый, но по-прежнему не понимал, для чего его сюда привели.

— Подумайте, Александр Петрович, ведь вы могли за всю жизнь так и не побывать здесь,— с ленцой, но чуть рисуясь, сказал его странный гид.— Вы были на озере Рица, в Суздале, Звенигороде, Тбилиси и Златой Праге и не знали, какая красота находится рядом с вами. Вы много раз проходили и проезжали мимо, но вам все некогда было посмотреть вокруг. Вы могли прожить всю жизнь, так и не увидев этого исключительного по красоте пейзажа,— извините, что я говорю вам о красоте таким канцелярским стилем. А мне бывает

обидно, когда вполне вероятные события, пусть даже очень маловероятные, все же не сбываются.

Видимо, Александр Петрович смотрел на собеседника несколько туповато, потому что тот вдруг прервал свой монолог

— Я вижу, мои рассуждения кажутся вам... э... несколько абстрактными. Это все потому, что я до сих пор не представился вам. Я Демон Вероятности, или, если вам угодно, Вероятностный Демон.

При слове «демон» Александр Петрович сразу позабыл о пейзаже.

— Позвольте...— запротестовал он. В горле у него пересохло, стало трудно говорить.— Позвольте... Значит, вы...— Александр Петрович замялся, не зная, будет ли удобным нечистую силу назвать нечистой силой или следует подобрать другое, более изысканное определение. В глазах собеседника ему уже чудились отблески адского атомного пламени — как человек просвещенный, он мыслил о том свете категориями атомно-кибернетического века, и уж если ему предстояло согласиться с существованием загробного мира и вечных мук в адском пламени, то это пламя он мог себе представить только в полном соответствии с уровнем современной науки и техники.

— Ах, дорогой Александр Петрович! Никакой нечистой силы нет,— возразил его спутник.— Есть только законы природы — законы объективные и абсолютно познаваемые. Вы ведь знаете о демонах Максвелла писали о них, не отпирайтесь... Почему же вас удивляет Демон Вероятности?

Тут Александр Петрович стал что-то припоминать. Действительно, ему пришлось однажды упомянуть в статье демонов Максвелла — в основном для того, чтобы продемонстрировать свою эрудицию, поскольку он считал, что эти самые демоны — чисто теоретическое допущение, этакая игра мысли. Припомнив, он совсем растерялся и вдруг ни с того ни с сего сунул собеседнику пятерню.

— Мерцалов,— проговорил он вяло.— Александр Петрович...

Демон вежливо пожал потную ладонь.

— Вероятностный Демон,— сказал он. Рука у него была стальная, и бедный Александр Петрович от такого пожатия чуть не вскрикнул.— Пока я еще не открыт

наукой и официального имени у меня нет. Когда-нибудь ученые меня откроют, классифицируют, дадут другое имя... А пока я — просто Вероятностный Демон. Нечто вроде кванта вероятности. Только — как бы это сказать ясней — в овеществленном виде... Поэтому умоляю не задавать вопросов о моем заряде, спине, четности, странности, очарованности... Однажды какой-то дотошный физик чуть не уморил меня. У вас, говорит, по моим вычислениям, должен быть полуцелый спин... Вы-то, надеюсь, тоже в спинах разбираетесь? — И он засмеялся довольно противно.

Александр Петрович потер онемевшие пальцы.

— Очень приятно,— промямлил он,— только скажите мне, товарищ Демон... гражданин... господин Демон...— Александр Петрович окончательно запутался и умолк.

— Скажу, скажу. Вы ведь знаете, мой друг, что наша единственная бесконечная Вселенная материальна. Знаете, знаете, не скромничайте, вы же это в свое время на первом курсе учили. И материя может пребывать как во вполне вероятных состояниях, так и в маловероятных. Улавливаете?

Александр Петрович ничего не уловил, но на всякий случай кивнул головой.

— Поясню свою мысль. Посмотрите, вот строится дом.— Демон показал на вырастающую за рекой железобетонную громаду. Александр Петрович осмотрелся и сообразил, что находится в Серебряном Бору, но почему-то не удивился этому.— Дом — это маловероятное состояние материи. Чтобы привести материю в такое состояние, нужно затратить определенное количество энергии. Остановите стройку, оставьте дом без присмотра — и через сто, тысячу лет дом рассыплется, истлеет. Материя, составлявшая дом, придет в более вероятное состояние. Этими процессами занимается мой брат, Демон Энтропии — довольно неприятный тип, хотя и родственник... А мои обязанности прямо противоположны. Для меня наивысшее удовольствие, даже счастье — перевести материю в маловероятное состояние... Вот вы, дорогой Александр Петрович, живете, наслаждаетесь жизнью, делаете карьеру, собираетесь купить автомобиль... Хорошо! А знаете ли вы, что существуете только благодаря мне? Да-да, именно так. Вселенная вечна — вы ведь не будете это оспаривать? И у нее было время, чтобы остыть, усреднится и дав-

ным-давно прийти в самое вероятное состояние. Есть даже закон, который это утверждает,— второе начало термодинамики. Однако звезды горят, вспыхивают солнца, на планетах кипит жизнь, а на самой лучшей планете — Земле — живет и торжествует самое маловероятное состояние материи — человек. Он почти невероятен, этот человек. Настолько маловероятен, что древним понадобилось выдумать Бога, чтобы хоть как-то объяснить этот феномен. А ведь это не Бог, а я, Вероятностный Демон, создал человека. В том числе и вас, уважаемый Александр Петрович. А теперь вам грозит опасность, а я хочу помочь. Ну что вы так растерянно смотрите? Или я непонятно говорю?

Демон попросил Александра Петровича достать из кармана монету.

— А ну-ка, вспомните — какова вероятность выигрыша в орел-решку? — спросил он.

— Как будто одна вторая...— выдавил ошарашенный Александр Петрович.

— Правильно. Значит, если бросить монету десять раз, герб выпадет пять раз. Ну, может быть, четыре или шесть. А ну, кидайте!

Последовавшие затем события полностью убедили Александра Петровича, что перед ним не мистификатор и не ловкий жулик, потому что никакой жулик не может заставить монету падать на землю все время одной стороной. А монета падала именно так — цифрой кверху. Александр Петрович бросил ее десять раз, потом еще десять, потом долго кидал без счета — результат не менялся. Монета звенела, катилась, подскакивала, но каждый раз сверху оказывалась та сторона, на которой было выбито: «5 копеек».

Александр Петрович почувствовал, что мир рушится. Он мог допустить, что кто-то подслушал его мысли, что проклятая телепатия, осужденная публично в печати, все же существует. Он мог найти сколько угодно объяснений удивительной осведомленности своего собеседника. Единственное, во что он не мог поверить,— это в то, что объективные законы природы, провозглашенные знаменитейшими учеными, могут быть необъективными, что в мире пробабилитности господствует волюнтаризм. Но монета, которую он подбросил уже, наверно, раз сто, неопровержимо доказывала обратное.

— Пожелайте что-нибудь очень маловероятное,— продолжал Вероятностный Демон.— Что-нибудь такое, что не противоречит законам природы, но практически никогда не случается.

— Хочу, чтобы меня поцеловала Джульетта Пьочелли,— неожиданно для себя выпалил Александр Петрович, вдруг вспомнивший вчерашний фильм.— И сейчас, немедленно! Ну?

Тут позади них взвизгнули тормоза черной «Чайки», распахнулись дверцы, и из машины на набережную высыпала стайка не по-нашему одетых мужчин и женщин, увешанных фото- и кинокамерами.

— Oh, che bella vista! Signore, mi permetta di farne una foto con questa cappalla suelo sfondo?[1]— прощебетала одна из иностранок, нацеливаясь объективом на Александра Петровича. Аппарат тихо щелкнул.

— Irarie, signore. Ciao![2]

Она чмокнула Александра Петровича в щеку и исчезла в машине, оставив после себя волнующий запах заграничных духов. Хлопнули дверцы, машина сорвалась с места и умчалась.

— Как вам понравилась Джульетта?— спросил с плохо скрываемой завистью Вероятностный Демон.— Везет же вам! Меня она почему-то не поцеловала...

Отвлекаясь от хода нашего повествования, скажу, что вскоре Александру Петровичу завидовали все друзья и сослуживцы, потому что на следующий день фотография с подписью «Джульетта Пьочелли прощается с московскими друзьями» была опубликована в нескольких газетах, сообщавших о закрытии очередного международного кинофестиваля в Москве.

— Надеюсь, вам больше не нужны доказательства?— спросил Вероятностный Демон, глядя вслед удаляющейся машине.

— Нужны!— заявил Александр Петрович, хотя хотел сказать совершенно противоположное. Но калейдоскоп странных событий выбил его из колеи.

— Хочу, чтобы на нас упал метеорит!

Не успел он выговорить эти слова, как рядом ярко

---

[1] О, какая великолепная церковь! Синьор разрешит мне сфотографировать его на фоне этого памятника старины? (*ит.*)

[2] Благодарю вас, синьор. Чао! (*ит.*)

сверкнуло, раздался короткий удар, и что-то очень больно ударило Александра Петровича по спине, даже чуть ниже. Наш герой взвизгнул от неожиданности и схватился за это место. Рядом на асфальте валялся небольшой продолговатый камень, от которого шел легкий дымок.

— Вот вам,— удовлетворенно сказал Демон, подбирая горячий осколок и перебрасывая его с ладони на ладонь.— Вы второй человек в мире, в которого ударил метеорит. Первым был японский шофер. Можете камушек взять на память. А еще лучше — отвезите в Метеоритную комиссию Академии наук. Там вам подтвердят, что это не просто метеорит — это первый тектит, найденный на территории вашей страны. Только заверните во что-нибудь.— Он протянул камень присмиревшему Александру Петровичу, который уже понял, что все это не к добру, и теперь с тоской ждал, что последует дальше. На него вдруг напал такой страх, что захотелось крикнуть: «Милиция! На помощь!» — и броситься бежать. Но он не стал этого делать, понимая, что от вредоносного влияния пробабилитности даже самая лучшая в мире милиция спасти не сможет.

— Так вот, уважаемый Александр Петрович, переходим к делу. Вы, как я уже сказал, являетесь маловероятным состоянием материи. Вы можете возразить, что таких, как вы, пять миллиардов. В планетных масштабах — это нуль. Почти нуль. Вы маловероятны и продолжайте оставаться таким. Вашей физической маловероятности в ближайшее время ничто не грозит. Я не буду предсказывать вашу судьбу. Пускай все идет своим чередом, установленным природой. Меня интересует моральный, духовный аспект проблемы. Беда в том, дорогой Александр Петрович, что вы поддались влиянию моего брата. А духовная энтропия — это так же гадко, как энтропия физическая.

— Дух — это нематериально. Это — фикция,— попробовал возразить Александр Петрович.

— А какая вам разница. Я работаю и в нематериальной сфере. Так вот, я уже говорил вам, что высшая моя обязанность и высшее для меня наслаждение — создавать маловероятные ситуации, процессы или физические тела. Физически вы маловероятны — и я доволен. Когда вы умрете и распадетесь на окислы, соли

и прочее, я буду грустить, потому что вы перейдете в более вероятное состояние. То же самое и в духовной сфере. Я люблю людей храбрых, решительных, самоотверженных, люблю летчиков-испытателей, полярников, спортсменов. Люблю гениев и героев. Ведь это — наименее вероятные состояния духа. Мне по нраву, когда вчерашний плотник становится академиком. Я люблю, когда мозг человека жадно поглощает информацию, когда люди учатся. Люблю влюбленных ведь это тоже маловероятное состояние. И я не люблю равнодушных, успокоившихся. Духовная энтропия мой самый жестокий враг и самая опасная для вас болезнь. Как мне жалко, что вы тоже заболели этой болезнью!

Ничем я не болен,— возразил Александр Петрович, недавно прошедший диспансеризацию.— И вообще, вы говорите странные вещи. Я бы попросил вас...

Да-да — вы катитесь в болото энтропии, перебил его собеседник.— Когда-то вы были духовно маловероятны. Теперь вы становитесь самым вероятным в духовной сфере.

Я не позволю! взвизгнул вдруг Александр Петрович и даже храбро взмахнул кулаком. Это клевета! Да вы, гражданин Демон, если получше разобраться,— вы знаете кто? Вы, вы...— Тут Александр Петрович замялся, потому что нужное слово никак не шло ему на язык. Пришлось выпалить первое попавшееся. Вы оппортунист! И я этого так не оставлю!

Не занимайтесь демагогией, поморщился Вероятностный Демон.— Я вам же добра хочу! Тем более что жаловаться на меня вам некуда.

Александр Петрович сообразил, что чертов Демон прав, и в растерянности умолк.

Дорогой мой, хочу вас предупредить. Вся бесконечная череда человеческих характеров умещается на гауссовской кривой следующим образом... Вы не знаете, что такое гауссовская кривая? Могу сказать проще Все человеческие характеры расположены между двумя полюсами. На одном полюсе — герои, на другом трусы. На одном рыцари, на другом подлецы. Бескорыстные — на одном и воры на другом... Стать героем, рыцарем трудно. Струсить, предать гораздо легче. Для этого не надо ума, храбрости, стойкости, преданности — ничего. И тем не менее люди не предают не крадут, не подличают...

Люди доказывают мою правоту постоянно. Они стремятся стать лучше, умнее, образованнее. Учатся, спорят о новых книгах, штурмуют выставки, они растут духовно — ежедневно, ежечасно. И это радует мое сердце. А вы — вы меня огорчаете. Вы способный инженер, превосходный организатор, знающий хозяйственник. Но все это — только в душе.

Завтра вы пойдете на доклад к министру — да-да, именно завтра... Об этом вам скажут утром — министр уже назначил час. Вы будете ему докладывать о смелом проекте, который разработали ваши коллеги и который, быть может, явится новым словом в подведомственной вам области промышленности. И министр спросит вас, какую оценку вы даете этому проекту. Что это — новаторство или прожектерство? Скачок вперед или миллионные убытки? Он спросит вас, Александр Петрович, следует ли, по вашему мнению — я подчеркиваю — по вашему мнению, одобрить проект или отказаться от него? А может быть, надо вернуть его на доработку? Ведь министр — он тоже человек, он не семи пядей во лбу, он не может знать все. Он надеется на вас, на ваши знания, на ваш опыт. Он знает, что все это — и знание, и опыт — у вас есть. Должны быть. А вы не сможете ответить ему. Вы будете смотреть ему в глаза и стараться угадать, нравится ему проект или нет. Вы будете долго мямлить, что, с одной стороны, в проекте что-то есть, но, с другой стороны, в нем чего-то нет, что проект, конечно, смел, но трезвый расчет прежде всего, и что дерзать надобно, но рисковать все же не следует.

Вы уже давно так делаете — подлаживаетесь под готовое мнение руководства. До сих пор это вам удавалось. Вы наблюдательный, проницательный человек, вы тонкий психолог и прекрасный знаток человеческих душ. Поэтому вам до сих пор везло, и вы стали считать, что играете в беспроигрышную лотерею. Да-да, не возражайте — уже давно вы стали думать не о пользе дела, а о пользе для себя — эфемерной и вовсе не нужной вам пользе, которую принесет угаданное мнение вышестоящих руководителей.

Вы давно уже не способны на конфликт, вы боитесь сказать «да», если другие говорят «нет», вы перестали отстаивать собственное мнение. Зачем? Зачем лишние хлопоты, зачем тратить нервы, зачем спорить, убеждать, доказывать? Ведь начальство не переспоришь,

убеждены вы. А начальству как раз и нужны смелые, бескомпромиссные, не думающие о своей выгоде люди, такие, которые пекутся не о своем покое, а о пользе дела. Словом, не такие, как вы.

«Конец,— в отчаянии подумал Александр Петрович.— Снимут». Ему уже приходилось быть снимаемым, и, хотя это было давно, он сразу ощутил знакомый привкус безнадежности. Все, все знает, проклятый Демон! И ведь никуда не денешься — докладывать министру надо. Первый раз с докладом к министру — и такой афронт!

Александр Петрович подумал, что, пожалуй, не худо было бы заболеть, но он так долго добивался возможности лично доложить министру — неважно что, лишь бы лично... Он представил, как в застольной беседе небрежно произносит: «...но тут я говорю министру: нет-нет, я категорически против...» — и сердце его печально сжалось при одной мысли о том, что он сможет лишить себя возможности произнести подобные слова.

А Вероятностный Демон продолжал:

— Вам не надоела такая жизнь, Александр Петрович? Вам не хочется говорить только то, что думаете, стукнуть кулаком по столу в начальственном кабинете, если дело того требует? Это была бы самая большая радость для меня. Увы... Вы становитесь все более и более вероятным. И вам везет на угадывание. Вам бы в Монако поехать — о, там вы были бы великолепны! А вы вместо этого — в «Спортлото»... Из-за трех тысяч поступиться принципами!

«Какое вам дело? — захотел сказать Александр Петрович.— Хочу и буду играть!» Он открыл даже рот, но, встретив насмешливый взгляд Демона, предпочел промолчать.

— Разрешите, Александр Петрович, я дам вам на прощанье совет,— мягко сказал Вероятностный Демон, дружески беря собеседника под руку.— Да, на прощанье, ибо разговор наш очень затянулся. Супруга ваша будет беспокоиться.

Только сейчас Александр Петрович заметил, что находится на краю какой-то рощи, видимо, далеко за городом. Солнце уже закатилось, и лишь пламенеющая полоска заката указывала на место, где оно плыло теперь под горизонтом. Эту огненную полоску пересекал

темный силуэт старинной церкви, за которой серебрилась кромка воды,— перепуганному Александру Петровичу показалось даже, что это не то Нерль, не то Кижи... Он беспокойно завертел головой. Словно нарочно, вокруг царило безлюдье. Спина его покрылась холодным потом. Он вдруг подумал, что ему не суждено вернуться обратно — заведет его нечистый в какое-нибудь непроходимое болото, и сгинет навеки бедолага Александр Петрович...

— А совет мой прост,— продолжал Демон.— Отныне и навсегда зарекитесь искушать судьбу, стараясь что-либо угадать. Больше вы ничего не угадаете — ни мнение начальства, ни цифру «Спортлото». Я, Вероятностный Демон, клятвенно заверяю вас в этом.

Александр Петрович выслушал мрачное пророчество со спокойствием приговоренного к смерти. Ему было не до прорицаний. На окружающую их рощу стремительно падала темнота, серая лента асфальта, по которой они шли, стала почти невидимой, и только река еще серебрилась позади неведомой церкви — Минусинской, что ли... Вдруг он почувствовал, что дрожит. На миг ему показалось: вот сейчас его спутник оскалит клыки, сверкнет фосфоресцирующими глазами... Ему стало жалко себя — такого молодого (сравнительно молодого, тут же честно ввел он поправку), красивого (многие женщины говорили ему об этом в свое время), стройного (пусть с некоторой скидкой на приличествующую возрасту и положению полноту), умного (без всяких скидок и поправок) — жалко до слез.

— А сейчас мы с вами распрощаемся,— продолжал Вероятностный Демон.— Поймаем такси, и через пятнадцать минут вы дома. Выходите на обочину, Александр Петрович, сейчас подъедет такси.

При этих словах Александр Петрович воспрянул духом. Однако в возможность поймать здесь такси он не поверил, поскольку прекрасно знал, что поймать такси именно тогда, когда оно позарез необходимо, практически невозможно.

— Так и подъедет,— возразил он.— Черта с два его поймаешь.— И замолчал, потому что увидел на шоссе машину с зеленым огоньком.

Через полчаса, когда Александр Петрович уже си-

дел дома за стаканом крепкого чая, в который плеснул для бодрости пару ложечек ямайского рома, происшествия минувшего вечера стали казаться ему какими-то нереальными. Он пытался вспомнить, как выглядел его спутник, но так и не сумел этого сделать. Достав из кармана пятак, Александр Петрович стал подкидывать его к потолку — пятак падал то так, то этак, и никакого отклонения от разрешенных пробабилитностью пределов наш герой усмотреть не сумел.

Вошедшая в кабинет жена застала мужа стоящим на четвереньках, чем была очень изумлена. Она уговорила супруга идти спать. Александр Петрович, чувствовавший себя не в своей тарелке, разделся, лег, но долго не мог заснуть, а когда заснул, то снилась ему всю ночь сплошная белиберда — куда-то он спешил, опаздывал, кого-то догонял и никак не мог догнать и тут же от кого-то убегал сам.

Александр Петрович встал невыспавшимся и в министерство отправился в неважном настроении Вчерашние события вспоминались с трудом, и он не мог даже сообразить толком, были они на самом деле или все это ему приснилось.

Едва Александр Петрович явился в кабинет, как секретарь доложила, что министр ждет его ровно в десять. Александр Петрович еще раз проверил подготовленные исподволь бумаги, но так и не решил, какую позицию следует ему занять при обсуждении. Решив во всем положиться на интуицию, он хотел было уже идти, как вдруг с ужасающей ясностью припомнилось ему роковое предупреждение вчерашнего собеседника. Он снова достал пятак и стал подкидывать — монета ложилась то так, то этак, поэтому было невозможно определить, действует заклятье Демона или нет.

Тут Александр Петрович вспомнил, что Вероятностный Демон говорил что-то о невозможности угадать с пользой для себя, и понял, как заставить монету лечь одной и той же стороной хоть тысячу раз подряд. Он вызвал в кабинет своего зама и предложил на пари бросить монету двадцать раз, поставив свою отличную паркеровскую ручку с золотым пером против грошового фломастера, который его зам недавно купил где-то на Арбате. Договорились, что если монета будет падать и орлом, и решкой, выигрывает Александр Петрович, пусть даже монета лишь единожды упадет не так, как в остальных случаях.

Зам согласился на это безнадежное условие — он очень хотел сделать шефу приятное. Начали кидать. Зам не поверил своим глазам. Все двадцать раз монета легла цифрой вверх. Кинули еще двадцать раз — с тем же результатом. Дрожащими руками зам принял паркеровскую ручку и с опаской сунул ее в карман. Александр Петрович, наоборот, успокоился, хотя и стал белее мела. Он взял папку «К докладу», для чего-то потер рукавом золотые буквы на ней и отрешенно посмотрел на часы.

Было без трех минут десять.

Карэн Симонян. МЫ ДРУГ ДРУГА НЕ ПОНИМАЕМ

1

Тягостное беспокойство родилось в тот момент, когда он, просыпаясь, оказался сразу в двух нереальных мирах.

Спишь. Еще спишь. И начинается пробуждение. Расстаешься со снами — размеренно, неторопливо... И с той же размеренностью и неспешностью погружаешься в столь же иллюзорный мир. И не поймешь даже, который из этих двух более реален. Кажется, будто ты золотой закат между синим небом и синим морем, и не знаешь, какая именно стихия ласкает, лелеет, обнадеживает тебя в миг твоего пробуждения.

Но никто не обнадежил, не поддержал Морика Армена. И день для него начался с непонятно тяжелого, пытавшегося раздавить настроения. Раздавить так, чтобы и следа от него не осталось, ни даже самомалейшего воспоминания, что жил когда-то, дышал и немало лет зачарованно внимал золотой сказке мира этот самый Морик Армен.

Поэтому он поспешил выйти из дома.

У дверей остановился на миг, потом свернул направо, где жил Нерсес Мажан. Но тут же передумал, увидев выходящего на веранду Шаваспа. Быстро пересек луг и еще на лестнице без всяких предисловий начал:

– Ты помнишь, каким был этот мир, когда мы впервые вышли из корабля?

Шавасп, как всегда, завтракал на веранде. Услышав голос Морика, а потом и увидев его, он быстро вытер салфеткой губы и улыбнулся:

— Доброе утро!

— Ты помнишь, что мы увидели, услышали или хотя бы почувствовали?

© К. А. Симонян, 1992
© Н. Алексанян, перевод, 1992

— Плохо помню,— ответил Шавасп.— Но вроде бы видели густые леса.

— Верно.

— Чистые озера. И еще тропинки, протоптанные обитателями и хозяевами этого мира.

— Верно. А еще?

— Потом услышали, как журчат ручьи... Трели, которые доносились из глубины неба...

— Это были птичьи трели, верно?

— Конечно.

— Но самих птиц не было, верно?

— Их и сейчас нет,— сказал Шавасп,— как нет и протоптавших дорожки обитателей и хозяев этого мира.

— Нет, но, вероятно, еще появятся. А может, уже и появились, только мы их не замечаем. Поскольку сами себя уверили, что их нет.

— Хочешь знать мое окончательное мнение?— невесть почему вдруг вспыхнул Шавасп.— Который уже день мы режем, буравим, копаем,— словом, терзаем этот мир,— но не оставляем даже следа. Каждый день ходим по этому лугу, но никаких следов не остается. Даже на влажной земле! Смотри...— Шавасп перемахнул через перила, обеими ногами словно вонзился в землю, спружинил, потом быстро шагнул в сторону и ткнул пальцем:— Гляди, видишь, как мгновенно заплывает? Знаешь, каково мое окончательное мнение?— Шавасп на мгновение замолчал, затем продолжил шепотом:— Этот мир не существует! И мы живем в нереальности... Хочешь в этом убедиться? Пожалуйста, вот!— И он ткнул пальцем в стену.— Эта стена тоже иллюзорна, ее нет...— Он надавил на стену, но она, грубая, прочная, не поддалась.

— Ничего, Шавасп,— утешил его Морик,— кто из нас не ошибался? Этот мир существует. Если же мы не можем оставить тут следа, то в этом не наша вина. Что поделаешь — буравим, режем, терзаем, а следов не остается... Для любого преступника здесь просто рай.— Морик усмехнулся.— Как бы самим не превратиться в преступников... Ну, я пойду, сегодня надо взять еще восемь проб.

— С тобой что-то случилось?— спросил Шавасп.

— Не знаю... Неспокойно как-то на душе, места себе не нахожу... Я будто на вокзале — пришел кого-то встречать, а кого — не знаю. Я пришел, а он опаздывает.

И чувствую, что опаздывает нарочно. Опаздывает, чтобы помучить меня... Что-то случится, Шавасп. Ты не чувствуешь, что должно что-то случиться?..

— Скоро нам улетать, отсюда и беспокойство. Обычное дело,— постарался успокоить его Шавасп.— Мне тоже невтерпеж, но я умею сдерживать себя. Это моя двадцать вторая планета.— Шавасп не смог скрыть улыбку довольного собой человека. А еще — гордого человека.— А у тебя?

— Четвертая,— ответил Морик Армен и стал неторопливо спускаться по лестнице.

— Ты крепись,— сказал ему вслед Шавасп, застегивая комбинезон.— Скоро мы будет далеко-далеко от всего этого и даже не поверится, что действительно жили здесь. И проведенные нами тут дни, поверь, покажутся всего лишь сном.

— Если это верно, то ты, значит, видишь уже двадцать какой-то по счету сон?

— Конечно. И какие они все разные!.. И учти, меластр, ни одна планета, на которую ты вступаешь впервые, да еще разведчиком, не будет похожа на другие. И каждый член разведывательной группы, делая на новой планете свой первый шаг, может быть уверен лишь в одном: весь предыдущий жизненный опыт — ничто! Стоит только забыть эту истину, и все — ты пропал! Так что помни и крепись.

— Спасибо за совет,— не то иронично, не то из чистой вежливости поблагодарил Морик Армен и, вобрав голову в плечи, торопливо ушел.

2

Долгая и трудная работа несколько сбила напряжение Морика, но когда пробы были взяты, а день уже клонился к вечеру, оказалось, что ничего не изменилось. Тягостное чувство ожидания усилилось настолько, что Морик буквально задыхался. Снова встречаться с Шаваспом мало прельщало Морика. Человек, который считал открытие и исследование чужих и неведомых миров всего лишь сном, а сами планеты — иллюзией, не мог рассеять сомнение, с раннего утра нескончаемой шелковинкой оплетавшее и наконец вобравшее в кокон Морика Армена. А встречаться с Арнаком или Нерсесом Мажаном означало снова рассказывать, объяснять им все и вновь услышать муд-

рые советы об относительности жизненного опыта, правилах поведения на неисследованных планетах и необходимости превозмогать себя.

И он решил остаться дома и послушать музыку.

Лег на жесткую тахту, подбил под голову мутаку и погрузился в древнюю старинную песню!

Весна кругом, весна, а валит снег...

Вот оно, единственное спасение для него. Впрочем, нет, это нельзя назвать спасением в полном значении слова. Просто песня поддерживала его, делила с ним сомнения, беспокойства, обиды. Песня утешала, облегчала груз на его душе.

Песня утешала его...

И Морик Армен вдруг подумал, что, может, эту песню тысячелетия назад сложил кто-то из его безымянных предков, сам оказавшийся в таком же положении, как сейчас Морик,— сложил, став свидетелем какой-то внезапной беды. Вот поэтому-то сегодня они — Морик и песня, пришедшая из туманной дали тысячелетий,— понимали друг друга, подставляли друг другу плечо, ощущали успокаивающую теплоту взаимной близости и родства.

Как необыкновенно и чудесно было это чувство родства!.. И Морик Армен подумал, что он словно бы набирается сил.

Весна... кругом... весна... а валит... снег...

Мысли Морика Армена вдруг разбежались, и он открыл глаза. Доносившийся из прихожей очень знакомый звук нарушил то равновесие, которое постепенно устанавливалось в его душе. Он встал и прислушался. Звук был таким же родным, как и эта безымянная старинная песня. Нащупав тапочки, он уже собирался пойти открыть дверь, чтобы впустить... Кого впустить?..

Он иронично улыбнулся своей простодушной наивности и подумал, что нервы уже, наверное, ни к черту.

Звук умолк. А вместо него вдруг нахлынули воспоминания.

И Морик Армен, вот так полулежа на тахте, вспомнил ежевечерние семейные посиделки в гостиной его родного дома. Вспомнил отца, который любил вот так же сидеть на тахте. Сестер — они были младше его и устраивались по бокам отца. И запах гаты, которую пекла на кухне мать.

Что еще вспомнил он в эти несколько мгновений?

Как царапались и скреблись в наружную дверь, и отец говорил: «Впустите кота».

Кто же должен был впускать кота?

Конечно он, Морик, кто же еще!

И чуть только на пядь приоткрывалась дверь, как в комнату величественно вступал роскошный Ванский Кот. Так его и звали — Ванский Кот. Кот понимал, что это — его имя. И с достоинством отзывался на него.

Где сейчас его отец, сестры?.. Где сейчас мать, чья гата была самой вкусной во всем Ширакадаште? И где сейчас их Ванский Кот?..

Повернувшись на спину, Морик глядел на гладкий белый потолок. Сколько можно лежать вот так? До каких пор? Он знал, что выхода нет. Надо держаться. Хотя большую муку, чем это непонятное и бессмысленное ожидание, вряд ли можно представить.

В этих воспоминаниях, так неожиданно нахлынувших на него, было что-то странное. Сначала утренние переживания, потом встреча с Шаваспом, а теперь вот воспоминания, пробившиеся из-под тяжких пластов прожитых лет.

А еще удивительно, что события сегодняшнего дня он воспринимал точно так же, как далекое прошлое.

Обычно, подумал он, дневные события никогда не кажутся прошлым и не появляются из тумана времени подобно далеким воспоминаниям. Во всяком случае до тех пор, пока день еще не кончился, пока он не потерял смысла Сегодня и не сменил имя, став Вчера.

Пожалуй, день, еще не ставший Вчера,— единственная жизнь, которую живешь без обмана. А обман, вероятно, начинается с того самого мига, когда собираешь в платочек осколки прошлого и проблески надежд на будущее, завязываешь в узелок и вскидываешь на плечо, уверяя самого себя, что это и есть твое настоящее.

Вплетаясь в беспокойное напряжение Морика, мысли, воспоминания и мгновенные перемены настроения еще более упрочняли стенки вобравшего его кокона.

Кокон этот казался столь же реальным, как и приступ удушья. Надо было трансформироваться, разорвать шелковые путы и выйти чудо-бабочкой.

...В висках пульсировало, и Морику казалось, что весь мир сейчас в такте с пульсирующей в висках кровью. Но этот оглушающий грохот не помешал ему услышать, как снова скребутся в наружную дверь. На

этот раз сильнее, упорнее. Звук был тот же самый — родной, безымянный... Морик снова нащупал кончиками пальцев тапочки, надел их и, шаркая, вышел в коридор.

Вышел в коридор и подумал, что нельзя так легко поддаваться иллюзиям. Да еще в этом скрывающем свое истинное лицо и тщательно маскирующем свою подлинную сущность чуждом мире. Тем не менее он на пядь приоткрыл и тут же захлопнул дверь. Что и говорить, его поспешность была продиктована инстинктивным желанием одолеть самого себя.

— Осторожно, ты чуть не прищемил мне хвост!

Морик глянул вниз и увидел величавого, роскошно пушистого Ванского Кота, узкие зрачки которого были как урартская клинопись. Во взгляде кота читалась укоризна. Хвост его был красиво загнут — так он бывает загнут только у ванских котов. Морик опустился на корточки и по-детски проказливо попытался поймать кота за кончик хвоста.

Ванский Кот сказал:

— Я к тебе не играть пришел... Да я и не один. Ты так быстро захлопнул дверь, что хорошегриб и пес Занги остались за порогом. Ну, чего ты остолбенел? вдруг он строго спросил.— Кота не видел?

— Видел,— ответил Морик и снова открыл дверь.

Вошел хорошегриб и сказал:

— Благодарю вас.

А пес Занги благовоспитанно заметил:

— Вы крайне любезны, меластр.

— Может, пройдем в гостиную?— спросил Ванский Кот и вопросительно глянул на Морика, будто говоря: «Ну, чего ты растерялся, приглашай же нас»

— Прошу!— пригласил Морик.

И почувствовал, что собственный голос доносился словно из галактических далей.

3

Ванского Кота и пса Занги еще можно было как-то воспринять. В крайнем случае, можно было представить, что оба они — материализовавшиеся иллюзии. Хотя с момента сотворения мира и еще столько же после этого не материализовалась еще ни одна иллюзия, и только самых наивных людей можно было заставить поверить в то, что они смогут когда-нибудь увидеть во-

площенными свои самые заветные мечтания. Морик Армен готов был со всей трезвостью ума признать, что Ванский Кот и пес Занги не имеют к этой планете никакого отношения. Но вот хорошегриб...

Морик украдкой взглянул на него. И вдруг родился второй вопрос: а что такое хорошегриб? Животное, как, скажем, Ванский Кот или пес Занги, или?.. Во всяком случае, Морик Армен почувствовал, что если молчание в гостиной затянется, то это обернется для него тяжелыми последствиями.

— Что ж, начнем наши переговоры,— предложил Ванский Кот.

Словно озаренный догадкой, Морик Армен включил записывающее устройство. И это, наверное, был его единственный разумный и осознанный шаг за весь сегодняшний день. Он даже довольно улыбнулся, представив, как после этого дикого наваждения включит запись и услышит только... долгую-долгую тишину.

— Что еще за переговоры?— забеспокоился Морик.— Почему со мной?— И подумал, как смешно будут выглядеть эти его слова в тишине. Смешно и голо...

— Потому что сегодня только ты один, меластр Морик, ждал нас с самого утра,— объяснил хорошегриб.— Переговоры крайне нужны, потому что эти ваши грубые бездумные машины действительно терзают *наш* мир. Удивительная у вас способность — губить все на каждом шагу, даже не задумываясь, какие ценности вы уничтожаете!..

Морик Армен хотел ответить, с ходу опровергнуть эти нелепые обвинения, но слова так и не смогли сорваться с губ, потому что кокон стал еще толще и прочней. И шелковинка сейчас струилась не из смутных безымянных тревог — ее рождали эти трое, которые были вполне определенны и имели свои имена: Ванский Кот, пес Занги, хорошегриб.

— Вы слишком жаждете оставить свой след в нашем мире. Не довольствуетесь теми тропинками, которые протоптали его обитатели и хозяева,— сказал пес Занги, покачиваясь в такт словам. Он сидел на задних лапах, опираясь на хвост, а передние скрестил на груди.— И почему только вы не хотите, чтобы мы поняли друг друга?

— Кто? Я?.. Но я же не говорил, что мы не хотим понять друг друга!..— судорожно сглотнув слюну, вдруг стал оправдываться Морик.— Честно говоря, та-

кой вопрос даже не вставал. Потому что кто вы? Кот?.. Пес?.. Хорошегриб?..

Он замолчал. «Черт побери,— мелькнула мысль,— на кого похоже это существо?..»

А Ванский Кот впрыгнул на стол и, задумчиво помахивая роскошным хвостом, прошелся взад и вперед.

— Если бы мы явились в своем подлинном обличии, наша встреча закончилась бы трагедией. Вы бы прикончили нас без всяких раздумий.

Морик Армен хотел было ответить, но тут Ванский Кот махнул хвостом прямо перед его лицом, резко развернулся и продолжил:

— Не пытайтесь перечить! Уже того, что сделали ваши машины, достаточно, чтобы мы были благоразумны и осторожны. Верно, пес Занги?

— Конечно,— согласился пес, косо взглянув на Морика.— Для нас гораздо лучше, чтобы вы думали, будто мы всего лишь наваждения. Потому что какой это человек в здравом уме поднимет руку на наваждение, а, меластр? Никто. Если, конечно, он действительно в здравом уме...

«Я сейчас задохнусь в этом коконе,— подумал Морик Армен.— Все, больше сил нет терпеть...»

Он глубоко вздохнул, встал и зашагал по комнате. В какой-то миг Морик Армен и Ванский Кот оказались друг против друга и встретились взглядами. Смотрели долго. И никто из них не попытался отвести взор.

Царила тишина, нагнетая напряженность. Пес Занги и хорошегриб тоже выжидали. Но если пес Занги сидел все так же невозмутимо, со скрещенными лапами, то хорошегриб, по своему обыкновению, вобрал в воронкообразный рот три задние ноги и потихоньку заглатывал сам себя. Еще в первой своей разведке Морик Армен столкнулся с этим странным существом. Известно было, что хорошегриб распространен почти на всех планетах, но еще никому не удалось установить, как он живет и размножается в самых разных мирах. Время от времени хорошегриб вдруг начинал заглатывать свои задние ноги, потом в его рту-воронке скрывалось все тело, и наступал миг, когда, проглотив всего себя, хорошегриб, естественно, исчезал, чтобы вновь появиться уже вывернутым наизнанку. И если никто ему не мешал, то он повторял свой фокус, начиная на этот раз с ног, которые в прошлый раз были задними.

Но это так, между прочим...

Глядя друг другу в глаза, Морик и Ванский Кот, видимо, испытывали стойкость и упорство другого.

Оба были стойки, оба — упорны.

Морик Армен вдруг улыбнулся, подмигнул и сказал:

— Если ты кот, то мяукай. Чего же ты не мяукаешь?

Ванский Кот смешался. Его верхняя губа и усы вздрогнули. Пес Занги от неожиданности потерял равновесие и еле успел уцепиться передними лапами за край стола. Уже совсем почти проглотивший себя хорошегриб поперхнулся, исчез и некоторое время не появлялся. А когда появился, уже вывернутый наизнанку, испуганно уставился одним глазом на Ванского Кота, вторым на пса Занги, а остальными пятью, встревоженными, вперился в Морика Армена.

Морик почувствовал, что становится хозяином этого дурацкого положения.

— Кот должен мяукать,— сказал Морик Армен.— Пес должен лаять. А хорошегриб, насколько мне известно, должен посвистывать.— Он помолчал, проверяя впечатление от своих слов.— Все должно быть на своем месте,— продолжал он,— и у всего должен быть свой облик. И существа, живущие под своими солнцами в своих мирах, должны обладать своим собственным обличием и собственным языком. Что, может, я не прав или говорю что-то не то?

Морик Армен был уверен, что говорит именно то. Потому что накрепко усвоил тот идущий из глубины веков и уже укоренившийся и утвердившийся закон, согласно которому ни один землянин не должен терять лица, не должен поддаваться всевозможным соблазнам, на которые столь щедр космос. И в то же время, устанавливая контакты или налаживая взаимоотношения с обитателями иных миров, он не должен поступаться своей волей, сущностью или достоинством. Но Морик Армен знал и то, что ни в одном уголке космоса он и сам не должен был соблазнять кого бы то ни было на потерю его собственного лица, воли или сущности. Ибо иначе обессмыслится все, и вместо союза и единства во всей безбрежности Вселенной воцарятся насилие, жестокость и безжалостность...

Ванский Кот наконец овладел собой и спокойно сказал:

— Ты прав... Но если я стану мяукать, пес лаять, а хорошегриб посвистывать, то поймем ли мы друг друга, меластр Морик? Не поймем!

— Мы должны найти общий язык,— изобразив на морде глубокомыслие, заметил пес Занги.

— Ты должен радоваться, что мы научились говорить по-вашему,— добавил хорошегриб.— Иначе вы разве смогли бы за такое короткое время выучить наш язык, тем более что даже не знаете, как мы выглядим на самом деле?

Морик ответил, что вряд ли бы сумели.

И почувствовал, что скоро, уже очень скоро он сможет пробить кокон, стать чудо-бабочкой и воспарить над этими зелеными лужайками, что уже не задохнется в этой давящей оболочке, сплетенной из беспокойных ожиданий.

И он пробил кокон.

И молча последовал за Ванским Котом, псом Занги и хорошегрибом.

И на мураве лужайки и влажных склонах холмов не запечатлелся ни один след...

4

После слов хорошегриба «даже не знаете, как мы выглядим на самом деле», Нерсес Мажан и Шаваспереглянулись.

«Не знаем, да и откуда нам было знать?» — ответил голос Морика Армена.— И ваш язык вряд ли сумели бы выучить».

Потом послышался скрип открываемой и закрываемой двери, затем свист ветра. А потом — то самое молчание, что опустилось на мир.

— Я предупреждал его,— первым нарушил льющуюся из динамика тишину Шаваспи.— Предупреждал, что если забудет эту истину, то пропал.

Арнак взглянул на Шаваспа. И увидел, как слезы, скатившись из уголков его глаз, потекли по щекам и исчезли в густой бороде. И Арнак подумал, что есть в мире непоколебимые истины. И если вместо того чтобы мяукать, лаять или посвистывать, звери вдруг начинают говорить, то исчезает не только их очарование, но и загадочность и смысл. Жаль только, что эта истина не стоит теперь ни гроша. Морик Армен нанес пораже-

ние этой истине. Потому что... потому что соблазнился возможностью понять других без усилий, не прикладывая никаких стараний.

— Тем не менее мы его не поймем.— Нерсес Мажан потер широкой ладонью усталое лицо.— Мы вряд ли способны преодолеть ту преграду, которую хозяева этого мира поставили перед нами. Преграду, которая является нашим же родным и понятным языком...— Он замолчал на миг, потому что в открытое окно влетела вдруг бабочка, наверное, только-только вышедшая из своей прежней оболочки-кокона, и, как безумная, закружилась под потолком вокруг люстры...— Но, черт побери, этот мир начинает мне нравиться! воскликнул Нерсес Мажан.— Он делает все, чтобы мы здесь не оставили следа!

Содержание

В. Михайлов
Правдивая фантастика 5

Сергей Другаль
ВАСИЛИСК. *Повесть* 9

Север Гансовский
...И МЕДНЫЕ ТРУБЫ. *Повесть* 67

Георгий Шах
БЕРЕГИСЬ, НАВАРРА! *Повесть* 141

Александр Щербаков
СДВИГ. *Повесть* 177

Вадим Шефнер
РАЙ НА ВЗРЫВЧАТКЕ. *Повесть* 281

Георгий Гуревич
ТАЛАНТЫ ПО ТРЕБОВАНИЮ. *Повесть* 331

Сергей Снегов
ПРАВО НА ПОИСК. *Повесть* 381

Олег Лукьянов
ПРИНЦИП НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ. *Повесть* 471

Эдуард Геворкян
ПРОЩАЙ, СЕНТЯБРЬ!.. *Рассказ* 521

Борис Штерн
ЧЬЯ ПЛАНЕТА? *Рассказ* 541

Вячеслав Рыбаков
ХУДОЖНИК. *Рассказ* 550

Михаил Веллер
КОШЕЛЕК. *Рассказ* 560

Владимир Фирсов
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ И ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ДЕМОН. *Рассказ* 587

Карэн Симонян
МЫ ДРУГ ДРУГА НЕ ПОНИМАЕМ. *Рассказ* 609

С56 **Советская фантастика 80-х годов.** Кн. 2/Сост. О. Ларионова; Предисл. В. Михайлова; Ил. В. Коваля.— М.: Дружба народов, 1994.—622 с.: ил.— (Б-ка фантастики. В 24 т. Т. 8. Кн. 2).
ISBN 5-285-00163-3

Фантастика 80-х по-прежнему актуальна, несмотря на то, что для этой литературы десятилетия — уже история. И все же ее надо читать, хотя бы для того, чтобы лучше понять себя вчерашних. Об этом повести А. Щербакова «Сдвиг», С. Снегова «Право на поиск», С. Гансовского «...И медные трубы», рассказы Б. Штерна «Чья планета?», М. Веллера «Кошелек», словом все, что представлено в издании.

С $\frac{4702010201-057}{018(01)-92}$ ББК 84Р7

«Библиотека фантастики» в 24 томах.
Том 8, кн. 2
Советская фантастика 80-х годов
Книга 2

Составитель *Ольга Ларионова*

Редактор *Е. Борсук*
Художественный редактор *Е. Андреева*
Технический редактор *В. Котова*
Корректоры *О. Левина, В. Тищенко*

Издательская лицензия ЛР № 010178 от 31.01.92.

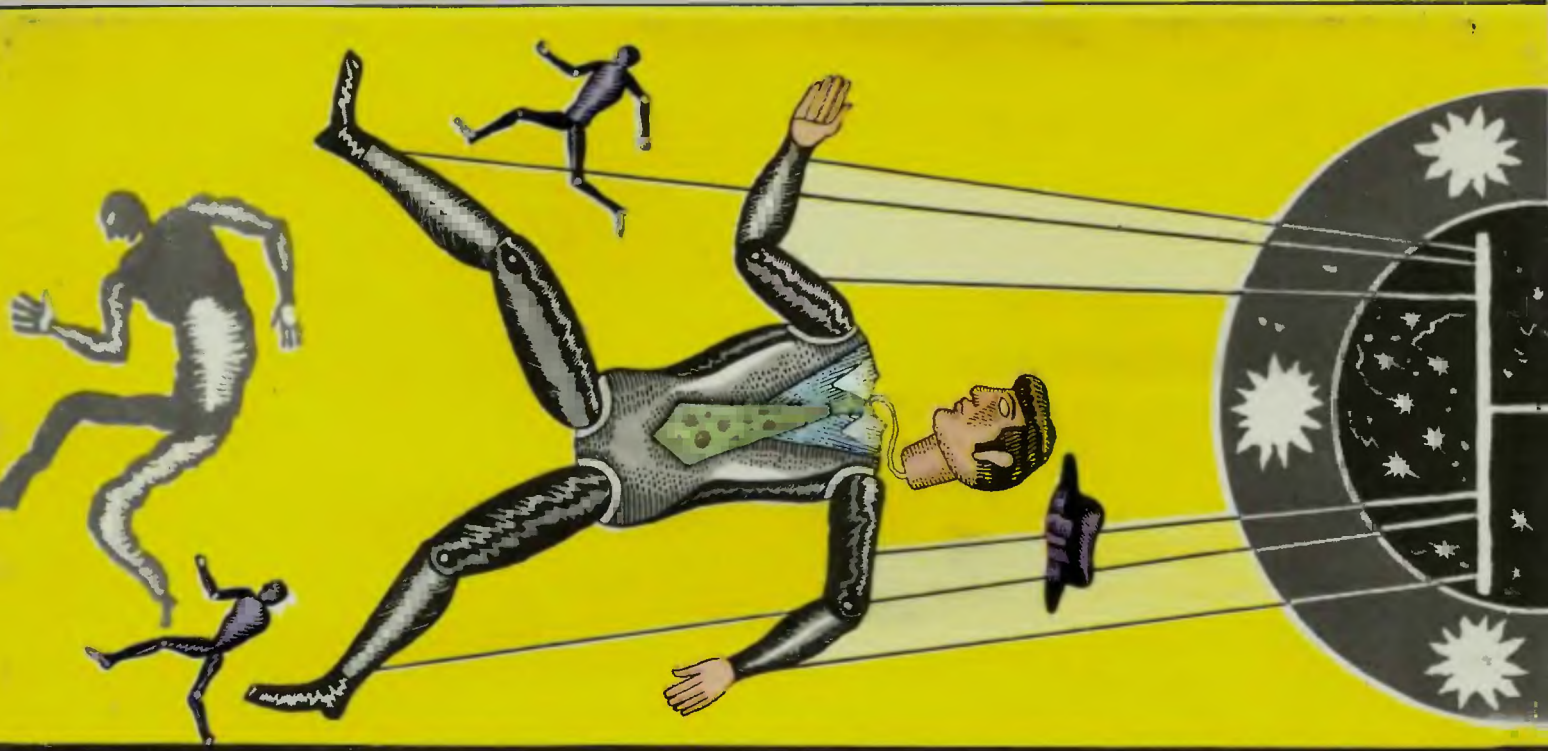
Сдано в набор 6.07.94. Подписано к печати 11.08.94. Формат 84×108/32.Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Бумага газетная. Усл. печ. л. 32,76. Усл. кр.-отт. 33,6. Уч.-изд. л. 35,67. Тираж 70 000 экз. Заказ № 242.

Издательство «Дружба народов» Комитета Российской Федерации по печати, 101424, Москва, К-6, ГСП, ул. Петровка, 26

Диапозитивы изготовлены Можайским полиграфкомбинатом Комитета Российской Федерации по печати. 143200, Можайск, ул. Мира, д. 93

Отпечатано с готовых диапозитивов в Тульской типографии. 300600, г. Тула, проспект Ленина, 109





Советская
фантастика 80-х годов

БИБЛИОТЕКА ФАНТАСТИКИ